

СОВРЕМЕННАЯ ЗАПИСКИ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛЬ

при ближайшемъ участіи:

Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка,
В. В. Руднева

XLVII

1931
ПАРИЖЪ

Imprimerie « Union » 13, rue Méchain, Paris.

ОГЛАВЛЕНІЕ

1. М. Осоргинъ. — ОЛЕНЬ (Романъ).	5
2. Алексѣй Ремизовъ. — ТРИ ЖЕЛАНІЯ.	65
3. В. Сиринъ. — ПОДВИГЪ (Романъ).	86
4. Д. Скобцовъ-Кондратьевъ. — ГРЕМУЧИЙ РОДНИКЪ.	135
5. Александра Толстая. — ИЗЪ ВОСПОМИНАНІИ.	182
6. Георгій Ивановъ. — ВОСЕМЬ СТИХОТВОРЕНІИ.	224
7. К. Бальмонтъ. — ВОДА ЗЛАТАЯ (Стихотвор.).	229
8. В. Сиринъ. — ПРОБУЖДЕНІЕ. — ПОМПИМУСУ. (Стих.).	232
9. Б. Заицевъ. — ЖИЗНЬ ТУРГЕНЕВА.	234
10. Георгій Адамовичъ. — АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ.	283
11. Георгій Ивановъ. — О ГУМИЛЕВЪ.	306
12. В. Маклаковъ. — ИЗЪ ПРОШЛАГО.	322
13. Сергій Завадскій. — УСТОИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА.	352
14. Н. Бердяевъ. — ОСНОВНАЯ АНТИНОМІЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА.	375
15. Ек. Кускова. — «СКАЧЕКЪ ВЪ НЕИЗВѢСТНОЕ».	395
16. Г. Федотовъ. — СОЦІАЛЬНЫЙ ВОПРОСЪ И СВОБОДА.	421
17. В. Рудневъ. — ВОПРОСЫ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ.	433
КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ.	
18. В. Вейдле. — МОНПАРНАССКІЯ МЕЧТАНІЯ.	457
19. Н. Мельникова-Папоушкова. — ПРАГА ПЕРЕДЪ РЕВОЛЮЦІЕЙ 1848 ГОДА.	467
20. Г. Гурвичъ.—Л. І. ПЕТРАЖИЦКІИ, КАКЪ ФИЛОСОФЪ ПРАВА.	480
21. КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ.	
П. Бицилли. — Ив. Букинъ: Трѣнь Птицы.	493
В. Вейдле. — Нина Берберова: «Послѣдніе и Первые».	494
К. Мочульскій. — <i>Nina Gourfinkel: Théâtre russe contemporain.</i>	496

В. Мякотинъ. — П. Миллюковъ: Очерки по ист. рус. культуры.	499
А. Кизеветтеръ. — A. R. Cederberg: Heinrich Fick.	502
Ип. Херасковъ. — J. Delevsky: Les antinomies socialistes et Révolution du socialisme Français.	504
П. Леонъ. — Archives de Philosophie du droit et de sociologie juridique. N° 1-2.	506
Н. Лосский. — G. Gourvitch: Les Tendances actuelles de la Philosophie allemande.	508
Н. Лосский. — Г. В. Флоровский: Восточные Отцы IV-го вѣка.	510
Г. Гурвичъ. — Н. А. Бердяевъ: О назначеніи чловѣка.	512
К. Гулькевичъ. — La Situation des Enfants des Réfugiés Russes et Arméniens en 1930.	516
Ев. Кускова. — С. Дмитриевскій: Сталинъ.	518
В. Рудневъ. — «Утвержденія».	520
Списокъ новыхъ книгъ, поступившихъ для отзыва въ редакцію «Современныхъ Записокъ».	525

Олень

Отрывокъ романа «Свидѣтель Исторіи *).

СМЕРТЬ МУШКИ

Въ утро, когда міръ былъ еще маленькимъ, уютнымъ и прозрачнымъ, весь состоялъ изъ родного дома съ садомъ и сосѣдней деревни Федоровки, а кончался лѣсной опушкой и рѣкой, и когда добро и зло еще не жили раздѣльно, а пытались уравниваться и сговориться, — кучеръ Пахомъ, самъ огромный и въ огромныхъ садогахъ, всклокоченный и хмурый съ похмелья, шагнулъ съ кухоннаго крыльца и раздавилъ на смерть щенка Мушку.

Мушка даже не успѣлъ взвизгнуть — и жизнь его кончилась. Наступивъ всей тяжестью грузнаго тѣла на мягкое, Пахомъ поскользнулся, хотѣлъ крѣпко выругаться, но оборвался на полусловъ и сокрушенно ахнулъ:

— И-эхъ ты, никакъ барышнина собачка!

Огромный Пахомъ смущенно обтиралъ огромный сапогъ о траву, росшую у крыльца, пока кухарка доказывала ему о пьяныхъ глазахъ и о душегубствѣ. Когда приблизилась Наташа, Мушка уже не дрыгала лапой. Дѣвочка наклонилась, попробовала поднять Мушку, но отдернула руки: это уже не Мушка, а лепешка изъ шкурки съ раздавленной головой и налитымъ кровью глазомъ, злымъ

*) Этотъ отрывокъ — первая часть романа въ большомъ сокращеніи (11 главъ изъ 25). Хотя нѣкоторыя событія въ романѣ историческія, но ихъ обстановка и детали измѣнены. Изъ дѣйствующихъ лицъ только одно, по замыслу автора, можетъ быть портретомъ.

и укоряющимъ. Наташа встала, съ ужасомъ посмотрѣла на Пахома и на кухарку и безъ слезъ побѣжала въ садъ. Пока она бѣжала, сдерживая дыханье, ей слышался позади мягкій и четкій топотъ мушкиныхъ лапокъ. Въ саду она съ разбѣгу прыгнула на скамейку и подобралась, — никого не было, ни Мушки, ни людей. И все-таки она не плакала, а только вся спряталась въ первый жизненный ужасъ.

Прозрачность міра затуманилась, его простота лопнула подъ паховымъ сапогомъ, какъ грецкій орѣхъ. Теперь за стволомъ березы, которая раньше была удивительно привѣтлива, пряталось страшное, съ яснаго неба могъ упасть камень, а въ цвѣтахъ притаилась змѣя. Осторожно спустивъ ноги со скамейки, чтобы не ступить на что-нибудь полуживое и скользкое, Наташа кинулась бѣжать изъ сада къ дому, но къ другому входу, споткнулась на лѣсенкѣ, зашибла колѣнку, испуганно закричала, и только тогда хлынули слезы изъ голубыхъ открытыхъ глазъ.

Утѣшали ее напрасно, — можно утѣшить въ любомъ горѣ, а тутъ страшное открытіе и загадка не по силамъ. Открытіе — смерть, а загадка — за что? Если можно убить Мушку — то значитъ можно все! Теперь ничему нельзя вѣрить, ни участливымъ словамъ, ни добрымъ улыбкамъ! Отъ теплаго, шелковистаго, счастливаго Мушки остался злой глазъ, проклявшій и домъ, и садъ, и всѣхъ, и Наташу. Пахомъ вытеръ о траву огромный сапогъ — и радости больше не можетъ быть.

Глупая нянька бубнить надъ ухомъ, что найдемъ новаго Мушку, получше прежняго, а глупая мама выговариваетъ Пахому: «какъ вамъ не стыдно, вотъ видите, что значить пить!» Пахомъ вяло оправдывается: «гдѣ ее маленькую примѣтишь, легла на самой дорогѣ», а нянька бурчитъ: «ты эдакъ-то и человѣка раздавишь!» Все это — напрасныя рѣчи, и Наташа не слушаетъ. Все равно — міръ раскололся, теперь ничего не вернешь! Она больше не плачетъ, а быстро думаетъ, и ничего придумать не мо-

жетъ — все спуталось. Мушки больше нѣтъ, и ничего прежняго больше нѣтъ.

Кучерь Пахомъ, полный раскаянія, прибралъ и подмелъ у чернаго крыльца, такъ что и слѣда не осталось; даже песочкомъ присыпалъ. Руками подвять не рѣшился, а снесъ на лопатѣ Мушкинъ трупъ за садовую ограду и тамъ зарылъ, наваливъ курганчикъ земли. Теперь, ступая подкованнымъ сапогомъ, все смотритъ подъ ноги, а на садовой дорожкѣ даже поднялъ игрушечное ведро и осторожно, обѣими руками, поставилъ его на скамейку. Души у щенка не можетъ быть, у него замѣсто души паръ, а все же загублена малая жизнь, — это Пахомъ чувствовалъ. Не махнулъ онъ съ крыльца, какъ увалень, да и не совсѣмъ проспавшись, — не было бы такого случая, и выросъ бы Мушка въ большого пса, барышнѣ Наталочкѣ на радость. Очень было обидно Пахому за самого себя, и этимъ вечеромъ онъ выпилъ больше обычного, — и въ угѣху, и съ горя. Выпивши — жаждаль подраться, но никто съ нимъ, такимъ огромнымъ, во всей деревнѣ драться не могъ, да и день былъ не праздничный. Поздно вечеромъ Пахомъ вернулся сумрачный, и, шагая въ темнотѣ, высоко подымалъ ноги и осторожно опускалъ, чтобы не наступить на неладное.

ЗЕНОНЪ

Какъ хорошъ міръ, если смотрѣть на него не изъ окна городскаго дома, не на мостовую съ лошадинымъ пометомъ, — а стоя посреди лужайки или на берегу рѣки! Хорошъ и полонъ чудесъ. Отъ одуванчика до кучевыхъ облаковъ, отъ низкаго полета зяблика до всплеска большой невидной рыбины, — прекрасенъ живой міръ, вѣчно шепчущій, въ тѣни прохладный, на солнцѣ шевелящій волосы горячимъ дыханіемъ. И будто бы простой — а самъ не простой, не раскрывающій всякому своей мудрости.

По страницамъ книги бѣгаютъ свѣтовые зайчики. Кукушка считаетъ года и мѣшаетъ бесѣдовать современной рязанской дѣвушкѣ Наташѣ Калымовой съ элейскимъ философомъ Зенономъ, жившимъ въ пятомъ вѣкѣ до Христа.

Зенонъ придумалъ состязанье въ бѣгѣ черепахи съ Ахиллесомъ. Какъ ни надрывается Ахиллесъ — не можетъ догнать черепаху: догналъ, а она опередила на свой шагъ, опять догналъ — а она опять впереди. Въ эту минуту прямо надъ Наташиной головой большая зеленая стрекоза, а по мѣстному — коромысло, однимъ броскомъ и догнала и защемила комара. Зенонъ говоритъ: не можетъ это быть, въ мѣрѣ нѣтъ движенія, все это только кажется! А если поднять отъ книжки голову — бѣжитъ рѣка, по рѣкѣ бѣгутъ струйки, у самого берега серебристая уклейка губой ловитъ намокшую муху — и на глади рождается и расплывается кружокъ. Имя рѣкѣ Ока, Зенону не знакомое, а для Наташи такое свое, что можно отдать за него всю душу — и то мало. И однако она хмуритъ брови, опять смотритъ на страницу книги и старается понять, какъ же это такъ, что движеніе — только иллюзія? Всѣ предметы природы, значить, и камень, и трава, и стрекоза, и солнечный свѣтъ, и сама она Наташа, — все это реально лишь какъ воплощеніе божества, какъ застывшее величіе неизъяснимой и всевластной воли, внѣ насъ стоящей. Умомъ этого не понять, а чувство радо слить въ одно цѣлое весь этотъ трепеть міра, и даже безо всякихъ умствующихъ ссылокъ на математику. Просто — я въ стрекозѣ и стрекоза во мнѣ, а голосъ кукушки — мой голосъ, и во мнѣ прохлада окскихъ водъ.

И тутъ, вставъ и оглянувшись внимательно, съ дѣвичьей боязнью, Наташа быстренько скидываетъ платье и рубашку, спускается по мягкимъ травамъ ската, морщится, ступивъ на острый камушекъ, — и вотъ она въ водѣ къ ужасу уклеекъ, плотичекъ и живо юркнувшего въ нору рака.

Можетъ быть и нѣтъ движенія въ реальности, но и вода несетъ тѣло, и руки ей помогаютъ, подвигая его саженками, по-мальчишески; и не будь Ока такой широкой, можно бы улплыть на тотъ берегъ, на этомъ оставивъ очень умнаго и очень нелѣпаго Зенона, который и плавать не умѣетъ, и Оки не видалъ, да и вообще смѣшной старикашка, запутавшійся бородкой въ переплетѣ книги, если была у него борода.

Нисколько его не стыдятся, этого слѣплого умника, Наташа пробуетъ лечь на спину, что на быстрой рѣкѣ не такъ просто. Ее относитъ теченьемъ, и, выйдя поодаль на берегъ, она бѣжитъ къ платью немного согнувшись, потому что если слѣпъ Зенонъ, то не слѣпы кузнечики, и небесные барашки тоже не слѣпы, и вообще на всякій случай.

— Итакъ, — говоритъ Зенонъ, — будемъ продолжать. Если предположить, что быстроногій Ахиллесъ пробѣжитъ десять локтей, отдѣляющихъ его отъ черепахи...

Быстроногій Ахиллесъ, сбросивъ на бѣгу хитонъ, летитъ такъ, что сверкаютъ на солнцѣ голая пятки. Онъ весь — порывъ и движеніе, кудри развиваются, издали слышно частое дыханье. На черепаху это не производитъ ни малѣйшаго впечатлѣнія: ползетъ, не торопясь, зная, что ея побѣда обезпечена. Разумѣется, сочувствіе Наташи на сторонѣ Ахиллеса, но ей нравится и увѣренность черепахи, какая-то обреченность этого состязанія. Силой своей скептической мысли Зенонъ не даетъ Ахиллесу перепрыгнуть черезъ черепаху и унести по берегу рѣки до самого перелѣска. Есть тутъ какой-то математическій фокусъ, но Наташѣ онъ такъ же неизвѣстенъ, какъ и огорченному бѣгуну.

Лѣто пройдетъ быстро — уже начали косить сѣно; и не оглянешься, какъ пора въ Москву. А между прочимъ — основная цѣль жизни еще не выяснена, будущее еще не намѣтилось! Опять будутъ рѣчи о страждущемъ народѣ о деспотизмѣ самодержавной власти. Потомъ о соот-

ношеніи личности и общества, о путяхъ эволюціи и революціи, о методахъ борьбы и, главное, тактикѣ. И еще объ общественномъ долгѣ и личномъ самопожертвованіи. Долгъ — вздоръ, а отдать свою жизнь такъ, какъ хочется, — развѣ это жертва? это и значить — выиграть свою жизнь! И все-таки интересно, любила ли Перовская Желчкова? Какую роль въ ея жизни сыграла эта любовь?

Послѣ купанья такъ хочется ѣсть, что Наташа выпила бы цѣлую кружку молока; но днемъ парного нѣтъ, нужно ждать, пока пригонять коровъ. А пока бы хотѣла черного хлѣба съ крупной солью! И свѣжій огурецъ. Зенонъ, уткнувшись лицомъ въ траву, пробуетъ задремать, но его перевертываютъ, захлопываютъ, прижимаютъ теплымъ локтемъ и почти бѣгомъ несутъ домой — черезъ поля высокой ржи, которая уже налилась и начинаетъ золотиться. По переплету пощелкиваютъ колосья, и Зенону со всѣми его единомышленниками и всѣми его врагами безпкойно, потому что руки Наташи въ непрерывномъ движеніи: она рветъ колосья, вычищаетъ еще не зрѣлыя зерна и ѣсть ихъ бѣлыми зубами.

У нея свѣтлые голубые глаза, очень ясные, потому что молодые. И она здорова, потому что выросла въ деревнѣ и еще не замучена городомъ. Кожа золотистая, босыми ногамъ прохладно въ тѣни высокой ржи. Міръ пахнетъ травами, прекрасный міръ, невѣдомый тѣмъ, кто смотритъ изъ городскихъ оконъ на мостовую и думаетъ, что ничего другого нѣтъ, что такъ и нужно жить — въ пыли, въ дыму и людскомъ гомонѣ. И кто, значить, не вѣдаетъ великаго счастья — быть обнятымъ природой и плыть по воздуху, надъ полемъ, надъ лѣсомъ, въ горячемъ солнечномъ лучѣ, мошкой, мотылькомъ, ястребомъ, въ шлопотѣ травъ, во всей этой изумительной музыкѣ лѣтняго дня и въ ощущеніи молодости, котораго никакими словами не выразишь и не расскажешь.

И вотъ — изгородь стараго сада, калитка, липовая аллея и крылечко дома. Зенонъ чувствуетъ, какъ молодая

неразумная сила несетъ его по скрипучей лѣстницѣ и плашмя хлопаетъ на плоскую доску стола. Нуженъ весь его стоицизмъ, чтобы и тутъ отрицать множественность вещей и настаивать на иллюзорности движенія, — но какъ иначе поступить мудрецу, который двѣ съ половиной тысячи лѣтъ твердитъ одну и ту же остроумную выдумку о черепахѣ и Ахиллесѣ? Саркастически улыбаясь, онъ прислушивается къ удаляющимся шагамъ.

ОТЕЦЪ ЯКОВЪ

Въ семь часовъ утра отецъ Яковъ пробуждается совершенно свѣжимъ и готовымъ въ походъ. Умывается и одѣвается безшумно, чтобы не обезпечить гостеприимныхъ хозяевъ, волосы расчесываетъ прилежно, рясу осматриваетъ обстоятельно, сапоги натягиваетъ только въ передней, передъ выходомъ. Затѣмъ, съ толстымъ портфелемъ подмышкой, отецъ Яковъ тихо выходитъ, осторожно притворяетъ за собой дверь и легкой поступью, при всей своей грузности, спускается по лѣстницѣ. Въ восемь утра онъ уже въ гущѣ любопытной человѣческой жизни, которую любитъ и которую изучаетъ вдоль и поперекъ.

Отецъ Яковъ — безприходный попъ, родомъ изъ приуральской губерніи. Безприходнымъ сталъ послѣ разныхъ сложныхъ событій и неприятностей, и семейныхъ, и общественныхъ, и финансовыхъ. Въ чемъ дѣло — никто точно не помнитъ, и въ родныя мѣста отецъ Яковъ больше не жалуется. Было что то со сборомъ на голодающихъ и съ приютомъ для дѣвочекъ, — исторія стародавняя. Есть у отца Якова какія-то средства, постоянныя и ничтожныя, хватающія на билетъ третьяго класса и на закусочную лавку. Жительствуетъ больше по знакомымъ, не напрашиваясь, а по дружбѣ, со скромностью. Толстъ и слегка краснощекъ, — но не пьетъ спиртного и не склоненъ къ чревоугодію; просто — всякая жизнь и всякое питаніе ему не

пользу. Сегодня онъ въ Москвѣ, завтра въ Питерѣ, черезъ недѣлю въ Вологдѣ, въ Уфѣ, въ Рязани, зимой — по городамъ, лѣтомъ — на Волгѣ и Камѣ, третьимъ классомъ парохода отъ Ярославля до Астрахани, отъ Нижняго до Перми. И всюду-всюду друзья и знакомые, временный пріютъ, ласковый привѣтъ.

Никто не знаетъ точно, зачѣмъ странствуетъ отецъ Яковъ, и никто не удивляется его дальнимъ перелетамъ.

— Откуда вы, отецъ Яковъ?

— Да вотъ нынѣ изъ Тулы. Хорошій городъ, и люди привѣтливые.

— Что вы тамъ дѣлали, отецъ Яковъ?

— А смотрѣлъ, знакомился. Городъ самоварный и принашный, хорошій городокъ. И общество прекрасное.

Отецъ Яковъ хвалить все и всѣхъ. Дурного онъ не хочетъ видѣть, и говорить о дурномъ не любитъ. Въ каждомъ мѣстѣ заводитъ добрыя знакомства, все больше съ мѣстными интеллигентами — съ докторами, съ адвокатами; съ духовными лицами мало, хотя не чуждается. Не брезгаетъ и исправниками и очень интересуется революционерами, но о подобныхъ встрѣчахъ и знакомствахъ никогда не болтаетъ: понимаетъ, что нельзя.

Портфель отца Якова полонъ рекомендацій, бумажекъ съ печатями, брошюрокъ земскаго и епархіальнаго изданія, его собственныхъ писаній и визитныхъ карточекъ съ адресами. Кое-гдѣ по городамъ, у вѣрныхъ и скромныхъ людей, хранятся его архивы: склады имъ же изданныхъ книжекъ и тетради его дневниковъ, обернутыя въ бумагу, ладно перевязанныя веревочкой и припечатанныя его печатью. И пишетъ отецъ Яковъ преимущественно краткія изслѣдованья о мѣстныхъ обычаяхъ, о провинціальныхъ памятникахъ старины, о кустаряхъ, о ярмаркахъ, — и для газетъ и для изданія книжечкой въ знакомой типографіи. Пишетъ путанымъ, узорнымъ почеркомъ, со средней грамотностью, поповскимъ стилемъ, со множествомъ пышныхъ прилагательныхъ, — но вещи не глупыя и не

пустыя. Это какъ разъ тѣ самыя листовки и двухлисточки, рѣже поболь, которыя, выйдя изъ подъ невѣдомаго пера въ незнаемыхъ книгопечатняхъ, потомъ дѣлаются библиографическими рѣдкостями и собираются такими же, какъ отецъ Яковъ, странными и любознательными человекѣми. Отецъ Яковъ знаетъ всѣ типографіи и всѣхъ маленькихъ издателей; и книжечекъ выпустилъ не меньше двадцати, а статеекъ написалъ безъ числа. Любить и гонораръ — конечно, маленькій, соотвѣтственный его стилю и его неизвѣстности.

Главная страсть отца Якова — сидѣть за чаемъ въ обществѣ просвѣщенныхъ людей, и слушать ихъ разговоры, своихъ замѣчаній не вставляя. Когда видитъ, что его стѣсняются, отходить или совсѣмъ уходить; но къ нему скоро привыкають, и никогда никто не могъ упрекнуть отца Якова въ нескромности: самъ слушаетъ, но о слышанномъ по чужимъ домамъ не переноситъ.

— Ну, а вы, отецъ Яковъ, какъ объ этомъ думаете?

— Я то? Мнѣ думать не нужно, это дѣло не мое, дѣло свѣтское, ваше дѣло.

Иногда проговаривается, какъ бы невзначай:

— Былъ я въ Питерѣ и посѣтилъ знаменитаго батюшку отца Галона.

— Да что вы, отецъ Яковъ! Какъ же вы къ нему добрались?

— Знакомые друзья помогли, отрекомендовали. Человѣкъ поистинѣ любопытный. Поглядѣлъ на него, послушалъ.

— А не боитесь, отецъ Яковъ? Вѣдь за такое знакомство и нагорѣть можетъ.

— А что же я дѣлаю, я только полюбопытствовалъ. Все же — собрать по священной рясѣ, а его поступками я не интересуюсь, не мое дѣло. Я и у министра побывалъ, у самого у Плеве.

— А къ нему какъ попали и зачѣмъ?

— Путемъ протекціи. Имѣлъ къ нему дѣло, хлопоталъ

за малышей, за приютскихъ дѣтей, о малой субсиди. Имѣлъ, конечно, записочку отъ сіятельной княгини, отъ покровительницы.

— Ну, и что же?

— А ничего. Интересно. Человѣкъ важный и основательный. Надо ихъ смотрѣть, вліятельныхъ личностей и правителей государства.

— Разговаривали?

— Разговоръ былъ малый, всего минутку побылъ. А посмотрѣть любопытно. Значительная личность, историческая.

— Какъ же вы это такъ, на обѣ стороны: и у Гапона, и у Плеве?

— Какія же стороны? Для меня сторонъ нѣтъ, дѣло не мое. Для меня всѣ люди одинаковы. Это вы судите да сопоставляете, а мнѣ все одинаково любопытно.

Все любопытно отцу Якову! Кипитъ Россія — и отецъ Яковъ стоитъ у котла со своей ложкой, вынутой изъ все-вмѣщающаго портфеля. Впередъ другихъ не суется, а если возможно, — тихонько и неазартно зачерпнетъ похлебки. Лю-бо-пытно! Но въ общемъ — его дѣло сторона, онъ только частный наблюдатель жизни, смиренный свидѣтель исторіи. Въ мемуарахъ своихъ, конечно, помѣтитъ все, но это ужъ для потомства, а не ради пустого разговора.

Въ девятьсотъ пятый годъ, передъ самыми свободами, великимъ любопытствомъ горѣлъ отецъ Яковъ. Всегда осторожный и осмотрительный, тутъ онъ позволялъ себѣ заглянуть въ такія мѣста и такія квартиры, куда раньше не рѣшился бы пойти. На дачѣ подъ Москвой спалъ ночами въ одной комнатѣ съ человѣкомъ таинственнымъ, навѣрняка — нелегальнымъ, а можетъ и террористомъ. — такое было время. Впрочемъ на дачѣ почтенной, у земляка и стараго знакомаго, большого либерала, помогавшаго революціонерамъ. Таинственнаго человѣка звали Николаемъ Ивановичемъ, и спалъ онъ не раздѣва-

ясь, даже и башмаковъ не снимая, у открытаго окна, которое выходило на огородъ, а дальше — пустырь до самаго лѣса. Укладываясь спать, подолгу бесѣдовали; отецъ Яковъ рассказывалъ, коротко, немногословно и безъ яркихъ красокъ, объ уральскихъ лѣсахъ и о верховьяхъ Камы, какъ онъ тамъ нашелъ русское племя, которое и про Бога не знало и даже браковъ не имѣло, — такъ, жили, кто съ кѣмъ хотѣлъ, и никому не молились. А его собесѣдникъ, оказывается, знавалъ и эти мѣста, и много другихъ подобныхъ, и сибирскую тайгу, но почему зналъ — не рассказывалъ, а отецъ Яковъ, конечно, не выспрашивалъ.

Иногда Николай Ивановичъ подшучивалъ надъ отцомъ Яковымъ:

— Вотъ заберетъ насъ ночью полиція, святой отецъ, и будемъ мы вмѣстѣ сидѣть въ тюрьмѣ. Тамъ, бываетъ, не плохой борщъ даютъ.

— Меня забирать не за что, я — лицо духовное, свѣтскимъ не занимаюсь. Да и васъ за что же трогать — вы человѣкъ достойный и почтенный.

— А зачѣмъ вы по свѣту бродите, отецъ Яковъ? Что васъ носитъ?

— Брожу по разнымъ малымъ дѣламъ, хлопочу. Ну, и такъ смотрю. Жизнь то, Николай Ивановичъ, любопытна! Всѣ суетятся, и каждому хочется, чтобы вышло по его.

— А вы, значить, со стороны смотрите?

— Я смотрю, никому не мѣшаю. Мнѣ все интересно.

— А можетъ быть вы — опасный человѣкъ, отецъ Яковъ? Чѣмъ вы подлинно занимаетесь — никому не въ-домо.

Отецъ Яковъ отвѣчалъ немного обиженно, но степенно:

— Дурнымъ дѣломъ не занимаюсь, и многіе меня знаютъ. Болтать — не болтаю, а и скрывать нечего. Если же кто не довѣряетъ — не нужно со мною, съ попомъ, во-

даться. Кто вѣрять — тотъ и вѣрять, насильно же ничьей дружбы, ниже довѣрія, не ищу.

— Я вѣрю, отецъ Яковъ, вы не обижайтесь, я пошутилъ. Я знаю людей, много среди нихъ болтался. Тоже вѣдь и я про свои дѣла языкъ не распускаю.

— Ну вотъ и прекрасно.

За три дня сожителства подъ однимъ гостепріимнымъ кровомъ такъ подружились, что даже помѣнялись обувью. Отца Якова, по лѣтнему времени прельстили новые легкіе штиблеты Николая Ивановича, а тому оказались какъ разъ по ногѣ, и впору и удобны, поповскіе полусапожки.

По вечерамъ, за долгимъ чаемъ, Николай Ивановичъ читалъ наизусть стихи — Пушкина, Некрасова, Алексѣя Толстого, а отецъ Яковъ слушалъ съ восхищеніемъ. Также слушалъ, самъ порою подпѣвая, церковныя молитвы и пѣснопѣнія, которыя Николай Ивановичъ исполнялъ удивительно. При цыганскихъ же романсахъ скромный поэтъ немного краснѣлъ, но неодобренія не высказывалъ. И всѣ, кто за чаемъ присутствовалъ, любовались ихъ дружбой и тихонько посмѣивались.

Когда Николай Ивановичъ внезапно уѣхалъ, даже не попрощавшись, и куда — не говорили, а потомъ въ газетахъ описывали наружность неопознаннаго террориста, убившаго градоначальника, — отецъ Яковъ молча читалъ газету, смущенно бѣгалъ глазками и спрашивалъ хозяина:

— А что, видно другъ то мой, Николай Ивановъ, надолго уѣхалъ?

Хозяинъ, который и самъ догадывался, кому онъ давалъ пріютъ, съ дѣланнымъ равнодушіемъ отвѣчалъ:

— Не знаю, отецъ Яковъ, онъ не сказалъ. Да я и вообще его мало знаю, случайное знакомство. Попросили пріютить — ну я его и пріютить.

Отецъ Яковъ продолжалъ въ раздумьи:

— Видно надолго. И въ моихъ сапожкахъ уѣхалъ. Хо-

рошій былъ человекъ, веселый, а въ душѣ какъ бы страждущій. Лю-бо-пытнo!

Однако скоренько собрался, поблагодарилъ за гостепріимство и тоже уѣхалъ, то ли изъ опаски, то ли дальше смотрѣть міръ, людей и событія.

Впрочемъ, подолгу отецъ Яковъ не любилъ засиживаться нигдѣ.

ПОДЪ НОВЫЙ ГОДЪ

Въ ночь подъ Новый годъ въ селѣ Черкезовѣ, подъ Москвой, въ домикъ учителя, собралось нѣсколько молодыхъ людей. Новогодній пиръ не отличался пышностью: студень съ хрѣномъ, картошка со сметаной и, вмѣсто шампанскаго, двѣ бутылки краснаго удѣльнаго номеръ двадцать два.

Хозяинъ, пожилой учитель, говорилъ:

— Нынче, товарищи, опасаться нечего. Подъ Новый годъ обысковъ не дѣлаютъ, тоже вѣдь и охранники празднуютъ.

Гостей шестеро, въ томъ числѣ двѣ дѣвушки. Всѣ одѣты такъ, чтобы не очень выдѣляться изъ обычной рабочей толпы поселка, — и по всѣмъ лицамъ видно, что это не рабочіе. Больше всѣхъ похожъ на рабочаго парня тотъ, котораго называютъ то Алешей, то Оленемъ. Онъ — высокій красивый блондинъ, съ лицомъ мужественнымъ и очень нервнымъ; къ нему, широкогрудому и стройному, кличка «Олень» очень пристала, и повидимому онъ къ ней привыкъ. Меньше всѣхъ могъ бы сойти за пролетарія маленькаго роста еврей, съ обезображенными и исковерканными кистями обѣихъ рукъ; у него большіе, слегка на выкатѣ удивленные глаза, рѣдкая борода, слабый голось и острый, ядовитый язычекъ; его называютъ Николаемъ Ивановичемъ, онъ — старый партійный работникъ, и всѣ знаютъ, что его руки обожжены взрывомъ, когда онъ завѣдовалъ эсеровской лабораторіей. Третій

гость учителя — невеселый и задумчивый юноша Мористъ, студентъ, успѣвшій еще до московскихъ событій дважды посидѣть въ тюрьмѣ и освобожденный въ дни «свободы». Четвертый — товарищ Петрусь, студентъ-лѣсникъ, румяный, пріятный, веселый, общій любимецъ; въ дни ноября онъ, въ высокой папахѣ и съ револьверомъ въ рукахъ, единолично разгонялъ толпы черносотенныхъ демонстрантовъ: врывался въ середину толпы и кричалъ: «честные люди расходись, а жуликовъ пристрѣлю!» Стрѣлять ему не приходилось, такъ какъ толпы разбѣгались, оставляя на снѣгу царскіе портреты и иконы Серафима Саровскаго. На эти свои подвиги Петрусь смотрѣлъ, какъ на легкій спортъ и забавное развлеченіе. Но въ декабрьскіе дни онъ такъ же весело валилъ фонарные столбы, заграждая путь семеновцамъ, и перестрѣливаясь съ ними изъ-за слабого прикрытія.

Одну изъ женщинъ, постарше, зовутъ Евгенья Константиновна. Она некрасива, но такъ родовита и барствена лицомъ, что никакой головной платокъ не превратитъ ее въ заводскую дѣвушку. По выговору — не москвичка, такъ какъ говоритъ отчетливо «конечно» и «скучно», а не «конешно» и «скушно», какъ полагается говорить москвичамъ; скорѣе всего — петербурженка, притомъ привыкшая и къ иностраннымъ языкамъ. Другая, наоборотъ, похожа на молоденькую крестьянку, крѣпко сшитую, бойкую, но съ тѣмъ выраженіемъ ранней степенности, которая свойственна рязанскимъ дѣвушкамъ и бабамъ. Это — Наташа. Къ ней всѣ относятся съ особымъ вниманіемъ и нѣсколько подчеркнутой участливостью, потому-ли, что она младшая, или потому, что меньше всѣхъ похожа на заговорщика.

— Вы, Наташа, собственно напрасно рискуете, — говоритъ Олень. — Вамъ и нѣтъ смысла, и не нужно переходить на нелегальное положеніе.

— На квартирѣ я рискую больше; вы знаете, что у меня хранится въ комнатѣ?

— Это нужно завтра же ликвидировать. Ктонибудь къ вамъ явится и унесетъ.

Евгенья Константиновна говоритъ спокойно:

— Я завтра унесу. Только куда? Чистыхъ квартиръ больше нѣтъ, а къ себѣ я не могу.

— Придумаемъ. Я скажу вамъ куда. Вы только будьте осторожныѣе, Евгенья Константиновна.

Она подымаетъ брови: развѣ нужно давать ей совѣты?

Въ самые горячіе дни московскаго возстанья она, всегда прекрасно одѣтая, въ дорогихъ мѣхахъ, не разъ доставляла «конфеты», изящно упакованныя коробочки съ ударными бомбами. Это сдѣлалось какъ бы ея основной специальностью. Однажды у выходныхъ дверей большого дома она встрѣтилась съ молодымъ жандармскимъ офицеромъ, который бросился къ дверямъ, распахнулъ ихъ и придержалъ, пока элегантная дама выходила. Онъ былъ олицетвореніемъ офицерской любезности, и она подарила его благосклонной улыбкой. На улицѣ онъ нѣкоторое время, впрочемъ осторожно и почтительно, шелъ за ней. Она взяла извозчика и уѣхала, держа коробочку на вѣсу, — чтобы не взорваться, если споткнется лошадь или подброситъ санки на снѣжной уличной колеѣ. Когда извозчикъ пересѣкалъ Садовую улицу, неподалеку, у Красныхъ Воротъ, дало залпъ подвезенное солдатами орудіе, — такъ, вдоль улицы, на всякій случай, картечью. Лошадь дернула, испуганный извозчикъ еще подстегнулъ ее кнутомъ, и санки понеслись по ухабамъ запущенной въ эти дни улицы. Она откинулась, но руки со страшной коробочкой остались на вѣсу, надъ полостью саней, а пальцы крѣпко держали прочную веревочку. Когда отъѣхали подале, извозчикъ повернулся къ ней:

— Ну, барыня, и напужался я! Вотъ какъ палятъ въ матушкѣ-Москвѣ!

Она равнодушно спросила:

— А почему это стрѣляютъ?

— Кто жъ ихъ знаетъ? Про то извѣстно начальству. А люди говорятъ: революція!

— Что это такое — революція?

— Господа бунтуютъ. А сказываютъ — и рабочіе недовольны. Дѣло не наше, мы — извозчики.

Доставивъ коробочку въ условленное мѣсто, она вернулась домой, гдѣ ея дядя, генераль, обрушился съ упреками за ея прогулки по беспокойной Москвѣ.

— Тебя могутъ случайно подстрѣлить!

— О, дядя, я осторожна. А почему вы дома? Вы не усмиряете мятежниковъ?

— Богъ миловалъ! Не доставало, на старости лѣтъ, воевать съ народомъ. Мы, къ счастью, избавлены, на это есть Семеновскій полкъ.

— А вы не сочувствуете мятежникамъ, дядя?

Ей, недавней институткѣ, дядя прощалъ любяя неразумныя слова. И теперъ онъ только потрепалъ ее по щекѣ:

— Я служу царю, моя милая! Надѣюсь, что и ты имъ не сочувствуешь.

И онъ добродушно разсмѣялся.

.....

Олень говорилъ:

— Наташа, явочную квартиру придется пока оставить у васъ. Но не держите дома ничего, никакихъ бумажекъ, никакихъ адресовъ, и людей не собирайте. Какъ можно осторожниѣ! Ну, а вамъ, товарищи, необходимо на время изъ Москвы исчезнуть. Въ случаѣ чего — сноситесь черезъ Наташу.

— А ты, Алеша?

— Я останусь.

— Тебя заберутъ, тебя хорошо знаютъ по Прѣснѣ.

— Заберутъ — не заберутъ, а я уѣхать не могу, и говорить нечего. Живымъ меня не заберутъ.

Учитель сказалъ:

— Черезъ три минуты — Новый Годъ. Давайте хоть вина выпьемъ, а ужъ потомъ договоримся обо всемъ.

Налили вина въ толстые стаканы. А когда чокнулись и выпили, — на добрый часть исчезли заговорщики и занганные революціонеры, и остались молодые люди, счастливые тѣмъ, что всѣ они еще на свободѣ и что въ ихъ средѣ двѣ милыя дѣвушки, одна строгая и немного чопорная, другая — совсѣмъ еще неоперившійся птенчикъ революціи совсѣмъ дѣвочка, простая и ясноглазая.

— Вы, Наташа, пѣть умѣете?

— Я по крестьянски, какъ у насъ въ Федоровкѣ. Хотите частушки?

— Спойте, Наташа.

Она встала, подбоченилась, выбила каблучками дробь:

Говорили про меня,

Што баловлива больно я.

Гдѣ же мнѣ быть баловливой,

Строгий папа у меня.

— Нѣтъ, у меня веселое не выходитъ. Давайте споемъ хоромъ, я буду запѣвать.

Они спѣли сначала «Стеньку Разина», потомъ «Ой у лузи», но хоръ составилъ плохо. Только Петрусь хорошо тянулъ теноромъ, а женскій голосъ одинъ — Наташинъ.

— Вы не поете, Евгенія Константиновна?

— Я не знаю русскихъ пѣсенъ. Меня учили романсамъ, да и то по французски.

Учитель посмотрѣлъ удивленно. Онъ зналъ Евгенію Константиновну, какъ члена эсеровской партіи, и слыхалъ о необыкновенномъ ея хладнокровіи и выдержкѣ, — объ этомъ всѣ знали. Зналъ еще, что черезъ нее партія получала свѣдѣнія о настроеніи военныхъ круговъ и о составѣ московскаго гарнизона, который въ дни революціи

оказался малочисленнымъ и непрочнымъ, почему и были присланы въ Москву семеновцы. Но біографіи ея онъ не зналъ, какъ и большинство; не зналъ и ея настоящей фамиліи. Хорошо ее зналъ только Олень.

Въ третьемъ часу ночи она встала:

— Ну, я пойду.

— Куда же? Нельзя такъ поздно; вы и не доберетесь до города.

Она улыбнулась:

— Я доберусь. И не очень боюсь. У меня есть защита!

Вынула изъ простенькой сумочки револьверъ — маленький «велодокъ» съ рукояткой, выложенной перламутромъ.

Учитель настаивалъ:

— Оставайтесь, товарищи, до свѣта. Тамъ разбредетесь. А сейчасъ очень опасно.

Рѣшилъ Олень. Другіе привыкли ему подчиняться:

— Идемъ всѣ. До города — вмѣстѣ, въ городѣ — по одиночкѣ. Новый годъ, да и ночь чудесная, снѣгъ идетъ — прогуляемся!

Мужчины были въ сапогахъ, женщины въ глубокихъ ботахъ. Вышли веселой гурьбой, и до края поселка провожалъ учитель.

Наташа потянула за рукавъ Оленя:

— Отстанемъ на минутку.

— Слушаю, Наташа, въ чемъ дѣло?

— Товарищъ Олень, я хочу вамъ сказать, что я рѣшила не возвращаться домой, къ отцу, въ Рязань. Онъ вызываетъ меня, но я не поѣду. И еще, что я рѣшила, если вы меня возьмете, пойти въ боевую организацію.

— Рано вамъ, Наташа! А затѣмъ — убивать и умирать не такъ просто.

— Убивать — да, а умирать просто. Ну, я вамъ все сказала, догонимъ ихъ.

Онъ задержалъ ее еще:

— Сколько вамъ лѣтъ, Наташа?

— Мнѣ? Двадцать, скоро двадцать одинъ. Развѣ революцію создаютъ старики? Вотъ и вы тоже молодой, и Петрусь, и большинство. Ну, это все. Когда будетъ нужно — вы вспомните.

МОЛОДОЖЕНЫ

У самага подъѣзда онъ напомнилъ ей, понизивъ голосъ:

— Не забывайте, Наташа, что вы — Вѣра, и называйте меня на ты. А я, конечно, Анатолій.

— Да-да.

— Ну, теперь идемъ. Кажется это — второй этажъ? Ты помнишь?

— Второй, дверь направо.

Отворила горничная:

— Пожалуйста. Я все приготовила, какъ сказали.

Они прошли въ гостиную, обставленную богато и безвкусно. Въ большомъ зеркалѣ отразились высокія фигуры: женщина, темная шатенка съ очень пріятнымъ лицомъ, въ кружевной накидкѣ и модной шляпкѣ, и ея мужъ, одѣтый съ иголочки, широкоплечій, бѣлокурый, здоровый, молодой.

— Васъ зовутъ Машей?

— Да, барыня.

— Вы давно здѣсь служите, Маша?

— Три года. Когда наша барыня уѣзжаютъ, всегда меня оставляютъ здѣсь при квартирѣ.

— Мы переѣдемъ сегодня къ вечеру, Маша. Ужинать сегодня будемъ въ ресторанѣ, а съ завтрашняго дня дома.

— Слушаю.

Они осмотрѣли столовую, гдѣ было чисто прибрано и вся показная посуда выложена на буфетъ. Потомъ заглянули въ спальню съ большой постелью, высокимъ крутобокимъ комодомъ, огромнымъ зеркальнымъ шкапомъ.

И здѣсь зеркало отразило ихъ лица: очень серьезное дѣловое лицо мужчины и немного смущенное — женщины.

— Хорошо, Маша, спасибо. Нужно будетъ кое-что докупить, мы этимъ послѣ займемся.

Собственно докупать было нечего; скорѣе было бы можно убрать множество ненужныхъ предметовъ: скамеечки, пуфы, вазочки, безвкусныя картины.

— Постель приготовить, барыня? Я простынь не постлала.

Надо было сказать, что «мой мужъ любить спать на диванѣ», — но горничная смотрѣла на нихъ съ такимъ любопытствомъ и вниманіемъ, что Наташа не рѣшилась.

— Да, конечно, къ вечеру все приготовьте.

На столѣ въ кабинетѣ стоялъ громоздкій и ненужный письменный приборъ: высокая чернильница съ песочницей, разрѣзной ножъ, стаканъ для перьевъ, тяжелый пресбюваръ, пепельница, все сѣраго камня съ аляповатой бронзой. Наклоненная лира съ гвоздиками — класть ручки и карандаши — и слишкомъ коммерческаго вида стойка для бумагъ. Для книгъ была небольшая этажерка, и на ней толстая телефонная книга и «Весь Петербургъ».

— Напомни мнѣ, Анатолій, купить чернилъ! И бумаги, конвертовъ.

Олень съ уваженіемъ посмотрѣлъ на Наташу: «какой она молодецъ, какъ славно себя держать! Какъ у нея хорошо вышло: «напомни мнѣ, Анатолій»...

Онъ на мнуту присѣлъ въ мягкое кресло, похлопалъ ладонью по колѣнкѣ и не зналъ, что нужно говорить.

— Тебѣ будетъ удобно тутъ заниматься?

— Да, ничего. Пойдемъ?

— Пойдемъ. Значить, Маша, досвиданья, до вечера. Мы придемъ часу въ восьмомъ.

— Слушаю, барыня.

Они вышли. До угла улицы молчали, потомъ онъ сказалъ:

— Да, немножко смѣшно. Ужъ очень парадно. Вы сумѣете управиться, Наташа?

— Какъ нибудъ сумѣю. Только не забыть бы купить чаю, сахару, печенья, чего еще? Варенья? Вы варенье любите?

— Вѣроятно люблю. И чернилъ.

— Да, и чернилъ. Мы будемъ покупать вмѣстѣ? Хотите зайдемъ сейчасъ?

— Ну что же. Только ужъ будемъ вообще на ты. Нужно привыкать. Вы — Вѣра, а я — Анатолій. А башмаки много жмутъ. И почему я въ пальто — тоже неизвѣстно, и безъ него жарко. А вы все-таки удивительный молодецъ! Все знаете!

— Что я знаю? Что нужно сахару?

— Ну да, и вообще; настоящая барыня.

— Нѣтъ, я плохая хозяйка. Какъ я буду заказывать обѣдъ — прямо не понимаю. Дома мнѣ никогда не приходилось. Хотя знаете, я умѣю готовить воздушный пирогъ. Ну, какъ нибудъ обойдется.

Въ восемь часовъ они приѣхали съ большими, новыми и слишкомъ легкими чемоданами. Одинъ, потяжелѣе, съ книгами. Онъ не зналъ, что купить, — и купилъ полное собраніе сочиненій Достоевскаго, нѣсколько сборниковъ «Знанія» и еще, по ея просьбѣ, повареную книгу. Въ другомъ чемоданѣ были ея вещи, тоже новыя, — три платья, немного бѣлья безъ мѣтокъ, коробка почтовой бумаги, туалетныя принадлежности, — много ненужнаго, чего у нея никогда не было, но что сейчасъ необходимо имѣть, чтобы казаться настоящей барыней. Коробка душистаго мыла, хорошій одеколонъ, пудра, духи. Ночныя туфли съ краснымъ помпономъ. Легкій капотикъ. Въ двухъ картонкахъ — новыя шляпы, одна красивая, другая безвкусная. Ему купили двѣ пижамы, которыхъ раньше онъ никогда не имѣлъ, и тоже ночныя туфли. И самое смѣшное — халатъ съ пышными кистями. Въ халатѣ Олень никакъ не могъ себя представить.

— Сколько мы денег истратили!

— Это необходимо, Вѣра.

— Я знаю. Но жаль денегъ.

Костюмы, бѣлье, галстуки, башмаки — все было новенькое, только что изъ магазина. Совсѣмъ не было случайныхъ и старыхъ вещей, которыя сопровождаютъ каждый даго — милыхъ, привычныхъ и подержанныхъ. Все было неношено, неудобно и ненужно.

Когда онъ протянулъ руку, чтобы снять чемоданы съ извозицей пролетки, Наташа остановила его:

— Подожди. Мы вышлемъ взять вещи Машу, а ей поможетъ дворникъ.

Она знала лучше, и онъ подчинился. Дворникъ, получивъ хорошо на чай, рѣшилъ, что господа стоящіе. По ихъ паспортамъ узналъ, что изъ купцовъ, тамбовскіе, мужъ съ женой, по фамиліи — Шляпкины.

Пили чай съ вареньемъ и, пока входила Маша, разговаривали мало. Олень чувствовалъ себя не столько «баринкомъ», сколько гостемъ. Въ одиннадцатомъ часу Маша ушла спать, получивъ на завтра не вполне точныя, но толковыя распоряженія. Видимо господа ѣдятъ просто — супъ, телятина, компотъ. Изъ закусокъ велѣли купить вареную колбасу и сардинки. Въ запасъ — масло, вермишель, уксусъ, картошку — какъ обычно. Маша напомнила, что еще нужно соли, горчицы, перцу, и кореньевъ. Барыня сказала: «ну, конечно!» и выдала денегъ на расходы. Ни водки, ни вина. Баринъ не пьетъ, а гостей не ждутъ; можетъ быть потомъ сами купятъ.

Когда они остались одни, оказалось, что разговаривать стало еще труднѣе; однако нужно многое рѣшить.

Они, Вѣра и Анатолій Шляпкины, молодожены. Впрочемъ, по паспорту, женаты уже второй годъ.

— Кажется — все ладно?

— Вы удивительны, Наташа! Такая образцовая хозяйка!

— Только не Наташа и не вы.

— Да, правда. Ты, Вѣра, совсѣмъ молодець.

— Нѣтъ, я не молодець. Я все никакъ не могу по настоящему войти въ роль; я, напримѣръ, забыла, что для супа нужны корни.

— Какъ корни?

— Ну тамъ морковь, сельдерей. Хозяйство — пустяки, хотя я не умѣю шиковать. Вѣдь мы въ Рязани скромно жили.

— Это все же нужно, особенно передъ прислугой. Вотъ вы заказали телятину, а, пожалуй, правильнѣе индѣйку или тамъ рябчиковъ, я не знаю.

— Пустяки. Я сказала Машѣ, что мы любимъ ѣсть просто, а по пятницамъ всегда постное.

— Ну? Вотъ это ловко! Это правильно. Это прямо замѣчательно.

— А какъ теперь дальнѣйшее?

— Что дальнѣйшее? Спать — и все; утро вечера мудренѣй.

— Видите... видишь, Анатолій, а какъ, напримѣръ, спать?

— А что?

— Да вѣдь спать придется въ спальнѣ?

— Конечно. Ахъ да...

— Мнѣ неловко при васъ раздѣваться.

— Это же вздоръ, пустяки. Будьте выше этого, Наташа!

— И вздоръ, и не вздоръ. Какъ-то неудобно. Что-нибудь нужно придумать. Вы не можете спать въ кабинетѣ?

— Мнѣ то все равно. Только... пожалуй, неудобно передъ прислугой. Тамъ и не постлано...

Они задумались, думы ихъ были сходны. Нужно роль играть до конца, — а какъ еѣ играть до конца? То есть, конечно, только для виду...

— Вотъ что, Наташа...

— Не Наташа, а Вѣра, нужно привыкнуть.

— Да, конечно, Вѣра. Вотъ... ты иди и ложись спать. Ложись, какъ слѣдуетъ. А я могу спать въ кабинетѣ, даже не раздѣваясь. Мнѣ это совершенно безразлично, я привыкъ.

— Но нельзя же всегда такъ! И кромѣ того эта дѣвушка, эта Маша, встаетъ очень рано. Она должна прибрать комнаты. Да и ночью она можетъ случайно встать и прійти сюда.

— Это правда.

Они говорили тихо, почти шепотомъ, и сидѣли близко другъ къ другу. Увидавъ его растерянное лицо, Наташа весело разсмѣялась.

— Слушай, знаешь что, не довольно ли намъ говорить о такихъ глупостяхъ? Вотъ нашли трудности!

— Мнѣ то не трудно, но я о тебѣ...

— Вотъ что, я пойду и лягу въ постель. Разъ нужно, такъ и нужно. А вы приходите позже, потушите свѣтъ и тоже какъ нибудь ложитесь. Если намъ стыдно другъ друга, можно не раздѣваться совсѣмъ. А утромъ я перетрясу постель, будто бы мы спали.

— Да, такъ хорошо.

— Ну и все, стоитъ объ этомъ разговаривать.

Опять въ спальнѣ ее увидало зеркало. Ей было двадцать лѣтъ, и съ дѣтства она любила парное молоко. Она не была красива, но была здоровой и замѣтной дѣвушкой.

Присѣвъ на край постели, она сняла туфли и сунула ноги въ новенькія спальныя. Потомъ подумала, скинула платье и сняла чулки. На откинутой простынѣ лежала приготовленная Машей рубашка. Наташа надѣла ее и вспомнила, что купила ночныя кофточки, какихъ никогда не употребляла. Въ кофточкѣ было жарко, а тутъ еще одѣяло. Но ничего не подѣлаешь. Затѣмъ она расчесала и заплела въ двѣ косы свои прекрасныя волосы. Теперь она была красива и привлекательна — и это было глупо и совсѣмъ не нужно. Легла окончательно и расправила

складки легкаго одѣяла, чтобы оно не облегалo ее тѣла. Послѣ, ночью, можно будетъ немного скинуть одѣяло, а утромъ, когда посвѣтлѣетъ, опять его натянуть. Какъ все это глупо!

День былъ трудный. Наташа устала. Свѣтъ тушился съ ея стороны, — но она его оставила. Можно потушить потомъ, когда онъ придетъ. Крикнула:

— Можно, Анатолій!

Онъ вошелъ, большой, бѣлокурый, смущенный. Наташа подумала:

— Вотъ такъ входятъ къ новобрачной, а впрочемъ, вѣроятно, совсѣмъ не такъ.

Олень взглянулъ на нее бѣгло, съ доброй улыбкой:

— Вотъ и правильно. Можете свѣтъ потушить, я и такъ лягу.

Свѣтъ потушили. Слышно было, какъ онъ снялъ башмаки, пиджакъ. Затѣмъ онъ легъ поверху одѣяла.

— Да, я забылъ запереть дверь на ключъ.

Мягко ступая, подошелъ къ двери, заперъ и вернулся, тяжело опустившись на большую и мягкую двуспальную кровать.

Она хотѣла сказать, что вѣдь есть туфли и что онъ могъ бы надѣть пижаму, это удобно, — но промолчала. Сегодня какъ нибудь, а послѣ придумается.

Съ минуту они лежали молча. Потомъ онъ спросилъ:

— Вамъ, Наташа, спать очень хочется?

— Нѣтъ.

— Тогда поговоримъ. Вы, дорогая, будьте проще и о пустякахъ не беспокойтесь. У насъ много серьезнаго. Я вамъ расскажу, о чемъ мы говорили съ Петрусемъ. Вы знаете — онъ уже устроился газетчикомъ.

— Удачно?

— По моему — удачно. Онъ — ловкій парень, настоящій артистъ. И знаете...

— Не говорите такъ громко, кто ее знаетъ, эту Машу.

— Да, правда.

Повернувшись другъ къ другу, они долго шептались. Утомленіе подкралось незамѣтно, и надъ ними опустилась молчаливая и цѣломудренная ночь.

ВЪ ВЫСОКОМЪ УЧРЕЖДЕНІИ

— Портфельчикъ потрудитесь оставить здѣсь.

Отецъ Яковъ замаялся:

— А у меня тутъ бумаги. Въ сохранности ли будетъ?

— Помидуйте, батюшка, въ полной сохранности! Это только правило такое, чтобы съ собой не брали ни палокъ, ни зонтиковъ, никакихъ пакетовъ.

Принимая портфель отца Якова, молодой человекъ, очевидно — помощникъ швейцара, подмигнувъ глазомъ и тихо сказалъ:

— У васъ то, батюшка, у лица духовнаго, ничего нѣтъ, а вѣдь другой человекъ мало ли что пронесетъ въ залу. Можетъ неприятность выйти!

— Разумно, разумно, — сказалъ отецъ Яковъ и подошелъ къ зеркалу расправить бороду. Расчесывая ее грешкомъ, подумалъ:

— Можетъ быть какихъ револьверовъ опасаются. Оно — предосторожность не лишняя.

И сразу стало и интересно и любопытно! Въ Государственной Думѣ этого нѣтъ, тамъ проще. Тамъ народъ бывалый, да и толпа густа. А здѣсь — и пышность и благолѣпіе, ну и осторожность. Люди большіе — Государственный Совѣтъ! И министры, и бывшіе министры, и будущіе министры, коли ихъ Богъ доведетъ и сподобитъ.

Подошелъ опять къ швейцару:

— А я въ томъ портфельчикѣ забылъ свой билетикъ, свой пропускъ.

— Да вѣдь ужъ предъявляли внизу, ваше священство, больше не потребуется. Извольте — достаньте сами.

Отецъ Яковъ пошире открылъ портфель, чтобы вид-

но было, что тамъ нѣтъ ничего неблагоразумнаго, досталъ «билетикъ» и вернулъ портфель.

— Все-таки, на случай, буду имѣть при себѣ.

— Какъ угодно.

По широкой лѣстницѣ поднялся въ мѣста для публики, которой сегодня было мало; больше дамы, очень хорошо одѣтыя. Были еще какіе то старички, а неподалеку отъ мѣста отца Якова — молодая парочка: онъ — высокій, бѣлокурый, въ глазу монокль, она — подъ стать, тоже высокая и здоровая, очень молодая, шатенка, въ черномъ платьѣ, лицо простое и серьезное.

Отецъ Яковъ присмотрѣлся:

— Гдѣ-то видаль эту молодицу. А кто съ ней — того не примѣчалъ. Хорошая чета, и молоды и солидны.

Осмотрѣлся кругомъ — все люди приличные. Есть, впрочемъ, и изъ усачей, то ли военные въ штатскомъ, а то изъ наблюдателей. Понятно: охраняютъ. И опять перевелъ глаза на молодую даму.

— Похоже — не дочка ли рязанскаго доктора? Лицо ея, да ужъ очень парадно одѣта.

Подумавши, пересѣлъ поближе, поправилъ складки лиловой рясы, пригладилъ ладонью бороду и обратилъ лицо къ парочкѣ. Легонько кашлянулъ — и дама повернулась къ нему. Отецъ Яковъ опять кашлянулъ и сказалъ:

— Очень роскошное помѣщеніе. Тоже пришли послушать? Конечно — любопытно!

Господинъ съ моноклемъ покосился, а дама спокойно отвѣтила:

— Да, интересно.

— Родственниковъ имѣете среди членовъ Совѣта, или такъ? Потому, извините, спрашиваю, что знавалъ одного члена по выборамъ, рязанскаго доктора, а вы мнѣ его дочку напоминаете.

Лицо бѣлокураго господина дрогнуло, и монокль по-

висъ на шнуркѣ. Дама покраснѣла, затѣмъ рѣшительно повернулась къ священнику:

— Въ Рязани? Нѣтъ, вы, батюшка, ошиблись. А какой это докторъ?

— Калымовъ, Сергѣй Павловичъ. Прекрасный врачъ, всѣми уважаемый, и человекъ почтеннѣйшій. Значить, ошибся, прошу извинить. Часто бываетъ у людей сходство до поразительности. А я у нихъ бывалъ въ домѣ. Не часто, а бывалъ проѣздомъ.

— Не знаю, А вы, значить, не здѣшній, батюшка?

— Я — російскій, повсюду катаюсь. Въ этомъ же высочомъ учрежденіи въ первый разъ, билетикъ себѣ хлопоталъ.

— Мы тоже въ первый разъ, тоже проѣзжіе.

— Изъ какой губерніи будете?

На минуту она замялась, потомъ отвѣтила:

— Изъ Москвы.

— А, прекрасно, прекрасно. Первостепенная столица, городъ городовъ. Хотя и Санктпетербургъ тоже прекрасный городъ.

Внизу, въ залѣ, послышалось шуршанье ногъ и стукъ люпитровъ. Господинъ съ моноклемъ наклонился къ уху дамы:

— Кто?

— Кажется, знаю его. Просто — священникъ, безвредный. Бывалъ у отца.

— Глупая случайность. Не лучше уйти?

— Нѣтъ, пустяки. Но неприятно. Хорошо, что папа не въ Петербургѣ.

— Ну, тогда бы и насъ здѣсь не было.

Они стали слушать. Засѣданіе было неинтересное. Коекого узнавали по портретамъ. На министерскихъ мѣстахъ сидѣло трое.

Во время монотонной и скучной рѣчи одного изъ членовъ Совѣта, Олень вымѣрлялъ глазами пространство залы. «Изъ конца въ конецъ не перебросишь, — думалъ онъ,

— такая громадина! Если съѣсть съ той стороны, — все-таки въ министерскую ложу не попасть!»

Нѣсколько разъ его взглядъ останавливался на грузной фигурѣ извѣстнаго профессора-либерала. «Этотъ напрасно погибнетъ — но что же дѣлать!»

Мысль его работа быстро и дѣловито. Было бы проще всего — взорвать снизу. Но такого количества не пронесешь. Почему они стали отбирать при выходѣ сумочки и портфели? И даже зонтики! Чувствуютъ? Любопытно, что гдѣ только замѣшаны эсеры — тамъ сейчасъ же пахнетъ проваломъ; лучше было обойтись безъ помощи партійныхъ верховъ и совсѣмъ не посвящать ихъ въ планы. Но теперь уже поздно. О снарядахъ, значить, нечего и думать. Остаются — мелинитовые жилеты. Но кто? Наташа?

Олень болѣзненно нахмурился. Правый глазъ дернулся — монокль не помогъ. Олень боялся этого подергиванья, своей неприятной примѣты. Осторожно оглянувшись публику — но всѣ смотрѣли внизъ на говорившаго.

— Остаются жилеты. Наташа, конечно, потребуетъ, чтобы ее пустили одну. Сила страшная, вѣроятно обрушится потолокъ. Въ сущности не важно, будетъ ли убитъ тотъ, а важенъ самый взрывъ въ Государственномъ Совѣтѣ. Это будетъ настоящимъ громомъ и настоящимъ большимъ дѣломъ. Наташа настойчиво потребуетъ и она имѣетъ право!

Онъ представилъ себѣ Наташу не такой, какой она сидитъ тутъ, рядомъ съ нимъ, дамой въ черномъ, — а милой, веселой и очень ему близкой, ласковой Наташей, просто — женщиной, а можетъ быть и любимой женщиной. И опять сжался и опять силой воли приказалъ себѣ: «Не смѣй! Она умретъ завтра, я днемъ позже!» И еще подумалъ: «Почему позже, когда мы можемъ одновременно, и это легче?» И почувствовалъ, какъ тяжело давить на мозгъ это твердое знанье, что дни считаны и что важ-

но одно: продать свою жизнь какъ можно дороже. Все равно — долго тянуть не хватитъ силъ.

— Значить — Наташа. А съ ней вмѣстѣ я, вотъ какъ пришли сегодня. Она не захочетъ, но она должна будетъ согласиться.

Ораторъ внизу продолжалъ свою медленную и тягучую рѣчь. Олень подумалъ:

— Сумасшествіе! И этотъ, и всѣ, и я, и мы, — сплошное безуміе! Все это должно погибнуть — и погибнуть. Но распускать нервы нельзя.

Въ министерскую ложу вошли еще двое; впереди человекъ въ черномъ сюртукѣ, большоголовый, лысый, съ черной бородкой и усами, закрученными кольчикомъ. При его входѣ сидѣвшіе въ ложѣ встали и почтительно поздоровались. За нимъ человекъ военной выправки; онъ обмѣнялся рукопожатіемъ съ сосѣдомъ и кивнулъ остальнымъ. Ихъ появленіе вызвало движеніе въ залѣ: председатель расправилъ бакенбарды, члены Совѣта пошептались, пристава шевельнулись и застыли. Ораторъ, покосившись на вошедшихъ, на минуту сбился, потомъ продолжалъ рѣчь болѣе приподнятымъ голосомъ.

Господинъ въ моноклѣ опять наклонился къ сосѣдкѣ:

— Это — онъ!

— Который? Съ бородой?

— Да.

Отецъ Яковъ тоже замѣтилъ движеніе — и тоже узналъ вошедшаго. Лицо отца Якова просіяло — приятно лицезрѣть важнѣйшую персону государства! А вѣдь возможно, что доведется посмотрѣть и поближе и даже обмѣняться словомъ, если сіятельная покровительница сдержитъ обѣщаніе!

Едва вошелъ министръ, какъ рядомъ съ мѣстами для публики появилось еще нѣсколько личностей военной выправки, подвижныхъ и внимательныхъ. Интересовалъ ихъ, повидимому не столько залъ собраній, сколько мѣста зрителей. Одинъ долго всматривался въ сидящую парочку,

потомъ въ ея сосѣда — священника, наконецъ перевелъ испытующій взоръ на другихъ.

Олень, не повертывая головы, шепнулъ:

— Можетъ быть пойдёмъ?

— Какъ хочешь.

Онъ прибавилъ громкимъ шопотомъ:

— Какъ-то неинтересно сегодня въ Совѣтѣ. Идемъ?

Вставъ, она привѣтливо, но нѣсколько жеманно, кивнула сидѣвшему рядомъ священнику. Отецъ Яковъ учтиво откланялся, проводилъ чету взглядомъ, вскользь подумалъ, что вотъ вѣдь какое бываетъ сходство, — и снова съ живымъ интересомъ сталъ вслушиваться и всматриваться. Ему, свидѣтелю исторіи, все было одинаково интересно и лю-бо-пытно! И онъ ужъ, конечно, просидитъ до самаго конца — и ничего не упуститъ!

СЕМЕЙНАЯ СЦЕНА

Какъ и въ тотъ разъ, билеты на засѣданіе Государственного Совѣта достала и принесла Евгенія Константиновна. Теперь пропуски были на новыя имена. Опять поинтересовался, не можетъ ли случиться, что носители этихъ именъ будутъ замѣшаны въ дѣло? Евгенія Константиновна спокойно отвѣчала:

— Во-первыхъ, ихъ нѣтъ въ Петербургѣ, а, во-вторыхъ, такія персоны пострадать не могутъ. Но кое-кто другой — пожалуй.

— Кто же?

— Одинъ изъ членовъ Государственного Совѣта, очень любезный человекъ, хотя и не очень хорошей репутации. Онъ устроилъ мнѣ полученіе пропусковъ.

— Онъ васъ выдастъ?

— Вѣроятно. Но дѣло в ътомъ, что онъ вѣдь самъ будетъ въ засѣданіи Совѣта, такъ что ему будетъ, пожалуй, не до того. Конечно... ça dépend...

Наташа и Олень съ удивленіемъ посмотрѣли на Евгенію Константиновну. Какое самообладаніе! И оба замѣтили, что, несмотря на спокойствіе тона, на французскія словечки и даже на внѣшній цинизмъ, Евгенія Константиновна взволнована и грустна; но она прекрасно собой владѣеть.

Провожая ее въ переднюю, горничная Маша всѣ глаза проглядѣла на ее изящный лѣтній костюмъ, дорогой бѣлый кружевной зонтикъ, маленькую модную шляпку и легкую сумочку. Своя барыня нравилась Машѣ простотой обращенія и румянцемъ лица, но настоящей барыней была только эта гостя.

— Наши купческаго званія, а ужъ эта, навѣрно, изъ знатныхъ. И лицо важное и бѣлое.

Олень говорилъ Наташѣ:

— Я боюсь одного, это — участія эсеровъ. У нихъ нехорошо, подозрительно! Всѣ ихъ планы въ послѣднее время проваливаются. И замѣтъ — стали отбирать при входѣ портфели именно съ той поры, какъ мы приняли общій съ ними планъ.

— Но вѣдь нельзя же подозрѣвать Евгенію Константиновну?

— Ее нѣтъ, но она дѣйствуетъ съ вѣдома эсеровскаго центра.

— Она иначе не можетъ.

— Я знаю. Безъ нихъ было бы невозможно. Но я не удивлюсь, если чтонибудь случится. У нихъ есть провокація.

— Такъ нельзя работать, Олень! Съ такимъ сомнѣніемъ.

— И все-таки приходится. Отступать теперь поздно.

Весь этотъ день прошелъ какъ бы въ туманѣ. Говорили о мелочахъ, о возможныхъ случайностяхъ. Говоря — думали каждый о своемъ, очень трудномъ и сложномъ, чего высказать нельзя. Оба жили двойной жизнью, боясь неосторожнаго слова, которое можетъ нарушить стран-

ный гипнозъ наружной дѣловитости и вызвать вопросы, съ которыми уже не совладаешь.

Спасались мелочами: перебирали вещи и вещицы, которыя останутся здѣсь; еще разъ пересмотрѣли, не остались ли на бѣльѣ и одеждѣ помѣтки фирмъ и магазиновъ, не запала ли въ книгу случайная записка. Суетились безъ особой надобности. Украдкой Наташа взглядывала на Оленя, который былъ нервень, задумчивъ и какъ бы смущенъ, но старался сдерживаться. И чѣмъ нервнѣе становился Олень, тѣмъ спокойнѣе чувствовала себя Наташа. Въ ней свершалось то, что бываетъ у вѣрующихъ незадолго до кончины: маленькимъ пламенемъ уже разгоралось важное и серьезное спокойствіе, внутреннее сіяніе обреченнаго.

Вечеромъ, когда они рѣшили лечь и заснуть, Олень сказалъ:

— Наташа, у насъ два пропуска.

— Нужно другой уничтожить.

— Нѣтъ, нужны оба. Я иду съ тобой.

Она была поражена:

— Какъ со мной? Что ты говоришь?

— Я пойду съ тобой, такъ лучше.

— Ты не надѣешься на меня одну?

— Просто — я не могу иначе. вмѣстѣ жили, вмѣстѣ и умремъ.

Она забыла, что ихъ можетъ слышать Маша, покраснѣла, схватила себя руками за виски и закричала:

— Что это значитъ?

Онъ, большой, рѣшительный, желѣзный, безтрепетный, — вдругъ предсталъ передъ ней маленькимъ и жалкимъ. Она почувствовала, какъ всю ее охватилъ жаръ негодованія. Гдѣ же подвигъ? Маленькая мѣщанская любовь? Онъ, ихъ признанный вождь, не можетъ побѣдить въ себѣ жалость къ ней, не можетъ возвыситься надъ общей постелью!

Ей хотѣлось рыдать. Сказочное разсѣялось, и изъ вол-

шебнаго тумана, въ которомъ они жили, проглянуло слезливое лицо мужчины, который не умѣетъ жертвовать.

— Ты не смѣешь! Ты обѣщаль послать меня! Ты не смѣешь меня жалѣть!

Олень отвѣтилъ тихо:

— Я себя жалѣю, Наташа.

Она рѣзко разсмѣялась ему въ лицо, съ жестокостью, какой въ себѣ раньше не знала.

— Ты въ меня влюбленъ? Ила на правахъ мужа? Но ты мнѣ не мужъ, и я тебя не люблю. Ты только мой конспиративный сожитель, купецъ Шляпкинъ!

Онъ не оскорбился и просто сказалъ:

— Зачѣмъ эти слова, Наташа? Если даже люблю — зачѣмъ эти слова?

Она могла бы броситься ему на шею. Но тогда рушится весь укладъ міросозерцанія, которое она себѣ создала и безъ котораго уже не можетъ обойтись. Если принять это — тогда они оба должны измѣнить дѣлу, бѣжать, устроить свою маленькую частную жизнь, ненужную и стыдную. Тогда, значить, все это вообще было ложью, а оба они — молодые супруги, проживающіе на грабленныя деньги! Рядомъ въ постели — и рядомъ умирать. Выиграть любовника — и проиграть Оленя. И проиграть, конечно, себя!

Наташа ушла въ спальню и бросилась на кровать. Слезъ, конечно, не будетъ. Она не погасила свѣта и въ путаницѣ мыслей смотрѣла на потолокъ, гдѣ дрожали тѣни стеклянныхъ висюлекъ. По угламъ комнаты тихо пересмѣивались Зенонъ, греческіе стойки и нѣмецкій Ницше. Внутри былъ холодъ: черезъ сердце Наташи катили свои волны Ока. Въ сущности — это была уже смерть... но вѣдь смерти нѣтъ?

Она закрыла глаза. Волны Оки потеплѣли и смѣшались съ горячей кровью. Стало легче дышать, и она вспомнила, что въ сосѣдней комнатѣ остался Олень, вчерашній силачъ и сегодняшній слабый человѣкъ. И тотъ и дру-

гой были ей равно близки: тотъ посылалъ ее, этотъ шелъ съ нею вмѣстѣ. Она окликнула Оленя, назвавъ его настоящимъ именемъ, какъ почти никогда не называла:

— Алеша, иди сюда!

Онъ вошелъ совсѣмъ не робко и безъ тѣни смущенія; подошелъ къ кровати вплотную.

— Кажется я устроила тебѣ семейную сцену?

Онъ улыбнулся и погладилъ ее по головѣ.

— Ты меня поразилъ. Я не думала, что ты бываешь слабымъ.

— Конечно, бываю. Но это — не слабость; это — обдуманное рѣшеніе.

— Но ты не пойдешь?

— Я, Наташа, пойду, потому что считаю это нужнымъ. Двое — двойная сила. А ты должна примириться съ этимъ и успокоиться, иначе я пойду одинъ.

И вотъ она уже только дѣвочка, а онъ — прежній Олень, которому нельзя не подчиняться; вождь, который все освѣщаетъ своимъ личнымъ участіемъ. Это и есть его высокая любовь, и въ этомъ страшная его сила.

Снова у каждаго промелькнула своя — и все-таки общая дума о томъ, что все это не подлинная жизнь, а очень страшная и ничѣмъ не оправдываемая сказка, навязчивый сонъ, который когда-нибудь исчезнетъ. Вѣдь не можетъ же быть, чтобы завтра ихъ не стало? Этого никакъ не можетъ быть! И все-таки это будетъ, но только въ какой-то иной, не настоящей жизни. И сонъ, который они оба видятъ, не уйдетъ; и проснуться они не могутъ, потому что часъ пробужденія уже пропущенъ.

Они не говорили больше о завтрашнемъ дѣлѣ; на нихъ снизошелъ покой, и до свѣта Наташа рассказывала Оленю о своемъ дѣтствѣ, о деревнѣ Федоровкѣ, кучерѣ Пахомѣ, о ледоходѣ на Окѣ, — и съ радостью слушала его отвѣтные рассказы. До сихъ поръ она очень мало знала его жизнь, и каждая новость и любая мелочь ее волновали и занимали. Иногда, увлекшись разговоромъ, они пере-

бывали другъ друга, спѣша высказать свое. И они не замѣтили, какъ оба задремали, забывъ о томъ, что ждетъ ихъ завтра.

Олень проснулся первымъ. Былъ поздній утренній часъ, въ столовой лежали газеты и Маша уже нѣсколько разъ подогрѣвала самоваръ.

Когда онъ разбудилъ Наташу, она неохотно открыла глаза, поморщилась отъ свѣта и, еще не придя въ себя, потянулась и спросила:

— А который часъ?

— Скоро девять. Слушай, Наташа, случилось странное...

Она вспомнила все и вскочила:

— Что случилось, Олень?

Онъ протянулъ ей газету и указалъ мѣсто. Это былъ краткій указъ о роспускѣ на лѣтніе каникулы Государственного Совѣта, — безъ мотивовъ и объясненій. Совѣтъ былъ распущенъ наканунѣ важнаго засѣданія и раньше предположеннаго срока.

БРАТЯ ГРАКХИ

Братья Гракхи пришли съ обычной аккуратностью, одинъ пятью минутами позже другого. Обѣдали всѣ вмѣстѣ, ѣли шпинатъ съ яйцами, курицу подъ бѣлымъ соусомъ и лимонное желе. Сеня серьезно сказалъ, что такого обѣда не ѣдалъ ни разу въ жизни.

— Я вотъ еще люблю гороховый супъ съ ветчинной костью. На Пасхѣ ѣлъ — очень понравилось!

Наташа хотѣла сказать, что какъ-нибудь закажетъ и гороховый супъ, — но вспомнила, что уже не придется.

Разговаривали о пустякахъ. Петрусь вспоминалъ о

рыбной ловлѣ у нихъ въ Тульской губерніи, — какъ однажды онъ поймалъ на блесну судака фунтовъ на шесть; раньше, рассказывая про этотъ счастливый рыбацкій случай, онъ говорилъ «на пять», но сегодня судакъ выросъ. Наташа рассказала, что однажды мужики поймали въ Окѣ сѣвшую на мель бѣлугу, да такую огромную, что везти ее пришлось на двухъ связанныхъ телѣгахъ. Потомъ пили кофе — все, какъ въ хорошемъ домѣ. Послѣ обѣда Машу отпустили до вечера, и тогда Наташа отперла комодъ и осторожно достала оттуда два тяжелыхъ и неуклюжихъ стеганыхъ жилета.

Когда принесла, братья Гракхи поблѣднѣли и старались улыбаться. Студентъ Петрусь сказалъ: «Мнѣ выберите покрасивѣе!» — но на его шутку никто не отвѣтилъ.

Олень вышелъ, пообѣщавъ вернуться черезъ часъ.

— Не забудь, Наташа, про занавѣску на окнѣ.

— Да, откинутый уголь.

По его уходѣ она объяснила, какъ нужно нажать въ коробкѣ кнопку, которая и разобьетъ стеклянную трубочку.

— Сунуть палецъ поглубже въ это отверстіе и очень сильно нажать. Но не трогайте безъ надобности; если не трогать и ни обо что не ударять — не опасно.

Петрусь, губы котораго поблѣзли, сказалъ:

— А довольно сильный запахъ, даже голова кружится!

— Да, это — мелинитъ. Можно надушить духами.

— Все равно, принимаемся.

Она заставила ихъ осторожно примѣрить жилеты. Оба были не впору и очень толстили.

— Ну, подъ платьемъ не будетъ такъ замѣтно. У васъ, Петрусь, готова форма?

— Да.

— А все въ порядкѣ?

— Отъ военного портного. Я — ротмистръ; ошибки

не будетъ. Широконыко, а вотъ съ этимъ будетъ какъ разъ. И фуражка новая, все по формѣ.

— Вы пока снимите, а уходя надѣнете.

Они осторожно сняли жилеты и облегченно вздохнули. Но все еще были блѣдны. У Петруся вздрагивали губы, и онъ часто пилъ воду.

— И жарко же сегодня!

Наташа понимала ихъ состояніе. Спросила обоихъ сразу:

— Гракхи, вы можете? Потому что лучше раньше отказаться, чѣмъ отступить въ послѣднюю минуту. И ничего стыднаго нѣтъ — никто героемъ быть не обязанъ. Вы рѣшились?

Первымъ отвѣтилъ рабочій Сеня:

— Да ужъ разъ сказано... Я пойду, рѣшилъ. Двухъ смертей не бывать!

Наташа пожала его руку. И Петрусь тоже отвѣтилъ:

— Я, Наташа, не измѣню. Мы оба пойдемъ.

Она поцѣловала обоихъ и сказала:

— Сядемъ на диванъ, посидимъ. Съ вами пойдеть Олень, а я скоро васъ догоню.

— Развѣ и вы, Наташа?

— Не завтра, а скоро и я. Очень скоро, Гракхи, вслѣдъ за вами.

— Можетъ быть вамъ не придется. Можетъ завтра, послѣ насъ, все переѣмется. А ужъ вы живите съ Богомъ, будьте счастливы!

Сказавъ эти слова, Сеня покраснѣлъ. Слово «Богъ» сорвалось нечаянно, — и нѣтъ Бога, и онъ тутъ не при чемъ. Сеня прибавилъ:

— Ладно, тамъ узнается. А двумъ смертямъ все равно не бывать.

Наташа видѣла, что имъ обоимъ страшно, но что они не отступятся, не таковы Гракхи. Страшно и ей — но нужно имъ помочь.

— Смерти, Сеня, вообще нѣтъ. Ни тѣло ни душа не

исчезаютъ. Вотъ сегодня мы дѣсь, а автра переселимся — исчезаютъ. Вотъ сегодня мы здѣсь, а завтра переселимся — въ землю, въ дерево, въ яблоко, въ другого человѣка —

Сеня эта философія непонятна, а Петрусь улыбнулся. Наташа продолжала:

— А если бы и была смерть... Отъ того, что человекъ протянетъ свои дни до старости и болѣзней — ничего онъ не выиграетъ. Вотъ вы работали на фабрикѣ, потомъ женились бы на такой же работницѣ, народили бы дѣтей, жили бы въ вѣчномъ трудѣ и бѣдности, — а тамъ все равно умирать. Сейчасъ сами собой распоряжаетесь, а тамъ вами распорядилась бы ваша старость и слабость. Или — арестуютъ, оплюютъ, избьютъ и все равно быть убитымъ; и это можетъ случиться всякій день. А тутъ — нажать кнопку, и можетъ быть вся Россія пересоздастся!

Петрусь сказалъ задумчиво:

— Я въ вѣчную жизнь не вѣрю, а здѣшнюю жизнь я люблю. И вотъ, что я люблю, то я и хочу отдать.

— Я понимаю васъ. А я и эту жизнь люблю, и въ вѣчную жизнь вѣрю. То есть я вѣрю въ то, что смерти никакой нѣтъ, а есть превращенье. Вѣдь и дерево живетъ, и камень живетъ, все живетъ. Совсѣмъ исчезнуть ничего не можетъ.

Имъ очень хорошо было вотъ такъ сидѣть и разговаривать съ Наташей. Олень — вѣрный товарищъ, съ нимъ пойдешь куда угодно, но такъ поговорить съ нимъ нельзя; а Наташа и сама поговорить и выслушаетъ, — ей можно во всемъ исповѣдоваться, и она пойметъ сразу. Слушая ее, Петрусь думалъ, что можетъ быть все это и не такъ, и что ему, Петрусю, совсѣмъ не хочется превращаться въ дерево или камень, а хотѣлось бы остаться Петрусемъ, юношей съ пробивающейся бородкой, студентомъ, а потомъ — совсѣмъ крупнымъ человѣкомъ, хорошимъ работникомъ; повернись жизнь иначе — такъ бы и было; но сейчасъ на этомъ успокоиться нельзя, стыдно! Сколько погибло товарищей, и сколько еще ме-

жетъ напрасно погибнуть! У другихъ силы не хватитъ — а онъ, Петрусь, пойдетъ, и смерть его не испугаетъ. Слушала Наташу и Сеня, и вѣрилъ ей. Потому вѣрилъ, что такой, какъ она, не вѣрить нельзя. У нея голубые глаза, спокойная и ласковая рѣчь и ужъ если она, женщина, способна пойти на смерть и ничего не боится, — то ему отступать нельзя. Если она что говоритъ — значитъ знаетъ, чего не знаютъ другіе. И слова ея были для Сени, какъ чудесная и незнакомая музыка.

Всѣ эти мѣсяцы оба они жили не въ бытѣ, а въ воображеніи, не оглядываясь, не одумываясь, ежеминутно готовые къ тому, что ихъ природѣ, можетъ быть, чуждо, но совершенно неизбежно и неизмѣримо высоко. Когда подошелъ день — въ грудь повѣялъ холодокъ, но тумана не разсѣялъ. И теперь было сладко слушать слова утѣхи, которымъ хотѣлось вѣрить безъ разсужденія. Наташа это понимала, и говорила для нихъ и для себя самой, чувствуя въ глубокой радости, что это сейчасъ — самое нужное, что это обволакиваетъ и разсудокъ и волю мягкой паутиной сказочности. Говорила долго, все, что сама для себя надумала, еще давно, еще на берегу рѣки, когда рядомъ на травѣ лежалъ элейскій философъ Зенонъ, а солнце грѣло и не жгло. Можетъ быть даже еще раньше, когда Пахомъ раздавилъ Мушку, и Мушка превратился въ синюю траву. Всѣ слова, которыхъ другимъ сказать бы не рѣшилась, имъ сказала, какъ мать дѣтямъ, какъ братьямъ старая и знающая жизнь сестра. Такого полного слиянія съ людскими душами она никогда еще не испытывала, и переживала то, что переживаетъ поэтъ въ самый возвышенный часъ творчества, когда онъ лжетъ себѣ и другимъ со всей силой страсти и искренности.

Вернулся Олень. Онъ тоже былъ сегодня взволнованъ и приподнятъ. Все было подробно обсуждено и переговорено раньше, всякій шагъ расчитанъ. Гракховъ подвезетъ Морисъ; они войдутъ и попросятъ немедленно доложить министру; намекнуть, что готовится покушеніе и

что медлить нельзя ни минуты. Когда выйдетъ министръ или ихъ проведутъ къ нему... А если министръ ихъ не приметъ? Если ихъ не пустятъ даже въ приемную? Ну, тогда придетъ очередь его, Оленя. Если долго не будетъ взрыва, — онъ вѣбжитъ въ подъездъ, и уже никакая сила его не остановитъ. Тогда они погибнутъ всѣ трое, — а съ ними и все живое.

Его планъ былъ страшенъ. Но уже нѣсколько смертей встрѣтилъ Олень, а страшна только первая встрѣча. Только бы не опоздать на приемъ и не погубить дѣло случайной оплошностью.

Прощаясь съ Гракхами, онъ обнялъ ихъ и сказалъ:

— Товарищи, помните, завтра — не позже часу, а лучше — ровно въ часъ. Я буду тамъ ждать минута въ минуту.

Они молча кивнули. Уходя, поцѣловались съ Наташей, и Сеня шепнулъ ей смущенно:

— Вотъ вамъ спасибо за все! Совсѣмъ съ вами, какъ съ родной. Родная и есть!

Когда за ними захлопнулась дверь, Олень отвернулся, и щека его рѣзко дернулась.

ЖАРКІЙ ДЕНЬ АВГУСТА

Въ дешевомъ номеркѣ меблированныхъ комнатъ, у стола, накрытаго твердой синей бумагой, молодой человекъ писалъ письмо. Онъ не былъ большимъ грамотеемъ, поминутно слюнилъ карандашъ и лѣпилъ букву къ буквѣ съ большимъ трудомъ и напряженіемъ. Въ заголовкѣ листа бумаги стояло:

«Драгоценная мамонька и любезные сестры!»

А дальше корявыми и милыми словами было сказано, что сынъ ихъ и братъ идетъ помирать за свободу и за весь русскій народъ, а когда онъ получитъ письмо, то на

свѣтъ его больше не будетъ. И чтобы простили его за всѣ огорченія. И чтобы вѣрили, что иначе нельзя, а что онъ ихъ всегда любилъ и жалѣлъ.

Отъ вдавленныхъ буквъ коробилось письмо, а оттискъ карандаша остался на синей подстилкѣ. Окончивъ письмо и подписавшись любящимъ сыномъ и братой Сеней, молодой человѣкъ не зналъ, что дальше съ этимъ письмомъ дѣлать, потому что по почтѣ его послать нельзя, — и рѣшилъ, что передастъ тому товарищу, который ихъ повезетъ, — а ужъ дальше письмо переправятъ матери, когда будетъ можно.

Къ половинѣ перваго дня, какъ было условлено, Сеня былъ готовъ: надѣлъ новую пару на тяжелый и душный жилетъ, поглядѣлъ на себя въ тусклое и засиженное мухами зеркало и усмѣхнулся, что вотъ онъ какой баринъ! Одновременно подумалъ: какъ жалко, что совсѣмъ новенькій костюмъ, за который заплачены большія деньги, пропадетъ; отдать бы его кому изъ прежнихъ фабричныхъ пріятелей, — вотъ бы тотъ обрадовался! Смѣшнѣе всего былъ ему твердый котелокъ, краемъ рѣзавшій лобъ: надвинешь его на брови — темная личность, а заломилъ на затылокъ — чистый забуддыга! Затѣмъ сѣлъ у окна и сталъ ждать.

Ждать было утомительно, потому что думать не хотѣлось, все передумано, — поскорѣе бы кончать съ этимъ дѣломъ. Бояться не боялся, а во рту было сухо и въ глазахъ какъ бы легкий туманъ. Это оттого, что плохо спалъ ночь; ночью думается.

Ждалъ на полчаса дольше условленнаго. Томился — не случилось ли чего? И тогда, сквозь туманъ, проглядывала стыдная надежда, что не по его, Сени, винѣ планъ разстроился и что можно будетъ снять жаркій, мучительно прилипающій къ тѣлу жилетъ со страшной корбочкой.

Когда увидалъ подъѣхавшее къ дому ландо, въ которомъ сидѣлъ молодой жандармскій ротмистръ, сначала

похолодѣлъ, потомъ догадался, что вѣдь это и есть Петрусь. Схватилъ котелокъ — и, забывъ на столѣ прощальное письмо, торопливо сбѣжалъ по лѣстницѣ.

Стараясь незамѣтно вытирать на лбу потъ, завѣдующій агентурнымъ отдѣломъ докладывалъ:

— Никакихъ случайностей ожидать нельзя и всѣ мѣры приняты. Одно неприятно — ощущаемъ недостатокъ во внутреннемъ освѣщеніи. Боевая организація эсеровъ обезврежена точнымъ освѣдомленіемъ, а съ максималистами дѣло хуже.

— То есть?

— Есть освѣдомители въ Финляндіи, но ничтожны. Мы знаемъ адреса нѣкоторыхъ конспиративныхъ квартиръ, адресъ динамитной мастерской...

— Даже?

— Такъ точно. Но этого мало.

— Почему же не ликвидируете?

— Этимъ только распугаемъ на время, а главарей взять не удастся.

— Кто это — главари?

— Во главѣ стоитъ нѣкій Олень, конечно, — кличка, участникъ террористическихъ выступленій въ Москвѣ, человѣкъ несомнѣнно большой силы и огромнаго въ ихъ средѣ вліянія.

— Вы его не можете найти?

— Чревычайно искусно скрывается, хотя находится въ Петербургѣ однажды филеры опознали его въ Гельсингфорсѣ, но тамошніе законы...

— Ну да, знаю. А еще?

— Еще рядъ дерзкихъ преступниковъ, въ томъ числѣ женщины. Одну мы знаемъ. Это — дочь члена Государственнаго Совѣта Калымова.

— Пикантно! Членъ по выборамъ? Изъ лѣвыхъ? Такъ точно. То есть, собственно, октябристъ.

— Ага. Ну-съ?

— Очень тщательно жожаки законспирированы, даже отъ своихъ. Необходимо усилить внутреннее освѣщеніе.

— Ну-съ?

— Надежда есть. Одинъ изъ ближайшихъ друзей этого Оленя, соучастникъ вооруженнаго ограбленія въ Москвѣ, былъ въ нашихъ рукахъ и общалъ сотрудничество.

— Почему былъ? Гдѣ же онъ теперь?

— Временно освобожденъ, именно въ цѣляхъ помощи, но остается, конечно, подъ наблюдениемъ. Связей, однако, еще не установилъ.

— Какъ фамилія?

Завѣдующій агентурой замаялся: называть фамиліи сотрудниковъ было не въ обычаяхъ департамента полиціи, даже если освѣдомляется министръ.

— Извѣстенъ подъ кличкой Мориса.

— Такъ. Ну, а относительно... по поводу ближайшаго плана... вы, помнится, говорили...

— О попыткѣ покушенія на ваше высокопревосходительство? Выяснено, что пустой слухъ. Имѣлись свѣдѣнія о двухъ автомобиляхъ, начиненныхъ, такъ сказать, динамитомъ, но это совершенно невозможно.

— Вы думаете? А какъ вотъ сейчасъ взлетимъ?

— Невозможно-съ! Такого количества динамита, даже и на одинъ автомобиль, у нихъ нѣтъ и не можетъ быть, объ этомъ мы знаемъ точно. Да и психологически, такъ сказать, невѣроятно, чтобы преступники взорвались сами.

— Ну, это преступники особенные!

— Мѣры, во всякомъ случаѣ, приняты, и даже подъѣздъ огороженъ рогатками. Но, повторяю, слухъ совершенно недостоверенъ.

Ротмистръ и штатскій въ котелкѣ ѣхали молча. Сеня смотрѣлъ по сторонамъ и осторожно ощупывалъ сквозь одежду острые углы коробочки. Петрусь, котораго еще больше молодила форма жандармскаго ротмистра, смутно вспоминалъ, какъ въ дѣтствѣ его везла на экзамень мать — тоже было жарко и тоже было мутно въ головѣ, сухо во рту и немного страшно. А впрочемъ вѣдь это было въ сентябрѣ, значить такой жары быть не могло. По улицамъ шли люди со свертками по своимъ маленькимъ дѣламъ, копыта лошади стучали о камни мостовой, все было обыкновенно и знакомо.

Бородатый кучеръ хорошо управлялся съ парой лошадей, объѣзжая, гдѣ полагалось, городскихъ и ловко перебирая въ рукахъ возжи. Единственно, что его немного беспокоило, это то, что браунингъ былъ не въ карманѣ — кармана при кучерскомъ нарядѣ не полагалось — а подъ сидѣниемъ. Чтобы достать его, нужно было слегка приподняться. Подстегивая лошадей, кучеръ думалъ: «Олень волнуется, мы запоздали на полчаса!» Его беспокоило, не вызвала ли такая оплошность подозрѣній Оленя? Не подумалъ ли онъ, что напрасно довѣрился старому товарищу, запутавшемуся въ своемъ революціонномъ поведеніи? Но сегодняшнее участіе въ дѣлѣ будетъ окончательной реабилитацией въ глазахъ всѣхъ товарищей, — когда узнается, кто былъ кучеромъ. А страшную и противную игру можно будетъ окончательно оставить!

На набережной Невки Морисъ даже прикрикнулъ на лошадей: «но-но-о!», хотя приличному кучеру это совсѣмъ не полагалось.

Трехлѣтній мальчикъ и дѣвочка лѣтъ двѣнадцати смотрѣли съ балкона въ садъ. Мальчикъ спрашивалъ у сестры:

— А почему не гулять?

— Мама говоритъ — жарко.

— А почему жарко?

— Потому что солнце.

Мальчикъ поднялъ голову, но солнца не увидалъ, такъ какъ оно было за домомъ. Просунувъ головку сквозь перила балкона, мальчикъ увидалъ внизу сидящаго на скамейкѣ человѣка, который гладилъ пуделя. Пуделя звали Дэкъ, а человѣкъ просиживалъ на скамейкѣ почти весь день. Дальше, за рѣшеткой сада, тоже цѣлый день прогуливался какой-то человѣкъ, а иногда ихъ было двое. Мальчикъ спросилъ:

— А кто тамъ ходитъ?

— Я не знаю. Это вѣрно сторожа.

— Зачѣмъ они ходятъ?

Сестра не знала и не отвѣтила. Ей тоже хотѣлось гулять въ саду, такъ какъ въ комнатахъ было душно, а на балконѣ нечего дѣлать. Потомъ она вспомнила, что очень интересно пускать съ балкона маленькія узкія полоски бумаги и смотрѣть, какъ онѣ вертятся и летятъ, пока не залупаются въ листьяхъ дерева или не упадутъ на дорожку; а иногда ихъ уносить совсѣмъ далеко, за садъ. Она принесла листъ бумаги и ножницы, и тогда оба занялись дѣломъ.

Первая бумажка полетѣла неудачно, прямо внизъ, и упала передъ скамейкой. Пудель подбѣжалъ къ ней, понюхалъ, а сидѣвшій человѣкъ поднялъ голову, увидалъ на балконѣ дѣтей министра и почтительно осклабился. Потомъ онъ посмотрѣлъ на часы и подумалъ:

— Второй часъ. Нынче пріемъ затянулся, народу много. Раньше, чѣмъ черезъ часъ и не кончится; значитъ — и смѣны не жди!

И онъ зѣвнулъ долгимъ и протяжнымъ зѣвкомъ, такъ что даже лязгнулъ зубами. Пудель оставилъ бумажку и съ интересомъ поглядѣлъ на сидѣвшаго человѣка.

Ландо подбѣжало къ особняку министра и, по знаку городского, остановилось на нѣкоторомъ разстояніи отъ подвѣзда, огороженного рогатками. Жандармскій ротмистръ и штатскій вышли и быстрыми шагами направились ко входу. Ландо немедленно отбѣжало, и кучеръ подхлеснулъ лошадей. Проѣхавъ кварталъ, онъ свернулъ въ боковую улицу. Медленно шедшій по этой улицѣ жандармскій унтеръ съ разносной книгой прибавилъ шагъ по направленію къ особняку. Кучеръ съ унтеромъ не обмѣнялись ни взглядомъ, ни жестомъ.

.....

Минуть десять спустя, тотъ же черноусый унтеръ, но безъ фуражки и безъ разносной книги, забѣжалъ въ угловую аптеку неподалеку отъ министерскаго особняка.

Весь персоналъ аптеки толпился у входа. Большое зеркальное стекло было выбито, и осколки его хрустнули подъ каблукомъ унтера. Были выбиты стекла и въ сосѣднихъ домахъ, и на всей улицѣ царило смятеніе: люди у подвѣздовъ, у воротъ и у оконъ, перепуганныя лица, окрики извошиковъ, звонки циклистовъ и гудокъ рѣдкаго по тому времени автомобиля.

Унтеръ попросилъ скорѣе перевязать ему руку, пораненную выше кисти; его рукавъ былъ въ крови. На разспросы отрывисто отвѣчалъ, что его поранило при взрывѣ и что приказано вызвать докторовъ для перевязокъ и для помощи раненымъ, а что народу пострадало много, хотя ничего подробно рассказать не можетъ, самъ не знаетъ.

— Какъ оно дернуло, я былъ у подвѣзда, меня швырнуло и должно быть доской ударило.

— Да что же тамъ?

— Ничего не знаю, только взорвали домъ и, сказывають, самого министра убило.

Ему быстро обмыли и забинтовали руку, — рана была незначительной. Аптекарь, накладывая повязку, спросилъ:

— Больно вамъ?

— Ничего, бывало больнѣе, да не плакали!

Но, вѣроятно, боль все же была сильной, такъ какъ у унтера дергалась щека.

Еще разъ повторивъ, чтобы немедленно и сами бѣжали и вызывали докторовъ, унтеръ поспѣшно вышелъ. На улицѣ его остановилъ запыхавшійся околочный, которому унтеръ что-то объяснилъ, сильно жестикулируя и указывая въ сторону особняка. Выслушавъ на ходу, полицейскій чинъ, поддерживая шашку, побѣждалъ дальше, куда указывалъ унтеръ. Еще два три человекъ остановили жандарма, — и всѣмъ имъ онъ взволнованно и махая рукой что-то пояснялъ. Пробѣжавъ такъ двѣ улицы, онъ скрылся въ подъездѣ большого дома.

Спустя еще немного изъ подъезда вышелъ безусый блондинъ въ панамѣ и длинномъ пальто, наглухо застегнутомъ, несмотря на жару. Подозвавъ извозчика, сказалъ адресъ большого отеля. Извозчикъ, едва отѣхавъ, повернулся къ сѣдоку:

— А что, баринъ, слыхали, сказываютъ — домъ взорвали?

Сѣдокъ хмуро отвѣтилъ:

— Взрывъ слышалъ. Думалъ стрѣляютъ.

— Будто у самого министра!

— Не знаю.

Когда выѣхали на большую и людную улицу, господинъ въ панамѣ велѣлъ остановиться:

— Ну и кляча у тебя. Мнѣ къ спѣху, а этакъ никогда не доѣдемъ.

— Какъ, баринъ, не доѣхать. А лошадка ничего, да вонъ жара какая!

— Нѣтъ, милый, лучше ужъ получай деньги, мнѣ некогда. Вонъ возьму того, на резинкахъ.

И онъ пересѣлъ на лихача.

Несмотря на очень жаркій день, гуляющихъ въ саду почти не было.

На скамейкѣ главной аллеи сидѣла дама и читала книжку. Когда въ глубинѣ аллеи показалась мужская фигура въ длинномъ пальто, дама быстро вскочила, но, сейчасъ же, сдержавъ себя, не спѣша пошла навстрѣчу. Не поздоровавшись и не разговаривая, они пошли рядомъ, пока не миновали няню съ дѣтьми и не свернули въ боковую аллею.

— Ну?

— Я самъ не знаю еще.

— Но что было?

— Я не ждалъ, что случится такъ быстро. Они опоздали, но потомъ проѣхалъ Морисъ, и тогда я пошелъ туда. И только подходилъ къ крыльцу — меня отбросило взрывомъ. И вотъ — живъ.

— А Гракхи?

— Гракхи... тамъ. Взрывъ былъ страшный, я оглушенъ. Половина дома разрушена, и, конечно, много убитыхъ. На улицѣ убиты лошади!

— А онъ?

— Можетъ быть, вѣдь я еще не знаю. Слишкомъ скоро случилось. Боюсь, что ихъ не пустили. Но вѣдь это все равно, Наташа!

Онъ замолчалъ, такъ какъ имъ навстрѣчу шла другая молодая пара. Замолчали и тѣ, — вѣроятно и ихъ разговоръ былъ секретнымъ и не удобнымъ для посторонняго уха.

Быль послѣдній теплый мѣсяць, и людямъ молодымъ было естественно пользоваться солнцемъ и тѣнью для милыхъ встрѣчъ и тайныхъ разговоровъ.

НИЩИ

Темнѣть стало рано. Обычно Олень старался какъ можно меньше выходить до темноты изъ своихъ временныхъ пристанищъ; но иногда приходилось.

Пришлось и сегодня. Въ домѣ, гдѣ онъ ночевалъ, утромъ предупредили его, что дворникъ обходитъ жильцовъ и спрашивалъ, не ночуетъ ли кто посторонній, въ домѣ не прописанный. Значить — нужно уходить: полиція кого-то разыскиваетъ.

Поблагодаривъ хозяевъ за ночлегъ, Олень вышелъ, нахлобучивъ старую и запошенную мѣховую шапку, уткнулся подбородкомъ въ воротникъ полущубка, осторожно осмотрѣлся и зашагалъ своимъ большимъ шагомъ.

Путь его лежалъ въ центръ столицы. Было два важныхъ дѣла: узнать кое-какія новости по Наташиному дѣлу и переодѣться въ хорошую шубу, чтобы часу въ четвертомъ пойти на свиданье съ двумя изъ оставшихся товарищей и обсудить подробнѣе дальнѣйшую судьбу боевой группы; возможно все-таки, что удастся сплотить силы и подготовить планъ для будущаго.

Было неспокойно на душѣ Оленя. Все больше чувствовалъ, что силы подорваны и что нѣтъ въ немъ прежней остроты вниманія, въ его положеніи необходимой. Нѣсколько разъ, подойдя къ витринѣ магазина, обертывался назадъ, — но ни разу не замѣтилъ, чтобы за нимъ слѣдили; а ужъ его глазъ былъ достаточно наметанъ. Часть пути проѣхалъ трамваемъ, слѣзъ въ нелюдномъ мѣстѣ, прошелъ пѣшкомъ нѣсколько улицъ и, прежде, чѣмъ зайти въ нужный домъ, миновалъ его крыльцо и вернулся.

Самъ думалъ: кажется я слишкомъ осторожничаю, такъ можно и пересолить! Въ окнѣ былъ условный знакъ: дѣтская игрушка на подоконникѣ, плюшевый медвѣженокъ, видный и черезъ двойныя зимнія рамы. Значить — все благополучно.

Зашелъ, позвонилъ, сжимая въ карманѣ рукоятку револьвера. Ему отперъ товарищъ, давно его поджидавшій.

Новостей о Наташѣ не оказалось — общались только къ вечеру. Все, что до сихъ поръ было извѣстно, не оставляло много утѣшенія; повидимому нѣтъ сомнѣнья, что ее будутъ судить за участіе въ дѣлѣ взрыва. Во всякомъ случаѣ она опознана, да врядъ ли и сама скрывала свое имя. Слѣдствіе можетъ затянуться, такъ какъ къ тому же дѣлу привлечены еще нѣсколько товарищей, имѣвшихъ къ нему лишь самое отдаленное отношеніе. Здѣсь, въ этой квартирѣ, Оленю лучше не бывать. Хотя явнаго наблюденія нѣтъ, но какая-то опасность просто чувствуется въ воздухѣ, какъ это бываетъ часто и такъ же часто оправдывается.

Опять съ предосторожностями вышелъ Олень, теперь уже одѣтый большимъ бариномъ, въ хорошей шубѣ и глубокихъ ботахъ. Отмахнувшись отъ зазываній извошниковъ, пошелъ съ Петербургской стороны по направленію къ Троицкому мосту. Послѣ ночи, проведенной почти безъ сна — и уже не первой такой ночи — ему было нужно движеніе. День былъ морозный, и подъ ногами поскрипывалъ недавній, еще не убранный снѣгъ. Близъ моста его охватилъ рѣзкій вѣтеръ, и Оленю, закутанному въ мѣховую шубу, это было только пріятно. Отросшіе за мѣсяць усы заиндевели, иней связывалъ рѣсницы и щекоталъ глаза. Олень рѣшилъ не брать извошника и дойти пѣшкомъ до Моховой. Въ этой шубѣ трудно его узнать, да и мало вѣроятна случайная встрѣча.

Миновавъ мостъ, онъ почувствовалъ внезапное безпокойство, словно бы его кто-то догоняетъ или поджи-

дасть впереди. Онъ зналъ это ощущение человѣка, при-
выкшаго отовсюду ждать опасности. Это — нервы. Сто-
итъ имъ поддаться — и погибнешь. Тогда въ каждой стоя-
щей на пути человѣческой фигурѣ будетъ мерещиться
полицейскій филеръ, въ каждомъ догоняющемъ извоици-
кѣ — погоня. Такъ можно надѣлать глупостей и самому
выдать себя неосторожнымъ поступкомъ.

На углу Моховой и Сергѣевской, неподалеку отъ до-
ма, куда лежалъ его путь, Олень опять почувствовалъ
приступъ безпокойства. На перекресткѣ, спиной сюда,
стоялъ городской, разговаривая со штатскимъ. Тутъ же,
около поджидавшихъ санокъ, прыгаль съ ноги на ногу
и хлопалъ рукавицами замерзшій лихачъ. Впереди, у стѣ-
ны дома, протягивалъ къ прохожимъ руку дрожащій ни-
щій съ подвязанной щекой. Все было обычно и не могло
внушать опасеній. Ничего не было подозрительнаго и въ
томъ, что къ стоявшему лихачу подкатилъ другой, и изъ
санокъ вышли два человѣка; одинъ расплачивался, дру-
гой его ждалъ. Когда Олень проходилъ мимо, нищій про-
тянулъ къ нему руку:

— Милостивый баринъ...

Олень миновалъ нищаго, но остановился, нашарилъ въ
карманѣ монету, вернулся и подошелъ къ старику. Одно-
временно къ нищему бѣсто приблизились двое подѣхав-
шихъ. Мелькомъ взглянувъ на нихъ, Олень внезапно по-
нялъ, что сейчасъ что-то произойдетъ и что эти люди
здѣсь не случайно. Увидалъ, что и человѣкъ, разговари-
вавшій съ городovýmъ, также бѣжитъ сюда. Быстро пе-
реложивъ монету въ лѣвую руку, Олень протянулъ ее ни-
щему, а правую руку сунулъ въ карманъ, гдѣ былъ ре-
вольверъ.

Одно мгновенье должно было рѣшить его судьбу. На
лицахъ подѣхавшихъ какая-то нерѣшительность, —
только бы не выдать себя волненіемъ! Вотъ если этотъ
подниметъ руки...

Вдругъ Олень покачнулся: нищій, крѣпко схватилъ его

за руку, дернулъ къ себѣ. Еще чья-то рука впилась въ
правый рукавъ его шубы. Одновременно двое подѣхав-
шихъ охватили его руками и старались отнять револь-
веръ.

Пытаясь вырваться, Олень нажалъ курокъ. Онъ еще
видѣлъ, какъ отъ стѣны, въ которую ударила пуля, отва-
лился кусокъ штукатурки. Затѣмъ сильный ударъ по ви-
ску лишилъ его на минуту сознанія. Когда онъ очнулся,
его движенія были связаны: револьвера не было, и на-
прягшія мышцы напрасно рвали за спиной цѣпь желѣз-
ныхъ наручниковъ. Онъ слышалъ взволнованный говоръ
людей, его арестовавшихъ, видѣлъ ихъ раскраснѣвшія
лица и уже не пытался сопротивляться. Въ его головѣ,
нѣвшей отъ удара, внезапно родилась и во всей ясности
стояла мысль:

— Вотъ это и есть — конецъ!

Когда Оленя усаживали въ санки лихача, онъ болѣз-
ненно улыбался и искалъ глазами шапку, безъ которой
головѣ было холодно. До него будто издали доносились
слова одного изъ сыщиковъ, который возбужденно и
восторженно тараторилъ:

— Я, братъ, тоже сомнѣвался! Думаю — онъ-ли, не
онъ-ли? А какъ онъ повернулся да дернулъ щекой — ну,
братецъ мой! Тутъ я и навалился!

— Ты навалился! Оба сразу навалились!

— Я и говорю — оба. А Мышкинъ по виску! А то бы и
не сладить!

На узкихъ санкахъ кое-какъ примостились двое по обѣ
стороны Оленя и еще одинъ на козлахъ съ кучеромъ. За-
тѣмъ рѣзкій морозный вѣтеръ отъ быстрого движенія
защипалъ носъ и щеки Оленя. Шуба на груди была рас-
пахнута, хотѣлось потереть замерзшія щеки, но руки бы-
ли связаны за спиной. Какое счастливое и радостное ли-
цо у агента, сидящаго на козлахъ лицомъ сюда! И ка-
кое, все-таки, противное! Все это, однако, пустяки, а вѣр-
но и несомнѣнно одно: вотъ именно это и есть — конецъ!

И Олень, локтями оттолкнувъ держащихъ его сыщиковъ, облегченно вдохнулъ полной грудью морозный воздухъ.

СМЕРТЬ ОЛЕНЯ

Молодой помощникъ военного прокурора получилъ приказаніе выступить по дѣлу вчера арестованнаго участника многихъ террористическихъ актовъ. Засѣданіе военно-полевого суда состоится въ четыре часа дня; на изученіе дѣла и подготовку обвиненія остается пять часовъ.

Молодой офицеръ уже дважды выступалъ по подобнымъ дѣламъ, оба раза успѣшно, но личность обвиняемыхъ не представляла интереса: одинъ былъ рабочимъ, другой евреемъ. Помощникъ прокурора спѣшно подготовилъ обвинительныя рѣчи, но передъ самымъ засѣданіемъ предсѣдатель суда предупредилъ его, что дѣло совершенно ясно и что никакихъ «преній сторонъ» не можетъ быть. И дѣйствительно, оба раза судъ продолжался не болѣе полутора часовъ. Въ ту же ночь обоихъ осужденныхъ повѣсили.

И на этотъ разъ дѣло не менѣе ясно, но личность преступника значительнѣе; онъ — главный организаторъ весьма шумѣвшихъ злодѣяній: взрыва министерскаго особняка и вооруженнаго ограбленія. Если главный прокуроръ не выступаетъ по этимъ дѣламъ лично, а поручилъ обвиненіе ему, то это объясняется, очевидно, особымъ къ нему расположеніемъ. Возможно, что его назначеніе явилось результатомъ вліятельнаго ходатайства родственницы главнаго прокурора, которая, значить, не забыла своего обѣщанія. Теперь его имя, какъ обвинителя по весьма видному дѣлу, будетъ названо въ военныхъ кругахъ.

Содержаніе дѣла не очень интересовало молодого офицера: всѣ подобныя дѣла чрезвычайно просты, а преступ-

ники изъ числа такъ называемыхъ революціонеровъ облегчаютъ роль обвинителя дерзкимъ, но похвальнымъ сознаніемъ. Департаментъ полиціи заготовляетъ весьма сжатый и вполне разработанный докладъ, свидетелей бываетъ мало и они прекрасно подготовлены предшествовавшими полицейскими допросами, защита чисто формальна, и исходъ дѣла тѣмъ самымъ предрѣшенъ. Роль прокурора не въ томъ, чтобы подбирать доказательства виновности, а лишь въ томъ, чтобы дать образецъ простоты, лаконичности и въ то же время уничтожающей силы настоящаго, вполне дѣловаго военного краснорѣчія. Хотя на этотъ разъ предсѣдатель можетъ оказаться щедрѣе и согласиться на обстоятельную рѣчь, — но именно поэтому слѣдуетъ удержаться отъ всякаго увлеченія и проявить чеканную скупость слова.

Изученіе дѣла дѣйствительно не заняло много времени, и помощникъ военного прокурора, сдѣлавъ нужныя выписки и помѣтки, имѣлъ возможность вернуться домой, чтобы и закусить и обдумать рѣчь.

Нужно ли повторять въ ней данныя полицейскаго дознанія и судебного слѣдствія? Конечно — не нужно! Должны ли быть въ ней эффекты, вродѣ ссылки на количество жертвъ преступления, на его исключительную дерзость и на социальную опасность преступника? Да, но лишь въ формѣ краткой и отчетливой характеристики злодѣя. Что еще? Больше рѣшительно ничего! Спокойный и четкій перечень статей и параграфовъ закона и — безъ малѣйшаго повышенія голоса! — требованіе смертной казни. Десять минутъ, максимумъ — четверть часа! Полная застегнутость чувства, никакого волненія, рѣшительный контрастъ возможной чувствительности этихъ строевыхъ полковниковъ, случайно попавшихъ въ судьи. Но подъ простотой и суровостью — филигранная чеканка слова!

Свои первыя обвинительныя рѣчи помощникъ прокурора предварительно писалъ. На этотъ разъ онъ рѣшилъ

ограничиться записью схемы предстоявшего краткаго слова:

1. Несомнѣнность дѣянія и причастность къ нему обвиняемаго.
2. Исключительность данныхъ преступлений.
3. Настойчивыя требованія момента защиты государственнаго порядка.
4. На основаніи изложенныхъ соображеній, а также имѣя въ виду статьи (тутъ цифра и пункты).
5. Требованіе примѣненія («долгъ военныхъ судей» и пр.).

Съ бумажкой въ рукахъ, помощникъ военнаго прокурора произнесъ свою предстоящую рѣчь передъ большимъ зеркаломъ, въ которомъ поблескивали его здоровые бѣлые зубы. Были запинки, но при повторномъ опытѣ исчезли. Даже статьи и параграфы онъ произнесъ наизусть. Последнюю фразу рѣчи повторилъ нѣсколько разъ, при чемъ такъ, чтобы ни одинъ мускуль лица не дрогнулъ, а брови, послѣ точки, слегка насупились. Вышло эффектно: просто и хорошо. «Къ смертной казни черезъ повѣшеніе». Точка. Брови (но безъ всякой театральности!). Обвинитель, не сгибаясь въ талии, спокойно опускается на прокурорское кресло.

Сегодняшній день можно считать началомъ доброй карьеры!

Спиной къ двери камеры, съ прикладомъ винтовки у ноги, часовой смотрѣлъ черезъ пустой пролетъ тюремнаго корпуса на противоположный балконъ, гдѣ также спиной къ двери камеры стоялъ его пріятель по взводу и землякъ. Иногда они оба бессмысленно перемигивались и, удерживая смѣхъ, строили другъ другу рожи, предварительно оглядѣвшись, не видитъ ли взводный или тюремный сторожъ. Тюрьма была на военномъ положеніи.

Олень лежалъ на койкѣ, закрывъ глаза, но не спалъ.

Съ момента, когда онъ понялъ, что «вотъ это и есть — конецъ!», на него снизошелъ странный покой. Какъ будто онъ на койкѣ больничной, освобожденный недугомъ отъ обязанности думать, рассчитывать, работать, суетиться; и будетъ еще проще и спокойнѣе. Даже досады не чувствовалъ, что вѣдь вотъ — попался, и такъ просто и глупо: все равно это должно было случиться. Когда захлопнулась и защелкнулась дверь тюремной одиночки, Олень пересталъ дергать щекой и все время проводилъ въ полудремотѣ. День спутался съ ночью, и новый разсвѣтъ подошелъ незамѣтно. Черезъ дверную форточку подали въ камеру какую-то похлебку; онъ принялъ, попробовалъ ѣсть, но не было ни вкуса ни желанья. Поѣлъ только хлѣба.

Ночью его дважды водили въ контору тюрьмы. Допроса, собственно, не было, потому что онъ отказался отвѣчать. Въ первый разъ ему пригрозили веревкой, но онъ только устало улыбнулся, и слѣдователь понялъ, что смѣшно угрожать человѣку, который знаетъ, что ничто не можетъ его спасти. Во второй разъ его показали цѣлому ряду людей, прошедшихъ мимо него тѣнями; яснѣе мелькнуло только испуганное лицо горничной Маши, остальныхъ онъ не зналъ.

Лежа на койкѣ, Олень не думалъ ни о близкой смерти, ни о томъ, что не завершено дѣло, которому онъ посвятилъ жизнь. Да и можетъ ли оно завершиться? Не есть ли жизнь — вѣчная борьба двухъ началъ, борьба покаянной и вѣковъ? И конца этой борьбѣ не можетъ быть. Не думалъ онъ и о томъ, какъ держать себя на судѣ. Раньше, еще на свободѣ, онъ думалъ объ этомъ часто. Боецъ революціи долженъ держаться стойко, красиво и дерзко: бросить въ лицо судьямъ свое презрѣніе и свою ненависть къ строю, которому они служатъ! А въ моментъ расчета съ жизнью — крикнуть свое проклятiе этому міру и привѣтствіе зарѣ будущаго! Такъ казалось. Теперь Олень отвергъ это безъ раздумій: кого поражать словомъ? Зачѣмъ

этотъ мальчишескій жестъ въ послѣднюю минуту? Но если и было бы нужно — онъ слишкомъ усталъ и слишкомъ со всѣмъ и со всѣми похитился. Но и это все было не строемъ ясныхъ мыслей, а лишь слабыми ощущеніями, проходившими мимо, мелькавшими смутно и сѣро.

Его вызвали въ пятомъ часу дня, когда уже стѣмнѣло. Опять надѣли наручники, а вели его четверо солдатъ съ молодыми и тупыми лицами. Когда ввели въ небольшую комнату, гдѣ засѣдалъ военно-полевой судъ, Олень на минуту очнулся отъ апатии и со вниманіемъ оглядѣлъ людей, которые вотъ сейчасъ приговорятъ его къ смерти. Но секретарь такимъ невнятнымъ голосомъ, путая ударенія и невѣрно произнося фамиліи, читалъ обвинительный актъ, что временное возбужденіе Оленя упало. Самъ того не сознавая, онъ пристально уставился на одного изъ судей, сѣдоусаго полковника, и не сводилъ съ него глазъ до конца засѣданія. На вопросы предсѣдателя онъ отвѣчалъ негромко и односложно, и только при упоминаніи чужихъ фамилій прислушивался внимательно, но сейчасъ же снова терялъ нить. Въ общемъ все его дѣло было изложено довольно правильно, хотя нѣсколько усложнено наивными полицейскими догадками; въ дѣйствительности было гораздо проще. Оленя только удивило, какъ мало, въ сущности, они знаютъ и какъ много вынуждены присочинять. Затѣмъ онъ совсѣмъ пересталъ слушать и не оживился даже при допросѣ немногихъ свидѣтелей.

Какъ ни старательно молодой помощникъ прокурора подготовилъ свою краткую рѣчь, но все же не могъ удержаться отъ соблазна вставить въ нее нѣсколько эффектныхъ словъ. Предсѣдатель посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ, а сѣдоусый полковникъ даже поморщился. Но закончилъ обвинитель такъ, какъ рѣшилъ заранѣе: поставилъ точку, опустилъ брови и сѣлъ, не согнувшись въ талии. Вышло, въ общемъ, хорошо.

Затѣмъ вынесли приговоръ, вполне удовлетворявшій

обвиненіе. Звякнули шпоры, приговореннаго увели, и помощникъ прокурора, съ тѣмъ же изученнымъ солиднымъ спокойствіемъ собравъ бумаги, всталъ и подошелъ къ секретарю:

— Куда вы отсюда? Если домой — я васъ подвезу.

Но секретарь долженъ былъ немного задержаться, и молодой обвинитель уѣхалъ одинъ. Было темно, и никто изъ встрѣчныхъ не могъ оцѣнить спокойную позу и чутьточку надмѣнную, но увѣренную и пріятную улыбку офицера, ѣхавшаго домой послѣ этого несложнаго, но все же замѣтнаго процесса, о которомъ въ военной средѣ будутъ говорить. Въ газетахъ отчета, конечно, не будетъ, такъ какъ оглашать составъ военного суда не разрѣшается.

Приговоры военно-полевого суда исполнялись немедленно; но все-таки пришлось выждать ночи, и Оленя увели обратно въ камеру.

Когда опять за нимъ пришли, онъ крѣпко спалъ. На этотъ разъ наручниковъ не надѣли. На тюремномъ дворѣ все было готово. Всего одна лампочка, висѣвшая у тюремной стѣны, освѣщала висѣлицу; въ полумракѣ хлопотало нѣсколько человѣческихъ фигуръ, поодаль стояли солдаты съ винтовками и маленькій, щуплый, озябшій дежурный офицеръ.

Было очень холодно. Оленя вывели на дворъ въ штанахъ и рубашкѣ безъ воротника. Ему указали мѣсто, гдѣ нужно стать; онъ сталъ прямо, по военному развернувъ носки. Оказалось, что забыли мѣшокъ, и за нимъ послали. Все это дѣлалось хлопотливо, но какъ-то по-семейному; двое придерживали его за локти, слабо, какъ будто стараясь не причинить ему боли, и въ лицо ему не смотрѣли. Мѣшокъ долго не приносили, и Олень сказалъ:

— Нельзя ли поскорѣе, безъ этого, а то очень ужъ холодно?

Люди заспѣшили и зашентались, чей то голосъ за спиной Оленя произнесъ: «Ладно, чего-жъ тамъ!» — и передъ лицомъ Оленя мелькнула петля. Увидавъ ее, онъ вздрогнулъ, дернулъ щекой, затѣмъ безъ порывистости, но очень увѣренно освободилъ правую руку и отвелъ ею руку палача. Лишь на секунду въ головѣ его мелькнули слова, которыя онъ долженъ, кажется, крикнуть имъ всѣмъ передъ смертью, — мелькнули и потухли въ сознаниі, какъ лишнія. Повернувшись къ стоявшему за его спиной, онъ сказалъ вѣжливо и строго:

— Не нужно! Дайте я самъ!

Твердая веревка холодомъ ожгла его шею; но онъ не зналъ, нужно ли и какъ подтянуть узелъ, и, съ улыбкой смущенія, спросилъ:

— Какъ это? Вотъ такъ?

И тогда внезапно взметнулось черное небо — и тусклая лампочка вспыхнула ослѣпительнымъ солнцемъ.

Мих. Осоргинъ.

Три желанія

Сосѣдъ Дорá или, на франко-русскомъ жаргонѣ, Monsieur Escalier de service черезъ своихъ пріятелей: журналиста Monsieur Prix réduit и Madame Place reservée устроилъ Корнетову льготный проѣздъ до Бернери и обратно въ Парижъ. Я предъявилъ удостовѣреніе на гаръ Монпарнассъ и получилъ за полицѣны билетъ, а себѣ взялъ обыкновенный и два «пласъ-резерве» около двери въ купэ другъ противъ друга, чтобы, черезъ сосѣднія ноги не переходя, выходить въ коридоръ; съ билетами я прямо съ вокзала въ Булонь.

Въ моемъ распоряженіи двѣ недѣли — «вакансъ» — и я свободенъ отъ моихъ экономическихъ трубокъ. Скрижу по секрету, я поступилъ пласъе по полотерной части: «Cireuse Electro-Lux» — «въ нашемъ распоряженіи три электрическія щетки, работаютъ головокружительно, и результатъ, смотрите, у васъ подъ ногами такая гладь, такъ блеститъ и сверкаетъ, куда зеркало! — въ зеркалѣ такихъ объемовъ нехватишь, а тутъ вы себя видите съ ногъ до головы и во всѣхъ направленіяхъ, даже съ заду, и можете автоматически завязать самый хитрый галстукъ, и безъ щѣтки смахнете съ себя всякій волосокъ и ниточку, въ одномъ надо быть осторожнымъ — скользишь, какъ по льду, и безъ сноровки легко себѣ шею свернуть, либо ногу вывихнешь — Electro-Lux!» Но это только съ осени, а пока трубки, отъ которыхъ на двѣ недѣли я свободенъ.

*) Предлагаемый рассказъ — одна изъ главъ III части столбной повѣсти «Учитель музыки». Первая и вторая части появились въ журн. «Воля Россіи», 1931, № 1-2, 7-8; глава изъ III части напечатана въ журн. «Числа», 1931, кн. 5.

А. А. не надо было уговаривать. Онъ находился въ томъ состояніи «нспротивленія», когда человекъ бери съ ногами и тащи. Онъ даже не спросилъ: куда? И понятно: вѣдь его держалъ домъ, а теперь на новой квартирѣ, какъ на вокзалѣ, только пересадка. Для общаго чтенія я взялъ «Воскресенье» Толстого, а для А. А., чтобы не бунтовался, «Синтаксисъ» Шахматова и Пешковскаго «Русскій синтаксисъ въ научномъ освѣщеніи» — ему эта премудрость, что листъ виноградъ. Говорю иносказательно, потому что листъ винограда не ѣсть — примѣръ власти словъ, внушающихъ ложныя представленія, которыхъ никакая зоология не выбьетъ изъ головы!

Когда выберешься изъ Парижа, и пусть въ самый дождикъ, а все кажется, солнце свѣтитъ. Дорѣ правъ: Парижъ утомительный. На вокзалѣ мы запаслись лимонадомъ, нашъ поѣздъ скорый, но вѣдь Богъ его знаетъ, мало ли какія пересадки вдругъ? И неожиданно, не услыли и пятую бутылку допить, какъ, говорятъ: пріѣхали.

Мы поселились не въ самомъ Бернери, а между Бернери и Кліономъ: вездѣ все занято и расписано впередъ до октября. А. А. сейчасъ же устроился: разложилъ книги, бумагу, папиросы — хорошій признакъ, за дорогу, значитъ, очнулся! — и сѣлъ за «нарѣчія».

«Опредѣляющимъ обстоятельствомъ называемъ нарѣчіе или другую адвербіализированную часть рѣчи, которая, означая признакъ или отношеніе, опредѣляетъ природу другого, господствующаго надъ нимъ психологически признака...»

А мнѣ скучно. А пляжъ далеко и отъ дождей на «кѣтъ» нѣтъ никакихъ тропокъ — озера и лужи, а итти къ берегу по дорогѣ — автомобили, изволь обертываться да оглядываться, а случаемъ сажаться въ канаву — и тамъ вода. Только въ день нашего пріѣзда не было дождя, а то вслѣдствіе дня, и довольно-таки прохладно. Попалось мнѣ на глаза — въ Бернери на столбѣ наклеено — «Paris-Auto-Cars:

Programmes des excursions». Развѣ что съ экскурсіей поѣхать, а то хоть назадъ въ Парижъ.

*

26 іюля праздникъ св. Анны — Pardon de Sainte Anne. Въ Сентъ-Аннѣ д'Орей пелеринажъ: 30.000 паломниковъ — вся костюмированная Бретань; торжественная месса съ безчисленнымъ духовенствомъ — кардиналъ, архиепископъ, епископы и, какіе есть, главные священники въ Бретани — всѣ; туда и обратно съ заѣздомъ въ Карнакъ и Кибронъ — 75 франковъ съ человекъ, а по случаю дурной погоды — 50.

Все это очень интересно, хотя говорили, что на Карнакъ и Кибронъ времени никакъ не хватитъ, но было еще и такое, чего не зналъ ни хозяинъ отокара Ронзо, ни шоферъ Туріонъ, а что было извѣстно всякому бретонцу: чудесная лѣстница — «La Scala Sancta» въ Сентъ-Аннѣ д'Орей. По этой лѣстницѣ въ день св. Анны поднимаются на колѣняхъ, и надо задумать три желанія и, какъ подумаешься, сказать ихъ — и не было еще случая, чтобы желанія не исполнились. Говорили и еще про одну диковинку, но точно не могли указать, то ли это въ Сентъ-Аннѣ д'Орей, то ли по сосѣдству въ Плоранъ — чудесный камень: около этого камня трутся женщины, желающія имѣть дѣтей, и по свидѣтельству многихъ — не безъ послѣдствій.

Отъ А. А. я узналъ, что Кибронъ-Карнакъ-Плоранъ-Сентъ-Аннѣ д'Орей — самыя таинственныя мѣста Бретани, наслѣдіе Атлантиды, родина Мерлина, гдѣ онъ до сего дня спитъ зачарованный, и самыя невѣроятныя чудеса. Но намъ съ А. А. этотъ плодородный камень посмотреть интересно, но корысти никакой, другое дѣло лѣстница: воспользоваться лѣстницей для осуществленія своихъ желаній, это вѣрнѣй всякой лотарей.

Но кто такая св. Анна, которая имѣетъ такую благо-

дать и чудесный дарь одаренія, никто не могъ объяснить: само-собой, она была бретонка — въ Бретани святыя только бретонцы — королева ли бретонская Анна — Anne de Bretagne, или еще какая, Анна? А. А. дознался — въ домѣ было много книгъ и самая подробная исторія Бретани — Arthur le Mogne de la Borderie, Histoire de la Bretagne. И оказалось, никакая королева, а мать Богородицы — по легендѣ родомъ она бретонка изъ Орей, вышній голось привелъ ее съ Океана въ Иерусалимъ, и тамъ она встрѣтилась съ Іоакимомъ, который жилъ въ горахъ и тоже по указанію пришелъ въ Иерусалимъ. И еще узналъ А. А., что праздникъ въ честь св. Анны — Pardon de Sainte Anne — установленъ съ середины XVII вѣка, когда по указанію теперь «праведнаго», а тогда безумнаго Николазика нашли статую св. Анны, зарытую на полѣ Босенно, гдѣ съ VII вѣка стояла каменная часовня. Въ революцію въ 1790 году статую ни въ какой музей не взяли, а просто сожгли, какъ сожгли въ 1793 въ Шартрѣ чтимую до Рождества Христова друидическую дѣву Марію — *Virginie pariturae*, подземную Богородицу; и какъ въ Шартрѣ, такъ и тутъ сдѣлали новую статую, кому-то изъ жителей Ваннь посчастливилось найти кусокъ старой, и этотъ кусокъ вдѣлали въ пьедесталь — св. Анна и съ ней маленькой дѣвочкой Богородица — статуя стоитъ въ базиликѣ въ правомъ придѣлѣ, передъ ней неугасимыя свѣчи, и чудеса.

Когда я брать билеты, проглянуло солнце. Да и самъ Гуріонъ шофферъ говорить — «ѣхать вамъ будетъ хо-рошо», только предупреждаетъ: «встать пораньше, отокаръ прогудитъ, и сажайся, а не сядешь во-время, ждать не будемъ, и билетъ пропалъ». Мы съ А. А. поднялись, еще ночь. Смертниками вышли за ворота. Мелкій дождь и такая холодина, ровно осень. А стало разсвѣтать, видимъ — кругомъ заволокло и нѣтъ океана — не узнагъ

мѣста, пустыня. Ничего не говоримъ, а думается: «напрасна эта затѣя! — И не дожждаться намъ никакого отокара — какой ужъ тамъ пелеринажъ въ такую погоду!» А отокаръ и бѣжить, но гудка не слышать, да и не зачѣмъ, всѣ видятъ: стоятъ дураки — иззяблись! Мнѣ на станціи показывали большой закрытый отокаръ, а этотъ оказался и маленькій и открытый, верхъ — ларусина: конечно, цѣна, и желающихъ не много. Кое-какъ втиснулись. И поскакали.

Съ ларусины капаетъ, въ лицо вѣтеръ, и ничего не видать. Одно утѣшеніе: пройдетъ дождикъ. До Сень-Назеръ доскакали — не проходитъ, вышли на дождикъ и сѣли на «бато»: надо переправиться по заливу на тотъ берегъ. И ѣзды-то десять минутъ, да пароходъ маленькій, швыряетъ — волна велика, никакъ не справишься, и такое было, что никакъ не доѣхать. А все-таки справились, вышли на берегъ, опять втиснулись и опять поскакали. Дорогой и смотрѣть нечего — кругомъ болото: и какъ это здѣсь люди зиму проводятъ? — отъ русской бѣлой зимы, сугробовъ и степной безнадежности было въ этомъ болотѣ, которому не видно конца. Только, когда Ваннь проѣзжали, точно въѣхали въ волшебное царство! Отокаръ шель медленно, было на что посмотреть, и всѣ высунулись изъ-подъ ларусины, какъ телячьи морды изъ вагона. Но мостовая кончилась, кончилось и волшебное царство, смотрѣть нечего, и опять поскакали. Скачемъ, а дождикъ пуше.

А когда пріѣхали въ Сентъ-Аннъ д'Орей, дождикъ льетъ, какъ душъ. Уговоръ: чтобы къ четыремъ собраться къ отокару домой ѣхать — иначе на «бато» не поспѣешь, изволь до утра ждать въ Сень-Назеръ. Народу — куда 30.000! И такая толкучка: такъ прямо по грязи и лужамъ, куда волна несетъ, туда и идешь. Но я А. А. отъ себя не отпускалъ ни на шагъ: потеряется, что мнѣ тогда дѣлать?

Такъ, держась другъ друга, дошли до церкви. И съ на-

родомъ проткнулись. А тамъ полно: и, чтобы състь, нечего и думать. Стали въ проходѣ: плечо-къ-плечу. Кто съль, сидитъ мокрый, а кто сталь, съ того течеть — живое болото.

Месса еще не началась. Ждемъ. И въ ногахъ просачивается. Но тутъ кюре — мудрый старикъ — поднялся на кафедре, сердитый: дождь ли его разсердилъ, или такой у него видъ напущенный, — началъ онъ о чудесахъ рассказывать, и о прежнихъ, какія совершались у статуи св. Анны, и недавнія, только что вчера было чудо: мальчикъ, играя, взявъ въ ротъ крестикъ, и крестикъ застрялъ у него въ горлѣ, доктора отказались операцию дѣлать, а вчера передъ статуей св. Анны мальчикъ поперхнулся, и крестикъ самъ вышелъ. Потомъ о памятникъ погибшимъ на войнѣ сталъ выговаривать: убитыхъ бретонцевъ миллионъ, а подписалось жертвователей на памятникъ десять тысячъ! И сдѣлался еще сердитѣй... а намъ стыдно: есть грѣхъ, забываемъ — человекъ все забываетъ! — и, пока живъ еще, стѣсняются, а помрешь, никто не вспомнить. Заигралъ органъ. И сразу всё насторожились: думали, начинается. Но органъ поигралъ-поигралъ и замолкъ. И началъ кюре молитвы о путешествующихъ и Богородицу. Еще и еще сердитѣе, такъ что сначала робко повторяли за нимъ. И сто разъ прочиталъ онъ Богородицу — «Богородице Дѣво, радуйся, благодатная Марія...»

Je vous salue, Marie, pleine de grâces;
le Seigneur est avec vous; vous êtes benie
entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit
de vos entrailles est benî.

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous,
pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure
de notre mort. Ainsi soit-il.

Сто разъ повторили мы — «Je vous salue, Marie»... и все шло само-собой — «Je vous salue, Marie, pleine de grâces; le Seigneur est avec vous»... повторили бы и ты-

сячу — «Je vous salue, Marie, pleine de grâces; le Seigneur est avec vous; vous êtes benie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est benî...» И обсушились.

Сошелъ кюре съ кафедры — и вовсе онъ не сердитый! Заигралъ органъ, и показалась процессія — въ голубомъ, въ пурпурѣ, въ малиновомъ и въ бѣломъ — кардиналъ, архиепи, епи, канонники и просто священники, и хоръ. И началась месса. А народъ все идетъ и идетъ. Тѣмъ, кто съль, ничего. А насъ со всѣхъ сторонъ пруть. Мы потихоньку и стали пробираться къ выходу. И благополучно вышли.

Вся площадь биткомъ набита. И дождь, дождь. Итти не знай куда, ничего не разобрать: куда идуть, туда и мы — мимо палатокъ съ крестиками (мнѣ все казалось, это тѣ самые... мальчикъ проглотилъ), образками, статуетками и открытками и просто лавокъ съ галантереей — ярмарка! — придвинулись къ лѣстницѣ; лѣстница каменная подъ навѣсомъ: съ одной стороны поднимаются, и тамъ вродѣ часовни и спускъ. А подступиться нѣтъ возможности — очередь: намъ, выдавшимъ всякіе хвосты, и то на удивленіе. Отъ усердія и вѣры въ желанія или дождь перебыть, но кто ужъ сталь, того ничто не сдвинетъ. И пришлось отступить.

Стоять подъ дождемъ — ничего отъ тебя не останется. Вотъ мы и затѣяли, пока что, пройти посмотрѣть, гдѣ намъ съ обѣдомъ устроиться — скоро обѣденный часъ. И опять за народомъ вышли на главную улицу къ магазинамъ. Отель на углу — единственный, туда нечего и думать попасть, а въ кафе и быстро вездѣ приготовлены столы, только подождать надо, обѣдъ черезъ полчаса. А. А. весь промокъ, но хуже всего, ноги промочилъ. И рѣшили мы купить чего-нибудь — да все дорого: теплые чулки и парусиновые туфли... смотримъ: есть — деревянные! — не сабо съ загнутыми носками, а черныя деревянные калоши, по ихнему «galoches». А. А. въ магазинъ и переобулся. И сейчасъ же въ кафе напротивъ — хорошо.

что еще поторопились, а то бы и мѣста не найти. И то сидѣли такъ — которая нога твоя — которая чужая! — да еще къ тому же все мокрые. Съ грѣхомъ пополамъ поѣли, расплатились, теперь можно и на лѣстницу лѣзть: весь народъ схлынулъ сюда.

Сначала-то въ этихъ «галлошахъ» шель А. А. ничего, потомъ, замѣтно, отстаютъ: ступить шагъ и остановится; и не отъ тяжести, а дерево ему ногу поперекъ рѣжетъ. Едва до лѣстницы добрали. И не ошиблись, очередь ужъ не такая. Только никто на колѣняхъ не подымается! Гризиши натаскали — лужи.

Стали мы за народомъ. И пошли: подымеешь ногу — и въ лужу, переступишь — въ грязь. А въ умѣ три желанія: первое — достать денегъ; второе — надо денегъ; третье — если бы были деньги!

«Деньги! Что бы я только сдѣлалъ, если бы у меня были деньги! И что тутъ кошунственнаго въ моихъ желаніяхъ? я хочу и прошу денегъ. «Деньги — голуби: прилетятъ и опять улетятъ!» — есть такое по-русски, взято Достоевскимъ. Я согласенъ, я и не собираюсь беречь, я хочу расточать. «Богатство питается кровью бѣдныхъ, деньги — кровь бѣднаго!» — это слово бѣднующаго изъ бѣдныхъ автора «Le Sang du Raucage» Леона Блуа. Я далъ бы денегъ А. А. — вѣдь онъ въ конецъ обезкровленный: я далъ бы ему этой крови — для чего и кому нужно, чтобы пропадалъ человѣкъ? Самому мнѣ много не надо, я крѣпче и выносливѣе, мнѣ совсѣмъ немного: все-таки съ экономическихъ трубокъ кое-что получаю, а съ осени, то по-человѣчески устроиться... и почему, почему это такъ, ну, если бы я не работалъ, а то вѣдь съ утра до вечера, и неужто люди ничего не придумаютъ, или когда же человѣческому терпѣнію придетъ конецъ? И не только А. А., я далъ бы и Балдахалу, я подписался бы на все сто экземпляровъ его нечитаемой и непокупаемой книги о «русскомъ стилѣ», и я знаю, это его очень подняло бы, я

увѣренъ, онъ выпуститъ и второй томъ, и этотъ второй я тоже куплю — я раздамъ въ библиотеки, всѣмъ знакомымъ, а себѣ оставлю два экземпляра на случай — библиографическая рѣдкость! И поэту Козлоку и пріятелю его Судоку и «баснописцу» Василию Куковникову, «бывшему младшему регистратору бывшей Государственной Думы». — Козлокъ ночной шофферъ, но это только слава, что устроился, а Судокъ — нетуаеръ, моетъ окна, лѣтомъ ему еще ничего, но у него рука отморожена, и зимой это очень чувствительно; я его спросилъ: «о чемъ вы думаете, когда моете окна?» — «стихи читаю, отвѣтилъ онъ, Блокъ и Поплавскаго!» Господи Боже мой, Блокъ и Поплавскій на окнахъ Большихъ Магазиновъ въ Парижѣ, какая реклама! Но ее видитъ только одинъ Василий Петровичъ Куковниковъ... Куковниковъ вяжетъ безконечный джемперъ, медленный человѣкъ, 175 франковъ за три недѣли работы, правда, онъ никогда не ропщетъ, «живетъ тихо и радостно», но это такой складъ, а я такъ не хочу... скажите, пожалуйста, какіе въ Парижѣ театры — Шанзелизе, Плейель, Опера — сколько мировыхъ знаменитостей приѣзжаетъ и въ зиму и весной показывать свое искусство, но развѣ эти Козлоки, Судоки, Куковниковы могутъ хотя бы развѣ... и для кого же тогда эти театры и концерты, все то искусство, которымъ люди гордятся? скажи-ка, поди, какому-нибудь расфраченному въ Опера, что, молъ, ты при всей своей независимости, (независимыми могутъ быть только съ деньгами!), неприкосновенности и власти отъ обезьяны произошелъ, онъ найдетъ отвѣтъ: «я, скажетъ, Бетховенъ, я — Бахъ, я — Вагнеръ, я — человѣкъ!» — человѣкъ? но Козлокъ и Судокъ и Куковниковъ, да почему же они — обезьяны? и кому и для чего нужно, чтобы они обречены были на скотскую жизнь? А Птицамъ за то, что въ бѣдѣ пріютили у себя книги А. А. я подарилъ бы автомобиль — пускай себѣ Птицы ѣздятъ! И всякому, передъ которымъ стыдно бываетъ, что онъ еще бѣднѣе тебя, я далъ бы денегъ — понимаете, мнѣ надо

той братской крови какъ можно больше! Я хожу по улицамъ — трубочный пласье — если бы я умѣлъ, я могъ бы рассказать о бѣдѣ, передъ которой опускаются руки. . . какое лицемѣріе, какое ханженство, какія громкія слова и негодование и упрекъ въ развращенности, развратѣ и преступленіи, а это — эта точащая бѣда изо-дня-въ-день, эта обреченность безъ просвѣта и терпѣніе, почему же объ этомъ жуткомъ стиснутомъ терпѣніи... и это будетъ! вы увидите! и самому жутчайшему и самому безропотному придетъ конецъ.. Да, надо какъ-то устроиться — что жъ мой хвалѣнный «колоніальный билетъ» — ерунда, на эти билеты никто не выигрываетъ, и только ждешь, какъ дуракъ. Денегъ! — Достать денегъ! Надо денегъ! Если бы были деньги!»

— — —

А. А. шелъ рядомъ, ноги его были крѣпко зажаты деревянными черными тисками: переступая медленно, онъ чувствовалъ еще больнѣе рѣжущую боль. Онъ шелъ молча. Но по его выраженію я понялъ, о чемъ онъ думаетъ — какія три желанія выговаривались неотступно, я ихъ слышалъ въ звукѣ его тяжелыхъ деревянныхъ шаговъ: первое — разорвать контрактъ, второе — найти квартиру, и третье — переѣхать на новую квартиру. Я не могъ ошибиться: да, ему — квартира, квартира, квартира, какъ мое — денегъ, денегъ, денегъ.

Такъ мы и подымались. Я промочилъ себѣ ноги, но для меня это неважно, я привыкъ. И поднялись. И, поднявшись, приостановились на площадкѣ, и я сказалъ:

Достать денегъ! — надо денегъ! — если бы были деньги!

И всѣ приостанавливались, но странно, тутъ бы и должна была стоять статуя св. Анны и свѣчи, но ничего не было, и мнѣ подумалось, что въ этой пустотѣ — въ этомъ разочарованіи — не скрывается ли символъ пустоты всѣхъ человѣческихъ желаній? Я видѣлъ по лицамъ другихъ —

это разочарованіе. И, какъ и всѣ, мы быстро спустились по другой лѣстницѣ.

А, пока мы лазили съ желаніями, дождикъ прошелъ, выглянуло солнце. И дѣйствительно: вся костюмированная Бретань, какъ на смотру манекеновъ: черное и бѣлое — Бретань траурная — но какое разнообразіе въ формѣ и въ нагофренныхъ складкахъ бѣлыхъ чепчиковъ и косынокъ; опытный глазъ точно скажетъ по рубчикамъ и завиткамъ, откуда, и не только назоветъ департаментъ, городъ, но и селеніе — Финистеръ, Морбіанъ, Сень-Мало, Сень-Бриё, Кэмперъ, Лоріанъ, Ванъ, Локронанъ, Дуарнезъ, Гуезекъ, Педернекъ, Плугастель-Даулаъ, Росковъ...

Опять — но теперь гораздо свободнѣе — въ волнѣ мы подошли къ церкви. Месса кончилась, ждали «вепръ» — вечерней службы, послѣ которой процессія, ею и закончится праздникъ. Но проткнуться въ церковь было очень трудно — входили и выходили, безъ уговора демонстрируя передъ чудесной статуей.

А. А. хотѣлось посмотрѣть домъ Николазика. И пошли домъ разыскивать. Спрашивать зря: по французски не очень-то много понимаютъ, хотя мы съ разговоромъ на русскій ладъ понятнѣе имъ, чѣмъ французы. Къ нашему счастью мы попали какъ-разъ въ волну и добрались до дома. И если бы никто не сказалъ, такой домъ изъ тысячи узнаешь, и по дворику и по каменной лѣстницѣ — дверь высоко — единственный. Только въ немъ, и нигдѣ, могъ жить Николазикъ.

На землѣ есть «заколдованныя мѣста» — пропадна и благодатная: на одномъ мѣстѣ всю душу тянетъ, а есть, точно все кругомъ до камня и дерева высвѣчено. Я представляю себѣ лунную ночь — не окно, а эта лѣстница освѣщена, а тамъ насторожившіяся тѣни. . а сейчасъ все въ солнцѣ. И жить не всякій тутъ можетъ. Николазикъ — *ricux Nicolasic* — праведный Николазикъ, ему сны снятся: передъ его глазами разступается земля на полѣ

Босенно — и онъ видитъ сквозь землю. А люди, чтобы какъ-то отдѣлаться, успокоиться, вѣдь это же неестественно видѣть человѣку сквозь землю! — говорятъ: сумасшедшій! А можетъ быть и правы: вѣдь кто такое увидитъ, или кто способенъ такое увидѣть, какъ Николазикъ, тотъ не видитъ ужь, что подъ носомъ, что налипаешь въ суетныхъ дняхъ, когда не до чего, а лишь работа (и часто сомнительная, и сколько работаютъ, не спрашивая, для чего и для кого, и хорошо, что не спрашиваютъ!), потомъ ѣда и безпробудный сонъ и... гложущія желанія, какъ у меня: достать денегъ! надо денегъ! если бы были деньги!

И А. А. говоритъ, что, читая про Николазика, онъ представлялъ именно такимъ домъ праведнаго человѣка.

— Одинъ домъ, откуда уходитъ человѣкъ, такой есть въ Римѣ, домъ Алексѣя, человѣка Божія, — сказала А. А., — другой вотъ этотъ, въ которомъ видѣлъ сны Николазикъ. Человѣкъ строить себѣ домъ или устраивается въ домѣ по-себѣ, но никто не властенъ въ выборѣ, это такъ же, какъ и въ одеждѣ. Что подѣлаешь, если на тебѣ все на ниткѣ держится, или какъ эти вотъ «галоши».

*

Время еще было, но для вѣрности, не задерживаясь, стали подвигаться. Отъ церкви три дороги. Куда итти? Ну, конечно, или налѣво или прямо. Но, когда шли къ церкви подъ дождемъ, смотрѣли подъ-ноги, и теперь никакъ не сообразишь, откуда пришли. И тутъ вотъ у обоихъ у насъ — вотъ и вѣрь въ чутье! — такое чувство, памяти никакой, что шли мы по той дорогѣ, которая прямо. И пошли прямо, да не потихоньку, — А. А. совсѣмъ обезножилъ — ступить и остановится, — а еле-еле, черпаками. И морить стало. Питъ хочется. А солнце-то! Вотъ бы по утрамъ такое! Ну, все равно, возвращаться будетъ пріятно. Зашли въ бистро. Посидѣли — выпили сидру. И дальше. Идемъ и идемъ — одинъ гаражъ прошли: никого тамъ отокара изъ Бернери. Всѣ гаражи похожи одинъ

на другой, конечно, ошиблись! Пошли къ другому — и въ другомъ нѣту. А далеко прошли, и вспоминается, словно бы тогда путь меньше былъ. Вотъ и третій гаражъ. А въ третьемъ на первые два указываютъ — тамъ, говорятъ, долженъ быть изъ Бернери. Мы назадъ. Времени точь-въ-точь: если черезъ пять минутъ не найдемъ, отокаръ безъ насъ уѣдетъ. Но А. А. такъ измаялъ себѣ ноги, не можетъ итти. Что дѣлать? Предложилъ я ему помѣняться: онъ мои пусть, мои подсохли, а я его «галоши». У меня нога больше, Корнетову будетъ даже черезъ-чуръ, а эти «галоши» безъ размѣра, я какъ-нибудь втиснусь. Да присѣсть негдѣ. Развѣздъ — кругомъ автомобили. Кое-какъ на одной ногѣ съ поддержкой переобулись. А. А. въ моихъ, какъ въ ладьяхъ, а мнѣ его въ самый разъ, и сначала-то незамѣтно, въ горячахъ не замѣчаю, но съ каждымъ шагомъ чувствую, что рѣжетъ — и какъ это А. А. столько времени мучился? И на часы страшно посмотрѣть. Мнѣ показалось, словно бы нашъ отокаръ проскакалъ въ поле — но если и нашъ, никакъ не догнать, и не окликнешь. И опять мы спрашиваемъ, нѣтъ ли такихъ, что въ Бернери? — нѣтъ, говорятъ, и гаражи показываютъ, гдѣ мы уже спрашивали. «А есть еще гаражи?» — «Нѣту, — говорятъ, — только три». Стало быть, нашъ отокаръ, не дождался. И ужъ потомъ разъяснилось, что дѣйствительно три гаража по этой дорогѣ, а, сколько по другой, неизвѣстно. Но все равно, итти искать на другой дорогѣ поздно — вѣдь, сколько прошло, такъ долго ждать отокаръ не будетъ. И опять пошли мы къ церкви, теперь я плетусь, а А. А., хоть и не бойко — очень ужъ натрудилъ ноги — а все-таки куда ходѣе.

Процессія кончилась, народъ расходился. И другіе подходили — кому никуда не надо ѣхать; какіе-то солдаты появились. И, видно, на-веселѣ. Веселый будетъ вечеръ. А намъ надо что-то дѣлать? Переночевать въ отелѣ, и завтра... да, будь деньги, такъ бы всего разумнѣй. Но у меня съ собой сто франковъ и мелочь — у меня есть и еще,

но я предусмотрительно не взялъ съ собой, боялся — вытащутъ. А на сто франковъ... и надо на дорогу — нѣтъ, сейчасъ же на вокзалъ, поспѣть къ поѣзду — навѣрно, есть вечерніе поѣзда. А вокзалъ, говорятъ, очень далеко. И автомобилей нѣтъ, только въ отель. Мы въ отель. Да не добьешься толку: тамъ не только на-веселѣ, а развезло — вѣдь весь день одинъ разъ въ году такая работа, тутъ и съ работы сядешь. И послѣ большихъ споровъ, убѣжденій и просьбъ наконецъ-то взялись довести за десять франковъ. А для насъ каждый франкъ сталъ, какъ тысяча. Пришлось согласиться. И прикатили на станцію: поѣздъ черезъ полчаса въ Нантъ.

И страху же я натерпѣлся, стоя у кассы: а ну-какъ, думаю, на билеты не хватитъ, и ужъ боюсь думать; а ничего не думается, только думается: не хватитъ. Очередь мнѣ показалась длиннѣе всѣхъ очередей, а выстаивалъ я не часы, а дни. И представьте себѣ, хватило! — да еще и сдачу дали — 15 франковъ. Вышли мы на платформу — народу порядочно, всѣ къ поѣзду.

Когда подъѣзжали къ станціи, я замѣтилъ менгиръ у самаго вокзала — если бы не такое, посмотрѣть бы поближе — мѣсто отмѣченное: Plumeret — путь въ Карнакъ. А. А. все пенялъ себѣ, зачѣмъ пустился на авантюру: ужъ если ѣхать, такъ надо было ѣхать однимъ, никого не ждать — утро припомнилъ, когда мы подъ воротами на вѣтру съ часъ ждали отокара; да чтобы и тебя никто не ждалъ — конечно, пока мы плутали, Гуріонъ хоть и немного, а ждалъ насъ, и другіе пассажиры сердились. А. А. вспомнилъ единственную свою поѣздку съ экскурсіей зимой изъ Петербурга на Иматру: компанія веселая — студенты, курсистки и для развлечения затѣяли въ снѣжки — другимъ съ рукъ сошло, а Корнетова такъ закидали — воспаление легкихъ; и тогда онъ сказалъ себѣ, что ни на какія общественныя авантюры его не соблазнишь. А вотъ я виноватъ, соблазнилъ, и теперь надо избывать, слава Богу, что хоть денегъ-то на билеты хватило!

А народу! — все подходятъ и подходятъ и всѣ костюмированные — пріѣзжіе на праздникъ, набилась вся платформа. Я боюсь, что А. А. скувырнется и попадетъ на рельсы, а А. А. боится, что меня съ моими черными «галошами» подъ поѣздъ столкнутъ, не удержусь. И остерегаемъ другъ друга. Страшно подумать, какъ будемъ въ вагонъ влѣзть — вѣдь я вродѣ какъ безъ ногъ: и за собой смотри и за А. А., онъ всегда не туда лѣзетъ. И подкатилъ поѣздъ и вся Бретань смѣшалась — Финистеръ, Морбіанъ, Сень-Мало, Сень-Бриѣ, Лоріанъ, Ваннъ, Локронанъ, Дуарненезъ, Гuezекъ, Педернекъ, Плугастель-Дауласъ, Росковъ... — но все вышло безъ всякой давки, вагоны пустые. Оно и понятно: не проѣхали и съ полчаса, пересадка.

До Нанта было пять пересадокъ. Пересаживаться не привыкать стать, но въ этихъ «галошахъ» сидѣть хоть и больно, но чуть высвободишь ноги, и ничего, а что влѣзть, что вылѣзть — нестерпимо. И если сидѣлъ я всю дорогу, какъ на иголкахъ, выйдя въ Нантъ на улицу, ступилъ на ножи.

Въ Нантъ на другой вокзалъ на трамваѣ, а до трамвая-то надо идти, и А. А. торопить: можетъ, еще къ поѣзду поспѣемъ. Да куда тамъ поспѣть — я былъ въ томъ видѣ, какъ А. А. у третьяго гаража, когда шли мы не туда, — не могу идти. И пріѣхали на вокзалъ, а поѣздъ ушелъ. А слѣдующій въ шесть утра.

*

И опять: если бы деньги, можно было бы переночевать въ гостиницѣ. И ѣсть хочется. Заказали кофе съ хлѣбомъ, а сами боимся, ну-какъ не хватитъ: буфетныя цѣны не лавочныя, а мы «этранже»: А. А. — «китаецъ», а я, хоть со временемъ и буду Де-Симонъ, а пока Семень Петровичъ Полетаевъ изъ Кинишемской Гольчихи и грамматически женскій родъ путаю съ мужскимъ и ноздри вы-

даютъ. Выпили мы кофе и весь хлѣбъ съѣли. И къ великому нашему успокоенію получили шесть франковъ сдачи: это намъ на утро — кофе. Что жъ, подождать восемь часовъ не такой ужъ срокъ — гдѣ-нибудь на станціи Круты ждали Черниговскаго поѣзда сутки, это въ мирное время, а въ революцію и счетъ потеряешь. Снялъ я свои «галoши» и съѣлъ по-турецки, и А. А. въ моихъ ладьяхъ нахохлился.

Съ часъ просидѣли. Холодно стало становилось: и ночь послѣ дождей, и океанъ близко. Но сонъ не посмотритъ, такъ и пройдетъ время. Но тутъ пришелъ желѣзнодорожникъ ожидающихъ провѣрять. У насъ билеты III класса — самыми вѣжливыми, самыми изысканными словами, жалобными и патриотическими, ссылаясь на ноги, *Pardon de Sainte Anne* и что мы русскіе, просили не гнать, не соглашается: разъ билеты III класса, и ждать надо въ залѣ III класса, и это такъ же ясно, какъ то, что, у кого II класса, тотъ ждетъ во второмъ. Надѣлъ я свои «галoши» и потащился въ III-ій. А тамъ и темнѣе и грязищи натаскано за день — вездѣ прошелъ дождь — и разорванныя газеты разбросаны по полу; вы замѣтили, разорванныя газеты производятъ всегда впечатлѣніе нечистоты, хотя бы все кругомъ было подметено и вычищено. Ну, да какъ-нибудь — не въ такихъ еще залахъ сживали. И опять я снялъ «галoши» и устроился по-турецки, а А. А. въ ладьяхъ нахохлился. И успокоился: можетъ онъ и правъ: если всѣ съ билетами III-го полѣзутъ во II-ой, то къ чему же тогда существуетъ III-ій, а разъ III-ій существуетъ, стало быть, изъ III-го во II-ой нельзя... и не догадается спросить себя, да имѣетъ ли право существовать этотъ III-ій, а какъ догадается, никакого ужъ III-го и не будетъ, но когда догадается...? Такъ бы, навѣрное, подъ вопросы — какъ да когда? — и заснуть можно было, да, откуда-нибудь возмись, летучая мышь. Заведешь глаза — жжигъ! — вздрогнешь и насторожишься, и опять — жжигъ! — Перешли въ другой уголь — будто потемнѣе. А она и

тутъ. Минута передышки и опять — жжигъ! — такъ надъ шляпой, вотъ-вотъ влипнетъ. Взять съ полу газету, покрыться газетой — да бѣлое ей будетъ еще замѣтнѣй. Пришлось подняться. Думали такъ: походимъ по платформѣ, она и улетитъ. И пошли — черепахи. На платформѣ грузили почтовые вагоны — пришлось проходить мимо посылокъ — грузчики не очень любезно на насъ смотрѣли: ходятъ черепахи! — но потомъ надоѣло, перестали замѣчать... если бы намъ такъ нашу мышку! и мнѣ мои ноги! — каждый шагъ мнѣ, какъ рана. Терпѣлъ, все надѣялся, улетитъ мышка: и чего мы ей дались, въ самомъ дѣлѣ? или никого другого нѣтъ? а во II-ой классѣ, какъ и намъ, ей ходу нѣтъ? И съ часъ такъ ходили, а вернулись — мышка только и ждетъ — и только-только услышь — жжигъ! Я и возрoпталъ:

— А. А., — говорю, — за что? что мы такое сдѣлали?

— Все изъ-за меня, — говоритъ, — моя бѣда.

И я подумалъ: или и въ правду, срокъ его бѣдамъ не кончился, а я за одно.

— И пропали наши деньги, — говорю, — Гуріонъ не отдастъ: опоздали, скажетъ, билетъ пропалъ, и онъ не виноватъ.

А. А. ничего не отвѣтилъ. Онъ только вздрагивалъ на ширяющуюся мышъ. И было въ немъ что-то увѣренно-покорное — онъ и вздрагивалъ какъ-то ритмически въ ладъ — увѣренный, что, рано или поздно, а наступитъ конецъ. И мнѣ неловко стало, точно я попрекаю. Но я совсѣмъ не попрекаю, мнѣ только досадно: вѣдь туда и обратно на отокарѣ 100 фраковъ, а теперь по желѣзной дорогѣ — 85, да автомобиль — 10, да трамвай, стало быть еще 100 франковъ, и за что?

Ночь-то показалась — я ни на минуту не могъ заснуть, слѣдилъ за мышью и за часами — и не запомню, когда еще была она длиннѣе.

Этимъ дѣло не кончилось. Скажу за себя: я ни въ какія примѣты не вѣрю, и 13-ое число для меня самое удачливое, но вотъ я знаю, что-то есть не отъ человѣка, какія-то такія полосы — попадешь и до какого-то срока не выберешься, и въ такую пору никто ужъ не обережетъ тебя, а самъ себя и подавно. Еще три дня мы прожили между Бернери и Кліономъ. На другой день послѣ нашей скандальной авантюры Madame Rogier, наша хозяйка, поѣхала въ Порникъ — Порникъ за Кліономъ — и взяла намъ билеты: мнѣ обыкновенный, а А. А. по удостовѣренію льготный и два «пласъ-резерве»; хотя движеніе и небольшое, съ «платцкартами» всегда спокойнѣй.

Въ эти дни шелъ дождикъ. Ходить подъ дождемъ на пляжъ не соблазняло. Я оставался съ А. А., попеременно читали вслухъ «Воскресенья». И потомъ А. А. толковалъ мнѣ. Не очень внимательно я его слушалъ — я все досадовалъ: изволь проводить вакансъ въ комнатѣ, развѣ это не досадно? И мало помню, что-то о Гоголѣ и Толстомъ: о таинственныхъ голосахъ, которые слышалъ Гоголь, и о сокровенномъ голосѣ сердца у Толстого съ настойчивымъ и неотступнымъ — зачѣмъ и почему? и о тайномъ зрѣніи: подъ ихъ глазомъ обивжалась призрачная реальность и видимо становилось не то переменчивое, что сожжется, а то судьбинное, что движеть и движется за обольстительной пеленой міра.

А изъ «Воскресенья» — «собачья лапа», примѣръ, какъ люди никогда не рѣшаютъ вопросовъ прямо и для себя, въ главномъ, и въ мелочахъ — кому не памятна отвѣты на просительныя письма? «Нехлюдовъ спросилъ мальчика, выучился ли онъ складывать?» — «Выучился». — «Ну, сложи: лапа». — «Какая лапа, собачья?» — съ хитрымъ лицомъ отвѣтилъ мальчикъ; и еще изъ «Воскресенья»

же замѣчаніе фабричнаго, сосѣда Нехлюдова въ вагонѣ, когда Нехлюдовъ смотрѣлъ, какъ фабричный пилъ изъ бутылки и изъ этой же бутылки свою жену угощалъ: «Какъ работаемъ, — сказала фабричный, — никто не видитъ, а вотъ, какъ пьемъ, всѣ видятъ». «Собачья лапа» и это «никто не видитъ, какъ работаемъ» засѣли у меня въ головѣ.

Распростившись съ хозяевами, послѣ обѣда въ дождикъ мы поѣхали въ Порникъ — только оттуда прямой поѣздъ въ Парижъ — и первые заняли мѣста въ вагонѣ. Для развлечения взялъ я себѣ Т. S. F. Но музыка началась, только когда тронулся поѣздъ, и пришлось прервать: контроль. Положилъ я наушники — и знаете, въ лежащихъ слышно: музика! Проверилъ контролеръ мой билетъ и сталъ я прилаживаться дослушивать, а А. А. подалъ свое удостовѣреніе.

— А билетъ? — спрашиваетъ контролеръ.

— Какой еще билетъ? вотъ! — показываетъ А. А. на удостовѣреніе.

А я знаю, маленькій билетикъ прикалывается къ удостовѣренію, и вижу, нѣтъ его.

— Я, — говорю, — заплатилъ за билетъ, и вотъ «пласъ-резерве»: его выдаютъ только по предъявленію билета. Но контролеру надо: или билетъ или плати.

И какъ это возможно, чтобы потерялся! — А. А. шарилъ по своимъ карманамъ, я по своимъ: ничего — ни у меня, ни у него.

— Стало быть, на станціи забыли выдать! — сказалъ я.

Забыли или не забыли, все равно, контролеру подай билетъ или плати. И пришлось заплатить во второй разъ.

И хотя контролеръ увѣрялъ, что по заявленію въ Парижѣ деньги намъ вернутъ, меня все это ужасно какъ разстроило, и вся моя музыка пропала: бросилъ я Т. S. F. — зря только десять франковъ... хороша и Madame Rogier, не посмотрѣть! да и А. А. хороша, принять, не проверивъ!

И скажу вамъ, мнѣ даже жутко стало. И всю дорогу — особенно какъ мосты переѣзжали — ждалъ я крушенія. Но бѣда миновала, и въ Парижъ мы вернулись съ хорошей погодой.

ДѢЛО ВЪ ШЛЯПѢ

Подкова ли дѣйствовала — нашель ее А. А. въ день переѣзда, названная «индустриальной», потому что не лошадиная и не ослика, а шестерня отъ велосипеда — или эта подкова знаменовала событія: найти подкову — къ счастью. И то правда: когда лѣзь онъ на чудесную лѣстницу въ Сентъ-Аннъ д'Орей, стражда въ своихъ мучительскихъ черныхъ деревянныхъ «галошахъ», желанія его подымались съ нимъ и достигли одаряющаго сердца св. Анны.

А. А. удалось-таки трехлѣтній контрактъ передѣлать на годовой, изъ Булони онъ не уѣхалъ, но совсѣмъ другое — безсрочно или только до лѣта. И по заявленію въ Парижѣ, какъ училъ контролеръ, деньги за билетъ ему вернули, не сразу, черезъ мѣсяць.

А вотъ мнѣ не повезло: или не такъ я говорилъ мои желанія, или легко подымался — но зато какой путь поиска отокара! какая ночь на вокзалѣ съ летучей мышью! неужто этой страдой я не искупилъ свою легкость?

Отказавшись отъ экономическихъ трубокъ, я не попалъ въ Electro-Lux: говорятъ: «кризисъ» — сокращение служащихъ, и теперь я пошуаристъ — раскрашиваю платки; и если съ трубками было не важно, съ платками совсѣмъ плохо. И я ужъ не мечтаю... а когда денегъ у меня нѣтъ, а у меня хронически ихъ нѣтъ, я думаю, и у меня такое — такое есть у Достоевскаго, очень подходит — «скрипитъ душа», понимаете, мнѣ надо... только не словъ, я чувствую, подходит такая полоса, когда человѣку терять ужъ нечего... постойте, есть выходъ! русское эми-

грантское бюро похоронныхъ процессій! — что еще можетъ быть надежнѣе — и внѣ конкуренціи и никакого кризиса!

А та полоса А. А., должно быть, кончилась, и кончилась не менѣе чудесно, чѣмъ было ея начало.

Какъ тягостна въ Булони осень, когда въ лѣсу облетѣли деревья, и дождикъ. Аллея, къ которой стремятся изъ Парижа весной, принимаетъ видъ безнадежности, какъ та дорога болотомъ отъ Сень-Назеръ въ Ваннъ. А еще тягостнѣе, когда вѣтеръ и дождь.

Въ этотъ день вѣтеръ началъ съ утра отдирать желѣзные листы съ крыши сосѣдняго, пустого, обреченнаго на сломъ, дома, а къ вечеру онъ со всего разлету напускался на лѣсъ: на перекресткахъ крутило. Вечеромъ, возвращаясь изъ Парижа, А. А. слѣзъ съ автобуса «ВР» и осторожно сталъ переходить улицу. И вѣтеръ, налетѣвъ, сорвалъ съ него шляпу.

Бѣжать по мостовой страшно: автомобили. И, стоя на тротуарѣ, только смотрѣлъ. А это былъ аксидантъ, незарегистрированный ни въ какихъ ажанскихъ протоколахъ. И видѣлъ, какъ мяли ее колеса автомобилей и рѣзалъ трамвай, и какъ, прорѣзанныя, бессильно подымались поля, и опять, очутившуюся подъ колесами, ее протащили по грязи, и она дрожала доскутьями. Онъ ее видѣлъ, и это валялась на мостовой не фетровая шляпа, а истерзанный трупъ, и въ этомъ трупѣ было еще теплое мясо, какъ у раздавленнаго или раздавленной, человѣка или собаки. И, какъ въ каждомъ трагическомъ случаѣ, чувствовалась тайная необходимость и неизбежность.

Легко, съ обнаженной головой, продуваемый вѣтромъ, съ чувствомъ освобожденія отъ какой-то давившей тяжести, А. А. подошелъ къ калиткѣ, на всю Булонь ярко освѣщеннаго дома — своей тюрьмы.

Алексѣй Ремизовъ.

ПОДВИГЪ

XXIV.

Дарвинъ явился съ комедійной точностью, — сразу послѣ этихъ словъ, будто ждалъ за кулисами. Лицо у него было отъ морского солнца, какъ ростбифъ, и одѣтъ онъ былъ въ замѣчательный, блѣдный костюмъ. Соня поздоровалась съ нимъ — слишкомъ томно, какъ показалось Мартыну. Мартынъ же былъ схваченъ, огрѣтъ по плечу, по бокамъ и нѣсколько разъ спрошенъ, почему онъ не позвонилъ. Вообще говоря, обычно лѣнивый Дарвинъ проявилъ въ этотъ день какую-то невиданную энергію, на вокзалѣ взялъ у носильщика чужой сундукъ и понесъ на затылкѣ, а въ Пульманскомъ вагонѣ, на полпути между Ливерпуль-стритъ и Кембриджемъ, посмотрѣлъ на часы, подзвалъ кондуктора, подалъ ему ассигнацію и торжественно потянулъ рукоятку тормазы. Поѣздъ застоналъ отъ боли и остановился, а Дарвинъ, съ довольной улыбкой, всѣмъ объяснилъ, что ровно двадцать четыре года тому назадъ онъ появился на свѣтъ. Черезъ день въ одной изъ газетъ побойчѣ была объ этомъ замѣтка подъ жирнымъ заголовкомъ: «Молодой авторъ въ день своего рожденія останавливаетъ поѣздъ»; самъ же Дарвинъ сидѣлъ у своего университетскаго наставника и гипнотизировалъ его подробнымъ разсказомъ о торговлѣ пивками, о томъ, какъ ихъ разводять, и какіе сорта лучше.

Та же была стужа въ спальнѣ, тѣ же переклички курантовъ, и тотъ же вваливался Вадимъ, съ тою же на устахъ риемованной азбукой, построенной на двустипіяхъ, каждое изъ коихъ начиналось вѣскимъ утвержденіемъ:

емъ: «Японцы любятъ харикири» или: «Филиппъ Испанскій былъ пройдоха», — а кончалось строкой на ту же букву, не менѣе дидактической, но гораздо болѣе непристойной. А вотъ Арчибальдъ Мунъ былъ какъ будто и тотъ же и другой: Мартынъ никакъ не могъ возстановить прежнее очарованіе. Мунъ при встрѣчѣ сказалъ, что выработалъ за лѣто новыхъ шестнадцать страницъ своей Исторіи Россіи, цѣлыхъ шестнадцать страницъ, потому какъ много, объяснилъ онъ, что весь долгій лѣтній день уходилъ на работу, — и при этомъ онъ сдѣлалъ пальцами движеніе, обозначающее переливъ и пластичность каждой, имъ выношенной фразы, и въ этомъ движеніи Мартыну показалось что-то крайне развратное, а слушать густую рѣчь Муна было, какъ жевать толстый, тягучій рахатъ-лукумъ, запудренный сахаромъ. И впервые Мартынъ почувствовалъ нѣчто, для себя оскорбительное, въ томъ, что Мунъ относится къ Россіи, какъ къ мертвому предмету роскоши. Когда онъ въ этомъ сознался Дарвину, тотъ съ улыбкой кивнулъ и сказалъ, что Мунъ таковъ оттого, что преданъ уранизму. Мартынъ сталъ внимательнѣе, — и, послѣ того, какъ однажды Мунъ, ни съ того, ни съ сего, дрожжащими пальцами погладилъ его по волосамъ, онъ пересталъ его посѣщать и тихо спускался черезъ окно по трубѣ въ переулокъ, когда одинокій, томящійся Мунъ стучался въ дверь его комнаты. На лекціи Муна онъ все же продолжалъ ходить, но, изучая отечественныхъ писателей, старался вытравить изъ слуха интонаціи Муна, которыя преслѣдовали его, особенно въ ритмѣ стиховъ. И Муну онъ сталъ предпочитать другого профессора, — Стивенса, благообразнаго старика, который преподавалъ Россію честно, тяжело, обстоятельно, а говорилъ по-русски съ задыхающимся лаемъ, часто вставляя сербскія и польскія слова. Все же не такъ скоро Мартыну удалось окончательно отряхнуть Арчибальда Муна. Порою онъ невольно любовался мастерствомъ его лекцій, но тотчасъ же, почти воочію, видѣлъ, какъ Мунъ уноситъ къ себѣ саркофагъ съ

думіей Россіи. Въ концѣ концовъ Мартынъ отъ него со-
сѣмь отдѣлался, взявъ кое-что, но претворивъ это
въ собственность, и уже въ полной чистотѣ зазвучали
русскія музы. А Муна иногда видѣли на улицѣ въ сопро-
вожденіи прекраснаго пухляваго юноши, съ зачесанными
назадъ блѣдными, пышными волосами, который игралъ
женщинъ въ шекспировскихъ спектакляхъ, при чемъ Мунъ
сидѣлъ въ первомъ ряду, весь разомлѣвшій, а потомъ ши-
калъ съ другими на Дарвина, который, откинувшись въ
креслѣ, притворялся, что не въ силахъ сдержать восторгъ,
и неумѣстно разражался канонадой рукоплесканій.

Но и съ Дарвинимъ были у Мартына свои счеты. Дар-
винъ иногда одинъ отлучался въ Лондонъ, и Мартынъ, въ
воскресную ночь, до трехъ часовъ утра, до полного оску-
днѣнія кокса, сидѣлъ у камина, изъ котораго дуло, какъ
изъ могилы, и настойчиво, яростно, словно пажимая на
больной зубъ, представлялъ себѣ Соню и Дарвина вдво-
емъ въ темномъ автомобилѣ. Однажды онъ не выдержалъ
и покотился въ Лондонъ на вечеръ, на который не былъ
званъ, и ходилъ по заламъ, полагая, что выгладитъ очень
блѣднымъ и строгимъ, но вдругъ некстати уловилъ въ
зеркалѣ свое круглое розовое лицо съ шишкой на лбу, на-
помнившей ему, какъ онъ наканунѣ вырывалъ футбольный
мячъ изъ-подъ мчавшихся ногъ. И вотъ — явились: Соня,
одѣтая цыганкой, и какъ будто забывшая, что едва четыре
мѣсяца минуло со смерти сестры, и Дарвинъ, одѣтый ан-
гличаниномъ изъ континентальныхъ романовъ, — костюмъ
въ крупную клѣтку, тропическій шлемъ съ платкомъ сза-
ди для защиты затылка отъ солнца Помпей, бѣдекеръ под-
мышкой и ярко-рыжіе баки. Была музыка, былъ серпан-
тинъ, была мятель конфетти, и на одно упоительное мгно-
веніе Мартынъ почувствовалъ себя участникомъ тонкой
маскарадной драмы. Музыка прекратилась, — и когда, не-
смотря на явное желаніе Дарвина остаться съ Соней на-
единѣ, Мартынъ влѣзъ въ тотъ же таксомоторъ, онъ за-
мѣтилъ вдругъ въ темнотѣ автомобиля, прорѣзанной слу-

чайнымъ отблескомъ, что Дарвинъ какъ будто держать
Сонину руку въ своей, и мучительно принялся себя увѣ-
рять, что это просто игра свѣта и тѣни. И невѣроятно было
тяжко, когда Соня прѣзжала въ Кембриджъ: Мартыну все
казалось, что онъ лишний, что хотять отъ него отдѣлаться.
И потомъ было опять лѣто въ Швейцаріи, отмѣченное по-
бѣдой надъ однимъ изъ лучшихъ швейцарскихъ теннисис-
товъ, — но что было Сонѣ до его успѣховъ въ боксѣ, тен-
нисѣ, футболѣ, — и иногда Мартынъ представлялъ себѣ въ
живописной мечтѣ, какъ возвращается къ Сонѣ послѣ бо-
евъ въ Крыму, и вотъ съ громомъ проскакивало слово: ка-
галерія... — маршь-маршь, — и свистъ вѣтра, комочки
черной грязи въ лицо, атака, атака, — така-такъ подковъ,
анапестъ полного карьера. Но теперь было поздно, бои
въ Крыму давно кончились, давно прошло время, когда
Неллинъ мужъ летѣлъ на вражескій пулеметъ, близился,
близился и вдругъ ненарокомъ проскочилъ за черту, въ
еще звенѣвшую отзвукомъ земной жизни область, гдѣ
нѣтъ ни пулеметовъ, ни конныхъ атакъ. «Спохватился, не-
чего сказать», — мрачно журилъ себя Мартынъ и вновь,
и вновь, съ нестерпимымъ сознаниемъ чего-то упущеннаго,
воображалъ георгиевскую ленточку, легкую рану въ лѣвое
плечо, — непременно въ лѣвое, — и Соню, встрѣчающую
его на вокзалѣ Викторіи. Его раздражала нѣжная улыбка
матери при словахъ, которыми она какъ-то обмолвилась:
«Видишь, это было все зря, зря, и ты бы зря погибъ. Нел-
линъ мужъ — другое дѣло, — настоящій боевой офицеръ,
— такіе не могутъ жить безъ войны, — и умеръ онъ, какъ
хотѣлъ умереть, — а эти мальчишки, которыхъ такъ и ко-
сятъ...» Иностранцамъ, впрочемъ, она съ жаромъ говори-
ла о необходимости продленія военной борьбы, — особен-
но теперь, когда все прекратилось, и уже не было ничего
такого, что могло бы сына залучить. И когда она, нѣсколь-
ко лѣтъ спустя, вспомнила это свое облегченіе и спокойст-
віе, Софья Дмитриевна вслухъ застонала, — вѣдь можно
же было уберечь его, не отказаться такъ просто отъ вѣр-

ныхъ предчувствій, быть наблюдательной, быть всегда на неку, — и кто знаетъ, быть можетъ, лучше бь было, если бь онъ и впрямь пошелъ воевать, — ну, былъ бы раненъ, ну, заболѣлъ бы тифомъ, и хотя бы этой цѣной разь навсегда отдѣлался бы отъ мальчишеской тяги къ опасности, — но зачѣмъ такія мысли, зачѣмъ предаваться унынію? Больше бодрости, больше вѣры, — пропадаютъ же люди безъ вѣсти и все-таки возвращаются, — ходитъ, напримеръ, слухъ, что схватили на границѣ и разстрѣляли, какъ шпиона, — а глядь — человекъ живъ, и вотъ уже посмѣивается и басытъ въ прихожей, — и если Генрихъ опять —

XXV.

Въ то второе каникулярное лѣто не одна только эта мимолетная довольная улыбка матери вызвала у Мартына досаду, — гораздо неприятнѣе было кое-что другое. Онъ замѣтилъ во всемъ странную перемену, точно все кругомъ таитъ дыханіе, передвигается на цыпочкахъ. Дядя Генрихъ почему-то теперь звалъ Софью Дмитріевну не Софи, какъ прежде, а *chère amie*, и она тоже говорила ему иногда «мой другъ». Въ немъ появилась новая мягкость, разнѣженность, голосъ сталъ тише, движенія — осторожнѣе, и теперь уже достаточно было похвалить супъ или жаркое, чтобы увлажнились его глаза. Культъ памяти Мартынова отца приобрѣлъ отгѣнокъ нестерпимой мистики, — Софья Дмитріевна глубже, чѣмъ когда-либо, чувствовала свою вину передъ покойнымъ, а дядя Генрихъ какъ-будто намѣчалъ для нея трудный, но вѣрный путь искупленія, говорилъ о томъ, какъ счастливъ Сергеевъ духъ видѣть ее въ домѣ у кузена, и однажды даже вынулъ пилочку и началъ съ пріятной грустью шмыгать ею по ногтямъ, — но тутъ Софья Дмитріевна не выдержала и глухо засмѣялась, и совершенно неожиданно смѣхъ перешелъ въ истерическій припадокъ, и Мартынъ второ-

пяхъ такъ сильно пустилъ струю изъ крана въ кухню, что облилъ себя бѣлые штаны.

Нерѣдко ему приходилось видѣть, какъ мать, устало опираясь на руку Генриха, гуляетъ по саду, или какъ она приноситъ Генриху на ночь пахучаго липоваго чайку для проясненія желудка, — и все это было тягостно, неловко, странно. Передъ его отгѣздомъ въ Кембриджъ, Софья Дмитріевна повидимому захотѣла что-то ему сообщить, но ей было такъ же неловко, какъ и ему, она смѣшалась и всего только и сказала, что можетъ быть скоро напишетъ ему о важномъ событіи, и дѣйствительно, Мартынъ зимой получилъ письмо, но не отъ нея, а отъ дяди, который на шести страницахъ, плавнымъ почеркомъ, въ душещипательныхъ и выпренныхъ выраженіяхъ, увѣдомлялъ его, что вѣнчается съ Софьей Дмитріевной, — очень скромно, въ сельской церкви, — и только дойдя до постскриптума, Мартынъ понялъ, что свадьба уже состоялась и мысленно поблагодарилъ мать за то, что она приурочила къ его отсутствію тяжкое это торжество. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ спрашивалъ себя, какъ же теперь съ нею встрѣтится, о чемъ будетъ говорить, удастся ли ему простить ей измѣну. Ибо, какъ ни верти, это была несомнѣнно измѣна по отношенію къ памяти отца, — а тутъ еще угнетала мысль, что отчимомъ является пухлоусый и недалекій дядя Генрихъ, и, когда Мартынъ на Рождество пріѣхалъ, мать принялась его обнимать и плакать, словно забывъ, въ угоду Генриху, обычную сдержанность, и просто некуда было дѣваться отъ торжественнаго покашливанія отчима и его добрыхъ растроганныхъ глазъ.

Вообще, въ этотъ послѣдній университетскій годъ Мартынъ то и дѣло чуялъ кознодѣйство нѣкихъ силъ, упорно старающихся ему доказать, что жизнь вовсе не такая легкая, счастливая штука, какой онъ ее мнитъ. Существованіе Сони, постоянное вниманіе, котораго оно вчужѣ требовало отъ его души, мучительные ея пріѣзды, издѣвательскій тонъ, который у нихъ завелся, — все это было край-

не изнурительно. Несчастливая любовь однако не мѣшала ему волочиться за всякой миловидной женщиной и хотѣть отъ счастья, когда, напримѣръ, Роза, богиня кондитерской, соглашалась на поѣздку вдвоемъ въ автомобилѣ. Въ этой кондитерской, очень привлекавшей студентовъ, пирожныя были всѣхъ цвѣтовъ, ярко-красныя въ пупыркахъ крема, будто мухоморы, лиловыя, какъ фіалковое мыло, и глянцевиито-черныя, негритянскія, съ бѣлой душой. Нажирались ими до отвала, такъ какъ все хотѣлось добраться до чего-нибудь вкуснаго, поглощался одинъ сортъ за другимъ, пока не слипались кишки. Роза, смугло-румяная, съ бархатными щеками и влажнымъ взоромъ, въ черномъ платѣи и субреточномъ передничкѣ, чрезвычайно быстро ходила по залу, ловко разминалась съ несущейся ей навстрѣчу другой прислужницей. Мартынъ сразу обратилъ вниманіе на ея толстопалую, красную руку, которую нисколько не украшала яркая звѣздочка дешеваго перстня, и мудро рѣшилъ на ея руки больше никогда не глядѣть, а сосредоточиться на длинныхъ рѣсницахъ, которыя она такъ хорошо опускала, когда записывала счетъ. Какъ-то, попивая жирный, сладкій шоколадъ, онъ передалъ ей цедулку и встрѣтился съ ней вечеромъ подъ дождемъ, а въ субботу нанялъ потрепанный лимузинъ и провѣлъ съ нею ночь въ старинной харчевнѣ, верстахъ въ пятидесяти отъ Кембриджа. Его нѣсколько потрясло, но и польстило ему, что, по ея словамъ, это первый ея романъ, — ея любовь оказалась бурной, неловкой, деревенской, и Мартынъ, представлявшій ее себѣ легкомысленной и опытной сиреной, былъ такъ озадаченъ, что обратился за совѣтомъ къ Дарвину. «Вышибутъ изъ университета». — Спокойно сказалъ Дарвинъ. «Глупости», — возразилъ Мартынъ, сдвинувъ брови. Когда же, недѣли черезъ три, Роза, ставя передъ нимъ чашку шоколада, сообщила ему быстрымъ шопотомъ, что беременна, онъ почувствовалъ, словно тотъ метеоритъ, который обыкновенно падаетъ въ пустыню Гоби, прямо угодилъ въ него.

«Поздравляю», — сказала Дарвинъ; послѣ чего очень искусно принялся ему рисовать судьбу грѣшницы съ брюхомъ. «А тебя тоже вышибутъ, — добавилъ онъ. — Это фактъ». «Никто не узнаетъ, я все улажу», — растерянно проговорилъ Мартынъ. «Безнадежно», — отвѣтилъ Дарвинъ.

Мартынъ вдругъ разсердился и вышелъ, хлопнувъ дверью. Выбѣжавъ въ переулокъ, онъ едва не грохнулся, такъ какъ Дарвинъ очень удачно пустилъ ему въ голову изъ окна большой подушкой, а дойдя до угла и обернувшись, онъ увидѣлъ, какъ Дарвинъ съ трубкой въ зубахъ вышелъ, поднялъ, отряхнулъ подушку и вернулся въ домъ. «Жестокій скотъ», — пробормоталъ Мартынъ и направился прямо въ кондитерскую. Тамъ было полно. Роза, смугло-румяная, съ блестящими глазами, мелькала между столиками, сѣменила съ подносомъ или, нѣжно слюня карандашикъ, писала счетъ. Онъ тоже написалъ кое-что на листкѣ изъ блокъ-нота, а именно: «Прошу васъ выйти за меня замужъ. Мартынъ Эдельвейсъ», — и листокъ сунулъ ей въ ужасную руку; затѣмъ вышелъ, съ часъ ходилъ по улицамъ, вернулся домой, легъ на кушетку и такъ пролежалъ до вечера.

XXVI.

Вечеромъ къ нему вошелъ Дарвинъ, великолѣпно скинулъ плащъ и, подсѣвъ къ камину, сразу началъ кочергой подбадривать угольки. Мартынъ лежалъ и молчалъ, полный жалости къ себѣ, и воображалъ вновь и вновь, какъ онъ съ Розой выходитъ изъ церкви, и она — въ бѣлыхъ лайковыхъ перчаткахъ, съ трудомъ налѣзшихъ. «Соня пріѣзжаетъ завтра одна, — беззаботно сказала Дарвинъ. — У ея матери инфлуэнца, сильная инфлуэнца». Мартынъ промолчалъ, но съ мгновеннымъ волненіемъ подумалъ о завтрашнемъ футбольномъ состязаніи. «Но какъ ты бу-

дешь играть, — сказала Дарвинъ, словно въ отвѣтъ на его мысли, — это, конечно, вопросъ». Мартынъ продолжалъ молчать. «Вѣроятно плохо, — заговорилъ снова Дарвинъ. — Требуется присутствіе духа, а ты — въ адскомъ состояніи. Я, знаешь, только что побесѣдовалъ съ этой женщиной».

Тишина. Надъ городомъ заиграли башенные куранты.

«Поэтическая натура, склонная къ фантази, — спустя минуту, продолжалъ Дарвинъ. — Она столь же беременна, какъ, напримѣръ, я. Хочешь держать со мною пари равно на пять фунтовъ, что скручу кочергу въ вензель?» — (Мартынъ лежалъ, какъ мертвый) — «Твое молчаніе, — сказалъ Дарвинъ, — я принимаю за согласіе. Посмотримъ».

Онъ покряхтѣлъ, покряхтѣлъ... «Нѣтъ, сегодня не могу. Деньги твои. Я заплатилъ какъ разъ пять фунтовъ за твою дурацкую записку. Мы — квиты, — все въ порядкѣ».

Мартынъ молчалъ, только сильно забилося сердце.

«Но если, — сказала Дарвинъ, — ты когда-нибудь пойдешь опять въ эту скверную и дорогую кондитерскую, то знай: ты изъ университета вылетишь. Эта особа можетъ зачать отъ простого рукопожатія, — помни это».

Дарвинъ всталъ и потянулся. «Ты не очень разговорчивъ, другъ мой. Признаюсь, ты и эта гетера мнѣ какъ-то испортили завтрашній день».

Онъ вышелъ, тихо закрывъ за собою дверь, и Мартынъ подумалъ заразъ три вещи: что страшно голоденъ, что такого второго друга не сыскать, и что этотъ другъ будетъ завтра дѣлать предложеніе. Въ эту минуту онъ радостно и горячо желалъ, чтобы Соня согласилась, но эта минута прошла, и уже на другое утро, при встрѣчѣ съ Соней на вокзалѣ, онъ почувствовалъ знакомую, унылую ревность (единственнымъ, довольно жалкимъ преимуществомъ передъ Дарвиномъ былъ недавній, виномъ запитый переходъ съ Соней на ты: въ Англии второе лицо, вмѣстѣ съ луконосцами, вымерло; все же Дарвинъ выпилъ тоже

на брудершафтъ и весь вечеръ обращался къ ней на архаическомъ нарѣчіи).

«Здравствуй, цвѣтокъ», — небрежно сказала она Мартыну, намекая на его ботаническую фамилію, и сразу, отвернувшись, стала рассказывать Дарвину о вещахъ, которыя могли бы также быть и Мартыну интересны.

«Да что же въ ней привлекательнаго? — въ тысячный разъ думалъ онъ. — Ну, ямочки, ну, блѣдность... Этого мало. И глаза у нея неважные, дикарскіе, и зубы неправильные. И губы какія-то быстрыя, мокрыя, вотъ бы ихъ остановить, залѣпить поцѣлуемъ. И она думаетъ, что похожа на англичанку въ этомъ синемъ костюмѣ и безкаблучныхъ башмакахъ. Да она же, господа, совсѣмъ низенькая!» Кто были эти «господа», Мартынъ не зналъ; выносить свой судъ было бы имъ мудрено, ибо, какъ только Мартынъ доводилъ себя до равнодушія къ Сонѣ, онъ вдругъ замѣчалъ, какая у нея изящная спина, какъ она повернула голову, и ея раскосые глаза скользили по нему быстрымъ холодкомъ, и въ ея торопливомъ говорѣ проходилъ подземной струей смѣхъ, увлажняя снизу слова, и вдругъ проворно вырывался наружу, и она подчеркивала значеніе словъ, тряся туго-спеленытымъ зонтикомъ, который держала не за ручку, а за шелковое утолщеніе. И уныло плетясь, — то слѣдомъ за ними, то сбоку, по мостовой (итти по панели рядомъ было невозможно изъ-за упругаго воздуха, окружавшаго дородство Дарвина, и мелкаго, невѣрнаго, всегда виляющаго Сонинаго шага), — Мартынъ размышлялъ о томъ, что, если сложить всѣ тѣ случайные часы, которые онъ съ ней проводилъ — здѣсь и въ Лондонѣ, — вышло бы не больше полутора мѣсяцевъ постоянного общенія, а знакомъ онъ съ нею, слава Богу, уже два года съ лишкомъ, — и вотъ уже третья — послѣдняя — кембриджская зима на исходѣ, и онъ право не можетъ сказать, что она за человѣкъ, и любить ли она Дарвина, и что она подумала бы, расскажи ей Дарвинъ вчерашнюю исторію, и сказала ли она кому-нибудь про ту безпокойную, чѣмъ-то

теперь восхитительную, уже совсѣмъ нестыдную ночь, когда ее, дрожащую, босую, въ желтенькой пижамѣ, вынесла волна тишины и бережно положила къ нему на одѣяло.

Пришли. Соня вымыла руки у Дарвина въ спальнѣ и, подувъ на пуховку, напудрилась. Столъ къ завтраку былъ накрытъ на пятерыхъ. Пригласили, конечно, Вадима, но Арчибалдъ Мунъ давно выбылъ изъ круга друзей, и было даже какъ то странно вспоминать, что онъ почитался нѣкогда желаннымъ гостемъ. Пятымъ былъ некрасивый, но очень легко построенный и чуть эксцентрично одѣтый блондинъ, съ носомъ пуговкой и съ тѣми прекрасными, удлиненными руками, которыми иной романтизмъ надѣляетъ людей артистическихъ. Онъ однако не былъ ни поэтомъ, ни художникомъ, а все то легкое, тонкое, порхающее, что привлекало въ немъ, равно какъ и его знаніе французскаго и итальянскаго и нѣсколько не англійскія, но очень нарядныя манеры, Кембриджъ объяснялъ тѣмъ, что родовитый англичанинъ, его отецъ, былъ флорентійскаго происхожденія. Тэдди, добрѣйшій, легчайшій Тэдди, исповѣдывалъ католицизмъ, любилъ Альпы и лыжи, прекрасно гребъ, игралъ въ настоящій, старинный теннисъ, въ который игравали короли, и, хотя умѣлъ очень нѣжно обходиться съ дамами, былъ до смѣшнаго чистъ и только гораздо позже прислалъ какъ-то Мартыну письмо изъ Парижа съ такимъ извѣщеніемъ: «Я вчера завелъ себѣ дѣвку. Вполнѣ чистоплотную», — и, сквозь нарочитую грубость, было что-то грустное и нервное въ этой строкѣ, — Мартынь вспомнилъ его неожиданныя припадки меланхоліи и самобичеванія, его любовь къ Леопарди и снѣгу, и то, какъ онъ со злобой расколошматилъ ни въ чемъ неповинную этрусскую вазу, когда съ недостаточнымъ блескомъ выдержалъ экзамень.

«Пріятно зрѣть, когда большой медвѣдь ведетъ подручку...»

И Соня dokonчила за Вадима, который уже давно ее не стѣснялся: «...маленькую сучку», — а Тэдди, склонивъ го-

лову на бокъ, спросилъ, что такое: «Маэкасючику», — и всѣ смѣялись, и никто не хотѣлъ ему объяснить, и онъ такъ и обращался къ Сонѣ: «Можно вамъ положить еще горошку, маэкасючику?» Когда же Мартынь впоследствии объяснилъ ему, что это значить, онъ со стономъ схватился за виски и рухнулъ въ кресло.

«Ты волнуешься, волнуешься?» — спросилъ Вадимъ.

«Ерунда, — отвѣтилъ Мартынь. — Но я нынче дурно спалъ и пожалуй буду мазать. У нихъ есть трое съ интернациональнымъ стажемъ, а у насъ только двое такихъ».

«Не ненавижу футболъ», — сказала съ чувствомъ Тэдди. Дарвинъ его поддержалъ. Оба были итонцы, а въ Итонѣ своя особая игра въ мячъ, замѣняющая футболъ.

XXVII.

Межъ тѣмъ Мартынь дѣйствительно волновался, и немало. Онъ игралъ голкиперомъ въ первой командѣ своего колледжа, и, послѣ многихъ схватокъ, колледжъ вышелъ въ финалъ и сегодня встрѣчался съ колледжемъ святого Іоанна на первенство Кембриджа. Мартынь гордился тѣмъ, что онъ, иностранецъ, попалъ въ такую команду и, за блестящую игру, произведенъ въ званіе колледжскаго «голубого», — можетъ носить, вмѣсто пиджака, чудесную голубую куртку. Съ пріятнымъ удивленіемъ онъ вспоминалъ, какъ, бывало, въ Россіи, калачикомъ свернувшись въ мягкой выемкѣ ночи, предаваясь мечтанію, увидившему незамѣтно въ сонъ, онъ видѣлъ себя изумительнымъ футболистомъ. Стоило прикрыть глаза и вообразить футбольное поле, или, скажемъ, длинные, коричневые, гармониками соединенные вагоны экспресса, которымъ онъ самъ управляетъ, и постепенно душа улавливала ритмъ, блаженно успокаивалась, какъ бы очищалась и, гладкая, умашенная, соскальзывала въ забытье. Былъ это иногда не поѣздъ, пущенный во всю, скользящій между ярко-желтыхъ бере-

зовыхъ лѣсовъ и далѣе, черезъ иностранные города, по мостамъ надъ улицами, и затѣмъ на югъ, сквозь внезапно свѣтающіе туннели, и положимъ берегомъ вдоль ослѣпительнаго моря, — это былъ иногда самолетъ, гоночный автомобиль, тобоганъ, въ вихрѣ снѣга берущій крутой поворотъ, или просто тропинка, по которой бѣжишь, бѣжишь, — и Мартынъ, вспоминая, подмѣчалъ нѣкую особенность своей жизни: свойство мечты незамѣтно осѣдать и переходить въ дѣйствительность, какъ прежде она переходила въ сонъ: это ему казалось залогомъ того, что и нынѣшнія его ночныя мечты, — о тайной, незаконной экспедиціи, — вдругъ окрѣпнуть, наполнятся жизнью, какъ окрѣпла и одѣлась плотью греза о футбольныхъ состязаніяхъ, которой онъ бывало такъ длительно, такъ искусно наслаждался, когда, боясь дойти слишкомъ поспѣшно до сладостной сути, останавливался подробно на приготовленіяхъ къ игрѣ: вотъ натягиваетъ чулки съ цвѣтными отворотами, вотъ надѣваетъ черные трусики, вотъ завязываетъ шнурки крѣпкихъ буцовъ.

Онъ крикнулъ и разогнулся. Передъ каминомъ было тепло переодѣваться, — это чуть сбавляло дрожь волненія. На бѣлый, съ треугольнымъ вырѣзомъ, свѣтеръ тѣсно налѣзла голубая куртка. Какъ уже потренились голкиперскія перчатки... Ну вотъ, — готовъ. Кругомъ валялись его вещи, онъ все это подобралъ и понесъ въ спальню. По сравненію съ тепломъ шерстяного свѣтера, его голоколѣбнымъ ногамъ въ просторныхъ, легкихъ трусахъ было удивительно прохладно. «Уф!» — произнесъ онъ, входя въ комнату Дарвина. — Я, кажется, быстро переодѣлся». «Пошли», — сказала Соня и встала съ дивана. Тѣдди посмотрѣлъ на нее съ мольбой. «Прошу тысячу разъ прощенія, — взмолился онъ, — меня ждуть, меня ждуть».

Онъ ушелъ. Ушелъ и Вадимъ, обѣщавъ прикатить на поле попозже. «Можетъ быть, это и дѣйствительно не такъ уже интересно, — сказала Соня, обращаясь къ Дарвину. — Можетъ быть, не стоитъ?» «О, нѣтъ, непременно»,

— съ улыбкой отвѣтилъ Дарвинъ и потрепалъ Мартына по плечу. Они пошли втроемъ по улицѣ, Мартынъ замѣтилъ, что Соня совершенно не смотритъ на него, межъ тѣмъ онъ впервые показывался ей въ футбольномъ нарядѣ. «Прибавимъ шагу, — сказалъ онъ. — Мы еще опоздаемъ». «Не бѣда», — проговорила Соня и стала передъ витриной. «Ладно, я пойду впередъ», — сказалъ Мартынъ и, твердо стуча резиновыми шипами буцовъ, свернулъ въ переулокъ и зашагалъ по направленію къ полю.

Народу навалило уйма, — благо и день выдался отличный, съ блѣдно-голубымъ зимнимъ небомъ и бодрымъ воздухомъ. Мартынъ прошелъ въ павильонъ, и тамъ уже всѣ были въ сборѣ, и Армстронгъ, капитанъ команды, долговязый человекъ съ подстриженными усами, застѣнчиво улыбнувшись, въ сотый разъ замѣтилъ Мартыну, что тотъ напрасно не бинтуетъ колѣня. Погодя всѣ одиннадцать человекъ гуськомъ выбѣжали изъ павильона, и Мартынъ разомъ воспринялъ то, что такъ любилъ: острый запахъ сыроватаго дерна, упругость его подъ ногой, тысячу людей на скамейкахъ, черную проплѣшину въ дернѣ у воротъ и гулкій звукъ, — это покикивала противная команда. Судья принесъ и положилъ на самый пупъ поля (обведенный мѣловой чертой) новенькій, свѣтло-желтый мячъ. Игроки встали по мѣстамъ, раздавался свистокъ. И вдругъ волненіе Мартына совершенно исчезло, и, спокойно прислонившись къ штангѣ своихъ воротъ, онъ поглядѣлъ по сторонамъ, пытаясь найти Дарвина и Соню. Игра повелась далеко, въ томъ концѣ поля, и можно было наслаждаться холодомъ, матовой зеленью, говоромъ людей, стоявшихъ тотчасъ за сѣткой воротъ, и гордымъ чувствомъ, что отроческая мечта сбылась, что вонъ тотъ рыжій, главарь противниковъ, такъ восхитительно точно принимающій и передающій мячъ, недавно игралъ противъ Шотландіи, и что среди толпы есть кое-кто, для кого стоитъ постараться. Въ дѣтскіе годы сонъ обычно наступалъ какъ разъ въ эти минуты начала игры, ибо Мартынъ такъ

увлекался подробностями предисловія, что до главнаго не успѣвалъ дойти и забывался. Такъ онъ дѣлилъ наслажденіе, откладывая на другую, менѣе сонную, ночь самую игру, — быструю, яркую, — и вотъ, топотъ ногъ близится, вотъ уже слышно храпящее дыханіе бѣгущихъ, вотъ выбился рыжий и несется, вздрагивая кокомъ, и вотъ — отъ удара его баснословнаго носка мячъ со свистомъ низко метнулся въ уголокъ воротъ, — голкиперъ, упавъ, какъ подкошенный, успѣлъ задержать эту молнію, и вотъ уже мячъ въ его рукахъ, и, увильнувъ отъ противниковъ, Мартынъ всей силою ляжки и икры послалъ мячъ звучной параболой вдаль, подъ раскатъ рукоплескаемій. Во время короткаго перерыва игроки валялись на травѣ, сося лимоны, и, когда затѣмъ стороны перемѣнились воротами, Мартынъ съ новаго мѣста опять высматривалъ Соню. Впрочемъ, нельзя было особенно глазѣть, — игра сразу пошла жаркая, и ему все время приходилось дѣлать стойку въ ожиданіи атаки. Нѣсколько разъ онъ ловилъ, согнувшись вдвое, пушечное ядро, нѣсколько разъ взлеталъ, отражая его кулакомъ, и сохранилъ дѣвственность своихъ воротъ до конца игры, счастливо улыбнувшись, когда, за секунду до свистка, голкиперъ противниковъ выронилъ скользкій мячъ, который Армстронгъ тотчасъ и залѣпилъ въ ворота.

Все кончилось, публика затопила поле, никакъ нельзя было найти Соню и Дарвина. Уже за трибунами онъ нагналъ Вадима, который, въ тѣснотѣ пѣшихъ, тихо ѣхалъ на велосипедѣ, осторожно поваливая и дудя губами. «Давно драпу дали, — отвѣтилъ онъ на вопросъ Мартына, — сразу послѣ хафтайма, и, знаешь, у мамки —» — тутъ слѣдовало что-то смѣшное, чего, впрочемъ, Мартынъ не дослушалъ, такъ какъ, густо тарахтя, протиснулся одинъ изъ игроковъ, Фильпотъ, на красной мотоциклеткѣ и предложилъ его подвезти. Мартынъ сѣлъ сзади, и Фильпотъ нажалъ акселераторъ. «Вотъ я и напрасно удержалъ тотъ, послѣдній, подъ самую перекладину, — она все равно не

видѣла», — думалъ Мартынъ, морщась отъ пестраго вѣтра. Ему сдѣлалось тяжело и горько, и, когда онъ на перекресткѣ слѣзъ и направился къ себѣ, онъ съ отвращеніемъ прожвакалъ вчерашній день, коварство Розы, и стало еще обиднѣе. «Вѣроятно гдѣ-нибудь чай пьютъ», — пробормоталъ онъ, но на всякій случай заглянулъ въ комнату Дарвина. На кушеткѣ лежала Соня, и въ то мгновеніе, какъ Мартынъ вошелъ, она сдѣлала быстрый жестъ, ловя въ горсть пролетающую моль. «А Дарвинъ?» — спросилъ Мартынъ. «Живъ, пошелъ за пирожными», — отвѣтила она, недоброжелательно слѣдя глазами за непойманной, бѣлосой точкой. «Вы напрасно не дождались конца, — проговорилъ Мартынъ и опустился въ бездонное кресло. — Мы выиграли. Одинъ на ноль». «Тебѣ хорошо бы вымыться, — замѣтила она. — Посмотри на свои колѣни. Ужасъ. И наслѣдилъ чѣмъ-то черненькимъ». «Ладно. Дай отсапать». Онъ нѣсколько разъ глубоко вздохнулъ и, охая, всталъ. «Постой, — сказала Соня. — Это ты долженъ послушать, — просто уморительно. Онъ только-что мнѣ предложилъ руку и сердце. Вотъ я чувствовала, что это должно произойти: зрѣлъ, зрѣлъ и лопнулъ». Она потянулась и темно взглянула на Мартына, который сидѣлъ высоко поднявъ брови. «Умное у тебя личико», — сказала она и, отвернувшись, продолжала: «Просто не понимаю, на что онъ рассчитывалъ. Милѣйшій и все такое, — но вѣдь это дубъ, англійскій дубъ, — я бы черезъ недѣлю померла бы съ тоски. Вотъ она опять летаетъ, голубушка». Мартынъ прочистилъ горло и сказалъ: «Я тебѣ не вѣрю. Я знаю, что ты согласилась». «Съ ума сошелъ! — крикнула Соня, подскочивъ на мѣстѣ и хлопнувъ обѣими ладонями по кушеткѣ. — Ну какъ ты себѣ можешь это представить?» «Дарвинъ — умный, тонкій, — вовсе не дубъ», — напряженно сказалъ Мартынъ. Она опять хлопнула. «Но вѣдь это не настоящій человекъ, — какъ ты не понимаешь, балда! Ну, право же, это даже оскорбительно. Онъ не человекъ, а нарочно. Никакого нутра и масса юмора, — и это

«Очень хорошо для бала, — но такъ, надолго, — отъ юмориста на стѣнку полѣзешь». «Онъ писатель, отъ него знатоки бѣгутъ ума», — тихо, съ трудомъ, проговорилъ Мартынъ и подумалъ, что теперь его долгъ исполненъ, довольно ее уговаривать, есть предѣлъ и благородству. «Да-да, вотъ именно, — только для знатоковъ. Очень мило, очень хорошо, но все такъ поверхностно, такъ благополучно, такъ...» Тутъ Мартынъ почувствовалъ, какъ, прорвавъ шлюзы, хлынула сіяющая волна, онъ вспомнилъ, какъ превосходно игралъ только-что, вспомнилъ, что съ Розой все улажено, что вечеромъ банкетъ въ клубѣ, что онъ здоровъ, силенъ, что завтра, послѣзавтра и еще много, много дней — жизнь, биткомъ набитая всякимъ счастьемъ, и все это налетѣло сразу, закружило его, и онъ, разсмѣявшись, схватилъ Соню въ охапку, вмѣстѣ съ подушкой. за которую она уцѣпилась, и сталъ ее цѣловать въ мокрые зубы, въ глаза, въ холодный носъ, и она брыкалась, и ея черные, пахнуціе фіалкой, волосы лѣзли ему въ ротъ, и, наконецъ, онъ уронилъ ее съ громкимъ смѣхомъ на диванъ, и дверь открылась, показалась сперва нога, нагруженный свертками вошелъ Дарвинъ, попытался ногой же дверь закрыть, но уронилъ бумажный мѣшокъ, изъ котораго высыпались меренги. «Мартынъ швыряется подушками, — жалобнымъ, запыхавшимся голосомъ сказала Соня. — Подумаешь, — одинъ: ноль, — нечего ужъ такъ бѣситься».

XXVIII.

А на другой день и у Мартына и у Дарвина было съ утра тридцать восемь подмышечной температуры, — ломота, сухость въ горлѣ, звонъ въ ушахъ, — всѣ признаки сильнѣйшей инфлуэнцы. И, какъ ни было пріятно думать, что передаточной инстанціей послужила вѣроятно Соня, — оба чувствовали себя отвратительно, и Дарвинъ, который ни за что не хотѣлъ оставаться въ постели, вы-

глядѣлъ въ своемъ цвѣтистомъ халатѣ тяжеловѣсомъ-боксеромъ, краснымъ и встрепаннымъ послѣ долгаго боя, и Вадимъ, героически презирая заразу, носилъ лѣкарства, а Мартынъ, накрывшись поверхъ одѣяла пледомъ и зимнимъ пальто, мало, впрочемъ, сбавляющими ознобъ, лежалъ въ постели съ сердитымъ выраженіемъ на лицѣ и во всякомъ узорѣ, во всякомъ соотношеніи между любыми предметами въ комнатѣ, тѣнями, пятнами, видѣлъ чело-вѣческой профиль, — тутъ были кувшинныя рыла, и бурбонскіе носы, и толстогубые негры, — неизвѣстно почему лихорадка всегда такъ усердно занимается рисованіемъ довольно плоскихъ карикатуръ. Онъ засыпалъ, — и сразу танцевалъ фокстротъ со скелетомъ, который во время танца начиналъ развинчиваться, терять кости, ихъ слѣдовало подхватить, попридержать, хотя бы до конца танца; а не то — начинался безобразный экзамень, вовсе непохожий на тотъ, который, спустя нѣсколько мѣсяцевъ, въ маѣ, дѣйствительно пришлось Мартыну держать. Тамъ, во снѣ, предлагались чудовищныя задачи съ большими желѣзными иксами, завернутыми въ вату, а тутъ, на яву, въ просторномъ залѣ, косо пересѣченномъ пыльнымъ лучомъ, студенты-филологи въ черныхъ плащахъ отмахивали по три сочиненія въ часть, и Мартынъ, посматривая на стѣнные часы, крупнымъ, круглымъ своимъ почеркомъ писалъ объ опричникахъ, о Баратынскомъ, о петровскихъ реформахъ, о Лорисъ-Меликовѣ...

Кембриджское житье подходило къ концу, и какимъ то сіяющимъ апофеозомъ показались послѣдніе дни, когда, въ ожиданіи результатовъ экзаменовъ, можно было съ утра до вечера валандаться, грѣться на солнцѣ, томно плыть, лежа на подушкахъ, внизъ по рѣкѣ, подъ величавымъ покровительствомъ розовыхъ каштановъ. Весной Соня съ семьей переселилась въ Берлинъ, гдѣ Зилановъ затѣялъ еженедѣльную газету, и теперь Мартынъ, лежи навзничъ подъ тихо проходившими вѣтвями, вспоминалъ послѣднюю свою поѣздку въ Лондонъ. Дарвинъ поѣхатъ

не пожелалъ, лѣниво попросилъ передать Сонѣ привѣтъ и, помахавъ въ воздухѣ пальцами, погрузился опять въ книгу. Когда Мартынъ прибылъ, въ домѣ у Зилановыхъ былъ тотъ печальный кавардакъ, который такъ ненавидятъ пожилыя, домовитыя собаки, толстыя таксы, напримеръ. Горничная и вихрастый малый съ папироской за ухомъ несли внизъ по лѣстницѣ сундукъ. Заплаканная Ирина сидѣла въ гостиной, кусая ногти и неизвѣстно о чемъ думая. Въ одной изъ спаленъ разбили что-то стеклянное, и сразу въ отвѣтъ зазвонилъ въ кабинетѣ телефонъ, но никто не подошелъ. Въ столовой покорно ждала тарелка, прикрытая другой, а что тамъ была за пища — неизвѣстно. Откуда-то приѣхалъ Зилановъ, въ черномъ пальто не смотря на теплынь, и, какъ ни въ чемъ не бывало, сѣлъ въ кабинетѣ писать. Ему, кочевнику, было, вѣроятно, совершенно все равно, что черезъ часъ надобно ѣхать на вокзалъ, и что въ углу торчитъ еще незаколоченный ящикъ съ книгами, — такъ сидѣлъ онъ и ровно писалъ, на сквознякъ, среди какихъ-то стружекъ и смятыхъ газетныхъ листовъ. Соня стояла посреди своей комнаты и, прижимая ладони къ вискамъ, сердито переводила взглядъ съ большого пакета на уже вполне сытый чемоданъ. Мартынъ сидѣлъ на низкомъ подоконникѣ и курилъ. Нѣсколько разъ входили то Ольга Павловна, то ея сестра, искали чего-то и, не найдя, уходили. «Ты рада ѣхать въ Берлинъ?» — уныло спросилъ Мартынъ, глядя на свою папиросу, на пепельный наростъ, схожій съ сѣдой хвоей, въ которой сквозитъ зловѣщій закатъ. «Безъ. Разъ. Лично», — сказала Соня, прикидывая въ умѣ, закроется ли чемоданъ. «Соня», — сказалъ Мартынъ черезъ минуту. «А? Что?» — очнулась она и вдругъ быстро завозилась, рассчитывая взять чемоданъ врасплохъ, натискомъ. «Соня, — сказалъ Мартынъ, — неужели — ». Вошла Ольга Павловна, посмотрѣла въ уголъ и, кому-то въ коридорѣ отвѣчая отрицательно, торопливо ушла, не прикрывъ двери. «Неужели, — сказалъ Мартынъ, — мы больше никогда не увидимся?»

«Всѣ подъ Богомъ ходимъ», — отвѣтила Соня разсѣянно. «Соня», — началъ опять Мартынъ. Она посмотрѣла на него и не то поморщилась, не то улыбнулась. «Знаешь, онъ мнѣ отослалъ всѣ письма, всѣ фотографіи, — все. Комикъ. Могъ бы эти письма оставить. Я ихъ полчаса рвала и спускала, теперь тамъ испорчено». «Ты съ нимъ поступил дурно, — хмуро проговорилъ Мартынъ. — Нельзя было подавать надежду и потомъ отказать». «Что за тонъ, что за тонъ! — съ легкимъ взвизгомъ крикнула Соня. — На что надежду? Какъ ты смѣешь говорить о надеждѣ? Вѣдь это пошлость, мерзость. Ахъ, вообще — отстань отъ меня! Лучше-ка сядь на этотъ чемоданъ», — добавила она нотой ниже. Мартынъ сѣлъ и напыжился. «Не закроется, — сказалъ онъ хрипло. — И я не знаю, почему ты приходишь въ такой ражъ. Я просто хочу сказать» — Тутъ что-то неохотно щелкнуло, и, не давъ чемодану опомниться, Соня повернула въ замкъ ключикъ. «Теперь все хорошо, — сказала она. — Поди сюда, Мартынъ. Поговоримъ по душамъ». Въ комнату заглянулъ Зилановъ. «Гдѣ мама? — спросилъ онъ. — Я вѣдь просилъ оставить мой столъ въ покоѣ. Теперь исчезла пепельница, тамъ было двѣ почтовыхъ марки». Когда онъ ушелъ, Мартынъ взялъ Сонину руку въ свои, сжалъ ее между ладонями, тяжело вздохнулъ. «Ты все-таки очень хорошій, — сказала Соня. — Мы будемъ переписываться, и ты можешь быть когда-нибудь приѣдешь въ Берлинъ, а не то — въ Россіи встрѣтимся, будетъ очень весело». Мартынъ качалъ головой и чувствовалъ, какъ накипаютъ слезы. Соня выдернула руку. «Ну, если хочешь кукситься, — сказала она недовольно, — пожалуйста, сколько угодно». «Ахъ, Соня», — проговорилъ онъ сокрушенно. «Да чего же ты отъ меня, собственно, хочешь? — спросила она щурясь. — Скажи мнѣ, пожалуйста, чего ты отъ меня хочешь?» Мартынъ, отвернувъ голову, пожалъ плечами.

«Слушай, — сказала она — надо итти внизъ, надо ѣхать, меня злитъ, что ты такой надутый. Неужели нельзя все

просто?» «Ты въ Берлинѣ выйдешь замужъ», — безнадежно пробормоталъ Мартынъ. Влетѣла горничная, забрала чемоданъ. За ней появилась Ольга Павловна, уже въ шляпѣ. «Пора, пора, — сказала она. — Ты все здѣсь взяла, ничего не оставила? Это ужасъ, — обратилась она къ Мартыну, — мы думали спокойно завтра ѣхать...» Она исчезла, но ея голосъ въ коридорѣ нѣкоторое время еще объяснялъ кому-то о неотложныхъ дѣлахъ мужа, и Мартыну стало такъ пронзительно, такъ невыразимо грустно отъ всей этой кутерьмы, безалаберности, что захотѣлось скорѣе ужъ спровадить, сбить Соню и вернуться въ Кембриджъ, къ лѣнивому солнцу.

Соня улыбнулась, взяла его за щеки и поцѣловала въ переносицу. «Не знаю, можетъ быть», — прошептала она и, быстро вывернувшись изъ метнувшихся Мартыновыхъ рукъ, подняла палецъ. «Тубо», — сказала она, а потомъ сдѣлала круглые глаза, такъ какъ снизу вдругъ донеслись ужасныя, невозможныя, потрясавшія весь домъ рыданія. «Пойдемъ, пойдемъ, — заторопилась Соня. — Я не понимаю, почему этой бѣдняжкѣ такъ не хочется отсюда уѣзжать. Перестань, чортъ возьми, оставь мою руку!»

Внизу у лѣстницы билась, рыдая, Ирина, цѣплялась за балюстраду. Елена Павловна тихо ее уговаривала, — «Ира, Ирочка», — а Михаилъ Платоновичъ, употребляя уже не разъ испытанное средство, вынулъ платокъ, быстро сдѣлалъ толстый узелъ съ длиннымъ ушкомъ, надѣлъ платокъ на руку, и, вертя ею, показалъ человѣчка въ ночной рубашкѣ и колпакѣ, уютно укладывающагося спать.

На вокзалѣ она расплакалась опять, но уже тише, безнадежнѣе. Мартынъ сунулъ ей коробку конфетъ, предназначенную, собственно говоря, Сонѣ. Зилановъ, какъ только успѣлся, развернулъ газету. Ольга и Елена Павловны считали глазами чемоданы. Съ грохотомъ стали захлопываться дверцы; поѣздъ тронулся. Соня высунулась въ окно, облокотясь на спущенную раму, и Мартынъ нѣсколько мгновений шелъ рядомъ съ вагономъ, а потомъ отсталъ, и

уже сильно уменьшившаяся Соня послала ему воздушный поцѣлуй, и Мартынъ споткнулся о какой-то ящикъ.

«Ну вотъ — уѣхала», — сказалъ онъ со вздохомъ и почувствовалъ облегченіе. Онъ переѣхалъ на другой вокзалъ, купилъ свѣжій номеръ юмористическаго журнала съ носатымъ, кругогорбымъ Петрушкой на обложкѣ, а когда все было высосано изъ журнала, засмотрѣлся на нѣжныя луга, проплывавшіе мимо. «Моя прелесть, моя прелесть», — произнесъ онъ нѣсколько разъ и, глядя сквозь горячую слезу на зелень, вообразилъ, какъ, послѣ многихъ приключеній, попадетъ въ Берлинъ, явится къ Сонѣ, будетъ, какъ Отелло, рассказывать, рассказывать... «Да, такъ дальше нельзя, — сказалъ онъ, пальцемъ потирая нѣко и напрягая надгубье, — нельзя, нельзя. Больше активности». Прикрывъ глаза, удобно вдвинувшись въ уголъ, онъ принялся готовиться къ опасной экспедиціи, изучалъ карту, никто не зналъ, что онъ собирается сдѣлать, зналъ, пожалуй, только Дарвинъ, прощай, прощай, ни пуха, ни пера, отходить поѣздъ на сѣверъ, — и на этихъ приготовленіяхъ онъ заснулъ, какъ прежде засыпалъ, надѣвая въ мечтѣ футбольные доспѣхи. Было темно, когда онъ прибылъ въ Кембриджъ. Дарвинъ читалъ все ту же книгу и, какъ левъ, зѣвнулъ, когда онъ къ нему вошелъ. И тутъ Мартынъ поддакъ маленькому озорному соблазну, — за что впоследствии поплатился. Онъ съ нарочитой задумчивой улыбкой уставился въ уголъ, и Дарвинъ, неторопливо доканчивая зѣвокъ, посмотрѣлъ на него съ любопытствомъ. «Я счастливѣйшій человѣкъ въ мірѣ, — тихо и проникновенно сказалъ Мартынъ. — Ахъ, если бѣ можно было все рассказать». Онъ, впрочемъ, не лгалъ: давеча въ вагонѣ, когда онъ заснулъ, ему привидѣлся сонъ, выросшій изъ двухъ-трехъ Сониныхъ словъ, — она прижимала его голову къ своему гладкому плечу, наклонялась, щекоча губами, говорила что-то придушенно-тепло и нѣжно, и теперь было трудно отдѣлать сонъ отъ яви. «Что жъ, очень радъ за тебя», — сказалъ Дарвинъ. Мартыну вдругъ сдѣ-

далось неловко, и онъ, посвистывая, пошелъ спать. Черезъ недѣлю онъ получилъ открытку съ видомъ Бранденбургскихъ воротъ и долго разбиралъ паукообразный Сонинъ почеркъ, тщетно пытаясь найти скрытый смыслъ въ незначительныхъ словахъ.

И вотъ, плывя по рѣкѣ подъ низкими цвѣтущими вѣтвями, Мартынъ вспоминалъ, провѣрялъ, испытывалъ разными кислотами послѣднюю встрѣчу съ ней, — приятная, хотя не очень плодотворная работа. Было жарко, сквозь закрытыя вѣки солнце проникало томнымъ клубничнымъ румянцемъ, слышенъ былъ сдержанный плескъ воды и далекая нѣжная музыка плывущихъ грамофоновъ. Погода Мартынъ открылъ глаза и въ потокъ солнца увидѣлъ Дарвина, лежащаго въ подушкахъ напротивъ, въ такихъ же бѣлыхъ фланелевыхъ штанахъ и открытой рубашкѣ, какъ и онъ. На ютѣ этой плотоподобной шлюпки съ плоскимъ, неглубокимъ днищемъ и тупымъ носомъ стоялъ Вадимъ и налегалъ на упорный шестъ. Потрескавшіяся бальныя туфли сверкали отъ брызгъ, на остромъ лицѣ было внимательное выраженіе, — онъ любилъ воду, онъ священнодѣйствовалъ, искусно, плавно орудуя шестомъ, вынимая его изъ воды ритмическими перехватами и снова на него налегая. Шлюпка скользила между цвѣтущихъ береговъ; въ прозрачно-зеленоватой водѣ отражались то каштаны, то млечныя кусты ежевики; иногда падалъ лепестокъ, и было видно въ водѣ, какъ изъ глубины спѣшить къ нему навстрѣчу ограженіе, и вотъ — сошлись. Мимо, лѣнливо и безмолвно, если не считать воркотни грамофоновъ, проплывали такія же плоскія шлюпки, а изрѣдка байдарка или пирога со вздернутымъ носомъ. Мартынъ замѣтилъ впереди открытый цвѣтной зонтикъ, который колесомъ вращался то вправо, то влѣво, но отъ женщины, тихо вращавшей его, ничего не было видно, кромѣ руки — почему-то въ бѣлой перчаткѣ. На кормѣ стоялъ молодой человѣкъ въ очкахъ и очень неумѣло дѣйствовалъ шестомъ, такъ что шлюпка виляла, и Вадимъ кипѣлъ презрѣніемъ и не зналъ,

съ какой стороны ее перегнуть. На первой же излучинѣ она неуклонно пошла на берегъ, при чемъ выдুকый зонтикъ обернулся въ профиль, и Мартынъ узналъ Розу. «Посмотри, какъ забавно», — сказалъ онъ, и Дарвинъ, не мѣняя положенія толстыхъ заломленныхъ рукъ, посмотрѣлъ по направленію его взгляда. «Запрещаю съ ней здороваться», — сказалъ онъ спокойно. Мартынъ улыбнулся: «Нѣтъ-нѣтъ, непременно». «Если ты это сдѣлаешь, — протяжно проговорилъ Дарвинъ, — я отшибу тебѣ голову». Было что-то странное въ его глазахъ, и Мартыну сдѣлалось не по себѣ; но именно потому, что онъ разслышалъ въ словахъ Дарвина нешуточную угрозу и испугался ея, Мартынъ, проплывая мимо застрявшей въ кустахъ шлюпки, крикнулъ: «Алло, алло, Роза!» И она молча улыбнулась, сияя глазами и вертя зонтикомъ, и молодой человѣкъ въ очкахъ уронилъ со шлепкомъ шестъ въ воду, и въ слѣдующее мгновение поворотъ ихъ закрылъ, и Мартынъ опять закинулъ голову и сталъ смотрѣть въ небо. Черезъ нѣсколько минутъ молчаливаго скольженія вдругъ раздался голосъ Дарвина: «Здорово, Джонъ, — рявкнулъ онъ. — Подплывай сюда!»

Джонъ ослабилъ и затабилъ. Этотъ чернобровый, ежомъ остриженный толстякъ былъ даровитымъ математикомъ и недавно получилъ за одну изъ своихъ работъ стипендію. Онъ глубоко сидѣлъ въ пирогѣ, двигая вдоль самаго борта блестящимъ гребкомъ. «Вотъ что, Джонъ, — сказалъ Дарвинъ. — Тутъ меня вызвали на драку, такъ что будь свидѣтелемъ. Мы выберемъ мѣсто потише и пристанемъ». «Ладно, — отвѣтилъ Джонъ, не выказавъ никакого удивленія, и, плывя рядомъ, сталъ длинно рассказывать о студентѣ, недавно купившемъ гидропланъ и немедленно разбившемъ его при попыткѣ подняться вотъ съ этой узкой рѣки. Мартынъ лежалъ въ подушкахъ, не шевелясь. Знакомая дрожь и слабость въ ногахъ. Быть можетъ Дарвинъ все-таки шутить. Съ чего бы ему такъ взъерепениться?

Вадимъ, поглощенный навигаторскимъ таинствомъ, ничего повидимому не слышалъ. Послѣ трехъ-четырехъ поворотовъ Дарвинъ попросилъ его пристать. Уже близился вечеръ. Рѣка въ этомъ мѣстѣ была пустынна. Вадимъ направилъ шлюпку на зеленый мысокъ, выдававшийся изъ подъ навѣса листвы. Мягко стукнулись.

XXIX.

Дарвинъ первый выскочилъ на берегъ и помогъ Вадиму причалиться. Мартынъ потянулся, неторопясь всталъ, вышелъ тоже. «Я вчера началъ читать Чехова, — сказалъ ему Джонъ, шевеля бровями. — Очень благодарю васъ за совѣтъ. Милый, человѣческій писатель». «О, еще бы», — отвѣтилъ Мартынъ и быстро подумалъ: «Неужто и впрямь будетъ драка?»

«Ну вотъ, — сказала Дарвинъ подойдя. — Теперь можно приступить; если пройти сквозь эти кусты, мы выйдемъ на поляну. Съ рѣки ничего не будетъ видно».

Вадимъ только теперь понялъ, что затѣвается. «Мамка тебя убьетъ», — сказала онъ по-русски Мартыну. «Пустяки, — отвѣтилъ Мартынъ. — Я боксую не хуже его». «Не надо бокса, — лихорадочно шепнулъ Вадимъ. — Дай ему сразу ногой», — и онъ опредѣлилъ, куда именно. Стоялъ онъ за Мартына только изъ любви къ отечеству.

Полянка, окруженная орѣшникомъ, оказалась ровной, бархатной. Дарвинъ засучилъ рукава, но, подумавши, развернулъ ихъ опять и снялъ рубашку: освѣтилось крупное розовое тѣло съ мускулистымъ доскомъ на плечахъ и съ дорожкой золотистыхъ волосъ посрединѣ широкой груди. Онъ покрѣпче затянулъ ремень пояса и вдругъ широко заулыбался «Все это шутка», — радостно подумалъ Мартынъ, но, на всякій случай, тоже обнажилъ торсъ: кожа у него была болѣе кремоваго оттѣнка съ многочисленными родинками, какъ часто бываетъ у русскихъ. По срав-

ненію съ Дарвиномъ онъ казался болѣе поджарымъ, хотя былъ плотнѣе и плечистѣе. Онъ снялъ черезъ голову крестъ, загребъ въ ладонь дѣпочку, и эту горсточку текучаго золота сунулъ въ карманъ. Вечернее солнце обдавало тепломъ лопатки.

«Вы какъ хотите, — съ перерывами?» — спросилъ Джонъ, удобно растянувшись на травѣ. Дарвинъ вопросительно взглянулъ на Мартына, который стоялъ, сложивъ руки на груди и разставя ноги. «Мнѣ все равно», — замѣтилъ Мартынъ, а въ мысляхъ пронеслось: «Нѣтъ, повидимому драка будетъ, — это ужасно...» Кругомъ да около безпокойно слонялся Вадимъ, заложивъ руки въ карманы, посапывалъ, смущенно ухмылялся, а потомъ сѣлъ по-турецки рядомъ съ Джономъ. Джонъ вынулъ часы. «Имъ все-таки не слѣдуетъ дать больше пяти минутъ, — правда, Вадимъ?» Вадимъ растерянно закивалъ. «Ну-съ, можете начать», — сказала Джонъ.

Дарвинъ и Мартынъ, мгновенно сжавъ кулаки, подняли согнутыя въ локтяхъ руки (правая заслоняетъ животъ, лѣвая ходитъ поршнемъ) и принялись упруго и живо переступать на напряженныхъ ногахъ, словно потанцовывая. Въ эту минуту Мартыну еще казалось невозможнымъ ударить Дарвина въ лицо, въ это большое, гладко-выбритое, доброе лицо съ мягкими морщинками у рта; но когда кулакъ Дарвина вдругъ вылетѣлъ и Мартына треснулъ по челюсти, все измѣнилось: пропалъ страхъ, стало на душѣ хорошо, свѣтло, а звонъ въ головѣ отъ встряски пѣлъ о Сонѣ, — настоящей виновницѣ поединка. Увильнувъ отъ новаго выпада, онъ хватилъ Дарвина по его доброму лицу, во время нырнулъ (стремительная рука Дарвина метеоромъ пронеслась надъ самымъ теменемъ) и хотѣлъ двинуть еще разъ снизу вверхъ, но промахнулся и получилъ самъ въ глазъ такой черный и звѣздный ударъ, что пошатнулся и уже не могъ отклониться отъ пяти-шести кулаковъ, летавшихъ вокругъ его головы, но самый опасный изъ нихъ ему все же удалось пропустить черезъ плечо:

нагнувшись, онъ обманулъ Дарвина проворнымъ маневромъ и со всей силы хряпнулъ его по мокрому, твердому отъ зубовъ рту, — и тутъ же самъ екнулъ, почувствовавъ, словно налетѣлъ животомъ на торчащій конецъ желѣзнаго бруса. Оба отскочили другъ отъ друга и пошли опять кружить, и у Дарвина изъ угла рта текла красная струйка, и онъ дважды сплюнулъ. Схватились снова. Джонъ, задумчиво покуривая трубку, мысленно противопоставлялъ опытность Дарвина быстротѣ Мартына и думалъ, что, пожалуй, въ рингѣ онъ, выбирая между этими двумя тяжело-вѣсами, отдастъ бы предпочтеніе старшему. У Мартына лѣвый глазъ закрылся и уже распухъ, и оба бойца были мокрые и лоснящіеся, въ красноватыхъ пятнахъ. Вадимъ межъ тѣмъ разошелся, что-то азартно кричалъ, Джонъ на него шикалъ. Бабахъ въ ухо: Мартынь не удержался на ногахъ, и, пока онъ валился, Дарвинъ успѣлъ его еще разъ хватить, и Мартынь сильно сѣлъ на траву, ушибивъ копчикъ, но тотчасъ вспрынулъ и налетѣлъ. Несмотря на боль въ головѣ, на глухоту, на багровый туманъ въ глазахъ, Мартыну казалось, что онъ причиняетъ Дарвину больше увѣчій, чѣмъ тотъ ему, но Джонъ, знатокъ бокса, уже ясно видѣлъ, что Дарвинъ только входитъ во вкусъ: еще немножко, и младшій будетъ уложенъ. Мартынь, однако, чудомъ выдержалъ рѣшительный напоръ Дарвина, состоявшій изъ звучныхъ заушинъ, кои зовутся раскати-хами, и успѣлъ еще разъ брякнуть его по рту, а случайно коснувшись своихъ бѣлыхъ штановъ, оставилъ на нихъ красный отпечатокъ. Онъ дышалъ съ присвистомъ, мало уже соображалъ, и то, что было передъ нимъ, называлось уже не Дарвинъ, — и вообще не носило человѣческаго имени, — а было только розовой, скользкой, быстроходной громадой, по которой слѣдовало шмякать изъ послѣднихъ силъ. Ему удалось очень плотно и ладно ударить куда-то, — куда — онъ не видѣлъ, — но тотчасъ множество кулаковъ, справа, слѣва, куда ни сунься, продолжало его обрабатывать, онъ упрямо искалъ въ этомъ вихрѣ брешь,

нашелъ, забарабанилъ по какой-то чмокающей мякинѣ, почувствовалъ вдругъ, что у самого отлетаетъ голова, и, поскользнувшись, повисъ на Дарвинѣ, зажимая сдвинутыми локтями его мокрая, горячія руки. «Время!» — до-несся вдругъ изъ отдаленныхъ пространствъ голосъ Джона, и бойцы расцѣпились, Мартынь рухнулъ на мураву, Дарвинъ, улыбаясь окровавленнымъ ртомъ, присѣлъ рядомъ, нѣжно перекинулъ руку черезъ его плечо, и оба замерли, склонивъ головы и тяжело дыша.

«Надо вамъ обмыться», — сказалъ Джонъ, а Вадимъ, съ опаской подойдя, сталъ разглядывать ихъ разбитыя лица. «Ты можешь встать?» — съ участіемъ спросилъ Дарвинъ; Мартынь кивнулъ и, опираясь на него, выпрямился, и они въ обнимку направились къ рѣкѣ; Джонъ похлопалъ ихъ по холоднымъ голымъ спинамъ; Вадимъ пошелъ впередъ, отыскалъ укромный затончикъ; Дарвинъ помогъ Мартыну хорошенько обмыть лицо и горсъ, а потомъ Мартынь слѣлалъ для него тоже, — и оба тихо и участливо спрашивали другъ у друга, гдѣ болитъ, не жжетъ ли вода.

XXX.

Сумерки уже переходили въ ночь, щелкали соловьи, дымные луга и темный прибрежный кустарникъ дышали сыростью. Джонъ въ своей черной пироги исчезъ въ туманѣ рѣки. Вадимъ, опять стоя на ютѣ, призрачно бѣлѣясь во мракѣ, безмолвно, съ лунатической плавностью, погружалъ свой призрачный шестъ. Мартынь и Дарвинъ лежали рядомъ на подушкахъ, размаянные, томные, опухшіе, и глядѣли тремя глазами на небо, по которому изрѣдка проходила темная вѣтвь. И это небо, и вѣтвь, и едва плещущая вода, и фигура Вадима, таинственно обгороженнаго любовью къ плаванію, и цвѣтные огни бумажныхъ фонарей на носкахъ встрѣчныхъ шлюпокъ, и мысль, что на-дняхъ конецъ Кембриджу, что въ послѣдній разъ, быть

можетъ, они втроемъ скользятъ по узкой туманной рѣкѣ, — все это для Мартына сливалось во что-то удивительное, очаровательное, а свинцовая боль въ головѣ и ломота въ плечахъ тоже казались ему возвышеннаго, романтическаго свойства: ибо такъ плыль раненый Тристанъ самъ другъ съ арфой.

Еще одна послѣдняя излучина, и вотъ — берегъ. Берегъ, къ которому Мартынъ присталъ, былъ очень хорошъ, ярокъ, разнообразенъ. Онъ зналъ, однако, что, напримѣръ, дядя Генрихъ твердо увѣренъ, что эти три года плаванія по кембриджскимъ водамъ пропали даромъ, оттого что Мартынъ побаловался филологической прогулкой, не Богъ вѣсть какой дальней, вмѣсто того, чтобы изучить плодоносную профессію. Мартынъ же по совѣсти не понималъ, чѣмъ знатокъ русской словесности хуже инженера путей сообщенія или купца. Оказалось, что въ звѣринцѣ у дяди Генриха, — а звѣринецъ есть у каждого, — имѣлся, между прочимъ, и тотъ звѣрекъ, который по-французски зовется «чернымъ», и этимъ чернымъ звѣркомъ былъ для дяди Генриха: двадцатый вѣкъ. Мартына это удивило, ибо ему казалось, что лучшаго времени, чѣмъ то, въ которое онъ живетъ, прямо себѣ не представишь. Такого блеска, такой отваги, такихъ замысловъ не было ни у одной эпохи. Все то, что искрилось въ прежнихъ вѣкахъ, — страсть къ изслѣдованію невѣдомыхъ земель, дерзкіе опыты, подвиги любознательныхъ людей, которые слѣпли или разлетались на мелкія части, героическіе заговоры, борьба одного противъ многихъ, — все это проявлялось теперь съ небывалой силой. То, что чело-вѣкъ, проигравшій на биржѣ миллионъ, хладнокровно ковчалъ съ собой, столь же поражало воображеніе Мартына, какъ, скажемъ, вольная смерть полководца, павшаго грудью на мечъ. Автомобильная реклама, ярко алѣющая въ дикомъ и живописномъ ущельѣ, на совершенно недоступномъ мѣстѣ альпійской скалы, восхищала его до слезъ. Услужливость, ласковость очень сложныхъ и очень

простыхъ машинъ, какъ, напримѣръ, тракторъ или лино-типъ, приводили его къ мысли, что добро въ человѣчествѣ такъ заразительно, что передается металлу. Когда надъ городомъ, изумительно высоко въ голубомъ небѣ, аэропланъ величиной съ комарика выпускалъ нѣжные, молоч-но-бѣлыя буквы во сто кратъ больше него самого, повторяя въ божественныхъ размѣрахъ росчеркъ фирмы, Мартынъ проникался ощущеніемъ чуда. А дядя Генрихъ, подкармливая своего чернаго звѣрка, съ ужасомъ и отвращеніемъ говорилъ о закатѣ Европы, о послѣвоенной усталости, о нашемъ слишкомъ трезвомъ, слишкомъ практическомъ вѣкѣ, о нашествіи мертвыхъ машинъ; въ его представленіи была какая-то дьявольская связь между фокстротомъ, небоскребами, дамскими модами и коктейлями. Кромѣ того, дядѣ Генриху казалось, что онъ живетъ въ эпоху страшной спѣшки, и было особенно смѣшно, когда онъ объ этой спѣшкѣ бесѣдовалъ въ лѣтній день, на краю горной дороги, съ аббатомъ, — межъ тѣмъ, какъ тихо плыли облака, и старая, розовая аббатава лошадь, со звономъ отряхиваясь отъ мухъ, моргая бѣлыми рѣсницами, опускала голову полнымъ невыразимой прелести движеніемъ и сочно похрустывала придорожной травой, вздрагивая кожей и переставляя изрѣдка копыто, и, если разговоръ о безумной спѣшкѣ нашихъ дней, о власти доллара, объ аргентинцахъ, соблазвившихъ всѣхъ дѣвушекъ въ Швейцаріи, слишкомъ затягивался, а наиболѣе нѣжные стебли уже оказывались въ данномъ мѣстѣ сѣдеными, она слегка подвигалась впередъ, при чемъ со скрипомъ поворачивались высокія колеса таратайки, и Мартынъ не могъ оторвать взглядъ отъ добрыхъ сѣдыхъ лошадиныхъ губъ, отъ травинокъ, застрявшихъ въ удилахъ. «Вотъ, напримѣръ, этотъ юноша, — говорилъ дядя Генрихъ, указывая палкой на Мартына, — вотъ онъ кончилъ университетъ, одинъ изъ самыхъ дорогихъ въ мірѣ университетовъ, а спросите его, чему онъ научился, на что онъ способенъ. Я совершенно не знаю, что онъ будетъ дальше дѣ-

лать. Въ мое время молодые люди становились врачами, офицерами, нотариусами, а вотъ онъ, вѣроятно, мечтаетъ быть летчикомъ или платнымъ танцоромъ». Мартыну было невдомекъ, чего именно онъ служилъ примѣромъ, но аббать повидимому понималъ парадоксы дяди Генриха и сочувственно улыбался. Иногда Мартына такъ раздражали подобные разговоры, что онъ былъ готовъ сказать дядѣ — и, увы, отчиму — грубость, но во время останавливался, замѣтивъ особое выраженіе, которое появлялось на лицѣ у Софьи Дмитриевны всякій разъ, какъ Генрихъ впадалъ въ краснорѣчіе. Тутъ была и едва проступавшая ласковая насмѣшка, и какая-то грусть, и безсловесная просьба простить чудачку, — и еще что-то неизъяснимое, очень мудрое. И Мартынъ молчалъ, втайнѣ отвѣчая дядѣ Генриху примѣрно такъ: «Неправда, что я въ Кембриджѣ занимаюсь пустяками. Неправда, что я ничему не научился. Колумбъ, прежде, чѣмъ взяться черезъ западное плечо за восточное ухо, отправился инкогнито для полученія кое-какихъ справокъ въ Исландію, зная, что тамошніе моряки — народъ дошлый и дальнеходный. Я тоже собираюсь изслѣдовать далекую землю».

XXXI.

Софья Дмитриевна не докучала сыну нудными разговорами, до которыхъ былъ падокъ Генрихъ; она не спрашивала его, чѣмъ онъ собирается заниматься, считая, что это все какъ-то само собой устроится, и была только счастлива, что онъ сейчасъ при ней, здоровъ, плечистъ, темень отъ загара, дупитъ въ теннисъ, говоритъ низкимъ голосомъ, ежедневно бреется и вгоняетъ въ маку молодую, яркоглазую мадамъ Гишаръ, мѣстную купчиху. Порою она думала о томъ, что Россія вдругъ стряхнетъ дурной сонъ, полосатый шлагбаумъ поднимется, и всѣ вернутся, займутъ прежнія свои мѣста, — и Боже мой, какъ подростли

деревья, какъ уменьшился домъ, какая грусть и счастье, какъ пахнетъ земля... По утрамъ она такъ же страстно ждала почтальона, какъ и во дни пребыванія сына въ Кембриджѣ, и, когда теперь приходило, — а приходило оно нечасто, — письмо на имя Мартына, въ конторскомъ конвертѣ, съ паукообразнымъ почеркомъ и берлинской маркой, она испытывала живѣйшую радость, и, схвативъ письмо, спѣшила къ нему въ комнату. Мартынъ еще лежалъ въ постели, очень взлохмаченный, посасывалъ папиросу, держа руку у подбородка. Онъ видѣлъ въ зеркалѣ, какъ солнечной раной раскрывалась дверь, и видѣлъ особое выраженіе на розовомъ, веснушчатомъ лицѣ матери: по ея плотно-сжатымъ, но уже готовымъ расплыться въ улыбку губамъ, онъ зналъ, что есть письмо. «Сегодня ничего для тебя нѣтъ», — небрежно говорила Софья Дмитриевна, держа руку за спиной, но сынъ уже протягивалъ нетерпѣливые пальцы, и она, просіявъ, прикладывала конвертъ къ груди, и оба смѣялись, и затѣмъ, не желая мѣшать его удовольствію, она отходила къ окну, облакачивалась, захвативъ ладонями щеки, и съ чувствомъ совершеннаго счастья глядѣла на горы, на одну далекую, розоватоснѣжную вершину, которая была видна только изъ этого окна. Мартынъ, залпомъ проглотивъ письмо, притворялся значительно болѣе довольнымъ, чѣмъ на самомъ дѣлѣ, такъ что Софья Дмитриевна представляла себѣ эти письма отъ маленькой Зилановой полными нѣжности и вѣроятно почувствовала бы печальную обиду за сына, если бы ей довелось ихъ прочесть. Она помнила маленькую Зиланову со странной ясностью: черноволосая, блѣдная дѣвочка, всегда съ ангиной или послѣ ангины, съ шеей, забинтованной или пожелтѣвшей отъ іода; она помнила, какъ однажды повела десятилѣтняго Мартына къ Зилановымъ на елку, и маленькая Соня была въ бѣломъ платьѣ съ кружевцами и съ широкимъ шелковымъ кушакомъ на бедрахъ. Мартынъ же этого не помнилъ вовсе, елокъ было много, онѣ мѣшались, и только одно было очень жи-

во, ибо повторялось всегда: мать говорила, что пора домой, и засовывала пальцы за воротникъ его матроски, провѣряя, не очень ли онъ потенъ отъ бѣготни, а онъ еще рвался куда-то съ огромной золотой хлопушкой въ рукѣ, но хватка матери была ревнива, и вотъ уже натягивались шерстяные рейтузики, почти до подмышекъ, надѣвались ботики, полушубокъ, съ туго застегивавшимся на душкѣ крючкомъ, отвратительно щекотный башлыкъ, — и вотъ — морозная радуга фонарей проходить по стекламъ кареты. Мартына волновало, что тогда и теперь выраженіе материнскихъ глазъ было то же, — что и теперь она легко трогала его за шею, когда онъ возвращался съ тенниса, и приносила Соню письмо съ тою же нѣжностью, какъ нѣкогда — выписанное изъ Англій духовое ружье въ длинной картонной коробкѣ.

Ружье оказывалось несовсѣмъ такимъ, какъ онъ ожидалъ, не совпадало съ мечтой о немъ, какъ и теперь письма Сони были не такими, какихъ ему хотѣлось. Она писала рѣдко, писала какъ-то судорожно, ни одного не попадалось таинственного слова, и ему приходилось удовлетворяться такими выраженіями, какъ: «часто вспоминаю добрый, старый Кембриджъ» или «всѣхъ благъ, мой миленькій цвѣточекъ, жму лапу». Она сообщала, что служить, машинка да стенографія, что съ Ириной очень трудно, — сплошная истерія, — что у отца ничего путнаго не вышло съ газетой, и онъ теперь налаживаетъ издательское дѣло, что въ домѣ иногда не бываетъ ни копѣйки, и очень грустно, что масса знакомыхъ, и очень весело, что трамваи въ Берлинѣ зеленые, и что въ теннисъ берлинцы играютъ въ крахмальныхъ воротничкахъ и подтяжкахъ. Мартынъ терпѣлъ, терпѣлъ, протерпѣлъ лѣто, осень и зиму, и какъ-то, въ апрѣльскій день, объявилъ дядѣ Генриху, что ѣдетъ въ Берлинъ. Тотъ надулся и сказалъ недовольно: «Мнѣ кажется, дружокъ, что это лишено здраваго смысла. Ты всегда успеешь увидѣть Европу, — я самъ думалъ осенью взять васъ, тебя и твою мать, въ Италію. Но вѣдь нельзя

безъ конца валандаться. Короче, — я хотѣлъ тебѣ предложить попробовать твои молодые силы въ Женевѣ». (Мартынъ хорошо зналъ о чемъ рѣчь, — уже нѣсколько разъ вылезалъ, крадучись, этотъ жалкій разговоръ о какомъ-то коммерческомъ домѣ братьевъ Пти, съ которыми дядя Генрихъ былъ въ дѣловыхъ сношеніяхъ), — «попробовать твои молодые силы, — повторилъ дядя Генрихъ. — Въ этотъ жестокий вѣкъ, въ этотъ вѣкъ очень практической, юноша долженъ научиться зарабатывать свой хлѣбъ и пробивать себѣ дорогу. Ты основательно знаешь англійскій языкъ. Иностранная корреспонденція — вещь крайне интересная. Что же касается Берлина... Ты вѣдь не очень силенъ въ нѣмецкомъ, — не такъ ли? Не вижу, что ты будешь тамъ дѣлать». «Предположимъ, что ничего», — угрюмо сказала Мартынъ. Дядя Генрихъ посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ. «Странный отвѣтъ. Не знаю, что твой отецъ подумалъ бы о подобномъ отвѣтѣ. Мнѣ кажется, что онъ, какъ и я, былъ бы удивленъ, то юноша, полный здоровья и силъ, гнушается всякой работы. Пойми, пойми, — поспѣшно добавилъ дядя Генрихъ, замѣтивъ, что Мартынъ непрямо побагровѣлъ, — я вовсе не мелочень. Я достаточно богатъ, слава Богу, чтобы тебя обезпечить, — я себѣ дѣлаю изъ этого долгъ и счастье, — но съ твоей стороны было бы безуміемъ не работать. Европа проходить черезъ несслыханный кризисъ, чловѣкъ теряетъ состояніе въ мгновеніе ока. Это такъ, ничего не подѣлаешь, надо быть ко всему готовымъ». «Мнѣ твоихъ денегъ не нужно», — тихо и грубо сказала Мартынъ. Дядя Генрихъ сдѣлалъ видъ, будто не слышалъ, но его глаза налились слезами. «Неужели, — спросилъ онъ, — у тебя нѣтъ честолюбія? Неужели ты не думаешь о карьерѣ? Мы, Эдельвейсы, всегда умѣли работать. Твой дѣдъ былъ сначала бѣднымъ домашнимъ учителемъ. Когда онъ сдѣлалъ предложеніе твоей бабушкѣ, ея родители прогнали его изъ дому. И вотъ — черезъ годъ онъ возвращается директоромъ экспортной фирмы, и тогда

разумѣтся, всѣ препятствія были сметны...» «Мнѣ твоихъ денегъ не нужно, — еще тише повторилъ Мартынъ, — а насчетъ дѣдушки — это все глупая семейная легенда, — и ты это знаешь». «Что съ нимъ, что съ нимъ, — съ испугомъ забормоталъ дядя Генрихъ. — Какое ты имѣешь право меня такъ оскорблять? Что я тебѣ сдѣлать худого? Я, который всегда...» — «Однимъ словомъ, я ѣду въ Берлинъ», — перебилъ Мартынъ, и, дрожа, вышелъ изъ комнаты.

XXXII.

Вечеромъ было примиреніе, объятія, сморканіе, разнѣженный кашель, — но Мартынъ настоялъ на своемъ. Софья Дмитриевна, чувствуя его тоску по Сонѣ, оказалась его сообщницей и бодро улыбалась, когда онъ садился въ автомобиль.

Какъ только домъ скрылся изъ вида, Мартынъ переѣхалъ мѣстами съ шоферомъ и легко, почти нѣжно держа руль, словно нѣчто живое и цѣнное, и глядя, какъ мощная машина глотаетъ дорогу, испытывалъ почти то же, что въ дѣтствѣ, когда, сѣвъ на полъ, такъ, чтобы педали рояля пришлись подъ подошвы, держалъ между ногъ табуретъ съ круглымъ вращающимся сидѣніемъ, орудовалъ имъ, какъ рулемъ, бралъ на полномъ ходу восхитительные повороты, еще и еще нажималъ на педаль (рояль при этомъ гукалъ) и шурился отъ воображаемаго вѣтра. Затѣмъ, въ поѣздѣ, въ нѣмецкомъ вагонѣ, гдѣ въ простѣнкахъ были небольшія карты, какъ разъ тѣхъ областей, по которымъ данный поѣздъ не проходилъ, — Мартынъ наслаждался путешествіемъ, ѣлъ шоколадъ, курилъ, совалъ окуркъ подъ желѣзную крышку пепельницы, полной сигарнаго праха. Къ Берлину онъ подъѣзжалъ вечеромъ и, глядя прямо изъ вагона на уже освѣщенныя улицы, пережилъ снова дав-

нишее дѣтское впечатлѣніе Берлина, счастливые жители котораго могутъ хоть каждый день смотрѣть на поѣздъ баснословнаго слѣдованія, плывущій по черному мосту надъ ежедневной улицей, и вотъ этимъ отличался Берлинъ отъ Петербурга, гдѣ желѣзнодорожное движеніе скрывалось, какъ нѣкое таинство. Но черезъ недѣлю, когда онъ къ городу присмотрѣлся, Мартынъ былъ уже безсилень возстановить тотъ уголъ зрѣнія, при которомъ черты показались знакомы, — какъ при встрѣчѣ съ человѣкомъ, годами невидѣннымъ, признаешь на-первахъ его обликъ и голосъ, а присмотришься — и тутъ же демонстративно продѣлывается все то, что незамѣтно продѣлало время, мѣняются черты, разрушается сходство, и сидитъ чужой человѣкъ, самодовольный поглотитель небольшого и хрупкаго своего двойника, котораго отнынѣ уже будетъ трудно вообразить, — если только не поможетъ случай. Когда Мартынъ нарочно посѣщалъ тѣ улицы въ Берлинѣ, тотъ перекрестокъ, ту площадь, которые онъ видѣлъ въ дѣтствѣ, ничто, ничто не волновало душу, но зато, при случайномъ запахѣ угля или бензиннаго перегара, при особомъ блѣдномъ оттѣнкѣ неба сквозь кисею занавѣски, при дрожи оконныхъ стеколъ, разбуженныхъ грузовикомъ, онъ мгновенно проникался тѣмъ городскимъ, отельнымъ, блѣдно-утреннимъ, чѣмъ нѣкогда пахнулъ на него Берлинъ. Игрушечные магазины на когда-то нарядной улицѣ порѣдѣли, осунулись, локомотивы въ нихъ были теперь поменьше, поплоче. Мостовая на этой улицѣ была разворочена, рабочіе въ жилеткахъ сверлили, дымили, рыли глубокія ямы, такъ что приходилось пробираться по мосткамъ, а иногда даже по рыхлому песку. Въ пассажномъ паноптикумѣ потеряли свою страшную прелесть человѣкъ въ саванѣ, энергично выходящій изъ могилы, и желѣзная женщина для чрезвычайной пытки. Когда Мартынъ пошелъ искать на Курфюрстендамѣ тотъ огромный скэтингъ-ринкъ, отъ котораго осталось въ памяти: гремучій раскатъ колесиковъ, красная форма инструкторовъ, раковин-

на оркестра, соленый тортъ-мокка, подававшийся въ кру-
говыхъ ложахъ, и па-де-патинеръ, который онъ танцо-
валъ подь всякую музыку, подгибая то правый, то лѣ-
вый роликъ, и Богъ ты мой, какъ онъ разъ шлепнулся, —
оказалось, что все это исчезло безслѣдно. Курфюрстен-
дамъ измѣнился тоже, возмужалъ, вытянулся, и гдѣ-то
— не то подь новымъ домомъ, не то на пустырь, — была
могила большого тенниса въ двадцать площадокъ, гдѣ
два раза Мартынъ игралъ съ матерью, которая, подавая
снизу мячъ, говорила яснымъ голосомъ «плэй» и, бѣгая,
шуршала юбкой. Теперь, не выходя изъ города, онъ до-
бирался до Груневальда, гдѣ жили Зилановы, и отъ Сони
узнавалъ, что бессмысленно ѣздить за покупками къ Верт-
хайму, и что вовсе не обязательно посѣщать Винтергар-
тенъ, — гдѣ нѣкогда высокій потолокъ былъ, какъ див-
ное звѣздное небо, и въ ложахъ, у освѣщенныхъ столи-
ковъ, сидѣли прусскіе офицеры, затянутые въ корсеты,
а на сценѣ двѣнадцать голоногихъ дѣвицъ пѣли гортан-
ными голосами и, держась подруки, переливались справа
налѣво и обратно и вскидывали двѣнадцать бѣлыхъ ногъ,
и маленькій Мартынъ тихо охнулъ, узнавъ въ нихъ тѣхъ
миловидныхъ, скромныхъ англичанокъ, которыя, какъ и
онъ, бывали по утрамъ на деревянномъ каткѣ.

Но пожалуй самымъ неожиданнымъ въ этомъ новомъ,
широко расплзавшемся Берлинѣ, такомъ тихомъ, дере-
венскомъ, растяпистомъ по сравненію съ гремящимъ, тѣс-
нымъ и наряднымъ городомъ Мартынова дѣтства, — са-
мымъ неожиданнымъ въ немъ была та развязная, громко-
голосая Россія, которая тараторила повсюду — въ трам-
ваяхъ, на углахъ, въ магазинахъ, на балконахъ домовъ.
Лѣтъ десять тому назадъ, въ одной изъ своихъ пророче-
скихъ грезъ (а у всякаго человѣка съ большимъ вообра-
женіемъ бываютъ грезы пророческія, — такова математи-
ка грезъ), петербургскій отрокъ Мартынъ снился себѣ сла-
бому изгнанникомъ, и подступали слезы, когда, на вооб-
ражаемомъ дебаркадерѣ, освѣщенномъ причудливо туск-

ло, онъ невзначай знакомился — съ кѣмъ?.. — съ земля-
комъ, сидящимъ на сундукѣ, въ ночь озноба и запозданій,
и какіе были дивные разговоры! Для роли этихъ земля-
ковъ онъ попросту бралъ русскихъ, замѣченныхъ имъ во
время заграничной поѣздки, — семью въ Біаррицѣ, съ гу-
вернанткой, гувернеромъ, бритымъ лакеемъ и рыжей так-
сой, замѣчательную бѣлокурую даму въ берлинскомъ Кай-
зергофѣ, или — въ коридорѣ нордъ-экспресса стараго гос-
подина въ черной мурмолкѣ, котораго отецъ шопотомъ
назвалъ «писатель Боборыкинъ», — и, выбравъ имъ под-
ходящіе костюмы и реплики, посылалъ ихъ для встрѣчи
съ собой въ отдаленнѣйшія мѣста свѣта. Нынѣ эта слу-
чайная мечта — слѣдствіе Богъ вѣсть какой дѣтской книги
— воплотилась полностью и, пожалуй,хватила черезъ
край. Когда, въ трамваѣ, толстая расписная дама уныло
повисала на ремнѣ и, гремя роскошными русскими звука-
ми, говорила черезъ плечо своему спутнику, старику въ
сѣдыхъ усахъ: «Поразительно, прямо поразительно, — ни
одинъ изъ этихъ невѣжъ не уступитъ мѣсто», — Мартынъ
вскакивалъ и, съ сіяющей улыбкой повторяя то, что нѣко-
гда въ отроческихъ мечтахъ случайно прорепетировалъ,
восклицалъ: «Пожалуйста!» — и, сразу поблѣднѣвъ отъ
волненія, повисалъ въ свою очередь на ремнѣ. Мирные
нѣмцы, которыхъ дама звала невѣжами, были все уста-
лые, голодные, работающіе, и сѣрые бутерброды, которые
они жевали въ трамваѣ, пускай раздражали русскихъ, нѣ
были необходимы: настоящіе обѣды обходились дорого
въ тотъ годъ, и, когда Мартынъ мѣнялъ въ трамваѣ дол-
ларь, — вмѣсто того, чтобы на этотъ долларъ купить до-
ходный домъ, — у кондуктора отъ счастья и удивленія
тряслись руки. Доллары Мартынъ зарабатывалъ особымъ
способомъ, которымъ очень гордился. Трудъ былъ, прав-
да, каторжный. Съ мая, когда онъ на этотъ трудъ набрелъ
(благодаря милѣйшему русскому нѣмцу Киндерману, уже
второй годъ преподававшему теннисъ случайнымъ бога-
чамъ), и до середины октября, когда онъ вернулся на зи-

ку къ матери, и потомъ опять цѣлую весну, — Мартынь работала почти ежедневно съ ранняго утра до заката. — держа въ лѣвой рукѣ пять мячей (Киндерманъ умѣлъ держать шесть), посылалъ ихъ по одному черезъ сѣтку все тѣмъ же гладкимъ ударомъ ракеты, межъ тѣмъ, какъ напряженный пожилой ученикъ (или ученица) по ту сторону сѣтки старательно размахивался и обыкновенно никуда не попадалъ. Первое время Мартынь такъ уставала, такъ ныло правое плечо, такъ горѣли ноги, что, придя домой, онъ сразу ложился въ постель. Отъ солнца волосы посвѣтлѣли, лицо потемнѣло, — онъ казался негативомъ самого себя. Маторская вдова, его квартирная хозяйка, отъ которой онъ для пущей таинственности скрывалъ свою профессию, полагала, что бѣдняга принужденъ, какъ, увы, многие интеллигентные люди, заниматься чернымъ трудомъ, таскать камни, напримѣръ (отсюда загаръ) и стѣсняется этого, какъ всякій деликатный человекъ. Она деликатно вздыхала и угощала его по вечерамъ колбасой, присланной дочерью изъ померанскаго имѣнія. Была она саженаго роста, краснолицая, по воскресеньямъ душилась одеколономъ, держала у себя въ комнатѣ попугая и черепаху. Мартына она считала жильцомъ идеальнымъ: онъ рѣдко бывалъ дома, гостей не принималъ и не пользовался ванной (последнюю замѣняли сполна душъ въ клубѣ и груневальдское озеро). Эта ванна была вся снутри облѣплена хозяйскими волосами, сверху на веревкѣ злобно сохли безымянные тряпки, а рядомъ у стѣны стоялъ старый, пыльный, поржавѣвшій велосипедъ. Впрочемъ добраться до ванны было мудрено: туда велъ длинный, темный, необыкновенно угластый коридоръ, заставленный всякимъ хламомъ. Комната же Мартына была вовсе не плохая, очень забавная, съ такими предметами роскоши, какъ пианино, споконъ вѣка запертое на ключъ, или громоздкій, сложный барометръ, испортившійся года за два до послѣдней войны, — а надъ диваномъ, на зеленой стѣнѣ, какъ постоянное, благожелательное напоминаніе, вставать

изъ беклиновскихъ волнъ тотъ же голый старикъ съ зубцемъ, который — въ рамѣ попроще — оживлялъ гостиную Зилановыхъ.

XXXIII.

Когда въ первый разъ онъ къ нимъ пришелъ, увидѣлъ ихъ дешевую, темную квартиру, состоящую изъ четырехъ комнатъ и кухни, гдѣ на столѣ сидѣла по-новому причесанная, совсѣмъ чужая Соня и, качая ножками въ заштопаныхъ чулкахъ, тянула носомъ и чистила картофель, Мартынь понялъ, что нечего ждать отъ Сони, кромѣ огорченій, и что напрасно онъ махнулъ въ Берлинъ. Чужое въ ней было все и бронзоваго оттѣнка джамперъ, и открытыя уши, и простуженный голосъ, — ее донималъ сильный насморкъ, вокругъ ноздрей и подъ носомъ было розово, она чистила картофель, сморкалась и, высморкавшись, уныло крикала и опять срѣзала ножомъ спирали бурой шелухи. Къ ужину была гречневая каша, маргаринъ вмѣсто масла; Ирина пришла къ столу, держа на рукахъ котенка, съ которымъ не разставалась, и встрѣтила Мартына радостнымъ и страшнымъ смѣхомъ. И Ольга Павловна и Елена Павловна постарѣли за этотъ годъ, еще больше стали похожи другъ на дружку, и только одинъ Зилановъ былъ все тотъ же и съ прежнею мощью рѣзалъ хлѣбъ «Я слышалъ», — (хрякъ, хрякъ) — «что Грузиновъ въ Лозаннѣ, вы его» — (хрякъ) — «не встрѣчали? Мой большой пріятель и замѣчательная волевая личность». Мартынь не имѣлъ ни малѣйшаго представленія, кто такой Грузиновъ, но ничего не спросилъ, боясь попасть впросакъ. Послѣ ужина Соня мыла тарелки, а онъ ихъ вытиралъ, и одну разбилъ. «Съ ума сойти, все заложено», — сказала она, — и пояснила: «Да нѣтъ, не вещи, а у меня въ носу. Вещи, впрочемъ, тоже». Затѣмъ она спустилась вмѣстѣ съ нимъ, чтобы отпереть ему дверь, — и очень

бавно при нажимѣ кнопки стучало что-то, и вспыхивалъ лѣстницѣ свѣтъ, — и Мартынъ покашливалъ и не могъ говорить ни одного слова изъ всѣхъ тѣхъ, которыя онъ собирался Сонѣ сказать. Далѣе послѣдовали вечера, съѣзды другіе, — множество гостей, танцы подѣ граммофонъ, танцы въ ближнемъ кафе, темнота маленькаго кинематографа за угломъ. Со всѣхъ сторонъ возникали вокругъ Мартына новые люди, туманности рождали міры, и вотъ получало опредѣленные имена и облики все русское, разсыпанное по Берлину, все, что такъ волновало Мартына, — будь это просто обрывокъ житейскаго разговора среди прущей панельной толпы, хамелеонное словцо — доллары, доллары, доллары, — или схваченная на лету речитативная ссора четы, «а я тебѣ говорю...» — для женскаго голоса, — «ну, и пожалуйста...» — для мужскаго, — или, наконецъ, человѣкъ, лѣтней ночью съ задранной головой бьющій въ ладони подѣ освѣщеннымъ окномъ, выкликающій звучное имя и отчество, отъ котораго сотрясается вся улица, и шарахается, нервно хрюкнувъ, таксомоторъ, чуть не налетѣвшій на голосистаго гостя, который уже отступилъ на середину мостовой, чтобы лучше видѣть, не появился ли Петрушкой въ окнѣ нужный ему человѣкъ. Черезъ Зилановыхъ Мартынъ узналъ людей, среди которыхъ сначала почувствовалъ себя невѣждой и чужакомъ. Въ нѣкоторомъ смыслѣ съ нимъ повторялось то же, что было, когда онъ пріѣхалъ въ Лондонъ. И теперь, когда на квартирѣ у писателя Бубнова большими волнами шелъ разговоръ, полный именъ, и Соня, все знавшая, смотрѣла искаса на него съ насмѣшливымъ сожалѣніемъ, Мартынъ краснѣлъ, терялся, собирался пустить свое утлое словцо на волны чужихъ рѣчей, да такъ, чтобы оно не опрокинулось сразу, и все не могъ рѣшиться, и потому молчалъ; зато, устыдясь отсталости своихъ познаній, онъ много читалъ по ночамъ и въ дождливые дни, и очень скоро принялся къ тому особому запаху — запаху тюремныхъ библиотекъ, — который исходилъ отъ совѣтской словесности.

XXXIV.

Писатель Бубновъ, — всегда съ удовольствіемъ отмѣчавшій, сколь много выдающихся литературныхъ именъ двадцатаго вѣка начинается на букву «б», — былъ плотный, тридцатилѣтній, уже лысый мужчина съ огромнымъ лбомъ, глубокими глазами и квадратнымъ подбородкомъ. Онъ курилъ трубку, — сильно вбирая щеки при каждой затяжкѣ, — носилъ старый черный галстукъ бантикомъ и считалъ Мартына франтомъ и европейцемъ. Мартына же плѣняла его напористая круглая рѣчь и вполне заслуженная писательская слава. Начавъ писать уже за границей, Бубновъ за три года выпустилъ три прекрасныхъ книги, писалъ четвертую, героемъ ея былъ Христофоръ Колумбъ — или, точнѣе, русскій дьякъ, чудесно попавшій матросомъ на одну изъ колумбовыхъ каравеллъ, — а такъ какъ Бубновъ не зналъ ни одного языка, кромѣ русскаго, то для собиранія нѣкоторыхъ матеріаловъ, имѣвшихъ въ Государственной библиотекѣ, охотно бралъ съ собою Мартына, когда тотъ бывалъ свободенъ. Нѣмецкимъ Мартынъ владѣлъ плоховато и потому радовался, если текстъ попадался французскій, англійскій, или — еще лучше — итальянскій: этотъ языкъ онъ зналъ, правда, еще хуже нѣмецкаго, но небольшое свое знаніе особенно цѣнилъ, памятуя, какъ съ меланхолическимъ Тэдди переводилъ Данте. У Бубнова бывали писатели, журналисты, прыщеватые молодые поэты, — все это были люди, по мнѣнію Бубнова, средняго таланта, и онъ праведно царилъ среди нихъ, выслушивалъ, прикрывъ ладонью глаза, очередное стихотвореніе о тоскѣ по родинѣ или о Петербургѣ (съ непремѣннымъ присутствіемъ Мѣднаго Всадника) и затѣмъ говорилъ, тискавая бритый подбородокъ: «Да, хорошо»; и повторялъ, уставившись блѣдно-карими,

немного собачьими, глазами въ одну точку: «Хорошо», съ менѣе убѣдительнымъ отгѣнкомъ; и, снова перемѣнивъ направленіе взгляда, говорилъ: «Не плохо»; а затѣмъ: «Только, знаете, слишкомъ у васъ Петербургъ портативный»; и постепенно снижая сужденіе, доходилъ до того, что глухо, со вздохомъ, бормоталъ: «Все это не то, все это не нужно», и удрученно моталъ головой, и вдругъ, съ блескомъ, съ восторгомъ, разрѣшался стихомъ изъ Пушкина, — и, когда однажды молодой поэтъ, обидѣвшись, возразилъ: «То Пушкинъ, а это я», — Бубновъ подумалъ и сказалъ: «А все-таки у васъ хуже». Случалось, впрочемъ, что чья-нибудь вещь была дѣйствительно хороша, и Бубновъ, — особенно, если вещь была написана прозой, — дѣлался необыкновенно мрачнымъ и нѣсколько дней пребывалъ не въ духахъ. Съ Мартыномъ, который, кромѣ писемъ къ матери, ничего не писалъ, (и былъ за это прозванъ однимъ острословомъ «наша мадамъ де-Севинье»), Бубновъ дружилъ искренно и безбоязненно, и разъ даже, послѣ третьей кружки пильзнера, весь налитой свѣтлымъ пивомъ, весь тугой и прозрачный, мечтательно заговорилъ (и это напомнило Яйду, костеръ) о дѣвушкѣ, у которой поетъ душа, поютъ глаза, и кожа блѣдна, какъ дорогой фарфоръ, — и затѣмъ свирѣпо глянулъ на Мартына и сказалъ: «Да, это пошло, сладко, отвратительно, фу... презирай меня, пускай я бездарь, но я ее люблю. Ея имя, какъ куполь, какъ свистъ голубиныхъ крылъ, я вижу свѣтъ въ ея имени, особый свѣтъ, «кана-инумъ» старыхъ хадирскихъ мудрецовъ, — свѣтъ оттуда, съ востока, — о, это большая тайна, страшная тайна»; и уже истошнымъ шопотомъ: «Женская прелесть страшна, — ты понимаешь меня, — страшна. И туфельки у нея стоптаны, стоптаны...»

Мартынъ стѣснялся и молча кивалъ. Съ Бубновымъ онъ всегда чувствовалъ себя странно, немного какъ во свѣ, — и какъ-то несовсѣмъ довѣрялъ ни ему, ни хадирскимъ старцамъ. Другіе Сонины знакомые, какъ, напримеръ, веселый зубастый Каллистратовъ, бывший офицеръ,

теперь занимающійся автомобильнымъ извозомъ, или милая, бѣлая, полногрудая Веретенникова, игравшая на гитарѣ и пѣвшая звучнымъ контральто «Есть на Волгѣ утесъ», или молодой Юголевицъ, умный, ехидный, малоразговорчивый юноша въ роговыхъ очкахъ, читавшій Пруста и Джойса, были куда проще Бубнова. Къ этимъ Сонинымъ друзьямъ примѣшивались и пожилые знакомые ея родителей, — все люди почтенные, общественные, чистые, вполне достойные будущаго некролога въ сто кристалльныхъ строкъ. Но, когда, въ июльскій день, отъ разрыва сердца умеръ на улицѣ, охнувъ и грузно упавъ ничкомъ, старый Юголевицъ, и въ русскихъ газетахъ было очень много о незамѣнимо утратѣ и подлинномъ труженикѣ, и Михаилъ Платоновичъ, съ портфелемъ подмышкой, шелъ одинъ изъ первыхъ за гробомъ, среди розъ и черного мрамора еврейскихъ могилъ, Мартыну казалось, что слова некролога «пламенѣлъ любовью къ Россіи» или «всегда держалъ высоко перо» — какъ-то унижаютъ покойнаго тѣмъ, что они же, эти слова могли быть примѣнены и къ Зиланову, и къ самому маститому автору некролога. Мартыну было больше всего жаль своеобразія покойнаго, дѣйствительно незамѣнимаго, — его жестовъ, бороды, лѣпныхъ морщинъ, неожиданной застѣнчивой улыбки, и пиджачной пуговицы, висѣвшей на ниткѣ, и манеры всѣмъ языкомъ лизнуть марку, прежде, чѣмъ ее налѣпить на конвертъ да хлопнуть по ней кулакомъ. Это было въ какомъ-то смыслѣ цѣннѣе его общественныхъ заслугъ, для которыхъ былъ такой удобный шаблончикъ, — и со страннымъ перескоккомъ мысли Мартынъ поклялся себѣ, что никогда самъ не будетъ состоять ни въ одной партіи, не будетъ присутствовать ни на одномъ засѣданіи, никогда не будетъ тѣмъ персонажемъ, которому предоставляется слово, или который закрываетъ пренія и чувствуетъ при этомъ всѣ восторги гражданственности. И часто Мартынъ дивился, почему никакъ не можетъ заговорить о сокровенныхъ своихъ замыслахъ съ Зилановымъ, съ его друзьями, со всѣми этими

дѣятельными, почтенными, безкорыстно любящими родину русскими людьми.

XXXV.

Но Соня, Соня... Отъ ночныхъ мыслей объ экспедиціи, отъ литературныхъ бесѣдъ съ Бубновымъ, отъ ежедневныхъ трудовъ на теннисѣ, онъ снова и снова къ ней возвращался, подносилъ для нея спичку къ газовой плитѣ, гдѣ сразу, съ сильнымъ пыхомъ, выпускалъ всѣ когти голубой огонь. Говорить съ ней о любви было бесполезно, но однажды, провозжая ее домой изъ кафе, гдѣ они тянули сквозь соломинки шведскій пуншъ подъ скрипичный вой румына, онъ почувствовалъ такую нѣжность отъ теплоты ночи, и отъ того, что въ каждомъ подъѣздѣ стояла неподвижная чета, — такъ подѣйствовали на него ихъ смѣхъ и шопоть, и внезапное молчаніе, — и сумрачное колыханіе сирени въ палисадникахъ, и диковинныя тѣни, которыми свѣтъ фонаря оживлялъ лѣса обновляшагося дома, — что внезапно онъ забылъ обычную выдержку, обычную боязнь быть поднятымъ Соней на зубки, — а чудомъ заговорилъ — и о чемъ? — о Гораціи... Да, Горацій жилъ въ Римѣ, а Римъ походилъ на большую деревню, гдѣ, впрочемъ, немало было мраморныхъ зданій, но тутъ же гнались за бѣшеной собакой, тутъ же хлюпала въ грязи свинья съ черными своими поросятами, — и всюду строили, стучали плотники, громыхая, проѣзжала телѣга съ лигурійскимъ мраморомъ или огромной сосной, — но къ вечеру стукъ затихалъ, какъ затихалъ въ сумерки Берлинъ, и напоследокъ гремѣли желѣзныя цѣпи запираемыхъ на ночь лавокъ, совсѣмъ, какъ гремѣли, спускаясь, ставни лавокъ берлинскихъ, и Горацій шелъ на Марсово поле, тщедушный, но съ брюшкомъ, лысый и ушастый, въ ряшливой тогѣ, и слушалъ нѣжный шопоть бесѣдъ подъ портиками, прелестный смѣхъ въ темныхъ углахъ.

«Ты такой милый, — вдругъ сказала Соня, — что я

должна тебя поцѣловать, — только постой, отойдемъ сюда». У рѣшетки, черезъ которую свисла листва, Мартынъ привлекъ къ себѣ Соню, и, чтобы не терять ничего изъ этой минуты, не зажмурился, медленно цѣлуя ее холодныя, мягкія губы, а слѣдилъ за блѣднымъ отсвѣтомъ на ея щекѣ, за дрожью ея опущенныхъ вѣкъ: вѣки поднялись на мгновеніе, обнаживъ влажный слѣпой блескъ, и прикрылись опять, и она вздрагивала, и вытягивала губы, и вдругъ ладонью отодвинула его лицо, и, стуча зубами, вполголоса сказала, что больше не надо, пожалуйста, больше не надо.

«А если я другого люблю?» — спросила Соня съ неожиданной живостью, когда они снова побрели по улицѣ. «Это ужасно», — сказала Мартынъ и почувствовалъ, что было какое-то мгновеніе, когда онъ могъ Соню удержать, — а теперь она опять выскользнула. «Убери руку, мнѣ неудобно итти, что за манера, какъ воскресный приказчикъ», — вдругъ проговорила она, и послѣдняя надежда, блаженно теплое ощущеніе ея голаго предплечья подъ его рукой, — исчезло тоже. «У него есть по крайней мѣрѣ талантъ», — сказала она, — а ты — ничто, просто путешествующей барчукъ». «У кого — у него?» Она ничего не отвѣтила и молчала до самаго дома; но на прощаніе поцѣловала еще разъ, закинувъ ему за шею обнаженную руку, съ серьезнымъ лицомъ, потупясь, заперла снутри дверь, и онъ прослѣдилъ сквозь дверное стекло, какъ она поднялась по лѣстницѣ, поглаживая балюстраду, — и вотъ — исчезла за поворотомъ, и вотъ — потухъ свѣтъ.

«Съ Дарвиномъ вѣроятно было то же самое», — подумалъ Мартынъ, и ему страшно захотѣлось его повидать, — но Дарвинъ былъ далеко, въ Америкѣ, посланный туда лондонской газетой. И на другой день простылъ слѣдъ этого вечера, точно его не было вовсе, и Соня уѣхала съ друзьями за-городъ, на Павлиній островъ, тамъ былъ пикникъ, и купаніе, Мартынъ объ этомъ даже не зналъ, — и, когда вечеромъ подходилъ къ ея дому, неся

подмышкой большую плюшевую собаку съ малиновымъ бантомъ, купленную за пять минутъ до закрытія магазина, то встрѣтилъ на улицѣ всю возвращавшуюся компанію. и у Сони на плечахъ былъ пиджакъ Каллистратова, и какая-то вспыхивала между ней и Каллистратовымъ шутка, смыслъ которой никто Мартыну не потрудился открыть.

Тогда онъ ей написалъ письмо, и нѣсколько дней отсутствовалъ; она ему отвѣтила дней черезъ десять цвѣтной фотографической открыткой; — смазливый молодой мужчина наклоняется сзади надъ зеленой скамейкой, на которой сидитъ смазливая молодая женщина, любящая букетомъ розъ, а внизу золотыми буквами нѣмецкій стишокъ: «Пускай умалчиваетъ сердце о томъ, что розы говорятъ». «Какіе миленькіе, — написала на оборотѣ Соня, — знай нашихъ! А ты — вотъ что: приходи, у меня три струны лопнули на ракетѣ». И ни слова о письмѣ. Но зато при одной изъ ближайшихъ встрѣчъ она сказала: «Послушай, это глупо, можешь, наконецъ, пропустить одинъ день, тебя замѣнитъ Киндерманъ». «У него свои уроки», — нерѣшительно отвѣтилъ Мартынь, — но все же съ Киндерманомъ поговорить, и вотъ, въ удивительный день, совершенно безоблачный, Мартынь и Соня поѣхали въ озерныя, камышевыя, сосновыя окрестности города, и Мартынь героически держалъ данное ей слово, не дѣлалъ мармаладныхъ глазъ — ея выраженіе — и не пытался къ ней прикоснуться. Съ этого дня началась между ними по случайному поводу серія особенныхъ разговоровъ. Мартынь, рѣшивъ лоразить Сонино воображеніе, очень туманно намекнулъ на то, что вступилъ въ тайный союзъ, налаживающей кое-какія операціи развѣдочнаго свойства. Правда союзы такіе существовали, правда общій знакомый, поручикъ Мелкихъ, по слухамъ пробирался дважды кое-куда, правда и то, что Мартынь все искалъ случая поблѣже съ нимъ сойтись (разъ даже угощалъ его ужиномъ) и все жалѣлъ, что не встрѣтился въ Швейцаріи съ Грузиновымъ, о которомъ упомянулъ Зидановъ, и который, по на-

веденнымъ справкамъ, оказался человѣкомъ большихъ авантюръ, террористомъ, заговорщикомъ, руководителемъ недавнихъ крестьянскихъ возстаній. «Я не знала, что ты о такихъ вещахъ думаешь. Но только, знаешь, если ты правда вступилъ въ организацію, очень глупо объ этомъ сразу болтать». «Ахъ, я пошутилъ», — сказалъ Мартынь и загадочно прищурился для того, чтобы Соня подумала, что онъ нарочно обратилъ это въ шутку. Но она этой тонкости не замѣтила; валяясь на сухой, хвойными иглами устланной землѣ, подъ соснами, стволы которыхъ были испещрены солнцемъ, она закинула голыя руки за голову, показывая прелестныя впадины подмышекъ, недавно выбритыя и теперь словно заштрихованныя карандашомъ, — и сказала, что это странно, — она тоже объ этомъ часто думаетъ: вотъ есть на свѣтѣ страна, куда входъ простымъ смертнымъ воспрещенъ: «Какъ мы ее назовемъ?» — спросилъ Мартынь, вдругъ вспомнивъ игры съ Лидой на крымскомъ лукоморьѣ. «Что-нибудь такое — сѣверное», — отвѣтила Соня. — «Смотри, бѣлка». Бѣлка, играя въ прятки, толчками поднялась по стволу и куда-то исчезла. «Напримѣръ — Зоорландія», — сказалъ Мартынь. — О ней упоминаютъ норманы». «Ну, конечно — Зоорландія», — подхватила Соня, и онъ широко улыбнулся, нѣсколько потрясенный неожиданно открывшейся въ ней способностью мечтать. «Можно снять муравья?» — спросилъ онъ въ скобкахъ. «Зависитъ откуда». «Съ чулка». «Убирайся, милый», — обратилась она къ муравью, смахнула его сама и продолжала: «Тамъ холодныя зимы и сосулищи съ крышъ, — цѣлая система, какъ, что-ли, органыя трубы, — а потомъ все таетъ, и все очень водянисто, и на снѣгу — точки вроде копоты, вообще, знаешь, я все могу тебѣ рассказать, вотъ, напримѣръ, вышелъ тамъ законъ, что всѣмъ жителямъ надо брить головы, и потому теперь самые важные, самые такіе вліятельные люди — парикмахеры». «Равенство головъ», — сказалъ Мартынь. «Да. И конечно лучше всего лысымъ. И, знаешь —» «Бубновъ былъ бы счаст-

ливъ», — въ шутку вставилъ Мартынъ. На это Соня почему-то обидѣлась и вдругъ изсякла. Все же съ того дня она изрѣдка соизволяла играть съ нимъ въ Зоорландію, и Мартынъ терзался мыслью, что она, быть можетъ, изощренно глумится надъ нимъ и вотъ-вотъ заставитъ его оступиться, доведя его незамѣтно до черты, за которой бредни становятся безвкусны, и внезапнымъ хохотомъ разбудивъ босого лунатика, который видитъ вдругъ и карнизъ, на которомъ виситъ, и свою задрвшуюся рубашку, и толпу на панели, глядящую вверхъ, и каски пожарныхъ. Но если это былъ со стороны Сони обманъ, — все равно, все равно, его прельщала возможность пускаться передъ ней душу свою налегкѣ. Они изучали зоорландскій бытъ и законы, страна была скалистая, вѣтрная, и вѣтеръ признанъ былъ благою силой, ибо, ратуя за равенство, не терпѣлъ башенъ и высокихъ деревьевъ, а самъ былъ только выразителемъ социальныхъ стремленій воздушныхъ слоевъ, прилежно слѣдящихъ, чтобы вотъ тутъ не было жарче, чѣмъ вотъ тамъ. И конечно искусства и науки объявлены были внѣ закона, ибо слишкомъ обидно и раздражительно для честныхъ невѣждъ видѣть задумчивость грамотѣя и его слишкомъ толстыя книги. Бритоголовые, въ бурныхъ рясахъ, зоорландцы грѣлись у костровъ, въ которыхъ звучно лопались струны сжигаемыхъ скрипокъ, а иные поговаривали о томъ, что пора пригладить гористую страну, взорвать горы, чтобы онѣ не топтали такъ высокомерно. Иногда среди общей бесѣды, за столомъ, на примѣръ, — Соня вдругъ поворачивалась къ нему и быстро шептала: «Ты слышалъ, вышелъ законъ, запретили гусеницамъ окукляться», — или: «Я забыла тебѣ сказать, что Саванъ-на-рыло» (кличка одного изъ вождей) «приказала врачамъ лечить всѣ болѣзни однимъ способомъ, а не разбрасываться».

В. Сиринъ.

(Окончаніе слѣдуетъ)

Гремучій родникъ

Романъ.

ЧАСТЬ I.

I.

Вода полной струей вытекала изъ углубленія между пластами плитняка и падала на каменный подстиль, заиленный по краямъ отстоявшимся сѣрымъ зернистымъ пескомъ. Такъ какъ верхняя крыга плитняка выдавалась впередъ и служила какъ бы крышей надъ пустотой, то паденіе струи и даже каждой водяной капли отдавало много разъ повтореннымъ эхомъ, а отъ этого Родникъ, казалось, звенѣлъ несмолкаемымъ прозрачнымъ и холоднымъ звономъ.

По жолобу вода сбѣгала въ водопойныя корыта и, переливаясь черезъ края, текла говорливымъ потокомъ въ нижніе сады.

Родникъ обслуживалъ нужды безъ малаго сотни дворовъ.

У отлогаго спуска къ нему расположился своимъ просторнымъ, но мало складнымъ дворомъ Евдокимъ Прокофьевичъ Маликовъ.

На переднемъ планѣ стояла большая хата подъ крутой соломенной крышей, всегда чисто выбѣленная, съ желтой обводкой снизу и у дверныхъ притолокъ. Передъ хатой, съ прихватомъ улицы, былъ разбитъ палисадникъ, гдѣ широкимъ кустомъ разрослась сирень, вытянулись одичавшія розы и оклочилась разная пахучая приземистая зелень — любистикъ, кануперь, холодная и кучерявая мята, а также съ весны до поздней осени, смѣняясь

одни другими, пестрѣли яркими красками черезъ щели плетня многіе цвѣты-однолѣтки.

Наискось отъ хаты, какъ бы пятась отъ нея въ сторону, былъ обращенъ къ ней крыльцомъ дощатый амбаръ съ желѣзной проржавѣвшей крышей, просившей краски, а за нимъ — просторныя базы, упиравшіяся задами въ наружный плетень къ Роднику. За базами вглубь былъ особый дворикъ съ небольшою второю хатенкою, а дальше — сѣнникъ, огороды и запущенный садъ, въ которомъ среди фруктовыхъ деревьевъ встрѣчались карагичъ, ясень даже высоко вытянувшееся въ глушинѣ дерево черно-бочрышника.

Особенно хлопотливой была не наружная сторона двора къ Роднику, а та, гдѣ Маликовъ сосѣдиль съ шуриномъ Абакумомъ Колыхаловымъ. Здѣсь стояла у самой границы третья маликовская хатенка, купленная еще вначалѣ поселенія здѣсь, у дѣда Щелкуна, давно уже скончавшагося.

Сюда какъ бы невзначай вселился шурина Колыхаловъ, вымѣнявъ за какую-то бездѣлицу у того же Щелкуна узкую стежку двора, будто лишь для прохода въ садъ, а потомъ раструбомъ выперся впередъ, обстоился и незамѣтно, четь за четью, раздался и въ узкой части.

Обновлялся плетень на его границѣ всегда съ недоразумѣніемъ, особенно когда приходила очередь городить плетень ему, Колыхалову.

— Какъ-будто бы вонъ гдѣ надо бы, кумъ, колья бить? подойдетъ и съ осторожностью замѣтитъ шурина Маликовъ, когда тотъ ужъ слишкомъ явно залѣзетъ на маликовскій дворъ.

— Да, знаешь, тамъ земля трухлявая стала. Колья плохо держится, плетень скоро покривится.

— Одначе, зачѣмъ же маво двора непремѣнно нужно прихватывать? Подался бы на свой. Итъ вонъ куда хатенка выказываетъ!

Маликовъ становился по ряду уже набитыхъ Колыха-

ловымъ кольемъ лицомъ къ шелкуновской хатенкѣ, нѣмому непрерываемому хранителю границы, и прищуривалъ глазъ.

— Да ты што стрелябію-то наводишь? Если тебѣ чети своей жалко, то я... таво... повыдергиваю колья и... шабашъ! Города самъ. Ишь зажадовалъ. Мало все тебѣ! А еще родня.

Какъ будто, въ самомъ дѣлѣ, собираясь бросить работу, Колыхаловъ отставлялъ шербатую кубышку подалее въ сторону. Изъ нея онъ только что плеснулъ воды въ обозначившуюся воронку отъ перваго удара остріемъ кола въ сухую еще землю. Онъ только что приподнялъ колъ и чавкнулъ имъ въ ямку съ водой. Сырая земля раздалась, и колъ вошелъ вглубь сразу на полъчетверти.

— На самомъ дѣлѣ!

Колыхаловъ въ сердцахъ выхватывалъ обратно колъ и отшвыривалъ прочь.

Въ виду такого оборота дѣла Маликовъ молча уходилъ, сдвинувъ большую барашковую шапку на затылокъ, а тотъ уже безъ препятствія продолжалъ работу, какъ ему хотѣлось. Старая шелкуновская хатенка была у него бѣльмомъ на глазу. Съ улицы глядя, она стояла какъ бы посерединѣ его собственнаго двора.

Маликовъ никогда не поохотился бы обосноваться въ этомъ мѣстѣ. Но настояла на переселеніи къ Гремучему Роднику его молодая, по второму браку, жена.

Устинья Ивановна съ тѣхъ поръ, какъ помнитъ себя, пила родниковую воду. Тутъ же, черезъ просторный шелкуновскій дворъ, стояла покосившаяся старая колыхаловская хата, гдѣ еще долго топтала землю старыми ногами родимая мать.

Когда теперь Ивановна открывала свой сундукъ, въ его завѣтномъ углу бабушкины внуки, дѣти Ивановны, неизмѣнно находили старый, обшитый кантомъ, бабушкинъ карманъ, который она носила подъ передникомъ, ближе

къ правому боку. Идетъ, бывало, съ ведромъ по-воду къ Роднику, навстрѣчу выбѣгутъ внуки съ маликовского и съ абакумовскаго дворовъ, и она, старая, съ ласковыми причитаніями, всёхъ одѣлитъ припасенными кусками пирога съ той или другой садовой ягодой.

Теперь изъ этого кармана извлекались: розовая широкая лента, бережно свернутая въ трубочку, — ее мама вплетала когда-то въ свою дѣвичью косу; кипарисовый крестикъ съ замысловатой рѣзьбой, посрединѣ глазокъ, а присмотришься, прищурившись, въ глазокъ, — тамъ панорама. Это праздничный бабушкинъ крестъ, который она любила носить на узкой темно-синей лентѣ.

И много было другихъ вещей въ карманѣ.

На днѣ сундука долго хранилось ненадѣваннымъ свѣтлое люстриновое платье, въ которомъ мама ходила подь вѣнецъ.

Однажды, къ большому огорченію тогда еще совсѣмъ малаго Луканьки, это завѣтное платье было извлечено изъ сундука, и Ивановна принялась съ ножницами пороть его и кроить по новому. При этомъ неосторожно пошутила:

— Ну, вотъ, Луканюшка, порветъ свое платье твоя мама и, должно, скоро помретъ.

Луканька горько рыдалъ и просилъ мать:

— Не надо, мама! Не надо платью рвать.

Алдакимъ Прокофьичъ и Устинья Ивановна обрастали дѣтворой.

Но крестъ свой Устинья Ивановна имѣла не въ дѣтяхъ. У Алдакима Прокофьича былъ братъ, Афоня, у котораго, какъ говорится, были «не всё дома».

Глупый, нескладный, но озарной и всегда съ какимъ-нибудь изъясномъ.

Еще недавно юртовую землю въ станицѣ не дѣлили, а пахали каждый, сколько хотѣлъ и сколько могъ осилить.

На цѣлинныхъ земляхъ прекрасно удавался ленъ. Воздѣлывался онъ не на волокно, а для сѣмени. Соберутъ,

обмолотятъ, ссыпятъ въ закрома, а золотой осенью, пока не открылась еще распутица, зерно ссыпали насыпомъ въ защитые парусами воза и такъ отправлялись чумаковать по двѣ по три подводы на хозяина, большими обозами въ Ростовъ и Ейскъ. Мѣсяцъ и больше времени брала дорога туда и обратно съ безконечнымъ количествомъ приключеній въ пути и въ самомъ городѣ.

Сердце Алдоши, такъ обыкновенно называли для краткости Маликова, было именно въ той жизни, а теперешняя казалась и тѣсной и скаредной при образовавшейся земельной тѣснотѣ. Если бы не усилія Устиньи Ивановны, то онъ давно покатился бы подь гору.

Иногда, какъ бы въ воспоминаніе о быломъ, Алдоша по веснѣ снаряжался на быкахъ въ выросшій по сосѣдству городъ продать кое-что отъ излишковъ и купить обновки къ празднику. Съ нимъ же сама Устя съ меньшими дѣтишками. Быки идутъ медленно. Луканька, Кулюшка соскакиваютъ съ повозки, бѣгутъ за приглянувшимся цвѣткомъ, набираютъ ихъ цѣлыя охапки. Мать плететъ вѣнки.

Раза два по пути дѣлали приваль, отѣхавъ отъ дороги къ студеному ключу тутъ же гдѣ-нибудь въ балочкѣ.

Выпрягали и подкармливали быковъ, чтобы не переутомились.

Хорошій скотъ на базахъ — маликовское обыкновеніе. Но при добромъ сильномъ скотѣ упряжь у Маликова не важная. Отчасти, виной тому буйство того же сильного скота. Понесутъ быки, перевернутъ, переломаютъ возъ, а послѣ дребезжить — скрипитъ латанный и перелатанный возъ.

— Сбруя у тебя, кумъ, какъ говорится «коло дядино-ва воза», — подсмѣиваются надъ Маликовымъ.

— А быки?!

Маликову даже лестно несоотвѣтствіе быковъ съ повозками.

III.

Старшая дочь Маликова прославилась въ дѣвкахъ своею бойкостью. Кое-что поговаривали о ней. Алдакимъ Прокофьичъ не придавалъ, однако, этому значенія.

Въ субботній вечеръ, на возу, поверхъ свѣже-накошенной травы разстилалась полость и на нее садилась дочь невѣста. Манисты въ нѣсколько рядовъ на шеѣ. Бѣлой косынкой подвязана, оставивъ открытымъ крутой маликовсій лобъ, со тщательно сдѣланнымъ проборомъ. Въ косѣ розовая лента съ синимъ укосникомъ.

Быки — Нюнька и Зайчикъ, что твои львы. Только одинъ Алдакимъ Прокофьичъ и ѣздилъ такъ въ станицѣ: кромѣ налыгача обратывалъ быковъ бичевой и на подобіе вожжей бралъ ее въ руки, сидя въ передкѣ воза. Дѣлалось это на всякій случай, если понесутъ.

Такъ они ѣхали со степи домой къ празднику.

— Гля, Маликъ кралю свою повезъ...

Завидныхъ жениховъ у Химки, однако, не было. Пришлось выдать ее за Мирона Ляхина.

Устинья Ивановна въ восторгъ не пришла, познакомившись ближе съ зятемъ.

— Ну, и выбрала доченька себѣ сокола яснава. Только въ окошко мордой показывать.

Миронъ былъ лицомъ, дѣйствительно, смазливъ, — румянь, съ приподнятыми кверху у переносицы уголками тонкихъ бровей, со взглядомъ большого бабскаго престлестника. Но сложенія зять былъ неказистаго: сутулился, а въ походкѣ клещеногій.

Былъ тревожный моментъ, когда съ брачнаго пира повели молодыхъ въ приготовленное для нихъ помѣщеніе. Нѣкоторые повѣсы изъ жениховской родни приготовили, было, хомуть, чтобы накинуть въ позоръ и поношеніе на Алдошу, не сумѣвшаго, молъ, соблюсти честь дочери, давши ей будто бы слишкомъ большую волю.

Однако, все кончилось какъ нельзя лучше. Химка была бойка, но дѣвичью честь соблюла.

На утро Миронъ приложился и ловко разбилъ однимъ выстрѣломъ изъ двухстволки тѣ двѣ бутылки, перевязанныя красной ленточкой и съ воткнутыми въ горлышко пучками калины, которыя были водружены на крышѣ хаты около трубы. Запестрѣли красной калиной, знакомъ дѣвичьей чести, платки свашекъ, шапки «дружка» и «полудружка».

Алдакимъ Прокофьичъ хорошо погулялъ на дочерней свадьбѣ, но вскорѣ обнаружилось, что Химкѣ не ужиться со свекровью.

Ушедшему ни съ чѣмъ отъ вотчима и жестокой матери Мирону съ Химкой пришлось удѣлать кровь и все необходимое у себя Маликовымъ.

А изъ Мирона вышелъ работникъ вялый да неухватливый... Начнетъ чистить по веснѣ хворостъ, медленно нагнется, подниметъ хворостину, поддержитъ ее и только потомъ такъ же медленно еле тюкаетъ топоромъ, обрубая сучья.

Устинья Ивановна смотритъ-смотритъ сквозь окно изъ теплушки на его работу, потомъ сплюнетъ въ сторону и отвернется.

Чтобы предоставить большій простеръ молодоженамъ, а главное, чтобы не имѣть такого зятя всегда передъ глазами, Маликовы рѣшили перестроить для нихъ старую щелкуновскую хатенку.

Разломать, растащить ее было недолго. На томъ же самомъ мѣстѣ принялись рыть ямы для столбовъ новаго строенія. Но подошелъ Абакумъ Колыхаловъ и присовѣтовалъ податься на новину и, къ удивленію Маликова, не отъ его колыхаловской межи, а, наоборотъ, къ ней, и въ одномъ мѣстѣ даже чуть за нее. Мало того. Абакумъ кликнулъ своего сына и приказалъ ему помочь Маликовымъ рыть новыя ямы, чтобы возмѣстить уже затрачен-

ный трудъ на прежнія, теперь за ненадобностью засыпаныя.

Алдакима Прокофьича даже стало брать сомнѣніе, быть ли благодарнымъ шурику за родственное участіе, или какой подвохъ тутъ кроется. Долго сомнѣваться, впрочемъ, не пришлось.

Черезъ короткій срокъ онъ былъ вызванъ въ станичное правленіе, и тамъ ему объявили, что Колыхаловъ подалъ на него въ судъ за то, что онъ будто бы самоуправно занялъ часть его, колыхаловскаго, двора, стѣснилъ его своимъ новымъ строеніемъ и кромѣ того угрожаетъ въ пожарномъ отношеніи его дому и амбару.

— Вонъ какой голосъ!

Возмущенному до глубины души Алдошѣ не удалось, однако, отстоять свое дѣло въ судѣ, хотя сторону его держали, почитай, всѣ домохозяева въ окруженіи Родникъ, въ особенности же ближайшій сосѣдъ и кумъ его Григорій Антиповичъ Сениуткинъ. Колыхаловъ сумѣлъ обернуть дѣло такъ, что судья не придавъ значеніе показаніямъ свидѣтелей, будто бы подмогарыченныхъ Маликовыми, и принялъ за руководство для себя «актъ» осмотра постройки на мѣстѣ. Между тѣмъ, актъ этотъ былъ составленъ въ пользу Колыхалова его благопріятелями, станичнымъ писаремъ и помощникомъ атамана, подобранныхъ къ тому же понятными казаковъ почтенныхъ, но малограмотныхъ, даже не знавшихъ, къ чему они «руку приложили».

Рѣшеніе судьи было вынесено по истинѣ несправедливое, но убыточное для Маликова и крайне обидное для его самолюбія. Онъ долженъ былъ снести воздвигаемое строеніе и уплатить еще двадцать пять рублей штрафа или, при несостоятельности, отбыть двухъ-недѣльное заключеніе при станичномъ арестномъ помѣщеніи.

Послѣдовавшая потомъ попытка Алдоши перенести дѣло въ высшую судебную инстанцію кончилась также очень неудачно.

Въ концѣ концовъ Устинья Ивановна вмѣшалась въ дѣло и больше не пустила мужа судиться.

Она оголосила съ причитаніями тотъ моментъ, когда отбывные казаки пришли по наряду изъ станичнаго правленія и раскидали крышу новой хаты...

.....

Въ частности для молодоженовъ — Мирона съ Химкой — рѣшеніе суда имѣло послѣдствіемъ то, что Устинья Ивановна настояла, чтобы для нихъ была куплена хата на отдѣльномъ дворѣ и шли бы они туда обзаводиться своимъ собственнымъ хозяйствомъ.

Миронъ, какъ единственный сынъ у своей матери, имѣлъ къ тому же право на льготу, и предполагалось, что на дѣйствительную службу онъ не пойдетъ. Такъ и рѣшилъ, было, станичный сборъ. Но спокойное хозяйствование на своемъ дворѣ скоро было прервано. Военное начальство потребовало вдругъ отъ станицы усиленнаго набора молодыхъ казаковъ, и Мирону пришлось въ спѣшномъ порядкѣ собираться.

Каждый годъ станица высылала свыше полсотни здоровыхъ молодыхъ казаковъ въ полкъ въ Закавказье на замѣну возвращавшимся со службы людямъ. Проводы происходили всенародно.

И вотъ ко времени, когда день перевалилъ за полдень и стало прохладнѣе, Маликовская бесѣда двинулась со двора. Впереди пошли въ два ряда любители пѣсни — бабы и мужчины. Шли они такъ, что первый рядъ подвигался впередъ заднимъ ходомъ, обернувшись лицомъ къ пѣвцамъ второго ряда, которые какъ бы наступали на тѣхъ.

Заводилъ пѣсню и проявлялъ въ ней большую ретивость высокій челоуѣкъ Ларька. Онъ, собственно, былъ почти чужимъ и для Мирона, для Маликовыхъ, но, соудя съ ними участками въ степи, привыкъ считаться за

свойственника. Въ горячее время работы другъ другу помогали «спрягались» и звали поэтому другъ друга «супрягачами». При такомъ семейномъ дѣлѣ, какъ проводы казака на службу, безъ него почти что и нельзя было обойтись.

Голосъ у него звучалъ чуть надтреснутой трубой. Вышагивая заднимъ ходомъ умѣренные шаги, онъ размахивалъ руками, вытягивалъ въ особо чувствительныхъ мѣстахъ и безъ того длинную шею и старался вообще такъ, что въ уголкахъ губъ набивалась даже замѣтная полоска пѣны.

Какъ супрягачъ Ларька, такъ и всѣ другіе изрядно выпили и было неясно, веселье ли вырывалось у нихъ изъ-подъ печали или печаль пряталась подъ веселье.

Проща-а-й, любезная станица,
И вся родная сто-ро-на-а!
Проща-а-йте, отецъ и мать родные,
И вы, пре-до-о-брые друзья-а-а!

Сейчасъ же за пѣсенниками шелъ Миронъ въ полномъ обмундированіи, рядомъ съ нимъ Химка и тутъ же Алдоша, Устинья Ивановна и другіе близкіе...

Позади Луканька велъ въ поводу Миронова коня съ притороченными къ сѣдлу буркой, башлыкомъ; вьюками и съ переметными сумами.

Сосѣдъ Горловъ Фома тоже провожалъ въ этомъ году сына, и на широкой улицѣ обѣ бесѣды объединились. Здѣсь главной пѣсельницей была Марфа Андреевна, жена Сенюткина. У нея былъ звонкій раскатистый подголосокъ, а одинъ изъ братьевъ Горловыхъ игралъ на пищикахъ, вставленныхъ въ рогъ.

Мощной рѣкой покатиалась пѣсня.

На просторной площади у общественныхъ магазиновъ съ хлѣбнымъ запасомъ остановились. Сюда же съ разныхъ улицъ привалили новыя бесѣды съ провожаемыми каза-

ками. Неподалеку у «лизертной» казармы, гдѣ преподавалась двѣ зимы уходящимъ на службу молодымъ казакамъ «словесность», собрались атаманъ, другія должностныя лица и духовенство. Отслужили молебенъ. Старый священникъ, отецъ Григорій, окропилъ святой водой людей и коней и сказалъ напутственное слово. Большинство этихъ, препоясанныхъ теперь шашками и кинжалами казаковъ, онъ же и крестилъ въ старой церковной купели. Соединенный хоръ двухъ церквей спѣлъ громогласно: «Многое лѣто».

Послѣ молебна еще разъ разошлись по своимъ бесѣдамъ погладить дорожку уходящимъ.

Алдакимъ Прокофьичъ пригласилъ къ своему кругу причтъ новой приходской церкви, недавно передъ тѣмъ прибывшихъ въ станицу священника и псаломщика.

Священникъ отецъ Михаилъ, отдавъ честь «хлѣбу-соли», уѣхалъ, а псаломщикъ Иона Тихоновичъ остался. Онъ немного сюсюкалъ, не осиливая шипящихъ звуковъ, и сразу опредѣлился, какъ любитель общества слабого пола.

— Ивона Тихоновичъ! Да вы жъ наши отцы духовные. Ну, выпейте. Не побрезгуйте нами.

— Отцы духовные! Вы подумайте! — повторяла Марфа Сенюткина и разливалась раскатистымъ смѣхомъ. Она была еще очень красивой казачкой, а объ ея голосѣ Иона Тихоновичъ про себя тутъ же рѣшилъ: «аки кимвалъ брѣщующій».

Григорій Антиповичъ Сенюткинъ подошелъ къ Миронову коню:

— Ну, какъ Алешка?! чуешь, братъ, какихъ трудовъ придется хлебнуть, когда черезъ Казбеки иттить придется?!.. Лошадь — она умная животная. Смотри, Луканька, какой Алешка сумный. Онъ все понимаетъ.

— По ко-онямъ! — донеслось отъ лизертной казармы и чудесное значеніе команды вдругъ сказалося на

всѣхъ. Засуетились, заплѣшили. Химку едва оторвали отъ Мирона, плачешь да еще причитаешь:

— На каво жъ ты покидаешь меня, соколь мой ясный.

Передъ построившимся фронтомъ сказалъ еще нѣсколько словъ атаманъ:

— Смотрите жъ, ребята! Станицу не обезславьте. Служите, какъ слѣдуетъ быть.

А потомъ вахмистръ скомандовалъ:

— Справа по-три, пѣсельники впередъ, шагомъ маршъ!

Пока колонна разворачивалась и вытягивалась на дистанцію, ѣхали молча, а потомъ вахмистръ приподнял надъ головой руку съ плетью и сдѣлалъ въ воздухѣ нѣсколько движеній, намѣтивъ ими тактъ требуемой пѣсни. Слѣдуя за этими его движеніями, началъ запѣвала много сдавленнымъ дребезжащимъ голосомъ:

— Полно вамъ, снѣжочки, на талой землѣ лежать...

Рука вахмистра вдругъ провалилась внизъ, а потомъ снова взметнулась надъ шалкой. За ней съ той же внезапностью рванулъ весь хоръ пѣсенниковъ:

— Полно вамъ, казаченьки, го-ре-ва-а-ать...

Съ безшабашнымъ задоромъ взвихрился на недостижимую высоту подголосокъ, загудѣлъ барабанъ, зазвенѣли мѣдныя тарелки:

— Съ дѣвками, съ малотками вамъ пол-но гу-ля-ать...

Легкимъ облакомъ заклубилась пыль, и въ тактъ пѣснѣ какъ-будто различалось цоканье лошадиныхъ подковъ подобравшейся колонны.

— Аста-вимъ таску ле-чаль во темныхъ во лѣса-ахъ,

— Будемъ при-вы-ка-ать къ чужой дальней сто-ро-нѣ-е...

Лишь когда колонна скрылась за курганомъ и замеръ въ освѣженномъ воздухѣ серебромъ разсыпавшійся звонъ тарелокъ и подголоска, провожавшіе потянулись назадъ по домамъ. Устинья Ивановна повела подъ-руку отчаяющуюся совсѣмъ Химку. Горловъ снова настроилъ свои пищики, и Ларька въобнимку съ Марфой Андревной, съ другими бабами и казаками понесли веселую пѣсню:

— Ужь ты, бабочка-бабеночка моя!
Ой, чернбровая хорошенька-ая...

Псаломщикъ Юна Тихоновичъ слѣдовалъ въ ногу съ Алдакимомъ Прокофьичемъ, ловя краемъ уха Марфинъ «кимвалъ бряцающей».

IV — V.

VI.

Живымъ укоромъ совѣсти Абакума Колыхалова долго стояла, подобно маслбойнѣ, съ оголенной трубой, съ разобранной крышей маликовская хата. Отъ Абакума почги всѣ отвернулись. Самъ Сенюткинъ обзывалъ Колыхалова не иначе, какъ «храпоидоломъ» и прилагалъ немало старанія, чтобы поддержать неприязнь къ нему среди окружающихъ.

Проходили, однако, мѣсяцъ за мѣсяцемъ, и время дѣлало свое дѣло. А тутъ и съ самимъ Сенюткинымъ случилось то, что умалило его рвеніе, да и голосъ его потерялъ силу.

Псаломщикъ Юна Тихоновичъ, начиная съ проводовъ

Мирона, сталъ оказывать женѣ Сенюткина особое вниманіе. Дошло дѣло до соблазнительныхъ намековъ по этому поводу въ кузницѣ у Ахрема и на улицѣ. Что тутъ было въ дѣйствительности, трудно сказать, но однажды, заподозривъ неладное, Сенюткинъ прослѣдилъ, гдѣ задержалась жена послѣ вечерни, и кое-что тогда увидалъ.

Вспыхнула послѣ этого у Сенюткина горячая семейная ссора. Виѣ себя Сенюткинъ выскакивалъ ночью изъ хаты, зажигалъ пукъ соломы, бросалъ на крышу и вопилъ:

— Сожгу всю домашность. Всего рѣшусь. Для кого старался, наживалъ?!

Къ счастью, камышь, промоченный стаявшимъ за день остаткомъ снѣга, не поддавался огню, и домашность осталась невредимой.

На другой день ссора вновь возобновилась. Марфа не выдержала и вечеромъ выскочила на улицу. А тутъ ужъ все тайное стало явнымъ.

Вотъ послѣ этого случая Григорій Антиповичъ и притихъ, а Колыхаловъ вздохнулъ свободнѣе.

Но къ рѣшительному перелому во взаимоотношеніяхъ людей вокругъ Гремучаго Родника привело совершенно неожиданное обстоятельство.

На провеснѣ, заслышавъ ревъ разгулявшихся при суховѣѣ быковъ, маликовскій Зайчикъ... не тотъ Зайчикъ, который ходилъ въ парѣ съ Нюнькой, о которомъ сохранилось множество семейныхъ преданій и на которомъ такъ охотно Маликовъ возилъ свою дочь-невѣсту, а другой Зайчикъ, моложе того на цѣлое бычье поколѣніе, ростомъ ниже, но все же сохранившій задоръ своихъ предковъ. . такъ вогъ этого Зайчикъ неудержимо рвался изъ база на пригорокъ къ Роднику. А, выскочивъ за дворъ, начиналъ свирѣпо реветъ и рыть землю копытами, потомъ бросался на перваго осмѣлившагося встрѣтиться съ нимъ быка-тяжеловоза. Трещали рога, кровью наливались глаза. Не выдержавъ лобового удара, тяжеловозъ сдавалъ, у него сги-

балась шея, и, не успѣвъ отскочить, онъ получалъ тяжелый ударъ въ бокъ.

Зайчикъ обычно не преслѣдовалъ своей жертвы. Красивое здоровое животное какъ-будто знало правило пощады слабѣйшаго.

Алдакимъ Прокофьичъ издали любовался статями своего быка и не торопился загнать его въ базу, наоборотъ, вполголоса, будто тотъ могъ услышать его и понять, поощрялъ въ его боевомъ задорѣ.

— А, ну-ка, поднеси ишшо тому, Перистому, а то ишь раскричался...

Перистый, быкъ Абакума Колыхалова, ревелъ сильно и рылъ сырую землю. Вообще онъ тоже чувствовалъ въ себѣ много силы, но былъ онъ уже на уклонѣ своихъ лѣтъ, да кромѣ того имѣлъ изъянъ.

Когда-то въ молодости ему пришлось встрѣтиться одинъ-на-одинъ съ волкомъ, отбиться отъ него Перистый отбилъ, но навсегда осталась память объ этой встрѣчѣ въ видѣ сильно подранной спины, которая и давала себя чувствовать.

Зайчикъ съ большимъ задоромъ пошелъ на него. Встрѣча произошла какъ разъ около кручи. Сильнымъ ударомъ въ лобъ Зайчикъ сразу осадилъ Перистаго. Но тотъ еще дѣлалъ отчаянную попытку сопротивляться. Вдругъ заднія ноги скользнули къ кручѣ. Перистый взревѣлъ. Зайчикъ же еще надалъ, и тотъ сильнымъ своимъ задомъ съ наскоку ударился о перила огорожи. Крякнуло сломанное дерево, а быкъ грохнулся съ четырехсаженной высоты въ пропасть.

Зайчикъ во-время задержался и подиалъ рогащую голову.

— Гя! Гя! — закричали на него. Онъ шаркнулся въ сторону.

Почти одновременно подбѣжалъ сюда Абакумъ и Алдоша.

— Ты што-жь? Давно смотришь, а нѣтъ штобъ свое быка загнать? — процѣдилъ сквозь зубы Колыхаловъ.

— А ты самъ чего же ждалъ?

Перистаго подняли, но у него оказались переломанными ноги.

Общими усилиями собравшихся его доставили домой Колыхалову, но работникомъ онъ уже не могъ оставаться. Братъ Абакума Сысой занимался рѣзничествомъ, а Перистый былъ проданъ ему.

Въ окруженіи Родника это обстоятельство какъ-то безъ словъ было воспринято, какъ справедливое возмездіе Колыхалову за его злокачественное дѣяніе съ хатой Маликова, тѣмъ болѣе, что месть пришла такъ или иначе изъ маликовского двора. Всѣ ужъ такъ признали, и послѣ этого стали охотнѣе вступать въ разговоръ съ Колыхаловымъ.

Пошло дѣло и дальше.

Однажды въ субботній вечеръ Алдоша былъ занятъ на своемъ дворѣ. Вдругъ слышитъ:

— Кхм-кхм! — это Бакумъ откашливался по своему, по-абакумовски, вѣрный признакъ, что хочетъ заговорить. И, дѣйствительно, Маликовъ, къ немалому своему удивленію, услыхалъ:

— Кумъ Алдакимъ, може, въ баню хочешь?

Баня — любимое удовольствіе какъ Колыхалова, такъ Маликова и не въ меньшей степени Сениюткина. Еще когда строили дворы, каждый хотѣлъ возвести баню у себя. Но опередившій другихъ Колыхаловъ отговорилъ и Маликова и Сениюткина:

— Къ чему зря утрачаться? Лучше будемъ общими трудами почаще протапливать баню. Париться все равно вмѣстѣ.

Тогда хозяйственныя соображенія взяли верхъ, но когда затѣялась дразга, и Маликовъ и Сениюткинъ пожалѣли. Пришлось ходить въ другую баню, а это уже не то.

И вотъ теперь — соблазнъ. Маликовъ отвѣтилъ не сразу. Помолчалъ.

— Ну? Въ баню, говоришь? Пойтить кликнуть кума Гришку?

— А може, безъ него-бъ?

— Не, разъ париться, то совмѣстно.

— Ну, кличь.

Сениюткинъ сначала, было, заартачился.

— Да, ты што? Рехнулся, што ли? Съ храпидоломъ да въ баню.

Алдоша засмѣялся.

— Пойдемъ, чиво тамъ, разъ самъ кличетъ.

— Мало ль што «кличетъ»... А хата?

— А быкъ его, Перистый? Ить мой Зайчикъ его поддѣлъ.

Алдоша хитро подмигнуть куму, и оба безшумно, но съ большимъ удовольствіемъ людей, одержавшихъ въ концѣ концовъ верхъ въ спорѣ, принялись хохотать до слезъ.

— И ограда... Кхи-кхи... не помогла, — выдавливалъ среди смѣха Сениюткинъ. — Зайчикъ к-экъ саданулъ, — все полетѣло къ ядерной хвентѣ. Въ такомъ случаѣ на брехнѣ не выѣдешь. Акта не составишь.

Итакъ, кроя усмѣшку въ бороды, появились они послѣ многомѣсячнаго перерыва во дворѣ Колыхалова. Тулупы въ накидку, въ рукахъ у cadaго большая деревянная чашка съ кускомъ казанскаго мыла и съ еще не обтертымъ чулкомъ изъ домашней шерсти. Это вмѣсто молчалки.

Баня была истоплена на-славу. Вошли въ предбанникъ, такъ будто отъ самыхъ стѣнъ шла пріятная теплота и ноздри щекоталъ запахъ свѣже-прошедшаго всюду дыма.

Бакумъ отвернулся что-то по надобности наружу. Сениюткинъ, воспользовавшись этимъ, съ той же хитрой усмѣшкой подтолкнулъ Алдошу и буркнулъ вполголоса:

— Овсяной не пожалѣлъ... Обрати униманія, кумъ.

— Да, я давно вижу.

Поль предбанника былъ засланъ толстымъ слоємъ

всяной соломы. Она мягче пшеничной и пріятнѣй для ногъ, но въ хозяйствѣ цѣнится больше, такъ какъ ее охотнѣе ѣсть скотина въ перемѣшку съ сѣномъ.

— О-о! И вѣникъ новый, — не удержался отъ восторга Сенюткинъ, когда вошли въ баню, пріятно его обдало тепломъ, а на глаза попался вымачивающійся въ котлѣ съ горячей водой новый вѣникъ изъ молодого дубняка, заранѣе еще въ прошломъ маѣ приспѣтый. Сенюткинъ схватилъ и потрясъ вѣникомъ въ рукѣ, а потомъ быстро положилъ обратно, виновато озирнувшись на кума Алдакима.

Абакумъ говорилъ немного, но тоже все ухмылялся въ бороду. Онъ взялъ корецъ и, зачерпнувъ воды изъ котла, плеснулъ на каменку. Она такъ и застонала отъ обилія жара въ раскаленныхъ камняхъ. Тутъ уже стало трудно терпѣть и продолжать игру на скрытое равнодушіе.

— Ну, што жъ, кумъ. Я, што ли? — съ торопливостью захватывая очередь нетерпѣливый Сенюткинъ.

— Лѣзь, лѣзь... Ты жъ... Твой всегда первый чередъ.

Сенюткинъ, окативъ голову и лицо холодной водой, подскочилъ сначала на скамейку, а съ нея на высокую полку.

Тамъ легъ на спину и, почувствовавъ бывшее привычное ожиданіе скорого удовольствія, молвилъ:

— Ну-ка, кумъ, подавай парку.

Колыхаловъ со знаніемъ дѣла въ разбросъ сталъ плескать кипяткомъ по раскаленнымъ камнямъ. Горячій паръ наполнялъ баню, и въ немъ скоро потонулъ не только «сучекъ», какъ Сенюткина дразнили на улицѣ, но и вся полка.

— Хо-хо-хо! — неслоь изъ парового облака.

Колыхаловъ, сдѣлавъ свое дѣло, присѣлъ. Поднялся Алдоша и взялъ въ руки вѣникъ.

— Ну-ка, йдѣ ты тутъ?

Онъ сначала покропилъ огненными каплями на Сенюткина, потомъ принялся хлестать и растирать нахлестанная мѣста вѣникомъ.

— Хо-хо-хо! — стоналъ и вертѣлся вьюномъ Сенюткинъ.

— Ишшо што ли пару? — спрашивалъ снизу Колыхаловъ.

— Ишшо, ишшо чутокъ, ишшо чутокъ, кумъ!

Шипѣла каменка, трясся вѣникъ, и кумовья въ перебивку другъ друга издавали поощрительные звуки.

Послѣ Сенюткина, немного отдохнувъ, удовлетворили также Колыхалова и послѣ всѣхъ забрался на полку Алдоша.

— Ну-у! Кумъ Алдакимъ!

Этотъ возгласъ двухъ другихъ кумовьевъ означалъ, приблизительно, то, что означаютъ подобные возгласы поощренія и ожидаемаго восхищенія, когда передъ зрителями выходитъ на сцену знаменитый артистъ или появляется на аренѣ въ день знаменитой корриды знаменитый же торреадоръ.

Колыхаловъ довелъ каменку до крайняго, казалось, изнеможенія. Вотъ-вотъ должны начать трескаться отдѣльные голыши. Сенюткинъ мячомъ то подскакивалъ на скамейку и, выматывая изъ себя послѣднія силы, утюжилъ Алдошу вѣникомъ, то, чтобы чуть-чуть отдышаться, падалъ плашмя на мокрый полъ и притихалъ на время, а тотъ сверху поощрялъ:

— Ишшо-ишшо парку, кумъ! Хо-хо-хо! Дай, кумъ Гришка, вѣникъ, я — самъ.

Въ концѣ концовъ и Сенюткинъ и Колыхаловъ не выдержали, надававъ пару, выбѣгали въ предбанникъ, а Алдоша все продолжалъ.

— И откуда въ емъ сила такая?! — крутилъ запаренной головой и восхищался Колыхаловъ.

— Хо-о! Такихъ мало людей. Супротивъ его никто не выдержитъ.

Наконецъ, вываливался въ предбанникъ и Алдоша. По раскраснѣвшемуся распаренному тѣлу его какъ бы сверху легла изморозь, — такъ блѣднѣлъ паръ, подымавшійся отъ

тѣла, покрытаго капельками пота. Лицо хранило слѣды упоенія давно не испытаннымъ удовольствіемъ.

Отдышавшись и отдохнувъ, кумовья снова шли въ баню, мылись и терлись чулкомъ, пуская на спины другъ другу потоки мыльной пѣны. Потомъ повторяли весь обиходъ паренья на полкѣ еще второй разъ.

Натянувъ послѣ на ноги штаны и сапоги, не надѣвая рубашки, а лишь надѣвъ въ рукава тулупы, захвативъ въ охапку все остальное, расходились удовлетворенные кумовья по домамъ.

Устинья Ивановна, зная обыкновеніе мужа, приготовляла выстоявшійся въ печкѣ взваръ, и когда Алдоша отлежался, налила ему полную миску, и онъ принялся хлебать.

Слабость только теперь начинала чувствоваться. Алдоша еле языкомъ ворочалъ. Устинья же Ивановна подтрунила надъ нимъ, но, смѣясь, все же одобрила:

— Ну, это лучше, чѣмъ хаты другъ дружкѣ ломать, либо судиться.

Ледъ людскихъ отношеній въ ближайшемъ окруженіи Гремучаго, такимъ образомъ, растаялъ. Правда, однажды сдѣланный глубокій надрѣзъ нѣтъ-нѣтъ да и начиналъ саднить, но все же жизнь поплелась утеряннымъ, было, ходомъ.

VII.

Когда вечерами расходилась по своимъ базамъ скотина съ водопою, на обсушенный пригорокъ высыпала дѣтвора съ весеннимъ крикомъ, съ весенними играми, въ «Каструшки», «Коршуна», «Любушки».

Для Луканьки Маликова игры въ эту весну имѣли особую притягательную прелесть. У него появилось какое-то новое волнующее по особому чувство къ одной подружкѣ по школѣ и по играмъ у Родника, — Апроськѣ Курмояровой.

Ляжетъ Апроська на мать-сырую-землю въ качествѣ кумы-каструмы, положивъ голову на колѣни одной изъ присѣвшихъ подружекъ, засыпать ее поднятыми съ земли или раньше припасенными палочками, какъ-будто навѣки ушла она отъ нихъ, заснула, — и сердце Луканьки зашемитъ въ сладостной предположенной въ игрѣ тоскѣ по невозвратномъ дорогомъ. Возьмутся всѣ за хвосты платьевъ другъ друга и пойдутъ вокругъ съ пѣсней-причитаніемъ, въ мотивахъ которой слышится дѣйствительное прощаніе и горестное сожалѣніе объ ушедшей:

А кастрю-кастрю-каструшки мои!
Государини, подру-ушки мои!
А идѣ было по-опить да по-исть?
Да по-са-а-а-хар-ни-чи-ить?
А у кумы-Каструмы-ы,
Да, у ку-уму-ушки-и, у га-лу-бушки...

Вдругъ лежавшая неожиданно вскакивала и начинала ловить. По смыслу игры, ея прикосновеніе пятнить, какъ если бы она пришла уже съ того невѣдомаго берега жизни, изъ царства мертвыхъ. Жутко и вмѣстѣ съ тѣмъ хочется запятнаться ею...

При игрѣ въ «Коршуна» Луканькѣ нравилось изображать самого коршуна, фигуру какъ-будто осмѣиваемую. Ходящая вокругъ него «матка» съ птенцами надъ нимъ издѣвается, но въ тоже время его боятся и бросаются въ стороны.

Коло коршуна хожу, я хожу,
Я и пле-тач-ку пле-ту, я плету,
Я дай шел-кы-ва-ю, палу-шел-кы-ваю...
Здра-а-а-стуй, ко-оршунъ!

Голосъ Апроськи звенитъ особымъ сладостнымъ звономъ въ ушахъ Луканьки, и у него возникаетъ желаніе

скорѣе вскочить отъ положеннаго въ игрѣ рытья ямочки и броситься въ гущу дразнящихъ, чтобы выловить и схватить прежде всего ее, Апроську. А она то поддается, то опрOMETRY бросается въ сторону.

— Коршунъ, коршунъ! пожа-ал-те въ баню! — съ насмѣшкой зовутъ его, бросаясь, однако, въ разныя стороны при малѣйшемъ его движеніи.

Игра въ «Любушки» — особая. Попастъ въ общей чредѣ въ «Золотыя ворота» — желанный моментъ. Всѣ, впереди бѣжавшіе, благополучно миновали, а тебя схватили четыре руки «Золотыхъ воротъ».

— Говори, -- каво любишь?

Малѣйшая попытка уклониться отъ предположенной истины прерывается:

— Брепнешь, говори правду.

Соль игры и заключается въ этомъ само собою возникающемъ стѣсненіи назвать громко завѣтное имя и въ то же время въ жуткой потребности шепнуть его на ухо другому. Пусть этотъ другой и выдастъ тайну, но вѣдь все дѣло въ игрѣ.

— Каво любишь?

— Апроську Курмоярову.

— Ахъ, ты, баранъ кривоногой! — захлебываясь отъ восторга открытой тайны, шипитъ ему въ глаза Дашенька Колыхалова: — вотъ каво ты любишь...

А вотъ Великимъ Постомъ, передъ самой Пасхой, опущенные изъ школы ребятишки приспособлялись къ роли пастушковъ небольшихъ домашнихъ гуртовъ овечекъ. Въ отары овецъ еще не стогнали, такъ какъ и трава еще не окрѣпла и не кончился еще весенній овечій котъ, народившіеся ягнятки еще слабы и могутъ захирѣть въ овечьей толкучкѣ.

Съ утра натянетъ такой пастушокъ рваный чекменишко, надвинетъ на голову заношенную барашковую шапченку и отправляется, снабженный матерью постной

снѣдью, — хлѣбомъ, солеными огурцами, картошкой, кускомъ пирога съ фасолью.

Въ ложбинкахъ еще бѣлѣтъ снѣгъ. Изъ-подъ него струятся ручьи холодной воды. Среди травной зелени попадаются блѣдно-лиловые глазки бузлачиковъ-подснѣжниковъ. На копачъ наляжетъ Луканька и вывернетъ съ земной сыростью луковицу бузлачика. Не то чтобы ужъ очень вкусно, а такъ.

— Во-онъ тамъ бѣлѣтъ платочекъ на головѣ. Може, Апроську послали съ овечками. Луканька сбиваетъ свой гуртокъ въ ту сторону.

— Мальчишка! Не подгоняй такъ близко, а то овцы перемѣшаются.

Молодая баба смѣется, окидывая взглядомъ фигуру подобраннаго пастушка. Луканька узналъ ее. Курмоярова сноха. Апроськинъ братъ ушелъ на службу, а она казачкуетъ.

Сердце почувствовало близко, да обманулось. Казака, не переставая, смѣется:

— Подумаешь!.. Пастухъ!..

Солнце свѣтитъ мягкое, ласковое. Слабымъ полуденнымъ суховѣемъ обноситъ кругомъ.

Она разостлала зипунъ и сѣла.

— Садись, парень, да потолкуемъ.

— Ну, говори, на комъ ты хочешь жениться? — спросила она, когда онъ послушался и сѣлъ на указанное мѣсто, а сама все смѣется.

Луканькѣ было мягко-тепло отъ ласковой женской шутки.

— Эхъ, ты... тоже — женихъ.

— Вы чиво, тетка, все дражнитесь?

— Да рази я дражнюсь? Я такъ.

Она легла на спину и закинула подъ голову руки.

— Ты чиво на краюшкѣ сѣлъ? Садись поближе. Эхъ, ты-тихоня... Никогда не будь съ дѣвками казанской сиротой.

А сама опять засмѣялась ласково и загадочно.

— Ну, я пойду, тетка, а то овечки вонь куда ушли...

— Иди, иди... Служался, манюня!

На Святой въ весенній праздникъ все бралось полнымъ ликующимъ цвѣтомъ. Сады цвѣли. Въ полѣ на обмежахъ дикій терновникъ въ бѣломъ, а приземистый бобовникъ въ миндально-розовомъ цвѣту. На лугахъ распустились лазоревые цвѣты.

Въ станицѣ на улицу выносилось все разноцвѣтье дѣвичьяго и молодо-бабскаго наряда. Ликующимъ стономъ повисала въ воздухѣ древняя пѣсня:

Какъ во ключику во текучему,
Ой-да, во конюшенькѣ во ключевойей...

Звенѣлъ кругомъ, не умолкая, безконечный припѣвъ:

Э-гей, раны-ымъ да ра-а-ано...

Взявшись за руки въ двѣ цѣпи, противостоящія одна другой, двигались женскіе гурты вдоль улицы. Каждый гуртъ шелъ впередъ, пока не кончалъ всѣ четырнадцать звеньевъ пѣсни, потомъ съ тѣми же четырнадцатью звеньями обратно.

Красивыми и влекущими къ себѣ представлялись всѣ онѣ.

У Апроськи праздничная косынка, какъ у большой, а подъ ней легкой тучкой, что набѣгаетъ на вечернюю зорю, нахлобучились брови. Безконечной волной отбивались отъ коблучковъ оборки юбокъ, жеманилась легкая ткань кофты. Глаза — большіе, открытые. Верхняя чуть укороченная губа отъ удовольствія больше приподнята, открывая два крупныхъ бѣло-матовыхъ зуба.

Главное, какъ сказать ей, какъ выразить то, чѣмъ полно все существо, и что носить въ себѣ вотъ ужъ стало не въ моготу. А также: какъ ее спросить?

Какъ-то вечеромъ послѣ ужина отецъ и мать сидѣли, не вставая изъ-за стола и бесѣдовали.

Мать ласково улыбулась, и Луканька услыхалъ:

— Идемъ отъ церкви нынче, а сестра Васька, — такъ она называла Апроськину мать, — смѣется и говоритъ:

— Вырастутъ дѣтки, возьми, сестра, маво придурня за сваю Луканьку.

— Вотъ и женихъ у насъ новый обыскался.

— Хе-хе-хе, — засмѣялся отецъ и лукаво прищурился.

Луканька заерзалъ по лавкѣ. Къ счастью, Алдакимъ Прокофьичъ тутъ же увлекся воспоминаніемъ.

— Смѣху разъ было... Какъ мы разъ съ братомъ Андреемъ ходили на ночевку къ этой самой Васькѣ да ишло были съ ней тамъ дѣвки...

— Вотчимъ заказалъ рано встать и отправляться на участокъ, сѣять овесъ, а мы постлались спать на дворѣ подъ хатой, а сами хвостъ въ зубы и гайда. Да возьми и припозднись. Приходимъ, уже свѣтать стало. Вотчимъ по двору ходить, увидалъ, что быки къ яслямъ привязаны, постели наши не раскрыты... А мы замѣсто себя мѣшки съ овсомъ подложили подъ зипуны, укрылись, мошь, съ головой, спать... Слышимъ, ругается почему зря вотчимъ, а мы прижукли подъ плетнемъ и ждемъ, что дальше. Вотъ онъ взялъ большой кнутъ, что колешенныхъ быковъ плавгатырь подстегиваетъ, подошелъ къ зипунамъ, и давай поливать, что есть мочи, только пыль отскакиваетъ.

Андрей... толкъ меня! да шепчетъ:

— Алдошка! Ну, а ежели бъ онъ насъ такъ на самомъ дѣлѣ...

Я ему: — молчи, а самого морозъ по кожѣ дереть.

— Ахъ, сукины дѣти! — зазихнулъ вотчимъ, когда открылъ зипуны.

Андрей не выдержалъ, да изъ-подъ плетня:

— Батя! Мы больше такъ не будемъ.

— А-а; такіе-сякіе... Запорю! — И къ намъ за ворота съ кнутомъ. Мы ходу. Обѣжали кругомъ двора черезъ

сады въ базъ да къ яслямъ, да быковъ скорѣе запрягать. Онъ за нами съ кнутомъ, но уже не то. Уморился. Такъ мы и уѣхали.

...Наконецъ, Луканька рѣшился.

На листкѣ бумаги сталъ выводить:

— Милая Апрося! Любишь ли ты меня? Скажи...

А надъ тѣмъ, что написалъ, задумался и, казалось, надо было еще что-то прибавить.

Незамѣтно тѣмъ временемъ подошелъ Климу, старшій братъ, и подсмотрѣлъ. Внезапнымъ взмахомъ руки вырвалъ завитый листокъ и со смѣхомъ бросился на улицу.

Когда Луканька рѣшился потомъ выйти за ворота, то дѣло уже было сдѣлано.

Климу рассказалъ двоюродному брату Политу Колыхалову и показалъ письмо. Услыхали дружки и подружки и засмѣяли золото такой тайной радости.

Прижался Луканька къ плетню и съ тоской приголубилъ въ себѣ еще не высказанные остатки вышедшей на люди тайны.

Климу въ своемъ озорствѣ безъ удержа комкалъ ее на всѣ лады, вдругъ потомъ взглянулъ на брата и умолкъ вдругъ:

— Да, что ты, дуракъ? Я ить-такъ.

VIII.

Самъ Климу, какъ пущенная изъ лука стрѣла, шелъ по жизненной дорогѣ.

Изъ всѣхъ уличныхъ раннихъ увлеченій больше всего привязывала его къ себѣ Польшка Богданова, субботница. Климу зналъ, что если онъ задержится долго во дворѣ у себя на виду, то черезъ Родникъ по другую его сторону въ Богдановскомъ дворѣ непременно появится стройная фигура Польки, пробѣжить ли и сдѣлаетъ

знакъ рукой или выберетъ укромное мѣсто въ прикрытіи отъ материнскаго глаза, и начнетъ ручными знаками таинственный разговоръ.

Стоитъ, когда стемнѣетъ, появиться Климу поближе къ воротамъ богдановскаго двора, обогнувъ кручу, Польшка будетъ около воротъ, выскочить и закружится во кругъ Клима. Еще была у нея привычка: начнетъ повторять его имя, какъ-будто скрипачъ дергаетъ струну-квинту: — Климу-Климу-Климу!

У Польки продолговатый разрѣзъ глазъ, бровь соболина, цвѣтъ волосъ — крыла ворона. А главное, непередаваемая тихая улыбка. Подъ лучъ этой тихой улыбки и влекло всегда Клима.

Богдановъ, отецъ Польки, Данилъ Абрамовичъ, поселился здѣсь у Гремучаго Родника одиноко среди христіанскаго міра, плѣвившись, очевидно, возможностью завести здѣсь свои великія угоды.

Въ обширныхъ садахъ его выростали и вызрѣвали яблоки рѣдкихъ размѣровъ, красиваго вида и хорошаго вкуса, груши-бергамоты. Имѣлось нѣсколько десятинъ рѣдкаго въ тѣхъ мѣстахъ виноградника, обширная роща по всей низовой сторонѣ, главная же диковинка — рыбные пруды, устроенные такъ, что вода изъ Родника притекала въ нихъ по особому ерику и вытекала.

Чернорабочимъ старателемъ дома былъ старшій сынъ Богданова Давыдка, вѣчно въ работѣ, до поздней осени — въ степи, а потомъ — то въ саду, то на базу, то въ рощѣ.

Но надежды и заботы Данилы Абрамовича и его жены Сарры Захаровны, вѣрной хранительницы требованій Моисеева закона, покоились не на Давыдкѣ, а былъ еще второй сынъ, красавецъ Илья, такой же шеголь, кстати сказать, какъ отецъ, — шапъ, бешметъ обложенъ серебрянымъ голуномъ, чекмень, пригнанный съ большой тщательностью, серебряныя съ вызолоткой кинжалныя ножны, поясъ.

Илью рано отослали въ городъ въ ученье. Образованіе не ахти какое широкое, всего-навсего писарьскаго ученика, но и это отрывало его отъ семейнаго завѣта и отъ приверженности библейской старинѣ. Скоро произошло такъ, что въ пріѣзды на каникуды Илья какъ-то увядаль, а на одну Пасху Илья заговорилъ:

— Что наша Пасха?! Вонъ у нихъ, у православныхъ, въ церквахъ звонъ, и малъ и старъ идутъ и приподняты общей радостью. — И солнце, — они говорятъ, — играть въ этотъ день по особому... Оно и правда. И почему мы вотъ, Богдановы или вотъ всѣ наши Сосновскіе, Шевыревы, Лукьянченко, Ермолаевы, — почему мы вотъ — субботники? Почему противъ Христа?

Захаровна въ ужасъ пришла отъ такихъ рѣчей сына и настояла, чтобы, не откладывая, женить его на дѣвкѣ изъ своего субботническаго кутка.

На русскую Красную Горку и сыграли Ильюхину свадьбу. Какъ-будто въ назиданіе православнымъ, забывавшимъ русскую старину, субботники, справлявшіе пиры среди садоваго вѣта, водили по старинѣ хороводы, пѣли по старой погудкѣ старинныя русскія пѣсни.

Но затихли пиры. Илья собрался и уѣхаль, а юная Рахиль осталась.

Облетѣло разноцвѣтье съ деревьевъ. Ранней кукушкой закуковала она по саду, пѣла, разливаясь въ жалобномъ призывѣ, пѣсни о разлукѣ.

Къ Рахили Илья такъ и не пріѣхаль больше. Шапъ Данила Абрамовичъ какъ-то прошелъ изъ сада задней стеной во дворъ Маликовыхъ и рассказалъ Устинѣ Ивановнѣ о своемъ горѣ, о смерти Ильи въ городѣ. А отъ какой болѣзни померъ, онъ не сообщалъ, хворалъ ли или самъ на себя руки наложилъ.

Это горе согнуло и состарило Захаровну. Она съ сугубой подозрительностью относилась теперь къ раннему увлеченію Польки Климомъ.

— На какую холеру онъ тебѣ здался?

Польку она прогоняла съ улицы. Съ Климомъ же не церемонилась. Какъ схватить чеплейку, выскочить вдругъ изъ воротъ. Онъ шаморомъ бросится въ оббѣтъ кручи, а она пуститъ вслѣдъ чеплейку да еще и выругается:

— Эхъ, холера бѣ ты задушила.

Впрочемъ, это не умаляло настойчивости Клима. Онъ только ловилъ удобный случай, чтобы обмануть бдительность старой Захаровны, и опять поласкаться лучемъ Полькиной улыбки. На Захаровну же даже не обижался. Ему было смѣшно только, какъ это она никогда не попадетъ въ него чеплейкой.

XI.

Даже не всѣ былинки въ полѣ подобны одна другой. Тѣмъ болѣе замѣтна разница въ нравахъ и поведеніяхъ скотины.

Луканька былъ спокойнѣе, когда въ его стадо пускали большихъ рабочихъ быковъ. Они отличались болѣе положительнымъ нравомъ, чѣмъ вся молодежь — бычки, подростки и телки.

Въ естествѣ старыхъ коровъ всегда много зависти и жадности, а также хитрости. Какъ только примѣтитъ, что пастушокъ зазѣвался, сейчасъ же кинется въ шкоду, сорвать съ бахчи арбузъ, забрести въ просянице, въ овсяное поле, въ подсолнухи. Капризъ вкуса загоняетъ ее даже въ поле гречихи, — схватить кисленькаго.

Легкомысленной же молодежи только бы показали примѣръ, она рванетъ всей оравой за старой коровой.

Пастушку нужно бѣжать, кричать, ругаться, дѣйствовать кійкомъ.

Съ рабочимъ быкомъ проще. Ему бы нахвататься корма и потомъ отлежаться. Вѣрно, когда онъ отдохнетъ, то за нимъ тоже нуженъ хорошій глазъ. Его кругозоръ гораздо шире коровьяго, и онъ можетъ пускаться въ очень

далекія приключенія. Но вѣдь рѣдко удастся рабочему быку вдоволь отлежаться. Развѣ въ праздникъ. Вообще же, когда въ стадѣ взрослые быки, — оно спокойнѣе.

Въ балаганѣ изъ плетня подъ крышей изъ льняной соломѣ въ дождь пригрѣлся Луканька, полулежа на полости чуть поодаль отъ растянувагося Афона. За балаганнымъ плетнемъ свѣтъ частымъ рѣшетомъ дождикъ. Насытившееся стадо спокойно. Одни стоятъ, пережевывая жвачку, другіе лежатъ. Въ непогоду и скотинѣ не охота зря бродить по мокрой атакѣ.

Афоня выспался, пересказаль уже всѣ пришедшія на умъ сказки. И у него явилось желаніе предаться высшимъ размышленіямъ.

Отъ него и отъ мокрыхъ зипуновъ тянуло тяжеловатымъ духомъ. Но черезъ плетень все продувалось вѣтромъ.

— Ты, Луканька, небось, думаешь, — скотинѣ такъ все пройдетъ на Страшномъ Судѣ?.. Нѣтъ. Съ нея тоже спросится...

— Какъ это такъ «спросится»?

— А такъ. Вотъ Зайчикъ, къ примѣру, нашъ, быкъ онъ, словъ нѣтъ, справедливый, но и у него Богъ можетъ спросить: — Ты што же, Зайчикъ, скотину другую обижаль? буйства сваво не сдерживаль?

Да й то онъ сможетъ Ему отвѣтить: — Вѣрно, Господи, дрался, грѣшенъ. Но ить ты же силу такую мнѣ даль и рога мои укрѣпилъ. Такъ что Богъ даже засмѣется и скажетъ: — Иди, Зайчикъ! А то, чего добраго, съ тобой и я виноватымъ стану.

— Вотъ ужъ Голубю, — продолжалъ Афоня, — энтому уже хуже. — Ты што же, — спросить Богъ, — скотина лукавая? Когда нужно было везти, а ты на вѣйо опирался, за тебя Зайчикъ старался, борозды прямой не держаль, въ шкodu по ночамъ ходиль... Эхъ, ты, — скажетъ Богъ, — и дѣла-то тваво было мало, а и таво ты не вы-

полняль. И чево добрава Голубъ нашъ въ скотинячій адъ попадетъ. А ты што думаль?..

— Ванькѣ за лѣнь достанется. — Эхъ, ты, — скажетъ ему Господь, — матушка-лѣнь. Агромадный быкъ, а ледацій. Вотъ Солдата Богъ похвалить. — Молодчина, — скажетъ, — Солдатъ! Вѣрно служиль хозяину и мало каво обижаль. Солдатъ — быкъ справедливый.

И все въ томъ же духѣ Афоня разбираль грѣхи и достоинства членовъ маликовского стада.

— А что будетъ Уласику? — спрашиваетъ Афоню начинающій дремать подъ однообразный шумъ дождя Луканька.

— Уласику?! Пхе! — Афоня съ большимъ презрѣніемъ смѣется.

Уласикъ — бычекъ недоростокъ, отсталъ во всемъ отъ своихъ сверстниковъ, коротышка, низенькій, задъ шиломъ и масти какой-то неопредѣленной. Имя ему было такое дано скорѣе въ насмѣшку. У Кугучихи, богомолки, часто странствовавшей по монастырямъ, носившей монашеское платье, а вмѣстѣ съ тѣмъ любившей выпить, былъ заласканный сынокъ, малаго роста и худосочный такой. Своего этого сынка Власа она называла «Уласикомъ». Вотъ и бычка прозвали такъ же.

— Съ Уласикомъ твоимъ Богъ и разговаривать не будетъ. — Пшелъ! — скажетъ ему и прогонитъ. Со всякими Богу разговаривать тоже, братъ, не охота.

Жарко. Солнце близко къ обѣдамъ. Съ натугой, со слѣшкой возили снопы. Скрипѣли возы. Напрягались бычьи шеи, горбились спины въ особенности, когда приходилось первопуткомъ перерѣзывать рыхлую землю загона.

Алдоша — большой мастеръ класть адонки и скирды пшеницы. Умѣль вершить и гузыремъ наверхъ и колосомъ.

Пока стадо дремлетъ, Луканька взбирался къ отцу на скирду и подбрасывалъ ему съ края скирды брошенные съ воза снопы.

У Степана, у Гаврилы и Явдохи рубахи на спинахъ взмокли. Афоня и еще нѣкоторые рабочіе къ току такъ и не приходили, оставались на загонѣ, чтобы подавать съ крестцовъ снопы на очередной пришедшей возъ.

Кругомъ шуршитъ колосомъ, ноздри щекочетъ запахъ зрѣлаго и вылежавшагося хлѣба.

Вывершивъ очередной адонокъ, Алдоша указалъ Степану, наиболѣе ухватистому изъ рабочихъ, гдѣ расчинать новый, а самъ собрался съ Климомъ сѣздить въ обѣденное время въ близкій колодезь по-воду.

Съ Луканькой же случилась тутъ пренепріятная исторія. Побѣждалъ подогнать скотину, чтобы взяли ее на водопой, да захотѣлъ поиграть съ Уласикомъ, подпрыгнулъ сзади, чтобы сѣсть на лежащаго бычка. Тотъ вскочилъ да съ испугу отдалъ задними ногами и пребольно ударилъ по подбородку. И плакать стыдно передъ людьми, а Явдоха къ тому же еще смѣется, какъ это онъ выругалъ при этомъ Уласика.

Подбородокъ долго нылъ отъ боли. А за обѣдомъ безъ отца разыгрался большой скандалъ.

Афоня принялся изображать изъ себя хозяина, прибралъ къ рукамъ хозяйскую торбу съ провизіей и изъ нея выдавалъ кому что потребуется: тому сухари, другому сало.

Устинья Ивановна одинъ разъ отдернула отъ него мѣшокъ, онъ опять его подтянулъ къ своимъ колѣнямъ. Она отдернула въ другой разъ. Онъ опять свое, да еще ворчить.

Когда стали подниматься рабочіе отъ обѣда, Устинья Ивановна принялась выговаривать Афонѣ:

— Ты што же, турка проклятая, чванишься? Ты думаешь людямъ пріятно отъ твоей вонючей мотни хлѣбъ

святой принимать? А руки у тебя какія? Што бь это въ послѣдній разъ было.

На Афоню, какъ что накатило. Взъерепенился. Сразу взъерошились волосы на его скорбной головѣ. И безъ того маленькіе свинные глазки превратились въ щелочки, заходилъ въюномъ на своихъ кривыхъ ногахъ. Ни дать ни взять — бѣсъ.

— А-а! Ты тахъ-то... Кто тутъ — хозяинъ послѣ брата? Кто — ты тутъ, Колыхалиха распронесчастная?! Не твой ли братъ намъ хату поломалъ?! И пошелъ.

Ивановна тоже потеряла сдержку.

— До какихъ же поръ ты, проклятый статуи, снушаться надо мной будешь?!

Афоня рванулся къ ней, а она, не долго думая, выхватила изъ яра кизилую занозку и... лусь! его по башкѣ. Онъ схватился за то мѣсто и, почувствовавъ липкую жидкость подъ рукою, понялъ, что это кровь. Разъярился, какъ сонмъ бѣсовъ. Степанъ, Явдоха, другіе бросились къ нему. Но и общими усиліями еле совладали. Однимъ взмахомъ онъ успѣлъ обнести на Ивановнѣ юбку. Позорилъ ее при этомъ всяческими словами.

Положеніе дѣтей — Кулюшки, Луканьки, --- невыразимо жалобное. Кидаются между матерью и Афоней и вопять:

— Мама! Дядька! Не надо драться. Дядька, не ругай маму.

Когда пріѣхалъ Алдоша, Афоня забѣжалъ въ подсолнухи, а мать сѣла подъ возомъ съ бочкой. По свѣжей соломѣ скатывались прохладныя капли воды. Мать жалобнымъ голосомъ выговаривала отцу за Афонины бѣды:

— Всю-то жизнь не видала ни радости ни покоя. Все обмывала и обшивала злыдня, а за все отъ него же и поношеніе. И такъ до сѣдыхъ волосъ. Дѣти уже отъ земли поднимаются.

Сердце Луканьки отъ горя и обиды за мать разрывается на части. И таково-то горемычно и безнадежно.

XII.

Такъ со всячинкой — съ радоостью и со слезами — шло-брело время.

Двѣ большія скирды, одна противъ другой, выросли и острючилились гузырями сноповъ на маликовскомъ току. По бокамъ каждой изъ скирдъ Алдоша поставилъ еще по два стройныхъ адонка, а около нихъ прикладки хлѣбовъ второго значенія: овса, проса и ячменя.

Черезъ открытую дверь балагана было видно, какъ поползли отъ густо-заалѣвшаго востока, поползли вѣтромъ блѣднѣющія къ краю полосы утренняго ранняго свѣта.

Химка выпалась, но вставать все же лѣнь. За балаганомъ, въ пригороженномъ къ нему базу, слышно, поднялись отлежавшіяся за ночь коровы, слышно, какъ онѣ освобождали желудки отъ переработаннаго корма и какъ ихъ материнская тоска выражалась въ короткомъ мычаніи въ сторону закутки съ телятами.

Химка, наконецъ, однимъ взмахомъ сбросила съ себя тонкое рядно, одѣлась и вышла наружу.

Балаганъ былъ сооруженъ на веселомъ мѣстѣ, на кургашикѣ. И видно отсюда, какъ молодая атава прилегла подъ тяжестью обильно выпавшей росы и какъ крупныя росинки переливались въ свѣтлой игрѣ выходящаго на дневной просторъ солнца.

Химка, гремя ведрами, откинула плетенку, служившій дверью въ закутку, и взяла пятинедѣльную телочку за болтавшуюся на шеѣ веревку.

Телка съ силой рванулась къ выходу и потащила упиравшуюся казачку къ базовымъ воротамъ.

— Вотъ холера! Маленькая, а сильная.

Старая Манька, приподнявъ рогатую голову, широко разставила уши, съ тревожнымъ мычаніемъ бросилась къ воротамъ.

— У-у, дуреха старая! Настабурчилась, съѣмъ я ее, што ли?

Химка отпустила телку, и та стрѣлой бросилась къ материнскому вымени.

Пока она, дѣловито хлопоча и подрыгивая хвостикомъ, обсасывала всѣ четыре соска, Химка вынула изъ подоткнутаго спереди фартука ломоть густо посоленнаго хлѣба и дала Манькѣ. Та, очень довольная, чавкая и слюнявя сухой кусокъ, стала жевать, вытянувъ шею. Химка привязала тѣмъ временемъ телку къ плетню, подсѣла къ полному набухшему вымени Маньки и принялась сдвинать корову. По мѣрѣ того, какъ въ подойникѣ прибавлялось молока, уменьшалось напряженіе вымени и сосковъ, они становились дряблыми.

— Э-э, халява старая! — выругалась Химка, послѣднимъ взмахомъ руки оттянула сосокъ и пустила. Онъ сморщился.

Выпустивъ изъ база отдоенныхъ коровъ, Химка пугнула ихъ внизъ на атаву. Онѣ, обивая росу, пошли особой коровьей походкой по лугу. Послѣ нихъ оставался кривой слѣдъ въ видѣ полосъ примятой травы.

Химка заложила за голову руки, и ей пріятно, какъ лучи еще не жаркаго солнца шекотали лицо.

Изъ-за полосы подсолнуховъ, что въ самомъ концѣ участка, показалась струйка дыма. Кольца его, цѣпляясь въ веселой игрѣ одно за другое, потянулись въ небесную высь.

— Э-э, да Денись уже кашу затѣялъ варить. Рано.

Химка засмѣялась.

Съ кургана видно, какъ на сосѣднемъ участкѣ отпущенные на волю быки, вмѣсто того, чтобы пастись на лугу, потянулись одинъ за другимъ къ особой полосѣ, об-

саженной по краю подсолнухами. Впереди черно-лысый быкъ шель размашистымъ шагомъ, какъ разбойникъ, рѣшившійся на дневной грабежъ.

Когда черно-лысый перешель уже запретную черту, тутъ только раздался крикъ накаленного гнѣвомъ и досадой Денисова голоса.

— Ахъ, ты, нечистая сила!.. И што за быкъ за проклятущій!

Огромный парень вихремъ помчался черезъ росистый лугъ съ кійкомъ въ рукахъ къ черно-лысому. Но поздно. Черно-лысый послѣшно повернулъ отъ бахчи, и отъ его бычьихъ устъ оторвался поднятый съ земли смачный арбузь.

Денисъ, ловчась на бѣгу, сдѣлалъ одинъ-другой боковой прыжокъ и пустилъ съ силой кіекъ, но мимо. Быкъ, болтая еще тощими боками, побѣжалъ, а парень принялся искать въ травѣ кіекъ. Сердце тѣмъ временемъ отошло, и когда кіекъ снова былъ въ рукахъ, онъ пустилъ его и задѣлъ быка по рогамъ. Тотъ сердито взметнулъ головой и снова трухомъ побѣжалъ.

Оставляя Химку на праздникахъ въ степи, Ивановна имѣла свои расчеты, чтобы та не привыкала праздно зубоскалить на станичномъ базарѣ.

Въ опредѣленные сроки Химка получала письма отъ Мирона. Письма очень однообразныя, въ родѣ: «Пущено сіе письмо такого-то числа и мѣсяца». «Здрастуйте, богоданные родители, батенька Алдакимъ Прокофьичъ и маменька Устинья Ивановна!» Химкѣ поклонъ и привѣтствіе писалось во вторую очередь. Все письмо было переполнено поклонами съ желаніемъ никого не забыть и каждого повеличать по имени и отчеству. Затѣмъ извѣстіе, что самъ онъ, Миронъ, и его конь Алешка, слава Богу, живы и здоровы, чего онъ желалъ всѣмъ домашнимъ. Только послѣ всего этого какая-нибудь неуклюжая строчка съ новостью о службѣ или отдаленно напоминавшая о живомъ чувствѣ, но и это малое было облечено въ какую-

то чужую форму, такъ какъ безграмотный Миронъ, конечно, не самъ писалъ письмо, а подпрашивалъ къ тому или кого-либо изъ сотенныхъ писарей или кого изъ грамотныхъ товарищей.

Одинъ лишь разъ пришелъ отъ него живой образъ — групповая фотографія, гдѣ Миронъ, стоя позади станичника и родственника, сидящаго на стулѣ, возложилъ на его плечи руки съ отвернутыми рукавами чекменя и бешмета, а изъ-подъ бешмета выглядывали рукава рубахи, которую Химка вышила крестикомъ какъ разъ передъ отправленіемъ Мирона на службу.

— Значить, помнить.

Есть молва, что къ женамъ, надолго оставленнымъ мужьями или потерявшимъ ихъ совсѣмъ и предающимся безнадежной тоскѣ, начинаетъ по ночамъ прилетать огненный змѣй. Прилетитъ, разсыпется искрою у входа, обернется въ образъ ушедшаго и ложится подъ бокъ тоскующей по мужу женѣ. А она, поддавшись обману, упивается ночной лаской. Съ каждымъ вечеромъ ждетъ потомъ пришельца съ удвоенной тоской и нетерпѣніемъ, а сама съ теченіемъ времени хирѣетъ, желтѣетъ, и такъ до полнаго изнеможенія.

Ну, такъ вотъ къ Химкѣ такой змѣй не прилеталъ.

Иногда ее захватывала неумная тоска по Миронѣ. Она приковывала тогда Луканьку къ листу бумаги и наставляла:

— Пропиши, Луканя... «Далече залетѣлъ ты, соколы мой яснай»...

Но Луканька, считая своимъ гордымъ достиженіемъ складное писаніе зятю писемъ съ заковыристыми словами, до «сокола яснава» доходилъ тоже лишь къ концу листка почтовой бумаги, а къ этому моменту и у самой Химки еле хватало терпѣнія усидѣть на лавкѣ. Пространныхъ словъ и мѣста для изъясненія супружеской тоски и вѣрности такъ и не находилось.

Иногда же Химку посѣщали и такія мысли:

— Ну, какой же мой Петровичъ «соколъ яснай».. Идетъ, какъ сѣно гребеть.

Послѣ она, впрочемъ, устыжалась этого.

Когда стала спадать роса, Химка прошла на бахчу. Здѣсь среди сочной агудины виднѣлись арбузы разной величины, формы и цвѣта. Со знаніемъ дѣла Химка выбрала два большихъ бѣлыхъ съ темными полосами и въ подолѣ юбки отнесла ихъ къ скирдамъ, припрятавъ въ тѣни отъ солнца.

День шелъ медленнымъ шагомъ, опалая землю жгучимъ зноемъ.

Денись загналъ быковъ въ базъ, вскинулъ сѣтку на плечи, пристегнулъ на сворку суку Мильку и пошелъ по обмежку вдоль просянища въ обходъ поля подсолнуховъ. Но жарко. Сука высунула языкъ и норовила пріотстать, чтобы припрятаться въ короткой тѣни своего хозяина.

— Милька, стерва, ищи! — понуждалъ ее охотникъ. Но она уныло помахивала хвостомъ и смотрѣла на него осовѣлыми глазами. Съ высунутаго языка падали прозрачныя капли. Денись безжалостно потащилъ ее за сворку.

— Ищи, хандара!

Околесивъ подсолнухи, онъ вышелъ на маликовскій участокъ, побродилъ здѣсь скорѣе для виду, такъ какъ все равно всѣ перепела ушли въ тѣнь широколистныхъ подсолнуховъ, а тамъ ихъ сѣткой не накрыть.

И пришелъ Денись на маликовскій токъ. Здѣсь въ тѣни стояла просмоленная бочка съ водой, покрытая для вѣрности еще соломой. У самага чоба пріятно отдавало прохладой и сыростью, и шелъ смолистый запахъ отъ бочки.

Денись, снявъ брыль, прицалъ къ чобу и жадно принялся пить. Вода слегка брызгала въ лицо, а отъ концовъ губъ стекали двѣ холодныя струйки.

— Сосѣды! Смотри не облейся, а то вухо придется рѣзать.

Денись, не замѣтивъ раньше Химки, вздрогнулъ. Она, сидя на снопахъ, простоводосая, сбоку искося смотрѣла на него и смѣялась.

— Чиво жъ ты пугаешься? Тоже... Казакъ!

Передъ ней лежалъ разрѣзанный сочный арбузъ, красный съ мелкими черными косточками.

— Иди вотъ лучше арбуза поѣшь.

Онъ былъ смущенъ и еле выдавилъ изъ себя:

— Да, ты сумѣла выбрать... Гляди, какой краснай.

— Ха! Къ тебѣ не подумала побѣжать, совѣту спросить.

Она снова засмѣялась.

— Эхъ, ты — чудодѣй. Прямой «Денись — тyani на низъ».

— Не дражнись, казачка.

Огромнаго роста, въ короткой рубахѣ и въ грубыхъ домотканыхъ холщевыхъ шароварахъ онъ остановился передъ нею и не зналъ, что съ собой дѣлать.

— А чиво бъ мнѣ и не подразнить тебя?.. Гляди, какъ у тебя мотня «собакъ дражнить».

Подскочивъ, она дернула его за заднюю часть штановъ.

— Не замай, — прохрипѣлъ онъ, все больше смущаясь и отъ этого становясь неловкимъ и сердитымъ.

— Глядика-сь, паца какая!

Она приподнялась и снова дернула его, да такъ, что онъ пошатнулся. Тутъ ужъ онъ вошелъ въ азартъ, схватилъ ее за плечи и притиснулъ къ снопамъ. Она взвизгнула, но ловко вывернулась и толкнула его съ силой сбоку. Онъ не устоялъ и повалился на снопы. Подъ скирдами затѣялась шумная и веселая возня.

Но когда Денись вернулся къ своему табору и, выпустивъ по прохладѣ вечерней быковъ на пастьбу, пошелъ за ними, онъ очень неодобрительно думалъ о своей неловкости и этой противной застѣнчивости. Ему вспомнилось полусерьезное полусерьезное наставленіе дядьки—Ларьки:

— Ты, братъ, не выдупливай на бабу глазъ... Бабѣ, братъ, надо сразу въ жилу вдарить.

Денись въ досадѣ подумаль:

— Вумникъ! Попробуй вотъ тутъ найти эту жилу.

Быки съ саломъ и прилежаніемъ срывали ртами атаву. Садилось солнце, золотя края изсинепепельной тучи, показавшейся на той сторонѣ горизонта. Въ небесную высь брызнули отъ солнца лучи лучей, и какъ на картинѣ отъ лика Бога-Саваофа, таяли въ незнаемомъ предѣлѣ.

ХІІІ.

По окончаніи жнитва станичники начинали проявлять большой интересъ къ именамъ крупной американской промышленности — Макъ-Кормику, Генриху Ланцъ и другимъ производителямъ молотилокъ и паровиковъ. Горячо и со знаніемъ обсуждали достоинства и недостатки разныхъ системъ. Со своими станичными купцами, владѣльцами отдѣльныхъ машинъ, договаривались о мѣркѣ, съ какой согласились бы они обмолотить хлѣбъ, и о срокахъ.

Всѣ, какія у кого были машины, уже вывезены къ загонамъ, гдѣ начинались хлѣбныя поля.

Споры, переговоры, договоры сопровождались могарычами. Угощали тѣ, лотчивали эти.

Алдоша каждый праздникъ закатывался теперь туда, гдѣ за высокими, вглухую возведенными заборами, въ красныхъ лавкахъ сидѣли владѣльцы машинъ и вершили дѣла, гдѣ въ обиліи пристроились на перекресткахъ побойчѣе станичные духаны.

Дома ждуть-ждутъ отца, пообѣдаютъ, дѣти разбредутся, кто куда, — въ садъ ли, въ рощу, на рѣчку, — одна Ивановна то подойдетъ къ воротамъ, повыглядываетъ, то снова въ хату зайдетъ отъ нечего дѣлать. Съ полной вѣроятностью она ждетъ Алдошу сильно выпившимъ, а

поэтому чванливымъ, а то, чего добраго, и къ буйству предрасположеннымъ.

Чаще ей приходилось узнавать о его приближеніи еще издали.

По его пути изъ духана домой жили двѣ большія пересмѣшницы, не пропускавшія случая подтрунить надъ Устиньей Ивановной. Онѣ давно знали, какъ уязвлялось ея самолюбіе при недостойномъ видѣ мужа, и это удесятерили.

Афанасьевна, — ядреная баба-казачка, былая писаная красавица, съ раскатистымъ смѣхомъ и съ сохранившимся еще звонкимъ голосомъ, — издали примѣчала Алдошу, выходила къ нему подъ-передъ, брала подъ руку:

— Ты што жъ, это, Прокофьичъ, молчишь? Идешь, какъ на погребеніи. Пѣсню давай заграемъ.

Того убѣждать не нужно, и выбора пѣсни онъ не дѣлалъ. У него она всегда одна готова.

— Вы послушайте, братцы, про казака Ермака...

Куличиха — Афанасьевна — подхватывала и пускалась на подголоски. Медленно подвигаясь, ко всеобщему уличному веселью, они рука-объ-руку шествовали по улицѣ. Поближе уже присоединялась къ нимъ Казарчиха. Она тоже давно поджидала это развлеченіе и брала Алдошу подъ другую руку. У нея голосъ грубѣе и она брала низы.

— Охъ, ды какъ каза-акъ ды Ярма-акъ...

Такимъ образомъ, до слуха притихшей у своихъ воротъ Ивановны издали доносился дребезжащій тенорокъ Алдоши, обволоченный двумя женскими голосами...

Ивановна не ревновала. Нѣтъ. Но все же было противно. Она не слыхала, но съ несомнѣнностью предполагала, что въ «бесѣдахъ», всюду сидящихъ по улицѣ, смѣются и показываютъ пальцами:

— Гляди, гляди, кума Алдакима пьянова ведутъ... Вотъ смѣху-то...

Но Куличихѣ и Казарчихѣ этого мало. Подходя, онѣ кричатъ:

— Кума Устя! Кума Устя! Гдѣ ты тутъ кроешься? Иди, тваво привели.

Волей-неволей ей приходилось выходить и принимать отъ нихъ Алдошу, а онъ не преминетъ еще прибавить горечи. Со знакомъ большой притворной скорби скажетъ:

— Эхъ, Афанасьевна, што-то мнѣ дома будетъ?!

Машина, наконецъ, добралась къ маликовскому гумну. Въ полтора-два дня она перерабатывала годичный трудъ всего хозяйства въ солому, въ полову и въ чистую ядреную пшеницу.

Алдоша съ достоинствомъ и съ большимъ знаніемъ дѣла все предусмотрѣлъ, всюду поставилъ нужное количество людей, нигдѣ лишнихъ, а самъ на главномъ посту, гдѣ набѣгали зерномъ чувалы и ихъ складывали въ бунты за его собственнымъ счетомъ.

Четкимъ ходомъ чеканилъ маховикъ свои обороты, волной бѣжалъ передаточный ремень, хлопотали, крутились колеса, ненасытной прорвой гудѣлъ барабанъ; пылинки-шуршали соломотрясы.

Денись по-сосѣдски работалъ у Маликовыхъ на помохахъ.

Въ большой суетѣ, отгребая полову, съ завязаннымъ отъ пыли до самыхъ глазъ лицомъ, Химка работала на указанномъ мѣстѣ. Издали она примѣчала, какъ чернотылый быкъ въ содружествѣ съ другимъ выползали изъ балки на пригорокъ и тянули тяжелую водовозку съ восьмидесяти-ведерной бочкой.

Денись дѣловито нахлестывалъ быковъ, подкатывалъ бочку къ паровику, опорожнивала ее въ чаны и снова тѣмъ же путемъ удалялся по-воду.

Химка ворчала:

— У-у-у, холера! пялить бѣлмы, а самъ, какъ цуци-ненокъ.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ ей пріятна эта его застычивость. Её самое подхватывало какое-то новое радостное чувство молодости и неизвѣданности.

За послѣднимъ обѣдомъ Алдакимъ Прокофьичъ угостилъ всѣхъ доброй чаркой водки. Поднесъ и Денису. Онъ, въ подражаніе старшимъ, безъ запинки, но густо покраснѣвъ, проговорилъ:

— Ну, побудемъ здоровы, дядя Алдакимъ Прокофьичъ!

Самъ зиркнулъ искоса туда, гдѣ сидѣла Химка, и ловко опорожнилъ рюмку да еще крякнулъ.

— Хо! Да ить съ Дениса съ нашего толкъ будетъ, — не удержался отъ насмѣшливаго одобренія дядька его Ларька. — Гляди, какъ онъ рюмкой руководствуетъ... Хоть бы и старенькому въ пору.

— Парень смекалистый, што и говорить, — поддержали кругомъ.

Самъ же герой утерся скромно рукавомъ рубахи.

Когда послѣ обѣда Денись пошелъ за выведенную скирду соломы, гдѣ онъ выпрягъ своихъ быковъ съ водовозки, то здѣсь онъ увидалъ знакомую темно-синюю кофту съ бѣлыми цвѣточками въ рисункѣ.

Химка стояла спиной къ нему и всматривалась въ глубокую высь неба, будто искала чего-то въ далекой синевѣ.

Денись застылъ, а потомъ воровато озирнулся. Кругомъ ни души. Онъ подбѣжалъ и обнялъ Химку.

— На кавой-то ты, казачка, такъ заглядѣлась?

— Смотри, Денисушка, какъ высоко-высоко касатки летаютъ.

Она прижалась къ нему, но вдругъ отпрянула и побѣжала прочь.

Денись рванулся за ней. Но тутъ все тотъ же дядька.

— Куда ты?.. Гребь твою по пузи!.. За чужой бабой?.. Это, братъ, не по-сосѣдски.

Возили чувалы съ пшеницей со степи домой. Химка опять проводила праздники на участкѣ. Дневала.

Время уже не то. Дуль свѣжій вѣтеръ. Шуршала застарѣвшая трава. Если лечь на спину и смотрѣть такъ долго въ небо, то въ длинной чередѣ бѣгущихъ облаковъ различались разныя фигуры: то нѣжно воздушныя, то смѣшныя и уродливыя, гонятся другъ за другомъ, насаждаютъ, громоздятся и пожираютъ другъ друга. Или въ обнимку плыли онѣ дальше, чтобы, разъединившись, снова пойти одинокой чередой, или разсѣяться неуловимой дымкой.

На бахчѣ огудина закучерявилась, мѣстами совсѣмъ засохла и обозначились большія темно-коричневыя плѣши.

Зато, какъ накатанные, кругомъ арбузы, а между ними дыни золотисто-желтыя или иззелено-коричневатыя въ рѣпинахъ. Большой кулигой вошли въ арбузное море тыквы: оранжевыя съ зелеными полосами, или сине-бѣлыя, огромныя. Ихъ могучія плети-концы, пробивъ въ другую пору себѣ дорогу къ простору, теперь тоже сжались, одервенѣли, и треплетъ ихъ вѣтеръ, а у листьевъ разорвались зонтико-образныя верхушки и одрябли черенки.

Химка медленно шла въ ту сторону, гдѣ кончалась бахча и начиналась полоса подсолнуховъ, теперь отяжелѣвшихъ и понуро наклонившихъ пожелтѣвшія шалки со зрѣлой сѣмячкой.

Откатывая двѣ сорванныя дыни къ общей кучѣ, Химка подумала:

— Подымусь и посмотрю, гдѣ его холера придушила?

Вдругъ потомъ она вздрогнула и даже вскрикнула отъ неожиданности. Денисъ стоялъ вотъ тутъ у края подсолнуховъ.

— Ху, хандара! Спужаль... Чиво жъ ты стоишь и молчишь?

— А чиво жъ кричать, што ли?

И Денисъ былъ совсѣмъ не тотъ нынче. Въ улыбка его уже было больше увѣренности, а въ голосѣ меньше хрипоты. Рубаха на немъ была чистая съ высокимъ стоячимъ воротникомъ на три пуговики. А подоль рубахи заправленъ въ штаны и не холщевые, а черно-ластиковые съ краснымъ кантомъ.

Химка окинула его взглядомъ съ ногъ до головы.

— Э-э! Да ты, братъ, нынче прямо женихъ женихомъ. Погля. Даже очкурня кумачевая.

Она весело засмѣялась.

— Скажи, Денисъ, по справедливости: — черно-лысай быкъ узналъ тебя?

Денисъ подошелъ ближе къ ней.

— Опять ты... Брось, казачка, насмѣхаться да подшкиливать.

Въ голосѣ у него проскользнула нота тихой тоски и просьбы.

— Ну-ну, не буду...

Смотря въ землю, она носкомъ чирика тронула только что сорванную дыню, вызрѣвшую такъ, что съ одного бока даже надтреснула.

— Хочешь, Денисъ, вмѣстѣ эту дыню съѣдимъ?

А сама подумала: откажется, значить, ничего, а согласится, значить, что-то будетъ. И у самой будто что ёкнуло внутри.

Онъ согласился. Они сѣли. Она сняла фартукъ и разостлала по землѣ, но такъ, что однимъ концомъ покрыла его колѣни, а другимъ свои. Онъ досталъ ножикъ изъ кармана и разрѣзалъ дыню. Ея внутреннее тѣло оказалось слегка розоватымъ съ очень тонкимъ дыннымъ ароматомъ и сочно-сахарное на вкусъ.

Въ хорошо вызрѣвшей дынь, развалившейся подъ ударами ножа, всегда есть какая-то доля нескромности.

— Ну, какъ, Денись, дыня? Укусная?

Химка вообще какъ-то присмирѣла.

— Дыня хороша.. А ты, Химка, — голосъ Дениса дрогнулъ, — а ты, Хима... лучше...

Она затаила дыханіе, а потомъ, не поднимая глазъ, сказала:

— Вонъ ты какъ... научился нынче.

И улыбнулась, смотря на него снизу вверхъ.

Они поднялись и пошли бокъ-о-бокъ по обмѣжку у края бахчи. Онъ могучаго тѣлосложенія, но еще съ незаконченной формировкой. Еще просился послѣдній ударъ рѣзца. Огромныя руки еще не находили своего мѣста.

Она подобранная, женственно-ловкая. Вся вылилась и расцвѣла, какъ пунцовый цвѣтокъ зорька въ часъ передъ началомъ заката. Кокетливо подвязанная косынка, широкая, но умѣлой рукой скроенная кофта, юбка со многими сборками.

Отъ ея балагана Денись не шелъ, а летѣлъ на крыльяхъ легкаго вѣтра.

Загоняя быковъ въ базъ на ночь, онъ не злился, не чертыхался.

— Ить вотъ — скотина, а какъ-быть понимаетъ, — думалъ онъ о своихъ быкахъ.

Передъ полнымъ ведромъ прозрачной воды Денись посмотрѣлъ на себя, какъ въ зеркало и ладошкой пригладилъ на головѣ отросшіе волосы.

Сумерками онъ пошелъ къ Химкѣ. Она ждала его у двери балагана.

На вечернемъ небѣ играли въ чехарду потемнѣвшія облака. Тайнственно-молчащія, расплываясь въ синевѣ сумеречнаго свѣта, стояли на взгорьѣ стога сѣна.

Прошумѣли крыльями пролетѣвшіе стайкой дикіе голуби.

— А тебѣ, Денись, не страшно? — полусутоливо спросила Химка подошедшаго парня.

Но и у самой полусутка вышла какая-то особо робкая. А по глазамъ видно было, что и сама робѣеть, но уже не можетъ остановиться.

Онъ только молча оскалилъ зубы въ беззвучной улыбкѣ.

Д. Е. Скобцовъ-Кондратьевъ.

(Окончаніе слѣдуетъ)

Изъ воспоминаній

ХІІІ.

КРЫМЪ.

Черезъ годъ я должна была держать при округѣ экзамены на домашнюю учительницу. Больше всего меня пугалъ законъ Божій. Надо было знать наизусть весь катехизисъ, богослуженіе, а я никакъ не могла ихъ зазубрить. Говорили, что меня, дочь отлученнаго отъ церкви, будутъ особенно строго спрашивать и придираяться.

Но я напрасно волновалась. Экзамена держать мнѣ не пришлось.

Лѣтомъ 1901 года отецъ оласно заболѣлъ, у него началась лихорадка и грудная жаба. При низкой температурѣ пульсъ доходилъ до 150-ти. Съѣхалась вся семья. Мама и Маша поочереди ухаживали за нимъ. Вызвали врачей — Щуровскаго, Бертенсона. Они посовѣтовали ѣхать въ Крымъ.

Графиня Софія Владиміровна Панина, узнавъ о рѣшеніи врачей, предложила свой домъ въ имѣніи Гаспра на южномъ берегу. Отецъ былъ такъ слабъ, что страшно было его везти. Одинъ изъ его послѣдователей, служившій на желѣзной дорогѣ, обратился къ своему начальству съ просьбой предоставить отцу для поѣздки директорскій вагонъ. Въ Крымъ съ отцемъ поѣхали мама, сестра Маша съ мужемъ, Б. и я. Пьянистъ Гольденвейзеръ, усиленно искавшій близкаго знакомства съ отцемъ, въ Харьковѣ присоединился къ намъ. Изъ служащихъ съ другимъ поѣздомъ ѣхали: поваръ Семень Николаевичъ, Илья Васильевичъ и портниха мама, молодая дѣвушка Ольга.

Курьерскій поѣздъ выходилъ изъ Тулы около трехъ часовъ утра. До вокзала 17 верстъ ѣхали на лошадахъ. Тьма была кромѣшная, грязь, особенно скверно было по проселочной дорогѣ до шоссе. Филочка съ факеломъ про-

вожалъ насъ. На Тульскомъ вокзалѣ отъ суеты, отъ утомленія отецъ почувствовалъ себя настолько плохо, что поднялся вопросъ, не вернуться ли обратно. Но Б. доказывалъ, что возвращаться было бы безуміемъ, вагонъ прекрасный, удобный, а о томъ, чтобы опять ѣхать на лошадахъ, страшно было и подумать. Вагонъ дѣйствительно оказался превосходнымъ, не только у каждаго было свое спальное купе, умывальникъ, но былъ прекрасный салонъ съ мягкими креслами, съ большимъ обѣденнымъ столомъ, пьянино. Здѣсь дѣйствительно можно было прекрасно отдохнуть.

На другое утро, когда проѣхали Курскъ и стало уже по южному тепло, отецъ почувствовалъ себя лучше, пробовалъ работать, но не могъ. Мы съ сестрой Машей смотрѣли въ окна и радовались на малороссійскія бѣлыя мазанки, на пирамидальные тополя и мѣловыя горы. Иногда присоединялся къ намъ и отецъ.

Въ Харьковѣ собрались обѣдать, но когда поѣздъ подошелъ къ вокзалу, мы увидали на платформѣ громадную толпу, почти сплошь состоящую изъ студентовъ. Я сразу догадалась, что готовится встрѣча отцу. Стало жутко: «привѣтствія, рѣчи, волненія, не выдержать сердце!» мелькало въ головѣ. Мы повернули обратно, объ обѣдѣ и думать было нечего! И дѣйствительно толпа хлынула къ нашему вагону.

Отецъ взволновался, услышавъ, что студенты собрались привѣтствовать его и просятъ принять отъ нихъ делегацию. Онъ весь какъ то сжался, точно ему хотѣлось спрятаться. Лицо выражало страданіе, почти отчаяніе. Делегация стояла у окна и ждала. Я сочувствовала отцу, мнѣ было тяжело смотрѣть на его волненіе, хотѣлось ограждать его. «У нихъ простое любопытство», — думала я. — «а отцу это можетъ стоить жизни». Казалось и Маша раздѣляла мои чувства, но мама и Б. заразились общимъ возбужденіемъ, они стали уговаривать отца принять делегацию. Отецъ согласился. Онъ дѣлалъ громадныя усилія, чтобы отвѣчать на привѣтствія, пожеланія, — говорить было не о чемъ. Послѣ первой делегации пришла вторая, а на платформѣ гудѣла толпа.

— Попросите Льва Николаевича подойти къ окну! — кричали студенты, — умоляемъ, на минутку!

— Онъ не можетъ, онъ боленъ... — отвѣчали мы изъ загона.

— Ради Бога, на минутку, пусть только покажется...

Передь третьимъ звонкомъ отецъ подошелъ къ окну. Головы обнажились.

— Уррррра! — вдругъ загремѣла толпа, — урра!!

Поѣздъ медленно отходилъ.

— Толстой, Левъ Николаевичъ! Будьте здоровы! Счастливый путь! Студенты тѣснили другъ друга, висли на столбахъ, бѣжали по платформѣ за поѣздомъ, но толпа постепенно рѣдѣла, пока, наконецъ, и самые упорные принуждены были отстать...

Поѣздъ мчался дальше. Всѣ были взволнованы. Отецъ сморкался. Признаюсь, щипало и у меня въ носу. Но какъ и предполагали, отцу не пропали даромъ пережитыя волненія. Температура поднялась, снова появились перебои сердца. И только на утро, когда мы подъѣхали къ Севастополю, ему стало лучше.

Здѣсь, на вокзалѣ, отца снова ждала овация, но гораздо болѣе скромная, чѣмъ въ Харьковѣ. Мнѣ показалось, что небольшая кучка людей, которая привѣтствовала отца, по большей части состояла изъ немолодыхъ дамъ. Потомъ мы узнали, что севастопольцы уже нѣсколько дней подрядъ собирались на вокзалѣ и ждали, когда пріѣдетъ Толстой, но многіе не дождались.

Мы остановились въ большой, хорошей гостиницѣ Киста на Набережной. Настроеніе было праздничное, какъ обычно бываетъ, когда послѣ дождей, осенней слабости средней полосы Россіи попадаешь въ волшебный край, гдѣ тебя внезапно окутываетъ теплый морской воздухъ, поражаетъ глубокая синева неба, яркость красокъ и тѣней. Всѣ надѣялись, что отецъ оживетъ на югѣ.

Мы съ Б. сейчасъ же побѣжали въ городъ за провизіей, пританили груды душистаго, спѣлаго, желто-дымчатаго, точно вспотѣвшаго винограда, связку толстыхъ татарскихъ бубликовъ, пахнущихъ кислымъ тѣстомъ, и еще всякихъ вкусныхъ вещей. Мама хлопотала съ обѣдомъ и съ вещами.

Отцу тоже не сидѣлось дома и онъ отправился съ Б. гулять, заходилъ въ Севастопольскій Музей, осматривалъ городъ и все разспрашивалъ, гдѣ находился 4-ый бастионъ, на которомъ онъ когда-то воевалъ. Б. рассказывалъ намъ, что отца вездѣ узнавали и кланялись ему, даже городской отдалъ ему честь.

Къ вечеру отецъ усталъ, не столько отъ прогулки, сколько отъ охватившихъ его воспоминаній.

На другое утро въ двухъ экипажахъ на перекладныхъ поѣхали въ Гаспру. Въ одной коляскѣ, запряженной четверней, ѣхали отецъ, мать, Б. и я. Въ другой — Оболенскіе и Гольденвейзеръ. Пока ѣхали городомъ, отецъ напряженно смотрѣлъ кругомъ.

— Ахъ, какъ все измѣнилось, какъ измѣнилось! — повторялъ онъ съ грустью.

Онъ никакъ не могъ ориентироваться, его это мучило, онъ напрягалъ память, стараясь понять, гдѣ былъ 4-ый бастионъ. Разспрашивалъ объ этомъ кучера. Увидавши нѣсколько человекъ матросовъ съ открытыми загорѣлыми лицами въ бѣлыхъ, съ синими воротниками, рубашкахъ, стройно шагающихъ по улицѣ, онъ сказалъ:

— Экіе молодцы! — А потомъ тихо добавилъ: — И подумать только, что ихъ къ боинѣ готовятъ!

Онъ сталъ говорить объ ужасахъ войны и удивлялся, какъ онъ могъ когда-то не только участвовать въ войнѣ, но и увлекаться ею.

Проѣхали первый перегонъ. Пока на станціи перепрягали лошадей, мы съ Б. и Гольденвейзеромъ полѣзли на гору. Снизу гора казалась небольшой, но когда мы стали подниматься, мы поняли, что это не такъ легко.

— Тише, тише, — останавливалъ насъ Б. — Съ непривычки нельзя такъ быстро ходить въ горы. Можетъ слѣжаться плохо.

Но Гольденвейзеръ только посмѣялся надъ этимъ предупрежденіемъ.

Онъ быстро насъ обогналъ и взбѣжалъ на гору. Когда мы взошли на вершину, онъ былъ страшно блѣденъ, его тошнило.

Сбѣжаавъ, мы рассказали отцу про этотъ случай. Отецъ покачалъ головой:

— Типичная еврейская черта, — сказалъ онъ, — желаніе во всемъ быть первыми.

Въ Байдарахъ лошадей оставили на станціи и пѣшкомъ прошли къ знаменитымъ Байдарскимъ воротамъ. У меня духъ захватило, когда съ высоты намъ открылся залитый солнцемъ зеленый, цвѣтушій южный берегъ. Слѣва возвышались могучія грозныя скалы, вдали горѣло и серебромъ переливалось безбрежное море. Не только на меня, видѣвшую все это впервые, зрѣлище произвело

сильное впечатлѣніе, всѣ были взволнованы. Отецъ сидѣлъ на камушкѣ и молча смотрѣлъ.

Но надо было торопиться, варить отцу обѣдъ, ѣхать дальше, чтобы опасный въ Крыму заходъ солнца, дающій рѣзкое пониженіе температуры, не засталъ насъ въ пути. Рядомъ съ гостиницей мы нашли помѣщеніе съ плитой, которую быстро разожгли и сварили отцу обѣдъ. Простоявъ около часу, пообедавъ, отправились дальше въ тотъ сказочный міръ, который мы только что обозрѣвали сверху. Дорожка шла внизъ крутыми зигзагами. Коляски дѣлали безконечныя петли, а мы съ Б. по тропинкамъ шли наперерѣзъ и радовались, когда обгоняли ихъ. Всю дорогу я смотрѣла пока наконецъ не разболѣлись у меня глаза, голова, шея. Все было необыкновенно: татарскія деревни съ безконечными лавочками, гдѣ пахло кизякомъ и бараньимъ саломъ, татарчата въ круглыхъ барашковыхъ шапочкахъ, татарки съ чадрами на головѣ и крашеными ногтями, нависшія надъ дорогой громадныя скалы, а главное, море, море...

Поздно вечеромъ пріѣхали. Съ верхняго шоссе завернули направо въ ворота и по шуршащему гравію подкатили къ великолѣпному дворцу. Первое, что бросилось въ глаза, были круглыя башни, домашняя церковь и фонтанъ около дома.

Насъ встрѣтили служащіе гр. Паниной. Впереди всѣхъ управляющій нѣмецъ Карлъ Христіановичъ Классенъ съ хлѣбомъ и солью.

Во дворцѣ непріятно поразила роскошь. Я никогда въ такомъ домѣ не жила. Было неловко и неудобно: мраморныя подоконники, рѣзныя двери, тяжелая дорогая мебель, большія, высокія комнаты. Домъ показался мнѣ мрачнымъ. Но когда вышли на верхнюю террасу и открылся видъ на море, всѣ пришли въ восторгъ. Хороша была и нижняя терраса, обвитая виноградомъ, со свисающими спѣлыми гроздьями изабеллы.

На другой день пріѣхали на пароходѣ служащіе. Несмотря на то, что море было совершенно спокойно, всѣхъ трезъ укачало. Особенно пострадалъ толстый Семень Николаевичъ, онъ даже плакалъ.

— Ну и завезли, — говорилъ онъ въ отчаяніи, — ну и страна! Съ одной стороны море, съ другой горы, дѣваться некуда!

Илья Васильевичъ тоже былъ недоволенъ. И хотя ли-

цо его сохраняло обычное выраженіе покорности судьбѣ, онъ былъ еще блѣднѣе и меланхоличнѣе, чѣмъ всегда. Скорѣе всѣхъ утѣшилась Ольга-портниха. Она немедленно познакомилась съ красивыми татарами-проводниками и предвкушала жизнь полную всякихъ интересныхъ приключеній и романовъ.

Когда кто-нибудь изъ насъ приходилъ въ слишкомъ большой восторгъ, начинать бѣсноваться, у насъ въ семьѣ это называлось *animal spirits*. Такъ вотъ эти «*animal spirits*» обуяли насъ въ первые дни нашего пребыванія въ Крыму. Почтенный толстолицъ точно съ ума сошелъ. Онъ заказывалъ лошадей и мы ѣздили съ нимъ по окрестностямъ, ходили гулять. Помню свое близкое знакомство съ моремъ. Б., Оболенскіе и я поѣхали внизъ на берегъ. Былъ небольшой прибой. Волны, клубясь и пѣнясь, ударились о скалы, окатывая ихъ водой. Это было прекрасно, но мнѣ надо было ощутить, почувствовать его. Я спустилась внизъ, вымыла лицо, руки, выполоскала ротъ, но и этого было мало. Тогда я залѣзла на большой камень и плашмя легла на него. Маша, заражаясь моимъ восторгомъ, тоже подошла слишкомъ близко. Большая волна окатила насъ съ головы до ногъ. Мы сняли платья, повѣсили ихъ сушить и вдругъ увидели, что надъ нами, облокотившись на перила каменной стѣны, стоялъ генералъ и смотрѣлъ на насъ съ нескрываемымъ презрѣніемъ.

Хорошо было первое время въ Крыму! Постепенно все входило въ обычную колею. Отецъ поправлялся, началъ работать, расположивъ день такъ же, какъ въ Ясной Полянѣ, только раньше вставалъ и раньше ложился спать.

Сестра Маша переписывала ему, но она собиралась переехать въ Ялту дѣлаться и безпокоилась о томъ, что некому будетъ ее замѣнить.

— Ну, Саша, — какъ-то сказала она мнѣ, — теперь ты уже взрослая (мнѣ только что минуло 17 лѣтъ), пора начать тебѣ переписывать отцу.

Она принесла мнѣ нѣсколько исписанныхъ его рукой листовъ бумаги. Былъ уже вечеръ. Я обрадовалась, мнѣ хотѣлось доказать, что я справлюсь съ работой. Прійдя къ себѣ въ комнату, я сложила бумагу въ четвертушки, нарѣзала ее, загнула съ правой стороны поля, вложила въ ручку новое перо и развернула рукопись. Какъ хорошо я помню ея внѣшній видъ: четвертушки бумаги вдоль и поперекъ исписанныя, перечеркнутыя, со вставками ме-

жду строчекъ, на поляхъ, на оборотъ, съ недонисанными словами...

Характерно, что внѣшняя сторона рукописи настолько поглотила мое вниманіе, что я не помню ея содержанія. Помню только, что это была статья о религіи. Постепенно мое восторженное состояніе смѣнилось безпокойствомъ, а затѣмъ и отчаяніемъ. Часы ползли. Наступила ночь. Нѣсколько словъ напишу, а потомъ разбираю. Чѣмъ дольше я сидѣла, тѣмъ туманнѣе становилось въ головѣ. Теперь уже я не только словъ, но даже буквъ не разбираю. Начинала выдумывать, выходила безсмыслица. Въ глазахъ рябило, строчки сливались. Пробовала я отложить работу и съ разбѣга прочитать — опять ничего.

Только уже черезъ нѣсколько недѣль я поняла, что не надо сидѣть надъ отдѣльными буквами, а надо пытаться схватить основной смыслъ фразы, только тогда дѣлались понятными слова и буквы. Но для этого нужно было еще долго и упорно работать.

Наступило утро. Къ восьми часамъ переписка должна была лежать на столѣ у отца, а у меня въ рукахъ была такая ужасная, жалкая работа, что страшно было ее нести. На каждой страницѣ пропуски, неразобранныя слова, строчки кривыя, буквы острые, высокія, между линеекъ мало мѣста для поправокъ. Когда я принесла переписку отцу, онъ засмѣялся и отложилъ ее въ сторону. А я ушла отъ него въ полномъ отчаяніи, съ сознаниемъ, что я никуда не погужу и никогда не научусь ему помогать!

Какъ я завидовала Машѣ, которая такъ увѣренно писала маленькими, круглыми, отчетливыми буквами, ровно, гладко, точно печатала, и прекрасно разбираюла отцовскій почеркъ.

Но постепенно и я стала привыкать. Эта работа наполнила мою жизнь, я перестала чувствовать себя бесполезной.

Въ это лѣто отца посѣтили многіе писатели: Чеховъ, Горькій, Скиталецъ, Елпатьевскій, Бальмонтъ и другіе.

Чеховъ былъ у отца еще въ Москвѣ, но я его увидела здѣсь впервые. Онъ пришелъ съ палочкой, немножко сторбленный, застѣчивый и серьезный, безпрестанно коротко и глухо покашливалъ и было ясно, что онъ серьезно боленъ. На ввалившихся щекахъ, можетъ быть отъ волненія, а можетъ быть отъ болѣзни, горѣлъ румянецъ. Чеховъ сидѣлъ съ отцемъ на нижней террасѣ, разговоръ

шелъ о литературѣ. Я знаю, что отецъ уважалъ Чехова и пожалуй изъ молодыхъ писателей ему легче всего было съ Антономъ Павловичемъ. Ему онъ прямо и откровенно могъ сказать свое мнѣніе о его писаніяхъ, онъ зналъ, что Чеховъ и не обидится и пойметъ его. Въ этотъ же разъ или позднѣе, отецъ уговаривалъ Чехова не писать драмъ и восхищался его рассказами. На всѣхъ насъ Чеховъ произвелъ впечатлѣніе серьезности, простоты и какой-то внутренней обаятельности.

Въ это же время часто заходилъ Горькій. Онъ былъ высланъ и жилъ въ двухъ верстахъ на берегу моря въ Олензѣ. Горькій мнѣ всегда казался чуждымъ. Мнѣ казалось, что отецъ не могъ быть съ нимъ самимъ собой — правдивымъ и искреннимъ до конца. Да и Горькій не былъ естественнымъ, онъ смущался и робѣлъ передъ отцемъ. Я видѣла Горькаго въ кругу его пріятелей и семьи. Часто мы съ нимъ, съ Юліей Ивановной Игумновой и братьями играли въ городки. Обычная, свойственная ему грубоватость исчезала въ обществѣ отца.

Иллюстраціей такой принужденности можетъ служить сцена, описанная докторомъ Волковымъ въ его воспоминаніяхъ:

«Однажды въ моемъ присутствіи Левъ Николаевичъ хвалилъ Горькому романъ Поленца «Крестянинъ», и особенно умилялся художественной правдой той сцены, въ которой избитая пьянымъ мужемъ жена заботливо укладываетъ его на постель и подкладываетъ подъ голову подушки...

Горькій промолчалъ... А когда мы съ нимъ возвращались, онъ замѣтилъ:

«Подушку подъ голову подкладываетъ! Хватилъ бы его полѣномъ по башкѣ!»

Мнѣ помнится, что Скиталецъ пріѣзжалъ гораздо позднѣе съ Горькимъ и Шалапинымъ. Бросалось въ глаза сходство въ его внѣшнемъ обликѣ съ Горькимъ. Та же косоворотка, подпоясанная ремнемъ, длинные прямые волосы, которые онъ рѣзкимъ встряхиваньемъ головы отбрасывалъ назадъ, та же грубоватость и простоватость въ манерахъ. Братья рассказывали, что Скиталецъ замѣчательно играетъ на гусляхъ и поетъ. Но повидимому его пѣсни, такъ же, какъ анекдоты и остроуміе Шалапина, можно было услышать только въ мужской компаніи за стаканомъ вина.

Раза два приходилъ Бальмонтъ. Разумѣется стихи его отецъ не могъ принять, и врядъ ли свиданіе съ поэтомъ доставило ему большое удовольствіе. Онъ всегда стѣснялся въ лицо высказывать свое мнѣніе писателямъ, зная, что его слово имѣло для нихъ большое значеніе. Но по-видимому Бальмонта смутить было трудно. Вотъ какъ онъ самъ рассказываетъ про эту встрѣчу:

«Я прочелъ ему «Ароматъ Солнца», а онъ, тихонько покачиваясь въ креслѣ, беззвучно посмѣивался и приговаривалъ: «Ахъ, какой вздоръ! «Ароматъ Солнца»... Ахъ, какой вздоръ!» Я ему съ почительной ироніей напомнилъ, что въ его собственныхъ картинахъ весенняго лѣса и утра, звуки перемѣшиваются съ ароматами и цвѣтами. Онъ нѣсколько принялъ мой аргументъ и попросилъ меня прочесть еще что-нибудь. Я прочелъ ему: «Я въ странѣ, что вѣчно въ бѣлое одѣта». Левъ Николаевичъ притворился, что это стихотвореніе ему совершенно не нравится» *).

Часто изъ Ялты пріѣзжалъ Сергѣй Яковлевичъ Елпатьевскій и, хотя онъ былъ уже больше писатель, чѣмъ докторъ, помнится онъ участвовалъ нѣсколько разъ въ консилиумахъ во время болѣзни отца.

Пріѣзжалъ Сергѣенко. Мало интересный самъ по себѣ, онъ всегда старался удивить отца чѣмъ-нибудь. Однажды онъ раздобылъ откуда-то автомобиль. Автомобили тогда только что появились въ Россіи. Къ великому безпокойству матери, отецъ заинтересовался машиной и поѣхалъ съ Сергѣенкой кататься.

Тутъ же въ Крыму отца навѣстилъ извѣстный кадетъ Петрункевичъ, разговоръ шелъ о политикѣ. Мнѣ запомнились слова, сказанныя отцемъ послѣ этого свиданія:

«Ну какъ они не понимаютъ, что дѣло не въ перемѣнѣ правительства. Развѣ жизнь станетъ лучше отъ того, что вмѣсто Николая II будетъ царствовать Петрункевичъ?»

Всѣ безъ исключенія любили управляющаго гр. Паниной Карла Христіановича Классена. Это былъ милый, добрый старикъ, старавшійся сдѣлать всѣмъ пріятное. Жилъ онъ въ одномъ изъ флигелей со своей совсѣмъ уже старенькой мамашей и двумя маленькими, неопредѣленной породы собачками. Каждое утро Карлъ Христіановичъ

*) Н. Апостоловъ: Живой Толстой.

присылалъ намъ корзину прекраснаго, душистаго винограда разныхъ сортовъ съ собственныхъ виноградниковъ, а позднѣе яблоки и груши изъ штамбаго, его посадки, сада. Ежедневно онъ освѣдомлялся о здоровьи отца. Если ему отвѣчали, что плохо, онъ огорчался, чувствуя себя какъ будто виноватымъ въ томъ, что его любимый Крымъ не помогаетъ, закатывалъ свои добрыише голубые глазки къ небу и сокрушался:

— Плоко? Ахъ, какъ уясно, уясно! (Карлъ Христіановичъ не выговаривалъ букву ж). Онъ былъ страстнымъ винтеромъ. Кто-то предложилъ отцу вмѣсто отдыха играть въ карты. Играли Оболенскіе, Сухотины, Классень, Б., когда пріѣзжалъ изъ Москвы, иногда не хватало четвертаго партнера и звали меня. Я быстро научилась этой премудрости и гордилась тѣмъ, что меня принимали играть со взрослыми. Каждый игралъ по своему. Б. игралъ тонко и умно, но всегда неожиданно и страшно рисковалъ, отецъ игралъ плохо, забывалъ считать козырей, значалъ больше, чѣмъ могъ сыграть, ремизился и рѣдко выигрывалъ. Лучше всѣхъ игралъ Карлъ Христіановичъ: онъ назначалъ игру только тогда, когда бывалъ вполне увѣренъ, что выиграетъ, большей же частью онъ подсиживалъ другихъ. Прижметъ карты къ груди, склонитъ голову на бокъ, зажмурится и выжидаетъ. Если противники его зарывались, улыбка играла на его добродушно-плутоватомъ лицѣ, но если начиналъ рисковать партнеръ, онъ охалъ, вздыхалъ и шепталъ:

— Уясно, уясно...

Только отцу онъ прощалъ нерасчетливую игру.

По сосѣдству съ Гаспррой было имѣніе великаго князя Николая Михайловича. Ворота имѣнія охранялись часовыми, входъ постороннимъ былъ запрещенъ. Казалось, что тамъ за этими стѣнами былъ другой міръ и великіе князья въ нашемъ представленіи были недоступными и чуждыми. Каково же было наше удивленіе, когда великій князь Николай Михайловичъ попросилъ разрѣшенія по-видаться съ отцемъ. Отецъ согласился и свиданіе состоялось съ глазу на глазъ. Великій князь произвелъ на отца лучшее, чѣмъ онъ ожидалъ, впечатлѣніе.

— Странно, говорилъ онъ, — и что ему отъ меня нужно? Рассказывалъ про свою личную жизнь, просилъ позволенія притти еще разъ. Но человекъ простой и, кажется, неглупый.

Много позднѣе, отецъ, передавая мнѣ на храненіе бумаги, оставленныя ему великимъ княземъ, рассказалъ, что Николай Михайловичъ совѣтовался съ нимъ по поводу своей любви къ одной дамѣ...

Между прочимъ въ разговорѣ съ отцемъ, великій князь спрашивалъ, чѣмъ онъ можетъ быть полезенъ, просилъ не стѣсняясь гулять по его имѣнію, сказалъ, что отдастъ со-ответствующее распоряженіе своимъ служащимъ и самъ показалъ отцу ходъ въ паркъ по тропинкѣ черезъ стѣнку за Гаспринскимъ садомъ.

Съ этихъ поръ отецъ часто гулялъ по Ай-Тодору. Здѣсь была удивительная «Царская тропа» или, какъ отецъ прозвалъ ее, «горизонтальная дорожка», по которой можно было дойти почти до самой Ялты безъ подъемовъ. Иногда отецъ уходилъ къ морю. Спускаться было легко, но подниматься со слабымъ сердцемъ — вредно. Мама держала наемную коляску съ парой лошадей и добродушнымъ кучеромъ Мустафой Умеръ, но отецъ ни за что не хотѣлъ пользоваться экипажемъ и предпочиталъ ходить пѣшкомъ. Въ рѣдкихъ случаяхъ онъ ѣздилъ верхомъ на старой сѣрой лошади Карла Христіановича. Часто онъ утруждалъ себя сердце, лазая по горамъ. Отцовскія прогулки были все-гдашнимъ поводомъ для безпокойства мама, которая вообще терпѣть не могла югъ, скучала и, что бы ни случилось, винила во всемъ Крымъ.

Помню, я только что вернулась съ вершины Ай-Петри, куда мы ушли раннимъ утромъ. Мы устали, хотѣлось ѣсть, былъ уже вечеръ. Мы застали мама въ страшномъ безпокойствѣ. Оказывается отецъ давно уже ушелъ гулять и въ урочное время не вернулся. Мама боялась, что съ нимъ что-нибудь случилось, а послать разыскивать было некогда. Усталость какъ рукой сняло. Мы бросились во все стороны искать отца. Я добѣжала до моря, не нашла его и, когда вернулась, онъ оказался уже дома.

Странныя отношенія у меня создались съ Б. Онъ былъ лѣтъ на двадцать старше меня, былъ... почти толстовцемъ. Что то мѣшало назвать его настоящимъ толстовцемъ. Онъ любилъ и выпить, и въ карты поиграть. Со мной онъ велъ себя какъ юноша. Ѣздилъ верхомъ, затѣвалъ прогулки, веселился, шутилъ. Я была благодарна ему за то, что онъ всячески старался приблизить меня къ отцу, помогая въ перепискѣ, указывая, что и какъ надо было сдѣлать. Я привыкла къ нему и относилась съ довѣріемъ.

Однажды до меня донесся разговоръ отца съ невѣсткой Ольгой, который на нѣкоторое время омрачилъ меня. Но вскорѣ я про него забыла и вспомнила лишь много позднѣе.

— Замѣчаешь? — спросилъ отецъ и указалъ на насъ съ Б.

— Да... — сказала Ольга многозначительно.

— Вотъ поди-жъ ты, — сказалъ отецъ, — такой серьезный, пожилой человекъ и вотъ ослабѣлъ...

Помню, какъ то въ одинъ изъ прїѣздовъ Б. мы по обыкновенію ушли гулять. Захватили съ собой связку бубликовъ, винограда и пошли пѣшкомъ въ Алупку. Много ходили по парку, забрели въ хаосъ, гдѣ природа такъ причудливо нагромоздила чудовищныя груды сѣраго камня, и береговой дорожкой возвращались домой. Поднимаясь къ Гаспрѣ безъ дороги — напрямикъ, мы запыхались и сѣли на полянкѣ отдохнуть. Было жарко. Вся трава была выжжена и казалось, что земля насквозь прогрѣта солнцемъ. Пахло мятой. Я лежала на травѣ и разсматривала синенькіе цвѣточки, которые, разогрѣвшись на солнцѣ, сильно благоухали. Вдругъ мнѣ стало почему-то неловко. Я подняла голову и встрѣтилась глазами съ Б. Онъ какъ то странно и необычно смотрѣлъ на меня. Мнѣ показалось, что взгляды его подернулись мутью.

Я испугалась и вскочила на ноги.

— Куда вы? — закричалъ онъ. — Подождите, ради Бога, мнѣ надо вамъ сказать.

— Нѣтъ, нѣтъ, не надо! — крикнула я и бросилась въ гору, не оглядываясь.

За моей спиной шуршали оборвавшіеся камни, и слышалось прерывистое дыханье Б. Онъ бѣжалъ за мной до самаго дворца.

Я успокоилась только тогда, когда оказалась на площадкѣ передъ домомъ. Отецъ завтракалъ.

— Что это съ тобой? Почему ты такъ запыхалась? — спросилъ онъ.

— Быстро шла, — отвѣтила я и убѣжала въ свою комнату.

На душѣ было гадко.

Съ этого дня отношенія съ Б. у меня испортились. не было въ нихъ той простоты и ясности, какъ раньше.

Маша жила въ Ялтѣ, прїѣхала Таня съ мужемъ и па-сынками — Наташей и Дорикомъ. Они поселились во фли-

гелѣ. Таня ожидала младенца, и на этотъ разъ, какъ и раньше, ребенокъ родился мертвымъ. Всѣ горевали. Отецъ нѣжной лаской старался утѣшить сестру. Жизнь сестеръ, ихъ радости и огорченія были по прежнему ему близки, а онѣ такъ же, какъ и раньше, скрашивали его одиночество.

Въ то время я не умѣла еще подойти къ отцу. Отчасти этому мѣшала моя застѣнчивость, отчасти мои 17 лѣтъ. Меня отвлекали и верховая ѣзда, и спектакли, и хоръ балалаечниковъ, съ которыми я ѣздила въ море. Надя М. жила въ то время въ Ялтѣ, я бывала у нея, мы ѣздили верхомъ большими кавалькадами. Иногда у насъ собиралось много молодежи, бывало весело.

Помню, у Сухотиныхъ жилъ учитель — маленькій, хроменькій человѣчекъ. Въ дѣтствѣ у него былъ кокситъ и одна нога осталась короче другой. Онъ стремился съ нами на прогулки, мы забывали про его хромоту и шли слишкомъ быстро. Онъ уставалъ, лицо его покрывалось красными пятнами, потъ струился по измученному лицу, а онѣ спѣшили за нами, волоча свою больную ногу. Я жалѣла его, незамѣтно отставала, удерживала другихъ. Почувствовалъ ли онѣ во мнѣ доброе отношеніе или по другимъ причинамъ, онѣ привязался ко мнѣ.

Все, чѣмъ жилъ отецъ въ то время, задѣвало меня лишь однимъ краемъ. Истинная же сущность его пониманія жизни была мнѣ недоступна. Я только что прочла «Войну и Миръ», это было цѣлымъ событіемъ въ моей жизни. Я читала и перечитывала книгу, она была понятнѣе и доступнѣе мнѣ, чѣмъ статья отца «О религіи», которую онѣ въ то время писалъ.

Меня продолжали захватывать только отдѣльные моменты дѣятельности отца: выступленіе противъ церкви и правительства. Когда я прочла второе письмо отца къ Царю, оно сильно подѣйствовало на мое воображеніе. Я мечтала о томъ, какъ Царь получитъ письмо, вызоветъ отца и будетъ съ нимъ говорить, и послѣ этого въ Россіи все измѣнится. Я не сомнѣвалась, что Царь, получивъ письмо, пойметъ то, что въ немъ такъ сильно и смѣло изложено. Я сомнѣвалась только, что письмо дойдетъ по назначенію.

«Мнѣ не хотѣлось умереть, не сказавъ вамъ того, что я думаю о вашей теперешней дѣятельности и о томъ, какую

она могла бы быть, какое большое благо она могла бы принести миллионамъ людей и вамъ, и какое зло она можетъ принести людямъ и вамъ, если будетъ продолжаться въ томъ же направленіи, въ которомъ идетъ теперь», — писалъ отецъ царю.

«Самодержавіе есть форма правленія отжившая, могущая соответствовать требованіямъ народа гдѣ-нибудь въ Центральной Африкѣ, отдаленной отъ всего міра, но не требованіямъ русскаго народа, который все больше и больше просвѣщается общимъ всему міру просвѣщеніемъ; и потому поддерживать эту форму правленія и связанное съ ней православіе можно только, какъ это и дѣлается теперь, посредствомъ всякаго рода насилія, усиленной охраны, административныхъ ссылокъ, казней, религіозныхъ гоненій, запрещеній книгъ, газетъ, извращенія воспитанія и вообще всякаго рода дурныхъ и жестокихъ дѣлъ.

И таковы были до сихъ поръ дѣла вашего царствованія, начиная съ возбудившаго общее негодованіе всего русскаго общества отвѣта Тверской депутаціи, гдѣ вы самыя законныя желанія людей называли «безсмысленными мечтаніями», всѣ ваши распоряженія о Финляндіи, о китайскихъ захватахъ, вашъ проектъ Гаагской конференціи, сопровождаемый усиленіемъ войскъ, ваше ослабленіе самоуправленія и усиленіе административнаго произвола, ваша поддержка гоненій за вѣру, ваше согласіе на утвержденіе винной монополіи, т. е. торговля отъ правительства ядомъ, отравляющимъ народъ и, наконецъ, ваше упорство въ удержаніи тѣлеснаго наказанія, несмотря на всѣ представленія, которыя дѣлаются вамъ объ отмѣнѣ этой позорящей русскій народъ, безсмысленной и совершенно безполезной мѣры. Всѣ эти поступки, которые вы не могли бы сдѣлать, если бы не задались, по совѣту вашихъ легкомысленныхъ помощниковъ невозможной цѣлью не остановить жизнь народа, но вернуть его къ прежнему, пережитому состоянію.

Мѣрами насилія можно угнетать народъ, но не управлять имъ». 12 января 1902 г.

Отецъ обратился къ великому князю Николаю Михайловичу и просилъ передать письмо Государю. То, что Николай Михайловичъ взялся передать письмо, могущее за него навлечь гнѣвъ Николая II, было новымъ доказательствомъ хорошаго отношенія великаго князя къ отцу. Царь получилъ письмо, но оно не произвело на него никакого

впечатлѣнія, а отецъ 8-го февраля совершенно больной, диктовалъ Б. слѣдующія мысли:

«...изъ того тяжелаго и угрожающаго положенія, въ которомъ мы находимся, есть только два выхода: первый, хотя и очень трудный — кровавая революція, второй — признаніе правительствами ихъ обязанности не идти противъ прогресса, не отстаивать стараго, или какъ у насъ возвращаться къ древнему, — а появивъ направленіе пути, по которому движется человѣчество, вести по немъ свои народы.

Я попытался указать на этотъ путь въ двухъ письмахъ къ Николаю II».

Полиція повидимому слѣдила за нашей семьей. Помню, сестра Маша получила вещи или книги изъ дому. Кто то донесъ, что пришла большая партія запрещенной литературы. Полиція заволновалась, заработали тайные агенты, установили слѣжку за квартирой сестры и за тѣми, кто приходилъ къ ней. Помню, у сестры гостилъ пріѣхавшій изъ Чехословакіи докторъ Душанъ Петровичъ Маковицкій. За нимъ также слѣдили и онъ съ ужасомъ рассказывалъ, что изъ-подъ «сепресовъ» (по словацки кипарисы) выходятъ шпионы и идутъ за нимъ. Мы посмѣялись, но скоро сами испытали на себѣ преслѣдованіе. Какъ то вечеромъ отправились гулять на набережную: товарищъ моихъ братьевъ Алеша Дьяковъ, сестра Оболенскаго, Наташа и я. Вдругъ видимъ, что дѣйствительно изъ-за кипарисовъ, растущихъ во дворѣ, вышелъ человѣкъ и пошелъ по другой сторонѣ улицы. Мы ускорили шаги, онъ также, мы свернули на базаръ, онъ за нами, мы вскочили на моль, онъ отъ насъ не отставалъ. Мы съли на скамеечку, любуясь моремъ и стараясь забыть про нашего преслѣдователя, но когда мы встали, онъ оказался впереди насъ.

— Стойте, — закричала я, — не пускайте его назадъ!

И вотъ началась гонка, въ которой роли переменялись. Сыщикъ замедлялъ ходъ, замедляли ходъ и мы. Онъ шелъ быстрѣе, мы отъ него не отставали, онъ бросился на Набережную, мы за нимъ, въ переулокъ, мы за нимъ, онъ сѣлся на скамеечку, мы спокойно усаживались рядомъ. Полицейскій метался какъ затравленный звѣрь, а мы громко хохотали и издѣвались надъ несчастнымъ, неопытнымъ шпикомъ. Мы довели его до отчаянія. Наконецъ гдѣ то около стараго базара, онъ юркнулъ въ тем-

ный, сомнительнаго вида трактиръ. Алеша сказалъ, что намъ лучше туда не ходить и мы, смѣясь, возбужденные гонкой, вернулись домой и рассказали Оболенскимъ наши приключенія. Можетъ быть потому, что этотъ случай передавался въ Ялтѣ изъ устъ въ уста, всѣ смѣялись надъ глупостью полиціи и дѣло дошло до полицейскаго управленія, можетъ быть по какимъ либо другимъ причинамъ, но больше сыщиковъ мы не замѣчали. Возможно также, что поставили болѣе опытныхъ.

Въ серединѣ января отецъ опять заболѣлъ. Сначала пріѣхалъ изъ Петербурга лейбъ-медикъ Бертенсонъ, потомъ одинъ изъ лучшихъ московскихъ врачей Щуровскій. Изъ Ялты ѣздили Альтшуллеръ, Елпатьевскій, постоянно приходилъ мѣстный земскій врачъ Волковъ. Болѣлъ бокъ. Врачи нѣсколько дней колебались въ установленіи точнаго діагноза. Сначала нашли плевритъ, потомъ воспаленіе легкаго. На этотъ разъ отецъ слегъ въ постель почти на четыре мѣсяца.

То, что старикъ на восьмомъ десяткѣ, съ ослабленнымъ грудной жабой и лихорадками сердцемъ, могъ выдерживать плевритъ, воспаленіе въ легкихъ, и, сейчасъ же, почти безъ перерыва, брюшной тифъ — было величайшимъ чудомъ! Но эти четыре мѣсяца всѣ мы только и жили вѣрой въ это чудо. Надежда смѣнялась отчаяніемъ.

Пріѣзжали и уѣзжали братья съ женами, Маша съ мужемъ снова переселилась въ Гаспру, каждую ночь по двое дежурили около отца. Мама дежурила каждый день до четырехъ часовъ утра и никому не хотѣла уступать своего дежурства, ее смѣняли Таня и я. Маша слабая, больная, но самая ловкая, дежурила всегда утромъ или днемъ. Ей онъ диктовалъ свои мысли, съ ней говорилъ о самомъ важномъ — о смерти, къ которой готовился.

Но люди мѣшали ему. Мало того, что онъ не довѣрялъ имъ, мѣшали тому душевному процессу, который совершался въ немъ и который онъ считалъ важнѣе исцѣленія.

Въ это время въ дневникѣ отца все чаще и чаще появлялись три буквы: Е. Б. Ж. — «если буду живъ». Начиная день, онъ считалъ необходимымъ вспомнить, что жизнь не зависитъ отъ нашей воли, что каждый часъ, каждую минуту, мы можемъ умереть.

Отецъ очень не любилъ, когда люди строили планы.

— Ахъ Боже мой, — говорилъ отецъ, — да какъ это можно, какъ можно, а если вы завтра умрете? Ну какъ можно загадывать, когда въ вашей власти только настоящее, вы даже не знаете, что съ вами будетъ вечеромъ.

«23 января. Гаспра. 1902 г. Е. Б. Ж.», — пишетъ отецъ въ дневникъ. — «Все слабъ. Приѣхалъ Бертенсонъ. Разумѣется пустяки. Чудные стихи:

«Зачаль старинушка покряхтывать!
 «Зачаль старинушка покашливать!
 «Пора старинушкѣ подъ холстинушку,
 «Подъ холстинушку, да и въ могилушку»*)».

Но развѣ для всѣхъ насъ, молодыхъ, полныхъ силъ, въ этотъ моментъ живущихъ только одной мыслью о спасеніи отца, понятно было его состояніе? Разумѣется нѣтъ. Думаю, что даже Машу готовность отца къ смерти, его постоянное упоминаніе объ этомъ больше пугали, чѣмъ радовали. Всѣмъ намъ нужны были врачи, ихъ совѣты, ихъ ободряющія замѣчанія, лѣкарства, которые мы, точно священнодѣйствуя, капали, компрессы, мушки, горчичники, клизмы... Отецъ отмахиваясь отъ насъ или снисходительно позволяя намъ дѣлать всѣ эти, ненужныя съ его точки зрѣнія, вещи, только бы не мѣшали главному.

— Пора старинушкѣ подъ холстинушку, подъ холстинушку да и въ могилушку, — повторялъ онъ со слабой улыбкою.

Во время отцовской болѣзни ближе всѣхъ сыновей подошелъ къ нему Сережа. Съ какой нѣжностью, съ какимъ самоотверженіемъ этотъ съ виду неуклюжій, суровый человѣкъ ухаживалъ за отцемъ, поднималъ его какъ ребенка, ставилъ ему компрессы, переносилъ съ мѣста на мѣсто, прислушиваясь къ каждому отцовскому вздоху, угадывая его чувства и желанія.

А отецъ все замѣчалъ, обо всѣхъ думалъ, за всѣхъ страдалъ. Его мучило, что мама ежедневно дежурила до 4-хъ часовъ утра и устанала. Обычно я старалась притти на полчаса раньше.

— Ты рано, — говорила мама.

— Ахъ, развѣ? Стало быть мои часы спѣшать, — оправдывалась я.

*) Архивъ Толстовскаго музея.

— Иди, Соня, пожалуйста, иди, ты вѣдь такъ устала, — умоляюще говорилъ отецъ.

И мама, указавъ мнѣ, что надо дѣлать, какія въ котормъ часу давать лѣкарства, — уходила.

Помню, дежурилъ Н. Н. Ге *) — Количка, какъ мы всѣ его называли. Была глухая ночь. Отецъ не спалъ, громко стоналъ, покашливалъ и, наконецъ, тихимъ голосомъ позвалъ меня.

— Саша, — сказалъ онъ, — постучи ручкой двери!

Я слышала, что онъ сказалъ, но не поняла его.

— Ахъ, Боже мой, — произнесъ онъ недовольно, — ну какъ ты не понимаешь? Количка храпитъ. Если тихонько постучать, можетъ быть онъ перевернется на другой бокъ и перестанетъ.

— Такъ я сейчасъ его разбужу, — сказала я, думая о томъ, въ какомъ будетъ отчаяніи Количка, если узнаетъ, что отецъ не спалъ изъ-за его храпа.

— Что ты, что ты! — съ испугомъ воскликнулъ отецъ. — Развѣ можно его будить? Ты сдѣлай то, что я говорю.

Я постучала тихонько, потомъ громче, но на Николая Николаевича это не произвело никакого впечатлѣнія, онъ такъ же громко, безсовѣстно, съ отвратительнымъ присвистомъ храпѣлъ.

— Ну, нечего дѣлать, — грустно сказалъ отецъ, — пусть спитъ.

Черезъ нѣсколько секундъ я тихонько закрыла дверь, обошла другимъ ходомъ въ комнату, гдѣ спалъ Николай Николаевичъ и такъ встряхнула его, что онъ немедленно испуганный, лохматый и сонный привскочилъ на кровати.

— Что случилось?

— Ничего, храпите вы, мѣшаете отцу спать!

— Да что ты, Саша!

Количка былъ ужасно огорченъ и, разумѣется, остальную часть ночи не спалъ.

Въ другой разъ былъ такой случай. Пришла я утромъ въ спальню отца. Онъ только что проснулся и съ помощью Б. совершалъ туалетъ. Отецъ просилъ набить чистый гребешокъ ватой и вычесать ему волосы. Но дѣло

*) Н. Н. Ге — сынъ художника Ге.

не ладилось. Б. силой старался протолкнуть вату въ мелкіе зубья, а она никакъ не лѣзла и отрывалась.

— Ахъ, Боже мой, — говорилъ отецъ съ легкимъ раздраженіемъ, — ну какъ это не набить гребня ватой! Да неужели вы никогда не вычесываете своихъ волосы?

— Нѣтъ, никогда, Левъ Николаевичъ, — смущенно и виновато отвѣчалъ плѣшивый Б., — никогда.

Увидавъ меня, онъ обрадовался.

— Александра Львовна! Ради Бога помогите. Вы умѣете набивать частый гребень ватой?

— Ну, конечно, — сказала я, — пустите-ка, я сама причешу и вымою отца.

У отца были тонкіе, мягкіе волосы, на затылкѣ они пушились, какъ у ребенка. Надо было ихъ вычесать, а потомъ щеткой расчесать бороду. Это было очень страшно, малѣйшее неловкое движеніе причиняло боль, а борода была путаная, курчавая, большая. Потомъ надъ было вымыть руки съ мыломъ, лицо и шею губкой или ваткой, прибавивъ въ воду немножко одеколона, чтобы лучше освѣжало.

Ползучее воспаленіе въ легкихъ одна изъ самыхъ изнурительныхъ болѣзней. Рассасывается фокусъ — температура понижается. Вдругъ снова черезъ нѣсколько часовъ появляется жаръ, оказывается въ другомъ мѣстѣ появился новый фокусъ и такъ тянется недѣлями, мѣсяцами. Отецъ кашлялъ, задыхался, иногда не могъ лежать, ему подкладывали безконечное количество подушекъ подъ голову, чтобы облегчить дыханіе. Иногда онъ сильно страдалъ, охалъ, стоналъ, задыхался, минутами лежалъ точно въ забытѣ. У отца болѣло все тѣло — боялись пролежней. Онъ такъ похудѣлъ, что страшно было на него смотрѣть. По ночамъ у него ныли ноги.

— Потри, пожалуйста! — просилъ онъ.

Растираешь и чувствуешь подъ руками острыя кости и дряблыя, дряблыя, точно пустыя мышцы. Отъ постоянныхъ вспрыскиваній болѣли руки, на спинѣ сходила кожа отъ компрессовъ и мушекъ.

Мы не давали врачамъ прохода:

— Ну что, рассасывается фокусъ? Какого онъ размѣра, съ пятакъ, больше? Они рисовали, объясняли, обнадживали.

Въ промежуткахъ между дежурствами Щуровскій звалъ меня съ собой верхомъ. Стройный, прямой, въ венгеркѣ

съ расчесанной на двѣ стороны бородой, Щуровскій былъ похожъ на кавалерійскаго полковника больше, чѣмъ на доктора. Онъ прекрасно ѣздилъ верхомъ.

Помню, какъ то лошадь у меня захромала и я предложила вернуться домой.

— Что, домой? — Клинь клиномъ вышибается! — И онъ пустилъ лошадь полнымъ ходомъ чуть ли не до самой Ялты. Я смотрѣла на него съ восхищеніемъ. Мнѣ казалось, что только онъ можетъ спасти отца отъ смерти. А онъ мчался веселый, безпечный, не похожий на того Щуровскаго, который съ серьезнымъ, озабоченнымъ лицомъ входилъ къ отцу и искусственно-бодрымъ голосомъ, точно желая подавить робость передъ своимъ пациентомъ, громко спрашивалъ:

— Ну, какъ мы себя чувствуемъ сегодня, Левъ Николаевичъ?

Помню самую страшную ночь. Въ мрачной столовой Гаспринскаго дома сидѣли: Щуровскій, Альтшуллеръ, Волковъ и я. Мама и Маша были у отца. Щуровскій и Альтшуллеръ то и дѣло вставали, заходили въ спальную къ отцу и возвращались обратно. Лицо Щуровскаго, обычно бодрое, теперь было озабоченно и мрачно. Изрѣдка врачи перебрасывались между собой нѣсколькими фразами, которыхъ я не понимала.

— Владиміръ Андреевичъ, — обратилась я къ Щуровскому, — умоляю васъ, скажите, есть надежда?

— Нѣтъ, никакой. Но увидавъ мое лицо, добавилъ: — изъ ста случаевъ одинъ, что онъ выживетъ. — И какъ будто, желая избѣгнуть дальнѣйшихъ разговоровъ, всталъ и вышелъ.

Волковъ ласково тронулъ меня за рукавъ.

— Александра Львовна, я не имѣю основанія, какъ врачъ, говорить вамъ это, я скажу, какъ обыкновенный человекъ. Я всей душой чувствую, что Левъ Николаевичъ выздоровѣетъ, вотъ увидите!

Никто не спалъ въ эту ночь. Врачи не отходили отъ отца. Бывали минуты, что пульсъ едва прощупывался. Душевно отецъ былъ все такъ же спокоенъ, но физически сильно страдалъ.

Въ эту ночь невѣстка Ольга родила мертвого младенца.

Къ утру отецъ заснулъ. Кризисъ миновалъ. Земскій врачъ оказался правъ. И съ этого дня, хотя и медленно,

здоровье отца стало поправляться. Изю дня въ день ему становилось лучше, постепенно воспаление рассасывалось, въ теплые дни онъ сталъ выходить на балконъ. Къ сожалѣнню зима была холодная, не переставая дуль нордъ-остъ, который особенно чувствовался въ Гаспрѣ, стоящей высоко и со всѣхъ сторонъ открытой для вѣтровъ.

Когда прошло безпокойство за жизнь отца, мы съ ужасомъ замѣтили, что отъ ѣдкихъ лѣкарствъ испортились подоконники, и пострадала великолѣпная Панинская мебель. Мы очень боялись испортить обстановку дворца, но когда отцу бывало плохо, намъ было не до этого.

— Ай, ай, ай, — кричалъ отецъ, — ай, опять Панинскіе подоконники залили.

Иногда отецъ въ креслѣ сидѣлъ на солнышкѣ. Ходить онъ еще не могъ, только чуть передвигался, опираясь на палочку.

Помню, какъ то пріѣхалъ Б. Онъ всегда насъ подбадривалъ и веселилъ. Отецъ, Оболенскій, даже мама, плохо относившаяся къ толстовцамъ, любили его.

Выдался чудесный, тихій день. Б., отецъ и я поѣхали къ морю. Это былъ, кажется, первый выѣздъ отца послѣ болѣзни. На берегу стояли турецкія, парусныя лодки.

— Знаете что, Левъ Николаевичъ! — вдругъ радостно воскликнулъ Б., — поѣдьте на лодкѣ?!

Я думала, что Б. сошелъ съ ума. Но отцу идея эта понравилась и онъ согласился.

Два крѣпкихъ, стройныхъ турка подхватили отца на руки, какъ перышко, перенесли на палубу и уложили на коверъ. Перебѣгая по бортамъ лодки, они быстро и ловко установили паруса. Набравъ вѣтра, паруса затрепыхались и фелюга, чуть накренившись на одинъ бокъ, понеслась въ открытое море, оставляя за собой свѣтлую, блестящую полосу на гладкой поверхности воды. Недалеко отъ насъ небольшими стаями неуклюже ворочались дельфины.

— Какъ чудесно, какъ чудесно, — приговаривалъ отецъ.

Берегъ удалялся, мы едва различали дома, круглыя, сѣрыя башни нашего дворца, бѣлый, неуклюжій въ мазританскомъ стилѣ «Дюльберъ». Уже виденъ былъ мысъ Ай-Тодоръ и Ласточкино гнѣздо. Лодку стало чуть-чуть подкидывать на волнахъ. Миѣ стало жутко. «Вдругъ буря», мелькнуло у меня въ головѣ.

— П. А., — сказала я, — пожалуйста, поѣдьте назадъ!

— Ну, — говорилъ Б., — теперь миѣ въ пору и не показываться Софіи Андреевнѣ на глаза, вотъ попадетъ!

Мы хотѣли скрыть наше приключеніе, но, разумѣется, проболтались. Уже очень намъ всѣмъ троимъ хотѣлось подѣлиться впечатлѣніями о чудесной прогулкѣ.

Въ ясные солнечные дни мы возили отца въ самокачающемся креслѣ. Одинъ разъ отецъ пожелалъ, чтобы мы съ Ильей Васильевичемъ спустили его въ паркъ. И сейчасъ, какъ вспомню, бьется сердце. Тяжелое кресло катилось внизъ, одинъ держалъ спереди, другой сзади. Минутами кресло такъ сильно напирало, что казалось не было возможности затормозить его и мы буквально ѣхали на ногахъ, скользя подошвами по гравію.

— Ну смѣлѣе, смѣлѣе, — ободрялъ насъ отецъ, — чего вы боитесь?

Другой разъ Б. выдумалъ вести отца въ креслѣ на горизонтальную дорожку, чему отецъ, разумѣется, очень обрадовался. Для того, чтобы туда попасть, надо было спустить кресло по очень крутой тропѣ. Б. не былъ такъ силенъ, какъ Илья Васильевичъ. Я буквально ложилась подъ кресло, стараясь затормозить его. Потъ лилъ съ насъ градомъ, а когда мы наконецъ доѣхали, отецъ съ удивленіемъ спросилъ:

— Что это вы такъ вспотѣли?

Но зато чудесно было на горизонтальной дорожкѣ, отецъ радостно улыбался, шутилъ и восхищался прекрасными видами.

Въ виду частыхъ болѣзней отца, рѣшено было пригласить постоянного домашняго врача. Къ намъ пріѣхалъ бывшій ассистентъ Остроумова, серьезный и вдумчивый врачъ, Дмитрій Васильевичъ Никитинъ, который сразу завоевалъ не только довѣріе, но и симпатію всей нашей семьи.

Недолго и на этотъ разъ пришлось намъ радоваться на состояніе отца. Когда сестра Таня и братья всѣ постепенно стали разъѣзжаться по своимъ домамъ, а мама поѣхала въ Москву устраивать денежные дѣла и послушать музыку, отецъ заболѣлъ брюшиннымъ тифомъ. Полетѣли во всѣ стороны телеграммы, снова всѣ стали съѣзжаться, вызывали врачей, назначали дежурства. Отца перенесли наверхъ, въ большую свѣтлую комнату рядомъ съ моей. Его

слабило, болѣлъ животъ. И опять вся жизнь сосредоточилась на томъ, какъ поставить клизму, какъ не перекапать лишнюю каплю лѣкарства, какъ ловчѣе подложить судно. Опять начались страшныя, бессонныя ночи.

Мнѣ недолго пришлось ходить за отцемъ. Я заболѣла. Я лежала рядомъ съ комнатою отца. У меня былъ сильный жаръ и боли въ желудкѣ. Нѣкоторые врачи опредѣлили аппендицитъ, другіе тифъ. Я бредила. Таня, Маша, Сережа, мама — всѣ заходили ко мнѣ. Когда я очнулась, отцу было много лучше, температура падала.

— Проклятый Крымъ, — говорила мама, — сидѣли бы въ Ясной, ничего бы не было. Чудо будетъ, если мы всѣ отсюда уѣдемъ живыми, Левъ Николаевичъ четыре мѣсяца болѣеть, теперь Саша заболѣла, надо скорѣе, скорѣе уѣзжать.

Ждали только, когда отецъ будетъ въ состояніи ѣхать.

Въ это время произошелъ одинъ комическій случай. Изъ Ялты пріѣхала большая компанія любопытныхъ. Они умоляли Льва Николаевича показаться. Мама не соглашалась ихъ принять, говоря, что отецъ очень слабъ и не выходитъ.

— Ну, пусть хоть у окна покажется, — умоляли посетители, — мы на него только посмотримъ.

Они такъ долго и настойчиво просили, что отецъ сжался и согласился, чтобы его кресло подкатили къ окну.

— Здравствуйте, здравствуйте, чѣмъ могу служить? — заговорилъ отецъ тихимъ, слабымъ голосомъ.

Какъ всегда въ такихъ случаяхъ, ему было тяжело и неловко. Всѣ молчали. Вдругъ, расталкивая локтями остальныхъ, къ окну протискалась толстая, низенькая, какъ просфора, дама:

— Левъ Николаевичъ, дорогой вы нашъ, я такъ счастлива, я съ такимъ восторгомъ читала ваши «Отцы и дѣти».

— Дѣтство и Отрочество, — Дѣтство и Отрочество, — шепотомъ подсказывали ей сзади.

— Ахъ, не мѣшайте, развѣ не все равно! — горячилась дама, вся потная и красная отъ волненія, — развѣ не все равно, я читала и «Дѣтство и Отрочество»... Милый Левъ Николаевичъ, голубчикъ вы нашъ...

Барыню оттѣснили.

Только въ срединѣ іюня мы уѣхали въ Ясную Поляну. Съ нами ѣхалъ братъ Сергѣй, докторъ Никитинъ и Б. Я

была очень слаба. Былъ жаръ. Сережа-братъ на рукахъ снесъ меня по винтовой лѣстницѣ и посадилъ въ коляску. Въ головѣ шумѣло. Я смутно помню любопытныхъ, которые смотрѣли на отца, провожающихъ, говорили, что на пароходѣ Чеховъ, Елпатьевскій, Купринъ. Я никого не видѣла. Мнѣ не было плохо. Сережа принесъ мнѣ на па-дубу шезъ-лонгъ и я легла. Въ Севастополь на этотъ разъ мы не заѣзжали, а сейчасъ же поѣхали на вокзалъ и сѣли въ тотъ же директорскій вагонъ. Здѣсь мнѣ стало совсѣмъ плохо, поднялась температура, начались сильныя боли. Б. бѣгалъ куда то за льдомъ. Должно быть отъ тряски обострился аппендицитъ.

Помню, какъ отецъ слабый, худой приходилъ въ купе и садился у меня въ ногахъ. Глаза его свѣтились ласковой.

— Можетъ быть тебѣ что-нибудь нужно?

И было такъ странно, что я здоровая, сильная лежу и не могу вскочить, побѣжать, помочь ему, а онъ такой слабый, худой хочетъ что то для меня сдѣлать...

XIV.

НЕУДАЧНЫЕ РОМАНЫ.

Мнѣ было шестнадцать лѣтъ, когда отецъ прочиталъ письмо моего друга, тульскаго гимназиста, и запретилъ мнѣ съ нимъ переписываться. Я стояла въ своей комнатѣ растерянная, сконфуженная съ письмомъ въ рукахъ и пыталась объяснить отцу, что у меня съ гимназистомъ прекрасныя, чистыя отношенія, ничего больше. Отецъ съ досадою перебилъ меня:

— Ни къ чему это. — сказалъ онъ, не глядя на меня, — ни къ чему! Сообщи ему, чтобы онъ больше не писалъ тебѣ!

Отецъ замѣтилъ въ письмѣ нѣчто, переходящее въ болѣе нѣжныя чувства, чѣмъ дружба. Я же объ этомъ не думала, все мое вниманіе было направлено на то, чтобы обратить въ толстовство зараженного социализмомъ юношу. Я считала, что отецъ неправъ, но не хотѣла его ослушаться и написала гимназисту, что по желанію отца

я должна прекратить съ нимъ переписку. Юноша былъ оскорбленъ и многіе годы послѣ этого не бывалъ въ нашемъ домѣ.

Еще когда сестры не были замужемъ, я замѣчала, какъ мучительно страдалъ отецъ, когда ктонибудь за ними ухаживалъ. Помимо воли, онъ ревниво слѣдилъ за всѣми ихъ движеніями, вслушивался въ интонаціи голоса, ловя въ нихъ кокетливныя нотки. Иногда онъ съ трудомъ сохранялъ спокойную вѣжливость съ молодыми людьми, иногда, наоборотъ, дѣлался съ ними преувеличенно любезнымъ, какъ бы подчеркивая этимъ недопустимость малѣйшей близости съ его дочерьми.

Мнѣ думается, въ чувствахъ отца была и ревность, и боязнь потерять дочерей, а главное боязнь нечистаго.

— Я самъ былъ молодъ, — говорилъ онъ, — знаю, какъ отвратительно, мерзко бываетъ проявленіе страсти.

Среди людей, подходящихъ къ дочерямъ, онъ отцовскимъ, мужскимъ чутьемъ старался угадывать тѣхъ, у кого были дурныя помыслы. Онъ мучился, волновался, видѣлъ опасность, гдѣ ея не было, и не замѣчалъ ея тамъ, гдѣ она дѣйствительно была. Онъ запретилъ мнѣ переписываться съ наивнымъ тульскимъ гимназистикомъ и не зналъ, что, когда мнѣ было пятнадцать лѣтъ, меня преслѣдовалъ одинъ толстолицъ...

Я помню, какъ толстолицъ зазвалъ меня подъ какимъ то предлогомъ въ пустую лакейскую рядомъ съ передней, что то вкрадчивымъ, мягкимъ голосомъ говорилъ мнѣ, а потомъ рѣзкимъ движеніемъ схватилъ и хотѣлъ прижать къ себѣ. Меня обдало запахомъ пота, легтя, я ударила его, что было силы кулакомъ, вырвалась и убѣжала. Все дрожало во мнѣ отъ обиды, гадливости, отвращенія...

Трудно было предугадать поводъ, могущій вызвать безпокойство отца.

Помню такой случай. Въ Ясную Поляну пріѣхалъ репетиторъ Сухотиныхъ, тотъ самый хромой студентъ, съ которымъ я подружилась въ Крыму. Мы сидѣли съ нимъ въ «ремингтошной» *) и провѣряли переписанную мною для отца статью. Студентъ читалъ, я слѣдила по рукописи, иногда мы прерывали чтеніе и перебрасывались замѣча-

*) «Ремингтошной» называлась у насъ канцелярія, потому что въ ней стояли двѣ пишущія машинки «ремингтонъ».

ніями по поводу прочитаннаго. Студентъ былъ счастливъ, что видитъ меня, счастливъ, что находится въ Ясной Полянѣ и помогаетъ мнѣ провѣрять отцовскую статью. Худое лицо его сіяло, онъ смотрѣлъ на меня съ благодарностью.

Нѣсколько разъ отецъ входилъ въ комнату. Постоить молча и уйдетъ. Это бывало и раньше, когда я считывала вслухъ его статьи. Онъ любилъ ихъ послушать, а затѣмъ снова перенравить тѣ мѣста, которыя казались ему недостаточно гладкими или ярко выраженными.

Въ послѣдній разъ онъ пришелъ, долго стоялъ у двери, засунувъ руки за поясъ.

Вы скоро кончите? — спросилъ онъ.

— Нѣтъ еще, а что?

— Нѣтъ, нѣтъ, ничего, — и послѣшно ушелъ къ себѣ въ кабинетъ.

По его тону и выраженію лица, мнѣ показалось, что онъ недоволенъ, но я отогнала отъ себя эту мысль.

«Почудилось, вѣрно», — подумала я, и мы продолжали считку.

Но черезъ нѣсколько минутъ вызвала меня Маша въ соседнюю комнату. Она была разсержена.

— Что это ты съ отцемъ дѣлаешь, а? — строго спросила она.

— Что? — испуганно пробормотала я.

— Что? Да развѣ ты не видишь, въ какомъ онъ состояніи?

— Почему? Что случилось?

Да знаешь ли ты, — горячилась Маша, что онъ хотѣлъ выгнать твоего студента! А ты сидишь съ нимъ тутъ, кокетничаешь, и ничего не замѣчаешь!

— Что ты, Маша! Онъ такой несчастный. Мнѣ жалко его!

— Жалко! — передразнила она меня, — что-жъ ты не знаешь, что онъ въ тебя влюбленъ? Отецъ сказалъ: «Я его сейчасъ съ лѣстницы спущу, какъ онъ смѣетъ на Сашу такъ смотрѣть!»

Я умоляла Машу успокоить отца, увѣряла, что устрою такъ, что студентъ уйдетъ, только не надо обижать его. Маша должно быть поняла, что погорячилась и, обѣщавъ поговорить съ отцемъ, ушла.

Когда я вернулась въ рсмингтонскую, я не поднимала глазъ на студента. Миѣ было неловко передъ нимъ, я не знала, что говорить. Онъ должно быть самъ догадался, что случилось неладное и утромъ уѣхалъ. У меня осталось впечатлѣніе, что онъ обиженъ.

У насъ гостилъ князь N., молодой, красивый, гладко выбритый, блѣднорозовый человекъ, одѣтый съ иголочки съ утонченной свѣтской рѣчью и манерами. Я на него мало обращала вниманія. Мама была этимъ недовольна и старалась быть любезна съ княземъ. Она всегда мечтала выдать меня замужъ за богатаго человекъ съ именемъ. Князь отвѣчалъ всѣмъ ея требованіямъ.

Былъ тихій июньскій вечеръ. Всѣ пошли въ цыганскій таборъ по дорогѣ къ шоссе.

Цыгане съ незапамятныхъ временъ малыми и большими таборами проходятъ мимо Ясной Поляны по старой Екатерининской дорогѣ *).

Живутъ они въ фурахъ или палаткахъ, водятъ за собой больныхъ, старыхъ, хромыхъ и слѣпыхъ лошадей, барышничаютъ ими на ярмаркахъ. Всѣ знаютъ, что цыгане жулики, что ни къ кому не примѣнима такъ поговорка «не обманешь — не продашь», какъ къ цыганамъ, а все-таки они ухитряются спускать своихъ лошадей: блѣлыхъ — красятъ, старымъ подпиливаютъ зубы, чтобы нельзя было опредѣлить возраста, передъ ярмаркой, чтобы лошадь казалась горячѣе, напаваютъ ее водкой. Однимъ словомъ, ни одинъ барышникъ на свѣтѣ не знаетъ такихъ фокусовъ съ лошадьми, какъ цыганъ.

Изъ-за природной ли ихъ дикости и удалства, изъ-за поразительной ли ихъ музыкальности, но всѣ Толстые, не исключая отца, любили цыганъ. Дядюшка Сергѣй Николаевичъ былъ женатъ на цыганкѣ, нѣкоторые Толстые прожигали на нихъ состоянія. Цыганъ гнали отовсюду, помѣщики не позволяли имъ останавливаться на своей землѣ, такъ какъ неприятностей отъ нихъ было много: то луга потравятъ, то лошадь уведутъ. Въ Ясной Полянѣ ихъ не тѣснили и они не вредили усадьбѣ.

*) Широкая грунтовая дорога, обсаженная ивами, проложенная при Екатеринѣ II во время ея путешествія по Россіи.

На этотъ разъ цыгане раскинули палатки на склонѣ бугра около границы. Такъ называлось у насъ мѣсто, гдѣ стоялъ кирпичный, аршинъ въ пять толщиной, столбъ, сохранившійся вѣроятно еще отъ Екатерининскихъ временъ. Онъ былъ украшенъ царскимъ двуглавымъ орломъ и отдѣлялъ Тульскій уѣздъ отъ Крапивенскаго.

Черномазые чевалы *) что то бормоча по своему, стреноживали худыхъ, разномастныхъ лошадей. Женщины, повязанныя грязными, разноцвѣтными платками, изъподъ которыхъ выбивались черные, жесткіе завитки волосъ, въ подоткнутыхъ юбкахъ и съ большими блестящими серьгами въ ушахъ возились у потрескивающихъ костровъ, надъ которыми были подвѣшены черные, закопченные чугуны. На оглобляхъ отпряженныхъ фуръ сохли дохмотья. Лаяли собаки, фыркали лошади, кричали дѣти. Пахло дымомъ, навозомъ и лошадинымъ потомъ. Увидѣвъ насъ и, зная, что мы пришли посмотрѣть пляску, цыгане стали собираться въ кругъ. Женщины попрыщивали:

— Подай моимъ цыганеночкамъ, барыня, подай моимъ голопузенькимъ!

Кочевые цыгане поютъ скверно — громко, крикливо, но пляшутъ превосходно. Зато московскіе и петербургскіе цыгане, которые выступаютъ обычно въ ресторанахъ, поютъ хорошо, но пляшутъ хуже. Непосредственности, дикость уже утрачены.

Въ кругъ вошелъ молодой цыганъ, остановился, высоко поднявъ голову, оглянулся, хлопнулъ себя по колѣнкамъ, ударилъ рукой о-земь и, чуть вывернувъ локти, пошелъ. Старикъ въ рваной черной поддѣвкѣ, стоя на мѣстѣ поводилъ плечами, притопывалъ ногой, что то кричалъ осипшимъ, дикимъ голосомъ и вдругъ съ тяжеловатой, лѣнливой граціей поплылъ по кругу. Женщины громко, крикливо пѣли:

«Зеленое яблочко, розовый цвѣтъ,
«Почему ты любишь меня, а я тебя нѣтъ».

Молодой, курчавый цыганъ, скаля блѣлые зубы, двумя ложками играть какъ кастаньетами. Цыгане плясали, бывали чечотку, туловища же ихъ оставались совершенно неподвижными. Въ разгарѣ пляски старикъ останавли-

*) Чевалы — по цыгански мужчины.

вался какъ вкопанный, новодя плечомъ, затѣмъ бросала шапку на землю, вскакивала, снова на мгновенье замирая, и, поднявъ руку къ головѣ, шель дальше.

А за чевалами плыли женщины. Трудно было прослѣдить за тѣмъ, что онѣ выдѣлывали ногами. Нѣтъ ни одного рѣзкаго движенія въ ихъ пляскѣ, мелкой дрожью трясутся плечи, звенятъ на груди монеты, колышутся длинныя серьги. Забываешь ихъ грязь, вороватость, не видишь лохмотья, которыми онѣ прикрыты — въ пляскѣ онѣ торды и прекрасны.

Какъ хорошо отецъ на нихъ смотрѣлъ, какъ весело смѣялся, короткими восклицаніями, выражая свой восторгъ.

— Чудесно, чудесно, ахъ какъ хорошо!

Незамѣтно въ кругъ вступали маленькіе, полуголые, курчавые цыганята. Подражая взрослымъ они старательно выдѣлывали чечотку босыми ноженками, трясли плечами, ударяли ручками о землю.

Мы были въ восторгѣ. Намъ не надо было перебрасываться впечатлѣніями, мы и безъ словъ понимали другъ друга.

— Графиня, не правда ли въ этомъ бээездна поэзіи! — прозвучалъ надъ ухомъ чей-то чужой голосъ.

Я вздрогнула. Замѣчаніе князя мнѣ показалось такимъ пошлымъ, фальшивымъ...

Я не стала съ нимъ разговаривать и уѣхала съ отцемъ домой на шарабанѣ. Прошло нѣсколько дней. Князь снова появился.

— Что этотъ вылизанный князь къ намъ повадился? — спросилъ меня отецъ.

Меня поразили несвойственный ему рѣзкій тонъ.

— Не знаю, — отвѣтила я.

— Прекрасный молодой человекъ, — замѣтила моя мать. — Воспитанный, хорошей семьи и очень богатый.

Отецъ промолчалъ.

А послѣ обѣда, когда князь подсѣлъ ко мнѣ и сталъ занимать разговоромъ, я достала изъ кармана горсть подсолнуховъ и щелкала ихъ, поплеывая шелуху на землю.

Князь больше не пріѣзжалъ. Мама сердилась.

— Сапа совершенно не умѣетъ себя вести, — говорила она, — хорошихъ жениховъ отваживаетъ, вотъ и сидится въ дѣвкахъ...

Я всячески старалась избѣгать молодыхъ людей, никогда не оставаясь съ ними наединѣ изъ страха вызвать беспокойство въ отцѣ. Но все же иногда я невольно попадала въ просакъ.

Одинъ разъ братъ Андрей звалъ меня съ собой на охоту. Къ намъ присоединился племянникъ нашей сосѣдки Звигинцевой гр. К. Мы выѣхали за Крыльцово *) въ поле. Я иногда ѣздила съ братьями на охоту, но кажется за все время не видѣла, чтобы они затравили хоть одного зайца. Такъ было и на этотъ разъ. Мы проѣздили весь день. Вдругъ Андрей остановился, поднялъ арапникъ и дикимъ голосомъ закричалъ «ату ее!» Я оглянулась. Вправо отъ меня скакалъ Андрей, крича и намолачивая арапникомъ бока своей лошади. Моя лошадь англо-кабардинецъ подхватила, понеслась за собаками и немедленно обскакала брата. Я чувствовала, какъ она перескакивала межи, видѣла впереди лисицу, собакъ. Лисица повернула подъ гору, въ лощину черезъ дугъ. Мгновенье, я увидела подъ собой рѣчку, обрывистый берегъ. Хотѣла задержать лошадь, но было уже поздно. Я почувствовала, какъ она надала задомъ и перепрыгнула. Мы поскакали въ гору. «Что дѣлать, если собаки затравятъ лисицу?» Въ этотъ моментъ лисица махнула хвостомъ, собаки отлетѣли въ сторону. Она ушла.

Брата не было видно. Рядомъ со мной очутился графъ К. Мы остановили лошадей, шагом спустились обратно въ лощину, но рѣка показалась намъ настолько широкой, что мы не рѣшились перепрыгнуть черезъ нее и стали искать болѣе удобной переправы. Смеркалось. Мы ѣхали полями, изрѣдка попадались небольшіе перелѣски, овраги. Мы сбились съ дороги. Я, не переставая, думала объ отцѣ. Что онъ скажетъ, когда узнаетъ, что я одна съ молодымъ человекомъ блуждаю ночью по полямъ? Что онъ подумаетъ, какъ будетъ мучиться! К. былъ мнѣ непріятенъ. «И къ чему увязался? — думала я, — хоть бы Андриюшу найти!»

Степнѣло. Въ полномъ отчаяніи я рѣшила отдаться на волю лошади. Я пустила поводья и предоставила ей идти куда она хочетъ. Она тотчасъ же повернула подъ ярмыгъ угломъ и, весело поматывая головой, прибавила хо-

*) Крыльцово — деревня въ 5 верстахъ отъ Ясной Поляны.

ду. Мы заѣхали въ глубокой порослѣй лѣсомъ оврагъ. Вѣтки стегали лицо.

— Напрасно вы полагаетесь на лошадь, — говорилъ К., — увидите, что она Богъ знаетъ куда завезетъ насъ.

Но я не слушала его. Умное животное шло все увѣреннѣе и увѣреннѣе и, наконецъ, вышло на дорогу. Мы подѣхали къ лѣсу. На краю стояла избушка. Я хлыстомъ постучала въ окно. Вышелъ лѣсной сторожъ. Мы были на краю Яснополянскаго лѣса въ трехъ верстахъ отъ дома.

Я стала просить графа ѣхать домой, но онъ, желая быть любезнымъ, непремѣнно хотѣлъ меня проводить.

«О, Боже мой, — думала я, что подумаетъ отецъ, когда увидитъ его? Что дѣлать?»

Когда мы подѣхали къ дому, я довольно невѣжливо распрощалась съ К., не предлагая ему зайти.

Переодѣвшись, я пришла въ залу. Здѣсь было много народа. Отецъ сидѣлъ въ желтомъ креслѣ въ полуоборота къ столу, а вокругъ него Горбуновъ, Николаевъ и другіе. Шелъ оживленный разговоръ. Когда я вошла, отецъ взглянулъ на меня и, рѣзко прервавъ разговоръ, спросилъ:

— Ты откуда?

— Съ охоты.

— Одна?

— Нѣтъ; меня проводилъ К., — съ усиліемъ произнесла я.

Такъ же рѣзко отецъ отвернулся отъ меня и продолжалъ прерванный разговоръ.

Помню случай, показавшійся мнѣ тогда непонятнымъ. У насъ гостила сестра Ольги *) — Маруся, А. А. Суллеръ какъ всегда всѣхъ веселилъ, шутилъ, пѣлъ, и не было конца его затѣямъ, наконецъ онъ придумалъ телефонъ. Мы съ Марусей по ниточкѣ спускали записку, Суллеръ и Алеша изъ окна ловили ее и привязывали отвѣтъ. Писали глупости, радовались на собственное остроуміе и хохотали безъ конца. Одинъ разъ Суллеръ прислалъ намъ по-

*) Ольга Константиновна Толстая — первая жена Андрея Львовича Толстого.

сланіе, написанное высокопарнымъ стилемъ, гдѣ онъ началъ намъ свиданіе въ саду въ 12 часовъ ночи. Это было ново и увлекательно.

Маруся была уже взрослая и могла дѣлать, что хотѣла, а я еще была подъ надзоромъ миссъ Вельшъ и ночныя прогулки мнѣ были строго запрещены.

Настало время ложиться спать, я разулась, натянула ночную рубашку прямо на платье и легла въ постель. Миссъ Вельшъ ушла въ свою комнату. Я ждала. Наконецъ въ домѣ все затихло, я вскочила, сняла рубашку и босикомъ, чулокъ въ темнотѣ не нашла, прокралась внизъ, въ переднюю. Тамъ ждали меня остальные. Тихонько, сдерживая смѣхъ, мы вышли наружу.

— Какъ быть съ дверью? — спросила я.

Запереть и ключъ взять съ собой! — скомандовалъ Суллеръ.

Такъ и сдѣлали. Прокрались въ темную липовую аллею парка и совѣщались, куда идти.

— Я ключъ уронилъ, — вдругъ вскрикнулъ Алеша.

Ползая на колѣнкахъ, стали искать ключъ. Маруся смѣялась, а мнѣ было не до смѣха. Войти въ домъ, никого не разбудивши, мы не могли, утромъ хватятся насъ, ключа! И подумать страшно, что тутъ поднимется!

Но ключъ отыскали, успокоились и рѣшили пойти на станцію.

Суллеръ подражалъ лягушкамъ, изображалъ кошекъ, собакъ, мы всю дорогу хохотали, бѣгали на перегонки. Вернулись на разсвѣтѣ, усталые, но возбужденные собственнымъ весельемъ, молодостью, весной.

Я тихонько пробралась наверхъ въ свою комнату. Миссъ Вельшъ причесанная, какъ всегда аккуратная, маленькая, сидѣла въ халатѣ и меня ждала:

— Well, — сказала она строго, — where have you been all night?

— Oh, Mishy, — воскликнула я, — d'ont be angry, it was so nice!

— I wonder, if your mother will find your conduct nice *), — возразила она мнѣ сурово.

Но я знала, что миссъ Вельшъ никогда не пожалует-

*) Ну, — сказала она строго, — гдѣ вы были всю ночь? — О, миссъ, не сердитесь, было такъ хорошо! — Я хотѣла бы знать, найдеть ли ваша мать хорошимъ ваше поведеніе?!

ся моей матери. Она справлялась со мной сама и я слушалась ее, потому что знала, что она любит меня.

Я откровенно рассказала мисс Вельш про наше ночное путешествие и когда она поняла, что в этом не было ничего дурного, она смягчилась, заулыбалась и уложила меня спать. Мне было стыдно, что я обманула ее и что она из-за меня не спала. Засыпая, я умоляла ее простить меня и клялась, что больше не буду уходить без спроса.

Алеша Дьяковъ часто бывалъ у насъ. Сначала, мнѣ казалось, что онъ ухаживаетъ за Марусей, но постепенно я стала замѣчать, что онъ старается быть со мной, смущается въ моемъ присутствіи, часто краснѣетъ. Я перестала чувствовать себя съ нимъ естественно и просто. Когда я бывала у Андрея и Ольги въ Таптыковѣ, Алеша часто бывалъ тамъ.

Прошло около года. Однажды послѣ отъѣзда Алени изъ Ясной Поляны, мнѣ передали отъ него письмо. Въ немъ онъ предлагалъ мнѣ быть его женой. Я перечитала письмо нѣсколько разъ. Было весело, страшно и пріятно волновало, что мнѣ сдѣлали предложеніе, какъ взрослому.

Новость немедленно облетѣла весь домъ. Я не умѣла скрывать, да должно быть и Алеша посвятилъ моихъ братьевъ. Они хитро поглядывали на меня, улыбались, отчего мнѣ дѣлалось неловко. Вечеромъ я вспомнила, что надо написать Алешѣ отвѣтъ.

«Какъ отвѣчаютъ въ такихъ случаяхъ?» — думала я. — Надо пожалѣть объ утерянныхъ дружескихъ чувствахъ и еще что то...»

Мысль о томъ, что я могу выйти замужъ за Алешу, ни разу не пришла мнѣ въ голову. О томъ, что Алешѣ можетъ быть тяжело, что для него мой отвѣтъ имѣетъ большое значеніе — я совершенно не думала.

Я сѣла и написала ему отказъ.

Мнѣ стыдно вспоминать объ этомъ письмѣ, оно было такое фальшивое, неискреннее.

На другое утро, когда меня позвалъ отецъ, я бодрой, самоувѣренной походкой вошла въ кабинетъ. Я была еще въ томъ же веселомъ, возбужденномъ настроеніи.

— Ты меня знаешь?

— Да.

И по нахмуреннымъ бровямъ, по глазамъ (отецъ ни-

когда не смотрѣлъ на меня, когда бывалъ недоволенъ), я поняла, что разговоръ будетъ серьезный.

Онъ минуто помолчалъ, а потомъ спросилъ:

— Тебѣ Алеша предложеніе сдѣлалъ?

Я не ожидала, что отецъ заговоритъ объ этомъ и смущилась.

— Да.

— Ну и что же?

— Я отказала ему.

— Почему?

— Я не люблю его.

— Пустяки! Въ наше время жениха и невѣсту сватали, они въ глаза другъ друга не видали лучше, чѣмъ теперь. Ты подумай, онъ кажется добрый ч. ловѣкъ.

— Не хочу я замужъ выходить!

— Напрасно. Вопросъ важный, рѣшается и его судьба и твоя, — тихо и серьезно сказалъ отецъ, — нельзя такъ легкомысленно къ этому относиться.

Я молчала. Мысли одна за другой проносились въ головѣ: «А откуда онъ знаетъ, какъ я отнеслась? А почему онъ придаетъ этому такое значеніе? Да, онъ сказалъ: «судьба рѣшается»... Вѣдь правда, могло бы все измѣниться».

Мнѣ вдругъ представилось худое, подвижное лицо Алеша, сконфуженное и вмѣстѣ съ тѣмъ ласковое, когда онъ, растерянно взглянувъ на меня, хотѣлъ что сказать, но раздумалъ и, безнадежно махнувъ рукой, уѣхалъ.

Братья говорили, что онъ имѣние покупаетъ, хочетъ строить больницу, зная мое увлеченіе медициной.

Мнѣ стало жалко Алешу.

— Что-жъ ты молчишь? — спросилъ отецъ.

Приключеніе, шекоющее самолюбіе, перестало казаться мнѣ только забавнымъ. Мнѣ становилось все больше и больше не по себѣ. Я попробовала представить себя женой Алеша.

— Не могу, не могу я замужъ выйти! — воскликнула я.

— Напрасно ты такъ быстро рѣшаешь, — сказалъ отецъ, — я совѣтовалъ бы тебѣ все-таки подумать.

— Не о чемъ мнѣ думать!

Тужестъ на душѣ все увеличивалась, я едва сдерживала слезы.

— Никуда я не пойду отъ тебя!

— Ахъ нѣтъ, нѣтъ, голубушка, — горопливо, точно испугавшись, проговорилъ отецъ: — нѣтъ, нѣтъ, вотъ этого именно и не нужно. Я старъ, скоро умру, ты должна самостоятельно устроить свою жизнь.

— Что-жъ ты хочешь, чтобы я была несчастна?

Изъ-подъ лохматыхъ бровей взглянули на меня сѣрые, острые глаза и мнѣ показалось, что они проникли глубоко, глубоко, въ самое нутро. Лицо отца вдругъ озярилось радостью.

— Ну, полно, полно, голубушка, — сказалъ онъ ласково, кладя руку на мое плечо, — не будемъ больше говорить объ этомъ.

Какъ примѣръ необычайной, ничѣмъ неоправданной подозрительности отца, можно привести случай съ Дмитріемъ Васильевичемъ Никитинымъ. Никитинъ былъ серьезнымъ человѣкомъ, съ которымъ у меня никогда не было и тѣни флирта, но отецъ и для него не сдѣлалъ исключенія.

Докторъ, пріѣхавшій съ нами изъ Крыма, старался чѣмъ могъ быть полезнымъ отцу, но дѣла для него все же не было, онъ тяготился положеніемъ домашняго врача. И вотъ мы съ нимъ надумали открыть въ Ясной Полянѣ амбулаторію для крестьянъ. Дмитрій Васильевичъ предложилъ свой трудъ, я взяла на себя снабженіе лѣкарствами и вызвалась помогать въ пріемѣ. Я была увѣрена, что отецъ будетъ сочувствовать.

Дѣло пошло хорошо. Вскорѣ вся округа узнала, что въ Ясной Полянѣ есть докторъ, который задаромъ лѣчитъ и хорошо помогаетъ. Народъ къ намъ повалилъ. Амбулаторію устроили въ избѣ на деревнѣ, обстановка была самая примитивная, инструментовъ, лѣкарствъ, первое время не хватало, но мы работали съ увлеченіемъ. Выходили изъ дома часовъ въ восемь, возвращались около двухъ. Дмитрій Васильевичъ терпѣливо училъ меня, я стала постепенно привыкать. Меня уже не такъ пугалъ видъ больныхъ, крови, ранъ, всего того, что отпугиваетъ новичковъ при первомъ знакомствѣ съ медициной. Единственно чего я боялась — это больныхъ сифилисомъ. Въ Ясной Полянѣ и въ округѣ ихъ было довольно много и какъ я ни ста-

ралась, я не могла безъ ужаса подходить къ нимъ. Особенно сильно на меня подѣйствовалъ одинъ случай.

Мать привела трехлѣтняго ребенка лѣчиться. Толстеный, розовенькій, съ темносиними большими глазами и курчавыми волосиками, мальчикъ этотъ напоминалъ мнѣ Рафаэлевскаго ангела. Я дала ему конфетку, онъ развеселился, смѣялся, боталъ ноженками, мѣшая матери его разувать. На подошвахъ у него оказалась сплошная сыпь — бѣлые, водяные пузырьки.

Я видѣла, какъ лицо доктора нахмурилось.

— Открой ротъ! — рѣзко приказалъ онъ матери: шире, ну!

И, осмотрѣвъ горло, велѣлъ ей раздѣться.

Женщина упиралась.

— Что ты, родимый, здоровая я, ты вотъ мальчика освидѣтельствуй, остудился, зная, онъ у меня...

— Раздѣвайся, говорить тебѣ, — съ несвойственной ему суровостью повторилъ докторъ.

У женщины оказался сифилисъ, которымъ она заразилась ребенка. Ее же заразилъ мужъ, вѣдвшій въ Тулѣ на биржѣ.

Я шла домой и не могла отдѣлаться отъ ощущенія, что случилось ужасное, непоправимое.

Амбулаторія вводила меня въ новый міръ горя, темноты народа, каждый день открывая что-нибудь новое, ужасное: грязь, бѣдность, вѣчное недоѣданіе, англійская болѣзнь у дѣтей, куриная слѣпота, сифилисъ, преступность...

Когда я приходила домой, меня поражало, что все было также прилично, спокойно, чисто. Лакей подавалъ завтракъ, мама сидѣла на своемъ мѣстѣ за самоваромъ, Жули-Мули полулежала на кушеткѣ, или разговоры, которые я уже знала наизусть: о томъ, что мужики потравили овесъ, что барометръ стоитъ на хорошую погоду, что Никишъ необычайно исполняетъ увертюру Фрейшица.

На деревнѣ была дурочка Параша, по прозванію Кыня. Часто отецъ, осуждая нелогичность, суетность, мелочность женщины, говорилъ, что Параша — идеалъ женщины. Она никому не мѣшаетъ, покорна, со всѣми добра, всѣхъ жалѣетъ, всѣхъ любитъ. Чего же еще надо?

Я помню, какъ другъ нашей семьи Софія Александровна Стаховичъ возмущалась:

— Что вы говорите Гевъ Никогаевичъ! Противно сгу-

шать (Софья Александровна вмѣсто «р» и «л» говорила «г»), — вѣдь она же дуга!

— А зачѣмъ вашему брату умъ? — спрашивалъ отецъ.

Помню, Параша забеременѣла. Кто былъ виновникомъ этого преступленія, такъ и осталось неизвѣстнымъ. «Вотъ дура, Парашка, дура, а скрыть сумѣла, — говорили бабы, качая головами.

Материнскій инстинктъ былъ въ ней очень силенъ. Она все собирала разныя тряпочки и копила деньги. Когда ее спрашивали: зачѣмъ это тебѣ, Параша? Она отвѣчала: «А малому-то?» и расплывалась въ глупую улыбку. А потомъ помолчавъ, конфузливо просила, называя всѣхъ дѣвицъ Марусями:

— Марусь, а Марусь, а копѣчки у тебѣ нѣту?

Серебра она не любила.

— Бѣленькую мнѣ не надоть, ты черненькую дай.

Я намѣнивала ей гривенникъ по копѣчкѣ, она сіяла и, зажимая деньги въ кулакъ, звенѣла ими и смѣялась, а потомъ тщательно завязывала въ уголочекъ платка.

Парашка лѣтомъ стерегла у насъ телятъ. Однажды она пришла въ амбулаторію лѣчиться. У нее была накожная болѣзнь. Докторъ не могъ сразу опредѣлить, чѣмъ она больна. Я же почему то вообразила, что у нее сифились. Я возилась съ ней на приемѣ, забыла вымыть руки сулемой и вспомнила объ этомъ только дома. На рукахъ у меня были свѣжія царапины. Меня охватилъ ужасъ, я стала метаться по комнатѣ, ища какого-нибудь дезинфекціоннаго средства, ничего не находила. Во мнѣ росла увѣренность, что я заразилась сифилисомъ. На лбу выступилъ потъ. Когда я поливала руки сулемой изъ большой бутылки, вошелъ отецъ. Онъ сразу замѣтилъ мое волненіе.

— Что съ тобой?

Вмѣсто того, чтобы успокоить меня, онъ самъ взволновался.

— Ахъ, напрасно ты это. напрасно въ лечебницу ходишь.

Черезъ нѣсколько дней онъ сказалъ мнѣ:

— Я хотѣлъ просить тебя. Ты не ходи больше съ Никитинымъ въ амбулаторію.

— Почему?

— Ни къ чему это.

То, чего моя мать не могла добиться никакими способами: ни криками, ни строгостью, ни даже побоями,

отецъ добился однимъ словомъ. Я никогда не прекословила ему, исполняя всѣ его желанія. Но на этотъ разъ я возмущилась. Работа въ амбулаторіи давала мнѣ много. Раскрывала нередко мною мужицкую, ничѣмъ не прикрашенную жизнь, укрѣпляла мою волю. Я старалась объяснить это отцу, но онъ не приказывалъ, онъ просилъ:

— А все-таки я прощу тебя больше не ходить съ докторомъ въ амбулаторію, ни къ чему это.

И я подчинилась.

Никитинъ былъ серьезный врачъ съ большими научными знаніями, съ организаторскими способностями. Обязанности домашняго врача и небольшая амбулаторія на деревнѣ не могли удовлетворять его ни съ научной, ни съ общественной стороны. Онъ побылъ у насъ около года и уѣхалъ сначала на три мѣсяца по случаю смерти матери, а потомъ и совсѣмъ. Въ Ясную Поляну пріѣхалъ товарищъ Дмитрія Васильевича, Эразмъ Леопольдовичъ Гедговтъ.

Это былъ противоположный Никитину человекъ: развязный, шумливый, рассказывая о себѣ, любилъ прихвастнуть. Съ больными онъ обращался круто, покрикивая на нихъ. Новый докторъ былъ изъ тѣхъ, которыхъ терпѣть не могутъ мужчины и которые нравятся женщинамъ. Мнѣ казалось, что даже Жули-Мули была къ нему неравнодушна.

Въ Ясной Полянѣ было много крысъ и мышей. Онѣ прогрызали полъ, залѣзали въ шкапы, портили книги, попадали въ пищу, иногда ночью вскарабкивались на ночной столикъ, объѣдали стеариновые свѣчи, иногда по одѣялу взбирались на постель, на головы спящихъ.

Мама рассказывала, что когда Андрей былъ маленькій, ему отъ золотухи мазали лицо сметаной. Одинъ разъ мама вошла въ дѣтскую и увидела, что Андрюша крѣпко спитъ, а громадная крыса слизываетъ съ его лица сметану. Мама, схватила крысу и изо всѣхъ силъ хлопнула ее объ полъ.

Крысъ и мышей травдили, ставили безконечное количество мышеловокъ, но онѣ не переводились. Кошекъ же мама ни за что не хотѣла заводить — весной онѣ поѣдали соловьевъ, которыхъ всѣ у насъ такъ любили.

Отецъ обычно самъ заправлялъ мышеловку кусочкомъ закопченнаго на свѣчкѣ сыра, и, когда понадалась крыса, осторожно несъ звѣря подальше въ лѣсъ и выпускалъ его свободу.

Мама увѣряла, что этотъ способъ никуда не годится, крысы несомнѣнно прибѣгаютъ обратно, надо топить ихъ въ помойныхъ ведрахъ.

Иногда на крысъ устраивали охоту. Мама, Юлія Ивановна, докторъ, няня, лакеи, всѣ принимали въ этомъ участіе. Задѣлывались всѣ щели и норы и щетками гоняли крысу до тѣхъ поръ, пока ее не убивали.

Помню, одинъ разъ гоняли крысу у мама въ спальнѣ. Она металась по комнатѣ, съ перепугу вскочила на большой образъ, ее согнали, она прыгнула и исчезла. Вдругъ несвойственнымъ ей, пронзительнымъ голосомъ вскрикнула няня: крыса сидѣла у нея на спинѣ.

Докторъ былъ великолѣпенъ. Онъ становился въ выжидательной позѣ у дверей и когда крыса бросалась ему подъ ноги, онъ ударомъ каблука расплющивалъ ее на мѣстѣ. Мы возмущались, а онъ, закидывая голову, раскатисто, басомъ хохоталъ.

Въ эту весну у насъ гостила Таня съ мужемъ и пасынками — Наташей и Дорикомъ. Весна была ранняя, жаркая. Отцвѣталъ садъ, покрывая бѣло-розовыми нѣжными лепестками черную вскопанную кругами землю, на разросшихся запущенныхъ куртинахъ распускалась сирень, и въ кустахъ, точно состязаясь другъ съ другомъ, заливались соловьи; по дорожкѣ къ Кузминскому дому гудѣли и шуршали по листьямъ майскіе жуки, а снизу въ прудахъ беззастѣнчиво, рѣзко, точно стараясь всѣхъ перекричать, заливались лягушки. Съ деревни слышались пѣсни бабъ, мычаніе скотины, смѣхъ, гармошка...

Мы съ Наташей плохо спали по ночамъ и съ тоской думали о томъ, что понапрасну уходятъ лучшіе годы...

Вечерами Наташа съ докторомъ сидѣла на скамеечкѣ подъ елкой противъ дома и безконечно съ нимъ о чемъ-то разговаривала. Я сердилась на нее. Мнѣ было одной скучно, а Гедговта я избѣгала. Нѣсколько недѣль тому назадъ онъ написалъ мнѣ безтактное письмо, обвиняя въ кокетствѣ и, неизвѣстно зачѣмъ, рассказалъ, какъ онъ виновать передъ одной дѣвушкой, которая изъ любви къ нему лишила себя жизни. И хотя докторъ уже просилъ у меня прощенья за письмо, мнѣ было съ нимъ непріятно.

Помню, двадцать третьяго апрѣля, въ день моихъ именинъ было жарко, какъ лѣтомъ. Днемъ мы всѣ ѣздили верхомъ къ старушкѣ Шмидтъ въ Овсянниково, внесли шумъ, суету въ ея тихое жилище, выпили нѣсколько крынокъ холоднаго, со льда молока съ чернымъ хлѣбомъ. На минутку приѣзжалъ въ Овсянниково отецъ, отчего Марія Александровна вся засвѣтилась радостью.

Обѣдали на террасѣ въ свѣтлыхъ лѣтнихъ платьяхъ. А вечеромъ неизвѣстно откуда забрелъ бродячій шарманщикъ. Онъ игралъ, а мы съ Наташей говорили о любви, о докторѣ, а на утро Сухотины уѣхали и я поѣхала провожать ихъ на станцію. Когда я возвращалась обратно, на линейку вскочилъ Гедговтъ. Онъ ждалъ меня въ лѣсу.

Недѣли черезъ двѣ я привыкла къ доктору, старалась не замѣчать его вульгарности, хвастливаго, самоувѣреннаго тона. Черезъ мѣсяцъ я рѣшила, что влюблена.

Часто, когда я уѣзжала верхомъ далеко въ поле или въ лѣсъ, передо мною выростала высокая фигура доктора. Онъ шелъ рядомъ съ лошадей и мы разговаривали. Докторъ говорилъ мнѣ о своей любви, смущался, робѣлъ и казался мнѣ совсѣмъ другимъ — простымъ и милымъ. Но несмотря на то, что я все больше и больше убѣждалась, что люблю его, что то мѣшало мнѣ признаться ему въ этомъ.

А отецъ наблюдалъ. Постоянно я чувствовала на себѣ его испытующій, внимательный взглядъ. Я знала, что стоило мнѣ поднять глаза и встрѣтиться съ нимъ взглядомъ, отецъ разгадаетъ мою тайну. И вотъ настала страшная минута. Я принесла отцу работу, положила ее на столъ и, не поднимая глазъ, хотѣла выйти изъ комнаты. Отецъ окликнулъ меня.

— Подожди, я хочу поговорить съ тобой, — произнесъ онъ, также не глядя на меня: — что это у тебя за странныя отношенія съ докторомъ?

Гедговтъ не нравился отцу, я это знала, хотя онъ никогда не единымъ словомъ объ этомъ не обмолвился.

— Онъ признавался тебѣ въ любви?

— Да.

— Ну, что же ты ему отвѣтила?

— Мнѣ кажется, что люблю его, — сказала я съ отчаяніемъ, точно падая въ бездну.

— Боже мой, Боже мой! — простоналъ отецъ. Неужели ты ему говорила... Ты обѣщала ему что нибудь?

— Нѣтъ, нѣтъ! — съ живостью возразила я. — Нѣтъ! Отецъ съ облегченіемъ вздохнулъ.

Тогда, плача и запинаясь, я рассказала ему все, что было между мной и докторомъ. Нѣсколько разъ мнѣ приходилось останавливаться, я не могла говорить отъ подступавшихъ къ горлу слезъ. Когда я кончила, я выбѣжала на балконъ, прислонилась къ периламъ и долго плакала. Я слышала, какъ отецъ ходилъ взадъ и впередъ по кабинету.

Успокоившись, я вошла къ нему и снова сѣла на кресло. Онъ сталъ мнѣ говорить и съ каждымъ словомъ отца мнѣ дѣлалось все яснѣе и яснѣе, что Гедговтъ чуждый, далекий, что у меня не было никакого серьезнаго къ нему чувства, что все это блажь, глупости, навѣянные весной и ночными разговорами съ Наташей.

— Я скажу ему, чтобы онъ уѣхалъ.

Но при одной мысли, что отецъ будетъ говорить съ докторомъ, волноваться, мучиться, меня охватилъ ужасъ.

— Нѣтъ, нѣтъ! — съ испугомъ воскликнула я: — умоляю тебя, не дѣлай этого, я сама сдѣлаю такъ, что онъ уѣдетъ. Ты повѣрь мнѣ, повѣрь, — говорила я, всхлипывая: — я больше ничего, ничего не буду скрывать отъ тебя, обещаю тебѣ...

Я вѣрила, что сдержу свое слово...

Отецъ отвернулся. Послышались странные, кашляющіе звуки. Я схватила его руку и поцѣловала. Съ полными слезъ глазами мы взглянули другъ на друга.

«Гедговтъ, романы, — думала я, выходя изъ кабинета, — что все это стоитъ въ сравненіи съ такимъ счастьемъ. Развѣ я смогу бросить его, промѣнять на кого бы то ни было...

И сбѣгая съ лѣстницы, неожиданно для себя самой громко сказала: «Дай зарокъ въ томъ, что я никогда ни для кого его не оставлю».

Внизу я разыскала доктора.

— Я завтра уѣзжаю! — сказала я ему.

— А когда вернетесь?

— Когда васъ здѣсь не будетъ.

И на другое утро я уѣхала къ своему брату Ильѣ въ Калужскую губернію.

Докторъ вышелъ меня провожать на крыльцо.

Я прожила недѣлю у брата. Съ племянницей Анночкой мы заводили граммофонъ и ставили мою любимую пла-

стинку «Уймись волненія страсти» Глинки. Я слушала и плакала о своемъ неудавшемся романѣ. Въ мечтахъ онъ казался мнѣ поэтичнѣе, чѣмъ былъ на самомъ дѣлѣ.

Въ комнатѣ Жули-Мули стоялъ прекрасный портретъ доктора, написанный ею маслянными красками.

Вернувшись я не застала Гедговта. А вѣсто него снова пріѣхалъ докторъ Никитинъ. Онъ передалъ мнѣ толстое письмо. Желая исполнить свое обѣщаніе, я побѣжала къ отцу.

— Папа, отъ Гедговта письмо.

— Ну и что же?

Я взяла конвертъ, не распечатывая положила въ него письмо Гедговта, запечатала и написала адресъ. Я ждала одобренія, но отецъ ни сказалъ ни слова.

Мнѣ теперь кажется, что я поступила скверно.

Отъ доктора Никитина я слышала, что Гедговтъ уѣхалъ на Русско-Японскую войну, въ качествѣ морского врача, и тамъ погибъ.

Александра Толстая

ВОСЕМЬ СТИХОТВОРЕНІЙ.

(1931).

1.

О высокъ, весна, высокъ твой синій теремъ,
Твой душистый клеверъ полевой.
О далекъ твой путь за звѣздами на сѣверъ,
Снѣжный вѣтеръ, бѣлый вееръ твой.

Вьется голубокъ. Надежда улетаетъ.
Катится клубокъ... О какъ земля мала.
О глубоку твой снѣгъ, и никогда не таетъ, —
Слишкомъ мало на землѣ тепла.

2.

Это мѣсяцъ плыветъ по эфиру,
Это лодка скользитъ по волнамъ,
Это жизнь приближается къ міру,
Это смерть улыбается намъ.
Обрывается лодка съ причала
И уноситъ, уноситъ ее...
Это дѣтство и счастье сначала,
Это дѣтство и счастье твое.

Да, — и то что зовется любовью,
Да, — и то что надеждой звалось,
Да, — и то что дымящейся кровью
На сіяющей снѣгъ пролилось.

СТИХОТВОРЕНІЯ

225

...Вѣтки сосенъ — онѣ шелестѣли:
«Милый другъ, погоди, погоди»...
Это призракъ стоитъ у постели
И цвѣты прижимаетъ къ груди.

Приближается звѣздная вѣчность,
Разсыпается пылью гранитъ,
Безконечность, одна безконечность,
Въ леденѣющемъ мірѣ звенить.
Это музыка міру прощаетъ,
То что жизнь никогда не проститъ.
Это музыка путь освѣщаетъ,
Гдѣ душа твоя въ счастье летитъ.

3.

Россія счастье. Россія свѣтъ.
А, можетъ быть, Россіи вовсе нѣтъ.
И надъ Невой закатъ не догоралъ,
И Пушкинъ на снѣгу не умиралъ,
И нѣтъ ни Петербурга, ни Кремля. —
Одни снѣга, снѣга, поля, поля...
Снѣга, снѣга, снѣга... А ночь долга
И не растаютъ никогда снѣга.
Снѣга, снѣга, снѣга... А ночь темна
И никогда не кончится она.
Россія тишина. Россія прахъ.
А можетъ быть Россія — только страхъ.
Веревка, пуля, ледяная тьма
И музыка сводящая съ ума...
Веревка, пуля, каторжный разсвѣтъ,
Надъ тѣмъ, чему названья въ мірѣ нѣтъ.

4.

Только всего — простодушный напѣвъ,
Только всего — умирающій звукъ,
Только свѣча, нагорѣвъ, догорѣвъ...
Только... И падаетъ скрипка изъ рукъ.

Падаетъ пѣсня въ предвѣчную тьму,
Падаетъ мертвая скрипка за ней...

И, неподвластна уже никому,
Въ тысячу разъ тяжелѣй и нѣжнѣй,
Слаще и горестнѣй въ тысячу разъ,
Тысячью звѣздъ что на небѣ горить,
Тысячью слезъ изъ растерянныхъ глазъ —

Чудное эхо ее повторить.

5.

Только звѣзды. Только синій воздухъ —
Синій, вѣчный, ледяной.
Синій, грозный, сине-звѣздный,
Надъ тобой и надо мной.

Тише, тише. За полярнымъ кругомъ
Спятъ не разнимая рукъ,
Съ вѣрнымъ другомъ, съ неразлучнымъ другомъ
Съ мертвымъ другомъ, мертвый другъ.

Имъ спокойно вмѣстѣ, имъ блаженно рядомъ...
Тише, тише. Не дыши.
Это только звѣзды надъ пустыннымъ садомъ,
Только синій свѣтъ твоей души.

6.

Музыка мнѣ больше не нужна.
Музыка мнѣ больше не слышна.

Пусть себѣ, какъ черная стѣна,
Къ звѣздамъ подымается она,

Пусть себѣ, какъ черная волна,
Глухо рассыпается она, —

Ничего не можетъ измѣнить,
И не можетъ ничему помочь,

То что только плачетъ, и звенить,
И туманить, и уходитъ въ ночь...

7.

Только темная роза качнется,
Лепестки осыпая на грудь.
Только сонная вѣчность проснется
Для того, чтобы снова уснуть.

Паруса уплываютъ на сѣверъ,
Поѣзда улетаютъ на югъ,
Черезъ звѣзды и пальмы и клеверъ,
Черезъ горе и счастье, мой другъ.

Все равно — не протягивай руки,
Все равно — ничего не спасти,
Только синія волны разлуки,
Только синее слово «прости».

И разсѣется дымъ паровоза,
И плеснетъ, исчезая, весло...
Только вѣчность, какъ темная роза,
Въ мировое осыпется зло.

Ни свѣтлымъ именемъ боговъ,
 Ни темнымъ именемъ природы!
 ...Еще у этихъ береговъ
 Шумятъ деревья, плещутъ воды...

Міръ оплываетъ какъ свѣча,
 И пламя пальцы обжигаетъ.
 Безсмертной музыкой звуча,
 Онъ ширится и погибаетъ.
 И тьма — уже не тьма, а свѣтъ.
 И да — уже не да, а нѣтъ.

...И не возстанутъ изъ гробовъ
 И не вернуть былой свободы —
 Ни свѣтлымъ именемъ боговъ,
 Ни темнымъ именемъ природы!

Она прекрасна — эта мгла.
 Она похожа на сіянье —
 Добра и зла, добра и зла
 Въ ней неразрывное сліянье.
 Добра и зла, добра и зла
 Смысль, раскаленный добѣла.

Георгій Ивановъ.

ВОДА ЗЛАТАЯ

«...and again the golden water would
 be dancing on the wall...»

Dickens. Dombey and Son, 116.

Бьется маятникъ, качая
 Мѣдь округлую свою.
 Сказка ты полунѣмая,
 Ты поешь и я пою.
 Чѣмъ ты маешь, занимаешь
 Мой лѣнливящійся слухъ?
 Общаешься, обольщаешь,
 О, минутъ моихъ пастухъ.
 Ты по замкнутому кругу
 Водишь смертную стрѣлу.
 Вѣсны — цвѣтъ даруютъ лугу,
 Вечерь — ночи стелеть мглу.
 Ты — созвонный, приглашенный,
 Бой рождаешь часовой,
 Чтобы къ смерти непреклонной
 Шель я сказкою живой.
 Помню дѣтство. Вечерь, тая,
 Пламень Солнца лиль ко мнѣ,
 Словно влага золотая
 Танцевала на стѣнѣ.
 Утомлень-ли или болень
 Быль, — не помню я теперь,
 Но съ постели встать не воленъ.
 Кто-то тихо стукнулъ въ дверь.
 Я закрыль глаза, мечтая,
 Но сквозь вѣки, мвилось мнѣ,

Видѣлъ — влага золотая
 Танцевала на стѣнѣ.
 Подходилъ-ли кто къ постели?
 Я забылся? Я заснулъ?
 Предо мною звѣзды рдѣли,
 Въ звѣздной рошѣ звонный гулъ.
 И ко мнѣ голубоокій
 Призракъ нѣжно наклонясь,
 Сказкой близкой и далекой
 Мой наполнилъ дѣтскій часъ.
 Помню юность. Полдень мая.
 Лѣсъ: Прозрачная рѣка.
 Руку милую сжимая,
 Какъ горитъ моя рука.
 Какъ все ближе, все свѣтлѣе
 Зовъ-приказъ желанныхъ глазъ.
 И робѣя, и смѣлѣя,
 Я цѣлую — въ первый разъ.
 А съ закатомъ, весь сгорая,
 Былъ я дома какъ во снѣ.
 И опять вода золотая
 Танцевала на стѣнѣ.
 Колыхаясь, рдѣли волны,
 Златоцвѣтомъ таялъ часъ,
 А въ душѣ напѣвъ безмолвный
 Путь построилъ — и погасъ.
 И созвонный, приглушенный
 Бой велѣлъ мнѣ часовой,
 Чтобы къ пылкѣ я бездонной
 Шелъ какъ мертвый, хотъ живой.
 Чтобъ по замкнутому кругу,
 Жаломъ смерти уязвленъ,
 Сжегши лѣто, шелъ во вьюгу,
 Выткалъ въ саванъ лучший ленъ.
 Но куеть различно молотъ
 Гулко-валкіе года.

Силой пѣсни смѣлъ и молодъ,
 Былъ я счастливъ ипогда.
 И всегда, когда святая
 Радость духа зрѣлась мнѣ,
 Ущимъ сномъ вода золотая
 Танцевала на стѣнѣ.
 Отъ Высокаго Свѣтила,
 Что до смерти — будетъ жечь,
 Мнѣ дана для пытки сила
 И любовь для вѣрныхъ встрѣчь.
 И теперь стезею росной,
 Чернымъ днемъ ведетъ Судьба,
 Звукъ нашъ — звонъ великопостный,
 Наша лѣтопись — гроба.
 Въ каждомъ часѣ — капля яда,
 Медлитъ правый Божій Судъ,
 Шаткій маятникъ — цикада,
 Мышій шорохъ — бѣгъ минутъ.
 Сердце ждетъ и не дожидется: —
 Гдѣ же Правда? Въ чемъ же я?
 Изъ безводнаго колодца
 Пусто звякаетъ бадья.
 Но въ закатномъ часѣ, тая,
 Солнце есть, и любо мнѣ
 Знать, что вотъ, вода золотая
 Вновь танцуетъ на стѣнѣ.

К. Бальмонтъ.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Спросонья вслушиваюсь въ звонъ
и думаю: еще мгновенье, —
и вновь забудусь я... Но сонъ
уже утратилъ даръ забвенья, —

не можетъ дочитать строку,
возстановить страну ночную,
обратно съѣхать по ледку...
Куда тамъ! — въ оттепель такую.

Звонъ въ отопленьѣ по утрамъ —
необычайно музыкальный:
ударъ или двойной тра-рамъ,
какъ по хрустальной наковальнѣ.

Мартъ, вѣтренникъ и скороходъ,
должно быть облака пугаетъ:
свѣтъ абрикосовый растеть
сквозь вѣки и опять сбѣгаетъ.

Тутъ, перелившись черезъ край,
вся нѣжность міра накатила: —
пса молодого добрый лай,
а въ комнатѣ — твой голосъ милый.

ПОМПЛИМУСУ

Прекрасный плодъ, увѣсистый и гладкій,
ты свѣтишься, какъ полная луна;
глухой сосудъ амброзіи несладкой,
душистый холодъ бѣлаго вина.

Лимонами блистають Сиракузы,
Миньону соблазняетъ апельсинъ,
но ты одинъ достоинъ жажды Музы,
когда она спускается съ вершинъ.

В. Сиринъ.

Жизнь Тургенева

ПАРИЖЬ.

Можетъ быть, легче перенесъ Тургеневъ нѣмецкаго доктора, чѣмъ въ свое время Ари Шеффера (и первый уходъ Полины). Все-таки военный разгромъ баденской жизни совпалъ съ внутреннимъ. Поздно, безнадежно было перестраиваться, еще разъ приближаться къ Полинѣ: ему шелъ пятьдесятъ четвертый, ей исполнилось пятьдесятъ, но чувствовалъ онъ себя много старше. И когда въ Лондонѣ заболѣлъ, а Виардо уѣхали, всей семьей, по дѣламъ, оставивъ его одного, врядъ-ли представлялся себѣ молодымъ и любимымъ. «Несомнѣнно на землѣ только несчастье», писалъ нѣкогда графиня Ламбертъ. Несмотря ни на какую зелень и свѣтъ Бадена, не приходилось отъ словъ этихъ отказываться. Но удалиться отъ Виардо внѣшнее тоже было поздно.

И въ Парижѣ ожидала его нѣкая торжественная усыпальница. Онъ поселился вновь съ Полиною, на rue de Douai, въ верхнемъ этажѣ особняка, стоявшаго entre la cour et le jardin. Низъ принадлежалъ Виардо. Большой салонъ, гостиная, картинная галлерей — устроено все было удобно и даже съ роскошью. Здѣсь Полина давала уроки, устраивала музыкальные вечера, принимала. Наверхъ вела лѣстница темнаго дерева — въ четырехъ комнатахъ жилъ Тургеневъ — болѣе скромно, но все-же съ удобствами. (Онъ любилъ аккуратность: тщательно убранный столъ, порядокъ въ предметахъ — ненавидѣлъ бумажки, зря валявшіяся и т. п.). Стоялъ у него небольшой рояль, много книгъ, портреты любимыхъ людей, картины.

А самъ онъ теперь — историческій монументъ (со всею своей славой), un ami catalogué, но въ отставкѣ, сѣдовластый, покорный, разъ навсегда сдавшійся. Къ нему подымались навстрѣчу русскіе друзья и просто знакомые, иногда и

*) «Соврем. Записки» № № 44, 45, 46.

вовсе незнакомые. Прийти можно было и утромъ, и днемъ, пройдя внизу черезъ контроль — не очень легкій — г-жи Виардо. Бывали писатели, и художники, бородатые эмигранты вроде Лаврова и просто невѣдомыя личности. Одни разговаривали часами. Другіе приносили рукописи. Третьи просили рекомендательныхъ писемъ. Четвертые денегъ на революціонный журналъ. Ami catalogué, первый писатель Россіи, былъ какъ-бы русскій посломъ въ Парижѣ. Съ его неаккуратными и часто неопрытными гостями приходилось г-жѣ Виардо мириться, хотя радости въ этомъ не было. И насколько никто не боялся самого посла, настолько осталась въ памяти у русскихъ сѣдая дама въ наколкѣ, съ черными, живыми и огромными глазами, суховато распорядившаяся внизу.

Русскій посолъ проявлялъ много терпѣнія и грустной доброты. Никому онъ ни въ чемъ не отказывалъ. Давалъ письма, покорно выслушивалъ разныя нравоученія, покорно деньги выкладывалъ. Врядъ-ли особенно занимали его эти люди. Вѣрнѣе — и утомляли, иногда раздражали. Сердца своего онъ имъ не отдавалъ. Но не отталкивалъ — силою прямого отпора не обладалъ, прохладность-же его, шедшая съ давнихъ лѣтъ, какъ и меланхолия, были все тѣ-же. Впрочемъ, кое-что и наблюдалъ онъ въ пришельцахъ — наблюдательность никогда его не оставляла, но это верхній слой Тургенева (касалась внѣшняго). Жилъ-же онъ собой, а не людьми — своими чувствами, воображеньемъ, размышленіями, «горестными замѣтами» души. Люди вокругъ — обстановка. (Искренніе его друзья — Полонскій, Анненковъ, хорошо понимали свою роль). Кромѣ старѣющей Виардо ему по настоящему никто и не былъ нуженъ. (Но Виардо и ея семья стали уже частью его самого — все-же превратности любви — восторги, униженія — все это прошлое). А вотъ, напримѣръ: Герцена зналъ онъ съ молодости, очень близко. Правда, къ концу жизни стали они дальше. Все-таки, незадолго до смерти Герцена Тургеневъ у него обѣдалъ, былъ шутливъ, милъ, веселъ... А когда тотъ умеръ, какъ-то вышло, что Тургеневъ и на похороны не попалъ (хотя и могъ пріѣхать. Какъ не попалъ, нѣкогда, и на похороны собственной матери). Если-бы Герценъ къ нему явился и просилъ о чемъ нибудь, онъ не задумавшись все сдѣлалъ-бы. Занятъ-же Герценомъ не былъ никогда.

Во всякомъ случаѣ, въ полубольномъ, старомъ и го-

честномъ Тургеневѣ достойна всяческаго уваженія черта точувственности къ людскимъ бѣдамъ, не отталкиванія. Уже одно терпѣніе, съ какимъ онъ слушалъ! То, что находилъ время поѣхать, попросить и поклониться. Что читалъ безчисленные безнадежныя рукописи, писалъ мягкія письма, искалъ работу, устраивалъ больныхъ въ лѣчебницы, давалъ деньги на школы, возилъ съ литературно-музыкальными утрама въ пользу нуждающихся, учредилъ первую въ Парижѣ русскую библиотеку (нынѣ здравствующую «Тургеневскую») — не такъ ужъ это мало, и не такъ похоже на писателя «европейскаго».

А вмѣстѣ съ тѣмъ, именно европейскимъ писателемъ онъ и былъ — теперь чуть-ли не французскимъ. Правда, сердился, когда спрашивали: вѣрно-ли, что по французски и рассказы свои пишетъ? Тутъ Спасское, Миенскъ, Орель въ немъ пробуждались. «Нѣтъ, нѣтъ, всегда по русски!» (Онъ французскій языкъ не очень-то и любилъ, хотя зналъ превосходно. Былъ къ нему не совсѣмъ справедливъ).

Въ парижскую-же литературную жизнь вошелъ сильно — и слѣдъ оставилъ.

Съ Жоржъ Зандъ (которую очень цѣнилъ) и съ Мери-мэ знакомство его давнишнее, счастливыхъ временъ Куртавенеля. А въ началѣ шестидесятыхъ годовъ познакомился съ Флоберомъ — и сдружился. Настолько онъ къ Флоберу привязался, что считалъ, — только и было у него два друга настоящихъ: Флоберъ да Бѣлинскій (въ юности).

Кромѣ Флобера, «широко» встрѣтился съ французскими писателями тоже въ шестидесятыхъ годахъ, на обѣдахъ въ ресторанѣ Маньи, куда ввелъ его Шарль Эдмондъ. Тамъ бывали: Сэнтъ Бѣвъ, Теофиль Готье, Флоберъ, Гюкюры, Тэнъ, Ренанъ, Поль де Сенъ Викторъ и др. Тогда Тургенева знали во Франціи только какъ автора «Записокъ охотника», но писатели встрѣтили какъ «своего», равнаго по чину — почтительнымъ привѣтствіемъ на первомъ-же обѣдѣ.

Ближе и прочнѣе сошелся, однако, съ болѣе молодыми (Золя, Додэ, Мопассаномъ) — въ семидесятыхъ годахъ, когда основался въ Парижѣ совсѣмъ.

Добрымъ духомъ и «гениемъ мѣстности» тутъ являлся Флоберъ. И нельзя, говоря о парижскихъ годахъ Тур-

генева, не помянуть этого рыцаря французской литературы.

Да, когда вспоминаешь Флобера, онъ представляется въ нѣкихъ латахъ — не подымая забрала, проходить сквозь жизнь, въ одиночествѣ, честномъ трудѣ, отбиваясь отъ пошлости, разя глупость, широко дыша вѣтрами морей, пустынь и звѣздъ, тая сердце мужественное, глубоко-раненое, навсегда. Флоберъ-пустынникъ, въ глухомъ своемъ Круассѣ рыкающей металлическою прозой, ритмъ которой похожъ на громыханье кареты по мостовой, Флоберъ, не ждущій кресла въ Академіи, ни предъ кѣмъ не склоняющійся, суровый и добрый, вслухъ читающій собственныя черновики, громовымъ голосомъ, слышимымъ съ улицы, Флоберъ всегда заслоняемый отъ толпы, сумрачный, грозный, подвижнически преданный своему искусству — образъ «святого отъ литературы». Онъ такъ же болѣзненъ и меланхоличенъ, какъ Тургеневъ — впрочемъ, рано, и, кажется, навсегда вырвалъ изъ души любовь къ женщинѣ: замѣнилъ подвигомъ искусства. И какъ женственъ, двойственъ, переменчиво-капризенъ, ласково-прохладенъ рядомъ съ нимъ Тургеневъ! Онъ незащищенъ. Ни лать, ни власяницы. Ни въ жизни, ни въ литературѣ нѣтъ у него закала. Въ юности онъ немало страдалъ отъ женской своей колеблемости, легкомысленной лживости. Къ старости многое въ себѣ преодолѣлъ. Въ семидесятыхъ годахъ не могло съ нимъ случаться того, что бывало въ сороковыхъ. Но мужественной прямоты Флобера, его крѣпости, смѣлости появиться не могло. Флоберъ никого не боялся: ни холеры, ни смерти (хотя не былъ вѣрующимъ), ни публики, ни критики. Его жизнь цѣльна и стройна — хотя недооцѣнка и торжество пошлости мучили его немало, и какъ всякій нуждался онъ въ утѣшеніи (тотъ-же Тургеневъ и утѣшалъ его). Флоберъ больше Тургенева создавалъ свою жизнь. Никакіе вѣтры никуда не могли занести его. Отъ любви въ молодости тоже много претерпѣлъ, но исторія Віардо-Тургенева для него невозможна. Правда, и натура его менѣе богата эротическимъ, чѣмъ у Тургенева. Болѣе властенъ онъ и въ искусствѣ. Его проза прокованнѣй, мужественнѣй, совершеннѣй. Переводъ Тургеневымъ «Юліана Милостиваго» (при огромныхъ достоинствахъ богатства языка) не вполне даетъ флоберовскій звукъ.

Но слѣдуетъ возстановить равновѣсіе: и Флоберъ не

могъ состязаться съ Тургеневымъ въ вольной простотѣ рѣчи, ея круглости, естественности, какъ разъ не за ко- ванности — дающей болѣе мѣста дыханію жизни.

Флоберъ и Тургеневъ дѣйствительно дружили. Тургеневъ ѣздилъ къ нему въ Круассэ, встрѣчался въ Парижѣ на обѣдахъ, посѣщалъ и на улицѣ Мурильо, близъ парка Монсо.

Квартира Флобера, небольшая, но изящно обставленная — въ алжирскомъ вкусѣ — выходила окнами въ зеленый паркъ. Восточное оружіе, диваны, книги... Тургеневъ любилъ глубоко засаживаться въ мягкую мебель, иногда позволялъ себѣ даже лежать — такимъ запомнился въ день первой встрѣчи Альфонсу Додэ: при появленіи въ дверяхъ чернаго, лохматаго провансалеца, съ софы поднялась, не безъ медлительности, «огромная фигура съ бѣлоснѣжною головой».

Собранія у Флобера по воскресеньямъ, днемъ, бывали интимны. Додэ, Золя, Гонкуры, Мопассанъ — Тургеневъ. Ихъ сближала литература. Она общій интересъ, общее ремесло. Въ Тургеневѣ былъ имъ любопытнѣе еще и новый міръ, экзотика. Тургеневъ много рассказывалъ о Россіи. Отъ него узнавали они о Пушкинѣ, о Толстомъ, еще объ очень многомъ. Роль російскаго посла не оставлялъ онъ и въ этомъ кружкѣ. Можно сказать даже такъ: Тургеневъ среди нихъ гораздо болѣе европеецъ, чѣмъ они сами. Кромѣ французскаго, онъ зналъ нѣмецкій, итальянскій, англійскій, испанскій языки. У того-же Флобера, въ залитой свѣтомъ комнатѣ съ разными копиями и тюрбанами, предъ зелеными купами парка, гдѣ бѣгали дѣтиски и сидѣли няньки, переводилъ онъ à livre ouvert пріятелямъ и Гёте, и Свинбёрна — несмотря на старость, на подагру, на скопляющуюся горечь воодушевлялся самъ — и увлекалъ. Всегда животворила его литература. Нравилось быть со своими, среди мастеровъ цеха. Литература вообще самый непорочный, самый возвышенный и безупречный уголъ Тургенева. Какъ у Флобера, преданность ей безгранична. Знаній больше. Тургеневъ могъ чему-то научить Флобера: но не наоборотъ. Объ остальныхъ и говорить нечего. Горячій, природно талантливый, но недалекій Додэ. Весьма элементарный (съ большимъ, но нерадующимъ дарованіемъ) Золя. Холодные эстеты и снобы Гонкуры... все это не такъ блестяще. Но все они погружены въ писаніе: это Тургенева прельщало. Онъ горячо слушалъ са-

мого Флобера, когда тотъ читалъ свои произведенія. Ухо Тургенева улавливало слабый образъ, повтореніе слова на большемъ разстояніи. Флобера восхищала его критика. Но онъ и самъ цѣнилъ Флоберовъ вкусъ, гордился похвалами его, очень сердился, однако, что тотъ Пушкина плохо понималъ.

Кромѣ собраній у Флобера учредили они извѣстные «обѣды пятерыхъ», или «освистанныхъ авторовъ» (у каждаго былъ въ прошломъ театральннй неуспѣхъ — впрочемъ, насчетъ Тургенева это сомнительно: онъ принялъ титулъ больше изъ вѣжливости).

Обѣды устраивались въ ресторанахъ — то у «Адольфа и Пеллэ» за Оперой, то у Комической Оперы, то у Вуазена. Все пятеро старались быть гастрономами — нѣсколько щеголяли этимъ. А въ сущности, провансалецъ Додэ не шель далѣе своего буйабэса, Флоберъ — руанской утки. Гонкуръ находилъ, что «шикарно» требовать имбирнаго варенья. Тургеневъ въ кухнѣ дѣйствительно понималъ. Не даромъ работали крѣпостные повара у русскихъ баръ, знатоковъ обѣдальнаго дѣла. Недаромъ былъ онъ и родомъ изъ страны, чьи осетрина, стерлядь и икра прославлены. Онъ любилъ супъ съ потрохами, жареныхъ цыплятъ, икру. Вина пилъ мало.

Если-бы Вѣра Сергѣевна Аксакова, со своею возвышенностью и духовностью побывала на одномъ такомъ обѣдѣ, она-бы совсѣмъ невзлюбила «освистанныхъ», какъ и раньше недолюбливала Тургенева.

Собирались къ семи. Платили за обѣдъ франковъ по сорока (по тому времени очень дорого), засиживались въ отдѣльномъ кабинетѣ до двухъ. Золя снималъ пиджакъ, Тургеневъ кисло бранилъ его, что онъ не носитъ подтяжекъ и горячо спорилъ съ Флоберомъ о томъ, можно-ли ѣсть жаренаго цыпленка съ горчицею, или нѣтъ — до того горячо, что держали пари на дюжину шампанскаго и обращались къ суду экспертовъ-знатоковъ (давшихъ отвѣтъ неопредѣленный: не знаю, кто кому ставилъ вино). Это все мало походило на «ночныя бдѣнія» молодого Тургенева съ Бакунинымъ, или на «сутра» въ Лѣсномъ съ Бѣлинскимъ. Но надо быть справедливымъ: не объ однихъ цыплятахъ говорилось. Разбирали и собственные писанія. Приносили новыя свои книги. Флоберъ — «Искушеніе св. Антонія», «Три разказа»; Гонкуръ — «Элизу»; Золя — «Аббата Мурэ»; Додэ — «Джека», «На-

баба; Тургеневъ — «Живыя мощи», «Новь». «Мы толковали другъ съ другомъ по душѣ, открыто, безъ лести, безъ взаимныхъ восхищеній» (Додэ).

Это подымало объѣды, облагораживало. Облагораживали-ли разговоры о любви? — Ихъ тоже бывало много. Но тутъ Тургеневъ оставался въ одиночествѣ, и какъ физически, такъ и духовно цѣлой серебряною головой своей перерасталъ собесѣдниковъ. Ибо для «натуралистовъ» любовь была или актомъ природы (какъ у звѣрей), или гастронومیей. По общему мраку міровоззрѣнія своего, признававшего лишь слѣпую Природу (создавшую бессмыслицу и хаосъ жизни), Тургеневъ къ нимъ приближался. Но Любовь являлась ему мистическимъ просвѣтомъ. Онъ зналъ о божественномъ ея происхожденіи, не любилъ униженія любви. Гастрономъ въ кухню, не терпѣлъ гастронومیи въ любви, и за это недалекими своими сотрапезниками почитался «отсталымъ». Ему какъ ребенку объясняли особенности любовной техники — люди, вѣроятно, кромѣ этой техники ничего въ любви и не смыслившіе. Замѣчательнъ его споръ съ Золя. Тотъ утверждалъ, что любовь къ женщинѣ ничѣмъ не отличается въ существѣ своемъ отъ дружбы, или любви къ родинѣ — лишь обострена жаждой обладанія. Тургеневъ возражалъ: любовь чувство совсѣмъ особое, ни на что непохожее, и загадочнаго характера. Вспомнивъ юность свою, Нескучное, и княжну-сосѣдку, твердо стоялъ на томъ, что «въ глазахъ любимой женщины есть нѣчто сверхчувственное». На этомъ конькѣ былъ непобѣдимъ. Одолѣть его нельзя было потому, что таковъ его опытъ: онъ зналъ это не изъ книгъ, а изъ жизни. Отказаться отъ предѣльнаго взгляда на любовь значило-бы для него отказаться отъ себя и своего писанія. Онъ не только считалъ, что видитъ Божество въ глазахъ любимой, но полагалъ, что любовь вообще расплавляетъ человѣка, какъ бы изливаетъ его изъ обычныхъ формъ, заставляетъ забывать о себѣ — «выводить» изъ личности (соединяя съ безконечнымъ). Не всѣ могутъ любить. Есть лишенные этого дара. (Онъ не любилъ толстовскаго Левина — считалъ очень холоднымъ, неумѣющимъ любить, всегда лишь с о б о ю занятымъ).

Любви-же самъ настолько былъ «подверженъ», что считалъ — и писать-то способенъ лишь когда влюбленъ.

Можетъ быть, преувеличивалъ. Но безъ любви жить, все-таки, не могъ, какъ и безъ творчества. Это сливалось у него въ одно.

Еще очень давно, молодымъ и счастливымъ, испыталъ Тургеневъ въ Куртавенелѣ мистическія, жуткія ощущенія — будто сквозь обычный міръ давалъ о себѣ знать и другой, таинственный и недобрый. Онъ чуялся ему и въ звѣздномъ небѣ, и въ ночныхъ шорохахъ, и въ снахъ — сны всегда много значили въ его жизни. Къ нимъ не такъ просто онъ относился. Замѣчательно, что свѣтлое визионерство дантовской, напимѣрь, молодости, ему чуждо. «Любимая» не являлась обликомъ Беатриче, хотя въ сверхчувственномъ пониманіи любви и былъ онъ съ Данте родственъ. Зависѣло-ли это отъ того, что у Тургенева не было чувства всемогущаго свѣтлаго Бога? Высшая сила для него слѣпа и безжалостна. Человѣкъ ничтоженъ. Прорывающееся оттуда нерадостно. Въ полномъ противорѣчій съ этимъ былъ восторгъ любви — хорошо ему извѣстный. Данте вѣрилъ, что Беатриче изъ благодатнаго источника. Тургеневъ ощущалъ прелесть своей Беатриче скорѣе какъ магическую. Это одна изъ болѣзненныхъ его неясностей, очень тяжелыхъ.

Его странности въ домѣ Герцена, одинокая тоска на *galerie de la Paix*, сумрачное (но глубоко поэтическое) колдовство «Фауста» (разсказа), ужасъ «Призраковъ», грозные сны, все это одного корня. Правда, онъ написалъ Лизу въ «Дворянскомъ гнѣздѣ». Что-то иное брезжило и ему. Но помолиться съ Лизой въ церкви онъ не могъ.

Съ годами чувство присутствія иного міра въ немъ росло. Но не давало радости. О «призракахъ» онъ не только писалъ: онъ ихъ и видѣлъ. Спускаясь по лѣстницѣ объѣдать, видитъ старика Віардо, въ охотничьей курткѣ, умывающегося у себя въ уборной. Дѣлаетъ нѣсколько шаговъ до столовой — тамъ преспокойно сидитъ тотъ-же Віардо, нисколько не умывавшийся. Въ Лондонѣ люди раздваиваются: онъ говоритъ за столомъ съ пасторомъ, и кромѣ пастора видитъ его скелетъ, пустыя впадины глазъ, и т. д. Или приходитъ къ нему, солнечнымъ утромъ, женщина въ капотѣ — говоритъ нѣсколько словъ по французски — и не одинъ разъ приходитъ. Будто уже знако-

мая. «Странно, что по французски. У меня никогда не было близкой женщины иностранки, изъ умершихъ, то-есть.. Я нѣсколько разъ видѣлъ привидѣнія въ своей жизни».

Просто-ли это галлюцинаціи, или не просто, другой вопросъ. Но онѣ были. И раздвояли самого Тургенева, какъ въ жизни, такъ и въ писаніи.

Уже говорилось, какъ вслѣдъ за «Отцами и дѣтьми» написалъ онъ «Призраки», нѣсколько позже «Собаку». Семидесятые годы открываются какъ бы двойнымъ созвучіемъ: «Степной король Лиръ» — деревенскій и полно-живописный Тургеневъ мценскихъ полей, Орла, Спасскаго — и «Стукъ.. стукъ.. стукъ!» («Я какъ разъ начисто переписалъ эту пѣвучую, небесноголубую вещицу — и къ величайшему моему удивленію замѣтилъ, что она похожа на ядовитый грибъ»). Что въ ней небесноголубого нашель онъ, не знаю. Въ этой «студіи» соблазненная офицеромъ дѣвушка, покончивъ съ собой, изъ «того» міра зоветъ къ себѣ соблазнителя — въ таинственной туманной ночи, слабымъ стономъ — похожимъ на то, что слышали еще мальчики «Бѣжина дуга». Сомнѣній нѣтъ: «тотъ» міръ все ближе подступаетъ. Теперь лучшія свои вещи пишетъ онъ по «зову». «Живыя мощи» набросаны гораздо раньше. Но пока былъ онъ моложе и больше погруженъ въ «лапку утки» и «морду коровы, съ которой падаютъ блестящія капли», — Лукерья, сны ея, видѣнія меньше его занимали. Рукопись лежала въ столѣ, не доведенная до состоянія художества. Зря, случайно? Въ благотворительные сборники и раньше зазывали его. Но вотъ лишь теперь (въ 74 г.) появилась эта драгоценность литературы нашей. Лукерья такая-же заступница за Россію и всѣхъ насъ, какъ смиренная Агашенька, раба и мученица Варвары Петровны, какъ Лиза. вмѣстѣ съ Лизой она свидѣтельствуетъ и о какихъ-то возможностяхъ Тургенева, не до конца раскрывшихся. О неполной власти магическаго.

1875-й годъ отмѣченъ разсказомъ «Часы». Авторъ самъ находилъ его «страннымъ» — во всей нѣсколько запутанной исторіи простые, будто-бы, часы играютъ роль недобрую и знаменательную. Еще мрачнѣе слѣдующая вещь «Сонъ». кошмаръ сплошной, написанный съ той убѣдительною, какую могъ дать лишь человекъ, самъ съ призраками знавшійся. Затѣмъ «Разсказъ о Алексѣя» — тутъ просто ужъ изображается, какъ дьяволъ овладѣлъ душою человека. Удивительный по тону, полный кротости, онъ

страшенъ безответностью, почти опасенъ (ощущеніемъ всемогущества, неотвратимости зла). Но что легкое, свѣтлое могъ дать художникъ, отмѣчавшій въ своемъ дневникѣ (1877): «Полночь. Сажу опять за своимъ столомъ. А на душѣ у меня темнѣе темной ночи... Могила словно торопится проглотить меня; какъ мигъ какой пролетаетъ день, пустой, безцѣльный, безцвѣтный. Смотришь: спяты вались въ постель. — Ни права жить, ни охоты нѣтъ; дѣлать больше нечего, нечего ожидать, нечего даже желать».

Духъ мрака, горестнаго унынія знакомъ всякому — до святыхъ, впадавшихъ иногда въ тоску. Но они одолевали ее слияніемъ (въ молитвѣ, устремленіи духовномъ и любовномъ) — съ Верховнымъ благомъ. Тургеневу-же некуда было преклонить главу, некому излиться. Не отъ кого ждать помощи.

Въ тѣ самые семидесятые годы, когда вкусно обѣдалъ онъ съ французскими литераторами, покупалъ картины въ *Hôtel Drouot*, водилъ знакомство съ Лавровымъ и давалъ деньги на революціонный журналъ, когда восторгался цюрихскими народницами-студентками, самоотверженно набиравшими свое изданіе — тутъ-то и могъ по настоящему писать лишь «подпольное». Тургеневъ дневной, общественный, «отражавшій современность» не удавался во-все.

«Новь» — плодъ сложныхъ, долгихъ размышлений, наблюдений. Романъ, написанный, можетъ быть, самою зрѣлою техникой Тургенева, съ наибольшимъ движеніемъ и прочностью композиціи (слабыя стороны его ранняго писанія) — совершенно погибъ. Вотъ вещь не благословенная, незадачливая въ корнѣ, ничѣмъ не овлажненная, неоплодотворенная — самое страшное для художника зрѣлаго: будто все и на мѣстѣ, и все ни къ чему. Все подсушено, безъ живыхъ соковъ (хотя имѣетъ видъ жизненности). Горькая «Новь» съ изображеніемъ хожденій въ народъ мелодыхъ, иногда трогательныхъ интеллигентовъ, несчастныхъ и гамлетизирующихъ, никакой истинной новью не благоухающихъ. Зря пропали деньги Тургенева на лавровскій журналъ. Ничего не дать ему и самъ этотъ отшельникъ латинскаго квартала со своими цюрихскими студентами.

Нѣтъ, не то могъ дѣлать теперь старый, больной, томимый чувствомъ близкаго конца Тургеневъ.

**

Въ «Снѣ» нѣкій офицеръ «съ черными, злыми глазами», отчаявшись въ любви къ нему матери лица, ведущаго рассказъ, прибѣгаетъ къ насилію. Въ отсутствіе мужа проникаетъ въ ея спальню, набрасываетъ на голову ей подушку, и т. д. Рожденный при такой обстановкѣ сынъ видитъ впоследствии упорный сонъ объ отцѣ — и однажды, наконецъ, его встрѣчаетъ (въ приморскомъ городѣ, гдѣ живетъ однокто съ матерью). Отецъ дѣйствительности вполнѣ походить на отца сна (при немъ нѣкій таинственный «арапъ»). Снова пытается отецъ проникнуть къ матери, на этотъ разъ неудачно. Уѣзжаетъ въ Америку и гибнетъ въ бурѣ. Его тѣло прибило къ берегу, и гуляя по взморью юноша вновь видитъ, но уже мертваго, отца — съ тѣмъ обручальнымъ кольцомъ на пальцѣ, которое онъ сорвалъ съ жертвы въ первое свое посѣщеніе. Юноша бѣжитъ домой, приводитъ мать къ этимъ песчанымъ дюнамъ, но утопленника уже нѣтъ... такъ-же загадочно онъ и сгинулъ.

Написанъ «отецъ» смутно, въ облакѣ таинственности. Будто онъ приходилъ къ матери тогда естественно (указана даже потайная дверь въ стѣнѣ). Но остается впечатлѣніе магнетизирующей силы, колдовства, таиншагося въ черноглазюмъ челоуѣкѣ съ арапомъ — содѣйствія силъ темныхъ.

Овладѣть въ отвергнутой любви силою... да еще весьма двусмысленной... Въ этомъ «Снѣ» есть отчаяніе страсти. И — беззащитность отъ вторженія ея (мать не можетъ сопротивляться вихрю, чужой страстной волѣ).

Воля въ любви. Порабощеніе одного другимъ, предѣльно-ли грубое, или болѣе сложное, но не менѣе жуткое насыланіе «болѣзни любви», какъ наслала ее Марія Николаевна на Санина въ «Вешнихъ водахъ», — это Тургенева давно занимало. Любилъ онъ любовь — и боялся ея. Въ «Снѣ» рѣдкій у Тургенева случай, когда мужчина дѣйствуетъ. (Обычно «беретъ» женщина — мужчину слабого, не-волесого).

Не знаю, какъ Віардо отнеслась ко «Сну». При своемъ трезвомъ и «благоразумномъ» настроеніи врядъ-ли одобрила. И она, и ея мужъ бывали строги къ Тургеневу. Во всякомъ случаѣ, подъ ихъ кровомъ, въ третьемъ этажѣ дома на rue Douai, въ небольшихъ комнатахъ, гдѣ висѣлъ

портретъ Віардо, стоялъ ея бюстъ, откуда слышны были колоратуры ученицъ, распѣвавшихъ внизу съ сѣдою, но блестяще-черноглазою прелѣстительницей, сочинялъ Тургеневъ такіа странныя, никому неблизкія и не имѣвшія успѣха вещи...

Самъ онъ старѣлъ, Эросъ-же въ немъ не гасъ. Врядъ-ли онъ былъ теперь въ Полину влюбленъ. Романомъ съ ней никакъ не отзываетъ жизнь въ домѣ *entre la cour et le jardin*. Но ея власть надъ нимъ огромна. Онъ какъ-бы въ тихомъ, заколдованномъ оцѣпенѣніи. Его сердце можетъ даже открываться другимъ. Но надъ всѣмъ бодрствуютъ черные, пожалуй, и дѣйствительно магнетическіе глаза Полины. Достаточно ей сказать «такъ» — и будетъ такъ. Уѣхавъ въ Россію, по первому зову прилетитъ онъ въ Парижъ, какъ-бы въ туманномъ лунатизмѣ.

Хотя... — именно теперь и другіе глаза, не менѣе прелестные, появляются близъ него.

Баронесса Юлія Петровна Вревская — блестящая красавица, чудесный, горячій, страстный челоуѣкъ. Они встрѣтились въ концѣ 73 года. Она очень ему понравилась. Уже весною 84-го пишетъ онъ ей изъ Парижа о своемъ чувствѣ къ ней, «нѣсколько странномъ, но искреннемъ и хорошемъ». Лѣтомъ онъ побывалъ въ Россіи. Вревская приѣзжала къ нему въ Спасское, провела тамъ пять дней въ полѣ — робостью она не отличалась, но авантюристкой не была никакъ. Тургеневъ, разумеется, ей тоже нравился. Въ собственной жизни она неустроена и тоже томится. Ей хочется жить, но не такъ печально-созерцательно, какъ графиня Ламбертъ, не такъ семейственно, какъ Ольга Александровна. Она болѣе женщина новаго времени. Не Елена-ли «Наканунѣ», попавшая въ семидесятые годы? Многое уже видѣла. Многое испытала. Знаетъ разочарованія, но и силы свои. Не одна семья и не одна любовь ее влекутъ. Жить — значитъ дѣйствовать. Рядомъ съ любимымъ челоуѣкомъ, но на равной ногѣ.

На роль Инсарова никакъ Тургеневъ не годился. По обыкновенію, разставлялъ свои сребристыя тенета, слегка опутывалъ и завлекалъ, но что могъ предложить рѣшительнаго? Въ Спасскомъ читалъ ей вслухъ стихи, мастерски рассказывалъ (кто-же изъ женщинъ скучалъ съ Тургеневымъ?), загадочно цѣловалъ ручку, вздыхалъ — былъ милъ и очарователенъ — вѣчно ходилъ вокругъ да около. «Мнѣ все кажется, что если-бы мы оба встрѣтились

молодыми, неискушенными, а главное свободными людьми... докончите фразу сами».

Кого можно зажесть «условными предложениями»? (Если-бы, да если-бы...). Но вѣдь это пишетъ Тургеневъ, и тайкомъ отъ Віардо. Полина отлично могла себѣ позволить баденскаго доктора, и съ Тургеневымъ на этотъ счетъ не совѣтовалась. Если-бы, однако, узнала о его «отклоненіяхъ», врядъ-ли бы ему поздоровилось.

Тургеневъ видѣлся со Вревской внѣ Парижа: въ 75 г. въ Карлсбадѣ, гдѣ вмѣстѣ они пили воды. Въ 76-мъ — въ Россіи. А еще черезъ годъ онъ такъ осмѣлѣлъ, что написалъ ей: «Съ тѣхъ поръ, какъ я васъ встрѣтилъ, я люблю васъ дружески и въ то-же время имѣлъ неотступное желаніе обладать вами; оно было, однако, не настолько несбуждено, чтобы попросить Вашей руки, къ тому-же другія причины пренятствовали; а съ другой стороны, я зналъ очень хорошо, что Вы не согласитесь на то, что французы называютъ *une passade*». Вревская раньше писала ему, что не питаетъ «никакихъ заднихъ мыслей». Онъ тутъ-же прибавляетъ: «я, къ сожалѣнію, слишкомъ былъ въ томъ увѣренъ (обычное его положеніе: не возбуждать страсти въ женщинѣ). Вревскую, все-таки, его письмо смutilo. Она отвѣтила — и въ письмѣ была загадочная фраза, надъ которой онъ «поломалъ голову». Но дѣло опять кончилось придаточнымъ предложениемъ изъ числа условныхъ. 8-го февраля онъ пишетъ: «Нѣтъ сомнѣнія, что нѣсколько времени тому назадъ, если-бы Вы захотѣли...»

То-есть «если-бы» она его взяла. Этого, разумѣется, не случилось. Вревская никакъ не собиралась «женить» на себѣ Тургенева. Никакихъ «карьеръ» или «тихихъ пристаней» она не желала. Наоборотъ, неизжитыя силы влекли ее впередъ. Хотѣлось дѣйствія, притомъ добраго дѣйствія. Вревская поступила рѣшительно, прямо. Шла русско-турецкая война. Вскорѣ послѣ послѣдней ветрѣчи съ Тургеневымъ (въ концѣ мая, въ Павловскѣ на дачѣ Полонскаго), уѣхала она сестрой милосердія на войну — въ ту-же Болгарію, куда нѣкогда устремлялась Елена. Тамъ героически ухаживала за больными, ранеными. Тамъ сложила голову «за други своя». Съ «золотой волнушкой» не разсталась, жизнь-же отдала.

Тургеневъ какъ разъ въ это время началъ еще новый родъ писаній своихъ, лирико-философическихъ, назвалъ

ихъ «Стихотворенія въ прозѣ». О смерти ея онъ написалъ знаменитое «стихотвореніе» — послѣдняя вѣсть о Вревской, послѣднее ея прославленіе.

...«На грязи, на вонючей сырой соломѣ, подъ навѣсомъ ветхаго сарая, на скорую руку превращеннаго въ походный госпиталь, въ раззоренной болгарской деревушкѣ — слишкомъ двѣ недѣли умирала она отъ тифа. Она была въ безпамятствѣ — ни одинъ врачъ даже не взглянулъ на нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногахъ — поочередно подымались со своихъ зараженныхъ логовищъ, чтобы поднести къ ея запекшимся губамъ нѣсколько капель воды въ черепкѣ разбитаго горшка».

Такъ проиграла (а вѣрнѣе выиграла!) свою жизнь Вревская. Подходящая для нея судьба: скорый, трагическій и героическій конецъ. Разсчеты Тургенева съ жизнью шли медленнѣе. Ничего не было въ нихъ героическаго.

БУЖИВАЛЬ.

«Мы съ Віардо приобрѣли здѣсь прекрасную виллу — въ 3/4 часа ѣзды отъ Парижа — я отстраиваю себѣ павильонъ, который будетъ готовъ не раньше 20-го августа — но гдѣ я немедленно поселюсь... — Я ѣзжу въ Парижъ три раза въ недѣлю».

Это писано лѣтомъ 1875 года. «Здѣсь» — Буживаль, недалеко отъ С.-Жерменъ, на берегу Сены.

Видимо, купили они сообща. Вилла называлась Les Frères («Ясени»). Съ набережной ворота вели въ паркъ. (Они и нынѣ существуютъ. На нихъ доска съ обозначеніемъ, что тутъ жилъ «знаменитый русский романистъ Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ»). Двѣ дороги, усыпанныя пескомъ, подымались вверхъ къ дому. Вокругъ кусты, зелень, чудесные ясени, плакучія ивы. Какъ и въ Баденѣ, много воды. Она скоплялась въ бассейнахъ, бѣжала ручейками, среди бегоній, фуксій по лужайкамъ, мшистыхъ огромныхъ деревьевъ. Главный домъ, гдѣ жили Віардо, наверху. У Тургенева небольшое *chalet*, въ швейцарскомъ духѣ, недалеко отъ дома — все въ цвѣтахъ, зелени. Въ *rez-de-chaussée* столовая и гостиная. Выше большой кабинетъ, много книгъ, картинъ, мебель обита темно-краснымъ сафь-

яномъ. Изъ углового окна видъ на Сену — на ней тѣ же баржи, что и теперь, лодки, кабачки подъ ивами и тополями. Зеленые луга, коровы. Голубизна далее — тогда все было просторнѣй, болѣе деревенское. Еще этажомъ выше спальня и комната для гостей.

Сюда выѣзжали каждую весну изъ Парижа, съ гие Douai, въ каретахъ, медленно и основательно катившихъ по шоссе, съ сундуками, баулами, картонками — на все лѣто. (Какъ бы парижское Нескучное или Царицыно). Лишь ноябрьскіе туманы загоняли въ городъ.

Собиралась вся семья: семидесятипятилѣтній Луи Виардо, Полина, дочери — Клавдія Шамеро и Марианна Дювернуа, сынъ Поль. Пріѣзжалъ — возвращаясь изъ Карлсбада съ лѣченія, или изъ Россіи (тамъ бывалъ чуть не каждый годъ) — Тургеневъ. Случалось, что и ученицы Виардо жили тутъ въ пансіонѣ по сосѣдству.

Жизнь шла тихая, старчески-закатная, Тургеневъ, какъ всегда, работалъ. Къ Буживалю имѣютъ отношеніе «Сонъ», «Разсказъ о. Алексѣя» и позднѣйшія «Клара Милитъ», «Стихотворенія въ прозѣ», предсмертные наброски. Осенью 76-го года здѣсь переписывалась «Новь» — и очень многія письма помѣчены Буживалемъ (Тургеневъ всегда тщательно означалъ даты и мѣсто — любилъ, чтобы ему указывали ихъ).

Видишь его здѣсь полубольнымъ и грустнымъ, съ подагрой, нерѣдко въ пледѣ, медленно прогуливающимся по парку (въ лучшіе, относительно, годы, до послѣдней болѣзни). Очень это непохоже на его молодость въ Куртавенелѣ, но ни отъ чувствъ Куртавенеля, ни отъ самого помѣстья ничего болѣе не осталось.

Къ молодости, красотѣ тяготѣніе неизбывно. Вотъ Диди разставляетъ у него въ кабинетѣ, рядомъ съ окномъ на Сену кисти, краски на мольбертѣ, тутъ для нея поставленномъ. Это видная молодая женщина съ черными блестящими волосами, острыми чертами лица, глубокими синими глазами — обликомъ напоминаетъ мать. Она тоже умѣетъ пѣть. — Полина обучала ее. Но занимаютъ больше кисти, краски. Диди съ дѣтства рисуетъ. Въ годы Бадена дарила Тургеневу ко дню рожденія «Св. Семейство» — здѣсь пишетъ пейзажи, натюрморты.

Тургеневу нравится, что она близъ него. Можетъ быть, онъ даетъ ей совѣты, критикуетъ, хвалитъ. Снизу, съ крокетной площадки, тоже молодые голоса, шелкаютъ шары,

смѣхъ: ученицы забавляются не столь веселой игрой. Накидывая на плечи пестрый влעדъ — лѣтомъ нерѣдко холодно спускается онъ внизъ, и подъ ясенями садится на скамейку, смотритъ, какъ играютъ. Ученицы разноплеменные: южная красавица Гургани — венгерка; мечтательная Фермернъ, чудесное контральто — нѣмка. Роммъ — русская. Всѣ какъ на подборъ высокія, стройныя. Въ Парижѣ, увидавъ ихъ разъ въ салонѣ Виардо, Тургеневъ окрестилъ всю тройку «анабаптистами» изъ «Пророка» — такъ и осталось за ними названіе. Опять похоже на Лаврецакого и Молодежь, только не въ Орлѣ на Дворянской, а на латинской землѣ, и Лаврецкому шестьдесятъ лѣтъ. Анабаптисты относятся къ нему съ благоговѣніемъ — это великій писатель, такой пріятливый и грустный человекъ, даже такой красивый, несмотря на возрастъ. Возможно, и онъ тряхнетъ стариной, сыграетъ партію, да врядъ-ли барышни рѣшатся обыграть его. Хотя боязни къ нему нѣтъ. Кому онъ страшенъ? Кого обижалъ изъ малыхъ сихъ? (Не то, что Виардо: отъ нея, случалось, плакали статныя ученицы — потомъ мирились, цѣловались — до ближайшей ссоры).

Долго ему подъ ясенями, однако, не усидѣть. Изъ дому бѣжитъ прислуга.

— Г. Тургенева спрашиваютъ...

Или:

— Пріѣзжая дама очень хочетъ видѣть по дѣлу г. Тургенева.

Это соотечественники, Виардо не особенно ихъ ласково встрѣчаетъ, все-таки они просачиваются. Можетъ быть, молодой, рыжеватый съ бородкой ключьями и въ косовороткѣ народникъ, будущій Златовратскій, пріѣхалъ «ознакомиться со взглядомъ нашего знаменитаго писателя на революціонное движеніе», выяснитъ окончательно, «какъ онъ относится къ прогрессу?» — и заодно пожуричь за «постепеновщину», за то, что въ «Нови» «недостаточно выведено положительныхъ типовъ», и т. д.

— Въ Россіи назрѣваютъ событія, освѣдомляетъ юнецъ. — Въ Петербургѣ сейчасъ два правительства: одно въ Зимнемъ дворцѣ, другое на конспиративной квартирѣ исполнительнаго комитета...

Все это Тургеневъ знаетъ, но ничего не подѣлаешь, надо слушать. Онъ полудежитъ — громадный, съ серебряной головой, кутаешь ноги пледомъ.

— Вы ужь меня извините, — говоритъ высокимъ, пришепетывающимъ теноромъ: — за такую позу. Больной старикъ... Да, да, я преклоняюсь предъ самоотверженіемъ русской молодежи. Я вамъ очень благодаренъ за цѣнные указанія. Разумѣется, я сдѣлалъ въ «Нови» промахъ...

Посѣтитель оглядывается по сторонамъ. Видимо, обстановка его смущаетъ и собственная косоворотка, и бородка козлиная.

— Вы здѣсь вдали отъ гущи жизни. Для уловленія нарождающихся типовъ необходимо быть, такъ сказать, внутри, а не во внѣ...

Это больное мѣсто Тургенева. За «гущу», за, якобы, «измѣну» родинѣ («промѣнялъ на Францію»), кто только не кбрилъ его? (А когда умеръ Флоберъ и попробовалъ Тургеневъ собирать на памятникъ ему въ Россіи, — эта милая Россія въ ярости на него набросилась!).

Можетъ случиться, что народникъ вытащитъ таки изъ-подъ полы, пыжась и краснѣя, трубочку рукописи, гдѣ «выведены» въ поученіе Тургеневу и «положительные» типы, будетъ рассказано, какъ честная учительница съ не менѣе честнымъ учителемъ ушли въ народъ и что въ этого получилось.

Терпѣливъ Тургеневъ. Прочтеть, одобрить, перешлетъ Стасюлевичу — нельзя ли «тиснуть» въ «Вѣстникъ Европы»? Изъ своихъ средствъ дать авансъ... (Одна изъ причинъ нелюбви Полины къ землякамъ).

Или же не народникъ, а щебечущая дама дожидается. Подъ вуалькой, въ джерси, съ турнюромъ и юбкой въ воланахъ.

— Иванъ Сергѣевичъ, я такая ваша поклонница... позвольте представиться... Евдоксія Кукшина — обожаю вашъ талантъ, мнѣ бы хотѣлось автографъ.

Это — въ лучшемъ случаѣ. А то — похлопотать за сына. Его надо помѣстить въ гимназію, на казенный счетъ, такъ вотъ не можетъ ли онъ дать письмо... При его имени... съ его извѣстностью.

Тургеневъ беретъ за перо.

— А сколько лѣтъ вашему сыну?

— Пятый пошелъ.

— Ну, въ такомъ случаѣ не возьмутъ.

— Ахъ, знаете, я на всякій случай впередъ. Нахожусь проѣздомъ въ Парижѣ, думаю: надо навѣстить Ивана Сергѣевича, онъ такой добрый, а Олегъ подрастетъ, ему при-

годится рекомендательное письмо. Да заодно и подпись знаменитаго писателя.

Вѣроятно, не такъ ужь благословлялъ въ сердцѣ своемъ «Иванъ Сергѣевичъ» разныхъ мамашъ и Олеговъ, но письма писалъ, пока въ дверь не стучала твердая рука Вярдо: конецъ аудіенціи — «г. Тургенева ожидаютъ къ завтраку» (или къ обѣду, или еще что).

Вечеромъ вистъ — одно изъ пріятныхъ для него развлеченій. А 18-го іюля въ домѣ праздникъ — день рожденія Полины. (Въ Баденъ онъ всегда пріѣзжалъ къ этому времени изъ Россіи. Въ Буживалѣ не совсѣмъ такъ).

Разумѣется, дѣлаетъ Тургеневъ подарокъ: за нѣскольکو дней катитъ въ каретѣ въ Парижъ, въ Salle Drouot. Тамъ онъ завсегдайт.

Его кличка Grand Gogo russe. Это значитъ, что нетрудно его облапошить — и дѣйствительно, нѣтъ ничего легче. Онъ разыщетъ какую-нибудь каменю, шаль, миниатюру. Переplatитъ, робко свезетъ домой. Подарокъ будетъ пріятенъ съ царственнымъ благоволеніемъ, какъ самоочевидный шагъ. Черные глаза лишній разъ блеснутъ. Лишній разъ поцѣлуетъ онъ красивую нѣкогда руку.

И анабаптисты не отстанутъ. Къ торжественному дню заказываютъ они въ Парижѣ огромнѣйшій букетъ красныхъ розъ, букетъ-монстръ, чтобы умилостивить госпожу. Къ нимъ присоединяются еще двѣ ученицы — поднесеніе отъ пятерыхъ.

Полина все-таки даетъ утромъ урокъ. Стучать. Въѣзжаетъ цѣлый кустъ розъ. Она сразу понимаетъ, въ чемъ дѣло, но слегка играетъ: хмурится, дѣлаетъ недоумѣнное лицо... За дверьми шепчутся остальные четыре дѣвицы.

— Что такое? Откуда это?

Въ букетѣ пять визитныхъ карточекъ.

Она медленно вынимаетъ ихъ, по одной, медленно, какъ бы плохо разбирая, читаетъ.

— Ну какія глупыя, что это за пустяки!

Но анабаптисты уже ворвались, виснутъ на ней, цѣлуютъ.

Разумѣется, парадный обѣдъ, съ шампанскимъ, индѣйками, мороженымъ. Вечеромъ гости. Ученицы будутъ пѣть. Можетъ быть, и Полина вспомнитъ бывшее, остатками знаменитаго голоса споетъ «О, только тотъ, кто зналъ свиданья жажду...», — сверкнетъ непогасшими глазами, вновь одно сердце взволнуетъ.

А потомъ кончится этотъ день. Одинъ останется Тургеневъ у себя въ *chaise*, — какъ и всегда. Въ угловомъ окнѣ, надъ Парижемъ, блѣдное зарево. Лѣтнія звѣзды въ небѣ. Лампа подъ зеленымъ абажуромъ на столѣ. Какъ нѣкогда въ Куртавенелѣ — шумъ крови въ ушахъ, шорохъ — неумолкаемый лепетъ деревьевъ, капля падаетъ съ легкимъ серебристымъ звукомъ. Тончайшее сопрано комара. И — ощущение ушедшей жизни.

Въ полночь было страшновато въ уединенномъ Куртавенелѣ, могло пригрезиться что-нибудь, почувтаться. Но тогда — молодость. Хоть не надолго — да увѣнчанная любовью. И тотъ, невѣдомый міръ, чуть пріоткрывавшійся, былъ далеко: едва давалъ о себѣ знать. Теперь онъ рядомъ. Совсѣмъ приблизился, какъ кошмаръ «Сна». Тайныя силы, грозныя и недобрыя, можетъ быть и могли закодировать и покорить ему ту, около которой (въ неравной борьбѣ) прошла жизнь. Но вотъ не закодировали. Не обратили ли? Не имѣли ли овладѣли — приковали къ «краюшку чужого гнѣзда?»

Возможно, встанетъ *monsieur Tourguéneff*, въ тишинѣ ночи обойдетъ садъ и вернувшись, запишетъ у себя въ дневникѣ: «Самое интересное въ жизни — смерть».

СЛАВА.

Съ начала шестидесятыхъ годовъ стало Тургеневу казаться, что онъ устарѣлъ, что его разлюбили и у него «все въ прошломъ». Отчасти это было вѣрно.

Старая Россія, патріархальная и крѣпостническая, кончалась. Всѣ благоуханія полей, «Затишья», смиренность русской дѣвушки, смиренность крѣпостного человѣка — необъятная тишина Россіи — уходила. Тургеневъ много показалъ влаги, поэзіи, красоты въ этомъ. Но сама эпоха уходила. «Дворянское гнѣздо» — послѣдній безспорный и глубокий его литературный успѣхъ — конецъ пятидесятихъ годовъ.

Водители шестидесятыхъ сразу сказали: «Тургеневъ не-созвученъ времени» — онъ и дѣйствительно не очень былъ созвученъ. Диссонансы, рѣзкая сухость — не его область. Уже говорилось, какъ тяжело переносилъ онъ нападки на «Отцовъ и дѣтей». Мелкія вещи проходили не-

замѣтно. «Дымъ» — полу-успѣхъ, тоже отравленный. О «Нови» никто (почти) не сказалъ добраго слова. Къ тому же: Тургеневъ живетъ на западѣ, въ Россію только наѣзжаетъ. Шаблонъ готовъ. Старый, немодный писатель, оторвавшійся и отъ эпохи, и отъ родины. Что можетъ дать онъ?

За эти годы Тургеневъ и писалъ меньше: возрастъ поздній, да и настроеніе сгущается. Темпераментъ толстовскій или ибсеновскій только разжигался-бы. Тургеневу надо было любить, баловать, безъ этого ему трудно работать. И онъ все прочнѣе приходитъ къ мысли, что дѣло кончено. «Довольно» — Достоевскій злобно посмѣялся надъ нимъ («Merci!»), но и вообще «люди шестидесятыхъ годовъ» все возможное сдѣлали, чтобы отравили старость Тургенева.

Правда, въ Европѣ его переводили, о немъ писали. Въ Парижѣ была у него извѣстность личная (и то больше какъ собесѣдника) — среди писателей, музыкантовъ при Віардо, художниковъ, да въ нѣкоторыхъ салонахъ. Книжки по французски шли плохо. Самъ онъ считалъ, что его вліяніе и положеніе во Франціи малое. Въ Германіи были вѣрные литературные друзья (критики) — Юліанъ Шмидтъ, Пичъ. Нѣмцы писали о немъ, пожалуй, больше и почтительнѣе всего. Нѣкоторыя удачи случились въ семидесятыхъ годахъ въ Америкѣ. Зато въ Единбургѣ (гдѣ читаетъ онъ «о никому неинтересномъ предметѣ: русской литературѣ») — самое имя его безсмысленно искажаютъ. И во всемъ тамъ ощущаетъ онъ свою ненужность.

Подождалъ 78-й годъ. Тургеневу исполнилось шестьдесятъ. Ничего не написалъ онъ къ юбилею! Если пятнадцать лѣтъ назадъ сказалъ «Довольно» — что же теперь? Онъ полагалъ, что умереть въ 1881 г. (Перестановка цифръ года рожденія — 1818). Такъ что о славѣ и поздно вато думать. Но она не спрашивала его мнѣнія, пришла сама, когда нашла нужнымъ (смерть тоже не посчиталась ни съ какими цифрами).

Первый сигналъ славы европейской былъ несилень, но хорошъ. На международномъ литературномъ конгрессѣ 78 г. въ Парижѣ Тургенева выбрали вице-президентомъ, онъ сидѣлъ рядомъ съ Гюго и предсѣдательствовали они по очереди, оба говорили на открытіи. Гюго гремѣлъ. Тургеневъ скромно прочелъ рѣчь о русской литературѣ — имѣлъ очень большой успѣхъ. Серебряная голова,

фракъ, бѣлый галстукъ, пенснэ, негромкій и высокій голосъ, отсутствіе рисовки, общее ощущеніе, что это крупный писатель — все до слушателей «дошло». Русская литература никогда еще не занимала такого мѣста — ее вознесъ Тургеневъ. Морально испытаніе прошло отлично. Техникомъ-же вице-предсѣдатель оказался плохимъ (давалъ слово не въ очередь, иногда вставалъ, будто-бы собираясь что-то сказать, и не говорилъ, слабо управлялъ звонкомъ — а затѣмъ и вовсе его выронилъ). Но это неважно. Гюго дѣлалъ нелѣпости и почище (голосовалъ, напримѣръ, за поставленіе, прямо противоположное собственной рѣчи). Важно, что Тургенева и аравнѣ съ Гюго возвели въ санъ патріарха — предъ лицомъ Европы.

Россія еще не было. Все еще казалась она «сфинсомъ». Но какъ разъ въ этомъ неблагожелательномъ году и Россія дала вѣсть неожиданную, радостную. Въ рѣчи на съѣздѣ коснулся онъ русской литературы скромно, но твердо («Сто лѣтъ назадъ мы были вашими учениками; теперь вы насъ принимаете, какъ своихъ товарищей»). А за два мѣсяца до этого получилъ изъ Россіи письмо, сильно его взволновавшее: писалъ изъ Ясной Поляны Левъ Толстой, тотъ самый, что семнадцать лѣтъ тому назадъ собирался застрѣлить его изъ дуэтовки. Тургеневъ никакихъ шаговъ къ сближенію не дѣлалъ: онъ только прославлялъ врага на Западѣ, какъ перваго художника Россіи. Въ душѣ-же самого Толстого что-то сдвинулось. Вспомнилъ онъ теперь о Тургеневѣ не какъ о «подлецѣ».

«Въ послѣднее время... я къ удивленію своему и радости почувствовалъ, что я къ вамъ никакой вражды не имѣю. Дай Богъ, чтобы въ васъ было то-же самое. По правдѣ сказать, зная, какъ вы добры, я почти увѣренъ, что ваше враждебное чувство ко мнѣ прошло еще прежде моего. Если такъ, то, пожалуйста, подадите другъ другу руку, и, пожалуйста, совсѣмъ до конца простите мнѣ все, въ чемъ я былъ виноватъ передъ вами». Дальше вспоминаетъ, сколькимъ въ литературной извѣстности своей обязанъ Тургеневу, все доброе, что тотъ для него дѣлалъ, и предлагаетъ, если Тургеневъ можетъ простить, — возобновить дружбу. «Въ наши годы есть одно только благо — любовныя отношенія съ людьми, и я буду очень радъ, если между нами они установятся».

Тургеневъ заплакалъ, получивъ это письмо. Отвѣтилъ такъ:

...«С величайшей охотой готовъ возобновить нашу прежнюю дружбу и крѣпко жму протянутую мнѣ вами руку. Вы совершенно правы, не предполагая во мнѣ враждебныхъ чувствъ къ вамъ; если они и были, то давнымъ давно исчезли...»

...Душевно радуюсь прекращенію возникшихъ между нами недоразумѣній. Я надѣюсь нынѣшнимъ лѣтомъ попасть въ Орловскую губернію, и тогда мы, конечно, увидимся. А до тѣхъ поръ желаю вамъ всего хорошаго — и еще разъ дружески жму вамъ руку».

Въ Спасское Тургеневъ этимъ лѣтомъ попалъ, и въ началѣ августа собрался къ Толстому въ Ясную Поляну. Толстой выѣхалъ встрѣтить его въ Тулу — видимо хотѣлъ обставить примиреніе совсѣмъ торжественно. Изъ Тулы вмѣстѣ они пріѣхали, очень ласково другъ къ другу настроенные. Тургеневъ гостилъ нѣсколько дней, всѣхъ у Толстого очаровалъ смиренностью, простотой, живописностью разсказовъ. Видимо, былъ въ ударѣ — въ мягкой и растроганной душевной полосѣ. «И вы, и я», — писалъ потомъ Толстому, — «мы оба стали лучше, чѣмъ шестнадцать лѣтъ назадъ». Очевидно, отъ «прежняго» Тургенева, съ нѣкоей позой и фразой, слѣда не осталось. Толстой этого не вынесъ-бы. А теперь онъ съ нимъ почтителенъ, почти нѣженъ. Разстояніе, разумѣется, сохранялось. Оба держались именно такъ, чтобы острыхъ угловъ не задѣвать. Тургеневу, впрочемъ, было и вообще не до острыхъ угловъ. Другое тяготѣло надъ нимъ. Въ столовой сѣли за столъ — тринадцать человѣкъ. Стали шутить насчетъ того, кому первому выпадетъ жребій смерти. Тургеневъ тоже смѣялся. А потомъ поднялъ руку и сказалъ:

— Qui craint la mort, lève la main.

Никто не поднялъ, кромѣ Льва Толстого:

— Eh bien, moi aussi je ne veux pas mourir.

Два первыхъ русскихъ писателя — только они — сказали, что боятся смерти. (Софья Андреевна считаетъ, что Левъ Николаевичъ поднялъ руку «изъ вѣжливости» — хороша вѣжливость у автора «Смерти Ивана Ильича»!). И оба выразились по французски.

Потомъ, конечно, какъ всегда въ деревнѣ, гуляли, любовались Козловой Засѣвкой, милыми полями, перелѣсками родины. Тургеневу было не до споровъ, не до ссоръ. По-

слѣднія трепетанія любви, да слава остались ему. Слѣшить некуда. Не о чемъ и волноваться. И правда, далеки нервность, бурная раздражительность времени Фетовой Степановки.

Вечеромъ играли въ шахматы. Шахматныхъ партій изъ живости не проигрываютъ. Тургеневъ игралъ лучше и навѣрно приходилось Толстому упражнять свое смиреніе, проигрывая ему.

Тургеневъ пробылъ у Толстыхъ три дня. И гость, и хозяева остались другъ другомъ довольны — а на зрителя двухъ славныхъ жизней хорошо дѣйствуетъ, что достойно заканчивались долгія ихъ, сложныя и драматическія отношенія. Тургеневу, недалеко отъ кончины, слѣдовало примириться съ Толстымъ. Не могла одна подлинная Россія (европейская) враждовать вѣчно съ другой подлинной (азиатскою).

Примиреніе съ Толстымъ хорошо отозвалось и на Фетъ. Бородатый Феть, нѣкогда пріятель Тургенева по стихамъ и охотамъ, съ 74-го года сталъ почти недругомъ.

Разводило ихъ неодинаковое отношеніе къ Россіи и политикѣ. Тургеневское вольномысліе, холодность къ правительству, знакомство съ эмигрантами и нѣкоторое сочувствіе революціонерамъ раздражали Фета. Тургенева-же раздражалъ непроходимый фетовскій черноземъ, возводившій чуть не къ крѣпостному праву. Меньше онъ сталъ цѣнить и его стихи. Недовольство долго тлѣло, но прорвалось сразу. До Тургенева дошли вѣсти, что Феть распространяетъ о немъ нелѣпый рассказъ: будто Тургеневъ старался въ разговорѣ съ двумя юношами «заразить ихъ жаждою идти въ Сибирь». Нѣкое слово Тургенева явно было перетолковано, искажено и раздуто — привело къ разрыву. Но Феть продолжалъ быть и сосѣдомъ, и пріятелемъ Толстого. Августовская встрѣча, впечатлѣніе, произведенное у Толстыхъ Тургеневымъ, все это повліяло. Вернувшись въ Спасское, 25 августа 78 г. Тургеневъ пишетъ Толстому: «Феть-Шеншинъ написалъ мнѣ очень милое, хоть и не совсѣмъ ясное письмо, съ цитатами изъ Канта; я немедленно отвѣчалъ ему. Вотъ, стало быть, я и не даромъ пріѣзжалъ въ Россію».

Но главныя, триумфальныя встрѣчи его съ родиной были еще впереди.

**

Въ началѣ 79-го года умеръ въ Россіи старшій братъ Тургенева Николай, тотъ, съ кѣмъ вмѣстѣ воевали они нѣкогда противъ матери, который по смерти ея сталъ владѣльцемъ огромнаго состоянія и такъ всю жизнь и прожилъ съ Анной Яковлевной (скончалась она раньше него). Въ свое время немало претерпѣлъ за нее отъ матери. Но навсегда остался подъ властію этой женщины. Анна Яковлевна управляла мужемъ безраздѣльно, а онъ, по словамъ Ивана Сергѣевича (нелюбившаго невѣстку) «цѣловалъ ей ноги» — нѣкоторымъ образомъ повторяя судьбу Ивана. Нельзя равнять Анну Яковлевну съ Віардо, но она тоже была некрасива, тяжелого характера и бурнаго темперамента.

Въ жизни Тургенева младшаго старшій почти не имѣлъ значенія, если не считать пріѣзда его въ Баденъ въ шестидесятихъ годахъ, когда Иванъ Сергѣевичъ сообщилъ ему важныя семейныя тайны (о себѣ и Віардо, — намъ неизвѣстныя). До духовнаго уровня младшаго брата никогда Николай не подымался. Ихъ отдаленность не удивляетъ. Николай былъ помѣщикъ, хозяинъ, скуповатый дѣлецъ. Все это чуждо Ивану Сергѣевичу.

Съ похоронами близкихъ Тургеневу всегда не везло (такъ ужъ, видно, назначено было: держаться въ сторонкѣ) — не видалъ онъ въ гробу ни матери, ни брата, ни Бѣлинскаго, ни Герцена. Въ февралѣ-же 79-го года пріѣхалъ въ Москву по дѣлу о наслѣдствѣ. Николай Сергѣевичъ и въ смерти остался вѣренъ памяти жены: подавляющую часть имущества оставилъ ея родственникамъ. Иванъ Сергѣевичъ получилъ совсѣмъ мало.

Какъ-бы то ни было, пріѣзжалъ Тургеневъ въ Россію за деньгами. Но о наслѣдствѣ, неприятностяхъ съ какимъ-то Маляевскимъ слышимъ мы лишь вскользь. О встрѣчѣ писателя съ Россіей очень много.

Началось какъ будто съ пустяка. Максимъ Ковалевскій, извѣстный ученый, баринъ, гастрономъ, человекъ «западническаго» склада, жизнь прожившій широко и вольно — тогда редакторъ «Критическаго обозрѣнія» — пригласилъ Тургенева къ себѣ на завтракъ. (Тургеневъ остановился все на томъ-же чудесномъ Пречистенскомъ бульварѣ, у того-же пріятеля своего Маслова, въ Удѣльной Конторѣ).

У Ковалевского собралось человекъ двадцать сотрудниковъ. Завтракъ былъ обильный, парадный. Первый тостъ грузный хозяинъ провозгласилъ за гостя, «какъ за любящаго и снисходительнаго наставника молодежи». Все это просто и естественно: Тургеневъ только-что прїѣхалъ — старый, знаменитый писатель... Болѣе удивительно, что столько разъ уже въ жизни завтракавшій, столько тостовъ произнесшій и выслушавшій, на этотъ разъ Тургеневъ «не дослушалъ привѣтствія и разрыдался». Это вышло совсѣмъ не по западному — ни у Вуазена, ни у «Адольфа и Пеллэ» этого не полагалось. Что-то сразило Тургенева, раскрыло «славянскую» его натуру. Позже онъ называлъ «небывалымъ» тотъ день. Въ дѣйствительности, ничего небывалаго, развѣ одно: случилось это въ Москвѣ, гдѣ мальчикомъ онъ учился въ пансіонѣ, юношей ѣздилъ въ университетъ, былъ влюбленъ въ Зинаиду. Одно важно, что это Родина, что не только его не забыли, а считают наставникомъ и любятъ. Что предъ надвигающейся смертью можетъ онъ собрать и плоды жизни.

Эти плоды посыпались со всѣхъ сторонъ. Прїѣздъ его обратился въ триумфъ — хотя умысла никакого не было. Все выходило само собой.

Читаетъ, напримѣръ, старый, тучный Алексѣй Феофилактовичъ Писемскій главу изъ романа въ Обществѣ Любителей Россійской Словесности. Читаніе — въ Физической аудиторіи Университета. По давней дружелюбности приглашаетъ Тургенева. Тотъ не сразу и соглашается (неважно себя чувствуетъ). Но въ концѣ концовъ ѣдетъ. Входитъ чрезъ главную дверь, прямо противъ которой, совсѣмъ близко, стоялъ легкой бѣлый экранъ для волшебнаго фонаря. Задѣваетъ его (по неуклюжести своей и огромному росту) — передъ полнымъ публички амфитеатромъ неожиданно является сѣдая голова... — Начинаются оваціи. Нѣкая «свѣтлая личность», студентъ Викторовъ, изъ-за Тургенева полавшій въ исторію литературы, съ хоръ произноситъ рѣчь. О Писемскомъ забыли. (Зря, пожалуй, онъ Тургенева и звалъ!).

— «Васъ привѣтствовалъ недавно кружокъ профессоровъ. позвольте привѣтствовать васъ намъ — намъ, учащейся русской молодежи — привѣтствовать васъ, автора «Записокъ Охотника», появленіе которыхъ неразрывно связано съ исторіей крестьянскаго освобожденія...»

Однимъ словомъ, все какъ полагается. Въ дальнѣйшемъ

было и нѣкоторое «поученіе», но все утонуло въ восторгѣ молодежи. Тургеневъ скромно поблагодарилъ. И быть можетъ скромностью еще болѣе тронулъ эту нервную и горячую, иногда вызывающую улыбку, но восторженную молодую Россію. Восторгъ летитъ за нимъ. Студенты мчатся по корридорамъ, толпятся у выхода, чуть не качаютъ его (какъ нѣкогда въ Петербургѣ Полину Виардо)... «И высыпали-бы на улицу, если-бы полиція не успѣшила закрыть дверь, когда Тургеневъ вышелъ на подъѣздъ».

Въ сущности, то-же продолжается и дома, на Пречистенскомъ бульварѣ. Съ утра поклонники: студенты, актеры, члены англійскаго клуба, ученицы Консерваторіи, художники, желающіе писать портреты. Десятками надо подписывать автографы — за ними, по большей части, приходятъ дѣвушки. (Эти «тургеневскія дѣвушки» такъ однажды настѣли на него, что пришлось цѣлый день выводить свою фамилію. Къ вечеру онъ совсѣмъ замучился).

Въ началѣ марта Тургеневъ переѣхалъ въ Петербургъ. Тотчасъ петербургская литература устроила въ честь него обѣдъ. Литературный Фондъ — вечеръ. Долженъ былъ онъ читать и въ пользу какой-то гимназіи — педагогички чуть не вынесли его на рукахъ. Вновь, какъ въ Москвѣ, толпа по утрамъ въ номерѣ. Приносятъ его сочиненія (опять автографы), адреса, привѣтствія. У Тургенева было нѣсколько своихъ книгъ. Дѣвицы растащили ихъ мгновенно — спорили, кому какой томъ взять, рвали другъ у друга книги, — «кричали, какъ галчата передъ вечеромъ». Одна захлебывалась отъ радости, что получила «Новъ» — Тургеневъ посмѣивался: можетъ быть, та-же поклонница полгода назадъ эту «Новъ» проклинала. (Но въ общемъ у него осталось впечатлѣніе, что женщины семидесятыхъ годовъ мягче и душевнѣе «шестидесятницъ»: пожалуй, это и не только бѣглое наблюденіе. Романтизмъ народничества — иное дѣло, чѣмъ естествознаніе и лягушки Бязарова).

Въ томъ-же мартовскомъ Петербургѣ 89-го года, среди сутолоки и шума славъ завязалъ Тургеневъ еще одно замѣчательное знакомство.

Въ январѣ молоденькая актриса Савина поставила въ свой бенефисъ на Александринской сценѣ «Мѣсяцъ въ деревнѣ». Пьесу посократили (она отъ этого выиграла). Савина оказалась прекрасной Вѣрочкой — спектакль шелъ съ огромнымъ успѣхомъ. Она обмѣнялась съ Тургеневымъ

привѣтственными телеграммами. Заочное знакомство состоялось. Теперь встрѣтились и лично: Топоровъ, пріятель Тургенева, свелъ ихъ въ Европейской гостиницѣ (гдѣ Тургеневъ остановился). Савина туда пріѣхала. Сѣдая картина и остролидая, большеглазая, тонко-холодноватая, но и пламенная насмѣшница. Какъ ни была она бойка, все же тургеневская слава волновала, подавляла ее. Ея успѣхи больше еще по Пензамъ, Минскамъ, онъ — всероссійская знаменитость. Она робѣла, хоть была не изъ робкихъ. Въ послѣднюю минуту, отъ волненія, чуть было не отмѣнила встрѣчу.

Тургеневъ принялъ ее мило, просто, какъ «дѣдушка», какъ нѣкій сказочный Knechttrugrecht. Думалъ, что она играетъ Наталью Петровну, и удивился, что Вѣрочку.

Она пригласила его на ближайшій спектакль. И лишь выйдя, сообщила, что вѣдь билеты все проданы. Пришлось спѣшно просить у директора мѣсто въ его ложѣ. Директоръ далъ всю ложу — что Тургеневу и подобало. Начало спектакля онъ сидѣлъ въ глубинѣ, въ тѣни, его не замѣчали. Въ антрактѣ стали вызывать «автора!» Тогда инкогнито ужъ невозможно было соблюсти. Савина прілетѣла въ ложу, вытасила его на сцену — театръ гремѣлъ, и такъ продолжалось цѣлый вечеръ. Тургеневъ раскланивался и изъ ложи — теперь въ покоѣ его не оставляли.

Савина торжествовала. Пьесу открыла она, Тургенева въ публику она выводила: отблескъ его славы падалъ и на нее. На другой день опять вмѣстѣ съ нимъ выступала на вечерѣ Литературнаго Фонда. Теперь оба должны были читать изъ «Провинціальки», графа Любина и Дарью Степановну Ступендьеву.

«Когда мы вышли, я, конечно, не кланялась на аплодисменты, а сама аплодировала автору. Долго раскланивался Иванъ Сергѣевичъ, наконецъ, все затихло и мы начали:

— Надолго вы пріѣхали въ наши края, ваше сіятельство?»

«Не успѣла я произнести, какъ аплодисменты грянули вновь. Иванъ Сергѣичъ улыбаулся. Оваціи оказались нескончасмыми»...

Такъ, подъ привѣтствія вѣзжались, подъ привѣтствія и уѣзжались на этотъ разъ Тургеневъ изъ Россіи. Видѣвшие его весною въ Парижѣ говорили, что онъ помолодѣлъ, ободрился, какъ бы расцвѣлъ. Являлась даже мысль пере-

сесться вновь въ Россію (врядъ-ли, впрочемъ, было это серьезно).

Шумъ Москвы и Петербурга достигъ запада. Оксфордскій университетъ поднесъ Тургеневу дипломъ доктора гражданскаго права. «Охъ, какъ плохо идетъ ученая шапка къ моей великорусской рожѣ!» — писалъ онъ Маслову, будто-бы удивляясь, что ему эту шапку дали. Въ гражданскомъ правѣ ничего не смыслилъ, не умѣлъ заключить простѣйшей сдѣлки, а попалъ въ доктора... (Англичане считали — за «Записки Охотника», за освобожденіе крестьянъ). «Оказывается, что я всего второй русскій, заслужившій подобную честь».

Тургеневъ «удивлялся», что его выбрали, но былъ очень доволенъ. Честь любилъ, къ славѣ былъ слабъ. *Nihil humanum a me alienum puto.*

**

1880-й годъ былъ довольно важнымъ для русскаго просвѣщенія: въ Москвѣ открывали памятникъ Пушкину. Подводился итогъ восторгамъ, охлажденіямъ, вновь вознесеніямъ дѣла и памяти поэта. Предъ памятникомъ споры умолкаютъ. Художникъ какъ бы причисляется къ лику святыхъ и творенія его переходятъ въ школу, а имя «въ вѣка».

Тургеневъ болѣе чѣмъ кто-либо долженъ былъ принять участіе въ празднествахъ. И не удивляетъ, что весной 80-го года двинулся онъ въ Россію, съ тѣмъ расчетомъ, чтобы къ июню попасть въ Москву.

Побывалъ въ Петербургѣ, у себя въ Сласскомъ, заѣхалъ опять въ деревню къ Толстому. Толстой находился въ разгарѣ внутренней перестройки. «О Львѣ Толстомъ и Катковъ подтверждалъ, что слышно, онъ совсѣмъ помѣшался», — писалъ изъ Лоскутной предъ самыми пушкинскими днями Достоевскій женѣ. И вотъ, несмотря на то, что «помѣшался» — опять встрѣтился съ Тургеневымъ ласково. Писалъ «Краткое изложеніе Евангелія» и ходилъ съ гостемъ на тягу — стрѣляли вальдшнеповъ, на весенней зарѣ, при ранней Венерѣ, набухающихъ почкахъ березы, распустившихся подснежникахъ, при той невыразимой нѣжности вечерняго неба, заката, запахъ прѣли въ лѣсу и свѣжести... чего нѣтъ нигдѣ, кромѣ Россійской тяги. Почему занимались стрѣльбой мирныхъ, любовью вле-

комыхъ птицъ непротивленецъ Толстой и любви жизнь отдавший Тургеневъ — этого понять нельзя. Написавшій Касьяна съ Красивой Мечи, знавшій наизусть пѣніе всѣхъ дроздовъ и малиновокъ, трубу бекаса, воркованіе горлинокъ, мягко и грустно любившій тварь земную — находилъ же Тургеневъ удовольствіе, на порогѣ собственной смерти убивать изящнѣйшихъ птицъ (въ незабываемой красѣ вечера).

Толстой поставилъ гостя на лучшее мѣсто, на опушкѣ большой поляны, а самъ ушелъ дальше. Но вальдшнепы тянуть все на хозяина, онъ тамъ палитъ, а Тургеневъ съ маленькимъ Львомъ Толстымъ-сыномъ только слушаютъ. Наконецъ, хорканье, надъ макушками «тянетъ». Тургеневъ цѣлится. Выстрѣлъ. Вальдшнепъ падаетъ въ густой осинникъ. А уже стемнѣло. Сколько ни ищутъ Тургеневъ съ Лёвушкой и толстовской собакой, не могутъ найти. А старый Левъ все палитъ. И потомъ подходитъ съ двумя убитыми птицами въ ягдташѣ.

— Этотъ человекъ въ рубашкѣ родился, съ завистью говоритъ Тургеневъ. — Счастье во всемъ и всегда. (Сказано это о томъ, чья семейная жизнь напоминала *malebolgie* Данте, который счелъ всю прежнюю свою литературу заблужденіемъ и временами былъ близокъ къ самоубійству).

Вальдшнепы, встрѣчая смерть отъ руки Толстого, летѣли на призывъ той самой любви, отъ которой и сейчасъ трепетало тургеневское сердце — въ послѣдній уже разъ. И хотя графиня Софья Андреевна и сказала онъ, что не пишетъ потому, что не влюбленъ, это было невѣрно. Прошлогоднее знакомство съ Савиною даромъ не прошло. Какъ разъ въ это время обмѣнивался онъ съ нею письмами ласково-нѣжными.

Главная-же цѣль его пріѣзда была не тяга, а желаніе вывезти Толстого въ Москву на пушкинскія торжества. Толстой, несмотря на всяческую любезность, дружественность къ гостю, тутъ уперся по толстовски. «Это все одна комедія», — можетъ быть, прямо онъ такъ Тургеневу и не сказалъ, но фраза гуляла среди литераторовъ. Тургеневъ уѣхалъ ни съ чѣмъ, сперва въ Спасское, потомъ въ Москву, на празднества.

Москва готовилась къ нимъ усердно — Москва хлѣб-солыная, интеллигентско-купецкая, западническая и славя-

нофильская, съ интригами, тревоженіями и сиплетнями, то сходящаяся на Эрмитажахъ, Тѣстовыхъ, Балыхахъ, растегаихъ, цыплятахъ. Тутъ разницы между Катковымъ и Ковалевскимъ не было. Съѣзжались депутации, писатели со всей Россіи. (Изъ Петербурга дали имъ даже специальный поѣздъ). Надо ихъ получше размѣстить, накормить, напоить еще до открытія. Первокласснымъ знаменитостямъ дать обѣды — для людей какъ Вуколъ Лавровъ, сынъ мукомола, а нынѣ издатель «Русской Мысли», гастрономъ и «широкая натура» дѣла оказалось достаточно. «Не по петербургски устраиваютъ!» писалъ Достоевскій женѣ изъ Лоскутной гостиницы. «Балыки осетровые въ полтора аршина, полторааршинная разварная стерлядь, черепаший супъ, земляника, перепела, удивительная спаржа, мороженое, изысканнѣйшія вина и шампанское рѣкой». (На своемъ гениально-разночинскомъ языкѣ добавляетъ онъ: «Утонченность обѣда до того дошла, что послѣ обѣда, за кофеемъ и ликеромъ явились двѣ сотни великолѣпныхъ и дорогихъ сигаръ!»). Для Достоевскаго стерляди были виновѣ, Тургеневъ зналъ все это наизусть. Достоевскій высчитывалъ, хватить-ли денегъ (празднества нѣсколько оттянулись, изъ-за смерти императрицы), размышлялъ, какъ бы получше взять авансъ подъ «Карамазовыхъ», волновался и трепеталъ, принять-ли оплату Думой трехрублеваго номера гостиницы (а вдругъ подумаютъ, что обрадовался, «выскочилъ», и т. п.?). Тургеневъ спокойно поселился у своего Маслова. Денегъ у него было достаточно. Его тоже, конечно, закармливали, но принималъ онъ это безъ восторга.

Съѣздъ былъ большой. Кромѣ Льва Толстого вся литература, Тургеневъ, Достоевскій, Гончаровъ, Писемскій, Фетъ, Аксаковъ, Майковъ, Григоровичъ, Полонскій, Островскій, Катковъ, Юрьевъ, Ковалевскій, море профессоровъ, представителей ученыхъ, литературныхъ, благотворительныхъ обществъ. Конечно, раздѣленіе. Западники — славянофилы. Первыхъ возглавлялъ Тургеневъ, вторыхъ — Достоевскій. Приглашать-ли Каткова и «Московскія Вѣдомости»? Кому, что и гдѣ читать? Такими тревоженіями все было полно. Мучительному Достоевскому, сидѣвшему въ своей Лоскутной, все казалось, что его обойдутъ, «унизятъ», что Тургеневъ со штабомъ западниковъ на Пречистенскомъ бульварѣ распорядится имъ для ума-

ленія славянофильства и для возвышенія себя. Вообще, при могучей и болѣзненной его фантазіи многое такое ему казалось, чего въ дѣйствительности вовсе не было.

Послѣ всяческихъ проволочекъ памятникъ открыли, на Тверскомъ бульварѣ, 6-го іюня. Монументъ сдѣлалъ Опекушинъ — не Богъ вѣсть что — все-же задумчивый Пушкинъ со шляпой, въ сюртукѣ, слегка наклонивъ голову съ курчавыми волосами хорошо входитъ въ пейзажъ Москвы. Представляешь себѣ іюньское утро, благовѣсть Страстного, толпу, трибуны, переполненныя публикой, группу важныхъ стариковъ во фракахъ у подножія памятника, пеструю тѣнь лѣтнихъ облаковъ по нимъ, шикарнаго полицеймейстера, городскихъ, тарашащихъ глаза, оркестръ, играющій гимнъ. Гусарскій офицеръ Александръ Пушкинъ стоялъ тутъ-же, будущій почетный опекунъ московскихъ институтокъ. Тогда былъ онъ нестаръ. Говорятъ, очень напоминалъ отца — этому охотно вѣришь: даже въ старикѣ Александрѣ Александровичѣ Пушкинѣ оставалось нѣкое вѣянье отца. И когда завѣса упала, отецъ этотъ сталъ частию Москвы, геніемъ мѣстности, какъ-бы покровителемъ бульвара, восходящаго къ нему — и одновременно ликомъ Россіи.

Тургеневъ тоже находился тутъ, очень взволнованный. Зналъ онъ Пушкина живого, видѣлъ его и въ гробу. Съ юности поклонялся ему, носилъ на себѣ его локонь. По словамъ очевидицы «стоялъ около памятника весь просвѣтленный». Вѣнокъ возложилъ въ глубокомъ волненіи.

Чисто «пушкинское» переживалъ Тургеневъ сильно. Но Тургеневъ Тверского бульвара — не тотъ, кто чрезъ нѣсколько часовъ, на обѣдѣ, дважды отказался чокнуться съ Катковымъ, предлагавшимъ примиреніе. (Передъ этимъ Катковъ очень дурно задѣлъ его въ печати). И еще третій Тургеневъ вечеромъ вышелъ, съдой, огромный, на эстраду Дворянскаго Собранія, и высокимъ своимъ голосомъ, слегка пришепетывая, сталъ читать «Послѣдняя туча разсѣянной бури...» — на третьемъ стихѣ запнулся, забылъ. Изъ публики стали подсказывать. Онъ улыбнулся, улыбкой милою, конецъ стихотворенія прочелъ вмѣстѣ съ публикой, какъ поютъ символъ вѣры въ церкви.

Выбравъ стихи эти, подчеркивалъ свое съ Россіей примиреніе.

Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освѣжилась и буря промчалась,
И вѣтеръ, лаская листочки дровесъ,
Тебя съ успокоенныхъ гонить небесъ.

Да, разумѣется, вся эта «буря» прошла, слава и примиреніе бесспорны... но и жизнь прошла. Пушкинскій праздникъ — рѣчи, обѣды, чтенія — для Тургенева былъ и высшимъ увѣнчаніемъ, и прощаніемъ съ Россіей. Онъ хорошо это понималъ. (Оттого такъ и волновался). Волновалась и публика, можетъ быть, тоже смутно чувствовала. Когда на другомъ вечерѣ произнесъ онъ первыя слова «Опять на родинѣ» — («Вновь я посѣтилъ...») — слушатели вскочили, началась овація, ему не давали говорить. Все тѣмъ-же высокимъ, тонкимъ голосомъ, нараспѣвъ дочитывалъ онъ

...А вдали
Стоитъ одинъ угрюмый ихъ товарищъ,
Какъ старый холостякъ, и вокругъ него
Попрежнему все пусто.

Это довольно точно сказано. Онъ былъ одинъ, по прежнему, и какъ всегда. Достоевскій подробно отписывалъ о торжествахъ, о своей жизни въ Лоскутной, о себѣ самомъ Аннѣ Григорьевнѣ. Правда, дѣлалъ приписки, что мучается, не измѣнила-ли она ему? Но мало-ли что можно выдумать: на то онъ Достоевскій. И Анна Григорьевна ему не менѣе, конечно, часто писала. Онъ горячился, беспокоился о деньгахъ, о домѣ, оправдывался, что задерживается. Но было куда спѣшить и къ кому спѣшить. Жизнь Анны Григорьевны тоже была въ немъ. Тургеневъ могъ написать Савиной, любившей другого. Въ Парижѣ ждалъ его обычный саркофагъ — гдѣ мѣсто было (слава Богу) лишь для одного. И тургеневскихъ писемъ о пушкинскихъ дняхъ, повидимому, нѣтъ вовсе.

7-го іюня, въ утреннемъ засѣданіи Общества Любителей Россійской Словесности онъ проинесъ рѣчь о Пушкинѣ. Она была заранѣе написана. Станнымъ образомъ, въ ней онъ нѣсколько сжался. Въ пику-ли славянофиламъ, но былъ сдержанъ. Пушкина, конечно, восхвалялъ. «Национально-всемирнымъ»-же поэтомъ, типа Гете и Шекспира, назвать не рѣшился. Чтò и вызвало глубокое раздра-

женіе Достоевскаго. На слѣдующее утро, 8-го, Достоевскій въ томъ-же Обществѣ отвѣтилъ знаменитою рѣчью о Пушкинѣ, произведшей дѣйствіе необычайное: все остальное она затмила.

«Аполлонъ» и «Діонисъ» встрѣтились. Аполлонъ получилъ послѣднее, окончательное благословеніе Россіи, непререкаемое мѣсто на Олимпѣ. На томъ-же вечерѣ, гдѣ читалъ «Тучу», онъ въ концѣ, во главѣ участниковъ, возложилъ на бюстъ Пушкина лавровый вѣнокъ — Писемскій-же поднялъ вѣнокъ и поддержалъ надъ головою самого Тургенева, вызвавъ безконечную овацію: лавровый вѣнокъ литературы для него безспоренъ.

Замкнутый и сумрачный, восторженный, кипуче-взрывчатый Діонисъ, ненавистникъ Аполлона, величайшій честолюбецъ и подпольный страдалецъ изготовилъ въ Лоскутпой бомбу. Онъ хорошо начинилъ ее. Утромъ 8-го іюня, въ началѣ рѣчи она глухо шипѣла, готовилась разорваться. Но къ концу бахнула. Хотя говорилъ онъ о Пушкинѣ, о литературѣ — и даже сочувственно помянулъ Лизу врага своего — все-же взорвалъ и потрясъ стѣны Любителей не литературой. Пушкина вознесъ въ Россію, Россію въ міръ, Россію какъ мессію представилъ, заклокоталъ, взлетѣлъ — въ концѣ рѣчи были въ публикѣ истерики. Паѳосъ и изступленіе религіи внесъ въ свою рѣчь этотъ изумительный человекъ, способный одновременно чувствовать Зосиму и Свидригайлова, Алешу и Смердякова, говорить о всемірности Пушкина и считать, сколько разъ вызывали Тургенева, чьи поклонники горячѣе: его или тургеневскіе?

Торжества Пушкина имѣли всероссійскій характеръ. Пушкинъ показалъ Россіи Россію. Тургеневъ съ Достоевскимъ добрались до московскихъ людей. Энтузіазмъ былъ огромный. Послѣ рѣчи Достоевскаго давніе враги мирялись. Давались обѣты «быть лучше», и т. п. Старая, милая Москва! Она расколыхалась, разбурлилась. Всѣ эти длинные сюртуки, бороды, турнюры, джерси...

Много позже рассказывала мнѣ пожилая дама, чистой и нѣжно-сентиментальной души, съ эмалевой голубизны глазами, какъ выходилъ Тургеневъ, какъ у него перехватывало голову, какъ они плакали, — какъ неистовствовали Достоевскій, — и у самой появлялись слезы (при воспоминаніи о дняхъ высокихъ и почти блаженныхъ). Да, праздникъ такъ ужь праздникъ.

— Мы и по вечерамъ не могли успокоиться. Ходили все на Тверской бульваръ, садились у памятника и поздно, за полночь, читали стихи. Всегда кто-нибудь тамъ былъ... студенты, барышни.

САВИНА.

Пріѣздъ Тургенева въ Россію «для Пушкина» оказалъ и пріѣздомъ «для Савиной». Въ февралѣ-мартѣ 1880 г. онъ встрѣчался съ нею въ Петербургѣ довольно часто. То она къ нему пріѣзжаетъ, то онъ проситъ билетъ на «Дикарку»: видимо, Савина начинаетъ его занимать.

Разница лѣтъ между ними огромная: ей двадцать пять, ему шестьдесятъ два. Но это и придаетъ нѣкую пронзительность его къ ней отношенію. Если въ Парижѣ Віардо, если тамъ будетъ онъ тихъ, послушенъ и привыченъ, ami catalogué, котораго можно послать въ аптеку или за драпировками, то здѣсь другое: молодость. Полинѣ, въ нѣкоторомъ смыслѣ, принадлежитъ онъ совсѣмъ. Но обольщенія юности она дать не можетъ.

Сначала какъ бы затѣваетъ онъ съ Савиной тонкую и нѣжную игру, на которую такой мастеръ. Какъ во всякой игрѣ, тутъ свои наступленія и отступленія, маневры и контръ-маневры. Вдругъ набѣжитъ прохлада — онъ отмѣтитъ это въ письмѣ. («Стало быть, ждать мнѣ васъ завтра — въ субботу — у себя въ половинѣ третьяго? — Я буду дома. — Авось величественность нѣсколько смягчится»). То приливъ большей нѣжности. Ко дню ея рожденія (30 марта) обращается онъ къ ней въ «превосходной» степени: «Милѣйшая Марія Гавриловна...» и посылаетъ юбилейный подарокъ — маленький золотой браслетъ съ выгравированной надписью: «М. Г. Савиной отъ И. С. Тургенева». А затѣмъ опять какія-то, какъ выражается онъ, «дипломатическія тонкости и эквивоки» — но вотъ 17-го апрѣля отъѣзды въ Москву, и на другой-же день по пріѣздѣ пишетъ онъ ей, все изъ той-же Ковторы Удѣловъ, что она (Савина), для него самое дорогое и хорошее петербургское воспоминаніе. А еще черезъ недѣлю — «вы стали въ моей жизни чѣмъ-то такимъ, съ которымъ я уже никогда не разстанусь».

Такъ что подготовка къ пушкинскому празднику, Левъ Толстой, тяга, разговоры съ Софьей Андреевной въ Яс-

ной Полянѣ это одно, а подъ всѣмъ этимъ советѣмъ другое.

Въ маѣ Савина собиралась на югъ, играть въ Одессѣ. Тургеневъ жилъ въ Спасскомъ и писалъ рѣчь о Пушкинѣ. Но помимо празднествъ, рѣчей, литературы мечталъ, какъ-бы Савину повидать (или даже къ себѣ залучить) - на проѣздѣ ея черезъ Мценскъ и Орель.

Забъхать въ Спасское на этотъ разъ она не смогла. Но они списались, и 16-го мая условились встрѣтиться.

Часовъ около десяти вечера, на небольшомъ мценскомъ вокзалѣ, гдѣ можно съѣсть горячій пирожокъ, гдѣ барышни разгуливали по перрону, ждалъ въ мягкой мглѣ мая, съ цвѣтами въ рукахъ московскаго поѣзда Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ. Въ купѣ перваго класса летѣла навстрѣчу ему молодая звѣзда — предстояло ей покорять одесситовъ, но вотъ по дорогѣ можно покорить и Тургенева. Синій вагонъ, солидный оберъ-кондукторъ, красный бархатный диванъ съ несесэромъ, книжкою брошенной, запахомъ духовъ... Худенькая Савина, огромный Тургеневъ цѣлуетъ ей ручку, подноситъ цвѣты. Поѣздъ скорый — недолго стоитъ. Тургеневъ остается въ вагонѣ. Полтора часа провели они въ поѣздѣ, проносившемся по полямъ черноземнымъ, при раскрытомъ окнѣ, откуда тянуло по временамъ сыростью съ болотъ и туманныхъ рѣчекъ, запахомъ колосющейся ржи. Можетъ быть, мальчишки стерегли гдѣ нибудь у костра слутанныхъ лошадей, близъ насыпи. Да и самъ «Бѣжинъ дугъ» не такъ далекъ. Деревушки уже темны. Только искры летятъ. Да звѣзды мигаютъ.

Въ Орлѣ надо было прощаться. Въ послѣднюю минуту, на платформѣ у окна вагона, откуда Савина на него глядѣла, испыталъ Тургеневъ сильное, едва-удержимое и нежданно-молодое чувство: что если обнять ее, въ послѣднюю минуту, когда пробили третій звонокъ, выхватить изъ купѣ, увезти въ Спасское...

Вышло, разумеется, по тургеневски: «могло-бы быть, да не случилось». Звонокъ пробили, поѣздъ тронулся, а онъ все стоялъ, махалъ ей вслѣдъ платкомъ.

Переночевавъ въ Орлѣ, уѣхалъ въ Спасское. Неизвѣстно, о чемъ говорили они въ вагонѣ — но глубокой слѣдъ остался у него отъ этого путешествія. Вотъ онъ опять одинъ въ огромномъ Спасскомъ. Садъ цвѣтетъ, май открывається полною своей душой. Тепло, благодать. Вече-

ромъ соловьи. Странныя, бурно-безплодная чувства потрясаютъ его. Онъ пишетъ ей вдогонку: «Мнѣ даже трудно объяснить самому себѣ, какое чувство въ мнѣ внушили. Влюбленъ-ли я въ васъ - не знаю; прежде это у меня бывало иначе. Это непреодолимое стремленіе къ слиянію, къ полному отдаію самого себя, гдѣ даже все земное пропадаетъ, вздоръ говорю, но я былъ-бы несказанно счастливъ, если-бы... если-бы... А теперь, когда я знаю, что этому не бывать, я не то что несчастливъ, я даже особенной меланхоліи не чувствую, но мнѣ глубоко жаль, что этотъ прелестный мигъ потерянъ навсегда...

«Я надѣюсь, что мы будемъ давать вѣсть другъ другу, но дверь, раскрывшаяся было наполовину, эта дверь, за которой мерещилось что-то таинственно-чудесное, захлопнулась навсегда».

...«Такого письма вы уже больше не получите».

Въ то время, какъ онъ писалъ это, Савина подѣзжала къ Одессѣ. Можетъ быть, забавлялась она, играла съ нимъ въ тѣ полтора часа между Мценскомъ и Орломъ, но ея собственная душа полна была другимъ: нѣкимъ Никитой Всеволожскимъ, будущимъ ея мужемъ. Такъ что весь трепетъ Тургенева совершенно безплоденъ, могъ встрѣтить лишь такъ называемую, такъ неутоляющую «дружбу». Всеволожскій былъ молодой гвардейскій офицеръ, рѣдкостной красоты, владѣлецъ огромнаго имѣнія Сива, Пермской губерніи (куда она къ нему ѣздила). Тургеневу Савина писала одни письма, Всеволожскому другія. И уже наученный долгою жизнью (даже, возможно, и не зная тогда о Всеволожскомъ), понималъ отлично Тургеневъ безнадѣжность своего положенія. Другого такого письма, какъ тогда изъ Спасскаго, онъ ей дѣйствительно больше не написалъ. Но отношенія не прервались, тянулись до самой его смерти.

Во время пушкинскихъ торжествъ Савина за сценой, но уже въ августѣ, въ Парижѣ они встрѣчаются. Эта встрѣча на мценскую не похожа: хотя бы тѣмъ, что таинственный Всеволожскій, наконецъ, появляется. И все имѣетъ суховатый, почти «дѣловой» характеръ.

«Милая Магья Гавриловна, я недоволенъ нашимъ свиданіемъ. — Мы и сошлись, и разошлись какъ вѣжливыя незнакомцы. Я буду въ четвергъ въ Парижѣ и зайду утромъ около 12 часовъ въ вамъ». (Тургеневъ находился въ Буживалѣ) Видимо, и прощаніе было прохладнымъ. «По-

тому, какъ вы пожали мнѣ руку на прощаніе въ послѣднее наше свиданіе въ Парижѣ и очень хорошо понялъ, что это — если не размолвка, то разлука... —». И разлука началась, но размолвки, и правда, должно быть, не было. Просто шли жизни — одна старческая, въ Парижѣ и Буживааѣ, другая полная молодости, силы, зрѣющаго и сторающаго таланта — въ Петербургѣ. Тургеневъ понималъ свое положеніе. Жизнь подсказала ему способъ дѣйствій, единственно возможный, единственно и достойный: длительную, дружественно мечтательную переписку «безъ надеждъ и выводовъ». Въ этомъ былъ онъ силенъ всегда. За зиму 80-81 г. г. у него наладилась такая переписка съ Савиной. Интересоваться ея успѣхами на сценѣ, ея здоровьемъ, нервами, получать письма, гдѣ иногда вставляеть она ласковыя выраженія — вотъ его скромное питаніе. Мысленно расцѣловать «умныя руки», или «облобызывать всѣ пальчики вашей правой руки» — небогато, все же нѣсколько украшаетъ скудное бытіе. Глубокихъ, важныхъ о себѣ высказываній, какъ нѣкогда графинѣ Ламбертъ, здѣсь нѣтъ. Скорѣе похоже на письма къ Виардо періода отдаленности, но въ ослабленномъ видѣ.

Къ веснѣ придумываетъ онъ очень разумную вещь: зоветъ ее лѣтомъ навѣстить его въ Спасскомъ, куда, какъ обычно, собирается.

*

Савина у него на этотъ разъ побывала, провела въ Спасскомъ нѣсколько славныхъ июльскихъ дней. У Тургенева гостилъ Полонскій съ женой — старые, вѣрные друзья, типа Анненкова, Маслова и Топорова. Присутствіе Полонскихъ облегчало положеніе Савиной, пріѣзжавшей какъ-бы въ цѣлую семью.

Гостьѣ отвели комнату недалеко отъ Тургеневскаго кабинета — изъ него отворялась маленькая дверь въ корридорчикъ, ведшій туда. Окна выходили на сѣверъ. Рядомъ «казино». Савина отдыхала, провела четыре очень пріятныхъ дня. На пруду для нея устроили нѣчто въ родѣ купальни, каждое утро плавала она въ спасскихъ водахъ — была отличнымъ пловцомъ и (не по деревенски), купалась въ костюмѣ. Обѣдали на террасѣ. 16-го июля вдругъ налетѣла такая гроза съ градомъ, что во время обѣда посыпались стекла. Пришлось наспѣхъ все перетаскивать въ

столовую, самимъ спастись. Но потомъ опять солнце засіяло, — стояла благодать, жара. Дневные часы проводилъ Тургеневъ у себя въ кабинетѣ, а къ вечеру, когда становилось прохладнѣй, выходилъ на балконъ и звалъ Савину.

— Ну, пожалуйста, исповѣдываться!

«Исповѣди» въ томъ состояли, что Савина рассказывала о своей жизни, объ актерскихъ дѣлахъ, навѣрно и о сердечныхъ. Это Тургеневу нравилось: очевидно, изображала она хорошо. Настолько нравилось, что однажды онъ даже ей подарилъ особую книжку, синюю съ золотообрѣзными страницами: велѣлъ туда записывать, чтобы не пропало. А самыя исповѣди такъ иногда затягивались, что ужъ тоненькій мѣсяцъ появлялся надъ лохматою крышею сѣннаго сарая, сыростью съ пруда тянуло, стреноженные лошади пофыркивали вблизи, на лужайкѣ. А въ столовой шипитъ самоваръ. (Июльскій вечеръ въ Россіи, свѣтлый, благоуханный!).

И однажды хозяинъ разволновался, всталъ, повелъ въ сумеркахъ молодую свою гостью въ кабинетъ и прочелъ маленькое стихотвореніе въ прозѣ. Оно не было напечатано, и не могло быть: по крайней своей интимности, по слишкомъ явному стону. Въ немъ рассказывалась «долгая любовь, непонятая любовь въ теченіе всей жизни». Было тамъ и о томъ, что когда «онъ» умретъ, «она» не придетъ на его могилу (что и сбылось вполнѣ).

Въ прошломъ году прощался Тургеневъ съ Россіей общественной, литературной. Теперь со Спасскимъ, Орломъ, Мценскомъ. Было время, когда мальчикомъ онъ ловилъ птицъ въ этомъ паркѣ, слушалъ торжественную мелодію милаго Пунина. Ночью прокрадывался на свиданіе. Теперь послѣднія вдыхалъ благоуханія.

Другой день и вечеръ савинскаго пребыванія тоже замѣчательны.

17-го іюля Полонскіе справляли годовщину свадьбы. Тургеневъ развеселился, устроилъ парадный обѣдъ съ шампанскимъ, сказалъ въ честь ихъ спичъ. На этомъ обѣдѣ (или, можетъ быть, на другомъ, въ томъ-же родѣ), Савина разошлась, распалилась и вскопичивши, бросилась къ нему, обняла, такъ нѣжно поцѣловала, что поцѣлывая этого онъ не позабылъ уже никогда.

Вечеромъ созвали бабъ и дѣвокъ, угощали ихъ, тѣ пѣли, плясали, водили хороводъ. Полонскій игралъ на роя-

лѣ. Савина ходуномъ ходила, даже самъ Тургеневъ приплясывалъ.

Будемъ считать, что въ тотъ-же именно день, поздно вечеромъ, прочелъ онъ гостямъ «Пѣснь торжествующей любви». Онъ написалъ ее въ деревнѣ, за мѣсяцъ до приѣзда Савиной.

Пять лѣтъ тому назадъ былъ написанъ «Сонъ». Тамъ есть загадочный черноглазый человѣкъ съ арапомъ — смѣсю силы и колдовства взялъ онъ недлюбившую его женщину. Теперь двое друзей любятъ нѣкую Валерію. Фабій на ней женится. Муцій, музыкантъ, уѣзжаетъ на Востокъ — возвращается черезъ четыре года съ нѣмымъ малайцемъ, изучивъ тайны магии и чародѣйства. И вотъ, колдовствомъ (теперь однимъ лишь колдовствомъ), овладѣваетъ онъ не любящею его Валеріей. Въ первую ночь является ей во снѣ — во снѣ она и отдается ему. Во вторую тайными своими силами уводитъ ее изъ спальни мужа въ павильонъ парка. Оба раза, отпуская ее, играетъ на скрипкѣ Пѣснь торжествующей любви.

Повѣсть замѣчательна ощущеніемъ тягостнаго восточнаго колдовства. Нѣчто завораживающее есть въ ней, гипнотическое. Но — торжествующей-ли любви пѣснь? Слушая ее въ тотъ вечеръ Спасскаго, понимала-ли Савина, понималъ-ли Полонскій и Жозефина Антоновна, что это скорѣе пѣснь нераздѣленной любви? Незачѣмъ прибѣгать ни къ насилію, ни къ чарамъ, когда тебя любятъ. Но если за долгую жизнь скопляется въ глуби чувство томленія — не оно-ли толкаетъ фантазію?

Врядъ-ли Савина, съ ея умомъ, лишь недавно прослушавшая и то стихотвореніе въ прозѣ, не понимала, въ чемъ дѣло. Разумѣется, промолчала объ этомъ — какъ и Полонскіе не могли-же говорить. Говорили о другомъ: о поэзіи, красотѣ произведенія — о чемъ авторамъ можно говорить. «Пѣснь торжествующей любви», правда, всѣмъ имъ понравилась очень. (Удивительнѣе то, что она и вообще «дошла» до публики: имѣла огромный успѣхъ).

И еще позже, почти на разсвѣтѣ, водилъ гостю Тургеневъ въ паркъ слушать «голоса». Можетъ быть, это было какъ-бы продолженіемъ чтенія. Во всякомъ-же случаѣ, въ ночномъ паркѣ Тургеневъ какъ дома. Слушали они таинственные звуки — было жутко, но и хорошо. Онъ называлъ ей всѣхъ птицъ, просыпавшихся передъ разсвѣтомъ. Ихъ-то пѣсни зналъ наизусть.

На другой день Савина уѣхала. Вскорѣ сообщила, изъ имѣнія Сивы, Пермской губерніи, о своей помолвкѣ съ Никитою Всеволожскимъ.

СУДЬБА.

Еще лѣтомъ, въ Спасскомъ, произошли съ Тургеневымъ нѣкія неприятныя маленькія событія. Напримѣръ, разстроило его извѣстіе о холерѣ въ Брянскѣ. (Холера — его бичъ съ давнихъ лѣтъ!). Какъ всегда, стало казаться, что у него самого что-то начинается. Онъ мрачнѣлъ, заводилъ разговоры о смерти. Даже анекдоты его переходили больше на холеру.

Невесело принялъ и птичку, вечеромъ съ упорствомъ бившуюся въ оконное стекло его комнаты. Пошелъ, въ фуфайкѣ, на половину Полонскихъ. Яковъ Петровичъ собирался ложиться. Жозефина Антоновна писала письмо. Тургеневъ такъ разволновался, что пришлось Жозефинѣ Антоновнѣ идти съ нимъ. Назадъ она вернулась, неся птичку, черноглазую, меньше воробья. Тургеневъ пытался обратить все это въ пустяки (сказалъ: «такъ называемое таинственное никогда не относится въ жизни человѣческой къ чему нибудь важному») — но все же птичка прилетала слишкомъ ужъ «по-тургеневски». (Вотъ и къ Владиміру Соловьеву передъ смертью прилетала!).

Не особенно тоже хорошо, что Полину укусила въ лицо ядовитая муха, да такая, что и носъ распухъ, и сама она чуть не слегла. Изъ Спасскаго въ Буживаль (и обратно) полетѣли телеграммы. Тургеневъ едва не уѣхалъ. И обернись это болѣе серьезно, улетѣлъ-бы, несмотря ни на какую Савину. Но все оказалось не такъ страшно и онъ остался. Полонскій уѣхалъ раньше, Жозефина Антоновна пробыла нѣсколько дольше, и къ концу августа тронулся самъ Тургеневъ. Не знаю, какъ уѣзжалъ изъ Спасскаго. Что думалъ, что чувствовалъ, когда коляска везла его среди полей съ крестцами овса на вокзалъ во Мценскъ: видѣлъ онъ эти крестцы въ послѣдній разъ.

Въ октябрѣ, какъ вычислялъ по цифрамъ года рожденія, не умеръ. Чувствовалъ себя неплохо — и опять нѣсколько по другому, еще изъ Спасскаго писалъ Савинѣ въ Сиву: «чувствую уже французскую шкуру, нарастаю-

щую подь отстающей русской». При Виардо онъ нѣсколь-
ко перестраивался, и душевно, и даже внѣшне. Любилъ,
напримѣръ, нюхать табакъ, но «его дамы» не позволяли
дѣлать этого. Такъ что нюхалъ только въ Спасскомъ —
зъ Буживаль замѣнялъ табакъ какой-то солью.

Но и западная, французская шкурка была ему уже
привычна. «Другъ», «дѣдушка», нѣкая тѣнь семьи, нѣкая
и подавленность, робость. Въ Буживаль — спокойная
осень, довольно одинокая. (Виардо раньше перебравшись въ
Парижъ). Позже, на rue Douai, обычные рулады учениць
снизу, обычные собранія со знаменитыми иностранцами
(но безъ русскихъ), все тѣ-же petits jeux. (Поразительно,
какъ люди вродѣ Тургенева, Ренана, Луи Виардо могли
разыгрывать «загадки»: ox-y-dene — каждый въ слова
свои должень былъ вставлять слогъ, а слушатели пусть
разгадывают!). Въ промежуткахъ кто-нибудь сыграетъ
на роялѣ. Остатками голоса Полина пропоетъ «О, толь-
ко тотъ, кто зналъ свиданья часъ»... А потомъ оляты: то
надо выбрать драпировки, то улаживать дѣла пришед-
шей дамы съ мужемъ, то другой дамѣ помогать въ борь-
бѣ съ должникомъ, то доктора приглашать къ Лиди. Или
— претерпѣвать за забытыми на извозчикѣ поты.

За всѣмъ этимъ, подспудно, не очень то на глазахъ
Полины, переписка съ Савиной — мечтанія, фантази
(утѣшенія слабого). Савина въ Петербургѣ, играетъ въ
Александринскомъ театрѣ. Молодость, успѣхъ, поклонни-
ки (какъ сорокъ лѣтъ назадъ у Полины). Но переписыва-
ется съ ней не «помѣщикъ, пишущій плохіе стихи», а
Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ — всякому понятно, что
это значитъ: «Милая Марія Гавриловна, какъ мнѣ пріятно
получать отъ васъ письма! Одинъ видъ вашего почерка
меня радуетъ... Очень мнѣ жаль, что я васъ не вижу —
да и не увижу скоро — не раньше марта. Вотъ вы мечта-
те, какъ-бы хорошо было убѣжать потихоньку заграни-
цу; а я, съ своей стороны мечтаю — какъ было-бы хо-
рошо — проѣздить съ вами вдвоемъ хотя съ мѣсяць, —
да такъ, чтобы никто не зналъ, кто мы и гдѣ мы...»

«И ваша мечта — и моя такъ и останутся мечтами —
безъ сомнѣнья...»

Для этихъ мечтаній онъ выбираетъ мѣсто классиче-
ское: Италію; ни болѣе, ни менѣе. И изъ Италиі Венецію,
или Римъ. Пусть представитъ себѣ она такую картину:
«Ходятъ по улицамъ, или катаются въ гондолѣ — два

чужестранца въ дорожныхъ платьяхъ — одинъ высокій,
неуклюжій, бѣловолосый и длинноногий — но очень до-
вольный, другая стройненькая барыня съ удивительными
(черными) глазами и такими-же волосами... положимъ, что
и она довольна. Ходятъ они по галереямъ, церквамъ,
и т. д., обѣдаютъ вмѣстѣ — вечеромъ вдвоемъ въ театрѣ
— а тамъ... Тамъ мое воображеніе почтительно остано-
вится... Оттого-ли, что это надо таить... или оттого, что
таить нечего?»

Таить-то, вѣроятно, было что. Но удивительно другое.
Савина была невѣста Всеволожскаго. Тургеневъ зналъ объ
этомъ. И все-таки воображеніе не останавливалось...

Тургеневскія мечты не сбылись — настолько странны
онѣ, что и читать о нихъ почти тягостно. Савина-же загра-
ницу попала. Еще въ ноябрѣ 81 г. почувствовала переуто-
мленіе. Театръ надрывалъ ее — слишкомъ много приходи-
лось выступать. И ей удалось вырваться, сначала въ Кіевъ,
тамъ нѣсколько отдохнуть. Но этого оказалось мало. И въ
мартѣ 82-го года она убѣждаетъ за границу — въ Меранъ,
затѣмъ въ Верону. Ея сердечныя дѣла довольно путаны.
Она невѣста Всеволожскаго, но правится ей и Скобелевъ
(известный генералъ), продолжаетъ она нѣжную игру
съ Тургеневымъ. Не особенное удовольствіе доставляли
ему эти Всеволожскій и Скобелевъ, но къ такимъ положе-
ніямъ онъ пріученъ. Все-же временами пускаетъ «шпиль-
ки».

«Ваше описаніе Мерана очень подробно и мило... но
я не могъ не улыбнуться — правда, про себя... Распро-
страняясь насчетъ красотъ Мерана, вы нашли возможнымъ
даже словечкомъ не упомянуть о томъ изумительномъ ве-
инѣ, который такое сильное произвелъ на васъ впечатлѣ-
ніе — и ничего также не сказали о вашихъ матримоніаль-
ныхъ планахъ».

Дальше опять тонъ мѣняется. «Намѣреніе ваше ѣхать
въ Италію — особенно во Флоренцію — одобряю вполне.
— Я прожилъ во Флоренціи, много, много лѣтъ тому на-
задъ (въ 1858 г.) десять предшествующихъ дней; — она
оставила во мнѣ самое поэтическое, самое плѣнительное
воспоминаніе... а между тѣмъ, я былъ тамъ одинъ... Что
бы это было, если-бы у меня была спутница, симпатиче-
ская, хорошая, красивая (это ужъ непременно)...» «Если
вы попадете во Флоренцію, — поклонитесь ей отъ меня.

— Я проносилъ мимо ся чудесъ влюбленное... но безпредметно влюбленное сердце».

Въ концѣ марта Савина прѣехала въ Парижъ. Тургеневъ встрѣтилъ ее съ парадною нѣжностью — принесъ чудесные букеты азалий.

— Цвѣтите, сказалъ, какъ онѣ.

Савина собиралась лѣчиться. У него въ это время тоже были волненія и безпокойства: заканчивалась печальная, неудачная семейная жизнь дочери, Полины Брюэръ. Мужъ раззорилъ ее, сталъ пьянствовать, носился за ней съ револьверомъ. Ей пришлось бѣжать, а отцу — прятать ее. Затѣмъ — тяжело заболѣлъ Віардо («мой старый пріятель Віардо чуть не умеръ двѣ недѣли тому назадъ — да и теперь не встаетъ съ постели»). Но все это ничего. Найдется время и для Савиной, и для заботъ о ней, ея лѣченіи. Устраняетъ онъ ее у знаменитаго Шарко, хлопочетъ, чтобы устранить врача, неурядящагося ей. Словомъ, Тургеневъ на высотѣ. А Савина острымъ своимъ, умнымъ и уже ревнивымъ воромъ окинула и Віардо, и особнякъ на rue Douai, и верхнія комнаты Тургенева — осталась недовольна. Ревность ея не отъ влюбленности, а отъ поклоненія «звѣздѣ», «картинѣ»: такъ же, какъ у другихъ русскихъ, видѣвшихъ его въ послѣдніе годы при Віардо. Что то въ немъ вызывало, разумѣется, глубокое сочувствіе и эту ревность: вѣроятно, нѣкій тонъ съ нимъ Полины. Но и преувеличивали. Все-таки, у Полины онъ жилъ баринъ. Занималъ въ верхнемъ этажѣ четыре комнаты, обѣдалъ внизу, для пріемовъ совмѣстныхъ великолѣпный салонъ. Въ Буживаль цѣлый домъ. Виѣшней оброщенности тоже не было. Что знаменитая пуговица оборвалась, когда къ нему зашелъ Кони — не за всякую пуговицу отвѣтственна и Віардо, надо быть справедливымъ. У Тургенева была прислуга, онъ не стѣсненъ въ средствахъ — за что угодно, только не за матеріальную, житейскую скудость можно пожалѣть старческіе годы Тургенева. (Съ другой стороны: нелѣпы воспоминанія дочери Полины, Луизы Эриттъ. Тамъ получается, что Тургенева денежно поддерживали Віардо. Это, конечно, вздоръ. Было обратное — Тургеневъ далъ приданое Диди, когда та выходила замужъ).

Савина пожила въ Парижѣ, сколько надо, полѣчилась и уѣхала въ Петербургъ, увозя дружественную нѣжность къ Тургеневу и неприязнь къ Віардо. А Тургеневъ всту-

пилъ въ послѣдній, самый страшный и мученическій годъ своей жизни.

Могъ онъ, юношей, погибнуть въ пожарѣ на морѣ, и не погибъ. Всегда боялся холеры и отъ одного воображенія захварывалъ. Боялся октября 81 года — и напрасно. А когда въ апрѣлѣ 82-го появились у него «невральгическія» боли, не обратилъ на нихъ вниманія. Боли и боли. Неприятно, но пустякъ. Шарко опредѣлил *angine de poitrine*, «и не велѣлъ выходить изъ комнаты дней десять». И ни Тургеневъ, ни Шарко не подозревали всего ужаса положенія. Ни невральгія, ни грудная жаба. Начинаясь ракъ спинного мозга.

*
**

«Опасности болѣзнь не представляетъ, но заставляетъ лежать, или сидѣть смиренно; такъ какъ не только при восхожденіи на лѣстницу, но даже при простомъ хожденіи или даже стояніи на ногахъ — дѣлаются очень сильныя боли въ плечѣ, спинныхъ лопаткахъ и всей груди — а тамъ является и затруднительность дыханія», — такъ писалъ онъ Жозефинѣ Антоновнѣ, и въ томъ-же письмѣ звалъ ее съ мужемъ въ Спасское: пусть собираются не дожидаясь его, онъ подѣдетъ, какъ только сможетъ. Лондонскихъ, однако, взволновала его болѣзнь. Да и самъ онъ, чѣмъ дальше шло время, серьезнѣй о ней задумывался. Какъ больной «просвѣщенный», хотѣлъ знать все въ точности, и Шарко пичкалъ его жалкими знаніями медицины тогдашней (не умѣвшей опредѣлять рака позвоночника).

Якову Петровичу, въ концѣ апрѣля, онъ могъ уже подробно расписать, какія бываютъ *anginae pectoralis: essentialis* — отъ той умираютъ, а вотъ у него другая — *cardialgia pervalis* — отъ этой не умираютъ. Но она затяжная, хроническая. Неизвѣстно, когда выздоровѣешь. И отъ этой *pervalis* ему жгли плечо, какъ будто дѣло было въ бѣдной кожѣ тургеневской, а не въ тайномъ страданіи позвоночника. Ходить онъ совсѣмъ не можетъ. А когда прибавляется еще «междуреберная невральгія съ правой стороны», то и лежать нельзя: ночью надо сидѣть.

Въ такомъ видѣ — недвижнаго въ каретѣ — перевезли его въ Буживаль. Думали: весна, природа, воздухъ ожи-

вять. Но въ майскомъ Буживалѣ, при всѣхъ бабочкахъ, цвѣтахъ, при всемъ дыханіи голубианы и свѣта лишь острѣе онъ почувствовалъ, что дѣло плохо. Боли росли, становились невыносимыми. «Человѣкъ я похеренный», пишетъ онъ Жозефинѣ Антоновнѣ: «хотя проскрипѣть могу еще долго». Надежда на Спасское и встрѣчу съ ними мало. Тургеневъ радъ, что Полонскіе согласились ѣхать въ Спасское и безъ него (послѣ долгихъ уговоровъ; Жозефина Антоновна собиралась даже въ Парижъ, ухаживать за нимъ).

А о себѣ вотъ что: «Когда будете въ Спасскомъ, поклонитесь отъ меня дому, саду, моему молодому дубу — родинѣ поклонитесь, которую я уже, вѣроятно, никогда не увижу». Полонскіе прислали ему въ письмѣ цвѣты и листья Спасскаго сада. (Онъ проситъ «сиреневый цвѣтокъ»). А въ Буживалѣ врачи придѣлали ему къ плечу машинку, надавливавшую на ключицу — съ ней какъ будто легче: могъ сдѣлать нѣсколько шаговъ. Но какъ! «Всякая черенаха меня обгонитъ». Еще одно нововведеніе: по совѣту другого знаменитаго доктора, Жакку, стали его лѣчить молокомъ! За все хватается измученный человѣкъ: молоко такъ молоко. По двѣнадцати стакановъ выпивалъ онъ въ день бессмысленнаго поила. А въ промежуткахъ вспрыскивали морфій, обкладывали горячими салфетками.

И все-таки Тургеневъ живетъ — даже достойно живетъ. Надеждъ нѣтъ, но и нѣтъ озлобленія: при этомъ человѣкъ онъ невѣрующій. Скорѣе — смиреніе. Муки и безнадежность смиряли. Онъ даже кое-что пишетъ. (Изъ «Стихотвореній въ прозѣ», начатыхъ довольно давно, еще въ 78 году). Охотно переписывается — тонъ писемъ ровный, тихій, можетъ быть, становится и нѣсколько «надземнѣй» (хотя сообщаетъ онъ о мелочахъ бытія, о болѣзни, и т. п.). Савина обвинчалась, наконецъ, со своимъ Всеволожскимъ. За ласковыя письма Тургеневу въ бѣдѣ зачтется ей немало грѣховъ. Она давала ему улыбку, да и нѣжность. (Думаю, писала правду). Вотъ, напримеръ: «Вспоминайте иногда, какъ мнѣ было тяжело проститься съ вами въ Парижѣ, что я тогда переживалъ!» (Можетъ быть, и плакалъ Тургеневъ, читая это...). Случалось и такъ: мелькнетъ «добрая» фраза, и сама она позабудетъ о ней. Онъ, за тысячи верстъ, напомнитъ. («Не считая меня, обожающей безъ границъ

чуднаго Ивана Сергѣевича»... — Онъ, въ отвѣтъ: «Вы понимаете, что за такія слова надо по меньшей мѣрѣ стать на колѣни. Одна бѣда: коли вы забыли эту фразу, стало быть, писали ее не совсѣмъ серьезно»). Вотъ это дѣйствительно бѣда. Но не впервые такъ случается съ Тургеневымъ. Бывало, онъ и Полинѣ говорилъ, еще въ Парижѣ, до болѣзни: «А помните, мы гостили тогда у Жоржъ Зандъ, еще Шопенъ игралъ, такая-же туча стояла надъ садомъ, и дождь только-что отшумѣлъ...» — «Гдѣ? у Жоржъ Зандъ? Ну, какъ это давно было. Не помню». Помнилъ-то всегда онъ. А женщины, кого любилъ — тѣ забывали.

Чѣмъ объяснить, что молоко, все-таки, помогло ему? Июль, августъ шли легче. Даже надежды появились. Могъ онъ немного вставать, ходить. Врачи упорно твердили, что опасности нѣтъ, а надо терпѣть: болѣзнь нервная, еѣ подтвержены на склонѣ дѣтъ многіе артисты, писатели, художники. Тянутся она можетъ долго. Надо пить молоко да ждать. Онъ ждалъ съ терпѣніемъ. И написалъ въ этотъ промежутокъ послѣднюю свою истинно-замѣчательную вещь «Клару Миличъ».

Въ ней всгдашнее тургеневское — нераздѣленная любовь, и потрясающее чувство загробнаго. Не райскаго, а грознаго. Клара опять не Беатриче. Она магическая жепщина, но сама не насытившаяся любовью. Находить ее въ Аратовѣ — ему единственно и можетъ отвѣтить, но какъ разъ онъ и глухъ. Не почувствовалъ, не полюбилъ ее при жизни Аратовъ! Онъ еще такъ молодъ, самъ не знаетъ любви. Оба они дѣвственники. Она отравляется. И изъ-за гроба «беретъ» его — духъ ея, являясь по ночамъ, мучитъ Аратова и даетъ неиспытанное ранѣе блаженство. Сводитъ съ ума и изъ жизни уводитъ.

Клара изображена сумрачной, черноволосою «цыганкой». Брови у ней почти срались на переносицѣ. Надъ губой черныя усики. Голосъ — контральто. Она неласкова, горда, властна (можетъ быть, и у Полины надъ губой быть пушокъ). Магнетическій ея взоръ чувствуетъ Аратовъ еще на музыкальномъ утрѣ, гдѣ впервые ее видитъ. Она не очень нравится ему — именно тѣмъ, что и трагическое есть въ ней, и отъ «лэди Макбетъ». (Она поетъ, между прочимъ, «О, только тотъ, кто зналъ свиданья часть...»). Но вотъ именно ее и сразилъ скромный Аратовъ — и самъ погибъ.

Повѣсть окончилъ Тургеневъ въ сентябрѣ. Назвалъ «повѣстушкой», будто-бы «кропалъ» ее (обычная его манера говорить о своихъ писаніяхъ) — но понималъ, что дѣло тутъ серьезное. Удивительно, какъ сильно онъ боролся! Литературу никакъ не хотѣлось отдавать. Для жизни, женщины, для любви онъ уже «устрица, приросшая къ скалѣ». Но не для литературы. Кончивъ «Клару», отбираетъ Стасюлевичу для «Вѣстника Европы» тѣ «Стихотворенія», гдѣ меньше личнаго. Переписывается съ Топоровымъ насчетъ собранія сочиненій — Глазуновъ издаетъ ихъ. Изъ Россіи высылаетъ ему Топоровъ томъ за томомъ корректуры. И не смотря на боль въ лопаткѣ перечитываетъ, правитъ, чиститъ свои строки (свою жизнь!) Тургеневъ. «Записки Охотника», «Рудинъ», «Отцы и дѣти», повѣсти, пьесы, рассказы — сорокъ лѣтъ бытія, лучшее, что было въ немъ. Отказаться отъ этого нельзя и на смертномъ ложѣ.

Осенью жилъ онъ въ Буживалѣ одинъ. (Віардо рано переѣхали въ Парижъ... погода была скверная). Кажется, впрочемъ, не такъ огорчался одиночествомъ. Работалъ, писалъ довольно много писемъ. Утѣшалъ Полонскихъ, очень о немъ въ Петербургѣ скорбѣвшихъ. Подробно излагалъ Бертенсону (врачу, русскому), свое положеніе — гдѣ боли, куда перемѣщаются, какъ желудокъ, и пр. Радовался, что по ночамъ спитъ. И съ легкой, горестной усмѣшкой отказался отъ новаго лѣченія, ему предложеннаго: прикладывать къ больнымъ мѣстамъ сырую глину. (Въ молоко все-таки вѣрилъ, продолжалъ поглощать его неизменно — по 10 — 12-ти стакановъ въ день). И окончательно смирился: т. е. увѣрился въ безнадежности.

Программой minimum стало: не очень страдать. А тамъ — устрица такъ устрица.

Но и этого не было дано. Въ ноябрѣ переѣхалъ онъ въ Парижъ. Къ январю боли усилились — безъ морфія не могъ спать. Въ январѣ (83 г.) ему сдѣлали операцію — вырѣзали «изъ брюха»... «прескверную сливу» — врачи называли ее «невромъ». Почтительно повторяетъ онъ непонятное слово, думая, что, наконецъ, операція и поможетъ. Онъ ошибся. Надо, или не надо было его рѣзать — дѣло врачей. Операція прошла успѣшно. Рана скоро зажила и осложнений не вызвала. Но съ того января, съ этой операціи «старая» его болѣзнь стала расти съ силою угрожающей. Передышка окончилась. Вновь началось наступленіе, съ силами утроенными. Теперь не только плечо и ло-

патка — вся спина, грудь болѣла, все вообще болѣло, двигаться совершенно нельзя. И ни молоко, ни уколы, ни машинка не помогали. Дѣйствовалъ одинъ морфій. Шарко и тутъ придумалъ утѣшеніе: воспаление нервныхъ оболочекъ, потому такъ и больно.

Последніе томы проходятъ чрезъ его руки — VI-ой, IX-ый... Еще въ февралѣ, въ письмѣ Григоровичу, онъ умно, точно разбираетъ «Гуттаперчеваго мальчика». Такія-то вотъ фразы надо вовсе выкинуть, слѣдовало-бы измѣнить тяжелые обороты, много въ рассказѣ излишней обстоятельности, и т. п.

Но уже это послѣднія письма, писанныя собственной рукой. Позже онъ диктовалъ.

**

Весна, Буживаль. Капитаны распускаются; дрозды скачутъ въ саду. Умираетъ старикъ Віардо. Тургенева въ креслѣ выкатываютъ изъ *châlet* — въ весеннемъ солнцѣ издали можетъ онъ поклониться праху страннаго своего «друга», при которомъ прожилъ сорокъ лѣтъ, съ кѣмъ мирно бесѣдовалъ, охотился, отъ кого выслушивалъ иногда бессмысленныя замѣчанія насчетъ писаній своихъ. Полина хоронила мужа безъ сантиментальностей. На слѣдующій день дала уже урокъ. Что думалъ Тургеневъ, глядя на его гробъ, удаляющійся внизъ, по спуску къ воротамъ на набережную?

Въ маѣ онъ смогъ еще написать Полонскимъ: «Давно я не писалъ вамъ, любезные друзья мои — да и о чемъ было писать? Болѣзнь не только не ослабѣваетъ, она усиливается — страданія постоянныя, невыносимыя — не смотря на великолѣпнѣйшую погоду — надежды никакой — жажда смерти все растетъ — и мнѣ остается просить васъ, чтобы и вы со своей стороны пожелали-бы осуществленія желанія вашего несчастнаго друга».

Такъ умиралъ Тургеневъ. Всю жизнь стремился онъ къ счастью, ловилъ любовь и не догналъ. Счастія не нашель, смерть встрѣчалъ въ мукахъ: точно-бы подтверждался страшный взглядъ его на жизнь. Но въ дѣйствительности никакъ не подтверждался, ибо послѣдней его судьбы, послѣдней глубины бытія его мы не знаемъ. Мы только знаемъ, что это буживальское лѣто было ужасно и для Турге-

нева, и для Виардо, ухаживавшей за нимъ. Боли доводили его до криковъ, до мольбы прикончить. Такъ продолжалось до августа. Морфій дѣйствовалъ на его мозгъ — то казалось ему, что его отравили, то въ Полинѣ мерещилась «лэди Макбетъ».

А въ смертный часъ, когда никого ужъ почти не узнавалъ, той-же Полинѣ сказалъ, («которая пододвинулась къ нему ближе, онъ вострепелся»):

— Вотъ царица изъ царицъ!

Потомъ, всѣмъ окружающимъ:

— Прощайте, мои милые, мои бѣлесоватые.

Умеръ онъ 22-го августа. Отошедши, весь преобразился. И не только не осталось на лицѣ слѣдовъ страданій, но кромѣ красоты, по новому въ немъ выступившей, удивляло выраженіе того, чего при жизни не хватало: воли, силы — мягкой, даже ласковой, но силы.

Сохранилась фотографія съ него въ гробу: дѣйствительно, прекрасенъ. Можетъ быть, и никогда красивъ такъ не былъ.

Бор. Зайцевъ.

Июнь 1929 — май 1931.

Александръ Блокъ

Простимъ угрюмство — развѣ это —
Сокрытый двигатель его?
Онъ весь — дитя добра и свѣта,
Онъ весь свободы — торжество.

Это стихи Блока о самомъ себѣ. Есть у него и другія строки, которыя краснорѣчивѣе были бы всякаго введенія. Къ нимъ тоже говорится «онъ» вмѣсто «я» — по тому душевному и стилистическому цѣломудрію, которое заставляетъ иногда поэта хитрить.

Онъ нашелъ весьма банальной
Смерть души своей печальной.

Или то, что «говорить Смерть»:

Онъ больше ни во что не вѣритъ,
Себя лишь хочетъ обмануть,
А самъ — къ моей блаженной двери
Отыскиваетъ вяло путь.

Съ него довольно славить Бога,
Ужъ онъ — не голосъ, только — стонъ.
Я отворю. Пускай немного
Еще помучается онъ.

Но начну съ воспоминанія.

Петербургъ. Зима 1921 года. Пушкинскій день въ «Домѣ литераторовъ», на Басейной.

Это второй въ исторіи Россіи, надолго памятный пушкинскій день. Первый, ознаменованный рѣчью Достоевскаго, былъ приуроченъ къ открытію памятника поэту. Этотъ не вызванъ ничѣмъ, никакой юбилейной датой: обычная рядовая годовщина смерти... Но то былъ 1920-

21 г., одинъ изъ самыхъ высокихъ и напряженныхъ періодовъ въ жизни нашей интеллигенціи, какъ признаетъ вѣроятно всякій, кто помнитъ это время въ Россіи: послѣднія попытки освятить, облагородить революцію всѣмъ благородствомъ и святостью прошлаго, котораго еще не идеализировали, какъ идеализируютъ его теперь, въ которомъ оплакивали не имперію, великодержавіе, Суворова, Сперанскаго и Столыпина, а больше всего — потерянное благополучіе, «сладость жизни», — въ которомъ удерживали духовность; послѣднія, ярчайшія вспышки жертвенности, съ надеждой, что она еще додѣлаетъ свое дѣло; первохристіанская скудость и ясность быта, отношений, помысловъ, чувствъ.

Имя Пушкина символично. Пушкинъ связанъ съ Россіей, какъ никто другой, почти растворяясь въ ней, обезличиваясь въ ея образѣ, — чего никакъ нельзя сказать о Гоголѣ или Толстомъ, которые страстно и упрямо тащатъ ее въ свою сторону. Имя Пушкина все покрываетъ, каждый отъ лица его можетъ говорить свое, — что, кстати, и слѣлалъ Достоевскій, когда «разгадывалъ тайну» Пушкина. Все, что есть въ Россіи, есть въ Пушкинѣ, всѣ наши темы начаты имъ, безъ того чтобы какую нибудь изъ нихъ онъ отчетливо развилъ, какъ лично и преимущественно свою. Естественно, что на Пушкинѣ каждый русскій поэтъ и человѣкъ пробуетъ себя, и порой въ отношеніи къ нему себя выражаетъ. Столкнованіе, «взглядъ» на Пушкина есть отвѣтственный дѣло писателя, ибо это есть выборъ, опредѣленіе своей «линіи» въ потокѣ культуры и жизни*), — и не надо бы за это дѣло браться, пока взглядъ еще разсѣянъ, пока излишекъ энергіи заставляетъ еще умъ рѣзвиться. Достоевскій и Блокъ говорили о Пушкинѣ передъ смертью. Они сказали то, что въ результатѣ всего ихъ опыта имъ представлялось нужнымъ сказать, — оттого ихъ слова запомнились.

Достоевскаго, говорятъ, надо было видѣть въ этотъ день. Его обликъ, его патетическій голосъ, глаза — дополняли дословный смыслъ рѣчи; этому охотно вѣришь, читая ее теперь, ибо текстъ этой рѣчи мѣстами явно «декламационенъ», построенъ какъ ораторское или театральное произведеніе, съ расчетомъ на впечатлѣніе быстрое,

*) Толстой его въ сущности не замѣнилъ: это тоже выборъ.

непосредственно, еще не охлажденное доводами разсудка.

Блока тоже надо было видѣть — но по другимъ причинамъ.

Ораторомъ онъ не былъ вовсе. Слезъ у потрясенныхъ слушателей не исторгалъ. Онъ началъ рѣчь характерной фразой о «веселомъ имени Пушкина». И если все таки многіе изъ присутствующихъ на этомъ пушкинскомъ праздникѣ были глубоко взволнованы, то не потому, чтобы самая рѣчь Блока была такъ увлекательна или прекрасна... Нѣтъ, рѣчь была суховата, осторожна. Но произносилъ ее Блокъ, первый современный поэтъ, законный наследникъ Пушкина, лучший и вѣрнѣйшій сынъ Россіи, — никто въ этомъ уже не сомнѣвался тогда, шумъ, поднятый вокругъ «Двѣнадцати», улегся, воздухъ очистился, — и говоря о Пушкинѣ, говорилъ о своей гибели.

«Поэтъ умираетъ потому, что дышать ему уже нечѣмъ... Пушкина убило отсутствие воздуха».

Это не войдетъ въ исторію литературы, — или войдетъ только, какъ мертвый разсказъ о фактѣ: «выступилъ съ рѣчью...». Но тѣ, кто эту рѣчь слышалъ и на произносившаго смотрѣлъ, знаютъ о Блокѣ нѣчто добавочное, что забудется въ будущихъ книгахъ.

На эстрадѣ стоялъ человѣкъ — высокій, еще молодой, будто окаменѣлый. Въ залѣ было холодно. Собралось человѣкъ триста. Было тихо такъ, что «муху слышно»... Ловили каждое слово. Блокъ былъ однимъ изъ немногихъ — или даже единственнымъ, — отъ кого тогда, «въ разрѣженномъ воздухѣ уходящей эпохи», въ полупросвѣтленіи-полуотчаяніи тѣхъ дней ждали дѣйствительно хлѣба, а не камня. Но Блокъ, казалось, весь ушелъ въ себя. Онъ говорилъ съ трудомъ, опустилъ глаза, еле шевеля губами. Онъ весь былъ такой опустошенный и далекій, такой померкшій, онъ стоялъ такимъ «живымъ упрекомъ» кому-то, такъ явственно ко всему уже готовый и не допускающій никакихъ иллюзій или утѣшеній, такъ безпредѣльно ко всему уже равнодушный, — что каждый чувствовалъ себя свидѣтелемъ развязки какой-то тайной драмы.

Да, была поэма о «Двѣнадцати», съ ея тяжелыми послѣдствіями во внутренней и внѣшней жизни Блока. Были увлеченія послѣднихъ лѣтъ, и потомъ смутныя, горькія разочарованія. Но не все было въ этомъ. Хотѣлось

спросить: что произошло? Как могли люди это допустить? Кто за это ответить? Блокъ казался воплощеніемъ «всего, чему нельзя помочь» въ мірѣ — послѣднимъ носителемъ «добра и свѣта»; осужденныхъ исчезнуть.

Въ первыхъ, юношескихъ стихахъ Блока постоянно повторяется одинъ образъ: закатъ, заря... Это не случайно. Они всѣ какъ будто и написаны подъ впечатлѣніемъ долгаго, довѣрчиваго вглядыванія въ вечернее небо. Мнѣ представляется, что это «вліяніе» — небесное въ самомъ точномъ смыслѣ слова — существеннѣе, чѣмъ какія либо литературныя воздѣйствія на Блока, въ частности соловьевское.

Пусть каждый вспомнить самъ свою раннюю молодость, — каждый, хотя Блокъ и сказалъ когда-то, что для пониманія его надо быть «немножко въ этомъ родѣ». Именно раннюю, первую молодость, когда сознаніе впервые удивляется: что такое жизнь? гдѣ я? откуда? что такое міръ? Природа безучастна, безотвѣтна. Но въ небесахъ бываетъ «торжественно и чудно» — и не только въ звѣздныя ночи, по Лермонтову, но и въ часы, когда садится солнце. Закаты говорятъ, обѣщаютъ, напоминаютъ, манятъ, зовутъ, — и не знаю, есть ли въ этомъ патристическое оболыщеніе, но кажется, въ Россіи, особенно въ сѣверной ея полосѣ, надъ темными лѣсами и холодными рѣчками, они были выразительнѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было. Человѣкъ можетъ ими любоваться, какъ удачной игрой лучей и красокъ, какъ обыкновеннымъ физическимъ явленіемъ. Но въ двадцать лѣтъ душа въ этихъ «закатныхъ пожарахъ» ищетъ и находитъ другое. Слѣдъ остается иногда на всю жизнь, и тщетно пытается потомъ человѣкъ возстановить эти забытыя, безмолвыя, вечернія бесѣды. Объясненіе этому каждый можетъ дать по своему: душа старѣетъ, черствѣетъ или наоборотъ становится болѣе взрослой, т. е. теряетъ «метафизическую» свою чуткость или освобождается отъ заблужденій.

Блокъ склонялся къ первому предположенію. Онъ до послѣдней минуты своей жизни вѣрилъ въ реальность «міровъ иныхъ» и въ возможность ихъ постигать, слышать, видѣть, притомъ не только въ какія либо исключительныя мгновенія, а всегда, вездѣ. Онъ пребывалъ по-

стоянно въ двухъ планахъ: и «здѣсь» и «тамъ», — и нѣтъ ни одного свидѣтельства, чтобы онъ усомнился въ подлинной возможности для человѣка пребывать частью своей души «тамъ». Незадолго до смерти онъ считалъ только, что лично, самъ потерялъ эту способность: жаловался, что «оглохъ», пересталъ слышать шумъ или музыку пездѣшнихъ сферъ, поэтому утратилъ свой поэтический даръ, — но эти слова его лишь подчеркиваютъ увѣренность въ связи всего земного съ потустороннимъ. Нѣсколькими мѣсяцами раньше онъ еще записываетъ въ дневникъ: — «Страшный шумъ, возрастающій во мнѣ и вокругъ. Этотъ шумъ слышалъ Гоголь...»

— «Лежа въ темнотѣ съ открытыми глазами, слушалъ гулъ, гулъ...»

Есть у Блока удивительная статья о символизмѣ, написанная въ 1916 году; удивительная не только по страстной увѣренности тона, но и по усердію, кропотливости, съ которой онъ рассказываетъ о событіяхъ, на обычную мѣрку — фантастическихъ.

«...Въ данный моментъ положеніе событій таково: мятежъ лиловыхъ міровъ стихаетъ. Скрипки, хвалившія призракъ, обнаруживаютъ, наконецъ свою истинную природу... Лиловый сумракъ разсѣивается. Пустая, далекая равнина, а надъ нею — послѣднее предостереженіе — хвостатая звѣзда. И въ разрѣженномъ воздухѣ горькій запахъ миндаля». Какіе это лиловые міры, какой это миндаль? — вправѣ спросить всякій. Если это личныя, непередаваемые другимъ представленія, то нельзя ли ихъ назвать бредомъ? Блокъ отвѣчаетъ: надо быть «немножко въ этомъ родѣ» и не допускаетъ мысли о призрачности своихъ видѣній. Закаты же были для него очевидными «прорывами въ вѣчность». Онъ въ юности не собирался какъ будто зажививаться на землѣ, не искалъ дѣйствія, не хотѣлъ работы. Простая, первая реальность — люди, ихъ бѣдная, слѣпая, здѣшняя жизнь — его интересовала слабо. Онъ ее не замѣчалъ. Онъ эгоистически мечталъ и молился, міръ для него былъ полонъ соответствій и въ сущности похожъ на случайную, промежуточную станцію въ безконечномъ пути. Но молитва требуетъ содержанія, имени: трудно обращаться къ кому-то... Здѣсь Блоку пришла на помощь Владиміръ Соловьевъ, эпоха, ея вѣяніе. Блокъ сталъ центральной фигурой русскаго символизма не только по праву своего исключительнаго литературнаго даро-

ванія, но и по особой обостренности своего слуха къ «не-сказанному».

Послѣ Андрея Бѣлаго, описавшаго въ своихъ «Воспоминаніяхъ о Блокѣ» первые годы двадцатаго вѣка, какъ свидѣтель, участникъ и даже идеологъ тогдашнихъ духовныхъ «пировъ» (выраженіе Блока) — человѣку родившемуся на цѣлое поколѣніе позже почти нечего сказать о началѣ символизма: все въ его словахъ окажется «исторіей литературы», — и какъ въ исторіи литературы, все будетъ «не то» по сравненію съ подлинной жизнью. Кстати: я лично еще помню Блока, настоящаго, живого, помню нѣкоторыя (очень рѣдкія, правда) встрѣчи съ нимъ, непосредственное дѣйствіе его словъ, впечатлѣніе отъ только что прочитанныхъ новыхъ его стиховъ — все, вообще, изученіе его дѣйствительной личности. По многимъ разговорамъ съ тѣми, кто родился уже въ этомъ вѣкѣ — особенно съ поэтами, — я знаю, что въ ихъ представленіи образъ Блока, воспринятый ими уже «изъ вторыхъ рукъ», не тотъ, что сложился въ нашихъ сознаніяхъ, — и на мое ощущеніе онъ искаженъ. Есть, вѣроятно, общій законъ, обуславливающий это. Но въ данномъ случаѣ дѣйствіе его усиливается тѣмъ, что люди нашего поколѣнія — въ частности, значитъ, я — еще помнимъ символизмъ, уже умиравшій, но еще живой, а собесѣдники мои его уже не знали. Если я рѣшаюсь коснуться эпохи, о которой рассказъ Андрей Бѣлый, то потому только, что, мнѣ кажется, я его понимаю (не приписываю себѣ никакихъ личныхъ свойствъ, имѣю въ виду только «возрастъ моей памяти») — и имѣю нѣкоторую надежду связать то, что было, съ тѣмъ, что есть сейчасъ.

Символизмъ, какъ извѣстно, является поэтической школой. По книгамъ — это такъ, но на дѣлѣ это не совсемъ такъ. Литературная школа была, разумѣется. Былъ Брюсовъ, ея руководитель, больше догадывавшійся острымъ своимъ умомъ о ея внутренней сущности, нежели дѣйствительно ей близкій. Было декаденство, ограниченное эстетствомъ, притворной усталостью и общественнымъ равнодушіемъ. — явленіе странное въ Россіи, и поверхностное, которое съ символизмомъ переплеталось только въ составѣ дѣятелей и, на первыхъ порахъ, въ оттакиваніи отъ Михайловскаго, отъ Скабичевскаго и всего вообще девятидесятническаго литературнаго заходства. Было — кто спорить? — много баловства, глупо-

сти, шарлатанства, о которыхъ сохранилось достаточное количество анекдотовъ. Но было и другое — и глубочайшая душевная честность такихъ людей, какъ Блокъ, за это ручается. Позволю себѣ воспоминаніе: не такъ мы раскрывали «Вѣсы» или даже поздній обмельчавшій «Аполлонъ», какъ раскрываютъ теперь книжку даже самаго интереснаго журнала, — не съ любопытствомъ, а съ трепетомъ, ища не прекрасныхъ рассказовъ или отличныхъ стиховъ, а приближенія къ какой-то тайнѣ, носившейся въ воздухѣ и не имѣвшей (и такъ и не получившей) имени. Въ чемъ она была, — и о чемъ? Никто этого твердо не зналъ. Говорили: «преобразование міра искусствомъ», «творчество религиозныхъ прозрѣній», договорились до «мистическихъ анархизмовъ»: слова, слова, слова... Но навѣрно было смутное предчувствіе какого то огромнаго торжества, или воспоминаніе о немъ, было легкое, слабое вѣяніе чуда надъ міромъ — и была круговая порука, «узнаваніе другъ друга» по этимъ ощущеніямъ. Логически это бессмысленно, и оттого съ годами, когда одинъ только разумъ къ тогдашнему духовному состоянію обращается, онъ въ немъ одну только бессмыслицу и находитъ. Но еще въ самые послѣдніе дни символизма тогда чувствовалось, что искусство его по природѣ дѣйствительно магично и какъ бы доходитъ, дорывается до стѣны, за которую проникнуть уже никому не дано. Оно, какъ будто, стучало въ эту стѣну: вотъ-вотъ казалось, все откроется, все объяснится. Еще только одно слово, одно усиліе... Но слова не было. Во время войны, на примѣръ, въ Петербургѣ ставили «Незнакомку» и «Балаганчикъ». Мейерхольдовская постановка была нелѣпа. Блокъ, блѣдный и раздраженный, изъ глубины Тенишевскаго зала всѣмъ своимъ видомъ осуждалъ ее. Актерская читка стиховъ была нестерпима... Но надалѣ воображаемый снѣгъ, сіяла воображаемая звѣзда, кружились въ вальсѣ пары, веда сомнамбулическій діалогъ подъ сладкую, беспомощную и волшебную музыку Кузмина, былъ текстъ этихъ драмъ: въ послѣдній, можетъ быть, разъ мы чувствовали, что все это не бредъ, а отзвукъ, отблескъ, отголосокъ... Не знаю теперь чего. Позднѣе «оглохли» всѣ. Блокъ это мучительнѣе другихъ ощутилъ только потому, что онъ во всѣхъ этихъ дѣлахъ былъ «первоисточникомъ». Но самое ощущеніе въ ослабленномъ видѣ было общимъ: кончалась эпоха, переходя изъ жизни въ исторію. Для новыхъ

литературныхъ поколѣній «Балаганчикъ» есть только грустный и причудливый пустячокъ, хотя и нельзя быть вполне увѣреннымъ, что они «объективно» правы.

Очень вѣроятно, что Андрей Бѣлый много напуталъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ», — по крайней мѣрѣ въ той ихъ части, которая касается непосредственно Блока, а не его, Бѣлаго. Онъ навязалъ Блоку свою растерянную разсудочность, нервность, «книжность» и отчасти праздность большинства своихъ умственныхъ увлеченій. Блокъ въ стихахъ и дневникахъ глубже и серьезнѣе, — хотя можетъ быть и ограниченнѣе. Цикль стиховъ его о Прекрасной Дамѣ имѣлъ навѣрное за собой слабѣе пыльное идеологическое обоснованіе, чѣмъ то, которое могъ бы предложить Андрей Бѣлый. Но внутренне онъ былъ несравненно органичнѣе, устойчивѣе, чѣмъ все, что въ то время — и вообще когда бы то ни было — Бѣлый писалъ.

Въ послѣдній годъ жизни Блокъ вспоминалъ стихи о Прекрасной Дамѣ, какъ лучшее и чистѣйшее, что онъ создалъ («какъ бы я ни былъ слабъ, какъ художникъ»). После всѣхъ испытаній и разочарованій вѣрность первоначальнымъ видѣніямъ вернулись къ нему. Но творчески вспомнить ихъ онъ уже не могъ. Религіозный путь его кончился тупикомъ, выхода не было, оставалось только одно — оборачиваться, глядѣть назадъ... Впрочемъ, путь Блока правильнѣе опредѣлить какъ религіозно-«образный» или «подобный»: отчасти этимъ его драма и объясняется. Ошибка была въ исходной точкѣ и при блоковской немолчаливой требовательности къ себѣ тупикъ былъ неизбеженъ. Блокъ въ объектѣ религіи подмѣнилъ доморощенной, недодуманной выдумкой то, за чѣмъ, — истина оно или нѣтъ — есть во всякомъ случаѣ многовѣковой, многомилліонный человѣческій опытъ, и выходъ въ практику, въ дѣйствіе и созерцаніе... Вѣчная женственность. Прекрасная Дамы. Она съ большой буквы: за этимъ былъ Владиміръ Соловьевъ, учитель холодный, сомнительный; отвлеченный «жрецъ», а не «другъ»; христіанинъ, забывшій Евангеліе. Дальше, въ смутныхъ своихъ догадкахъ въ еще младенческомъ лепетѣ Лермонтовъ. Дашіе — Гете, надо сознаться, «притянутый за волосы» въ цѣломъ не дающій права на зачисленіе его въ служителя этого культа. Были, разумѣется, отдѣльныя, иногда очень глубокія мудрствованія, разбросанныя на протяженіи столѣтій, и даже слагавшіяся въ движенія или

школы... Но не было церкви. Говоря это, я имѣю въ виду не понятія о благодати или таинства, — истинность которыхъ можно вѣдь и оспаривать, — а то, что отрицать невозможно: присутствіе народа въ церкви, и «море слезъ», ею въ себя вобранное, неисчерпаемые источники средствъ для «врачеванія душъ», независимо отъ догматовъ. Подчеркну и другое. Имя, написанное на церкви — не только, но вѣрѣ ся, имя Спасителя «тамъ», но и Учителя «здѣсь». Блокъ въ развитіи своемъ шелъ отъ метафизики къ морали, отъ далекаго къ ближайшему, отъ мистическихъ душевныхъ ликованій къ утѣшенію и помощи людямъ, жертвуя на этомъ пути всеміи своими богатствами, «обворовывая» себя. Отъ исторической церкви, въ особенности той, которую онъ засталъ въ Россіи его много отталкивало — это достаточно понятно, чтобы даже на эту тему распространяться. Но Христосъ лично, самъ — даже не Иоанновскій, а тотъ, о которомъ разсказано у Марка или Матвѣя — его бы не оттолкнулъ. Однако этой встрѣчи въ душѣ Блока не произошло. Очерски и замѣтки, связанные съ задуманной Блокомъ драмой на евангельскую тему, въ этомъ лишний разъ убѣждаютъ Блока называть Христа въ «Двѣнадцати». Но — не касаясь вопроса, насколько оправдано это появленіе, — странный это Христосъ, «въ бѣломъ вѣничикѣ изъ розъ», не настоящій, декоративный (чрезвычайно показательна запись въ дневникѣ: «дѣло не въ томъ, «достойны ли они его, а страшно то, что опять онъ съ ними и другого показнѣтъ; а надо Другого — ?» — следовательно неизбежность возникновенія образа была только отрицательная, по отсутствію замѣны, безъ ощущенія его абсолютной единственности). Былъ въ стихахъ Блока и иной Христосъ, русскій, «немного грустный»:

И вижу, по рѣкѣ широкой,
Ко мнѣ плыветъ въ челнѣ...

— но это изъ Тютчева, несомнѣнно, это «духоченный ношей крестной»... Повторю, встрѣчи не произошло. Отсюда, вѣроятно, мракъ витающей вокругъ христіанства поэзіи Блока, финальная «роковая пустота» въ ней, «восторженной когда-то». У Данте говорится гдѣ-то о сумеречныхъ ангелахъ, которые безпріютно носятся между раемъ и адомъ. Блокъ былъ какъ будто изъ ихъ числа,

— подобно многимъ поэтамъ послѣднихъ двухъ-трехъ столѣтій и этому отчасти обязанъ онъ прелестью и силой своего искусства: оно, искусство, дало ему приютъ, онъ въ него вложилъ всю свою духовную энергію, которая при подлинной вѣрѣ нашла бы выходъ болѣе прямой, но зато не оставила бы слѣда. Надо только добавить, что изъ-за склонности Блока къ индивидуальнымъ, за свой личный счетъ и страхъ, приближеніямъ въ творествѣ къ областямъ непознаемаго, поэзія его приобретаетъ иногда тотъ лживо-религіозный, порочный, «бѣсовскій» привкусъ, который такъ пугаетъ людей, пребывающихъ въ религіозной традиціи (послѣдній разъ это — въ «Двѣнадцати»).

Вторженіе прелести въ чистый и строгій міръ ранней лирики Блока произошло съ «Нечаяннѣю радостью». Позволю себѣ считать фактическую, историко-литературную сторону развитія Блока достаточно извѣстной, чтобы здѣсь, въ этой попыткѣ комментарія къ его творчеству, о ней надо было напоминать. Всѣ знаютъ, что въ «Благанчикѣ» и «Нечаяннѣю радости» Блокъ какъ бы измѣнилъ Прекрасной Дамѣ, обращаясь вмѣсто нея къ другимъ образамъ женственности, болѣе доступнымъ и земнымъ. Нѣтъ, кажется, ни одной статьи о Блокѣ, гдѣ не приводился бы знаменитый, многозначительный стихъ:

Но страшно мнѣ — измѣнишь обликъ Ты!

Измѣнился молитвенный тонъ блоковской поэзіи. Измѣнился самый словарь ея, прежде однообразный, условный, ограниченный стилемъ рыцарски-монашеской обрядности, теперь подсказанный обыденщиной. Прелестъ здѣсь возникаетъ благодаря замутнѣнію первоначальныхъ видѣній поэта, изъ-за уступки сладости грѣха. — нѣчто вроде тангейзеровскихъ томленій у Венеры. «Искусство это адъ». — по безнормальному, позднему опредѣленію Блока. Первые его рѣшительные шаги къ этому аду были первыми его художественнымъ торжествомъ, будто отсюда пожелали соблазнить, заманить, вознаградить пришельца... Сразу: всѣ цвѣта радуги, неотразимые звуки, колдовское мастерство. Блокъ сознавалъ, что произошло. Онъ не настолько дорожилъ ни своей узко-художественной репутаціей, ни эстетической цѣнностью поэзіи, чтобы радоваться литературнымъ успѣхамъ, купленнымъ до-

рогой цѣной. Но у него были причины упорствовать въ «своемъ нисхожденіи», вопреки увѣщанію друзей, — въ частности Андрея Бѣлаго, — и не сворачивать съ своей круто спускающейся дороги, куда бы она ни вела. Это очень важно, и можетъ быть именно это упорство даетъ поэзіи Блока ея величіе и человѣчность.

Блокъ былъ глубоко совѣстливой натурой. Трудно сравнивать его съ Толстымъ: не тѣ силы, конечно, и не та отчетливость въ душевномъ и творческомъ развитіи. Но есть въ обликѣ Блока черты, съ Толстымъ его роднящія. И во всякомъ случаѣ можно сказать, что со временъ Толстого не было русскаго писателя, который былъ бы въ той же мѣрѣ, какъ Блокъ, способенъ мучиться «муками честности» (въ самомъ прямомъ смыслѣ слова «честный», — не въ томъ, какъ понимали его въ шестидесятые годы). Его измѣны были внушены честностью и совѣстливостью, — отъ ступеньки къ ступенькѣ, отъ отказа къ отказу все диктовалось неумолимой нравственной и творческой требовательностью, нежеланіемъ успокоиться на уединяющихся иллюзіяхъ и въ сладостномъ заблужденіи «зажмурить очи». Было два побужденія. Первое, литературное: чувство охолощенности большинства привычныхъ словъ и выдумокъ, безвыходной «книжности» ихъ. Второе, болѣе широкое: ощущеніе себя однимъ изъ многихъ и сознание ответственности за каждое слово. (Въ дневникѣ: «надъ печальными людьми, надъ печальной Россіей въ лохмотьяхъ, онъ съ пріятностью...» — и дальше осужденіе одного изъ его самыхъ замѣчательныхъ, но замкнутыхъ въ себѣ современниковъ). Оба сливались въ предпочтеніи низкихъ истинъ возвышающимъ обманамъ.

Въ юности Блоковскій душевный строй былъ гармониченъ. У Блока какъ будто бы даже было «міровоззрѣніе», цѣльное и законченное. Но изъ міровоззрѣнія этого исключены были огромные пласты и слои подлиннаго существованія, вся жизнь съ ея бессмыслицей и грубостью. Порядокъ ея былъ похожъ на уютъ огороженного, расчищеннаго сада — или тацитовскій «порядокъ, царящій въ пустынѣ». И будто леонидо-андреевская героиня, жизнь, спрашивала поэта: «какъ ты смѣешь быть хорошимъ, если я плохая?» Блокъ соглашался быть «хорошимъ», только пока вопроса не слышалъ или не понималъ. Едва онъ ощутилъ свой ограниченный, эгоистическій аристократизмъ, какъ захотѣлъ стать «плохимъ», — и съ каждымъ

годомъ, съ каждой книгой своей дѣлался все хуже: не домогаясь ничего для себя, если ктонибудь остается обдѣленнымъ, покидая прежніе «ширы», вообще склоняясь ко всему, что есть реально-живого, пытаясь его поднять въ своемъ творческомъ взлетѣ, со всѣмъ «смердомъ, смертью и страданіемъ», — и отказываясь отъ того, чтобы беззаботно и легко взлетѣть одному.

Именно въ этомъ, думается мнѣ, внутренний смыслъ переходовъ отъ Мадонны къ сомнительной Незнакомкѣ, и дальше — къ нищей Россіи. Именно это внушило тяготѣе, рано обнаружившееся, отъ эстетическихъ и «мистическихъ» кружковъ къ Горькому, къ сборникамъ «Знанія», къ гражданственности вообще, — и вмѣстѣ съ тѣмъ попутно и одновременно, опрощеніе, «деромантизация» поэтического стиля. Тѣ, кто видѣлъ въ этихъ измѣненіяхъ только «измѣну», оставались нечувствительными къ духу жертвенности, внушившему ихъ. Была гармонія чистыхъ, блаженныхъ мировъ — съ «Ней» въ центрѣ. Рядомъ была жизнь, тревожившая своей темнотой сердце и совѣсть Блока. Надо было сдѣлать выборъ: то или это. И Блокъ «забылъ прекрасное лицо».

На первыхъ порахъ его охватилъ восторгъ, — будто открылись внезапно безбрежные края творчества. Повидимому, поэтъ воспринималъ новыя свои темы только какъ новый методъ, болѣе вѣрный, чѣмъ прежній — не ясно различая будущее. Онъ еще ждалъ «торжества» — правда, въ иныхъ формахъ, но того же по сущности. Изрѣдка возвращалось воспоминаніе, и Блокъ пробовалъ еще молиться, глубокой печалью тона выдавая свои за таенныя предчувствія (незабываемое: «Ты въ поля отошла безъ возврата...»). Но сейчасъ же его уносила ворвавшаяся въ его поэзію жизнь. Кровь еще не «скупается», кровь кипитъ и играетъ, руки широко раскрыты, взглядъ доверчивъ:

О, весна безъ конца и безъ краю!

Одинъ изъ друзей Блока передавалъ, что много поэтовъ поэтически и сурово опредѣлили это свое состояние, какъ «стальной восторгъ». Повидимому, тогда было много вѣсть радости выхода изъ постанія въ океанъ. И «Немая радость» и большая часть «Земли въ снѣгу» писаны въ этомъ настроеніи. Въ обѣихъ книгахъ есть

упоеніе, — и о чемъ бы въ нихъ Блокъ ни говорилъ, о болотныхъ чертяхъ или метеляхъ, онъ выражаетъ только свой добровольный плывъ у «бытія». Все двоится въ его сознаниі: выдумки и подлинныя впечатлѣнія, призраки и дѣйствительность, — не разберешь, — и все сплетается въ клубокъ словъ двусмысленныхъ, лихорадочно-бодрыхъ. «О, весна безъ конца и безъ краю». Поэтъ все любитъ и всему вѣрить. Онъ убаюканъ ритмомъ, онъ обвороженъ прелестью своихъ созданій. Онъ въ забытій.

Но настаетъ пробужденіе. Блокъ рассказалъ о немъ на своемъ условномъ таинственномъ языкѣ, — для «посвященныхъ», для «немножко въ этомъ родѣ»:

«Въ лиловомъ сумракѣ необъятнаго міра качается огромный катафалкъ, а на немъ лежитъ мертвая кукла съ лицомъ, смутно напоминающимъ то, которое сквозило среди небесныхъ розъ».

Это можно понять или не понять. Но къ этому нечего добавить, этого нельзя объяснить, за этимъ нельзя слѣдовать. Попробуемъ говорить иначе.

Настаетъ пробужденіе. «Холодъ утра — это мы», — сказано гдѣ-то въ блоковскихъ стихахъ. Разсвѣтъ, леденящая свѣжесть. Мозгъ работаетъ безъ перебоевъ. Все, что ночью казалось волшебнымъ, въ первыхъ дневныхъ лучахъ тускнѣетъ. Лица трупно-сѣры, а вокругъ — и не глядѣль-бы! Обольщенія разсѣиваются, проза вступаетъ въ свои права. «Утрѣть. Съ Богомъ! По домамъ...» — во всѣхъ смыслахъ «по домамъ», къ дневной безжалостной трезвости: подвести итоги, собрать силы, вспомнить, что за ночь было сказано лишняго. И подумать, кстати: что же дальше?

Или еще иначе — схематичнѣе. Какъ всякій поэтъ Блокъ сквозь всѣ «впечатлѣнія бытія» искалъ его единства, и впрямую ощущалъ это единство въ минуты вдохновенія. Но это и было забытѣе. Онъ же хотѣлъ зрѣчести — и бодрствованіе человѣка побѣдило въ немъ дремоту художника. Тѣ простыя и страшныя противорѣчья, которыя обыкновенно поэтъ позволялъ себѣ игнорировать или надъ котоными пытается подняться, предстали передъ Блокомъ во всей наготѣ: съ одной стороны — музыка одинокихъ замысловъ, съ другой — не преобразенная, ничѣмъ не преобразяемая жизнь; съ одной стороны — метаморфозы личныхъ сновъ и надеждъ, лично можетъ быть и значительныхъ, съ другой — нищая, молчаливая

страна, чепуха каждого дня, «яма смерти» впереди. И никакой связи между этимъ, никакого соединенія. Одно — само по себѣ, другое — тоже само по себѣ. Блокъ въ моментъ «забытья», ослѣпленія находился въ исходной точкѣ этихъ двухъ линий, гдѣ онѣ сходятся; дальше онѣ разлетаются вилообразно и — если пожертвовать эстетикой ради выразительности образа, — надо было бы сказать, что Блокъ повисъ между ними или даже былъ разорванъ ими. Онъ потерялъ вѣру въ искусство и остался безпомощенъ передъ жизнью. Напрягая всѣ творческія силы, онъ пытался соединенія совершить. Но результатомъ было только болѣе ясное сознание безпомощности и пустоты... То же самое знали, какъ будто, и другіе символисты. Блокъ отличался отъ нихъ тѣмъ, что былъ серьезнѣе и добросовѣстнѣе, съ какой-то нѣмецкой методичностью въ натурѣ. Онъ несравненно острѣе другихъ чувствовалъ, что «слова поэта суть дѣла его». Онъ началъ пересматривать, насколько реально то, что въ самомъ существованіи своемъ можетъ быть подвергнуто сомнѣнію: не въ жизни же сомнѣваться! Пересмотръ былъ сдѣланъ. Осталось не отвергнутымъ очень мало. Онъ вздумалъ «переоцѣнить» прежнія цѣнности — выводы получились еще печальнѣе. Въмѣсто «голубой и заревой стези» открылся передъ нимъ «простой и скучный путь земной».

Такъ въ блоковскіе стихи вошла Россія. Кто помнить появленія «Ночныхъ часовъ», помнить и то, какъ удивительно было читать эти блѣкля, будто вновь народническія строки:

О, нищая моя страна,
Что ты для сердца значишь?
О, бѣдная моя жена, —
О чемъ ты горько плачешь?

Былъ отголосокъ тяжелой душевной драмы за этими стихами, — «сдача позицій» послѣ пораженія. Уже тогда находились люди, которые съ тревогой спрашивали: что произошло? Если по привычкѣ ктонибудь еще говорилъ: «Блокъ — поэтъ модернизма...» — это звучало какъ насмѣшка. Никакого модернизма уже не было, какъ не было и слѣдовъ самонадѣяннаго противопоставленія себя другимъ. Въ той же книгѣ помѣщенъ былъ циклъ «На полѣ Куликовомъ» — думаю, самые высокіе «гражданскіе»

стихи, которые когда либо были на русскомъ языкѣ написаны, полные почти физической тревоги за родину и страстнаго желанія отвести отъ нея бѣду. Эти «историческіе» стихи были въ дѣйствительности современны до ясновидѣнія. Блокъ какъ будто всю кровью чувствовалъ тѣму, надвигающуюся на Россію, будущую опасность, будущія испытанія, — и татаръ онъ называлъ не потому только, что это былъ вѣрный и живой символъ, но и потому, что тогда не было еще другого названія. Къ тому же Россія у Блока не была представленіемъ, ограниченнымъ историко-географическими границами, она скорѣй была метафизическимъ существомъ, какъ отчасти у Гоголя (въ противоположность Пушкину). Блокъ далекъ былъ отъ того, чтобы поднять вопросъ о ея и своихъ правахъ и обязанностяхъ, или о чемъ либо подобномъ. Онъ зналъ, что связанъ съ ней навсегда, со всякой, безъ условій, — съ свободной или рабской, святой или разбойничьей, и, какъ Гоголь, обращался онъ къ своимъ соотечественникамъ, ищущимъ «духовнаго дѣланія», съ напоминовеніемъ: «монастырь вашъ — Россія».

Годы, предшествовавшіе войнѣ, приблизительно 1908-1914, были временемъ наибольшаго подъема въ творчествѣ Блока. (Долженъ однако оговориться, что ставить «вѣхи» во времени на пути развитія Блока приходится только для сохраненія хотя бы минимума наглядности, и несомнѣнно это ведетъ къ искаженію того, что было дѣйствительно. Развитіе при временной схемѣ растягивается въ прямую линію, тогда какъ на самомъ дѣлѣ оно описывало сложнѣйшіе узоры. Иногда въ 1906 году бывали моменты изъ душевнаго міра 1918-го, причемъ это было не «кажущееся», не «похожее», а подлинно то, — и наоборотъ, иногда передъ смертью договаривались слова, сохраненныя гдѣ то въ тайникахъ, душа начала вѣка. Съ этимъ особенно остро сталкиваешься, подбирая цитаты. Прямая линія развитія была, но она пряма во внутренней логикѣ своей, а не въ хронологіи). Въ «Ночныхъ часахъ» и стихахъ, слѣдующихъ непосредственно за этой книгой, — часть ихъ вошла въ «Сѣдое утро» — еще не чувствуетъ того «истощенія» ума, о которомъ позднѣе Блокъ говорилъ. Иронія еще не развѣдаетъ сознания поэта. Есть страхъ передъ искусствомъ, но нѣтъ еще безразличья къ нему. Есть трагизмъ, но еще нѣтъ той усталости, которая заставляетъ «махнуть рукой», сказать «какънибудь!», «все

равно!». Блокъ еще не совсѣмъ жертва, онъ еще герой. И если онъ еще оглядывается назадъ, то какъ бы умоляя, удерживая уходящую жизнь, — съ такими отзвуками этого въ стихахъ, которые въ памяти нашей останутся навсегда. (Какъ «Поздней осенью изъ гавани», съ заключительнымъ, будто вполголоса, вопросомъ:

Въ самомъ чистомъ, въ самомъ нѣжномъ сананѣ
Сладко-ль спать тебѣ, матросъ?

Или «То не ели, не тонкія ели...»). Въ эти годы Блокомъ написаны самыя замѣчательныя его произведенія: «Голосъ изъ хора», «Художникъ», «Шаги командора», «Какъ тяжело мертвецу среди людей» и другія. Поистинѣ они даютъ ему право на мѣсто среди величайшихъ русскихъ поэтовъ — рядомъ съ Пушкинымъ, Баратынскимъ, Лермонтовымъ, Тютчевымъ и Некрасовымъ.

Это право еще оспаривается — правда, извнѣ. Поэты и тѣ люди, которые ищутъ въ искусствѣ не одного только душевнаго и умственнаго отдыха, давно уже насчетъ его согласны. Формальные раздоры кончены, оппозиція Блоку потеряла смыслъ. Его царственность, и «подданство» всѣхъ другихъ современныхъ поэтовъ по отношенію къ нему не вызываютъ сомнѣній. Но извнѣ, изъ областей смежныхъ съ поэзіей, раздаются недоумѣвающіе голоса: какъ можно ставить Блока въ одномъ рядѣ съ Тютчевымъ, на примѣръ? Человѣкъ недоумѣваетъ, ссылаясь на неясность и невнятность большинства блоковскихъ текстовъ, искренно и тщетно пытается ихъ понять, и приходитъ къ убѣжденію, что увлеченіе Блокомъ есть прихоть моды, «кружковщина» и что его слава недолговѣчна... Недоумѣніе это основано прежде всего на предположеніи, ошибочно принимаемомъ за аксіому, будто искусство неизмѣнно и вѣчно во всѣхъ элементахъ своихъ. «Если я понимаю и признаю Тютчева, — говоритъ недоумѣвающей, — то почему же я неспособенъ оцѣнить Блока? Неужели Блокъ глубже, сложнѣе?» Надо отвѣтить: нѣтъ, лично онъ можетъ быть и не глубже, и не сложнѣе, по богатству индивидуальныхъ даровъ не исключительнѣе. Но имѣетъ значеніе то, что онъ писалъ послѣ Тютчева, слѣдовательно, получивъ тютчевскій душевный и художественный опытъ, какъ нѣчто данное. Не будучи безусловнымъ приверженцемъ нѣсколько старомодной идеи прогресса въ искусствѣ

и вообще въ культурѣ, нельзя все-таки безъ впаденія въ завѣдомо-ложный нигилизмъ отрицать, что человѣческій духъ развивается, утопчается, усложняется и что опытъ всего страданія, счастья, очарованій и разочарованій, вѣры, сомнѣній и отчаянія, пережитый когда либо человѣкомъ и, въ особенности, творчески имъ запечатлѣнный, проходить для всѣхъ другихъ людей безслѣдно. Если бы это было такъ, то дѣйствительно все безъ исключенія во-кругъ насъ заслуживало бы названія «мировой чепухи», по выраженію Блока. И дѣйствительно все сводилось бы къ «тысячѣ съѣденныхъ котлетъ». И даже самое понятіе «культура», въ наиболѣе глубокихъ, почти уже метафизическихъ своихъ основаніяхъ, было бы подорвано: къ чему, зачѣмъ, куда культура, если есть только вышнее развитіе, а внутри — только топтаніе на мѣстѣ? Объ этомъ трудно писать кратко, мимоходомъ, тѣмъ болѣе, что въ литературной своей плоскости вопросъ касается того охранительнаго и подозрительнаго культа «классиковъ», гдѣ столько же благородства, сколько косности, и, пожалуй, даже второго больше, чѣмъ перваго. Вернемся къ Блоку. Онъ, конечно, трудный поэтъ по личнымъ своимъ свойствамъ. Онъ требуетъ вниманія, а не развѣяннаго-небрежнаго взгляда. Но труднѣе своихъ предшественниковъ, — и не только формально, — онъ главнымъ образомъ потому, что писалъ послѣ нихъ. Это далеко не всегда оказывается такъ, но Блокъ былъ однимъ изъ «пролагателей путей». Новыя темы его поэзіи еще не разжеваны для безболѣзненнаго и быстрого удовлетворенія духовныхъ потребностей нашихъ современниковъ, какъ это случилось съ Пушкинымъ и Тютчевымъ.

Затѣмъ: поэзію можно пѣнить по глубинѣ ея возникновенія или по блеску завершенія (и то, и другое въ творчествѣ одного человѣка уравнивается бываетъ необычайно рѣдко). Иначе говоря: по началу или концу творческаго процесса, по «истокамъ» или «устью». Есть поэты-завершители, обтачивающіе, поддѣлывающіе разумомъ то, что найдено чугомъ, несравненные мастера стили, по большей части относительно бѣдные музыкой. Блокъ былъ ихъ противоположностью: къ поверхности словъ его замыслы поднимались медленно, еще не окончательно просвѣтленные, будто куски творчески взрываемаго, еще не одухотворенной матеріи. Можно ли было прояснить эти замыслы, не уничтоживъ сущности ихъ? Не думаю: нѣтъ

(не увѣренъ, что здѣсь можно добавить «еще нѣтъ») логическихъ и словесныхъ формъ для этого. Оттого, кстати сказать, всякая статья о поэзии Блока какъ бы только ходитъ вокругъ да около нея, — или не касаясь вовсе ея природы, или упрощая и схематизируя ее. Самъ Блокъ, во всякомъ случаѣ, приложилъ въ зрѣлыхъ своихъ стихахъ всѣ силы къ ихъ проясненію. Онъ не подражалъ Маллармэ, который вносилъ искусственный мракъ въ свои созданія. Блокъ искалъ свѣта и простоты. Но есть въ духовной жизни человѣка области, гдѣ мгла не разсѣяна — лучами разсудка, по крайней мѣрѣ, — и гдѣ затаеннѣйшія наши мысли какъ бы переходятъ изъ твердаго въ жидкое или газообразное состояніе, теряя отчетливость, превращаясь въ догадки и ощущенія, почти что уже внѣсловесныя. Поэзія возникаетъ отсюда. Блоковская поэзія, пронизанная музыкой осталась при всемъ развитіи своемъ тамъ, гдѣ возникла. Она не поднялась до ясности стилиа, многое сохранивъ благодаря этому, и многого не узнавъ. Оттого стихи Блока, больше нежели какіе либо другіе русскіе стихи, надо читать, не столько анализируя текстъ, сколько слушая ритмъ, — и во всякомъ случаѣ, помножая смыслъ на звукъ. Безспорно, за послѣднія десятилѣтія въ этомъ отношеніи цѣнители русской поэзіи впади въ крайность. Они преувеличили значеніе звука. Но реакція понятна послѣ долго царившаго представленія о стихахъ, какъ о рядѣ словъ, разбитыхъ на строчки и снабженныхъ рифмами. Это представленіе тайно держится до сихъ поръ, и оно-то и приводитъ къ полуотрицанію, полупризнанію Блока. Блоковскій текстъ смутенъ, дословное его значеніе въ большинствѣ случаевъ темно. Но подержанный ритмомъ, — когда интонація фразы даетъ ей порой удесятенную силу, — этотъ текстъ ослѣпительнъ. Называя Блока великимъ поэтомъ, мы понимаемъ и помнимъ, конечно, что въ стихахъ его нѣтъ яснаго и точнаго, логическаго изложенія темъ его тревоги и стремленій — не говоря уже объ отвѣтахъ на нихъ, — нѣтъ ничего, что въ первоначальномъ, общедоступномъ смыслѣ давало бы ему право на имя «учителя». Какой же учитель! Самъ во всемъ запутался, сбился, погибъ. И не настолько мы одурманены эстетизмомъ, чтобы утверждать, что «Блокъ творилъ красоту и этого довольно», а все остальное отъ лукаваго. Но читая и внутренне слушая стихи Блока — повторяю и подчеркиваю: слушая — мы не сомнѣваемся, о, ни на

одно мгновеніе, что многіе мудрецы, многіе признанные учителя не достойны были бы развязать ремень обуви у этого неудачника, настолько тяжелъ грузъ, имъ поднятый и неизсякаемъ источникъ его жертвенной, будто до-бѣла накаленной энергіи. О чемъ блоковскіе стихи? Дословно: о русскомъ пейзажѣ, о сновидѣніяхъ Донны-Анны, о мертвецѣ, идущемъ на балъ, о поэтѣ, который «новаго ждетъ и скучаетъ опять»... Дѣйствительно: о борьбѣ человѣка за свѣтъ, о преданности ему — и гибели за него... Здѣсь образъ «свѣта» лишь условно, благодаря физическому впечатлѣнію, имъ производимому, замѣняетъ подлинное, не имѣющее имени понятіе. Можно сказать: добро... Болѣе точныхъ опредѣленій Блокъ не нашелъ и, кажется, вообще ихъ не существуетъ. Въ блоковскихъ дневникахъ и письмахъ тема эта появляется постоянно, но развита косвенно, вилло, — хотя въ нѣкоторыхъ частяхъ личные записи Блока и двѣ-три его статьи замѣчательны, и далеко еще не оцѣнены какъ слѣдуетъ. Въ стихахъ же тема свѣта звучитъ какъ органъ — во всей полнотѣ. Огромная, чистая и несчастная душа за этими стихами. Все, кажется, о чемъ могъ спрашивать русскій человѣкъ — и особенно русскій человѣкъ начала двадцатаго вѣка: судьба народа, земли, творчества, личности, «отношеніе счастья къ правдѣ», одиночество, смерть, — все какъ частные случаи единой темы свѣта вошло въ стихи Блока неотдѣлимо, неразложимо. Величье его дара въ томъ, что онъ не только «писалъ объ этомъ», укладывая тему въ слова, — какъ нѣкоторые его современники: онъ достигъ того, что стихи его — «само это». Тема переплавилась, произошло слѣніе.

О концѣ Блока много писалось, — большей частью въ связи съ тѣми внѣшними событіями, которыя этотъ конецъ ускорили. Но «поэта убиваетъ отсутствіе воздуха» — а трудно дышать стало ему задолго до 1917 года. Онъ воспринималъ творческую свою неудачу, какъ личное, жизненное несчастье, становясь все безпоощаднѣе въ зоркости, все менѣе сохраняя надежду. Въ дневникѣ Блока, еще сравнительно раннемъ, есть чрезвычайно характерная для него и многозначительная записка. Она относится къ впечатлѣнію отъ собраній одного изъ петербургскихъ, интеллигентскихъ обществъ, но даетъ общую мѣрку требованіямъ, предъявляемымъ Блокомъ къ слову. Если вду-

маться, она предопредѣляетъ всё его душевныя крушенія. Блокъ говоритъ о засѣданіи, на которомъ произнесены будутъ прекрасныя рѣчи, всё со всѣми до всего договорятся, все будетъ достигнуто и объяснено. Собрание закроется къ общему удовлетворенію... «Всѣ согласившіеся выйдутъ на улицу, и увидятъ тотъ же страшный мракъ, ту же грозovou тучу, которая идетъ на насъ». То-есть: болтайте, болтайте, — отъ этого все равно на дѣлѣ ничего выйдѣ не измѣнится... Допустимъ, что на тѣхъ собраніяхъ, которыя имѣетъ въ виду Блокъ, дѣйствительно процвѣтало «краснорѣчіе для краснорѣчія», какъ бываетъ «искусство для искусства». Это не имѣетъ значенія: его замѣчаніе выходитъ за предѣлы ихъ. Оно трагично потому, что глубоко-правдиво и абсолютно неразрѣшимо. Конечно, Блоку тамъ же, на засѣданіи, гдѣ присутствовалъ цвѣтъ петербургской, утонченнѣйшей культуры, объяснили бы, что его слова наивны, примитивны и отдають варварствомъ, — какъ обстоятельно объяснено это во множествѣ умныхъ и возвышенныхъ книгъ. Разумъ Блока успокоился бы. Но какъ только все живое существо его столкнулось бы съ тѣмъ, что обращено не къ одному лишь разуму, сейчасъ же обнаружилась бы тиета доводовъ — и опять надъ нимъ были бы только «страшный мракъ, грозовая туча», для которыхъ никакихъ доводовъ не существуетъ. Это почти, какъ у Толстого, и при такой безсонницѣ сердца и совѣсти охлажденіе къ литературѣ становится неизбѣжнымъ, и дальше, даже оставленіе ея. (Кстати, чтеніе Толстого у Блока «неизмѣнно вызываетъ мучительный стыдъ»). Блокъ нигде не ушелъ изъ литературы, онъ въ ней «задохнулся». Ему не откуда было ждать помощи, его натура, память и воспитаніе художника предлагали только то, что для него уже было суррогатомъ. И даже большее, чѣмъ то, что могли они ему дать, имъ отвѣчалось. (Въ записной книжкѣ: «Всѣ уходы и героизмы только закрываніе глазъ, желаніе забыться... Неправильность, необходимость»).

Жаръ души его остылъ, «угли догнѣли». Онъ не жить, а доживать. Искусство откровенно становилось уже игрой. «Страшный» міръ посмѣивался поэту въ лицо, зловѣщнѣе и неподвластнѣе ему, чѣмъ когда бы то ни было. «Скучно, пріятель? Хотѣлъ сразу поймать птицу за хвостъ?» (дневникъ Блока). Перелистаемъ «Сѣрое утро»:

Онъ нашель весьма банальной
Смерть души своей печальной.

Въ этихъ изысканныхъ прозаизмахъ — ѣдкая иронія. Последняя ставка бита, отчего бы и не усмѣхнуться? Искусство — игра занятая, Блокъ — игрокъ превосходный. Онъ изъ всего, что угодно, сумѣетъ создать поэзію. Но писать ему уже не о чемъ. И огня уже нѣтъ.

Нельзя ничего не сказать о революціи и «Двѣнадцати», говоря о Блокѣ, — съ какой бы стороны на творчество его ни глядѣть. Есть взглядъ, согласно которому революціи Блока и погубила: до нея будто бы все было благополучно, но Блокъ «рванулся» къ революціи, обманулся въ ней и отъ отчаянія умеръ. Легенда эта имѣетъ такія же права на существованіе, какъ всякая легенда. Надо помнить, что любое построеніе внутренней біографіи изъ фактовъ и свидѣтельствъ всегда произвольно и односторонне. Но этотъ жанръ «возсозданія» духовнаго міра Блока, — съ октябрьской революціей въ качествѣ ключа къ его жизни и гибели, — самый схематическій и огрубляющій. Чѣмъ больше читаешь Блока, тѣмъ яснѣе понимаешь, что это построеніе исключаетъ девять десятыхъ его сущности. Оно просто невѣрно: въ немъ послѣдній толчокъ принимается за основную причину, судорога уже обезкровленнаго, гальванизированнаго сердца — за творческое озареніе... Но правильно въ немъ удѣлено особое вниманіе «Двѣнадцати».

Едва ли будущее признаетъ эту поэму равноцѣнной самымъ высокимъ созданіямъ Блока. Говорю «едва ли» только изъ осторожности, по существу не сомнѣваясь въ этомъ. «Двѣнадцать» одна изъ тѣхъ вещей, которыя похожи на быстроопьяняющее вино: о немъ не скажешь, что оно, «чѣмъ старѣе, тѣмъ сильнѣе». Поэма всѣмъ вскружила голову, ея чарамъ нельзя было противиться. Но прошли годы. — и она обвѣтшала, вывѣтрилась. Чувствуется остова, «дно»: не во что вчитываться. Искусно, ошеломительно: но нечего повторить. Отсутствіе подлиннаго огня не скроешь. — какъ и не выдешь реторику «Скифовъ» за пафосъ. Блокъ дѣйствительно «глохнулъ». (Сравненіе «Скифовъ» съ куликовскимъ цикломъ могло бы дать наглядное понятіе, что такое поэзія, — и почему текстъ, лишенный ритма, или — вѣрнѣе — преданный имъ, мало значить). Въ «Двѣнадцати» нѣтъ паузъ, которыя бывали

у Блока такъ же значительны, какъ слова. «Какъ тяжело мертвецу среди людей живымъ и страстнымъ притворяться...» Какъ тяжело, должно быть, было Блоку писать свою поэму, эту гениальную и мертвенную «штучку». Если все же надо признать за «Двѣнадцатую» исключительное мѣсто въ творчествѣ Блока, то потому, что это послѣдняя вспышка магнія передъ окончательной ночью: послѣдній, мгновенный свѣтъ на лицѣ поэта.

О появленіи Христа и объ отношеніи Блока къ революціи — вопросъ въ наши дни исчерпанъ. Взвѣшены «за» и «противъ». Дѣйствительно, Блокъ повѣрилъ и разувѣрился. Но важнѣе всего для пониманія его то, что онъ уже ни во что вѣрить не могъ, — кромѣ, пожалуй, самыхъ простыхъ и грустныхъ вещей: дружбы, сочувствія чело-вѣка чело-вѣку, протянутой руки... Безъ небесныхъ обѣщаній, безъ какихъ-либо потустороннихъ утверждений и надеждъ. Такъ, для утѣшенія, чтобы не совсѣмъ оконечить здѣсь. Блока привлекла къ революціи ея мощь — и, на первыхъ порахъ, далекое, чистое видѣніе братства, всегда возникающее при распадѣ какихъ-либо обществен-ныхъ формъ. Но гражданскаго подъема не было: вѣра въ «гражданственность» сгорѣла въ общемъ блоковскомъ душевномъ пожарѣ. Оттолкнула отъ революціи Блока гру-бость: горопливое стараніе новыхъ хозяевъ устроиться въ разоренномъ домѣ потеплѣе, посытѣе, — ничего не мѣняя по существу. Революція предстала Блоку тѣмъ образомъ «страшнаго міра», котораго онъ уже не вынесъ. Но рванулся онъ къ ней до-вѣрчиво, какъ «дитя добра и свѣта» — навстрѣчу новой, невѣдомой стихіи. Онъ хотѣлъ, чтобы все всегда было лучше. Онъ ошибся и призналъ это — не примирясь однако ни съ чѣмъ отвергнутымъ, старымъ, какъ примирились иные, по слабости, выбирая изъ двухъ золь.

«Изъ-за баррикалъ», съ противоположнаго берега раз-вершейся между русскими людьми пропасти, — строгій судья. З. Н. Гиппіусъ отвѣтила:

Я не прощу. Душа твоя невинна.
Я не прощу ей никогда.

Точнѣе сказать трудно. Но тѣмъ убѣдительнѣе логи-ческаго абсурда этихъ двухъ примѣчательныхъ строкъ доказываетъ абсурдность общаго положенія. Про-

щать Блока не за что. Признаніе невинности уничтожаетъ «баррикаду».

Дальше: пушкинская рѣчь. «Поэтъ умираетъ потому, что дышать ему уже нечѣмъ; жизнь потеряла смыслъ». Дальше: ожиданіе. Невольно, откуда то, вспоминается: «протянуться безъ желаній... чтобъ въ послѣдній разъ проплыли мимо сонно, какъ въ туманѣ, люди, зданья, го-рода... мимо, мимо, навсегда, чело-вѣческая тупость, все, что мучило когда-то... чело-вѣческая глупость, безисходна, величава, безконечна... Что жъ, конецъ? Нѣтъ, еще лѣса, поляны... наша русская дорога, наши русскіе туманы, на-ши шелесты въ овсѣ».

А когда пройдетъ все мимо,
Чѣмъ тревожила земля,
Та, кого любилъ ты много,
Поведетъ рукой любимой
Въ Елисейскія поля.

(Повела ли? Какъ знать!).

Еще вспоминается поздній, обанкротившійся Ибсенъ, «Когда мы мертвые воскреснемъ» или «Росмергольмъ»: «послушай, Росмеръ, нѣтъ ли у тебя займы парочки по-держанныхъ идеаловъ?» И догадка Платона, что иногда душа умираетъ раньше тѣла: чело-вѣкъ еще ходитъ, ѣстъ, пьетъ, улыбается, говоритъ — и никто не понимаетъ, что онъ мертвъ. Все это трудно привести въ очевидную связь. Но можетъ быть для правдивости позволено будетъ въ заключеніе оставить схему и обойтись безъ сведенія кон-цовъ съ концами, оборвать.

И все таки, даже и такъ это «не совсѣмъ то». Гдѣ поэ-зія и гибель Блока? Въ разсужденія ничего не укладыва-ется, важнѣйшее ускользаетъ, — и никакими исправленіями черновиковъ или добавками тутъ не поможешь. По-жалуй, лучше всего было бы въ разъясненіе и въ память Блока найти нѣсколько словъ, освобожденныхъ отъ пря-мого подчиненія данному, «конкретному» случаю. О чемъ? О побѣдѣ матеріи, о крушеніи добра и свѣта, о самопо-жертвованіи, — или грусти, этой матери музыки. Но отто-го мы и разсуждаемъ, что такихъ словъ у насъ нѣтъ. Од-но, впрочемъ, есть: «кто хочетъ душу свою сберечь, тотъ потеряетъ ее, а кто потеряетъ душу свою... тотъ бере-жетъ ее».

Георгій Адамовичъ.

О Гумилевъ

...Наше бремя — тяжелое бремя,
Трудный жребій дала намъ судьба,
Чтобъ прославить на краткое время
Нѣтъ, не насъ — только наши гроба.

.....
Но быть можетъ подумаютъ внуки,
Какъ орлята, тоскуя въ гнѣздѣ —
Гдѣ теперь эти крѣпкія руки,
Эти души орлиныя гав!

Гумилевъ (Чужое небо).

Былъ не жаркій, только теплый, только солнечный августъ 1921 года. Гумилевъ вернулся въ Петербургъ изъ путешествія по югу Россіи. Онъ ходилъ по городу загорѣлый, поздоровѣвшій и очень довольный. Въ его жизни — онъ говорилъ — наступила счастливая полоса: вотъ и поѣздка въ Крымъ, устроенная фантастически-случайно, была прекрасна, и новая квартира, которую нашелъ Гумилевъ, очень ему нравилась, и погода — «посмотрите, что за погода!»

Литературныя дѣла тоже его радовали. Былъ «нэпъ», появилось много издательствъ — одно покупало собраніе стиховъ Гумилева, другое выпускало его статьи и прозу. «Огненный Столпъ» былъ въ печати. На дняхъ изъ Москвы должны были пріѣхать актеры, чтобы ставить «Гондлу». Это Гумилеву было особенно приятно. Съ постановкой на сценѣ пьесы его имя проникало въ новые слои публики, его вліяніе расширялось. Вообще вліяніе Гумилева, его извѣстность, росли на глазахъ. Все больше становилось у него поклонниковъ и учениковъ, все чаще его имя, какъ равное, противопоставлялось имени Блока.

Съ увѣренностью могу сказать, что ничто или почти ничто не омрачало этихъ — послѣднихъ — дней Гумилева. Онъ былъ здоровъ, полонъ надеждъ и плановъ, матеріаль-

но и душевно все складывалось для него именно такъ, какъ ему хотѣлось. Это ощущеніе полноты жизни, расцвѣта, зрѣлости сказалось и въ заглавіи, которое онъ тогда придумалъ для своей «будущей» книги: «По серединѣ странствія земного».

Прибавлю, что въ эти теплые, ясные, августовскіе дни Гумилевъ былъ влюбленъ — и это была счастливая любовь...

Гумилевъ пришелъ домой въ два часа ночи. Свой послѣдній вечеръ на свободѣ онъ провелъ въ имъ же основанномъ «Домѣ Поэтовъ» въ кругу преданно-влюбленной въ него литературной молодежи. Какъ всегда, сначала «занимались» — читали и обсуждали стихи — потомъ бѣгали, кувыркались, играли въ фанты. Гумилевъ очень любилъ и это общество и это времяпрепровожденіе и всегда веселился отъ души. Говорятъ, что въ этотъ вечеръ онъ былъ особенно веселъ. Нѣсколько студистовъ провожали его черезъ весь Невскій до дому. У подъѣзда, на Мойкѣ, стоялъ автомобиль. Никто не обратилъ на него вниманія — съ «нэпомъ» автомобиль пересталъ быть, какъ во времена военнаго коммунизма, одновременно диковиной и страшилищемъ. У подъѣзда долго прощались, шутили, уславливались «на завтра». Тѣ, кто пріѣхали на этомъ автомобилѣ, съ ордеромъ Г. П. У. на обыскъ и арестъ — терпѣливо ждали за дверью.

Потомъ...

...поставили къ стѣнкѣ,
и разстрѣляли его,
и нѣтъ на его могилѣ
ни холма, ни креста, ничего.

(И. Одоевцева. Баллада о Гумилевѣ).

Потомъ... стали проходить годы.

**

Прошло десять лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ въ ту августовскую ночь Гумилевъ былъ выхваченъ изъ своего «странствія земного», изъ самой полноты жизни и творчества и механически уничтоженъ машиной большевистскаго «правосудія».

Гумилева нѣтъ. Нѣтъ «ни холма, ни креста» на его безвѣстной могилѣ. Остались стихи, біографія, все увеличивающаяся посмертная слава.

Стихи, біографія, слава... «Золотая статуя» поэта-героя. И, съ другой стороны, живая, трагически оборвавшаяся десять лѣтъ тому назадъ жизнь. Когда нибудь ихъ контуры сольются. Но пока одно другому «мѣшаетъ», одно другому противорѣчить. «Что то» отъ живого Гумилева и десять лѣтъ спустя еще вѣетъ въ воздухъ и не позволяеть говорить о немъ какъ о мертвомъ. Еще рѣжутъ слухъ нестерпимой фальшью пышно-официальныя фразы. Но и смерть — такая смерть — предъявляетъ свои права. Трудно говорить какъ о мертвомъ, нельзя говорить какъ о живомъ. Все это очень «путаетъ планы» и очень связываетъ руки.

И еще:

Въ біографіи славной твоей
Развѣ можно оставить пробѣлы,

писала давно, до войны, начинающая поэтесса Ахматова своему мужу «Колѣ». Писала полунасмѣшливо-полусерьезно... Болѣе насмѣшливо, чѣмъ серьезно. Такъ вотъ — заполнить, какъ надо, «пробѣлы» въ біографіи Гумилева только тотъ, для кого улыбка, съ которой Ахматова читала эти стихи и съ которой въ свое время всѣ мы ее слушали, станетъ окончательно невозможной и непонятной...

**

Двадцать седьмого августа тысяча девятьсот двадцать перваго года Гумилевъ былъ разстрѣлянъ. Ужасная, бессмысленная гибель! Но, въ сущности, для біографіи Гумилева, такой біографіи, какой онъ самъ себѣ желалъ — трудно представить конецъ болѣе блестящій. Поэтъ, изслѣдователь Африки, георгіевскій кавалеръ и, наконецъ, отважный заговорщикъ, схваченный и разстрѣянный въ расцвѣтѣ славы, расцвѣтѣ жизни...

Не знаю, доброй или злой была фея, положившая въ колыбель Гумилева свой подарокъ — самолюбіе. Необычайное, жгучее, страстное. Этотъ даръ помогъ Гумилеву стать тѣмъ, чѣмъ онъ былъ, этотъ даръ привелъ его къ гибели.

Съ семилѣтнимъ Гумилевымъ сдѣлался нервный припадокъ оттого, что другой шестилѣтній мальчикъ переналъ его, состязаясь въ бѣгѣ. Одиннадцати лѣтъ онъ покушался на самоубійство: неловко сѣлъ на лошадь, домашніе и гости видѣли это и смѣялись. Годъ спустя онъ влюбляется въ незнакомую дѣвочку гимназистку, долго слѣдитъ за ней и, наконецъ, однажды, когда она входила въ ворота дома, подходит и признается, задыхаясь, «я васъ люблю». Дѣвочка отвѣтила «дуракъ!» и захлопнула дверь. Гумилевъ былъ потрясенъ, ему казалось, что онъ ослѣпъ и оглохъ. Ночами онъ не спалъ, обдумывая мечь: сжечь тотъ домъ, стать разбойникомъ, похитить ее или убить. Обида, нанесенная двѣнадцатилѣтнему Гумилеву, была такъ сильна, что въ тридцать пять лѣтъ онъ вспоминалъ о ней смѣясь, но съ горечью.

Гумилевъ былъ слабый, неловкій, некрасивый ребенокъ. Но онъ задиралъ сильныхъ, соперничалъ съ ловкими и красивыми. Неудачи только прищипывали его.

Гумилевъ подростокъ, ложась спать, думалъ объ одномъ, — какъ прославиться. Мечтая о славі, онъ шелъ утромъ въ гимназію. Часами блуждая по Царскосельскому парку, онъ воображалъ тысячи способовъ осуществить свои мечты. Стать полководцемъ? Ученымъ? Взорвать Петербургъ? Все равно что, только бы люди повторяли имя Гумилева, писали о немъ книги, удивлялись ему.

Понемногу въ его головѣ сложился стройный планъ завоеванія міра. Надо слѣдовать своему призванію — писать стихи. Эти стихи должны быть лучше всѣхъ существующихъ, должны поражать, ослѣплять, сводить съ ума. Но надо, чтобы поражали людей не только его стихи, но онъ самъ, его жизнь. Онъ долженъ совершать опасныя путешествія, подвиги, покорять женскія сердца.

Этимъ дѣтскимъ мечтамъ Гумилевъ въ сущности слѣдовалъ всю жизнь. Только съ годами убывающую увѣренность въ себѣ стала смѣнять увѣренность въ человеческой глупости.

Гумилевъ говорилъ, что поэтъ долженъ «выдумать себя». Онъ и выдумалъ себя, настолько всерьезъ, что его маска для большинства его знавшихъ (о читателяхъ нечего и говорить) стала его живымъ лицомъ. Только немногіе близкіе друзья знали другого Гумилева — не героя и не африканскаго охотника.

**

Какой-то домашній знакомый (это было въ 1910 году) развлекалъ общество чтеніемъ «декадентскихъ» стиховъ. Мнѣ было шестнадцать лѣтъ, я уже писалъ стихи, тоже декадентскіе, дюжинами. Имена Гиппиусъ, Брюсова, Сокологуба были мнѣ хорошо извѣстны. Но чтецъ прочелъ «Капитановъ» и назвалъ имя Гумилева. Меня удивили стихи (ясностью, блескомъ, звономъ) и я запомнилъ это имя, услышанное впервые.

Года черезъ полтора и съ Гумилевымъ познакомился. Это было на вечерѣ въ честь Бальмонта. Тамъ долженъ былъ быть въ сборѣ весь «Цехъ Поэтовъ» и я, только что въ Цехъ выбранный, явился туда, робѣя и волнуясь, какъ новобранецъ въ свою часть. Конечно, я пришелъ слишкомъ рано... Повремену собирались другіе — Зенкевичъ, Мандельштамъ, Владиміръ Нарбутъ. Пришелъ Сергѣй Городецкій съ деревянной лирой подъ мышкой — фетишемъ «Цеха». Уже началась программа, когда кто-то сказалъ: «А, вотъ и Николай Степановичъ...»

Гумилевъ стоялъ у кассы (вечеръ происходилъ въ Бродячей Собакѣ), платя за входъ. Слегка наклонившись впередъ, прищурившись, онъ медленно пересчитывалъ на ладони мелочь. За нимъ стояла худая, высокая дама. Яркоголубое платье не очень шло къ ея тонкому, смуглому лицу. Впрочемъ, внѣшность Гумилева такъ поразила меня, что на Ахматову я не обратилъ почти никакого вниманія.

Гумилевъ шелъ не сгибаясь, важно и медленно — чѣмъ то напоминая автомата. Стриженная подъ машинку голова, большой, точно вырѣзанный изъ картона носъ, какъ сталь холодные, немного косые глаза... Одѣтъ онъ былъ тоже странно: черный, долгополый сюртукъ, какъ то особенно скроенный и ярко оранжевый галстукъ.

Насъ познакомили. Нѣсколько любезно-незначительныхъ словъ, и я сразу почувствовалъ къ Гумилеву граничащее со страхомъ почтеніе ученика къ непререкаемому мэтру. Я не былъ исключеніемъ. Кажется, не было молодого поэта, которому бы Гумилевъ не внушилъ сразу при первой же встрѣчѣ тѣхъ же чувствъ. Это впечатлѣніе осталось надолго. Только спустя много лѣтъ близости и тѣсной дружбы я окончательно пересталъ теряться въ присутствіи Гумилева.

Внѣшность Гумилева показалась мнѣ тогда необычайной до уродства. Онъ дѣйствительно былъ некрасивъ и экстравагантной (потомъ онъ ее бросилъ) манерой одѣваться — некрасивость свою еще подчеркивалъ. Но руки у него были прекрасныя и улыбка, рѣдкая по очарованію, скрашивала, едва онъ улыбался, всѣ недостатки его внѣшности.

**

«Цехъ поэтовъ» былъ основанъ Гумилевымъ и Городецкимъ. Только правиломъ, что крайности сходятся, можно объяснить этотъ, правда, недолгій союзъ. Надменный Гумилевъ и «рубаха-парень» Городецкій — что было общаго между ними и ихъ стихами!

Официально Гумилевъ и Городецкій были равноправными хозяевами «Цеха» — синдикатами. Они предсѣдательствовали поочередно, и оба имѣли высокое преимущество сидѣть въ глубокихъ креслахъ во время засѣданія. Остальнымъ, — въ томъ числѣ Кузмину и Блоку, полагались простые вѣнские стулья.

Обычно Городецкій во всемъ поддерживалъ Гумилева, но изрѣдка, вѣроятно для формы, вступалъ съ нимъ въ споръ. Гумилевъ говорилъ: «прекрасно». Городецкій возражалъ: «позорно».

Разумѣется, Гумилевъ неизмѣнно торжествовалъ. Вообще онъ очень любилъ спорить, но почти никогда не оказывался побѣжденнымъ. Съ собесѣдниками, столь робкими, какъ его тогдашніе ученики, это было нетрудно. Но и съ серьезнымъ противникомъ онъ почти всегда находилъ средство сказать послѣднее слово, даже если былъ явно неправъ.

Отношенія между синдикатами и членами «Цеха» были вродѣ отношеній молодыхъ офицеровъ съ командиромъ полка. «Въ строю», т. е. во время засѣданія дисциплина была строжайшая. Естественно, что «мэтры» и считавшіе себя таковыми вскорѣ пообижались по разнымъ поводамъ и «Цехъ» посѣщать перестали. Осталась зеленая молодежь. Наибольше «вѣрные» впоследствии образовали группу акмеистовъ.

Послѣ засѣданія — весело ужинали. И опять, какъ въ полковомъ собраніи, командиръ-Гумилевъ пилъ съ «мо-

одежью» «на ты», шутили, рассказывали анекдоты, были радушнымъ и любезнымъ хозяиномъ, но «субординація» никогда не забывалась.

**

Гумилевъ трижды ѣздилъ въ Африку. Онъ уѣзжалъ на нѣсколько мѣсяцевъ и по возвращеніи «экзотической кабинетъ» въ его царскосельскомъ домѣ украшался новыми шкурами, картинами, вещами. Это были утомительныя, дорого стоящія поѣздки, а Гумилевъ былъ не силенъ здоровьемъ и не богатъ. Онъ не путешествовалъ, какъ туристъ. Онъ проникалъ въ неизслѣдованныя области, изучалъ фольклоръ, мирилъ враждовавшихъ между собою туземныхъ царьковъ. Случалось — давалъ и сраженія. Негры изъ сформированнаго имъ отряда пѣли, маршируя по Сахаръ:

Нѣтъ ружья лучше Маузера!
Нѣтъ вахмистра лучше З-Бель-Бека!
Нѣтъ начальника лучше Гумилеха!

Послѣдняя его экспедиція (за годъ передъ войной) была широко обставлена на средства Академіи Наукъ. Я помню, какъ Гумилевъ уѣзжалъ въ эту поѣздку. Все было готово, багажъ отправленъ впередъ, пароходные и желѣзнодорожные билеты заказаны. За день до отъѣзда Гумилевъ заболѣлъ — сильная головная боль, 40° температуры. Позвали доктора, тотъ сказалъ, что вѣроятно тифъ. Всю ночь Гумилевъ бредилъ. Утромъ на другой день я навѣститъ его. Жаръ былъ такъ же силенъ, сознание не вполне ясно: вдругъ, перебивая разговоръ, онъ заговаривалъ о какихъ то бѣлыхъ кроликахъ, которые умѣютъ читать, обрывалъ на полусловѣ, опять начиналъ говорить разумно и вновь обрывалъ.

Когда я прощался, онъ не подаль мнѣ руки: «Еще заразишься» и прибавилъ: «Ну, прощай, будь здоровъ, я вѣдь сегодня непременно уѣду».

На другой день я вновь пришелъ его навѣстить, такъ какъ не сомнѣвался, что фраза объ отъѣздѣ была тѣмъ же, что читающіе кролики, т. е. бредомъ. Меня встрѣтила заплаканная Ахматова: «Коля уѣхалъ».

За два часа до отхода поѣзда Гумилевъ потребовалъ воды для бритья и платъе. Его пытались успокоить, но не удалось. Онъ самъ побрился, самъ уложилъ то, что осталось неуложеннымъ, выпилъ стаканъ чаю съ коньякомъ и уѣхалъ.

**

Осенью 1914 года Гумилевъ на редакціонномъ засѣданіи въ «Аполлонѣ» неожиданно сообщилъ, что поступаетъ въ армію.

Всѣ удивились, Гумилевъ былъ ратникомъ второго разряда, которыхъ въ то время и не думали призывать. Военнымъ онъ никогда не былъ.

Значитъ, добровольцемъ, солдатомъ?

Не одному мнѣ показалось странной идея безо всякой необходимости надѣвать солдатскую шинель и отправляться въ окопы.

Гумилевъ думалъ иначе. На медицинскомъ осмотрѣ его забраковали, ему пришлось долго хлопотать, чтобы добиться своего. Мѣсяца черезъ полтора онъ надѣлъ форму вольноопредѣляющагося Л. Гв. Уланскаго полка и вскорѣ уѣхалъ на фронтъ.

Гумилевъ изрѣдка приѣзжалъ на короткія побывки въ Петербургъ. Онъ не написалъ еще тогда, но уже имѣлъ право сказать о себѣ:

Зналъ онъ муки голода и жажды,
Сонъ тревожный, безконечный путь,
Но святой Георгій тронулъ дважды
Пулею нетронутую грудь.

Война его не измѣнила. О фронтѣ онъ рассказывалъ забавные пустяки, точно о пикникѣ, читалъ мадригалы, сочиненные полковымъ дамамъ:

Какъ гурія въ магометанскомъ
Эдемѣ въ розахъ и шелку,
Такъ Вы въ Лейбъ-Гвардіи Уланскомъ
Ея Величества полку.

Когда его поздравляли съ георгіевскимъ крестомъ, онъ смѣялся: «Ну, что это, игрушки. Къ веснѣ собираюсь за-

работать «полный бантъ». Стихи его того времени, если и говорили о войнѣ, то о войнѣ декоративной, похожей на праздникъ —

И какъ сладко рядить побѣду
Словно дѣвушку въ жемчуга,
Проходя по дымному слѣду
Отступающаго врага.

Только разъ я почувствовалъ, что на войнѣ Гумилеву было не такъ уже весело и пріятно, какъ онъ хотѣлъ показать. Мы засидѣлись гдѣ-то ночью, поѣздовъ въ Царское больше не было, и я увелъ Гумилева къ себѣ.

— «Славная у тебя комната, — сказалъ онъ мнѣ, прощаясь утромъ. — У меня въ Парижѣ была вродѣ этой. Вотъ бы и мнѣ пожить такъ, а то все окопы, да окопы. Усталъ я немножко».

Гумилевъ усталъ. «Рядить въ жемчуга» побѣду приходилось все рѣже. вмѣсто блестящихъ кавалерійскихъ атакъ и надеждъ заработать «полный бантъ» приходилось сидѣть безъ конца во вшивыхъ окопахъ. Въ эти дни имъ были написаны замѣчательные стихи о Распутинѣ: —

...Въ гордую нашу столицу
Входитъ онъ — Боже спаси —
Обворожаетъ царицу
Необозримой Руси.

И не погнулись, о горе,
И не покинули мѣстъ
Крестъ на Казанскомъ Соборѣ
И на Исакіи крестъ.

**

Наступило двадцать седьмое февраля. Гумилевъ вернулся въ Петербургъ. Для него революція пришла не во время. Онъ усталъ и днями не выходилъ изъ своего царскосельскаго дома. Тамъ въ библиотекѣ, уставленной широкими диванами подъ клѣткой съ горбоносимъ какаду, тѣмъ самымъ, о которомъ Ахматова сказала:

А теперь я игрушечной стала,
Какъ мой розовый другъ какаду...

Гумилевъ сидѣлъ надъ своими рукописями и книгами. Худой, желтый, послѣ недавней болѣзни, закутанный въ пестрый азіатскій халатъ, онъ мало напоминалъ недавняго блестящаго кавалериста.

Когда навѣщавшіе его заговаривали о событіяхъ, онъ устало отмахивался: «Я не читаю газетъ».

Газеты онъ читалъ, конечно. Въѣдъ и на вопросъ, что онъ испыталъ, увидавъ впервые Сахару, Гумилевъ сказалъ: «Я не замѣтилъ ее. Я сидѣлъ на верблюдѣ и читалъ Ронсара».

Помню одну изъ его рѣдкихъ обмолвокъ на злобу дня: «Какая прекрасная тема для трагедіи лѣтъ черезъ сто — «Керепскій»».

Лѣтомъ Гумилевъ уѣхалъ въ командировку въ Салоники.

**

До Салоникъ Гумилевъ не доѣхалъ, онъ остался въ Парижѣ. Изъ-за него возникла сложная переписка между Петербургомъ и Парижемъ — изъ Петербурга слали приказы «прапорщику Гумилеву» немедленно ѣхать въ Салоники, изъ Парижа какое-то военное начальство, которое Гумилевъ успѣлъ очаровать, — этимъ приказамъ сопротивлялось. Пока шла переписка, случился октябрьскій переворотъ. Гумилевъ долго оставался въ Парижѣ, потомъ переѣхалъ въ Лондонъ.

За этотъ годъ заграничной жизни Гумилевымъ было написано много стиховъ, большая пьеса «Отравленная Туника», рядъ переводовъ. Онъ наверстывалъ время, потерянное на фронтѣ.

За границей Гумилевъ отдыхалъ. Но этотъ «отдыхъ» сталъ слишкомъ затягиваться. На русскихъ смотрѣли косо, деньги кончались. Гумилевъ рассказывалъ, какъ онъ и нѣсколько его друзей-офицеровъ, собравшись въ кафѣ, стали обсуждать, что дѣлать дальше. Одинъ предлагалъ поступить въ Иностраннй Легионъ, другой ѣхать въ Индію охотиться на дикихъ звѣрей. Гумилевъ отвѣтилъ: «Я дрался съ нѣмцами три года, львовъ тоже стрѣлялъ. А вотъ большевиковъ я никогда не видѣлъ. Не поѣхать ли мнѣ въ Россію. Врядъ ли это опаснѣе джунглей». Гумилева отговаривали, но напрасно. Онъ отказался отъ почетнаго и обезпеченнаго назначенія въ Африку, которое ему

строили его влиятельные английскіе друзья. Подоспѣлъ пароходъ, шедшій въ Россію. Сборы были недолги. Прощающіе поднесли Гумилеву сѣрую кепку изъ блестящаго шляпочнаго магазина на Пикадилли, чтобы онъ имѣлъ соответствующій видъ въ пролетарской странѣ.

**

Лѣтомъ 1918 года Гумилевъ снова былъ въ Петербургѣ. Онъ гулялъ по раззоренному Невскому, сидѣлъ въ тогдашнихъ жалкихъ кафэ, навѣщалъ друзей, какъ всегда спокойный и надменный. У него былъ видъ любопытствующаго туриста. Но надо было существовать, къ тому же Гумилевъ только что женился (вторымъ бракомъ на А. Н. Энгельгардъ). До сихъ поръ Гумилеву не приходилось зарабатывать на жизнь — онъ жилъ на ренту. Но Гумилевъ не растерялся.

— «Теперь меня должны кормить мои стихи», — сказалъ онъ мнѣ. Я улыбнулся.

— «Врядъ ли они тебя прокормятъ».

— «Должны!»

Онъ добился своего — до самой своей смерти Гумилевъ жилъ литературнымъ трудомъ. Сначала изданіемъ новыхъ стиховъ и переизданіемъ старыхъ. Потомъ переводами (сколько онъ ихъ сдѣлалъ!) для «Всемирной Литературы». У него была большая семья на рукахъ. Гумилевъ сумѣлъ ее «прокормить стихами».

Кромѣ переводовъ и книгъ были еще лекціи въ Пролеткультѣ, Балтфлотѣ и всевозможныхъ студіяхъ. Тутъ платили натурой — хлѣбомъ, крупой. Это очень нравилось Гумилеву — насущный хлѣбъ въ обмѣнъ на духовный. Ему нравилась и аудиторія — матросы, рабочіе. То, что многіе изъ нихъ были коммунисты, его ничуть не стѣсняло. Онъ, идя послѣ лекціи, окруженный своими пролетарскими студистами, какъ ни въ чемъ не бывало снималъ передъ церковью шляпу и истово широко крестился. Раньше о политическихъ убѣжденіяхъ Гумилева никто не слышалъ. Въ совѣтскомъ Петербургѣ онъ сталъ даже незнакомымъ, даже явно большевикамъ открыто заявлять — «Я монархистъ». Помню, какой глухой шумъ пошелъ по переполненному рабочими залу, когда Гумилевъ прочелъ:

Я белгійскій ему подарилъ пистолетъ
И портретъ моего государя.

Гумилева уговаривали быть осторожнѣе. Онъ смѣялся: «Большевики презираютъ перебѣжчиковъ и уважаютъ саботажниковъ. Я предпочитаю, чтобы меня уважали».

Приведу для контраста другой разговоръ, въ тѣ же дни въ разгаръ террора, но въ кругу настоящихъ сторонниковъ всего стараго. Кто то наступалъ, большевики терпѣли пораженія и присутствующіе, увѣренные въ ихъ близкомъ паденіи, вслухъ мечтали о дняхъ, когда они «будутъ у власти». Мечты были очень кровождающими. Заговорили о нѣкомъ П., человѣкѣ «изъ общества», ставшемъ коммунистомъ и заправилой «Петрокоммуны». Одинъ изъ собесѣдниковъ собирался его душиить «собственными руками», другой стрѣлять, «какъ собаку» и т. п.

— «А вы, Николай Степановичъ, что бы сдѣлали?»

Гумилевъ постучалъ папиросой о своей огромный чепуховый портсигаръ:

— «Я бы перевелъ его завѣдовать продовольствіемъ въ Тверь или Калугу, Петербургъ ему не по плечу».

**

Въ своей квартирѣ, на Преображенской, Гумилевъ сидѣлъ по большей части въ передней. По совѣтскимъ временамъ парадная была закрыта, и изъ передней вышелъ уютный маленькій кабинетъ. Тамъ надъ диваномъ висѣла картина тридцатыхъ годовъ, изображавшая семью Гумилевыхъ въ гостиной. Картинка была очень забавна, особенно милъ былъ какой-то дядюшка, томно стоявшій за роялемъ. Онъ былъ безъ ногъ — художникъ забылъ ихъ нарисовать. Гумилевъ охотно рассказывалъ исторію всѣхъ изображенныхъ.

Гумилевъ любилъ тамъ сидѣть у круглой желѣзной печки, вороша угли игрушечной саблей своего сына. Тутъ же на полкѣ стоялъ большой дѣтскій барабанъ.

— «Не могу отвыкнуть, — шутилъ Гумилевъ, — человѣкъ военный, играю на немъ по вечерамъ».

Въ квартирѣ водилась масса крысъ.

— «Что вы, что вы, говорилъ Гумилевъ, когда ему давали совѣты, какъ отъ крысъ избавиться, я напротивъ ихъ развожу на случай голода. Чтобы ихъ приручить, я даже иногда пріятельски здороваюсь со старшей крысой за лапу».

Убирать квартиру приходила дворничиха Паша. Она очень любила слушать стихи.

— «Почитайте что-нибудь, Николай Степановичъ, пока я картошку почищу».

— «А по французски можно?»

— «Что желаете».

Гумилевъ читалъ вслухъ Готье. Паша чистила картошку, сочувственно вздыхая. Гумилевъ начиналъ фантазировать — «Погодите, Паша, вотъ скоро большевиковъ прогонятъ, будете вы мнѣ на обѣдъ жарить утокъ». — «Дай Богъ, Николай Степановичъ, дай Богъ». — «Я себѣ тогда аэропланъ куплю. Скажу: Паша, подайте мнѣ мой аэропланъ. Я полетаю до обѣда недалеко — вонъ до той тучки».

«Дай Богъ, дай Богъ!»

Гумилевъ вставалъ поздно, слонялся полуодѣтый по комнатамъ, читалъ то Блэка, то Миръ приключеній, присаживался къ столу, начиналъ стихи, доѣдалъ купленные вчера сладости.

— «Это и есть самая пріятная жизнь», — говорилъ онъ.

— «Пріятнѣе, чѣмъ путешествовать по Африкѣ?»

— «Путешествовать по Африкѣ отвратительно. Жара. Негры не хотятъ слушаться, падаютъ на землю и кричатъ: «Калась» (дальше не иду). Надо ихъ поднимать плеткой. Злишься такъ, что сводитъ челюсти. Я вообще не люблю юга. Только на сѣверѣ европеецъ можетъ быть счастливъ. Чѣмъ ближе къ экватору, тѣмъ сильнѣе тоска».

Въ Абиссиніи я выходилъ ночью изъ палатки, садился на песокъ, вспоминалъ Царское, Петербургъ, сѣверное небо и мнѣ становилось странно, вдругъ я умру здѣсь отъ лихорадки и никогда больше всего этого не увижу».

— «А на войнѣ?»

— «На войнѣ тоже самое. Странно и скучно. Когда идешь въ конную атаку: «Пригнись!» Я не пригибался. Но прекрасно сознавалъ, какой это рискъ. Храбрость въ томъ

и заключается, чтобы подавить страхъ передъ опасностью. Ничего не боящейся Козьма Крючковъ не храбрець, а чурбанъ.

И еще неприятно на войнѣ, цѣлые дни въ сапогахъ, нельзя падѣть туфлей, болятъ ноги».

**

За полгода до смерти Гумилевъ сказалъ: «Знаешь, я смотрѣлъ, какъ кладутъ печку и завидовалъ — знаешь кому, — кирпичикамъ. Такъ плотно ихъ кладутъ, такъ тѣсно, и еще замазываютъ между ними каждую щелку, чтобы нигдѣ не дуло. Кирпичъ — къ кирпичу. Другъ — къ другу, все вмѣстѣ — одинъ за всѣхъ, все за одного... Самое страшное въ жизни — одиночество. А я такъ одинокъ...»

И, точно недоумѣвая, прибавилъ:

— «Въ сущности, я — неудачникъ».

Меня не удивили эти слова, многихъ бы удивившія. Гумилевъ, дѣйствительно, былъ очень одинокъ. Безстрастная, почти надменная маска — сноба, африканскаго охотника, «русскаго Теофила Готье» скрывала очень русскую, беспокойную и взволнованную, не находящую удовлетворенія душу. О какъ далеко былъ, въ сущности своей, Гумилевъ отъ блестящаго и пустого Готье! Онъ самъ это хорошо сознавалъ. Но, сознавая, съ тѣмъ большимъ упорствомъ, сжимая зубы, шелъ разъ выбранной дорогой — «линей наивысшаго сопротивленія».

Всю свою короткую жизнь Гумилевъ былъ окруженъ холоднымъ и враждебнымъ непониманіемъ. И онъ то злился, то иронизировалъ:

...О нѣтъ, я не актеръ трагическій,
Я ироничнѣе и суше.
Я злюсь какъ идолъ металлическій,
Среди фарфоровыхъ игрушекъ.

Онъ помнитъ головы курчавыя,
Склоненныя къ его подножью,
Жрецовъ молитвы величавыя,
Лѣса, охваченные дрожью...

И видитъ, горестно смѣющійся,
 Всегда недвижныя качели,
 Гдѣ дамъ съ грудью выдающейся
 Пастухъ играетъ на свирѣли.

Всю жизнь Гумилевъ посвятилъ одному: заставить
 міръ вспомнить, что

...въ Евангеліи отъ Іоанна
 сказано, что слово это Богъ.

«Божественность дѣла поэта» онъ старался доказать
 и «утвердить» всѣми доступными человѣку средствами на
 личномъ примѣрѣ. Въ этомъ смыслѣ — какъ это не странно
 звучитъ — Гумилевъ погибъ не столько за Россію,
 сколько за поэзію...

Въ этомъ смыслѣ — при всѣхъ своихъ литературныхъ
 успѣхахъ — онъ былъ правъ, считая себя неудачникомъ.
 Всю жизнь онъ какъ укротитель хлопалъ бичемъ, готовый
 быть растерзаннымъ, а звѣри отворачивались и равнодуш-
 но зѣвали...

Въ этомъ смыслѣ — первой блестящей побѣдой Гу-
 милева была его смерть.

*

**

Въ кронштадтскіе дни двѣ молодыя студистки встрѣ-
 тили Гумилева, одѣтаго въ картузь и потертое лѣтнее
 пальто съ чужого плеча. Его дикій видъ показался имъ
 очень забавнымъ, и онѣ расхохотались.

Гумилевъ сказалъ имъ фразу, смыслъ которой онѣ по-
 няли только послѣ его разстрѣла:

— «Такъ провожаютъ женщины людей, идущихъ на
 смерть».

Онъ шелъ переодѣвшись, чтобы не бросаться въ гла-
 за, въ рабочіе кварталы вести агитацію среди рабочихъ.
 Онъ уже состоялъ тогда въ злощастной «организации»,
 изъ-за участія въ которой погибъ.

Говорятъ, что Гумилева предупреждали объ опасно-
 сти и предлагали бѣжать. Передаютъ и его отвѣтъ: «Бла-
 годарю васъ, но бѣжать мнѣ незачѣмъ».

*

**

Въ тюрьму Гумилевъ взялъ съ собой Евангеліе и Го-
 мера. Онъ былъ совершенно спокоенъ при арестѣ, на до-
 просахъ и — врядъ ли можно сомнѣваться — что и въ
 минуту казни.

Такъ же спокоенъ, какъ когда стрѣлялъ львовъ, во-
 дилъ уланъ въ атаку, говорилъ о вѣрности «своему Го-
 сударю» въ лицо матросамъ Балтфлота. Уже зная, что его
 ждетъ, онъ писалъ женѣ: «Не безпокойся. Я здоровъ, пи-
 шу стихи и играю въ шахматы...»

...И нѣтъ на его могилѣ
 Ни холма, ни креста — ничего.

Но любимые имъ серафимы
 За его прилетѣли душой.
 И звѣзды въ небѣ пѣли
 Слава тебѣ, герой!

Георгій Ивановъ.

Изъ прошлаго

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНІЕ.

XV.

Война «Освободительнаго Движенія» съ Самодержавіемъ воспитывала въ этомъ движеніи идеологію несомнѣстимую съ задачами государственной власти. Правда, народныя массы въ этой войнѣ не принимали прямого участія и едва ли о ней подозрѣвали; войну вела только «общественность», т. е. болѣе культурный, «сознательный» слой общества. Но этому слою надлежало въ ближайшемъ будущемъ стать если не властью, то ея опорой и вдохновителемъ. Отъ его подготовленности къ государственному дѣлу зависѣлъ успѣхъ конституціи. Война между исторической властью и обществомъ обѣ воюющія стороны развращала. Низверженіе Самодержавія всякой цѣной сдѣлалось главнымъ лозунгомъ для одной стороны, а сохраненіе его во что бы то ни стало — самоудовлѣющей программой другой. На интересы страны стороны стали смотрѣть черезъ призму своей военной побѣды. Безполезно задаваться вопросомъ, кто въ такой постановкѣ вопроса былъ болѣе виноватъ и кто первый долженъ былъ бы уступить? Противники винили другъ друга и этимъ другъ друга въ своихъ настроеніяхъ укрѣпляли. Атакое Самодержавіе не меньше нападавшаго либерализма отражало на себя послѣдствія этой войны. Война играла на руку тѣмъ его неразумнымъ сторонникамъ, кто не только хотѣлъ сохранить Самодержавіе, но не позволялъ видѣть его недостатковъ. Люди этого непримиримаго настроенія понимали, что самый опасный моментъ для дурного режима тогда, когда онъ начнетъ исправляться и предпочитали оставаться при томъ, что существовало. Въ этомъ была своя логика. Мы имѣемъ передъ глазами наглядную иллюстрацію той же позиціи у большевиковъ, для которыхъ начало исправле-

нія было бы гибелью. Но въ ту эпоху, о которой мы вспоминаемъ, для Самодержавія вопросъ не стоялъ такъ остро; Самодержавіе не было въ критическомъ положеніи. Оно не могло быть вѣчнымъ режимомъ Россіи, ибо вѣчнаго нѣтъ ничего; но въ тѣ годы не было ни краха государства, ни общаго разочарованія въ Самодержавіи. Борьба завязалась еще не съ нимъ, а только съ обнаружившимися въ немъ недостатками. Самодержавію было легко поставить передъ собой другую задачу, а не зацѣпиться себя: ему должно бы было только вернуться къ героической эпохѣ своего существованія, къ завѣтамъ шестидесятыхъ годовъ: ему надлежало закончить начатое тогда раскрѣпленіе общественныхъ силъ, пріучать общество къ самодѣятельности, воспитывать его въ понятіяхъ закона и права и готовить этимъ къ управленію государствомъ. На этомъ поприщѣ предстояло много работы. Соціальныи строй общества и его психологія еще носили глубокія черты до-реформенныхъ правовъ, которые препятствовали успѣху новой Россіи. Самодержавіе должно было готовить себѣ преемниковъ, которые были бы способны не разрушать, а улучшать созданное Самодержавіемъ государство. Этимъ оно пріобрѣло бы право сказать: «нынѣ отпускаеши» и октроировать наконецъ конституцію, сохранивъ историческую династію во главѣ обновленной Россіи. Для людей либеральнаго образа мыслей, вѣрившихъ въ мирную эволюцію Россіи, задача государственной власти въ то время представлялась именно въ этомъ. Этого требовали и интересы Россіи и интересы Самодержавія. Сторонники такой программы нашлись и около трона. Въ самомъ предверіи войны Самодержавія съ обществомъ, т. е. на порогѣ «освободительнаго движенія» была сдѣлана попытка сдвинуть Россію на эту дорогу. Эту неудавшуюся попытку во всей ея полнотѣ мы можемъ оцѣнить теперь, на историческомъ разстояніи лучше, чѣмъ ее оцѣнили тогда въ сутолокѣ повседневныхъ событій. Эта попытка связана съ дѣятельностью и личностью С. Ю. Витте.

Витте былъ одной изъ самыхъ замѣчательныхъ фигуръ нашего времени; но его фигуру можно назвать и трагической. Даже его враги признавали исключительныя государственныя дарованія этого челоѣка. О немъ вспоминали всегда, когда ждали чуда; его одного считали на это способнымъ. Никто не смогъ бы отрицать и слѣда,

который его короткое пребываніе у власти оставило въ жизни Россіи. А между тѣмъ у насъ, гдѣ государственныхъ людей оказалось такъ мало даже среди тѣхъ, кто самъ былъ о себѣ очень высокаго мнѣнія, Витте оказался всѣми отвергнутымъ. Послѣ его паденія всѣ боялись его возвращенія къ власти; пустые слухи объ этомъ заставляли тревожиться. Когда онъ умеръ въ началѣ войны, кромѣ близкихъ людей никто о немъ не пожалѣлъ; скорѣе напротивъ. Французскій посоль Палеологъ сказалъ Государю, что со смертью Витте «потухъ источникъ интригъ», и Государь съ радостью съ такимъ осужденіемъ согласился. Самъ онъ даже не нашелъ нужнымъ сдѣлать послѣ его смерти общепринятый жестъ, прислать вѣнокъ или выразить вдовѣ сожалѣніе. Онъ только приказалъ опечатать бумаги. Но не лучше оказалось и отношеніе къ Витте либеральнаго общества. Это общество при жизни Витте чуждалось его. Послѣ 17-го октября 1905 г. никто его не поддержалъ. Кадеты старались свалить его еще до I-ой Государственной Думы и когда, накануне созыва Думы, онъ былъ отставленъ, съ торжествомъ приписывали эту побѣду себѣ. Послѣ роспуска I-ой Думы я слышалъ, какъ на октябристскомъ собраніи въ Москвѣ октябристскій ораторъ А. В. Бобріщевъ-Пушкинъ заявлялъ, что имя графа Витте, какъ «политически нечестное», навсегда вычеркнуто изъ исторіи Россіи; и такое заявленіе по адресу автора 17-го октября поддерживалось оглушительными аплодисментами на собраніи Союза 17 Октября! Подобныхъ иллюстрацій можно было бы привести безъ конца. Витте пришлось рѣшительно всѣмъ не ко двору; отвергнутый властью онъ былъ отвергнутъ и обществомъ и умеръ всѣми покинутый.

Чѣмъ заслужилъ Витте такое къ себѣ отношеніе? Если взять литературу о немъ, нетрудно увидѣть главный упрекъ, который съ разныхъ сторонъ ему дѣлали. Его укоряли за неискренность, за неправдивость, за двоедушіе; его считали способнымъ на все для карьеры; его постоянно заподозривали въ коварныхъ подвохахъ. Если бы это было справедливо, судьба Витте не была бы трагедіей; она была бы имъ заслужена; ее приготовила бы ему

«О ты, столь чтимая у древнихъ Немезида!»

Но дѣло было совсѣмъ не такъ просто.

Было бы самонадѣянно съ моей стороны брать на себя защиту такого человѣка, какъ Витте. Его защитить та

исторія, которая прочно забудетъ многихъ изъ торжествующихъ его порицателей. Но я не претендую давать и простой его характеристики. Моихъ личныхъ впечатлѣній для этого мало; они односторонни. Я Витте часто видалъ и въ условіяхъ благопріятныхъ для откровенной бесѣды; но я познакомился съ нимъ только въ 1907 г.; когда онъ былъ уже въ опалѣ. Я не зналъ его въ эпоху его всемогущества. Это имѣетъ свою хорошую сторону; онъ могъ со мною быть вполне искреннимъ. Ему нечего было ни меня опасаться, ни передо мною рисоваться; я не могъ ему ни помочь, ни повредить. Никому изъ насъ не могло прийти въ голову, что я когда-нибудь буду писать о немъ воспоминанія; онъ могъ показаться мнѣ безъ прикрасъ и говорить то, что думалъ. Но зато я и не могъ наблюдать его поведенія у власти, возможнаго расхожденія его слова и дѣла.

Общеніе съ нимъ не подтверждало ходячей мысли о его «двоедушіи». Напротивъ: онъ былъ вспыльчивъ и рѣзокъ, въ спорахъ часто непріятенъ; недостаточно собою владѣлъ, чтобы скрывать свои настроенія. Въ немъ было мало придворнаго и даже просто свѣтскаго челоуѣка. Двоедушные и умѣлые карьеристы бываютъ другими. И общепризнанный упрекъ въ двоедушіи и даже предательствѣ я объясняю другимъ; я вижу въ немъ поучительный результатъ власти надъ умами «шаблона». «Шаблоны» существуютъ для всѣхъ направленій. Для обычныхъ наблюдателей отступленія отъ шаблоновъ представляются столь неожиданными, что они ихъ не понимаютъ, а потому часто въ искренность ихъ и не вѣрятъ. А Витте какъ разъ не подходилъ подъ шаблонъ ни «консерватора», ни «либерала». Онъ совмѣщалъ черты, которыя рѣдко встрѣчаются вмѣстѣ и этимъ приводилъ своихъ сторонниковъ и враговъ въ недоумѣніе; «когда же онъ искрененъ и гдѣ онъ хитритъ»? А оригинальность его была въ томъ, что онъ совсѣмъ не хитрилъ. Его политическій обликъ, мѣсто, которое онъ могъ занять въ нашей исторіи, не укладывались въ шаблонныя представленія. Если бы нужно было опредѣлить его какой-либо формулой, я бы назвалъ его послѣднимъ представителемъ «либеральнаго Самодержавія», какихъ мы видѣли въ эпоху 60-хъ годовъ. Онъ одищетворялъ собой то, что въ обреченномъ на гибель, разрушающемъ себя Самодержавіи еще оставалось здороваго и что могло спасти ему

жизнь. кипучая дѣятельность Витте представляется мнѣ какъ бы послѣдней борьбой этого государственнаго организма съ наступающей смертью.

Я невольно сопоставляю его съ Столыпинымъ. Это сопоставленіе возмутило бы и того и другого; они ненавидѣли другъ друга и мало было людей, которые по характеру были такъ непохожи. Но въ ихъ судьбѣ было нѣчто общее. Оба были послѣдними ставками погибающихъ порядковъ; оба были много крупнѣе своихъ самодовольныхъ и побѣдоносныхъ критиковъ и противниковъ; оба были побѣждены ими на несчастье Россіи. Витте могъ спасти Самодержавіе; а Столыпинъ могъ спасти конституціонную монархію.

Въ пятидесятихъ годахъ Самодержавіе стояло на перепутьи. Оно и тогда могло прочно связать свою судьбу съ существованіемъ въ Россіи привилегированнаго класса и порабощеннаго имъ населенія, т. е. съ порядкомъ, который сейчасъ подъ заглавіемъ «соціалистическаго строительства» воскрешаютъ большевики. Если бы въ этихъ годахъ Самодержавіе пыталось отстаивать строй, который сложился въ Россіи, оно дождалось бы Революціи, которая смела бы его вмѣстѣ со старымъ порядкомъ. Но Самодержавіе показало тогда болѣшую жизненность. Оно начало эру глубокихъ реформъ, которыя стали превращать Россію изъ полу-феодальной страны въ современную демократію. Этимъ путемъ надлежало идти еще долго; работы было на нѣсколько поколѣній. Причины слишкомъ понятныя вызвали временную реакцію восьмидесятихъ годовъ. Цѣлью этой реакціи должна была быть только «передышка» сопротивленію силамъ, которыя забѣгали слишкомъ впередъ. Однако, какъ это естественно для реакціи, она пошла дальше; объектомъ ея стали не революціонныя утопісты, а основныя идеи шестидесятихъ годовъ, главныя реформы этой эпохи. Реакція старалась вернуть Россію на покинутый ею путь, соединиться съ до-реформеннымъ строемъ, съ разрушенными самимъ Самодержавіемъ старыми социальными силами. Этимъ оно поставило себя подъ удары исторіи. Спасти Самодержавіе можно было только тѣмъ, чтобы вернуть его къ традиціямъ великихъ реформъ, связать его съ той новой Россіей, которая на этомъ пути уже создавалась и крѣпла. И самымъ яркимъ представителемъ этого направленія сдѣлался Витте.

Критики Витте часто указывали, что въ его политикѣ не было плана. Если бы это было вѣрно, это было бы только лишнимъ примѣромъ того, какъ гениальная интуиція у практика иногда замѣняетъ доктрину; такова по Ключевскому была реформа Петра. Но поскольку я Витте зналъ, я не могъ бы согласиться съ этимъ сужденіемъ его критиковъ. Правда, Витте своего плана нигдѣ полностью не излагалъ; онъ вообще былъ человѣкомъ мысли и дѣла, не слова; онъ любилъ говорить только о конкретныхъ мѣрахъ, которыя можно сейчасъ же принять. Но въ принципиальномъ значеніи этихъ мѣръ онъ отдавалъ себѣ совершенно ясный отчетъ. Онъ былъ самъ человѣкомъ той новой Россіи, которая возникла въ результатѣ «великихъ реформъ». Онъ зналъ, что Россія вступила на путь европейскаго капитализма, успѣхъ котораго требуетъ свободной, на правѣ основанной, защищенной закономъ инициативы и дѣятельности личности и общества. Это возрѣніе опредѣляло его политику. Онъ не былъ врагомъ историческаго «дворянства», какъ справа его упрекали; напротивъ. Онъ думалъ, что этотъ классъ благодаря унаследованнымъ отъ прошлаго связямъ, поспособенію и богатству могъ бы сдѣлаться однимъ изъ строителей новой Россіи; только для этого онъ долженъ былъ работать на новой дорогѣ. Витте презиралъ тѣхъ праздныхъ людей, которые мечтали о безвозвратномъ прошломъ, о привилегіяхъ, о поддержкѣ ихъ за государственныя счеты во имя, прежнихъ заслугъ. Онъ цѣнилъ всѣхъ созидателей цѣнностей, всѣхъ активныхъ «буржуевъ»: они были творцами новой Россіи. Въ 1903 году на процесѣ Алчевскаго въ Харьковѣ я слышалъ на судѣ незабытые анекдоты о томъ, какъ Витте, проѣзжая черезъ городъ южной Россіи, демонстративно отдѣлывался отъ официальныхъ визитовъ, чтобы посвящать свое время дѣловымъ разговорамъ съ тузами промышленности. По тогдашнему времени это производило сенсацію, казалось ново и символично.

Покровительство національной промышленности, подъемъ экономической жизни, которымъ посвящала себя Витте, не представляли ничего неожиданнаго для Министерства Финансовъ; это давно было программой вѣдомства. Но Витте глубоко понималъ связь между всѣми сторонами государственной жизни, понималъ справедливость стариннаго изреченія, что нѣтъ хорошихъ финансовъ

безъ хорошей политики и здоровой общественной атмосферы. Его финансовая дѣятельность поэтому развернулась въ цѣлую программу общей внутренней и даже внешней политики. Онъ подходилъ къ ней не отъ теоретическихъ предпосылокъ либерализма, а отъ конкретныхъ нуждъ русской дѣйствительности. Въ этой программѣ онъ немедленно столкнулся съ тѣмъ, что было тогда главнымъ, недостаточно оцѣненнымъ зломъ русской жизни, съ правовымъ положеніемъ нашего крестьянства. Витте разсказалъ въ своихъ мемуарахъ, что раньше онъ, какъ и всѣ, мало интересовался крестьянскимъ вопросомъ. Онъ и подошелъ къ нему не какъ сторонникъ теоретическихъ лозунговъ равенства и равноправія, а какъ финансистъ, понимавшій важность крестьянскаго рынка въ экономическомъ здоровьи Россіи. И столкнувшись съ этимъ вопросомъ, онъ быстро усвоилъ, что крестьянская реформа, вѣрнѣе завершеніе крестьянской реформы въ Россіи стоитъ въ центрѣ всего. Постановка этого вопроса ребромъ на первый планъ государственныхъ заботъ была главной заслугой и, удивительно сказать, главнымъ своеобразиемъ Витте. По мнѣнію Витте этотъ крестьянский вопросъ и въ 90-хъ годахъ, какъ и въ 60-хъ, въ эпоху «великихъ реформъ», долженъ былъ быть исходной точкой всего. Все остальное было второстепенно и явилось бы само собою такъ же неизбежно, какъ за реформой 61-го года послѣдовали и другія реформы. Изучивъ крестьянскій вопросъ, Витте сталъ непримиримымъ врагомъ крестьянской сословности, особыхъ крестьянскихъ законовъ и прежде всего — зависимости крестьянъ отъ общины. Всю важность этого вопроса въ Россіи Витте понималъ раньше Столыпина и глубже его. Онъ сознавалъ, что пока крестьяне не станутъ «буржуями», не создается того, что социаль-демократія презрительно называла мелко-буржуазной идеологіей, эра капитализма со всѣми своими послѣдствіями въ Россіи не сможетъ расцвѣсть. Съ крестьянскаго вопроса надо было начать. За невнимательность къ нему онъ упрекалъ и нашу власть и наше общество. Помню его укоры I-ой Государственной Думѣ за то, что она, хотя этотъ вопросъ и подняла, но въ погонѣ за большимъ не сумѣла сдѣлать того, что въ то время было совершенно возможно. Превращеніе крестьянъ изъ сословія въ социальный классъ мелкихъ землевладѣльцевъ — для Витте было предпосылкой тѣхъ по-

литическихъ перемѣнъ, о которыхъ въ то время мечтали свободолобивый либерализмъ. Нужда Россіи, по мнѣнію Витте, заключалась не въ замѣнѣ Самодержавія конституціей. Нельзя серьезно требовать конституціи для страны, гдѣ большинство населенія еще стоитъ внѣ общихъ законовъ. Пусть исторія знала олигархическія конституціи; въ Россіи для нихъ не было почвы. Говорить о конституціи раньше, чѣмъ покончено съ крестьянской сословностью, значило не понимать необходимыхъ для конституціоннаго строя условий. Начинать надо съ крестьянскаго освобожденія. Когда Самодержавіе эту свою историческую задачу исполнить и освобожденіе доведетъ до конца, тогда въ Россіи сама собой придетъ и конституція. Витте былъ чуждъ національнаго мистицизма, вѣры въ русскую самобытность, которая будто бы съ конституціей не помирится. «Почему вы думаете», говорилъ онъ Шипову еще въ 902 году, «что русскій народъ какой-то особенный? Всѣ одинаковы, какъ англичане, французы, иѣмцы, японцы и русскіе. Что хорошо для однихъ, почему не будетъ хорошо для другихъ? Развѣ въ государствахъ съ представительной формой правленія дѣло хуже идетъ?» *).

Понятно, что тѣ правые, которые стремились заморозить Россію, сохранивъ навѣки ея прежній сословный укладъ, ненавидѣли Витте. Онъ былъ для нихъ опаснымъ врагомъ. Но и либеральное общество, которое программѣ Витте не могло не сочувствовать, его все-таки считало чужимъ. Между ними не только лежала та пропасть, которая была между «ими» и «нами», между властью и обществомъ. Ихъ больше всего раздѣляло отношеніе къ Самодержавію. Въ ту суровую эпоху представители либеральной общественности сами не смѣли публично заявлять себя конституціоналистами и увѣряли, будто режимъ шестидесятихъ годовъ Самодержавію не противорѣчитъ; никто поэтому не сталъ бы требовать конституціонныхъ заявленій отъ Витте. Но либерализму объ этомъ щекотливомъ вопросѣ полагалось молчать; ставить его могли господа вродѣ Грингмута для провокаціи. А Витте о немъ и не молчалъ, Несмотря на близость къ либерализму онъ заявлялъ себя убѣжденнымъ сторонникомъ Самодержавія. Болѣе того: онъ выступилъ его агрессив-

*) Шиповъ — Воспоминанія и Думы, стр. 187.

нымъ защитникомъ и въ знаменитой запискѣ о Сѣверо-Западномъ земствѣ во имя Самодержавія отрицалъ наше земство. Эта позиція съ его стороны была такъ противна всему, чего можно было ждать отъ человека либеральнаго образа мыслей, что репутация Витте въ либеральномъ лагерѣ была этимъ подорвана. Этого мало; никто даже въ искренность его не повѣрилъ и записка явилась образчикомъ безпринципнаго коварства и двоядушія.

Сенсаціонность этой записки, излагавшей политическое credo Витте превзошла эффектъ всякихъ революціонныхъ изданій. Она распространилась въ безчисленныхъ копіяхъ и была перепечатана «Освобожденіемъ». Современныхъ читателей могло въ ней прельщать и то, что она открыто трактовала о такомъ вопросѣ, какъ конституція для Россіи, о чемъ въ то время запрещалось и думать. Но значеніе ея было не въ этомъ. Записку и сейчасъ можно прочитать съ неослабѣвающимъ интересомъ. Въ ней много правды, которую раньше обѣ стороны старались скрывать. Эту правду Витте разоблачалъ безъ стѣсненій, ходилъ всѣмъ по ногамъ. Не знаю впечатлѣнія, которое разсужденія Витте произвели въ правомъ лагерѣ; официальную политику денія. Но помню недоумѣніе въ лѣвомъ общественномъ лагерѣ. Витте показался измѣнникомъ, который ради карьеры скрылъ или предалъ свои либеральныя убѣжденія. Иные стали искать болѣе хитроумныхъ объясненій. Въ разговорѣ съ Д. Н. Шиповымъ В. К. Плеве изложилъ официальное пониманіе этой записки: «она была-де направлена не противъ земства, а противъ Горемыкина; ни одинъ министръ больше Витте не убѣжденъ въ необходимости общественной самодѣятельности». Для Д. Н. Шипова это объясненіе показалось неубѣдительнымъ. Онъ не безъ наивности разсказалъ, что, прочтя записку два раза, пришелъ къ двумъ выводамъ, совершенно обратнымъ; подумалъ сначала, что записка направлена противъ земства; прочтя второй разъ, убѣдился, что главной цѣлью ея было доказать необходимость конституціи для Россіи и что только изъ-за осторожности Витте не рѣшился сказать это прямо *).

Психологически такія сужденія были естественны: но

*) Шиповъ — Воспоминанія и Думы, стр. 128-129.

оригинальность самого Витте въ томъ, что въ запискѣ онъ былъ только искрененъ и говорилъ то, что дѣйствительно думалъ. Этимъ онъ расходился какъ съ официальнымъ міромъ, такъ и съ либеральной общественностью.

Плеве былъ правъ, что Витте горячій сторонникъ свободы и общественной самодѣятельности. Это онъ не только доказалъ практикой своего министерства; въ запискѣ онъ это начало горячо защищалъ и теоретически. Онъ съ горечью клеймилъ власть, которая борется съ обществомъ, боится его вмѣсто того, чтобы привлекать лучшія силы его на служеніе государству. Власть, по мнѣнію Витте, должна какъ можно меньше тягаться на свободу общественной дѣятельности. Чѣмъ власть сильнѣе, тѣмъ больше свободы она можетъ дозволить; а такъ какъ Самодержавная Власть самая сильная власть, то именно она наиболѣе полно должна обезпечить свободу — таково было искреннее убѣжденіе Витте.

Признаніе необходимости «свободы» для общества не мѣшало Витте заявлять себя противникомъ земства. Это кажется противорѣчіемъ. Но для Витте это было очень понятно. Идея земскихъ учрежденій совсѣмъ не въ «свободѣ». Земство проявленіе иного начала. Оно не свободная, а обязательная, принудительная организация; у земства государственныя права и обязанности. Оно выросло не изъ принципа свободы, а изъ принципа «народоправства»; а этотъ принципъ съ Самодержавіемъ несомнѣстимъ. Поэтому въ самодержавномъ государствѣ земство существуетъ какъ инородное тѣло; между Самодержавіемъ и имъ фатально происходитъ борьба. Земство, какъ представитель народовластія, естественно старается свою компетенцію расширить и къ верху и къ низу и добивается «конституціи». А Самодержавіе, поскольку въ этомъ оно уступать не желаетъ, съ такимъ стремленіемъ борется. Надо быть въ политикѣ послѣдовательнымъ и честнымъ. Если Самодержавіе хочетъ конституціи, пусть оно къ ней ведетъ черезъ земство и помогаетъ земству расширяться и укрѣпляться въ странѣ; если же оно конституціи не желаетъ, пусть не провоцируетъ страну земствомъ. Какъ очень цѣльный и логическій умъ, Витте до болѣзненности былъ чувствителенъ къ неслѣдовательности; она такъ глубоко его задѣвала, что казалась неискренностью. Въ самыя трагическія минуты

что изъ нихъ выйдетъ на практикѣ? Цѣлая пронасть лежала въ этомъ отношеніи между нимъ и нашей общественностью, которая привыкла «излагать» теоріи и въ нихъ свято вѣрить. Витте судилъ о годности принциповъ по ихъ результатамъ, а не расцѣпывалъ жизнь по ея соответствію принципамъ. Декларации, которыми наша общественность разрѣшала всѣ затрудненія, въ которыхъ она видѣла «смѣлость» и «глубину», вызывали въ немъ ту досаду, съ которой практической работникъ слушаетъ критику и совѣты безотвѣстныхъ наблюдателей. Этотъ складъ ума Витте поразили меня при нашемъ первомъ знакомствѣ, во время II-ой Государственной Думы, въ домѣ графа Гудовича. Мы перебрали тогда съ нимъ много вопросовъ, о смертности, о крестьянскихъ законахъ, о положеніи національностей и т. д. Витте почти ни въ чемъ съ к.-д. партией не соглашался; но его критика была непохожа на ту, съ чѣмъ въ этихъ вопросахъ намъ до тѣхъ поръ приходилось бороться и справа и слѣва. Вспоминая это я невольно думаю, что Витте и либеральная общественность наша могли бы очень хорошо познакомиться другъ другъ.

Но предпочтительное отношеніе Витте къ Самодержавію нельзя объяснить только тѣмъ, что въ Россіи Самодержавіе было положительнымъ фактомъ, а конституція теоретическимъ идеаломъ. Витте, — и этимъ онъ отличался отъ либерализма — всерьезъ предпочиталъ Самодержавіе конституціонному строю. Въ своей запискѣ онъ сочувственно цитируетъ слова Побѣдоносцева, что «конституція есть великая ложь нашего времени». Въ преданности Самодержавію онъ былъ не одинокъ; многочисленныя группы нашихъ общественныхъ верховъ тоже держались за Самодержавіе, какъ за свое достояніе. Но отношеніе Витте къ Самодержавію было инымъ, чѣмъ у этихъ людей, какъ и самъ онъ былъ другимъ человекомъ. Витте былъ человекомъ новой Россіи, хотя во многомъ на нее не похожимъ. Только отсутствіе въ немъ доктринаризма лишило въ его глазахъ конституціонный строй той теоретической привлекательности большаго совершенства, ради котораго можно было мириться съ его неудобствами. Подобное доктринальное предпочтеніе было для него чуждо. Но зато онъ сейчасъ же ставилъ вопросъ о практическихъ послѣдствіяхъ, которыя будетъ имѣть у насъ конституція и не считалъ ее ни полезной, ни нужной.

Было и психологическое основаніе, почему Витте тянуло къ этому строю. Онъ принадлежалъ къ типу людей, которымъ парламенты только мѣшаютъ, чтобы проявлять свои силы. Есть люди, которыхъ вдохновляютъ публичные споры и которые правду ищутъ въ постановленіяхъ большинства. Такимъ людямъ для нихъ самихъ нужна арена для споровъ, а для формулированія своего убѣжденія нужны постановленія коллективовъ; на вопросъ, что нужно Россіи, они допытываются отвѣта въ изъясненіяхъ ея воли. Въ такомъ преклоненіи передъ народоправствомъ есть свои удобныя стороны. Съ ними жить очень просто. С. А. Муромцевъ когда-то формулировалъ мнѣ принципы демократическаго міровоззрѣнія: защищать свое мнѣніе съ яростью пока не состоялось рѣшенія, а потомъ повиноваться безпрекословно. По такимъ принципамъ вырабатывается демократическая дисциплина, при которой индивидуальныя убѣжденія обезличиваются въ анонимныхъ коллективахъ. Въ условіяхъ подобной политической жизни создаются соответственные типы общественныхъ дѣятелей, которыхъ болѣе интересуется процедура, чѣмъ результаты работы. Въ публичной защитѣ своихъ взглядовъ они видятъ *raison d'être* своей жизни, сущность своей дѣятельности и источникъ своей популярности въ обществѣ. Въ государственной жизни начинаютъ тогда торжествовать «ораторы» и «публицисты», которые охотно требуютъ того, что завѣдомо для нихъ невозможно и создают иллюзію, въ которую начинаютъ вѣрить и сами, будто только реакція помѣшала имъ дать странѣ нужное благо. Личной отвѣтственности на нихъ не лежитъ никакой.

Витте былъ изъ другого матеріала и тѣста. Онъ былъ сильной индивидуальностью, убѣжденія которой складываются въ ея головѣ, а не по постановленіямъ большинства. Онъ самъ зналъ, что нужно Россіи и вѣрилъ себѣ. Его не увлекалъ политическій спортъ, который развивается при конституціонномъ порядкѣ; не интересовало впечатлѣніе, которое онъ производитъ на публику, ни газетные отзывы, въ которыхъ современные политическіе дѣятели ищутъ оцѣнки себѣ. Занималъ его одинъ результатъ, возможность хотя бы за кулисами, безъ газетнаго шума, провести въ жизнь то, что онъ считалъ полезнымъ Россіи. Онъ любилъ достигать, а не пародировать передъ публикой. И онъ предпочиталъ по-

рядокъ, при которомъ конкретныхъ результатовъ казалось всего легче достигнуть, хотя бы съ наименьшимъ личнымъ успѣхомъ. Такимъ порядкомъ онъ считалъ Самодержавіе по тѣмъ основаніямъ, которыя излагаются въ элементарныхъ учебникахъ права. «Самодержецъ выше партій и классовъ; у него нѣтъ соблазна противополгать себя государству; его личное благо и счастье есть всегда благо и счастье страны. Если Самодержецъ ошибается, у него нѣтъ побужденія на ошибку настаивать. Отвѣтственность, которую онъ ни на кого не можетъ сложить, побуждаетъ его не закрывать глазъ на указанія опыта, и не заткаться ушей къ представленіямъ умныхъ совѣтчиковъ». Такъ думалъ Витте. Конечно, убѣждать и иногда переубѣждать Самодержавнаго Государя задача не легкая; но она не труднѣе, чѣмъ убѣждать «общество». При конституціяхъ, гдѣ общество управляетъ, политическими дѣятелями, которые хотятъ проводить свои взгляды, а не послушно подчиняться массѣ, приходится продѣлывать это же съ своимъ властителемъ-обществомъ; создавать въ немъ нужныя настроенія, проводить кампаніи прессы, зависѣть отъ выборовъ и для этого находить подходящія для уровня и развитія страны аргументы. Это не легкое дѣло. И ему угрожаетъ опасность: вмѣсто того, чтобы учить и воспитывать общество, являются люди, которые ему льстятъ и этой лестью преуспѣваютъ. Въ свободныхъ режимахъ угодничество еще опаснѣе, чѣмъ въ абсолютныхъ монархіяхъ. Общественное мнѣніе часто во власти невѣжества, страстей, выгодъ и интересовъ; его воспитаніе идетъ труднѣе и медленнѣе; его ошибки должны быть очень видны, чтобы оно ихъ сознало. Витте любилъ указывать на реформы, которыя могло сдѣлать только Самодержавіе. Въ мемуарахъ онъ не безъ удовольствія передаетъ, будто присланный Феликсомъ Форомъ французъ Монтебелло, дальній родственникъ послу, изучивъ постановку винной монополіи, которой Витте очень гордился, нашель, что эта реформа, несмотря на всю свою очевидную пользу, не могла бы быть во Франціи сдѣлана; власть кабатчиковъ надъ общественнымъ мнѣніемъ тамъ слишкомъ сильна.

Но предпочтеніе Самодержавія конституціи не мѣшало ему понимать, что Самодержавіе все же не вѣчно, что конституціонный строй его непремѣнно когда-нибудь смѣнить, какъ это онъ сказалъ Шипову въ противовѣсъ сла-

вянофильскимъ взглядамъ послѣдняго. Конституціонный строй придетъ и въ Россіи какъ повсюду, но не потому, что онъ лучше. Въ извѣстный моментъ онъ просто будетъ больше соответствовать настроеніямъ общества. По мѣрѣ того, какъ общество богатѣетъ, привыкаетъ къ самостоятельной дѣятельности, привычка къ повиновенію въ немъ исчезаетъ. Оно начинаетъ не только желать власти, но пріобрѣтаетъ и способность къ ней; конституціи требуетъ тогда весь укладъ привыкшаго къ свободѣ и общественной дисциплинѣ народа. Къ этому постепенно пришли всѣ государства, когда-нибудь придетъ и Россія. Это такъ же фатально, какъ то, что «лоно сельской тишины» превращается въ индустриальную экономію, что живописный проселокъ уступаетъ мѣсто желѣзнымъ дорогамъ, а розовая юность становится сначала зрѣлымъ, а потомъ старческимъ возрастомъ. Это естественный процессъ жизни. Его нельзя остановить, но бессмысленно стараться ускорить; все придетъ въ свое время. Витте не могъ понять, зачѣмъ русское общество сейчасъ вступаетъ въ трудную борьбу съ Самодержавіемъ, почему оно стремится ускорить естественный процессъ его отмиранія, вмѣсто того, чтобы использовать Самодержавіе для осуществленія предпосылокъ, безъ которыхъ конституція Россіи пользы не принесетъ. Россія къ конституціонному строю пока не готова, здоровымъ инстинктомъ сама это чувствуетъ и конституціи не добивается. Желаетъ конституціи не народъ, а только малочисленный классъ, который быть можетъ одинъ ее понимаетъ, т. е. интеллигенція. А это совсѣмъ не Россія. Къ интеллигенціи Витте относился съ уваженіемъ; цѣнилъ не только ея знанія, но и стремленіе безкорыстно работать на пользу страны. Но онъ считалъ, что власть должна интеллигенціей только пользоваться какъ спецами, по современному выраженію. Никто болѣе Витте не пристраивалъ культурныхъ, хотя бы политически неблагонадежныхъ людей къ государственному дѣлу. Ученые, которымъ не давало ходу Министерство Народнаго Просвѣщенія, находили пріютъ въ его Министерствѣ. Витте цѣнилъ гласность, критику, прессу, дебаты въ ученыхъ обществахъ — всякую работу мысли, спеціальность интеллигенціи. Отъ общенія съ ней разумная власть можетъ многому научиться. Но власть должна у нея учиться, а не ей подчиняться. Онъ не находилъ въ интеллигенціи

тѣхъ свойствъ, которыя сдѣлали бы ее готовой для управления государственнымъ дѣломъ. Качества, которыя составляютъ обаяніе интеллигенціи, повернутся противъ нея, если она станетъ властью, угрожаютъ ошибками, заплатить за которыя пришлось бы Россіи. Витте отказывался видѣть въ интеллигенціи подлинныхъ представителей Россіи и даже выразителей ея воли. Россія на нихъ совсѣмъ непохожа. Но что хуже всего, — страна за ними пойдетъ. Противъ демагогіи страна беззащитна; она не сумѣетъ устоять противъ громкихъ фразъ и легкомысленныхъ обѣщаній. Въ самомъ интеллигентскомъ словѣ особенный успѣхъ будутъ имѣть люди не жизни и опыта, а пера или слова. Къ этой категоріи дѣятелей Витте относился съ большимъ скептицизмомъ; онъ самъ не былъ краснорѣчивъ, не умѣлъ говорить «фразы» и имъ не поддавался. Онъ возмущался при мысли, что полемическое искусство и краснорѣчіе будутъ сходить за государственный умъ. Задача политика не критиковать, а строить изъ того матеріала, который имѣется. Этого интеллигенція и не пробовала; она знаетъ только себя и судить о странѣ по себѣ. По этимъ причинамъ строй Россіи долженъ быть пока построенъ на принципѣ либеральнаго управления сверху, а не народоправства. Наше правительство пока выше нашего общества и просвѣщенный абсолютизмъ — лучший порядокъ для насъ.

Указанія на неподготовленность народа обычно встрѣчаются однимъ возраженіемъ. Страна всегда окажется не готовой, если ее не готовить. Такъ и у насъ; лучшее средство готовиться къ конституціи — школа земской работы, т. е. мѣстное самоуправленіе; а Витте отрицалъ наше земство. Это могло показаться непослѣдовательнымъ, но въ этомъ отрицаніи не только оригинальность, но глубина взглядовъ Витте. Земство, говорилъ онъ, необходимая и превосходная школа въ странѣ, гдѣ власть построена на принципѣ народовластія. Гдѣ есть конституція, тамъ должно быть и мѣстное самоуправленіе, какъ естественное ея добавленіе и лучшая къ ней подготовка. Но земство при отсутствіи конституціи, земство при Самодержавіи и для борьбы съ Самодержавіемъ, есть аномалія, которая не воспитываетъ, а развращаетъ. При такихъ условіяхъ въ земствѣ главнымъ образомъ привлекаетъ политическая сторона — борьба за конституцію. Но это привлекательно не для многихъ. Настоящую зем-

скую работу или выносятъ на своихъ плечахъ идеалисты, или къ ней примазываются дѣльцы, которые ищутъ въ ней личной выгоды. Отсюда равнодушіе средняго обывателя къ земству, абсентеизмъ. Земство въ нашихъ условіяхъ плохая школа и для общества и для администрации; она создаетъ нездоровую атмосферу общественной жизни. Общество надо готовить къ самоуправленію совершенно иначе, а не игрой въ народный суверенитетъ.

Здѣсь положительная часть программы Витте. Всѣмъ людямъ, говорилъ онъ, свойственна забота о личномъ ихъ благѣ; имъ и надо дать свободу добиваться этого блага личными или объединенными силами. Не надо соблазнять страны призракомъ народоправства; надо бросить ей старый классическій кличъ: обогащайтесь, который всѣмъ понятенъ и на который откликнутся всѣ. На попріицѣ такой дѣятельности воспитается и личность и цѣлое общество: всѣ поймутъ блага не только свободы, но и порядка, научатся разсчитывать на себя и сознавать свои силы. Въ этомъ основная задача разумной власти. Надо, чтобы русскіе люди и общество въ борьбѣ за свои интересы привыкли надѣяться на себя, перестали воображать, что о нихъ кто-то долженъ заботиться. Безъ такой психологіи не можетъ быть конституціи. Помню характерный разсказъ Витте объ Америкѣ (повидимому разсказъ вовсе не точенъ, но тѣмъ характернѣе). Витте увѣрялъ, будто въ Америкѣ автомобилистъ будетъ наказанъ, если задавить не только ребенка или калѣку, но даже корову. Но если онъ задавить взрослога и здороваго человека, ему этого въ вину не поставятъ: «пусть не ротозѣйничаетъ». Витте отзывался о такой психологіи съ большой похвалой; только при ней есть база для здороваго народоправства. Ее можно выработать суровой школой «борьбы за существованіе», за свой личный успѣхъ, а не политической игрой въ суррогаты парламента. Пускай отдѣльные лица и коллективы учатся управлять своими дѣлами безъ указокъ, совѣта и контроля начальства; пускай привыкаютъ провѣрять своихъ выборныхъ; вотъ школа, которую надо пройти. Кооперация гораздо полезнѣе земства. Страна до этой школы созрѣла и требуетъ только ея. Самодержавіе сначала должно дать ей это. Задача власти въ Россіи не въ томъ, чтобы строить новый порядокъ по вкусамъ интеллигентскаго меньшинства, а въ

томъ, чтобы воспитывать страну на доступныхъ ей и для нея понятныхъ началахъ, втравлять ее въ активную борьбу за личныя блага и отметать тѣ преграды, которыя на этой дорогѣ лежать въ Россіи въ такомъ ужасающемъ изобиліи.

Вотъ та своеобразная позиція Витте, которая дѣлала его подозрительнымъ для обоихъ лагерей русскаго государства. Поклонники историческаго Самодержавія считали его чуть не измѣнникомъ, заподозривали въ желаніи низвергнуть Монархію и стать Президентомъ Россійской Республики; съ ихъ стороны эта злоба естественна. Витте былъ, конечно, не съ ними. Но и то либеральное общество, которое могло бы считать его своимъ человекомъ, въ его преданности Самодержавію и критическомъ отношеніи къ общественной зрѣлости видѣло если не измѣну, то какой-то маневръ. Позиція Витте казалась такъ парадоксальна, что въ немъ предпочитали видѣть хитраго человѣка, который свои взгляды скрываетъ, боясь, что эти взгляды ему повредятъ; никто не понималъ, гдѣ его настоящее мѣсто. И этому сужденію нельзя удивляться. Что такой трезвый, умный и наблюдательный человѣкъ, какъ Витте, могъ въ 90-хъ годахъ дѣлать мечту о «либеральномъ Самодержавіи», о повтореніи 60-хъ годовъ, представлялось настолько парадоксальнымъ, что этому было трудно повѣрить. А между тѣмъ, вспоминая Витте, я не сомнѣваюсь, что эту надежду онъ сохранилъ и до самой смерти своей. И мы не поймемъ этой загадки, не допустивъ, что реалисту и практику Витте не была чужда иррациональная, эмоциональная сторона человѣческой жизни и что онъ ей отдалъ дань въ этомъ вопросѣ.

Какъ это ни кажется странно, въ этомъ серьезномъ, вѣчно занятомъ, преданномъ то желѣзнодорожному, то государственному дѣлу человѣкѣ, которому по самой его профессіи должна была бы быть чужда чувствительность — былъ неистраченный запасъ «сентиментализма».

Тѣ, кто знали Витте, были освѣдомлены объ его пристрастіи къ внуку, притомъ не родному, которое было бы смѣшно, если бы не было трогательно. Я видалъ самъ его долговязую фигуру бѣгающей съ озабоченнымъ видомъ по игрушечнымъ лавкамъ Виши, чтобы потомъ порадоваться довольной улыбкѣ на дѣтскомъ лицѣ. Но привязанность къ членамъ своей семьи, обожаніе ихъ еще не характерно. Исторія знаетъ, что эти черты встрѣчались въ лю-

дяхъ, которые оказывались недоступны какому бы то ни было доброму чувству. Витте былъ не таковъ. Онъ вообще умѣлъ привязываться къ людямъ и своимъ привязанностямъ не измѣнять. Онъ много разъ это доказывалъ въ жизни. И я не могу отдѣлаться отъ убѣжденія, что его пристрастіе къ Самодержавію и Самодержцу имѣло въ основѣ такой же сентиментальный элементъ. Было ли это, какъ онъ говорилъ въ мемуарахъ, его семейной традиціей, унаслѣдованной отъ временъ, когда Самодержецъ казался олицетвореніемъ силы, славы, всего государственнаго начала въ Россіи, когда отъ встрѣчи съ нимъ особенно бились сердца, о чемъ такъ поэтично много разъ рассказывала наша художественная, вовсе не тенденціозная литература? Этого я рѣшать не берусь. Мое поколѣніе было уже свободно отъ подобнаго культа монархіи. Монархисты моего времени признавали пользу Монархіи, какъ невѣрующіе люди могутъ признавать пользу религіи. Монархизмъ держался на разумѣ, на политическихъ доводахъ. Во второй половинѣ 90-хъ годовъ монархисты ненавидѣли Самодержавіе, какъ въ 1917 г. они же безъ борьбы и безъ надобности упразднили Монархію. Въ своемъ отношеніи къ Монарху Витте былъ не таковъ. Не Монархія вообще, а именно русское «Самодержавіе» было для него историческимъ знаменемъ, обаяніе котораго онъ въ себѣ ощущалъ; но у Витте это традиционное чувство стараго поколѣнія обострилось еще и другимъ. Витте столкнулся съ Самодержавіемъ въ такой исключительной обстановкѣ, при которой нѣкоторыя впечатлѣнія не забываются, а продолжаютъ владѣть человекомъ вопреки доводамъ разума.

Витте не готовилъ себя къ государственной службѣ. Онъ былъ начальникомъ частной желѣзной дороги и на «чиновниковъ» смотрѣлъ критическими глазами дѣльца. Направленію тогдашней политики онъ не сочувствовалъ; курсъ Александра III уже сложился. Александръ III сталъ представителемъ реакціи противъ дорогихъ Витте шестидесятихъ годовъ, подчинился идеямъ Каткова и Побѣдоносцева. Направленіе новаго Самодержца сказалось и въ государственной практикѣ; уже былъ веденъ новый университетскій уставъ, Положеніе о земскихъ начальникахъ и т. д. Государственная власть раздавила и революцію, и либерализмъ; а широкое общественное мнѣніе, какъ это бываетъ, отвернулось отъ побѣжденныхъ. Витте былъ бы

удивленъ, если бы въ это время ему предсказали роль, которую онъ будетъ играть при этомъ Государь. Началась эта роль характерно. Витте, какъ начальникъ дороги, отказался вести царскій поѣздъ съ той быстротой, которой требовало Министерство Путей Сообщенія. Онъ находилъ такую скорость опасной: Александръ III услышалъ его споръ съ Министромъ — Посыетомъ и вмѣшался. «Почему только на вашей жидовской дорогѣ это опасно? Мы вездѣ ѣздили такъ», и отошелъ, отвѣта не слушая. Витте продолжалъ препираться съ Министромъ и сказалъ фразу, которую услышалъ Императоръ: «я несогласенъ сломать голову своему Государю». Отвѣтъ не понравился; Александръ III показалъ псевдовольствіе, отказавшись проститься съ Витте, при переходѣ поѣзда на другую дорогу.

Для служебной карьеры это было плохое начало; но черезъ два мѣсяца произошла Боркская катастрофа. Государь вспомнилъ объ упрямомъ желѣзнодорожникѣ и лично потребовалъ его участія въ слѣдственной комиссіи о катастрофѣ. А потомъ такъ же лично поручилъ привлечь его къ государственной службѣ на постъ Директора Департамента желѣзнодорожныхъ дѣлъ при Министерствѣ Финансовъ. Витте не хотѣлъ отказываться отъ частной службы, которая шла усиленно и превосходно оплачивалась. Государь предложилъ удвоить окладъ директорскаго содержанія изъ своихъ личныхъ средствъ. Витте пришлось подчиниться. Онъ пріѣхалъ въ Петербургъ. У него былъ чинъ отставного титулярнаго совѣтника, безъ единого ордена. Ему дали дѣйствительнаго статскаго вибъ всякой очереди. Такъ начиналъ онъ службу вопреки протоколу, по личному выбору и желанію Государя.

Этимъ дѣло не кончилось. Карьера Витте превзошла ожиданія. Назначенный директоромъ департамента, черезъ годъ онъ становится Министромъ Путей Сообщенія; еще черезъ годъ Министромъ Финансовъ. Все это опять не по протекціи, не по поддержкѣ чиновничьяго міра, а по личному желанію Государя. И чтобы сдѣлать эту карьеру, Витте не приходилось служить той реакціи, которая тогда въ официальномъ мирѣ господствовала. Онъ могъ не лукавить и не угодничать; онъ служилъ Россіи по своему.

Такія впечатлѣнія безнаказанно не проходятъ. Витте оказался дѣтищемъ Самодержавія. Оно его отмѣтило,

вознесло и дало ему возможность работать на пользу Россіи. Мудрено ли, что онъ привязался къ порядку, который его создалъ? Трезвый умъ Витте старался дать этому пристрастію логическое оправданіе. Онъ не могъ приписывать своей чудесной карьеры исключительной проницательности, государственнымъ дарованіямъ оцѣнившего его Самодержца. Витте себѣ иллюзій не дѣлалъ. При всемъ преклоненіи передъ Александромъ III, онъ его не идеализировалъ; онъ считалъ его по уму и образованію человекомъ не выше средняго уровня, много ниже Николая II. Александръ III только однимъ обладалъ въ изобиліи — правдивостью, честностью, высокимъ пониманіемъ своего царскаго долга и вотъ этихъ свойствъ на посту Самодержца оказалось достаточно. По теоріи Самодержавія эти свойства должны быть присущи всякому Самодержцу, въ силу его положенія, независимо отъ его личныхъ качествъ. Витте на опытъ убѣдился, что Самодержецъ благодаря своей высотѣ въ государствѣ могъ дѣйствительно видѣть вопросы такъ ясно и судить о нихъ такъ безпристрастно, какъ не могли бы обыкновенные люди. Теоретическія разсужденія о преимуществахъ Самодержавія Витте превѣрилъ на практикѣ и въ лицѣ Александра III встрѣтился съ ихъ живой иллюстраціей. И этотъ примѣръ Александра III надолго, если не навсегда, загнипнотизировалъ трезваго Витте. Когда ему указывали на возможность пристрастія, предвзятости, упрямства Монарха, онъ изъ своей работы съ Александромъ III черпалъ убѣдительныя для себя возраженія. Развѣ Александръ III, начавъ съ подчиненія Побѣдоносцеву и Каткову, не сталъ поддерживать ту политику Витте, которая сама по себѣ разрушала реакціонныя начинанія восьмидесятихъ годовъ? Витте былъ убѣжденъ, что уже черезъ нѣсколько лѣтъ Александръ III разобрался бы въ бесплодности совѣтовъ Побѣдоносцева, усвоилъ бы необходимость новаго курса и что если бы онъ жилъ дольше, Россія увидала бы новое либеральное царствованіе и новую либеральную политику. Въ своихъ воспоминаніяхъ объ Александрѣ III Витте былъ неистощимъ въ примѣрахъ того, какъ можно было убѣждать и разубѣждать Александра III. Онъ спросилъ однажды Витте, правда ли, что онъ юдофилъ? Вопросъ опасный, ибо юдофобство было одной изъ врожденныхъ чертъ Александра. Витте не сталъ заператься. «Не знаю, отвѣтитъ онъ, можно ли назвать меня юдофиломъ. Но я такъ

смотрю на еврейскій вопросъ. У васъ есть два пути: прикажите мнѣ уничтожить всѣхъ евреевъ въ Россіи, потопить ихъ въ Черномъ морѣ. Я это исполню, и ручаюсь, что мнѣ удастся. Но, если вы почему либо предпочитаете, чтобы они въ Россіи продолжали жить, нѣтъ другого пути, какъ дать имъ жить на тѣхъ же правахъ, какъ и остальнымъ вашимъ подданнымъ». Александръ III такого отвѣта не ожидалъ и задумался: «Вы можетъ быть правы». Витте говорилъ, что когда въ Александрѣ III зародится сомнѣніе, онъ не успокоится, пока не найдетъ рѣшенія, которое ему покажется правильнымъ. И тогда осуществить его безъ колебанія. И Витте былъ убѣжденъ, что Александръ III рѣшилъ бы еврейскій вопросъ, если бы ему было отпущено достаточно жизни.

Недостаточность такихъ аргументовъ для строгаго, логическаго ума Витте была такъ очевидна, что ихъ убѣдительности для него я не могу объяснить иначе, какъ наличностью въ его отношеніи къ Самодержавію ирраціональнаго элемента. Этотъ элементъ оказался сильнѣе разсудка. Я сошлюсь на него самого; онъ это и самъ признавалъ. Разъ въ Виши, уже въ эпоху Столыпина, мы съ Витте спорили о Самодержавіи. Въ это время была конституція, съ которой онъ связалъ свое имя. Поведеніе Самодержца относительно Витте, когда именемъ Самодержца, его личнымъ приказомъ было покрыто покушеніе Казанцева на жизнь Витте и поощрялась злостная клевета, будто это покушеніе бутафорія, которую онъ самъ подстроилъ себѣ, должно было оставить въ Витте горькій осадокъ. И все же со страстью онъ Самодержавію защищалъ и не какъ экстраординарную необходимость, а какъ нормальный порядокъ. Истошнвъ возраженія онъ воскликнулъ: «знаете, бываютъ распутницы, которыхъ все-таки любятъ; такъ я люблю Самодержавіе». На такой плоскости спорить дальше было уже бесполезно. Но я помню, какъ, облегчивъ себѣ душу этимъ признаніемъ, онъ перешелъ въ наступленіе и съ горячностью сталъ доказывать, что наша «любимая» конституція, если страна къ ней не готова, оказывается хуже Самодержавія. Онъ рѣзко обрушивался на то, что изъ нашей конституціи вышло. Онъ все и всѣхъ осуждалъ, всѣ Государственныя Думы. Первую — за то, что она упустила исключительный моментъ быть полезной, послѣднія за то, что онѣ интересы страны не защищали. Конституціонная жизнь Россіи

для Витте была яркимъ образчикомъ того, что получается изъ конституціи въ странѣ для нея не созрѣвшей, гдѣ хочетъ ея одно меньшинство. «Чѣмъ депутаты, спрашивать онъ, оказались лучше тѣхъ старыхъ чиновниковъ, которыхъ вы часто осуждали за то, что они думаютъ о себѣ, а не о странѣ? И Дума воодушевляется только тогда, когда рѣчь заходить о ея правахъ, о ея привилегіяхъ. Тогда вы въ полномъ сборѣ, лѣзете на стѣну, горячитесь, а когда дѣло идетъ объ насущныхъ интересахъ страны, вы равнодушны. Потому-то Столыпинъ можетъ водить васъ за носъ; онъ васъ тѣшитъ игрушками, которыми вамъ такъ нравятся, даетъ вамъ волю болтать, что только хочется, вмѣшиваться во виѣшнюю политику, въ военныя дѣла, которыя изъяты изъ вашего вѣдѣнія, задерживать годами нужныя законопроекты, оставлять страну безъ бюджета къ законному сроку. А за это довольное думское большинство безпрепятственно позволяетъ ему въ Россіи проявлять то беззаконіе, безправіе и жестокости, которыхъ не было при Самодержавіи».

Такая характеристика періода 907-914 г., какъ бы мы къ III-й и IV-й Государственной Думѣ ни относились, настолько тенденціозна, что я ее не стану оспаривать. Оба лагеря въ этомъ вопросѣ грѣшили предвзятостью. Поверхностныя сужденія «оппозиціи» при свѣтѣ позднѣйшихъ событій кажутся несправедливыми; это не мѣшало имъ быть искренними. И, вспоминая филиппики Витте, не сомнѣваюсь, что онъ былъ тоже искрененъ. Въ немъ въ этотъ моментъ говорилъ страстный, но и огорченный поклонникъ Самодержавія, какъ въ нашихъ нападкахъ на Думу 3-го іюня говорили разочарованные любовники «конституціи». Эта преданность Самодержавію, уцѣлѣвшая въ Витте, несмотря на всѣ уроки, которые онъ получилъ, сдѣлалась источникомъ его личной трагедіи при Николаѣ II.

Если когда либо у Витте могла явиться надежда на проведеніе въ жизнь его плана, это могло быть при воцареніи Николая. По отзыву Витте, Николай былъ умнѣе и образованнѣе своего отца; какъ онъ, имѣлъ и высокое пониманіе о своемъ царскомъ долгѣ. А самъ Витте тогда новаго Государя былъ не дерзкимъ желѣзнодорожникомъ, котораго только Боркская катастрофа научила цѣнить: Витте былъ уже въ зенитѣ успѣха. При этомъ Николай II благоговѣлъ передъ памятью отца, а Витте былъ созда-

нѣмъ покойнаго, пользовался его абсолютнымъ довѣріемъ. Умирая, Александръ завѣщалъ своему сыну: «Слушайся Витте». — Наконецъ Николай всходилъ на престолъ подъ другими впечатлѣніями, чѣмъ первое Марта. Самодержавіе имѣло право чувствовать себя настолько окрѣпшимъ, что могло вести за собою страну по новой дорогѣ, а не искать спасенія въ строгости и стѣсненіяхъ. До 13 января общество ждало такой перемѣны. Окрикъ 13 января разсѣялъ эти мечтанія; но въ этомъ окрикѣ былъ провозглашенъ только принципъ Самодержавія, а не программа его. Многіе передовые люди того времени Самодержавію не отвергали и не могли осуждать Государя за то, что и онъ защищалъ его хотя бы съ обидной рѣзкостью. Было важно одно: на что Самодержавіе употребить свою силу? На то ли, чтобы вести Россію впередъ по пути 60-хъ годовъ, который выражала политика Витте, или дальше по линии восьмидесятыхъ? Личность Витте около трона, его престижъ въ глазахъ Государя, исключительныя его дарованія казались ручательствомъ за выборъ Государемъ надлежащей дороги. Витте могли дать наконецъ свою мѣру.

Я не хочу разбирать, какія причины воздвигли постепенно непроходимую стѣну между Витте и новымъ его Государемъ. Обнаружилось это не сразу. Первое время по крайней мѣрѣ наружно все шло по старому. Прежняя финансовая политика Витте продолжалась; его главныя мѣры, какъ, напр., введеніе золотой валюты были произведены уже въ новое царствованіе, при этомъ при личной поддержкѣ Государя противъ Государственного Совѣта. И тѣмъ не менѣе, какъ Вильгельмъ II не влюбилъ Бисмарка и принудилъ его покинуть свой постъ, такъ и Николай II повелъ тихую борьбу противъ Витте, прислушиваясь къ наветамъ его личныхъ враговъ. Витте могъ убѣдиться, что умъ, образованіе, воспитанность, даже честность и преданность долгу, недостаточны, чтобы сдѣлать хорошаго Самодержца; что Самодержецъ, несмотря на высоту своего положенія, можетъ имѣть слабости и предрасудки, можетъ поддаваться плохому вліянію; а что неограниченность власти, которой онъ надѣленъ въ Государствѣ, дѣлаетъ эти возможности сугубо опасными. Но доводи разума, даже подкрѣпленные жизненнымъ опытомъ, оказались безсильны противъ «пристрастія». Перемѣнять своего отношенія къ Самодержавію Витте не

смогъ. Онъ не сдѣлалъ и шага, который былъ бы самымъ естественнымъ, т. е. сознать свою бесполезность и отступить. Въ этомъ было бы неправильно искать личныхъ мотивовъ. При талантахъ и положеніи Витте ему все было открыто на частной службѣ. Если онъ остался на своемъ служебномъ посту, то не ради почести или денегъ. Онъ принадлежалъ къ людямъ, честолюбіе которыхъ не въ чинахъ, орденахъ и карьерѣ, а въ возможности быть дѣятельными и полезными. Какъ практикъ, привыкшій бороться съ природными силами, онъ не спасовалъ передъ неожиданными затрудненіями, на которыя онъ натолкнулся въ характерѣ новаго Государя. Понявъ матеріаль, съ которымъ приходилось ему имѣть дѣло, онъ надѣялся и къ нему примѣниться. Чтобы вліять на Николая не годилась та рѣзкая правда, которая Витте удавалась съ его покойнымъ отцемъ; надо было приспособляться къ психологіи новаго Самодержца, умѣть затрагивать тѣ спеціальныя струны, на которыя онъ откликался. И Витте на это пошелъ. Эти приспособленія стали унижительной стороной его жизни, дали поводъ къ справедливымъ на него нареканіямъ, и были по существу бесполезны, тѣмъ болѣе, что искусство дѣлать это онъ не умѣлъ. Въ немъ было слишкомъ мало настоящаго царедворца. Ему пришлось искать у другихъ покровительства и заступничества. Не знаю, есть ли правда въ тѣхъ слухахъ, отъ которыхъ онъ самъ отрекался, будто онъ не побрезгалъ поддержкой Распутина? Но все было тщетно. Витте терялъ свой престижъ съ каждымъ годомъ. Его вѣра въ мудрое и либеральное Самодержавіе, которое воспользуется своимъ могуществомъ, чтобы вести Россію по тому пути, на которомъ ее ждало счастье и слава — систематически уничтожалась самимъ Самодержавіемъ. Онъ видѣлъ, какъ почти вся образованная Россія отъ такого Самодержавія отвернулась и по ироніи судьбы именно ему, Витте, пришлось въ 1905 году самому, въ противорѣчій со всей своей жизнью, дать Самодержцу совѣтъ во имя Россіи отречься отъ Самодержавія и октроировать конституцію. И ему же было суждено потомъ испытать на себѣ, насколько онъ былъ правъ въ своемъ недовѣрїи къ зрѣлости русскаго общества. Витте все это видѣлъ; но пока было Самодержавіе, онъ служить ему продолжалъ; онъ его не покинулъ, не перешелъ въ «оппозицію», не измѣнилъ своимъ прежнимъ взглядамъ, не при-

сталъ къ противоположному лагерю, который за это простилъ бы ему прежнія прегрѣшенія и его превознесъ бы. Онъ не измѣнилъ ему и идейно; до конца своихъ дней онъ не сдѣлалъ тѣхъ выводовъ, которые такъ легко было сдѣлать именно ему, какъ автору манифеста. Онъ не соглашался допустить, что Самодержавіе, какъ таковое, есть зло; не хотѣлъ признать, что если такой Государь, какъ Николай II, которому онъ не могъ отказать ни въ умѣ, ни въ образованіи, ни въ преданности интересамъ Россіи, могъ быть вреденъ для родины, то это подрывало самый принципъ Самодержавія; что одна возможность такой перспективы перевѣшиваетъ тѣ хорошія стороны, которыя могутъ въ Самодержавіи быть. За все онъ вирилъ только личность, а не порядокъ. Незадолго до его смерти къ нему пріѣхалъ гр. Фридериксъ отъ Государя; до Государя дошли слухи, будто Витте сказалъ, что знаетъ способъ, какъ Россію спасти. Государь поинтересовался узнать этотъ способъ. Витте отнѣкивался, Фридериксъ настаивалъ; тогда Витте не выдержалъ и, указывая на большой портретъ Александра III, воскликнулъ: «Да воскресите его на три мѣсяца». Фридериксъ выскочилъ какъ ошпаренный, не зная, какъ ему отнестись къ этой нецаредворческой выходкѣ.

Но я забѣжалъ впередъ. Къ Витте и его государственной роли въ смутные годы мнѣ придется вернуться. Но это будетъ другая эпоха.

Когда Вильгельмъ отставилъ Бисмарка, онъ далъ ему безсмысленный титулъ герцога Лауэнбургскаго; когда Николай въ 903 г. уволилъ Витте отъ поста Министра Финансовъ, онъ тоже наградилъ его безсодержательной должностью предсѣдателя Комитета Министровъ. Но Витте былъ изъ тѣхъ людей, которые никогда не остаются въ тѣни. Ему было суждено еще добиться громаднаго и неожиданнаго успѣха въ Портсмутѣ, благополучно закончивъ войну, которую онъ такъ осуждалъ, а въ 1905 году связать свое имя съ неизбѣжнымъ переходомъ къ конституционному строю. Въ роковыя для Россіи моменты Николай II прибѣгнулъ къ нему. Витте всѣмъ казался единственнымъ человѣкомъ, которому такія задачи могли быть по плечу. Но не въ этихъ успѣхахъ было его настоящее назначеніе; та планомѣрная и систематическая работа надъ кореннымъ преобразованиемъ строя Россіи по инициативѣ самого Самодержца, которую онъ задумалъ и

которую онъ могъ провести какъ Министръ, была изъ его рукъ уже вырвана. Возвращаясь ко времени, когда онъ только развертывалъ эту программу.

Финансовыя реформы Витте, даже самая главная — денежная — не поглощали всего его вниманія. Предпосылкой экономического благополучія Россіи, необходимой для успѣшнаго развитія и промышленности, было въ его глазахъ крестьянское благосостояніе, иными словами крестьянскій вопросъ, т. е. завершеніе «освобожденія». Нѣкоторыя частичныя реформы въ этомъ направленіи были проведены Витте какъ Министромъ Финансовъ еще при Александрѣ... Такъ въ послѣдній годъ его царствованія была отмѣнена крестьянская круговая порука. Въ принципиальномъ отношеніи эта реформа была колоссальная. Одно то, что несправедливость круговой поруки могла продержаться у крестьянъ до 90 года, показываетъ глубину того безправія, въ которомъ держали крестьянскую массу, и къ которому государство и общество привыкли какъ къ чему-то нормальному. Какое другое сословіе подчинилось бы такому порядку, согласилось бы жить въ подобныхъ условіяхъ? А круговая порука общества за отдѣльныхъ крестьянъ давала основаніе и къ той власти общества надъ его отдѣльными членами, которая составляла главную язву крестьянской жизни. Что Министерство Финансовъ отказалось отъ подобной гарантіи причитающихся казнѣ платежей, было уже шагомъ къ признанію за крестьянами индивидуальнаго права на свободную жизнь. Этотъ принципъ свободы личности долженъ былъ проникнуть и дальше во всю правовую сферу крестьянства. Это было бы громадной реформой. Но здѣсь инициатива Министра Финансовъ столкнулась съ крестьянской политикой Министра Внутреннихъ Дѣлъ и съ той общей политикой государства, для которой сословность казалась основнымъ укладомъ нашего строя. И тогда вопросъ о крестьянахъ Витте рѣшился поставить ребромъ.

Витте поставилъ его въ формѣ доклада въ государственной росписи 1897 года. Отмѣтивъ, что въ области финансовъ было достигнуто, Витте докладывалъ Государю, что наступилъ моментъ, когда надлежало взяться за самое главное, безъ чего идти дальше нельзя, за упорядоченіе крестьянскаго положенія, за обезпеченіе его права на свободный трудъ и его результаты. Я за точный текстъ

Виттевскихъ словъ не ручаюсь, но помню ихъ смелъ; помню также впечатлѣніе, которое этотъ докладъ въ странѣ произвелъ; помню восторгъ, въ который онъ привелъ народнической кружокъ Л. В. Любенкова. Непосвященнымъ людямъ Витте казался тогда всемогущимъ. Что именно онъ поставилъ крестьянскій вопросъ въ такой полнотѣ, было какъ будто залогомъ правильного его разрѣшенія. А все переплетено въ государствѣ; приобщеніе крестьянъ къ общему праву, освобожденіе ихъ отъ усмотрѣнія общества и начальства не могло не повлечь грандіозной перемѣны во всемъ крестьянскомъ быту и его психологій. Перемѣна не могла не отразиться на всемъ, что было связано съ крестьянской жизнью. А что съ нею не было связано? Опубликованіе этого предположенія во всеобщее свѣдѣніе казалось почти равносильнымъ возвѣщенію новой эры великихъ реформъ. Въ тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ были сказаны эти слова, они обязывали и не могли остаться словами.

Всѣ ждали дальнѣйшихъ шаговъ; однако ихъ не было. Все оставалось по-прежнему. Ожиданія смѣнились недоумѣніемъ. Витте со своимъ докладомъ попадалъ въ фальшивое и глупое положеніе. Изъ опубликованныхъ воспоминаній Витте мы узнали теперь, что Витте не остался бездѣятельнымъ. Онъ написалъ письмо Государю, текстъ котораго былъ имъ въ мемуарахъ опубликованъ. Онъ ставилъ передъ Самодержцемъ тотъ-же вопросъ, въ болѣе рѣзкой и рѣшительной формѣ, чѣмъ въ росписи; и на это письмо Государь не отвѣтилъ. Витте могъ оцѣнить, насколько его личное вліяніе уже пошатнулось, могъ воочию видѣть, что не такъ легко убѣждать Самодержца, какъ ему это казалось. Онъ могъ понять и пользу общественнаго мнѣнія, хотя бы неподготовленнаго, неумнаго, излишне шумливаго, но небезполезнаго для воздѣйствія на Государя. Но Витте по старой привычкѣ искалъ разгадку своей неудачи въ личныхъ вліяніяхъ. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ былъ тогда Горемыкинъ, несклонный къ широкимъ реформамъ, а въ крестьянскомъ вопросѣ по существу консерваторъ. Свою неудачу Витте приписалъ его отношенію къ этому дѣлу. Въ это время подошелъ эпизодъ съ Сѣверо-Западнымъ земствомъ; въ своей знаменитой брошюрѣ, упрекая Горемыкина за его отношеніе къ земству, Витте не упустилъ случая съ горечью поставить и крестьянскій вопросъ. «Не одни инородцы, пя-

салъ онъ, поставлены внѣ общаго закона и общихъ условій государственнаго порядка. По причинамъ, изложеніе которыхъ повело бы слишкомъ далеко, въ особыхъ условіяхъ поставлена и масса сельскаго населенія -- сословіе крестьянъ. Сходно съ инородцами сельскій обыватель тоже разсматривается, какъ особая группа населенія, сословно обособленная». Плеве сказалъ Шилкову, будто вся записка Витте о земствѣ имѣла цѣлью свалить Горемыкина. Если это правда, то я не сомнѣваюсь, что не «земскіе» взгляды Горемыкина, а именно его отношеніе къ крестьянскому вопросу было причиной Виттевской атаки на Горемыкина, хотя бы эта атака и была приурочена къ введенію въ Сѣверо-Западныхъ губерніяхъ земства. И эта атака увѣнчалась успѣхомъ. Земство въ Сѣверо-Западномъ краѣ не было введено, а Горемыкинъ вышелъ въ отставку. На посту Министра Внутреннихъ Дѣлъ появился Д. С. Сипягинъ. И, какъ это ни удивительно, при немъ дѣло двинулось — но, какъ оказалось, не къ благополучному его разрѣшенію.

В. Маклаковъ.

Устои правового Государства

Еще не так давно парламентское и парламентарное государство не нуждалось въ защитѣ: враговъ у него было сравнительно мало, и каждый разъ, когда самые крупные изъ нихъ замахивались на него, рука ихъ безсильно повисала въ воздухѣ. Теперь же то, что казалось почти аксіомою, стало превращаться въ теорему, и не изъ простѣйшихъ. Парламентъ и парламентаризмъ заколебались подъ ударами, правда не столько мысли, сколько событий, но отъ этого не легче: пусть события не доказательны, зато они показательны и своею наглядностью покоряютъ очень многихъ. И вообще въ судные часы исторіи некогда подводить сколько-нибудь точный балансъ достоинствамъ и недостаткамъ зашатавшагося строя; онъ можетъ рухнуть и съ превышающими долги цѣнностями, если только недочеты его успѣли набить оскомину, изъза которой уже не чувствуется вкуса положительныхъ сторонъ. Да и не принадлежа къ любителямъ брать мѣриломъ оцѣнки одну лишь удачу, нельзя не сказать, что плохи были бы формы государственности, привычно именуемая демократическими, если бы годились для плаванія въ тихую только погоду или при небольшой качкѣ. Наступила поэтому пора дѣятельной обороны такъ назыв. представительнаго образа правленія. И оборона нужна не запальчивая, не пристрастная, а по-судейски вдумчивая; не защитительная рѣчь надобна, хотя бы и блестящая, а необходимъ оправдательный приговоръ. Очередною попыткой послужить вынесенію такого приговора является и моя статья; она не изслѣдованіе, книжные отзвуки въ ней на заднемъ планѣ; она просто — отчетъ гражданина, подведеніе итоговъ жизненнаго опыта и жизненныхъ наблюденій, нѣчто вродѣ того «Отчета судьбы», которымъ когда-то извѣстный судебный дѣятель Боровиковскій началъ подводить итоги своей судейской работы.

Выдающіеся умы спорили, что выше чего: государство ли высится надъ правомъ (какъ училъ Лабандъ въ Германіи), или же право надъ государствомъ (какъ утверждали Градовскій въ Россіи и Краббе въ Голландіи)? Жизнь существенно видоизмѣняетъ этотъ споръ: ей важно не что выше чего, а что должно быть выше чего. И она повелительно требуетъ, чтобы право стояло выше государства, или — другими словами, болѣе подчеркнуто — чтобы не право было на службѣ у силы (власти), а сила была на службѣ у права, т. е. чтобы сила проявлялась не только въ границахъ права (противъ чего не возражалъ и Едлинекъ), но и во имя права и отъ имени его.

Кому демократія дорога не на словахъ, тотъ не долженъ отстаивать ее какъ самоцѣль. Произвольно изгнанному Аристиду не утѣшеніе, что его лишилъ отечества афинскій народъ, а не спартанская герусія и не сиракузскій тираннъ. И что въ такихъ случаяхъ отвѣтить на вопросъ Пушкина: зависѣть отъ властей, зависѣть отъ народа, — не все ли намъ равно? Демократія можетъ быть оправдана какъ только наиболѣе пригодное средство для возможнаго на землѣ воплощенія правового государства.

Правовое — въ строгомъ смыслѣ слова — государство недостижимо, и не потому лишь, что оно идеаль, но также потому, что право не является ни сплошнымъ, ни безграницнымъ: и въ его — разрѣшите мнѣ рѣзкое слово — скважинахъ и за его послѣднюю чертою мы постоянно истрѣчаемся лицомъ къ лицу съ голымъ фактомъ. Но извѣстное — иногда очень замѣтное — приближеніе къ правовому государству не одна мечта: свидѣтель тому хотя бы только новѣйшая исторія Европы. Мало того, — на пути къ правовому государству Европа и ея ученики достигли бы гораздо большаго, если бы не эта постоянная подмѣна цѣли средствами: нельзя безнаказанно твердить о владычествѣ народа вмѣсто того, чтобы говорить и думать о народной защитѣ владычества права.

А для обезпеченнаго — сколько-нибудь твердо — владычества права нѣтъ мѣста тамъ, гдѣ власть (все равно, чья) не извнѣ ограничена правомъ, но лишь сама себя ограничиваетъ имъ. Это — старая, давно сѣдая истина, и безъ ея повторенія не обойтись только потому, что отчасти ее произвольно суживаютъ, примѣривая обычно къ однимъ монархамъ, отчасти оспариваютъ, нападая на формулировку, данную ей Монтескье, впервые выставившимъ

требованіе о раздѣленіи (или — точнѣе — разлученіи) властей въ государствѣ. Печальна судьба Монтескье по смерти, печальнѣе даже посмертной судьбы Колумба. Ихъ обоихъ развѣнчиваютъ, увѣряя, что они повторили зады: Колумба коряты и скандинавскими викингами и французскими моряками (задолго до него бывшими въ Америкѣ, но такъ и не догадавшимися объ этомъ), а Монтескье побиваютъ Аристотелемъ и Полибиемъ (и могли бы побивать еще нашимъ Петромъ I, задумавшимъ передъ смертью отдѣлать судъ отъ администраціи); но притомъ упускаютъ изъ виду, что Колумбъ дѣйствительно первый попытался на практикѣ доказать вѣрность теоріи о шарообразности земли, а Монтескье тоже первый осмыслилъ теоретически, возвелъ въ принципъ наблюденную имъ же англійскую попытку расчлененія государственной власти. Но у Колумба никто не отнялъ того, что именно онъ распахнулъ двери Новаго свѣта для обитателей Стараго, ученіе же Монтескье объявляютъ не Америкой, а Утопіею. Оно, говорятъ, ошибочно фактически, потому что въ Англии такого раздѣленія властей, какое показалось Монтескье, вовсе не было (ни тогда, ни позже), и ложно теоретически, потому что государственная власть едина и не можетъ расщепляться. И рѣдко кто рѣшается признать эти возраженія полыми, безъ сердцевины. А вѣдь они несомнѣнно не стоять на ногахъ. Пусть въ Англии никогда не было и теперь нѣтъ полнаго раздѣленія властей, но развѣ такая ужъ грубая вина додумать то, что не было додѣлано? Неужели фактъ потому лишь, что онъ фактъ, выше мысли, — правда, еще не осуществленной, но такой, неосуществимости которой не доказана ничѣмъ? А то, что государственная власть едина, все же не исключаетъ возможности, что ея единство сложно. И Сѣвероамериканскіе Соединенные Штаты — единое государство, пусть многоединое, но единое. И нѣмцы — единый народъ, хотя онъ тоже многоединъ. Такъ и государственная власть можетъ тройиться, не утрачивая своего единства: она можетъ быть тріединою, какъ тріединъ, напр., русскій или югославянскій народъ. Да и каждая изъ трехъ отраслей тріединой власти бываетъ въ свою очередь единою далеко не просто. Если даже и признавать, что низшіе носители власти заимствуютъ свою компетенцію, какъ бы по уполномоченію, высшихъ (хоть это и очень сомнительно): во всякомъ случаѣ, коллегіальность (и въ парламентѣ и въ судѣ) —

явный показатель сложности, а когда вспомнишь, напр., о русскомъ земствѣ, такъ ужъ тутъ языкъ не повернется сказать, что оно дѣйствовало, будучи къ тому уполномочиваемо правительствомъ. Птицы и въ одиночку и вмѣстѣ поютъ одинаково: каждая сама по себѣ; а людской хоръ тѣмъ и отличенъ отъ птичьяго, что образуетъ новое единство. И напрасно было бы полагать, будто люди возвысились до контрапункта лишь въ музыкѣ: есть контрапунктъ и въ государственномъ общеніи, въ частности — и въ государственномъ властвованіи. Много вреда принесло ученіе о суверенности не только монарховъ, но и государства или народа въ государствѣ; этотъ вымыселъ, не укладывающійся къ тому же въ рамки дѣйствительности, наблюдаемой безъ очковъ — какъ выразился бы Пушкинъ — предразсужденія, заститъ намъ несомнѣнную истину, что въ нѣкоторой степени суверененъ каждый отдѣльный человекъ, и что ни одно государство, ни одинъ народъ не суверенны въ полную мѣру.

Но это лишь къ слову пришлось. А главное въ томъ, что жизнь согласна съ основною мыслью Монтескье: гдѣ правитель законодательствуетъ и судить, тамъ нельзя говорить о прочности правъ гражданъ. И потому, если даже я ошибаюсь, и государственная власть подлинно монолитна, то прійдется лишь дать ей другую конструкцию: тогда и судъ, какъ доказывалъ проф. Тимашевъ на страницахъ «Современныхъ Записокъ», и законодательство должны быть выключены изъ обуженнаго понятія государственной власти: не человекъ для субботы, а суббота для человека, т. е. не жизненные потребности соотнобразуются съ юридическими конструкціями, а юридическія конструкціи надобно создавать по мѣрѣ жизненныхъ потребностей, — не такъ ли?

Необходимость полнаго обособленія законодательства, правительства и суда другъ отъ друга давно бы встала во весь ростъ какъ повелительное требованіе упорядоченной государственности, если бы парламентъ быстрѣе достигъ единодержавія; но онъ долго боролся съ верховною властью (которая, всегда сливаясь съ правительственной, пыталась всюду и при парламентѣ вести себя какъ неограниченная) и лишь медленно, шагъ за шагомъ, ино-

гда съ большими усиліями, ограничивалъ ее. Пока верховная — она же правительственная — власть только умѣрлась народнымъ представительствомъ, а не «медиатизовалась» имъ, до тѣхъ поръ существовало какое-то равновѣсіе, пусть неустойчивое, но все-таки явственно осязаемое; тогда — кстати сказать — и суду было легче оставаться независимымъ. Нѣчто подобное (въ несравненно болѣе слабой, конечно, степени) мы видѣли въ Россіи до объединеннаго кабинета министровъ: въ ту пору взаимная борьба министровъ дѣлала вѣдомства почти независимыми другъ отъ друга, и, въ частности, соревнованіе министровъ юстиціи и внутреннихъ дѣлъ позволяло, напр., прокуратурѣ обороняться отъ административнаго натиска довольно удачно. Но какъ скоро министры у насъ объединились всего лишь въ плохо сплоченный совѣтъ министровъ, то и Столыпинъ счелъ себя въ правѣ гласно угрожать судьямъ отмѣною несмѣняемости, на что ранѣе не отваживался и Дм. Толстой. Такъ вотъ — возвратимся отъ малаго къ большому — и побѣда парламента выявила, что всякое единовластіе тяжело для подвластныхъ, и что у Монтескье было незаурядное умѣнье смотрѣть на зерно и прозрѣвать плодъ, въ который оно можетъ (при благоприятныхъ условіяхъ) и должно (для торжества права) развиться. Борьба властей, ихъ соперничество полагаетъ границы каждой и недостаточно опредѣленно (въ зависимости отъ переменнаго успѣха той или иной) и лишь впродъ до окончательнаго перевѣса одной изъ нихъ надъ остальными, тогда какъ размежеваніе властей, работа каждой въ строго отведенной ей области ставить всѣмъ имъ отчетливый и постоянный предѣлъ, — а это и важно.

Быть можетъ, такое размежеваніе и было бы доведено до конца гдѣ-нибудь въ Европѣ, если бы не страхъ посягнуть на широту дѣятельности парламента: заключить народное представительство въ рамки одной законодательной власти значило бы, повидимому, высвободить въ первую голову правительственную власть изъ-подъ народнаго контроля, а Европа все еще (и не такъ ужъ напрасно, какъ теперь утверждаютъ многіе) держится за парламентаризмъ. Нападки на парламентаризмъ имѣютъ подъ собою ту почву, что онъ чувствительно ведетъ назадъ къ смѣшенію властей: сначала парламентаризмъ поспособствовалъ возвышенію законодательной власти надъ пра-

вительственной, а затѣмъ, съ тѣхъ поръ, какъ законодательный починъ постепенно сталъ сосредоточиваться въ рукахъ кабинета министровъ, набираемаго, въ видѣ правила, изъ наиболѣе видныхъ парламентаріевъ, законодательныя функціи государства постепенно все болѣе и болѣе обслуживаютъ правительственныя заданія, далеко не всегда совпадающія съ общегосударственными задачами. Но парламентаризмъ, хотя — въ настоящемъ его видѣ — и мѣшаетъ претворенію рецепта Монтескье въ жизнь, преслѣдуетъ — или долженъ преслѣдовать — совсѣмъ иную цѣль: не одну законодательную, а всѣ власти нужно держать подъ народнымъ контролемъ. И, слѣдовательно, заокеанскій примѣръ не указъ Европѣ: сперва попытайтесь такъ разобщить власти, чтобы вмѣстѣ съ этимъ было осуществимо, въ мѣру надобности, живое участіе народныхъ представителей особо въ каждой изъ нихъ.

И на самомъ дѣлѣ это можетъ быть осуществлено. Краткая формула для основной части предлагаемаго преобразования такова: два отдѣльных парламента, кабинетъ министровъ безъ министра юстиціи и совершенно независимый судъ съ широкимъ участіемъ выборныхъ засѣдателей.

Не двѣ палаты одного парламента, а два парламента, даже однопалатныхъ: одинъ — законодательный, другой — административный. Законодательный парламентъ могъ бы избираться по пропорціональной системѣ; новые законы надобно издавать въ согласіи съ пословицею: семь разъ примѣръ, одинъ отрѣжь; не бѣда поэтому, если законопроектъ не соберетъ большинства, — значить, новый законъ, въ лучшемъ случаѣ, еще не вызрѣлъ, а мы поживемъ пока и при старомъ законѣ. Чисто административный парламентъ, передъ которымъ только и отчитывались бы министры, долженъ быть, напротивъ, непременно избираемъ по мажоритарной системѣ: если нѣтъ твердаго большинства въ такомъ парламентѣ, кабинету не на что опереться, да и разномастность правителей заставляетъ почти всегда вспоминать о крыловскихъ лебедѣ, ракѣ и щулкѣ. Разсѣченіе парламента надвое не лишитъ кабинетъ законодательнаго почина, который возможно предоставить и суду, и ученымъ коллегіямъ, и даже опредѣленному числу гражданъ; законодательный починъ еще

не законодательная власть, а только способ привести ее въ дѣйствіе (какъ искъ есть способъ привести въ дѣйствіе судебную власть, а не предоставленіе судебной власти истцамъ). Незачѣмъ и воспрещать министрамъ являться въ законодательный парламентъ и давать въ немъ объясненія, отстаивая точку зрѣнія правительства, нельзя лишь предоставлять имъ рѣшающій голосъ: важно, чтобы министры вліяли на законодательное собраніе однимъ убѣжденіемъ, тогда какъ теперь многимъ министрамъ — и по отдѣльности и въ совокупности — бываетъ свойственно въ отношеніи законодательной функціи единаго парламента психологія лѣсковской полады: «Какой это храмъ Божій? Это наша съ батюшкой церковь!» И еще появятся выгодныя послѣдствія раздвоенія парламента: во-первыхъ, отпадетъ искусственное понятіе закона лишь по формѣ, а не по существу; такъ, напр., бюджетъ, объявленіе войны — все это отойдетъ, конечно, къ административному парламенту и, слѣдовательно, не будетъ уже облскаемо въ форму закона; во-вторыхъ, притупится острота безконечныхъ споровъ между противниками и сторонниками мажоритарной или пропорціональной системы выборовъ, а, пожалуй, — и двупалатности или однопалатности парламента.

Не возражайте, что подобнаго порядка нигдѣ нѣтъ. Прямо со втораго раза начать ничего нельзя, и нужно же, чтобы новое было принято гдѣ-либо впервые. Нѣкоторые, однако, признаки разъединенія палатъ уже намѣтились: если теорія не освѣщаетъ путей для жизни, то жизнь, пусть оцупью и наугадъ, все-таки продвигается впередъ, отстраняя верхнюю палату въ иныхъ случаяхъ отъ вмѣшательства въ административную власть; такъ, напр., во-тумъ недовѣрія верхней палаты все чаще почитается не обязывающимъ кабинетъ выходить въ отставку; а въ Англіи права верхней палаты по обсужденію бюджета (не забывайте, — по существу не закона, но административнаго акта) урѣзаны сравнительно давно.

И судебная власть подлежитъ дѣйствительному обособленію. На словахъ почти всѣ за независимый судъ, особенно когда выступаютъ *ex cathedra*; а на дѣлѣ выходитъ далеко не такъ, и это легко объяснимо: самосто-

ятельный судъ насущно нуженъ слабымъ, для сильныхъ же удобнѣе судъ зависимый; конечно, не явно и грубо зависимый — зачѣмъ снимать или перекрашивать уже почтенной давности вывѣску? — нѣтъ, а зависимый прикрито. Отсюда и сохраненіе поста министра юстиціи, этой пуловины, связующей судъ съ администраціей и притомъ такъ, что судъ внизу, а администрація сверху; отсюда повышаемость и награждаемость несмѣняемыхъ судей, не говоря уже объ ограниченіяхъ самой несмѣняемости и даже временныхъ ея отмѣнахъ; отсюда и замѣна общихъ собраній въ судахъ болѣе удобными для воздѣйствія президіумами (въ прямое нарушеніе принципа судейской равноправности); отсюда и стремленіе обособить административную юстицію и нежеланіе покончить со специальными судами (какъ бы это ни оправдывалось, иногда по добросовѣстному недоразумѣнію). Независимымъ — да и то лишь приблизительно — судомъ пользуется во всей Европѣ, видимо, одна Англія.

Покончите со всей этой вредной непослѣдовательностью: 1) Упраздните должность министра юстиціи. Чтѣ сказали бы вы о министрѣ законодательства? Почему же и тотъ, кто неліцемерно стоитъ за судебную самостоятельность, не дивится существованію министра суда? Если, впрочемъ, на рѣзкій разрывъ съ настоящимъ нѣтъ мужества, то въ кабинетѣ министровъ можно, въ видѣ временнаго мѣропріятія, впредь до полнаго упраздненія министерства юстиціи, оставить министра одной прокуратуры, которому бы приличествовало старое наименованіе генераль-прокурора; плохо и это, а все-таки подчиненіе прокурорскаго надзора правительству значительно меньшее зло, чѣмъ самое легкое подчиненіе судей, — особенно меньшее зло при условіи, что отношенія прокуроровъ къ ихъ административному начальству и къ суду будутъ закономъ упорядочены въ интересахъ правосудія, о чемъ, къ сожалѣнію, сказать даже вкратцѣ здѣсь нѣтъ мѣста. 2) При невозможности совсѣмъ отказаться отъ повышения судей, укоротите служебную лѣстницу судейства. Ее можно было бы низвести всего къ тремъ ступенямъ соотвѣтственно тремъ инстанціямъ суда, предоставивъ самимъ судьямъ въ каждой коллегіи выбирать себѣ председателей и председательствующихъ. Только тогда судьи даже первой инстанціи, т. е. самые младшіе, видя передъ собою лишь двѣ ступени, могутъ безъ труда не терять

достоинства въ ожиданіи повышенія; только тогда предсѣдатели судебныхъ мѣстъ будутъ подлинно «первыми между равными», а не прикровенно начальствующими, будутъ послами отъ судовъ къ правительству, а не послами правительства въ судахъ. 3) Поставьте движеніе и по этой укороченной лѣстницѣ въ зависимость не отъ одной властной руки. Напр., можно было бы пополнять суды (единоличные и коллегіальные) первой инстанціи (изъ младшихъ судебныхъ чиновъ, доцентовъ права, молодыхъ адвокатовъ, товарищей прокурора, юрисконсультовъ) и второй инстанціи (изъ судей первой инстанціи, профессоровъ права, адвокатовъ и прокуроровъ) по третью, такъ чтобы треть судей назначалась правительствомъ, треть выбиралась соответствующей судебной коллегіей и треть — органами мѣстнаго самоуправления, высшій же судъ (изъ судей второй инстанціи, профессоровъ права и адвокатовъ, а также прокуроровъ второй инстанціи, если они будутъ сохранены) на треть путемъ кооптаціи, на другую — избраніемъ на адвокатскихъ сѣздахъ и на послѣднюю — правительственнымъ назначеніемъ. Предложеніе мое, какъ и всякое, оспоримо, но въ немъ бьется живая мысль: съ одной стороны, соперничающіе «поставщики судей» будутъ уже изъ самолюбія болѣе осмотрительны въ своемъ выборѣ, чѣмъ обыкновенно бываетъ «монополистъ» (кому пріятно, что судьи, имъ облюбованные, оказываются хуже прочихъ?), а съ другой — едва ли вѣроятно, чтобы хорошей и дѣятельной юристъ, не желающей и не умѣющей поступаться своимъ «вѣрую» ни въ чье угожденіе, былъ отвергнутъ всѣми соперничающими (и потому ищущими лучшаго кандидата) группами избирателей. Отъ народныхъ выборовъ судей приходится отказаться, по крайней мѣрѣ тамъ, гдѣ ихъ еще не было: въ отличіе отъ парламента, нѣмыхъ клавишъ въ судѣ нѣтъ (дѣятельнымъ долженъ быть каждый судья), да и перевыборы (непременный коррективъ общенародныхъ выборовъ) — грубое нарушеніе судебской несмѣняемости; не говоря о якобы демократическомъ, въ дѣйствительности же упраздняющемъ независимый судъ правѣ отозванія судей до срока, одна возможность не быть переизбраннымъ въ свой срокъ безъ вины ставить судью въ зависимое положеніе, а отъ кого бы судья ни зависѣлъ, онъ уже не судья, не только потому, что можетъ по человѣческой слабости въ томъ или въ другомъ

случаѣ послужить рупоромъ чужому властному голосу, но и потому, что его даже ошибочно можетъ общественное мнѣніе счесть за такой рупоръ: суду, какъ и женѣ Цезаря, губельно одно подозрѣніе. Мѣстное самоуправленіе значительно пригоднѣе для судебныхъ выборовъ: его членамъ многіе дѣятели становятся извѣстными, и потому выборы въ органахъ мѣстнаго самоуправления производятся не новсе вслѣбую, такъ что судей можно тамъ выбирать и безсрочно (хотя бы только, если ужъ требовать особой осторожности, при вторичномъ избраніи); но и самоуправленіе не должно выбирать въ высшій судъ: оцѣнить судью, разбирающаго дѣла по существу, въ состояніи каждый, у кого сердце и голова на мѣстѣ, оцѣнка же судьи какъ незауряднаго юриста неспециалистамъ недоступна. Кому эти сужденія покажутся по привычкѣ противудемократическими, тотъ обязывается передъ самимъ собою, во имя добросовѣстности, подумать надъ слѣдующими безспорными фактами: въ Сѣвероамериканскихъ штатахъ федеральные суды качественно неизмѣримо выше судовъ тѣхъ штатовъ, гдѣ судей выбираетъ народъ, и въ Швейцаріи выборы судей въ кантональныхъ совѣтахъ приводятъ къ лучшимъ послѣдствіямъ, чѣмъ выборы всѣмъ населеніемъ, а въ Англии, гдѣ выборныхъ судей всего одинъ, правосудіе отъ того не страдаетъ, да и демократія не колеблется.

Что касается народнаго участія въ судѣ, то оно можетъ быть обезпечено въ достаточной степени: довольно указать на присяжныхъ засѣдателей. Какъ на нихъ ни нападаютъ даже убѣжденные демократы, достоинства этой формы суда для непредвзятаго наблюденія значительно перевѣшиваютъ недостатки (неизбѣжные во всемъ человѣческомъ), и нельзя сомнѣваться, что, по мѣрѣ роста самосознанія въ широкихъ народныхъ кругахъ, суды съ присяжными засѣдателями будутъ вводиться тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ, возстанавливаться тамъ, гдѣ отъ нихъ отказались, и расширять свою компетенцію тамъ, гдѣ существуютъ и теперь. Я бы остановился и на вопросѣ о присяжныхъ въ гражданскихъ отдѣленіяхъ судовъ, если бы не помнилъ, что пишу сейчасъ не для судей. Но и на страницахъ общей печати нельзя вовсе не коснуться вопросовъ о выборахъ присяжныхъ засѣдателей и оплатѣ ихъ судебного труда, хотя бы лишь ограничиваясь указаніемъ, что

оба вопроса очень важны и ждут неизмѣримо болѣе чуткаго къ себѣ вниманія, чѣмъ обычно имъ удѣляется.

Иной, нежели въ лицѣ засѣдателей (правильно избираемыхъ и правильно оплачиваемыхъ) прикосновенности народа къ суду, особенно гласному и публичному, ненадобно: судебное рѣшеніе подобно звуку рояля, умирающему, едва родившись, — оно несетъ въ себѣ самоограниченность, потому что касается только причастныхъ къ данному дѣлу лицъ; напротивъ, законъ всегда, а правительственное распоряженіе зачастую уподобляются произвольно длимымъ звукамъ скрипки, — они захватываютъ неопредѣленно большой кругъ лицъ: оттого и народное участіе въ законодательствѣ и администраціи должно выражаться напряженіемъ.

Окончательное раздѣленіе государственной власти на трое неизбежно тамъ, гдѣ искренно хотятъ дать какъ можно болѣе простора силѣ права, а не засилью правящихъ. Развѣ бы мыслимо было удалить президента республики по волѣ новаго парламентскаго большинства, если бы оно достигло власти только административной, при полной обособленности властей законодательной и судебной? Пусть бы одновременно то же большинство оказалось и въ законодательномъ парламентѣ, но и тогда удаляемый президентъ могъ бы обратиться къ суду. Лишь тѣ, кто чувствуютъ себя хозяиномъ во всей области тріединной власти, не въ однихъ мысляхъ, а и на дѣлѣ руководствуются правиломъ: *mea voluntas — suprema lex*.

Основная часть предносящагося мнѣ преобразования по пути къ правовому государству изложена; хоть и въ скомканномъ видѣ (за недостаточностью мѣста), но изложена. Однако, и не вдаваясь въ подробности — не послѣдняго даже разбора, — нельзя удовольствоваться сказаннымъ.

Не только открытые приверженцы диктатуры, но также и тѣ, кого Роменъ Роланъ называлъ демократами по мыслямъ и деспотами по темпераменту, съ величайшимъ одушевленіемъ твердятъ, что нельзя ослаблять власть. Особенно теперь часто слышны вздохи по «сильной власти». И дѣйствительно — власть должна быть сильною. Но произволь, хотя бы и благодѣтельный (на чью лишь

оцѣнку?), не та сила, которая нужна государственной власти. Если правитель встрѣчаетъ послушаніе своимъ законнымъ распоряженіямъ или не можетъ дѣйствовать съ пользою для государства безъ расширения своихъ полномочій, то судья накажетъ ослушника, а законодатель издастъ соответствующій новый законъ, постоянный или временный; если же ни судья не накажетъ того, кого администраторъ счелъ ослушникомъ, ни законодатель не почтетъ необходимымъ измѣнять существующіе законы, то почему предполагать, что правъ администраторъ, а не судья, не законодатель?

Возраженія этого рода противъ дѣйствительнаго расчлененія властей всего страннѣе слышать изъ устъ лицъ, которыя, опасаясь гарантій противъ произвола властвующихъ, ничего не предпринимаютъ для такого усиленія ихъ полномочій, какое — что бы по этому поводу ни было принято думать — вполне возможно въ границахъ правового строя. Мы тутъ вплотную подошли къ вопросамъ о главѣ государства и о взаимоотношеніи партій и членовъ парламента.

Сначала — нѣсколько словъ о главѣ государства. Участвовать въ спорѣ монархистовъ и республиканцевъ я не думаю и лишь позволяю себѣ предложить тѣмъ и другимъ отвѣтить на мое недоумѣніе: почему считаютъ, что Англія и Франція вновь оказались монархіями съ того только времени, когда на англійскій престолъ вступилъ Карлъ II, а Наполеонъ I провозгласилъ себя императоромъ французовъ, хотя еще ранѣе Кромвель сталъ пожизненнымъ и потомственнымъ лордомъ-протекторомъ, Наполеонъ же пожизненнымъ и потомственнымъ первымъ консуломъ? Но такъ или иначе, а главное вотъ въ чемъ: поскольку власть не сосредоточена въ одномъ фокусѣ, а расчленена, постольку нужно, чтобы три стѣны государственнаго зданія вѣнчалъ, ради достиженія единства (тріединства) власти, общій куполь; объединителемъ не можетъ или — вѣрнѣе — не долженъ быть ни глава правительства (Эстонія тутъ явно ошиблась), ни предсѣдатель законодательнаго парламента, ни предсѣдатель высшаго суда, чтобы не было гибельнаго для правопорядка смѣшенія властей подъ главенствомъ одной. Остается, слѣдовательно, прибѣгнуть къ особой надстройкѣ, которая въ значительныхъ сколько-нибудь государствахъ единолична. Но лицо это лишь тогда окажется на своемъ мѣстѣ, когда

будетъ не только надпартийно, но и надвластно: не о верховной власти (четвертой? первой изъ четырехъ?) надлежитъ говорить, а о верховномъ согласованіи (трехъ) властей. Ключъ государственнаго свода, глава государства (но не глава правительства) долженъ, смотря на все, ни на кого не оглядываться, долженъ быть надо всѣмъ — безъ исключенія — въ государствѣ, а потому: 1) если онъ выборный, его нужно выбирать, вопреки распространенному взгляду, всѣмъ народомъ, а не въ законодательныхъ палатахъ или иныхъ специальныхъ собраніяхъ этого же рода (не только Гинденбургу въ Германіи, гдѣ еще сильны старые навыки, но и Хуверу, въ странѣ искони республиканской и демократической, новое правительство и не подумало бы предложить въ отставку) и 2) если онъ избранъ на срокъ, его нельзя переизбирать (иначе онъ уже неизбежно и не всегда по совѣсти будетъ соотносить свои дѣйствія съ тѣми, кто ему помогъ при первомъ избраніи и можетъ помочь при второмъ). «Не править, а лишь царствовать»; эта формула применима — и съ большимъ правомъ, чѣмъ къ английскому королю — ко главѣ правового государства, который, не вмѣшиваясь въ дѣла правленія, будетъ лишь согласовать столкновения трехъ властей. Функція дирижерская и, слѣдовательно, существенно важная, прямо необходимая для устранения разнобоя, т. е. для усиленія всей тріединой власти въ ея цѣломъ.

Теперь — приблизительно такъ же бѣгло — о народныхъ представителяхъ въ парламентахъ. За послѣднее время опять побѣждаетъ старое ученіе о «народномъ мандатѣ»: депутаты, отправляя свои обязанности, должны «сформировать волю пославшаго ихъ» народа; за неясностью же воли избирателей (при тайномъ голосованіи остающихся неизвѣстными), на дѣлѣ депутаты оказываются связанными волею тѣхъ партій, къ какимъ они принадлежатъ; уже кое-гдѣ есть законы, въ силу которыхъ членъ парламента, избранный по спискамъ данной партіи, лишается своихъ полномочій, если вышелъ изъ этой партіи. Мѣра демократическая, по мнѣнію многихъ. А я здѣсь вижу неумѣстную приватизацію публичноправныхъ отношеній: народный избранникъ приравнивается къ повѣренному въ частной жизни, къ приказчику, не выходящему изъ воли хозяина. Это демократично лишь на первый и разсѣянный взглядъ: черезъ голову депутата править будто самъ на-

родъ, т. е. разрѣшается задача непосредственнаго или почти непосредственнаго народоправства и въ значительныхъ государствахъ безъ превращенія народа въ толпу. Но въдѣ народъ (общее) тутъ подмѣнивается партією (частнымъ), и потому въ парламентѣ повторяется въ большихъ размѣрахъ то явленіе, которое съ болью приходилось наблюдать всякому, кто бывалъ суперъ-арбитромъ въ третейскихъ судахъ: третейскіе судьи сторонъ чувствуютъ себя не судьями, а адвокатами — каждый извѣщая его стороны и, даже думая по-судейски, голосуютъ по-адвокатски (вслѣдствіе чего — кстати сказать — и суперъ-арбитръ вынужденъ дѣйствовать не по-судейски, а дипломатически); поэтому нельзя достаточно похвалить нашъ (старый уже теперь) уставъ гражданскаго судопроизводства, который для всѣхъ судей въ формальномъ третейскомъ судѣ требовалъ избранія обѣими сторонами. Во сколько же разъ прискорбнѣе, когда общее подмѣняется частнымъ въ парламентѣ, т. е. въ государственномъ масштабѣ. Да въдѣ и впрямь депутатовъ избираетъ не (политическая) партія и не (профессиональный) союзъ, а народъ, хотя бы и по рекомендаціи партіи (или иного объединенія), и, разъ избранные, они становятся, должны становиться, не могутъ не становиться (во имя общегосударственныхъ интересовъ) избранными не только организаций, помѣстившихъ имена ихъ въ кандидатскіе списки, не только голосовавшихъ за нихъ (повторяю, остающихся неизвѣстными), но и всего народа; волю же всего народа узнать нельзя въ отличіе отъ воли довѣрителя и хозяина, а потому приходится руководствоваться не общенародною волею (чѣмъ-то неуловимымъ), а общенародною выгодой, тою, которая можетъ и должна выпасть на долю народа и государства въ цѣломъ. Чѣмъ же пониманіемъ этой выгоды обязанъ руководствоваться депутатъ? Своимъ, по своей совѣсти, по своему разумѣнію, или указкою со стороны, хотя бы и отъ своихъ? Вопросъ не существуетъ, когда депутатъ согласенъ со «своими» не только «за страхъ», но и «за совѣсть». Однако, въ рѣдкихъ, но почти всегда важныхъ случаяхъ расхожденія «совѣсти» и «страха» (который стыдливо называется дисциплиною) острота вопроса сказывается всюю. Вы спросите: какъ же можно депутату голосовать противъ проводимой его партіи? Вы скажете: въдѣ въ сущности выбрали не его, а партію. Поскольку такой способъ выра-

женія только красивый оборотъ рѣчи, спорить не о чемъ; но непременно нужно спорить, если въ эти слова вложить юридически значимое содержаніе. Сопоставьте: образъ правленія — парламентскій, выбираютъ партію, а она, какъ таковая, въ парламентъ не входитъ. Что же это такое? Члены парламента маріонетки-ли, нити отъ которыхъ идутъ за парламентскія кулисы? Одно изъ двухъ: если избирали партію, пусть она и правитъ за свою отвѣтственностью, а если выбирали, хотя бы и по партійнымъ спискамъ, отдѣльныхъ лицъ въ парламентъ, править долженъ парламентъ за отвѣтственностью депутатовъ, какъ своихъ членовъ; для того же, чтобы отвѣчать за то или иное рѣшеніе, нужно, чтобы оно было принято свободно, не по внѣшнему принужденію. Воля партій, конечно, не отменяется совѣмъ, а дѣйствуетъ и въ этихъ условіяхъ, но уже *impregio rationis, non ratione impregii*. Такое положеніе депутатовъ диктуется практическими заданіями: и парламентъ необходимъ властный, а гдѣ же говорить о власти парламента, если кабинетъ министровъ подаетъ въ отставку, не выжидая парламентскаго вѣтума, только потому, что уже вынесена неблагоприятная для кабинета резолюція сѣзда партіи или блока партій! Но и теоретически легко осмыслить свободу депутатовъ отъ навязыванія непріемлемыхъ для ихъ разума и совѣсти партійныхъ директивъ: всякій мандатъ обращается къ субалтерну, къ низшему (выборъ въ области частнаго права), а носитель власти (хотя бы и избранный) — не низшій, а высшій, правящій или законодательствующій или судящій, отнюдь не партійный *porte-voix*, если и партійный (какъ это бываетъ почти всегда) единомышленникъ (таковъ выборъ въ области публичноправныхъ отношеній). Правовое государство и демократія, какъ средство его достичь, не анархія и не имѣетъ основаній бояться сильной власти: тупою бритвою обриться нельзя, и лучше обходиться вовсе безъ власти, чѣмъ тратиться на власть, зависимую отъ вліяній, не вмѣщающихся въ рамки государственныхъ учреждений, а потому и слабую и фактически безотвѣтственную. Пора призадуматься надъ тѣмъ, что о диктатурѣ мечтаютъ не одни самоуправцы, но и тихіе обыватели, истосковавшіеся (и въ этомъ ничего нѣтъ позорнаго) по твердой власти и лишь не понимающіе, отчасти по винѣ плохой дѣйствительности, что

и въ правовомъ государствѣ власть можетъ быть сильною, и что только тамъ она можетъ быть сильною безъ произвола.

Я и сейчасъ не кончилъ. Еще недавно, отстаивая обезпеченный правопорядокъ отъ возможности или, по крайней мѣрѣ, отъ легкой возможности всяческихъ его расквашиваній, допустимо было бы, пожалуй, въ краткомъ очеркѣ ограничиться предложеніемъ дѣйствительнаго расчлененія тріединой государственной власти, верховной надстройки надъ ея обособленными вѣтвями и раскрѣпощенія депутатовъ. Но теперь этого положительно мало.

Хорошъ былъ старый обычай такъ назыв. декларацийъ правъ, нынѣ отчасти воскресаемый нѣкоторыми новѣйшими конституціями (порою, впрочемъ, неудачно). Въ декларацияхъ и въ хартіяхъ этихъ много было висящаго въ воздухѣ и напыщеннаго (отъ чего, однако, не свободны иной разъ и заурядные законы): но есть и выигрышная сторона: онѣ вводили въ берега позднѣйшее ежедневное законодательство, указывая ему главные линіи, и позволяли по себѣ, какъ по камертону, судить о вѣрности звука отдѣльныхъ законодательныхъ актовъ. Пусть онѣ выполняли свой замыселъ неполнѣ умѣло, пусть ихъ названія были слишкомъ приподнято-торжественны, — дѣло не въ томъ: довольствуйтесь конституціонными, основными законами, лишь выдѣлите въ нихъ отчетливо особый отдѣлъ для крѣпкихъ свай данной государственности, требующихъ исключительно бережнаго къ себѣ отношенія и потому не могущихъ раздѣлять судьбу не только рядовыхъ законовъ, но и многихъ частей конституціи. Государственные устои не являются, конечно, неизмѣнными, но и не должны быть измѣнчивыми: для измѣненія и отмѣны ихъ надобно указать особый порядокъ, который бы охранялъ ихъ отъ порывистыхъ поворотовъ политическаго вѣтра.

Такихъ свай, держащихъ на себѣ ту или иную государственность, вездѣ и всегда будетъ немного. И нуженъ тщательный отборъ, чтобы не перегрузить постановленіями соответствующій раздѣлъ законодательства. Но, поскольку государство притязаетъ быть правовымъ, среди нихъ — къ тому и шла моя рѣчь — непременно должно найти

мѣсто принципиально, наконецъ, осознанно и чеканно выраженное положеніе о приобретенныхъ частныхъ правахъ.

Не съ насъ началось, не нами, къ сожалѣнію, и кончится отрицаніе важности раздвоенія права на публичное и частное. Юристы съ большими именами давно уже отказывались признавать: кто — теоретическую возможность обосновать такое дѣленіе, кто — практическую необходимость удерживать его. И чѣмъ ближе къ намъ, тѣмъ рѣшительнѣе звучатъ эти голоса: если Антонъ Менгеръ полагалъ, что разграничить частное право отъ публичнаго нельзя будетъ въ социалистическомъ государствѣ, то новыя знаменитости растворяютъ частное право въ публичномъ уже теперь, а есть и ученые, которые заявили о будто бы происшедшемъ на нашихъ глазахъ полномъ сліянніи обоихъ правъ. Большевики въ годы военнаго коммунизма, казалось, дѣйствительно покончили съ частными правами, но съ нѣпомъ эти якобы совѣмъ исчезнувшія права, какъ Іона, снова появились на свѣтъ Божій. Последнее время мы присутствуемъ при вторичномъ и болѣе свирѣпомъ натискѣ большевиковъ на крѣпость частнаго права, успѣвшаго возстановиться въ СССР почти явочнымъ порядкомъ. Утвержденіе, что опять большевицкая побѣда надъ частноправною свободой окажется непродолжительною, звучитъ пока недоказательно; однако, можно и сегодня увѣренно сказать, что большевики на опытѣ обнаружили огромное для свободы гражданъ значеніе самаго существованія частнаго права: туго приходилось населенію Совросіи при отсутствіи даже начатковъ раздѣленія властей и народнаго представительства, но полное рабство настало лишь съ подавленіемъ частноправныхъ отношеній (какъ правъ по имуществу, такъ и правъ личности). Это и не удивительно. Частное право не есть, конечно, средство угнетенія слабыхъ сильными (какъ голова не есть средство для головной боли); частное право не есть и право отдѣльной личности, противопоставляемой коллективу (потому что всякое право начинается съчетъ не съ единицы, а съ двухъ, т. е. требуетъ для своего возникновенія, по меньшей мѣрѣ, двухъ субъектовъ). Какъ бы и кто бы ни сомнѣвался въ томъ, но частное право есть совокупность нормъ, регулирующихъ отношенія членовъ гражданскаго общества, тогда какъ публичное право есть совокупность нормъ, регулирую-

щихъ отношенія въ государственномъ общеніи. Гражданское общество отличается отъ государства тѣмъ, что государство является единствомъ, стоящимъ надъ отдѣльными лицами и обладающимъ согласованностью воли, а общество не единство, оно — заимствую терминъ у П. Б. Струве — система, сочетаніе лицъ, стоящее рядомъ съ каждымъ его участникомъ и отмѣченное перекрещиваніемъ воли. Лицо, взятое обособленно, входитъ не только въ союзъ государственный по началу подчиненія (субординаціи), но одновременно и въ союзъ общественный по началу сочетанія (координаціи); графически первыя отношенія могутъ быть изображены чертою вертикальною, а вторыя — горизонтальною. Общество образуютъ тѣ же лица, что и государство; общественный союзъ повседнѣе и ближе къ отдѣльному лицу, чѣмъ государственный: выбирать покупку приходится чаще, чѣмъ выбирать депутатовъ, а сдавать въ наемъ приходится чаще, чѣмъ судиться изъ-за отношеній по найму. Государство, правда, обладаетъ большею мощью, что объясняется его организованностью, тѣмъ, что оно единство, а не система; но и общество достаточно сильно, восполняя отсутствіе организованности и отмѣченною выше своею насущностью, корнями уходящею въ подпочвенную глѣбъ, и своею междугосударственностью (торговымъ и общегражданскимъ общеніемъ черезъ границы каждаго даннаго государства). Индивидуумъ, входя разомъ въ эти два коллектива, тѣмъ вѣрнѣе обезпечиваетъ себѣ извѣстные (въ общемъ довольно устойчивые) предѣлы индивидуальной свободы (я бы сказалъ: личнаго суверенитета, — чтобы снова подчеркнуть относительность суверенитета государственнаго), чѣмъ труднѣе поставить общество въ простую подчиненность государству. Поглощеніе государства обществомъ — крайность анархической мысли, поглощеніе общества государствомъ — крайность мысли большевицкой. Нельзя отрицать, что на почвѣ частноправной свободы произрастаютъ ядовитые цвѣты личной корысти и засилья имущихъ; но если не забывать большевицкаго урока и считаться съ тѣмъ, что эта частноправная свобода есть стебель правового государства, въ которомъ парламентскій строй является уже цвѣтеніемъ, то расправу со злоупотребленіями — частноправною свободой путемъ ея уничтоженія надлежитъ почесть чѣмъ-то въ родѣ дѣченія головной боли гильотиною. Для обузданія

корысти и угнетения въ области частнаго права вполнѣ достаточно: 1) упорядоченнаго публичноправнаго воздѣйствія на частноправниа отношенія и 2) исправленія межъ, отдѣляющихъ теперь частное право отъ публичнаго; оба эти средства ничуть не ведутъ къ растворенію частнаго права въ публичномъ: 1) публичноправное воздѣйствіе на частноправниа отношенія допустимо не ради замѣны частноправной горизонтали публичноправною вертикалью, а лишь постольку, поскольку надобно рѣшительно пресѣчь частныя попытки приподнять эту горизонталь за конецъ, гдѣ стоитъ сильнѣйшій, стремящійся превратить ее если не въ вертикаль, то въ болѣе или менѣе крутую наклонную, и 2) измѣненіе границъ частнаго права иногда не поведетъ даже къ уменьшенію площади частноправниыхъ владѣній.

Было бы очень прискорбно не вывести изъ даннаго большевиками всѣмъ намъ урокъ пригоднаго для ближайшаго будущаго заключенія. Жаль будетъ, если выяснившаяся живая связь частнаго права съ гражданскою свободою не научитъ насъ ничему, если мы порабощеніе личности въ СССР припишемъ однимъ злоупотребленіямъ совѣтской власти, а не изначальной порочности самаго заданія. Я, по крайней мѣрѣ, не могу теперь же не ратовать за внесеніе въ особо забронированный раздѣлъ основныхъ законовъ того правила, что новому закону не только судья, но и самъ законодатель не можетъ придать обратную силу, если законъ въ такомъ случаѣ поразитъ бы приобрѣтенныя частныя права, не изъемя притомъ ихъ объекта изъ частнаго обладанія вообще. Могутъ сказать, что мой проектъ съ «буржуазнымъ» или — еще хуже — «реакционнымъ» привкусомъ. Но онъ, во-первыхъ, касается не однихъ имущественныхъ правъ, а — что гораздо важнѣе — и правъ личности, и, во-вторыхъ, не препятствуетъ изытію того или иного объекта изъ области частноправниыхъ отношеній, а лишь не дозволяетъ примѣнять заднимъ числомъ новый законъ къ отдѣльнымъ лицамъ и отдѣльнымъ группамъ. Нарочно поясню свою мысль рѣзкимъ примѣромъ: лишить кого-либо должности по государственной службѣ возможно безразлично и закономъ о полномъ упраздненіи всѣхъ такого рода должностей и закономъ объ упраздненіи только одной должности этого лица, т. е. путемъ сокращенія штатовъ, потому что соответственное право не есть частное и, слѣ-

довательно, не принадлежитъ къ числу приобрѣтенныхъ; а лишить кого-либо права на его работу допустимо только закономъ объ упраздненіи самаго института рабства; конечно, отмѣняя рабство, государственная власть тѣмъ въ конечномъ счетѣ нарушаетъ частныя приобрѣтенныя права отдѣльныхъ рабовладѣльцевъ, но здѣсь нѣтъ непосредственнаго вторженія въ права именно даннаго лица или данныхъ лицъ; здѣсь эти права отпадаютъ лишь во второй, производной линіи, за исчезновеніемъ того основанія, на которомъ они покоились. Значитъ ли все это защищать рабовладѣніе? Нѣтъ, это значитъ запрещать сводить счеты съ отдѣльными рабовладѣльцами.

И все-таки я еще не у самаго конца. Не только недостатки современнаго намъ правопорядка, нашедшаго себѣ оформленіе въ положительномъ правѣ, но также — и, пожалуй, еще болѣе остро — недочеты современной государственной практики отпугиваютъ рядовыхъ обывателей отъ того, что мы привычно именуемъ демократіею. Анатолий Франсъ недаромъ утверждалъ, что слова «liberté, fraternité, égalité», всѣмъ во Франціи примелькавшіяся на фронтонахъ зданій присутственныхъ мѣстъ, на современномъ языкѣ такъ и должны переводиться: «присутственное мѣсто», не болѣе того. Какъ ни связана форма съ содержаніемъ, но, за его оскуднѣніемъ, въ нее можно влить не мало и чуждаго ей, пока всѣ эти примѣсы не разъѣдятъ ее хуже ржавчины. Нетерпимость къ мнѣніямъ и вѣрованіямъ другихъ, присвоеніе себѣ безусловнаго и исключительнаго господства надъ мыслью людей и убѣжденіями гражданъ, неуваженіе къ закону и человеческой личности, непотизмъ, преподносимый мѣста и почести, по выраженію Романа Ролана, «сыновьямъ, племянникамъ, внукамъ и лакеямъ правителей», встрѣчаются, конечно, при всякомъ образѣ правленія. Встрѣчается всюду и демагогія, а не въ однихъ парламентарныхъ государствахъ. Развѣ, напр., и примѣняющій силу не воленъ прибѣгнуть къ хитрости? Для того, чтобы объявить войну Россіи, императору Вильгельму II не было надобности ни у кого спрашивать, а тѣмъ не менѣе онъ считъ нужнымъ оправдывать свое рѣшеніе и говорить демагогическія рѣчи къ на-

роду и войскамъ. Хотя и вѣрно, впрочемъ, что демагогія въ особенности процвѣтаетъ именно при демократіи, но и это въ глазахъ спокойнаго наблюдателя демократію, какъ лучшее до сихъ поръ средство для приближенія къ правовому государству, опорочить не можетъ, и вотъ почему. Думали ли вы объ изнанкѣ человѣческаго общежитія на различныхъ ступеняхъ историческаго развитія? Возьмите одинъ клочекъ изнанки, касающійся отношеній между людьми по имуществу, и вы получите такую крапкую формулу: разбойникъ, грабитель, воръ, мошенникъ, червонный валетъ, вовлекатель въ невыгодныя сдѣлки. Было бы справедливо упрекать строй за то, что онъ даетъ широкое мѣсто обману, не прежде чѣмъ установивъ, что мѣсто это расширилось за счетъ честнаго подхода къ людямъ, а не за счетъ другихъ, еще болѣе грубыхъ оказательствъ давленія на чужую личность. Но потерявшему и обездоленному не до спокойныхъ наблюденій и сравненій, а всѣ такіе минусы для государства, стремящагося быть правовымъ или даже только прикрывающагося этою вывѣскою, губительнѣе, чѣмъ для другихъ: и потому, что неуваженіе къ человѣческой личности, вопія противъ выставленныхъ правовымъ строемъ лозунговъ, тѣмъ самымъ по всей видимости обличаетъ его въ лицемеріи, и потому, что правовой строй менѣе, нежели всякій иной, способенъ по самому своему существу скрывать свои недостатки. И выходитъ такъ: общая политическая деморализація (которую — кстати опять напомнимъ — мы видѣли и не въ однихъ парламентарныхъ государствахъ) идетъ сверху, а снизу откликается зловѣщими отголосками: «учителя начинаютъ внушать ученикамъ пренебреженіе къ власти и равнодушіе къ отечеству, на почтѣ жгутъ письма и депеши, рабочіе портятъ машины, взрываютъ арсеналы, поджигаютъ суда въ докахъ, короче — начинается чудовищное расточеніе произведеній труда самими же трудящимися, уничтоженіе не богачей, а богатства, не упраздненіе (данной) власти, а самоубійство народа (государства)». Я бы, думается, не рѣшился такъ рѣзко выразиться своими словами, но соблазнился выписать ихъ изъ произведенія автора, который стоитъ внѣ подозрѣній въ «правомъ уклонѣ»: въ третій разъ мнѣ приходится назвать Романа Ролана. Вѣдь не только Франціи и не только довоенной Франціи касается жуть этихъ выразительныхъ словъ; гдѣ бы и когда бы ни забыли наверху,

что не одна республика, а всякое государство — *res publica*, т. е. общее дѣло, снизу сейчасъ же перестаютъ въ это вѣрить. Тутъ и кроется корень возможныхъ золь, пожалуй, уже близкаго будущаго. Недочеты самаго строя, даже и существенные, могли бы, пожалуй, еще сойти, если бы не угасаніе духа. И такой бѣдѣ одними законами не помочь. Правовой строй — оболочка; конечно, чѣмъ она совершеннѣе, тѣмъ отчетливѣе обрисовывается понятіе превышенія власти какъ преступленія не передъ высшими правителями, а передъ управляемыми; уже и это важно; однако, и безъ превышенія власти возможно использование ея во зло или просто плохое ея использование; мало правовой оболочки, а нужно наполнить ее дѣйственнымъ содержаніемъ, нравственнымъ горѣніемъ; если же оно гаснетъ подъ утомительно однообразный шумъ сѣрыхъ будней государственности, то преобразованія должны быть озарены непремѣнно еще преображеніемъ, или цѣль преобразованій окажется недостигнутой даже и въ половину.

Уцѣлѣетъ ли представительный строй въ ближайшее время, — какой пророкъ безошибочно предскажетъ? Можно только съ увѣренностью утверждать, что онъ не умретъ: если форма не изжила себя и способна къ развитію, а становится ненужною за оскуднѣніемъ содержанія, то она не гибнетъ совсѣмъ, а лишь отстраняется, хранясь про запасъ до лучшихъ временъ; такъ было съ римскимъ гражданскимъ правомъ, съ судомъ присяжныхъ, съ состязательнымъ процессомъ. Но для современниковъ и храненіе про запасъ равносильно окончательному упраздненію. И людямъ, привыкшимъ жить по римскому праву, не было бы, разумѣется, утѣшеніемъ даже навѣрное знать, что замѣнившія его *leges barbarorum* не вѣчны, и что римское право когда-то въ будущемъ опять завоюетъ міръ. Ближайшая же судьба представительнаго строя зависитъ: 1) въ случаяхъ, когда столкновеніе съ его врагами (какъ бы они ни назывались и по какую бы сторону отъ правительства ни стояли) еще только готовится, — отъ того, сумѣютъ ли властвующіе въ согласіи съ большинствомъ дѣйствительнаго меньшинства гражданъ предупредить это столкновеніе и притомъ не одними лишь замедляющими палліативами, а рѣшительными преобразованіями въ духѣ истиннаго правового уклада, и 2) въ слу-

чаяхъ, когда наскокъ на власть отраженъ. — отъ того, сумѣють ли побѣдители использовать побѣду не ради своего торжества, а ради лучшаго воплощенія правопорядка.

Статья кончена; правда, цѣною чрезмѣрно укороченнаго изложенія, а порою и полнаго умолчанія (трудно, какъ выражаются англичане, подать быка въ чайной чашкѣ), но кончена. И все же безъ послѣсловія не обойтись.

Разсужденія о правовомъ государствѣ теперь многими — и отнюдь не крайними правыми — почитаются несвоевременными; говорятъ: все равно, диктатура въ той или иной формѣ неизбежна. Смѣю думать, что неизбежности нѣтъ; люблю повторять за Герценомъ о растрепанной импровизаціи исторіи и твержу, что будущее, если и входитъ къ намъ въ одну дверь, то стучится во многія. Но пусть я въ этомъ ошибаюсь, — и тогда можно сказать: только законопроектамъ нужна своевременность, а съ мыслями о развитіи правового строя дозвоительно и поторопиться, хотя бы въ противовѣсъ учающемуся проповѣдыванію диктатуры, которое вреднѣе, чѣмъ самая диктатура. Звать диктатора нечего: диктаторъ самъ, и не спросившись ни у кого, приходитъ. Но оправдывать не данную диктатуру по ея дѣламъ, а диктатуру вообще и впередъ — по меньшей мѣрѣ неблагоприятно. Легче понять тѣхъ, кто въ предвидѣніи надвигающейся диктатуры изыскиваетъ, какъ бы ввести ее въ берега, чтобы разливъ не превратился въ наводненіе. И дѣйствительно, поклонники неограниченной диктаторской власти, если всмотрѣться пристальнѣе, дѣлятся на два разряда: одни мысленно уже помогаютъ диктатору воздѣйствовать, другіе же почему-то полагаютъ, что диктаторское воздѣйствіе не коснется ихъ. А нѣтъ, повидимому, ни одного, который бы и самъ былъ готовъ понести кару по усмотрѣнію вождя. Чистое безуміе способствовать проповѣдью диктатуры паденію правового — хотя бы и несовершеннаго — строя вмѣсто того, чтобы по мѣрѣ силъ помогать ему устоять въ бурю и выйти изъ испытанія обновленнымъ и улучшеннымъ.

Сергій Завадскій.

Основная антиномія личности и общества

I.

Человѣческая личность опредѣляется не только въ отношеніи къ природѣ и къ Богу, но и въ отношеніи къ обществу, къ человѣческому «мы». Это значитъ, что человѣческая личность должна быть опредѣлена, какъ существо, принадлежащее къ порядку природному, къ порядку духовному и къ порядку социальному. Личность — социальна, выѣдрена въ общество и призвана къ общественной жизни. Вне социальнаго естественнаго состоянія человѣка никогда не было, это абстракція, выдуманная въ XVIII вѣкѣ. И вмѣстѣ съ тѣмъ личность сталкивается съ обществомъ и ведетъ вѣковѣчную тяжбу съ нимъ. Общество защищаетъ ее отъ природы, отъ другихъ личностей и даже отъ нея самое, питаетъ ее, обогащаетъ ее многообразнымъ содержаніемъ, но и угнетаетъ ее, ограничиваетъ и поработачиваетъ. Личность и общество взаимодействуютъ и сталкиваются въ одномъ планѣ, но онѣ же принадлежатъ разнымъ планамъ и несоизмѣримы. Личность несетъ въ себѣ образъ и подобіе Божье, она есть Божья идея и Божья замысль. Общество же налагаетъ на нее свой образъ и подобіе и превращаетъ ее въ своего слугу и раба. Проблема личности и общества можетъ ставиться съ общественной и духовной точки зрѣнія, съ точки зрѣнія философіи общества и философіи духа. И въ зависимости отъ постановки проблемы мы будемъ вращаться въ совершенно разныхъ кругахъ. И никогда въ одномъ изъ этихъ плановъ, въ планѣ общественномъ, проблема эта не можетъ быть разрѣшена, и не можетъ быть ограничено то, что принадлежитъ личности, отъ того, что принадлежитъ обществу. Всякая защита личности съ точки зрѣнія общества, съ точки зрѣнія социальнаго міросозерцанія есть уже признаніе примата общества и ведетъ къ рабству личности. Предполагается, что отъ общества можетъ личность получить свободу, свое внутреннее право,

свое достоинство, свой духъ. Замѣчательно, что социальное по своему принципу міросозерцаніе (все равно, теократическое, консервативное, либерально, демократическое, социалистическое или анархическое) обычно оказывается тираническимъ по отношенію къ человѣческому духу. Изначально нельзя допустить, что личность цѣликомъ принадлежитъ обществу, и что общество можетъ или тиранить личность или давать ей по своему произволу свободу. И тогда даже, когда оно даетъ личности свободу, оно тиранитъ ее, ибо утверждаетъ ее окончательно зависимость отъ себя. Общество есть объектъ и принадлежитъ къ объективированному міру. Личность же есть прежде всего субъектъ и въ этомъ качествѣ принадлежитъ необъективированному духовному міру. Но ошибочно было бы думать, что проблема личности и общества вѣрно ставится на почвѣ индивидуализма, отвергающаго реальность общества. Общество нельзя разсматривать, какъ простое взаимодействіе и сумму индивидуумовъ. Атомистическое пониманіе общества не только ложно, но оно извращаетъ самое понятіе личности. Личность есть менѣе всего атомъ, равный всякому другому атому. Номинализмъ въ мышленіи объ обществѣ приводитъ къ номинализму въ мышленіи о личности. Общество есть особаго рода реальность, оно есть не только въ мышленіи, но и въ бытіи, есть ступень бытія. И только потому существуетъ конфликтъ личности и общества. Бытіе личности предполагаетъ бытіе другого и другихъ, къ которымъ личность выходитъ изъ себя. Личность немислима безъ любви, т. е. выхода къ другому, безъ способности къ жертвенной самоотдачѣ. Кромѣ «я» и «ты», одной личности и другой личности, существуетъ еще «мы», т. е. общество, и въ этомъ «мы» есть онтологическая первородность*). «Я» относится не только къ «ты», но и къ «мы». Въ извѣстномъ смыслѣ можно было бы сказать, что Богъ сотворилъ не только личность, но и общество, какъ сотворилъ космосъ. «Мы» не есть сумма, «мы» есть реальность sui generis. Но въ мірѣ падшемъ общество, которое должно быть имманентно человѣку и внутри его, превращается въ давящую личность объективированную социальную обыденность, общество можетъ становиться силой анта-

*) Въ этомъ отношеніи интересный анализъ можно найти въ книгѣ С. Франка: «Духовныя основы общества».

гонистической и враждебной личности. На почвѣ социального универсализма такъ же неразрѣшима интересующая насъ проблема, какъ и на почвѣ индивидуализма. Всегда существовало два типа ученій — сингуляризмъ, утверждающій верховенство личности и индивидуального, и универсализмъ, утверждающій верховенство общества и общаго. Такъ называемое органическое ученіе объ обществѣ, для котораго цѣлое предшествуетъ частямъ и опредѣляетъ ихъ жизнь, всегда склоняется къ универсализму, хотя въ биологической социологіи этотъ универсализмъ остается наивнымъ и необоснованнымъ**). Оба направленные, отвлеченно взятыя, невѣрны и снимаютъ трудность проблемы. Типичнымъ представителемъ крайняго социального универсализма въ современной социальной философіи является Отмаръ Шпаннъ. У него личность окончательно исчезаетъ. Шпаннъ утверждаетъ крайнюю форму социального универсализма на почвѣ своеобразной метафизики, восходящей къ романтизму, къ Адаму Мюллеру. Совѣмъ по иному утверждаетъ крайнюю форму социального универсализма Дюркгеймъ, который остается на почвѣ позитивизма. Для него общество есть не только первичная реальность, цѣликомъ опредѣляющая сознаніе личности, все ее мышленіе и все содержаніе ее жизни, но есть настоящее божество, предметъ религіознаго отношенія. Въ философіи крайній универсализмъ мы находимъ у Гегеля. И не случайно Бѣлинскій возсталъ противъ абсолютнаго духа Гегеля во имя живой человѣческой личности.

Сложно отношеніе Маркса къ этой проблемѣ. Марксизмъ представляетъ собой противоестественное соединеніе крайняго универсализма съ атомизмомъ. Универсализмъ Маркъ унаслѣдовалъ отъ Гегеля. Но Марксъ получилъ также по наслѣдству отъ классической буржуазной политической экономіи «экономическаго человѣка» и связанный съ нимъ атомизмъ, т. е. отрицалъ реальность общества, видѣлъ въ немъ лишь арену борьбы социальныхъ классовъ съ противоположными интересами. У Маркса въ обществѣ не цѣлое опредѣляетъ жизнь частей, а части (классы и «экономическій человѣкъ») опредѣляютъ жизнь цѣлаго. Только въ социалистическомъ обществѣ цѣлое должно опредѣлять жизнь частей. Діалектика у Марк-

**) Спенсеръ крайне непоследовательно сочетаетъ органическое ученіе объ обществѣ съ крайнимъ индивидуализмомъ.

означаетъ универсализмъ (черезъ противорѣчіе все-го торжествуетъ смыслъ, социальный разумъ), материализмъ означаетъ атомизмъ. И потому само словосочетаніе «діалектический материализмъ» есть нелѣпость и бессмыслица. Никакой діалектики столкновения атомовъ, діалектики въ материальномъ процессѣ быть не можетъ, діалектика предполагаетъ Логосъ. Замѣчательно, что универсализмъ нисколько не означаетъ у Маркса утверждения реальности общества, какъ атомизмъ не означаетъ утверждения реальности личности. Социальный индивидуализмъ, рассматривающій личность, какъ атомъ, т. е. независимо отъ ея качественного содержанія и связи съ сверхличнымъ, какъ же враждебенъ личности, какъ и социальный универсализмъ, для котораго все честное и индивидуальное поделено общимъ. Крайній социологизмъ въ міросозерцаніи XIX вѣка былъ лишь обратной стороной атомистическаго распада общества. Происходитъ какъ бы механическое сцѣпленіе распавшихся атомовъ. Ученіе Руссо есть блестящая иллюстрація того, какъ индивидуализмъ въ исходной точкѣ можетъ приводить къ подавленію личности. Руссо исходитъ изъ внѣсоціального индивидуума, изъ естественнаго человѣка, но послѣ соціального договора отъ индивидуума оказывается совершенно подавленнымъ обществомъ, за нимъ отрицается даже свобода совѣсти. Руссо породилъ якобинство, которое есть крайнее подавленіе личности, отрицаніе субъективныхъ правъ. Поэтому въ демократіи XIX и XX в. в. происходитъ столкновеніе субъективныхъ правъ личности и народнаго суверенитета. Со стороны общественной личность есть, конечно, пересѣченіе разнообразныхъ общественныхъ круговъ и группъ, и къ чѣмъ большому количеству круговъ она принадлежитъ, чѣмъ дифференцированнѣе социальная среда, чѣмъ она богаче по своему содержанію *). Личность изначально принадлежитъ къ разнообразнымъ органическимъ общественнымъ цѣлостямъ — къ семьѣ, къ корпорации, къ сословію, къ націи, государству, церкви и съ этимъ связано разнообразное ея качественное содержаніе. Французская революція освободила личность отъ принудительной связи съ корпорациями, изолировала личность,

*) Французскій социализмъ первой половины XIX вѣка былъ спиритуалистическій и даже религіозный, но духовная проблема личности была въ немъ поставлена.

въ извѣстномъ смыслѣ разрушила общество и поставила личность непосредственно передъ государствомъ. Этимъ она абсолютизировала государство и поработила личность государству, отождествивъ государство съ обществомъ. Якобинцы продолжали дѣло Людовика XIV. Обратной стороной индивидуализма является элитизмъ. Преобладающей антропологической категоріей стала категорія гражданина, и его права были провозглашены. Но гражданинъ опредѣляется по отношенію къ политическому обществу, къ государству. На ряду съ этимъ существуетъ человѣкъ, опредѣляемый по отношенію къ духовному обществу и духовной жизни, и существуетъ производитель, опредѣляемый по отношенію къ обществу экономическому. Декларация правъ гражданина есть декларация формальныхъ правъ, не связанныхъ съ реальнымъ содержаніемъ жизни, духовнымъ и хозяйственнымъ. Эта формальная декларация совсѣмъ не гарантируетъ реальныхъ правъ личности и не обезпечиваетъ ея жизни. На это много разъ указывали социалисты разныхъ школъ. Они были совершенно правы въ своей критикѣ. Но для господствующихъ социалистическихъ направленій не существовало человѣка, какъ духовнаго существа, не существовало духовныхъ правъ человѣка. Поэтому они не могли рѣшить проблемы отношенія личности къ обществу. Философія социализма обыкновенно знала лишь общественную точку зрѣнія на личность и не знала духовной точки зрѣнія *).

II.

Совершенно инымъ представляется соотношеніе личности и общества въ зависимости отъ того, станемъ ли мы на социальную или на духовную точку зрѣнія. Въ планѣ социальномъ личность есть часть общества, общество всегда больше личности, личность есть малый кругъ, включенный въ большой кругъ общества. Съ этой точки зрѣнія личность не можетъ противопоставлять себя обществу, ибо общество представляется источникомъ ея жизни, ея питательнымъ лономъ, общество опредѣляетъ ея сознаніе и мышленіе, ея вѣрованія и нравственные оцѣнки. Такъ и

*) На этомъ особенно настаиваетъ Зиммель въ своей «Soziologie».

думаетъ большая часть социологовъ. Если личность все-таки можетъ противопоставлять себя обществу, можетъ бороться противъ его безраздѣльной и неограниченной власти надъ собой, то исключительно потому, что личность принадлежитъ другому порядку, не социальному, и въ немъ вкоренено ея бытіе. Личность входитъ въ социальный планъ, но выходитъ она изъ плана духовнаго и изъ него черпаетъ свою силу и свои оцѣнки. Оставаясь въ планѣ социальномъ, нельзя никакъ утвердить приматъ личности надъ обществомъ. Это пытался дѣлать русскій народническій социализмъ, особенно Н. Михайловскій, который построилъ теорію борьбы за индивидуальность. Теорія эта построена на рѣзкомъ противоположеніи индивидуума обществу. Н. Михайловскій возсталъ противъ общества, онъ врагъ общества, превращающаго индивидуальность въ свой органъ. Но точка зрѣнія его остается социальной, онъ въ социальномъ планѣ хочетъ бороться за индивидуума, онъ не становится на духовную точку зрѣнія. Поэтому индивидуумъ оказывается у него биологической абстракціей, у него нѣтъ по настоящему личности. Это связано съ наивнымъ философскимъ позитивизмомъ, которому онъ былъ приверженъ. Но его безпокоила подлинно существующая проблема. Такія направленія, какъ либерализмъ и анархизмъ, также въ принципѣ не въ силахъ утвердить свободы и независимости личности, это направленія исключительно социальные. Индивидуализмъ всегда оказывается одной изъ формъ социального міросозерцанія, для котораго личность отъ общества должна получить максимумъ свободы. Но философская проблема личности совсѣмъ не есть проблема той или иной организации общества, при которой личность получаетъ больше свободы и независимости. Независимость личности отъ общества не можетъ зависѣть отъ общества, ибо независимость эта и значитъ, что личность зависить отъ чего-то другого, чѣмъ общество. Адамъ Мюллеръ, философъ государства и общества романтической эпохи, который стоялъ на точкѣ зрѣнія неблагоприятнаго для личности универсализма, говорить: «Wo die Freiheit erst proklamiert werden muss, da ist sie überhaupt noch nicht möglich» *). Это значитъ, что свобода не можетъ зависѣть отъ того, что она провозглашается обществомъ и въ

*) См. *Adam Müller*, «Schriften zur Staatsphilosophie», стр. 165.

обществѣ, она коренится въ иномъ планѣ. А. Мюллеръ могъ дѣлать отсюда ложные политическіе выводы, но самый принципъ правильный. Планъ, въ которомъ общественники всѣхъ направленій опредѣляютъ антиномію между личностью и обществомъ, есть планъ ограниченный и не послѣдній. Проблема личности, ея достоинства и независимости, ея свободы и права во всей глубинѣ можетъ быть поставлена лишь въ томъ случаѣ, если личность принадлежитъ не только социальному, но и духовному міру. Личность есть точка пересѣченія не только социальныхъ круговъ, но и двухъ міровъ. Съ этой точки зрѣнія все мѣняется, и то положеніе, что общество больше личности, что личность есть лишь малая часть общества, оказывается лишь однимъ аспектомъ истины. Есть другой аспектъ истины и несомнѣнно болѣе глубокой. Съ точки зрѣнія философіи духа, общество есть часть личности, и личность больше общества. Обществу принадлежитъ личность лишь частью своего существа, общество есть лишь одинъ изъ круговъ въ бытіи личности и не самый глубокой, остальнымъ своимъ составомъ личность принадлежитъ безконечному духовному міру. Безконечность раскрывается для личности въ томъ внутреннемъ духовномъ мірѣ, который не принадлежитъ социальному составу личности, къ социальному кругу, всегда конечному. Личность подлинно освобождается лишь духовно, если она пришла изъ духовнаго міра въ міръ социальный. Это значитъ, что социально можетъ быть освобождено лишь существо свободное по своему духу. Рабъ въ качествѣ раба никогда не можетъ быть освобожденъ. Если рабъ получаетъ свободу и достоинъ ее получить, то потому, что въ немъ получаетъ свободу свободный духъ. Всякій человекъ долженъ быть освобожденъ потому, что онъ свободный духъ. Эта истина выражается въ парадоксѣ: только свобода можетъ и должна быть освобождена, рабство освобождено быть не можетъ. А это значитъ, что человеческая личность, которая въ социальномъ планѣ была рабомъ, была также свободнымъ духомъ, принадлежала къ духовному плану, не зависящему отъ общества, и потому только она можетъ и должна быть освобождена въ социальномъ планѣ. Личность никогда не можетъ получить свободу отъ общества, общество можетъ только признать свободу личности, не изъ общества полученную.

Обществомъ не можетъ опредѣляться и отъ общества не можетъ зависѣть глубина личной совѣсти. Соціальная обыденность давитъ на совѣсть и искажаетъ ее, но никогда не порождаетъ ея и не опредѣляетъ. Глубина совѣсти заложена въ духовной дѣйствительности, а не въ соціальной дѣйствительности, и потому только возможна оцѣнка соціальной дѣйствительности и судъ надъ ней. И потому достиженіе духовной свободы отъ власти соціальной обыденности есть всегда стоящая передъ личностью нравственная задача *). Черезъ всю исторію человѣческой жизни проходить двойственность въ пониманіи отношеній личности и общества — личность есть часть общества и общество часть личности — и происходитъ постоянная борьба за одно или другое пониманіе. Мы это видимъ также въ пониманіи отношенія церкви къ личности и обществу. То, что въ русской православной мысли называется «соборностью» совѣсть не есть господство общества (въ данномъ случаѣ религіознаго) надъ личностью, а есть прежде всего духовное качество въ самой личности, въ силу котораго она принадлежитъ къ духовной общности. Свобода совѣсти есть необходимое условіе соборности. Совѣсть глубоко лична и свободна, но въ этой своей глубинѣ она находится въ духовной общности и подвергается дѣйствию благодати Христовой. Двойственность духовной и соціальной точки зрѣнія на отношенія личности и общества въ проблемѣ церкви выражается такъ: церковь есть часть общества, церковь есть болѣе узкій кругъ, общество же болѣе широкій кругъ, церковь существуетъ въ кругу общества наряду съ другими реальностями, государствомъ, хозяйствомъ, разными сферами культуры, и общество есть часть Церкви, Церковь есть болѣе широкій кругъ, чѣмъ общество, Церковь, какъ мистическое тѣло Христово, есть охристовленный космосъ. Во второмъ смыслѣ весь міръ есть часть Церкви. Личность, принадлежащая къ Церкви, какъ къ духовному организму, принадлежитъ къ кругу болѣе широкому, чѣмъ общество, и объемлетъ собой общество. Мы иногда говоримъ, что Церковь есть духовное общество, но въ этомъ случаѣ «общество» употребляется въ иномъ смыслѣ, т. е. принадлежитъ, по принятой мною классификаціи, духовному, а не

*) См. мою книгу «О назначеніи человѣка. Опытъ парадоксальной этики». Изд. «Современныя Записки».

соціальному міру, не міру соціальной обыденности. Вместе съ тѣмъ Церковь существуетъ въ соціальной обыденности, подвергается ея влиянію и можетъ ею искажаться до неузнаваемости. Общество, соціальность не побѣждаетъ одиночества личности, которое есть вѣковѣчная мука человѣка, личность можетъ оставаться одинокой въ обществѣ, въ которое она вѣдрена, которымъ со всѣхъ сторонъ окружена, отъ котораго никуда не можетъ уединиться. Одиночество въ обществѣ есть самое горькое одиночество. Это приводитъ насъ къ различенію между обществомъ (Gesellschaft) и общностью (Gemeinschaft), хотя въ иномъ смыслѣ, чѣмъ это дѣлаетъ Теннисъ. Одиночество личность преодолеваетъ лишь въ общности, а не въ обществѣ. Общность есть уже духовное, а не только соціальное единеніе и взаимопріобщенность личностей. Коммунизмъ по имени своему хотѣлъ бы достигнуть общности, взаимопріобщенности, коммуниона, но вмѣсто достиженія этой цѣли, предполагающей духъ и духовную жизнь, онъ насильственно, матеріалистически, вѣтшине организуетъ общество, въ которомъ никакой общности не достигается, и человѣкъ человѣку еще больше дѣлается волкомъ. Подлинная общность — преодоленіе разрыва и раздвоенія между двумя планами — духовнымъ и соціальнымъ, въ ней духовность дѣлается соціальной и соціальность дѣлается духовной. А это значитъ, что въ общности преодолевается одиночество не черезъ подчиненіе личности обществу, какъ части цѣлому, а черезъ побѣду духовнаго міра надъ міромъ природно-соціальнымъ, т. е. черезъ достиженіе духовной соціальности, которая излучается личностью, а не подавляетъ личность.

III.

Первобытныя коммунистическія общества не знаютъ личности. Личность дремлетъ, находится въ потенциальномъ состояніи. Пробужденіе личности и духа разрушаетъ первобытный коммунизмъ *). Античный міръ утвердилъ абсолютный приматъ уже оформленного и цивилизованнаго общества, государства-города надъ личностью, его мы-

*) Особенно гениальны въ этомъ отношеніи идеи Бахофена.

шление было универсалистично, онъ не понималъ личности и свободы. «Республика» Платона свидѣтельствуетъ объ этой неспособности понять цѣнность личности и свободы. Греція художественно раскрывала образъ человѣка, но этотъ образъ раскрывался въ универсализмъ античнаго общества-города и космоса. Религія была государственной. Отъ государства некуда было уйти. Это было соединеніе универсализма въ мышленіи, не желающаго знать личности и личной свободы, съ національнымъ партикуляризмомъ. Христіанство связано было съ ростомъ и универсализма и индивидуализма въ эллинистическую эпоху. Универсализмъ и индивидуализмъ этой эпохи одинаково способствовали освобожденію личнаго начала отъ неограниченной власти государства. Гражданинъ міра былъ болѣе свободенъ отъ власти государства, чѣмъ гражданинъ античнаго города. Христіанство принесло съ собой радикальное измѣненіе въ пониманіи соотношеній между личностью и обществомъ, оно совершило величайшую въ исторіи міра духовную революцію, и послѣдствія этой революціи не окончательно приняты человѣческими обществами и до нашихъ дней, хотя бы общества эти почитали себя христіанскими. Въ христіанскихъ обществахъ продолжаютъ дѣйствовать языческія начала и обнаруживаются бурныя реакціи и языческаго національнаго партикуляризма и языческаго государственнаго и космическаго универсализма, одинаково подавляющихъ личность. Христіанство открываетъ иное измѣреніе бытія. Христіанство учитъ о безконечной цѣнности отдѣльной человѣческой души, которая стоитъ дороже всѣхъ царствъ міра. Личность совсѣмъ не есть уже дробная часть міра и общества. Личность наследуетъ вѣчность, которую не наследуетъ никакое государство. Она не принадлежитъ уже цѣлкомъ обществу и государству, она прежде всего принадлежитъ духовному міру и церкви, т. е. иному измѣренію бытія, въ которомъ величина и значительность опредѣляется не количествомъ, не сложеніемъ. Евангеліе устанавливаетъ абсолютное различіе между Царствомъ Божьимъ и царствомъ кесаря. Это различіе было совершенно непонятно для міра античнаго. И оно съ трудомъ усваивается и христіанскимъ міромъ, въ которомъ на церковь была наложена печать царства кесаря. Къ античному отождествленію Царства Божьяго и царства кесаря возвращается латинская демократія въ формѣ непослѣ-

довательной и мягкой и коммунизмъ въ формѣ зловѣщей. Установивъ абсолютное различіе царства кесаря и Царства Божьяго, христіанство въ принципѣ духовно ограничило власть всякаго общества надъ личностью, ибо личность принадлежитъ не только царству кесаря (общественному плану), но и Царству Божьему (духовному плану). Религіозная совѣсть не зависитъ отъ общества и государства, она имѣетъ иной источникъ. Личность лишь частично принадлежитъ обществу и воздастъ кесарево кесарю. Свобода человѣческой совѣсти, свобода человѣческаго духа была утверждена кровью мучениковъ, которые отказались воздать божескія почести кесарю. Но христіане въ своей исторіи часто измѣняли этой завоеванной свободѣ человѣческаго духа, они постоянно воздавали Божье кесарю и кесарево Богу. Они начали это дѣлать со времени Константина Великаго. Ничто не дается людямъ съ такимъ трудомъ, какъ разграниченіе кесарева и Божьяго. Между тѣмъ какъ отъ этого разграниченія зависитъ духовная независимость и свобода личности передъ лицомъ общества и государства. Государство имѣетъ тенденцію принимать обличье церкви и это въ самыхъ противоположныхъ формахъ,—въ теократіи и абсолютной монархіи, въ демократіи, притязающей на абсолютность, въ коммунизмѣ. Церковь имѣетъ тенденцію принимать обличье государства и дѣйствовать его методами. Этимъ наполнена христіанская исторія и съ этимъ связаны всѣ насилія, которыми заняла себя историческая церковь. Проблема остается трагической и, повидимому, не можетъ быть окончательно разрѣшена, ибо трагедія не знаетъ благополучнаго исхода. Безконечная жизнь и безконечныя права духа несоизмѣримы съ обществомъ и его требованиями. Духъ и реализуетъ себя въ обществѣ и задумывается въ немъ. Духъ не можетъ не бороться съ диктатурой общества, какую бы форму эта диктатура ни принимала. Духъ не можетъ не возставать черезъ личность противъ всякаго абсолютнаго государства, будь это абсолютизмъ монархическій, демократическій или коммунистическій. Отождествленіе духа съ государствомъ, которое мы находимъ у Гегеля, есть величайшая ложь и языческое идолопоклонство. Духъ въ своемъ раскрытіи пользуется государствомъ, какъ своимъ орудіемъ, но никогда не воплощается въ государство, не воплощается и въ общество, какъ природно-исторической дѣйствительности.

Лишь через личность раскрывается безконечная духовная жизнь и лишь въ иномъ, не природно-историческомъ, не общественномъ планѣ личность приобщается къ духовному обществу, къ духовной общности. Фашизмъ во всѣхъ своихъ формахъ есть языческая реакція внутри христіанскаго общества.

Долгое время, отъ греческихъ философовъ до начала XIX вѣка, для социально-философскаго мышления общество было закрыто государствомъ. Лишь потрясенія французской революціи пріоткрыли для мышления природу общества и общественного процесса и сдѣлали возможнымъ созданіе науки объ обществѣ, социологии. Одинъ изъ первыхъ настаиваетъ на различіи общества и государства Лореншъ Штейнъ, книга котораго о социальномъ движеніи во Франціи и до сихъ поръ представляетъ значительный интересъ. Онъ независимо отъ Маркса видитъ въ обществѣ классовую борьбу. Онъ хочетъ видѣть въ государствѣ защитника рабочаго класса, который въ обществѣ индустриальномъ эксплуатируется и угнетается. Для Л. Штейна въ средніе вѣка угнетеніе исходило отъ общества, а не отъ государства, которое было слабо. Но проблема отношенія общества и государства очень запутана и она имѣетъ центральное значеніе для судьбы личности. Понятіе общества употребляется въ двухъ разныхъ смыслахъ, въ смыслѣ интегральномъ и тогда объемлющемъ всю социальную дѣйствительность и, значитъ, включающемъ въ себя и государство, и въ смыслѣ дифференціальномъ, какъ корпорации, класса, самоуправляющейся социальной единицы, и тогда общество мыслится отличнымъ отъ государства и становится вопросомъ о ихъ соотношеніи. Сейчасъ мы имѣемъ въ виду второй смыслъ понятія общества. Существуетъ тенденція къ преодолѣнію дуализма общества и государства и она можетъ выразиться или въ стремленіи къ поглощенію общества государствомъ или наоборотъ — поглощенію государства обществомъ. Абсолютная монархія хотѣла отрицать самостоятельность общества и подчиняла его цѣликомъ государству. Но то же возможно и на почвѣ извѣстныхъ формъ демократіи. Если въ основу демократіи кладется не идея неотъемлемыхъ правъ личности, а идея народнаго суверенитета, какъ принципа абсолютнаго и верховнаго, по получается форма государственнаго абсолютизма, отъ котораго нѣтъ спасенія, отъ котораго никуда не-

льзя укрыться. Нѣкоторые французскіе политическіе мыслители не безъ основанія говорятъ, что можно было бороться еще противъ короля, ибо онъ былъ реальностью на ряду съ другими реальностями, но нельзя бороться съ государствомъ, которое отождествлено съ сувереннымъ народомъ. Это есть опасность всякой монистической системы, отождествляющей общество и государство. Если общество превратилось въ абсолютъ и отождествилось съ государствомъ, то для личности никакого спасенія нѣтъ. Это въ предѣльной формѣ мы видимъ въ коммунизмѣ. Коммунистическое общество есть абсолютъ, оно требуетъ подчиненія себѣ всего человѣка, всей его души до самой глубины. Коммунистическое государство тиранично именно потому, что оно отождествлено съ обществомъ, само же общество не есть взаимодействие различныхъ общественныхъ группъ, а есть самъ пролетаріатъ, спаситель и освободитель человѣчества, есть само единое человечество. Общество, отождествившее себя съ государствомъ, можетъ оказаться опаснѣе для личности, чѣмъ государство. Въ сущности, и общество и государство очень неохотно признаютъ неотъемлемость субъективныхъ правъ личности. Личность можетъ добиваться въ обществѣ субъективныхъ правъ. Но источникъ этихъ правъ совѣтъ не въ обществѣ. Философія права называетъ это право правомъ естественнымъ, интуитивнымъ или нормативнымъ и она принуждена видѣть источникъ этихъ правъ въ идеальномъ мірѣ цѣнностей и нормъ или въ мірѣ духовномъ. Декларация правъ человѣка и гражданина въ сущности никогда не утверждала правъ человѣка и гражданина въ полнотѣ и глубинѣ. Человѣкъ былъ заслоненъ гражданиномъ, который принадлежитъ лишь политическому обществу. Человѣкъ же прежде всего принадлежитъ обществу духовному. Весь смыслъ социалистическаго движенія въ томъ, что оно показало, насколько формальныя права гражданина въ политическихъ демократіяхъ не гарантируютъ реальныхъ правъ личности, правъ на жизнь, на трудъ, элементарныхъ экономическихъ правъ личности. Духовныя права человѣка не могутъ быть отдѣлены отъ его обязанностей.

Вся наша проблема въ томъ, что въ сущности никакія формы общества и никакія формы государства не уловляютъ внутренней жизни личности, ея безконечной духовной природы, несоизмѣримы съ ея свободой. Всякое об-

щество и всякое государство грубо въ отношеніи къ личности и ея неповторимой судьбѣ. Ибо не только государство есть «холодное чудовище», какъ говоритъ Ницше, но и общество. Токвиль, который не былъ противникомъ демократіи, ужаснулся процессу обезличенія въ демократіяхъ Америки и онъ считалъ неразрѣшимой антиномію свободы и равенства. Антиномія свободы и равенства и свидѣтельствуешь о совершенной несоизмѣримости судьбы личности и судьбы общества, о принадлежности ихъ къ разнымъ планамъ бытія. Существуетъ трагическая діалектика свободы и равенства. Въ свободѣ хочеть выразить себя личность, но въ кругѣ общественномъ этой своей свободой нарушаетъ свободу другихъ личностей. И когда равенство, которое общественно по преимуществу, начинаетъ защищать личность отъ свободы другихъ личностей, оно легко истребляетъ свободу другихъ личностей. Это есть лишь одно изъ выраженій антиноміи личности и общества, перенесенной въ планъ общественный. Проблема личности и ея свободы въ глубинѣ своей связана съ абсолютной границей власти общества надъ личностью, а не съ формой организациіи самого общества. Два антагонистическихъ процесса происходятъ въ исторіи: процессъ социализациіи человѣка и процессъ индивидуализациіи человѣка. Человѣкъ все больше и больше ввергается въ общество и подчиняется жизни общества и вмѣстѣ съ тѣмъ человѣкъ индивидуализируется, обостряется самое сознание индивидуальности и ея своеобразной, единственной судьбы. Мы это видимъ въ XIX вѣкѣ, когда сама проблема индивидуальнаго и индивидуальности была поставлена въ формахъ, которыхъ раньше не существовало. И вмѣстѣ съ тѣмъ шель процессъ обезличиванія, обобществленія личности. Организациія общества и государства есть прежде всего организациія жизни массъ, массоваго, средняго человѣка. Но между личностью и массой существуетъ вѣчный конфликтъ. Никакая организациія общества и государства не можетъ дать личности ея независимость, свободу и своеобразие, она постоянно несетъ съ собой новыя формы порабощенія.

Ошибочно приговждать борьбу за принципъ личности и за ея духовную свободу къ какимъ-либо опредѣленнымъ политическимъ и социальнымъ формамъ. Это, конечно, отнюдь не значитъ, что нужно быть равнодушнымъ къ политическимъ и социальнымъ формамъ и не стремить-

ся къ ихъ улучшенію. Наоборотъ, необходимо стремиться. Но личность не можетъ получить свое высшее достоинство, свою независимость и свободу изъ рукъ общества и общественной организациіи. Общество и общественная организациія могутъ признать свободу и достоинство личности, но онѣ не могутъ создать этой свободы и достоинства, не могутъ быть ихъ источникомъ. Это очень существенное различіе, основное для нашей темы. Это формулируется парадоксально: только свободная личность можетъ получить свободу, только существо, обладающее высшимъ достоинствомъ, можетъ требовать уваженія къ своему достоинству отъ общества. Поэтому никакое материалистическое ученіе о личности не можетъ требовать свободы личности и уваженія къ ея достоинству. Свободу и достоинство личности можетъ уважать общество потому, что это свобода и это достоинство существуютъ и вкоренены въ другомъ порядкѣ бытія. Я говорилъ уже, что освобожденія рабовъ можно требовать потому, что они свободны, а не рабы. Рабовъ же по своей сущности и по источникамъ своего бытія освободить нельзя было бы и даже не должно было бы. Ученіе объ естественномъ правѣ, отличаеомъ отъ права позитивнаго, по-своему формулируетъ эту истину, хотя въ философски несовершенной формѣ. Общество принуждено признать свободу и достоинство личности, оно мѣняетъ сообразно съ этимъ свои формы, но оно всегда имѣетъ тенденцію взять реваншъ и создать новыя формы тираніи. Въ исторіи бывали монархическія и аристократическія тираніи общества надъ личностью. Абсолютныя монархіи существовали, вѣдь, для массъ и были санкціонированы религиозными вѣрованіями массъ. Но вѣковая тиранія массъ надъ личностью, количества надъ качествомъ, большого числа надъ малымъ числомъ можетъ принять формы демократическія и социалистическія, формы социальной нивелировки и обобществленія человѣка. Самая послѣдовательная тиранія общества надъ личностью есть тиранія коммунистическая. Только коммунизмъ послѣдовательно говоритъ: если личность есть продуктъ общества и отъ общества все получаетъ, то она окончательно принадлежитъ обществу и общество должно потребовать себѣ свою собственность. Общество говоритъ личности: ты моя и отдай мнѣ свою душу, у тебя нѣтъ ничего отъ тебя самой. Коммунизмъ есть отождествленіе общества, государства и церк-

ви. Тогда общество овладѣваетъ личностью безраздѣльно. Глубина души дѣлается пронцаемой для общества. Русскій коммунизмъ пытается осуществить это на практикѣ. Но теоретически мы это находимъ во всѣхъ коммунистическихъ утопіяхъ отъ Платона до Кабэ. Всѣ монистическія общественныя системы, подчиняющія личность одному принципу, имѣютъ тираническія для личности послѣдствія. Тираничны всѣ формы абсолютизации общества и государства. Личность можетъ быть болѣе свободна лишь въ системѣ плюралистической, въ которой нѣсколько принциповъ ограничиваютъ друга друга и мѣшаютъ абсолютизации. Государство не должно быть абсолютнымъ, оно должно быть ограничено обществомъ и церковью. Общество не должно быть обязаннымъ, оно должно быть ограничено государствомъ и церковью. Наконецъ, и церковь въ исторіи, церковь эмпирическая не должна быть абсолютной, какъ въ замыслѣ теократіи, она ограничена обществомъ и государствомъ. Абсолютна лишь Церковь въ мистическомъ, духовномъ смыслѣ слова, никогда не эмпирическая, историческая церковь. Въ жизни политической, въ жизни хозяйственной наиболѣе благоприятно совмѣщеніе принципа личнаго, общественнаго и государственнаго. Свобода личности осуществляется не столько формальной организаціей общества, которая всегда имѣетъ тенденцію посягать на эту свободу, сколько духовной и нравственной культурой народа, воспитаніемъ народа въ уваженіи къ достоинству человѣка и установкой границъ власти общества надъ личностью. Свобода личности во Франціи опредѣляется прежде всего этой культурой народа, уваженіемъ къ человѣческому достоинству. Сами же принципы демократіи въ яacobинской своей формѣ могутъ истребить всякую свободу. О возможномъ столкновеніи въ демократіи субъективныхъ правъ личности и сувереннаго народа было уже сказано. Суверенитетъ народа, какъ монистическій принципъ, для свободы личности неблагоприятенъ. Но система плюрализма должна быть соединена съ духовнымъ единствомъ.

IV.

Духъ не только свободенъ, но онъ есть свобода. Очень легко утверждать свободу въ духовной жизни, внѣ ея воплощенія въ планѣ матеріальномъ. Свобода духа есть не-

сомнѣнная и верховная цѣнность. Но когда вы переходите въ пространственно матеріальный міръ, происходитъ умаленіе свободы. Создаются ступени и градации свободы. Максимумъ свободы существуетъ въ духовной жизни, и съ ней связаны духовныя права личности. Никакими силами нельзя лишить личность ея духовной свободы, она остается свободной въ тюрьмѣ и подъ плахой. Не можно лишить личность возможности реализовать себя въ пространственномъ мірѣ и воплотить свой духъ, можно вытолкать ее изъ матеріальнаго міра и принудить ее къ развоплощенію. Съ этимъ связана вся сложная диалектика свободы въ жизни общественной. И вотъ нужно установить, что, если въ жизни духовной существуетъ максимумъ свободы, то въ жизни экономической эта свобода должна быть минимальной, такъ какъ въ этой сферѣ духъ ущемленъ матеріей. И утвержденіе формальнаго принципа свободы личности, свободы безпредметной и не желающей знать, во имя чего она существуетъ, не только не гарантируетъ реальной свободы, но легко приводитъ къ порабощенію личности и лишенію ея элементарныхъ жизненныхъ благъ. Такое извращеніе свободы, понимаемой исключительно формально, мы видимъ въ экономическомъ либерализмѣ. Соціалистическая критика разныхъ направлений достаточно его изобличила. Экономическій либерализмъ, т. е. утвержденіе неограниченной формальной свободы въ хозяйственной жизни, создаетъ привилегированный классъ, который чувствуетъ себя совершенно свободнымъ воплощать и реализовать себя въ пространственномъ, матеріальномъ мірѣ, но обездоливаетъ классъ трудящихся, лишенныхъ орудій производства и возможности воплощать и реализовать свой духъ во внѣшнемъ мірѣ, отрицаетъ за ними право на жизнь и оставляетъ за нимъ лишь развоплощенную свободу духа. Именно эта экономическая свобода и порождаетъ капитализмъ со всѣми его противорѣчьями, зломъ и неправдой. Такое пониманіе экономической свободы никогда не ведетъ къ торжеству принципа личности. Личность для реализаціи своей духовной энергіи нуждается въ матеріальныхъ, экономическихъ орудіяхъ. Но экономическій либерализмъ лишаетъ большую часть человѣчества этихъ орудій, представляя ихъ лишь небольшой части экономически привилегированныхъ. Поэтому умаленіе и ограниченіе свободы въ экономической жизни есть условіе реаль-

ной, а не формальной свободы. Не должна быть допущена такая свобода въ экономической жизни, которая лишаетъ другихъ людей возможности достойнаго человѣческаго существованія, и даже права на существованіе, т. е. хлѣба насущнаго. Ограниченіе свободы личности въ хозяйственной жизни необходимо во имя самаго принципа реальной свободы личности. Экономическая зависимость, въ которую попадаетъ большая часть человѣчества въ буржуазно капиталистическомъ обществѣ, лишаетъ личность свободы и порабощаетъ духъ. Формальныя политическія права тутъ нисколько не помогутъ. Принципъ свободы труда, превращеннаго въ товаръ, есть издѣвательство надъ свободой. Подъ страхомъ голодной смерти нелегко отстаивать свободу. Личность живетъ и реализуетъ себя въ обществѣ. И это предполагаетъ такую организацію общества, которая дастъ каждой личности возможности реализовать себя, т. е. не выталкиваетъ ее въ сферу совершеной развоплощенности. Рѣчь идетъ тутъ не о требованіяхъ, предъявляемыхъ обществомъ къ личности, а о требованіяхъ, предъявляемыхъ личностью къ обществу. Личность должна перестать быть изолированной передъ лицомъ общества и государства, люди, представляющіе всѣ формы труда и творчества, должны соединяться въ корпораціи, въ профессиональные рабочіе союзы, въ синдикаты для борьбы за достойное существованіе личности. Формальная свобода сама по себѣ не есть творческій принципъ, она можетъ стать препятствіемъ на путяхъ социальнаго реформирования общества. Это можно видѣть въ современной Франціи, гдѣ формальная свобода велика, но социальное реформированіе общества очень затруднено. Франція есть одна изъ самыхъ консервативныхъ странъ Европы. Творческой является свобода предметная, свобода для чего-то, во имя чего-го, т. е. реальная свобода. И эта реальная творческая свобода не столько гарантируетъ обществомъ, сколько перерождаетъ самое общество.

Абсолютная граница власти общества надъ личностью опредѣляется тѣмъ, что конечное назначеніе человѣка не социальное, а духовное и связано съ духовными цѣнностями, что человѣкъ принадлежитъ не только времени, но и вѣчности. Но это и значитъ, что граница эта не опредѣляется со стороны плана общественнаго, она опредѣляется со стороны принадлежности личности къ плану ду-

ховному. Всѣ социальныя цѣли оказываются средствами для духовныхъ цѣлей. Ничто внѣшне социальное не называется самоцѣльнымъ, оно всегда относительное. Въ планѣ социальномъ нельзя найти ничего абсолютнаго и вѣчнаго. Напр., марксизмъ ничего не въ силахъ сказать о цѣляхъ человѣческой жизни. Абсолютна и вѣчна лишь духовная основа общества. Но человѣкъ есть существо неодолимо склонное къ идолатріи и къ социальной идолатріи въ частности. Въ идола превращается монархія, національность, демократія, социализмъ, отвлеченная идея общества. Средства жизни превращаются въ цѣли и заслониютъ подлинныя цѣли жизни. Всякій разъ, когда личность сознаетъ себя принадлежащей исключительно къ плану общественному и въ обществѣ лишь видитъ источникъ своего духа, она впадаетъ въ ту или иную форму идолатріи. Личность призвана къ социальной жизни и къ социальному творчеству. Социальное творчество есть одинъ изъ путей въ Царство Божье, ибо Царство Божье есть общеніе и общность не только людей, но и человѣка со всѣмъ тварнымъ міромъ, общеніе и общность въ Богѣ. Но всегда происходила и всегда будетъ происходить духовная борьба за личность. Антиномія личности и общества никогда не можетъ быть окончательно преодоленна въ предѣлахъ нашего природно-историческаго міра. Трагическій конфликтъ личности и общества преодолѣмъ лишь частично и относительно. Полное преодолѣніе есть наступленіе Царства Божьяго. Въ земныя утопіи мы уже не можемъ вѣрить. Но аксіологически мы можемъ опредѣлить путь, по которому мы должны двигаться. Я бы опредѣлилъ его, какъ христански обоснованный персоналистическій социализмъ. Словосочетаніе это образовано отъ слова личность и слово общество. Всѣ формы вѣррелигознаго и антирелигознаго социализма неотвратимо ведутъ къ тираніи общества надъ личностью, въ формѣ болѣе прикрытой или болѣе открытой. Индивидуализмъ съ другой стороны ведетъ къ утѣсненію и разложенію личности. Только христіанство въ принципѣ преодолѣваетъ противоположность между личностью и обществомъ, ибо знаетъ третій, высшій принципъ. Только на почвѣ христіанства возможно преодолѣніе конфликта аристократическаго и демократическаго начала въ социальной и культурной жизни, конфликта между изолированной культурной аристократіей, культурной элитой, ли-

шенной социальнаго базиса, и демократическими массами, которыя грозятъ варваризаціей и вульгаризаціей культуры. Христіанство абсолютно благороднаго происхожденія и оно раскрываетъ аристократизмъ всѣхъ дѣтей Божьихъ, оно аристократично и демократично. Поэтому оно можетъ преодолѣть трагическое столкновение лично-аристократическаго и общественно-демократическаго начала. Христіанскій персоналистическій социализмъ утверждаетъ цѣнность личности, ея высшее достоинство, какъ духовнаго существа, и цѣнность духовной общности личностей, т. е. истиннаго коммуниона. И потому онъ ставитъ рѣшеніе социальнаго вопроса подъ знакомъ борьбы за права всякой личности, взятой въ полнотѣ ея жизненныхъ возможностей, — значитъ, и возможностей экономическихъ, а не подъ знакомъ господства общества надъ личностью. Персоналистическому социализму чужда идея абстрактнаго равенства; онъ сочетаетъ социальную демократію съ аристократическимъ началомъ личности. И онъ уважаетъ предѣлы всякаго социальнаго мышленія и всякаго социальнаго плана — тайну вѣчной судьбы личности, несоизмѣримость ея съ какимъ бы то ни было строемъ общества.

Николай Бердяевъ.

„Скачекъ въ неизвѣстное“

I.

Война, революція, русскій коммунизмъ, а въ послѣдніе годы и мировой экономической кризисъ, въ иную плоскость перенесли постановку вопроса о социализмѣ. Было время, когда германскіе социаль-демократы вѣрили въ скорое пришествіе социализма и весьма недвусмысленно говорили объ этомъ «крушеніи капитализма» на своихъ партійтагахъ. «Буржуазное общество, говорилъ Бебель на съѣздѣ въ Эрфуртѣ (1891 г.), такъ энергично работаетъ надъ своимъ собственнымъ уничтоженіемъ, что мы должны лишь выждать моментъ, когда возьмемъ въ свои руки выпавшую изъ его рукъ власть... Я убѣжденъ, осуществленіе нашихъ конечныхъ цѣлей столь близко, что лишь немногіе изъ присутствующихъ здѣсь не доживутъ до этихъ дней». Въ 1893 г. на Кельнскомъ съѣздѣ, эту-же мысль еще ярче выразилъ Либкнехтъ: «Во всякомъ случаѣ, я и многіе друзья, — мы не думаемъ, чтобы профессиональные союзы достигли когда-либо въ Германіи такой высоты развитія, какъ въ Англии. Я убѣжденъ, что прежде чѣмъ будетъ достигнута эта ступень развитія, на бастионахъ капитализма и укрѣпленныхъ замкахъ нѣмецкой буржуазіи будетъ развѣваться красное знамя социализма, знамя побѣдоносной социаль-демократіи».

Если-бы въ эти годы безграничной вѣры въ скорое пришествіе социализма такихъ умныхъ и дѣльныхъ вождей рабочаго класса, какъ Бебель и Либкнехтъ, спросили: а что такое социализмъ и какимъ путемъ водрузится знамя «побѣдоносной партіи», они презрительно пожали-бы плечами... Какъ, не знать этого?! Но вѣдь сотни тысячъ, миліоны брошюръ, газетъ, серьезныхъ книгъ, отвѣчали на эти вопросы съ совершенной опредѣленностью... Отвѣчали на нихъ и отчеты ежегодныхъ партійтаговъ и международныхъ конгрессовъ. Социализмъ

это — «экспроприация экспроприаторов», это обобщение средств производства, это — конец частной собственности, это — утверждение безклассового общества и постепенное осуществление свободы, равенства и братства...

Путь к этому лежит через диктатуру пролетариата, главным образом через диктатуру его партии. Что же касается средств насилия, то применение их (конечно, короткое и временное) зависит от сопротивляемости буржуазии, впрочем, от «остатков ее» к моменту окончательного «загнивания капитализма». Быть может, буржуазия так ослабнет, что власть просто выпадет из ее рук. Но может случиться, что в известный момент, в интересах не только пролетариата, но и всего общества, её придется вырвать революционным натиском, нанесением «последнего удара» издыхающему капитализму... Впрочем, все это написано в Эрфуртской программѣ.

Если в прошлом и были в партии такие критики, как Бернштейн, Давид, Фольмар и др., то они всегда были в меньшинствѣ. Большинство всецѣло разделяло чаянія и идеологию Эрфуртской программы и «постепенное социализирование» общества, проповѣдуемое Фольмаромъ, бельгийцемъ Цезаремъ-де-Папе и даже Жоресомъ, считало убѣждениемъ «порочнымъ», терпимымъ в партии исключительно потому, что партия — не секта... Во всякомъ случаѣ, несмотря на то, что германскій народъ и пролетариатъ съ 1867 г. пользуются широкой политической свободой и всеобщимъ избирательнымъ правомъ, Фольмаровскій путь «спокойной, законной парламентской дѣятельности», т. е. путь демократіи, всегда былъ «подозрительнымъ» для «настоящихъ» социалистовъ, признающихъ для себя обязательнымъ революціонный путь. По мнѣнію Фольмара, эти революціонеры всегда предпочитали «проводить идеальныя линіи въ воздухѣ... Линіи эти были тѣмъ короче и тѣмъ безспорнѣе, чѣмъ недоступнѣе онѣ для осуществленія».

Однако, по мѣрѣ роста социаль-демократіи, все явственнѣе обозначалось въ ней это Фольмаровское крыло и все вліятельнѣе становились его тактическія линіи: этого требовала та огромная практическая работа, которую приходилось вести партии и вести въ государственномъ масштабѣ, вкупѣ съ буржуазными партиями... На

Бреславскомъ конгрессѣ 1895 г. Кваркъ такъ формулировать положеніе: «При существующихъ отношеніяхъ для насъ возможна двойкаго рода революціонная дѣятельность: революціонизированіе головъ и революціонизированіе вещей, т. е. постепенное преобразование экономическихъ и политическихъ учреждений путемъ участія въ практической политикѣ». Кваркъ рѣшительно поддержалъ Давидъ на томъ-же конгрессѣ: «Не тѣмъ мы приобрѣли сочувствіе массъ, что революціонизировали головы. Мы завоевали это сочувствіе практической, отвѣчающей на запросы дня работой. Революціонизированіемъ головъ мы можемъ приобрести лишь нѣсколько студентовъ. Мы не можемъ приобрести сочувствія массъ возбужденіемъ въ нихъ надеждъ на будущее или идеями, которыя вовсе не такъ легко понять. Революціонизированіе массъ начинается не съ головы, а съ желудка. Съ революціонными головами мы остались-бы небольшою сектой научныхъ социалистовъ и не имѣли-бы массоваго движенія».

Мнѣ пришлось остановиться на формулировкахъ германской социал.-дем. только потому, что эта партия всегда оттачивала идеологию и стремилась къ осознанію своихъ дѣйствій, къ оцѣнкѣ и критикѣ путей, которыми приходилось ей идти. Но буквально тѣ же линіи мы находимъ и въ другихъ социалистическихъ партияхъ. При этомъ весьма поучительно сравненіе уровня зрѣлости социалистическихъ партий въ разныхъ странахъ. Чѣмъ шире была политическая конституція страны, тѣмъ меньше социалисты занимались «революціонизированіемъ головъ» и тѣмъ больше, шире, многостороннѣе была ихъ практическая работа. Если фразеология была одна и та-же у Плеханова, Ленина, Бебеля, Либкнехта или Жореса, то какая глубокая разница была въ способахъ воздѣйствія на массы и на «миръ вещей»... Всѣ вѣтви социаль-демократическаго движенія признавали пунктъ Эрфуртской программы о «диктатурѣ пролетариата». Но одни работали въ подпольѣ, и на практикѣ подчинялись диктатурѣ подпольныхъ ячеекъ и ихъ идейныхъ вдохновителей. Другіе-же всю работу вели на почвѣ демократической конституціи, и въ кровь и плоть свою впивали ея навыки, ея политическую культуру, ея правила сотрудничества съ другими партиями. Если принципъ классово́й борьбы въ работѣ подполья воспитывалъ одну только жгучую

классовую ненависть, то на почвѣ демократической конституціи этотъ-же принципъ испытывалъ существенныя ограниченія: въ строительствѣ государства эта борьба классовъ -- несомнѣнный фактъ, но столь-же несомнѣнно и сотрудничество классовъ, безъ котораго вообще невозможно было-бы существованіе самого государства.

Такъ одна и та-же «Эрфуртская программа» разнотворялась въ психикѣ и навыкахъ людей, стремившихся еѣ провести въ жизнь. На почвѣ ея одни все болѣе и болѣе азартно «революціонизировали головы», другіе на почвѣ той-же самой программы преобразовывали дѣйствительность и на практикѣ познавали не только степень близости «пришествія социализма», но и его очертанія...

Очертанія... Въ тѣ далекіе, довоенные годы никто еще не зналъ, что придетъ моментъ, когда въ одной восточной странѣ «социализмъ» со всѣми омерами Эрфуртской программы будетъ осуществленъ на дѣлѣ, а во всѣхъ остальныхъ странахъ именно эти очертанія станутъ настолько туманными, настолько неопредѣленными, что и самое осуществленіе социализма будетъ названо «скачкомъ въ неизвѣстность».

Въ тѣ годы этихъ опасеній у наиболѣе активныхъ дѣятелей социализма еще не существовало...

Они появились позже, послѣ великихъ потрясеній и послѣ потрясающаго русскаго опыта.

II.

Взгляды творцовъ «научнаго социализма», Маркса и Энгельса въ этихъ жгучихъ для социалистовъ вопросахъ, — срокъ наступленія социализма, путь къ захвату политической власти и смыслъ этого захвата, — также пережили большую эволюцію. Очень жаль, что до сихъ поръ не написана исторія развитія этого ученія, оказавшаго огромное вліяніе на социально-политическое міровоззрѣніе социалистовъ рѣшительно всѣхъ направлений, а также, конечно, и на ходъ рабочаго движенія во всѣхъ странахъ *).

*) Довольно много матеріала объ эволюціи взглядовъ Маркса и Энгельса подъ вліяніемъ различныхъ событій европейской исторіи можно найти въ книгѣ С. Н. Прокоповича: «Проблемы социализма». Но эта книга издана въ 1911 г.

И не отъ Института имени Маркса и Энгельса въ Москвѣ слѣдуетъ ожидать безпристрастнаго изложенія измѣчивости взглядовъ этихъ вождей социализма.

Всѣмъ извѣстны боевыя ноты Коммунистическаго Манифеста 1848 г. Захватъ политической власти — единственная цѣль рабочаго движенія. Диктатура пролетаріата — путь преобразованія буржуазнаго общества. Въ этотъ періодъ еще нѣтъ и рѣчи о готовности, о способности пролетаріата къ использованию такого захвата. Марксъ все еще подъ вліяніемъ большой роли, которую играли рабочіе въ европейскихъ революціяхъ 1848 г., хотя тогда самое понятіе «пролетаріатъ» имѣло совсѣмъ иное значеніе. Если въ Англіи въ это время была уже очень сильно развита крупная фабричная промышленность, то въ Европѣ она стала развиваться лишь послѣ 60-хъ г. г. XIX ст. Въ революціяхъ 1848 г. большую роль играли подмастерья ремесленныхъ предпріятій и «люмпены», какъ называли ихъ Марксъ, — бродячій безработный людъ, еще не сложившій никакого рабочаго движенія въ современномъ значеніи этого явленія.

Боевыя ноты, «исключительно революціонный путь», захватъ власти и т. д. уступаютъ мѣсто инымъ разсужденіямъ послѣ смѣлаго шахматнаго хода Бисмарка, — дарованія Германіи всеобщаго избирательнаго права въ 1867 году. Еще въ срединѣ 60-хъ г. г. Энгельсъ весьма отрицательно относился къ агитаціи Лассаля за всеобщее избирательное право, а въ 1874 г. онъ уже писалъ: «Величайшею честью для нѣмецкихъ рабочихъ служить то, что имъ однимъ удалось послать рабочихъ и представителей рабочихъ въ парламентъ, чего до сихъ поръ не достигли ни французы, ни англичане». А въ 1895 г. онъ видитъ уже во всеобщей подачѣ голосовъ, т. е. въ развитіи демократіи «одно изъ самыхъ мощныхъ средствъ освобожденія пролетаріата». Нѣмецкіе рабочіе, говоритъ онъ, «дали своимъ товарищамъ всѣхъ странъ новое оружіе и притомъ одно изъ самыхъ сильныхъ, показавъ, какъ можно пользоваться всеобщимъ избирательнымъ правомъ. Всеобщая подача голосовъ давно существовала во Франціи, но приобрѣла тамъ дурную славу благодаря злоупотребленіямъ бюрократическаго правительства. Послѣ Парижской Коммуны не было рабочей партіи, которая могла-бы еѣ использовать... Революціонный пролетаріатъ романскихъ странъ привыкъ смѣ-

трѣтъ на избирательное право какъ на западу, какъ на орудіе обмана. Въ Германіи къ нему установилось совѣмъ иное отношеніе... Эта дѣятельность рабочихъ въ ландтагахъ, общинныхъ совѣтахъ, промышленныхъ судахъ и въ парламентѣ привела къ тому, что буржуазія и правительство стали гораздо больше бояться легальныхъ дѣйствій рабочей партіи, чѣмъ нелегальныхъ, болѣе страшиться успѣховъ на выборахъ, чѣмъ успѣшныхъ возстаній» *).

Тѣмъ не менѣе цѣлью этого легальнаго движенія с.-д. партіи являлось по Энгельсу все-же завоеваніе политической власти для совершенія социалистическаго преобразованія общества, — для социальной революціи.

Эта вѣра въ способность пролетаріата уже сейчасъ «преобразовать» общество была нѣсколько поколеблена у Маркса послѣ опыта Парижской Коммуны. Въ предисловіи къ Коммунистическому Манифесту 1872 г., написанному послѣ пораженія Коммуны, Марксъ пишетъ: «Парижская Коммуна показала, что рабочій классъ не можетъ попросту овладѣть существующей государственной машиной и привести её въ движеніе для осуществленія своихъ собственныхъ цѣлей».

Но если онъ не можетъ «попросту овладѣть государственной машиной», то что-же нужно для того, чтобы овладѣть ею не «попросту»? Мысль Маркса договариваетъ Энгельсъ уже гораздо позже, въ 90-хъ г. г.: «Массы должны имѣть время и возможность для развитія, а эта возможность дается имъ лишь ихъ массовымъ движеніемъ, — все равно, въ какой формѣ, лишь-бы оно было ихъ собственнымъ движеніемъ, въ которомъ онѣ развиваются подъ влияніемъ своихъ собственныхъ ошибокъ, становятся умнѣе, благодаря понесеннымъ пораженіямъ» *).

Слѣдовательно, не просто прыжокъ къ власти, а какой то длинный путь развитія. Но такъ какъ никакого «рабочаго движенія» въ его многообразныхъ формахъ не можетъ быть въ нѣдрахъ абсолютистскихъ режимовъ, то отсюда — высокая оцѣнка не только всеобщаго избирательнаго права, но и свободныхъ формъ развитой демократіи. У Маркса и Энгельса послѣ гибели Парижской Коммуны уже испарилось нѣсколько презрительное отно-

*) Предисловіе Энгельса къ работѣ Маркса «Гражданская война во Франціи».

шеніе къ «формальной демократіи»; исчезло и поклоненіе «исключительно революціоннымъ путямъ», захватамъ, возстаніямъ и пр. «Современное рабочее движеніе, пишетъ Энгельсъ въ 1895 г., не можетъ достичь побѣды однимъ большимъ ударомъ, и должно медленно двигаться впередъ съ позиціи на позицію, въ тяжелой, упорной борьбѣ... Можно думать, что старое общество можетъ мирно развиваться въ новое въ странахъ, гдѣ въ рукахъ народнаго представительства сконцентрирована вся власть, гдѣ конституціоннымъ путемъ можно сдѣлать все, что хочешь, если имѣешь за собой большинство народа; таковы демократическія республики, какъ Франція и Америка, монархіи, какъ Англія, гдѣ ежедневно обсуждается въ печати предстоящій денежный выкупъ правъ династіи и гдѣ король совершенно безсиленъ сдѣлать что либо противъ воли народа». Революціонные пути остаются лишь для странъ, «гдѣ мирному развитію социализма изъ капиталистическаго строя мѣшаютъ остатки феодально-абсолютистскаго режима» *).

Въ этихъ разсужденіяхъ Энгельса выпукло выдвигаются новыя понятія, чуждыя нѣсколько болѣе раннимъ возрѣніямъ ортодоксальныхъ марксистовъ: «большинство народа», «воля народа». Не одинъ пролетаріатъ, но большинство народа. Важный этапъ, несомнѣнно выросшій изъ работы социалистовъ на почвѣ представительныхъ учреждений. Важный потому, что онъ въ самомъ корнѣ измѣняетъ узкоклассовую идеологію социалистовъ-марксистовъ и ставитъ её на гораздо болѣе широкія рельсы социальной демократіи, многоликую въ современныхъ государствахъ.

III.

Итакъ, въ вопросахъ о путяхъ «научный социализмъ» пережилъ большую и плодотворную эволюцію. Къ началу XX-го столѣтія социалисты всюду стали вліятельной партией, работающей въ нѣдрахъ и на почвѣ всевозможныхъ учреждений капиталистическаго строя. Но куда-же ведутъ эти но-

*) Письма къ F. A. Sorge, стр. 238.

вые пути? Измѣнилось-ли — соответственно — самое понятіе «соціализмъ» и что вообще оно означаетъ?

До великой войны и русскаго опыта каждый социалистъ въ р и л ь, что онъ знаетъ, что такое этотъ новый строй, ради котораго миллионы людей организуются, приносятъ жертвы, наконецъ, ждутъ его, какъ избавленія отъ тяжелой жизни въ современныхъ условіяхъ. И опять — Эрфуртская программа... Это, во-первыхъ, экспроприация экспроприаторовъ. Во-вторыхъ, обобществленіе орудій производства; въ-третьихъ, политическая власть въ рукахъ пролетаріата. Въ Эрфуртской программѣ Карлъ Каутскій милостиво оставлялъ (на первое время...) частную собственность на землю мелкимъ крестьянамъ. Но только на первое время. Вообще-же частная собственность путемъ ли прямыхъ декретовъ или путемъ кооперированія должна быть по-части уничтожена.

Эти пункты — основные у социалистовъ всѣхъ толковъ. Но нѣтъ общезначимаго понятія социализма, нѣтъ и совершенно ясной экономической программы, указывающей на рѣзко принципиальное различіе этого строя отъ той капиталистической гусеницы, отъ того кокона, изъ котораго должна вылупиться волшебная бабочка социализма.

Съ наибольшей ясностью эта истина обнаружилась послѣ войны, когда социалисты или путемъ переворота (какъ въ Германіи) или путемъ избирательнаго права (какъ въ Англии и Скандинавскихъ странахъ) овладѣли политической властью. Казалось-бы, пришелъ желанный моментъ, та вершина достижений, о которой мечтали социалисты 60-хъ и 70-хъ годовъ.

И вдругъ — осячка... Эта осячка съ наибольшей наглядностью обнаружилась въ Германіи, гдѣ социалисты не только практики, но и теоретики, но и философы, стремящіеся всегда обобщить и объяснить «опытъ», дать разумное толкованіе достиженію или провалу.

Тотчасъ-же послѣ переворота 1918 г. и послѣ утвержденія широко-демократической Веймарской конституціи, была образована «Комиссія по социализации». Эта комиссія обязана была намѣтить практическія мѣропріятія, долженствующія приблизить Германію къ введенію социалистическаго строя. Всѣ нѣмецкіе социалисты хорошо, конечно, понимали, что тотъ военный социализмъ, съ его диктаторскими посягательствами на частное про-

изводство, частную собственность, съ его «государственнымъ контролемъ и регулировкой производства», съ его экспроприацией частной собственности для нуждъ войны, не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ идеальнымъ понятіемъ социализма, который долженъ стать нормальнымъ государственнымъ строемъ въ мирное время.

Послѣвоенная германская «комиссія по социализации» издала свой многотомный трудъ. У кого хватить терпѣнія проштудировать эту огромную работу, тотъ будетъ буквально пораженъ бѣдностью ея предположеній, нѣтъ, полнымъ отсутствіемъ экономического плана преобразованія Германіи на социалистическихъ началахъ. Неизвѣстно, куда дѣлись всѣ desiderata Эрфуртской программы... Можно-ли, напримѣръ, посягнуть на частную собственность и превратить всѣ частныя предпріятія въ государственныя, какъ это сдѣлали большевики? Оказывается, нельзя... Еще нельзя. Почему? Эдуардъ Бернштейнъ объясняетъ*): «Въ вопросахъ о превращеніи частной собственности въ государственную, пишетъ онъ, правительство (социалистическое) не было свободно въ своихъ рѣшеніяхъ. Весь образъ дѣйствій державъ-побѣдительницъ по отношенію къ побѣжденной Германіи заставлялъ считаться съ возможностью того, что державы эти по мирному договору оставятъ за собой право секвестра государственной собственности. И дѣйствительно, согласно продиктованному въ Версалѣ миру такъ и случилось. Первая же статья посвященнаго финансовымъ вопросамъ раздела, статья 248-ая, постановляетъ, что продиктованыя Германіи условія мира обезпечиваются «въ первую очередь всѣми имущественными цѣнностями и источниками доходовъ Германіи и отдѣльныхъ германскихъ государствъ».

Причина — весьма основательная. Но вѣдь эта причина — временная и съ точки зрѣнія послѣдовательнаго развитія исторіи — случайная. А не будь Версаля, — социализация была бы возможна?

Оказывается, невозможно и тогда. Во-первыхъ, на нее не согласилось бы «большинство народа». Национальное собраніе 10-го февраля 1919 г. президентомъ

*) Zur Kritik der Social-demokratischen Programmentwurfes 1891, Neue-Zeit 1901-2. I. стр. 10.

Германской республики избрало социаль-демократа Фрица Эберта. Но за него было подано 277 голосов из 379 и первый-же кабинет мог быть только коалиционным. Да и голосов у социаль-демократов было в 1919 г. лишь 13.827.000 против 16.574.000 буржуазных. 16 милл. — не шутка, и диктаторствовать над ними Фрицу Эберту и его партии было бессмысленно, и это несомненно повело бы к гражданской войне.

И еще одна причина, не менее основательная. «Выше было указано, пишет Бернштейн, какія внѣэкономическія соображенія приходится въ настоящее время выдвигать въ Германіи противъ огосударствленія; однако, и по другимъ причинамъ не только буржуазные экономисты, но и социалисты не рѣшаются высказываться въ пользу огосударствленія, какъ общепримѣнимаго принципа. Руководствуются при этомъ опасеніями передъ бюрократизаціей промышленности и нежеланіемъ безгранично увеличивать численность государственнаго чиновничества. Опасенія эти не совѣмъ безосновательны. Какія бы нареканія ни вызывало капиталистическое производство, внѣ спора стоитъ одно обстоятельство, безъ оговорокъ признававшееся и Марксомъ: капиталистическая система была могущественнымъ факторомъ технически-экономическаго прогресса, экономизаціи материала и труда. И вотъ, возникаютъ сомнѣнія въ томъ, останется-ли бюрократизированное производство на такой же высотѣ — не только потому, что при этой системѣ не такъ велико будетъ побужденіе къ кореннымъ усовершенствованіямъ въ области техники, но и потому, что тутъ отпадаетъ присущая предпринимателю готовность къ риску». То-есть та самая «позорная конкуренція» и личная предприимчивость, которыя такъ поносили социалисты *).

Въ результатѣ, ни комиссія по социализаціи, ни правительство, не пожелали сдѣлать «скачекъ въ неизвѣстность»... Это выраженіе заимствовано мною у А. Н. Потресова, когда-то строго ортодоксальнаго марксиста, цѣликомъ пріемлющаго положенія Эрфуртскаго программы... Но и онъ, подобно Эдуарду Бернштейну, теперь по-

*) Спорные вопросы социализма, стр. 265.

лагаютъ, что «и правое, и лѣвое крылья международного социализма одинаково превосходно ориентированы въ томъ, что крушеніе капитализма, котораго повсюду такъ жаждутъ коммунисты, въ данной исторической обстановкѣ, отнюдь не было-бы шагомъ впередъ на пути развитія общества, отнюдь не являлось-бы переходомъ его на высшую ступень, а наоборотъ, было-бы скачкомъ въ неизвѣстное, относительно котораго можно только не сомнѣваться, что оно рѣзко понизило-бы уровень всей общественной жизни, ликвидировало-бы демократію и поставило-бы движеніе рабочаго класса въ безконечно худшія условія... *).

Этотъ новоявленный консерватизмъ социалистическихъ партий должны-же какъ-то объяснить теоретики «революціоннаго» когда-то социализма. Одно изъ объясненій даетъ Каутскій. «Это крушеніе монархій, пишетъ онъ **), и его послѣдствія въ корнѣ мѣняютъ политическія задачи пролетарскихъ партий. Государство, въ которомъ они живутъ, уже не военная монархія, а демократическая республика, угрожаемая реакціей и находящая вѣрную защиту только въ пролетаріатѣ. Нашей задачей становится теперь оберегать республику, то есть существующее государство, а не опрокидывать его. Въ этомъ смыслѣ социаль-демократія перестаетъ быть революціонной и становится консервативной. Не потому, что она отказывается отъ какой либо части своей программы, а потому, что она одну изъ рѣшающихъ частей этой программы уже осуществила. Не она, партія, измѣнилась, измѣнилось государство. Послѣ политической революціи идея политической революціи теряетъ всякій смыслъ... Пролета-

*) Записки социаль-демократа, издаваемые А. Н. Потресовымъ, № 6, июль, 1931 г.

**) На почвѣ этой справедливой осторожности германской социаль-демократіи, за что большевики называютъ ее «стороживымъ псомъ капитализма», весьма курьезное впечатлѣніе производитъ агитация въ Германіи русскаго профессора, почтеннаго И. А. Ильина и его вопли: «Спасайте частную собственность! Она — священна! Безъ нея нѣтъ государства! Безъ нея — коммунистическая гибель». Одинъ нѣмецъ со смѣхомъ говоритъ: «Этотъ человекъ трогателен... Свою, російскую собственность, защитить не сумѣлъ и думаетъ, что аргументы проигравшаго игроу для насъ, нѣмцевъ, могутъ быть убѣдительны!»

риать живѣйшимъ образомъ заинтересованъ въ дальнѣйшемъ развитіи республики».

Это объясненіе того факта, почему вдругъ партія стала «консервативной», не выдерживаетъ ни малѣйшей критики. Во-первыхъ, партія эта никогда не говорила только о политической революціи. А во-вторыхъ, «охрана республики и ея дальнѣйшаго развитія, быть можетъ, въ гораздо большей степени предполагаетъ заботу объ ея экономическихъ интересахъ. Вотъ эти-то интересы и требуютъ, чтобы социалисты воздержались отъ «скачка въ неизвѣстное» и шли бы путемъ всѣхъ остальныхъ партій: интересы своихъ членовъ, своихъ избирателей пропускали-бы не черезъ Эрфуртскую программу, а черезъ призму обще-государственныхъ интересовъ. А эта призма — сложная. Здѣсь уже рѣчь идетъ не о социализмѣ для пролетаріата, а о социальныхъ реформахъ для всего трудового народа, включая сюда и производительные, цѣнные для государства слои буржуазіи. Понятіе социализма при такой постановкѣ чрезвычайно затуманивается и осложняется, а понятіе общенароднаго блага и процвѣтанія государства выпукло подчеркивается.

Самая дѣятельность социалистовъ также рѣзко измѣняется. Они ведутъ работу уже не въ постоянномъ и трепетномъ ожиданіи пришествія «социальной революціи», а лишь въ направленіи непрерывнаго улучшенія и реформирования существующаго строя по мѣрѣ роста своей силы и въ зависимости отъ роста культуры и матеріальной мощи всей страны.

Такимъ образомъ, всей послѣвоенной практикой своей международный социализмъ отказывается отъ пользованія орудіемъ политической власти для «введенія социализма». Это орудіе — въ противоположность прежней, старой своей идеологии — онъ уже не считаетъ всемогущимъ. Несомнѣнно, русскій опытъ оказалъ въ этомъ смыслѣ глубоко оздоровляющее дѣйствіе. «Какъ бы ни представлять себѣ социалистическій режимъ въ его завершенной формѣ, пишетъ Эдуардъ Бернштейнъ, никто не станетъ оспаривать, что однимъ гигантскимъ скачкомъ его достичь нельзя, что, напротивъ, онъ можетъ быть только результатомъ цѣлой цѣпи мѣропріятій, осуществляемыхъ черезъ извѣстные, бо-

лѣе или менѣ продолжительные промежутки времени. Но ни одно изъ этихъ мѣропріятій не будетъ, не должно быть несомѣстимо съ наличнымъ въ данный моментъ уровнемъ социально-экономическаго развитія... Необходимо, следовательно, весьма точно уяснить себѣ предположительныя послѣдствія хозяйственныхъ и социально-политическихъ мѣропріятій».

Согласно этимъ велѣніямъ разума, германская коммиссія по социализации пришла къ слѣдующимъ невеселымъ для социализации выводамъ: «Коммиссія отдаетъ себѣ отчетъ въ томъ, что обобщественіе средствъ производства можетъ послѣдовать только путемъ длительного органическаго созиданія... Первой предпосылкой всякой хозяйственной реорганизации является оживленіе производства; положеніе Германіи повелительно требуетъ возобновленія экспортной промышленности и внѣшней торговли, и для этихъ отраслей хозяйства прежняя организациія производства должна быть еще сохранена. Точно также для восстановленія дѣятельности промышленности необходимо поддержаніе и расширеніе оборотнаго капитала и кредита, и, слѣдовательно, безпрепятственное функционированіе кредитныхъ банковъ. Въ интересахъ продовольственнаго дѣла не должно быть предложено мѣропріятій, клонящихся къ преобразованію прежняго владѣнія и производства въ сферѣ крестьянскаго хозяйства. Въ области крестьянскаго хозяйства посредствомъ отвѣчающихъ его условіямъ мѣропріятій и путемъ поддержки кооперативныхъ товариществъ, должна быть увеличена производительность сельскаго хозяйства и усилена интенсивность труда въ немъ» *).

Это замѣчательное, историческое постановленіе коммиссіи по социализации показываетъ, какой гениальный шагъ сдѣланъ былъ въ 1867 г. желѣзнымъ канцлеромъ Бисмаркомъ въ видѣ дарованія всеобщаго избирательнаго права и привлеченія всего народа, въ томъ числѣ и «разрушителей-утопистовъ» къ государственному строительству. Наши правители какъ огня боялись этого политическаго обученія народа на практической работѣ пар-

* Карлъ Каутскій. Большевикъ въ туникѣ. Стр. 139.

ламентаризма, и в награду за эту боязнь получили не только одну из самых кровавых и страшных революций, но и «осуществление социализма» в странах, еще не доросшей даже до развернутого капитализма!..

История мстительна и роковых ошибок никогда не прощает.

IV.

Из этого краткого очерка ясно, какую огромную эволюцию пережило мировоззрение социалистов от наивной веры в завтрашний Zusammenbruch, — в немедленный «крах капитализма», — до «оберегания» этого капитализма от наскоков коммунистов и фашистов. К этому слѣдует прибавить, что в тех странах, где социалисты стояли или стоят у власти, в этом «оберегании капитализма» они не стѣсняются прибѣгать к полицейским мѢрамъ, за что и получают неистовыя проклятия от коммунистовъ, уже «осуществившихъ в Россіи социализмъ». При такомъ положеніи даже доброжелатели социалистовъ упорно говорятъ о «кризисѣ социализма», объ упадкѣ революціонности и даже о разочарованіи въ идеалахъ, когда-то заживавшихъ души...

Дѣйствительно-ли существуетъ кризисъ социализма и въ чемъ онъ выражается? Вопросъ этотъ тѣмъ болѣе законенъ, что число членовъ социалистическихъ партій всюду растетъ. Число ихъ представителей въ парламентахъ — также. Какъ будто — противорѣчіе? Кто сталь-бы подавать голоса за обанкротившуюся партію? Значитъ, несмотря на кризисъ, а онъ — несомнѣненъ, есть еще что-то въ этихъ партіяхъ, что влечетъ къ нимъ и избирателей, и послѣдователей. Что — увидимъ дальше. Что же касается кризиса, то всѣ, пристально изучавшіе социалистическое движеніе, давно уже указывали на неблагополучіе въ самой идеологіи социализма. Эта идеологія выросла не изъ движенія, а привнесена въ него извнѣ, — творцами различныхъ социальныхъ концепцій. Движеніе, развиваясь, отходило отъ этихъ концепцій, отчасти измѣняя ихъ, отчасти отвергая вовсе. Тѣмъ не менѣе онѣ висѣли надъ движеніемъ и туманили головы мало-развитыхъ сторонниковъ социализма. Кризисъ идеологіи начался очень давно и только теперь принялъ острия фор-

мы, широкіе и для всѣхъ очевидные размѣры. Рядомъ съ социалистами послѣ войны выросли весьма обширныя коммунистическія партіи. Онѣ оперировали той самой фразеологіей, которая была характерна для социалистовъ 60-хъ, 70-хъ и даже 80-хъ г. г. (а въ Россіи и гораздо болѣе позднихъ періодовъ) XIX столѣтія. Въ коммунистическихъ вопляхъ, призывахъ, въ ихъ разрушительныхъ наскокахъ на современный строй социалисты — какъ въ зеркалѣ — увидѣли самихъ себя... Самихъ себя — въ младенчествѣ. Въ тактикѣ своей, въ работѣ своей они давнымъ давно отошли отъ примитивныхъ идеологій к отъ мистической веры въ «имманентныя особенности пролетаріата какъ класса», и въ спасительность «краха», и въ то, что только они одни, безъ содѣйствія другихъ прогрессивныхъ силъ, могутъ реорганизовать современный строй! Но Эрфуртская программа оставалась висѣть надъ входомъ во II Интернаціональ; еѣ не имѣли времени передѣлать, еѣ продолжали считать «основой социализма»!..

И когда сейчасъ всячески поносятъ Отто Бауэра за то, что онъ указываетъ два пути достиженія социализма, — путь демократіи и путь диктаторіальнаго, — совершенно забываютъ, что Бауэръ во второмъ случаѣ лишь цитируетъ основной пунктъ программы, опредѣленно говорящей: диктатура пролетаріата. Люди, поносящіе его, но не посягающіе на реликвию Эрфурта, какъ будто бы не хотятъ понять, что диктатура есть диктатура... Какъ бы святъ ни былъ пролетаріатъ, а все-таки и онъ можетъ стать диктаторомъ обычнымъ: чего моя нога хочетъ...

Характерно, что наиболѣе яро нападаютъ на Бауэра и тѣ изъ русскихъ социаль-демократовъ, которые въ прошломъ наиболѣе ортодоксально воспринимали положенія с.-д. программы. Вѣдь нельзя никогда забыть, какъ такой образованный социалистъ, какъ Г. В. Плехановъ на одномъ изъ съѣздовъ защищалъ именно это положеніе, — диктатуру пролетаріата. Если, говорилъ онъ, демократія окажется вредной пролетаріату, мы посягнемъ на демократію. Теперь именно русскіе социалисты наиболѣе страстно защищаютъ ту самую формальную демократію, изъ-за которой были въ 90-хъ и 900-хъ г. г. столь яростные споры.

Послѣ русскаго опыта и послѣ образования во всѣхъ государствахъ — рядомъ съ социалистами — коммунисти-

ческих партий, программа социалистов должна быть пересмотрена. Организуя голодных, безработных, люмпенов и всякий люд, готовый выйти на улицу, коммунисты влагают в их уста свои марши, в которых резко обозначена их единственная тактика, их излюбленный путь «достижения социализма»:

Голодные! Чѣмъ мы еще рискуемъ?
 Давайте плотной стѣной встанемъ,
 Гнѣвомъ бровь изломавъ.
 Давайте заставимъ дрожать Манхэтана
 Сытые дома.
 Давайте пройдемъ въ нарастающемъ маршѣ,
 Чтобъ нынче-же поутру
 Сдѣлались нашими банки,
 пашни,
 хлѣбъ,
 этажи
 и трудъ!

На штурмъ «сытыхъ стѣнъ» Нью-Йорка, Берлина, Парижа и Лондона при настоящемъ положеніи вещей социалисты не пойдутъ. Это было-бы не только скачкомъ въ неизвѣстное, но и проваломъ въ бездну неисчислимыхъ страданій. Конечно, распределение накопленныхъ богатствъ дало-бы временное облегченіе этимъ голоднымъ. А дальше? Какъ отнеслось-бы къ этому крестьянство, фермерство, крѣпко организованное въ Зеленый Интернаціональ? Не началась-ли бы съ первыхъ же дней жесточайшая гражданская война между промышленными городами и производителями хлѣба? Никто этого не знаетъ... Современная нищета Россіи, 14 лѣтъ спустя послѣ «штурма», вряд-ли соблазнительный примѣръ.

Съ другой стороны, ни одинъ социалистъ (да и социалистъ-ли только?) не можетъ отнестись спокойно къ судьбамъ голодныхъ людей. Тѣмъ болѣе, что и судъ за это постигаетъ ихъ не по ихъ винѣ. Если резко обнаруживается кризисъ идеологии социализма, то еще рѣзче, еще нагляднѣе вскрываются послѣ мировой войны страшныя болѣзни капитализма. Циклическіе кризисы, осложненные послѣдствіями войны, ставятъ въ тупикъ государственныхъ и общественныхъ дѣятелей. Съ одной стороны миллионы тоннъ пшеницы, кофе, хлопка сжигаются или

выбрасываются въ море изъ-за низкихъ, «невыгодныхъ» цѣнъ. А тутъ-же, рядомъ, — миллионы голодныхъ людей, съ нечеловѣческой ненавистью наблюдающихъ эти «достиженія» капитализма, — уничтоженіе продуктовъ, въ которыхъ такъ нуждаются они и ихъ семьи... По даннымъ Международнаго Бюро Труда къ январю 1931 г. зарегистрировано 25 милл. безработныхъ. А сколько съ семьями?

Красный профинтерн зарегистрировалъ ихъ въ гораздо большемъ числѣ: по 48 странамъ — 34.545.000 полныхъ безработныхъ (включая и сел.-хоз. рабочихъ). А сколько еще неполныхъ, — людей съ сильно сократившимся заработкомъ?

Рядомъ съ этой голодной арміей безобразно выпячивается капиталистическая головка, концентрирующая въ своихъ рукахъ огромныя имущества и получающая отъ этой концентрации столь же огромныя, спекулятивные монопольныя барыши. Это не тѣ капиталисты, которые своимъ трудомъ, энергіей, предприимчивостью, рискомъ участвуютъ въ производствѣ и пока еще являются необходимыми колесами механизма. Нѣтъ. Это — та бесполезная головка, которая благодаря устарѣвшимъ законамъ о наследованіи сосредоточила въ своихъ рукахъ національныя богатства. Безсмысленная и омерзительная роскошь жизни этой головки, паразитизмъ ея, деморализующе дѣйствуетъ на весь общественный организмъ и вызываетъ въ широкихъ трудовыхъ массахъ законную ненависть къ самому строю. Капиталь — есть общественное достояніе. Право частной собственности не можетъ быть неограниченнымъ. Цѣлесообразное ограниченіе его и есть та область работы социализма, которая вела, ведетъ и должна вести къ оздоровленію и коренному преобразованію существующаго строя.

Очутившись во многихъ странахъ у власти, социалисты ищутъ именно этихъ способовъ леченія существующаго строя. Теоретики его не даютъ пока общей программы этого леченія; быть-можетъ, даже навѣрное, не знаютъ еще и вѣрныхъ средствъ. Къ тому же и сложный механизмъ капитализма съ его имманентными, а не внѣшними регуляторами производства и распределения, оказывается чрезвычайно хрупкимъ и чувствительнымъ къ примѣненію острыхъ средствъ леченія. Достаточно какой-либо странѣ слишкомъ сильно повысить налоги на наследство,

увеличить заработную плату или же ассигновать слишком большую долю бюджета на поддержку безработных, как весь организм этой страны содрогнется, как последует «бѣгство капиталов» или же потери на международномъ рынкѣ. Связанность частей всего національнаго (да и мирового также) организма заставляетъ съ особой осторожностью и лишь путемъ *méthode de tâtonnement*, — методами нащупыванія, — примѣнять мѣры, способныя улучшить ходъ вещей. Такъ, на примѣръ, всего лишь девять странъ практикуютъ страхование отъ безработицы (Англія, Германія, Італія, Польша, Швейцарія, Австрія, Ирландія, Австралія, Болгарія). Эти страны страхуютъ 34.629.000 служащихъ и рабочихъ. Кризисное пособие даетъ возможность пережить бѣду и не власть въ нищету въ періодъ паденія производства. Но пока, во-первыхъ, это пособие чрезвычайно низко, — гораздо ниже прожиточнаго *minimum'a*, а, во-вторыхъ, самое проведение его — какъ и во всякомъ страхованіи — требуетъ большой сознательности со стороны рабочихъ и способности къ жертвамъ (взносамъ) въ періодъ процвѣтанія.

Какія же еще лекарства предлагаютъ социалисты для леченія болѣзни капитализма? И опасны ли для капиталистическихъ государствъ эти болѣзни?

Слѣдуетъ сказать, что опасность раздуваютъ не одни коммунисты. Ее признаютъ и такіе практики, какъ, на примѣръ, бывший французскій министръ Кайо. Въ концѣ декабря 1930 г. онъ напечаталъ въ «Ere Nouvelle» статью подъ заглавіемъ — «Небо покрыто тучами». Затяжной кризисъ. Не только перепроизводство товаровъ, но и орудій производства. Огромный ростъ производительныхъ силъ. А потребление не только не стабильно, но непрерывно сокращается для странъ высоко-индустриальныхъ. Закрываются такіе обширные рынки, какъ Россія и Китай. Примѣненіе рабочей силы сокращается. Еще хуже дѣйствуетъ «политическій націонализмъ»: каждая страна стремится развить свое производство безъ учета реальныхъ возможностей и затратъ на «безтолковое строительство промышленныхъ предприятий», уже развитыхъ въ другихъ странахъ до большой технической выгоды. Это поведетъ въ концѣ концовъ къ образованію «закрытыхъ экономическихъ системъ», въ которыхъ производство должно будетъ регулироваться потребленіемъ. Основная проблема, по Кайо, заключается въ томъ, чтобы

сбалансировать — въ международномъ масштабѣ — производство и потребление. Демократы всѣхъ отѣнковъ, пишетъ онъ, должны взяться за разрѣшеніе этой задачи обновленія капитализма, — обновления, единственно способнаго предохранить цивилизацію отъ хаоса. Пусть они немедленно берутся за это дѣло, ибо небо покрыто грозными тучами...

Соціал-демократъ Гильфердингъ ту же мысль Кайо объ обновленіи капитализма выражаетъ иначе. Онъ называетъ эту задачу «організаціей капитализма», отнятіемъ у этой системы ея вредныхъ свойствъ, путемъ сознательнаго вмѣшательства въ организацію рынковъ, съ оставленіемъ, однако, ея цѣнныхъ основъ: частной предприимчивости и энергіи. Какъ картели организуютъ свой рынокъ, такъ и все международное хозяйство должно быть организовано и регулировано въ зависимости отъ емкости рынка.

Однимъ словомъ, новая эра капитализма...

Другой германскій социал-демократъ, Фрицъ Нафтали, идетъ дальше Кайо и Гильфердинга и уже прямо требуетъ «планового руководства и контроля надъ производствомъ».

Но яснаго плана этого «регулированія» еще нѣтъ ни у кого*). Идея графа Куденгофъ-Калерги, — «Панъ-Европа», организованная Европа, привлекаетъ вниманіе и всюду обсуждается. Оживаютъ и дѣлаются достояніемъ широкихъ круговъ старія идеи социалистовъ о необходимости сотрудничества между производствомъ и потребленіемъ. Но если раньше, при расцвѣтѣ «ничѣмъ неограниченнаго предпринимательства», эти идеи украшали лишь страницы революционныхъ изданій, то теперь онѣ уже пробили себѣ дорогу въ кабинеты министровъ, онѣ занимаютъ умы серьезныхъ мыслителей; на нихъ же постоянно наталки-

*) Очень интересны были рѣчи объ отношеніи къ капитализму и русскому опыту на послѣднемъ Международномъ конгрессѣ (Н-го Интернационала) въ Вѣнѣ, въ августѣ этого года. Но и этотъ конгрессъ не далъ развернутой программы спасенія міра отъ глубокаго кризиса. Надъ конгрессомъ вѣяла еще другая опасность: возможность потери завоеванныхъ позицій политическихъ и ухудшенія экономического положенія массъ. Рѣчь, какъ будто, идетъ сейчасъ для социалистовъ не о какомъ либо новомъ наступленіи на капитализмъ, а лишь о сохраненіи своихъ позицій, — задача консервативная.

ваются и практические деятели современного капитализма... Но каких сложных форм требует их проведение в жизнь! Наблюдая эти осторожные, но настойчивые искания, коммунисты не находят достаточно слов, чтобы их опорочить. Воображая, что именно они владычествуют «вѣрнымъ планомъ» организации производства, они кричатъ, что «капитализмъ хватилъ кондрашка», и что обанкротившіеся теоретики социализма не могутъ ничего предложить рабочимъ, кромѣ «резиновыхъ дубинокъ, броневиковъ и пулеметовъ» *).

Они, коммунисты, правы лишь въ одномъ: да, немедленнаго избавленія отъ золь капитализма сейчасъ социалисты предложить не могутъ... Особенно въ виду русскаго опыта. Но и сами коммунисты не могутъ пока предъявить безспорныхъ доказательствъ выгоды своего планового хозяйства. Судьба пятидѣтнаго плана еще далеко не выяснена. Самое производство въ нѣкоторыхъ частяхъ его катастрофически падаетъ. Потребленіе даже рабочаго класса — ниже потребленія ихъ собратьевъ въ капиталистическихъ странахъ, хотя и выше остального населенія. Качество товаровъ ухудшается, сниженіе себѣстоимости не происходитъ... А глава неограниченнаго планированія и абсолютнаго подавленія частной инициативы, Сталинъ, вынужденъ стать на путь отступленія отъ принциповъ этого «немедленнаго социализма въ одной странѣ». Россійскій «скачекъ въ неизвѣстное» — не программа социализма не только потому, что онъ не далъ никакихъ преимуществъ населенію, но и потому, что въ немъ все явственнѣе и явственнѣе проявляются черты хозяйственнаго уклада, имѣющаго иное наименованіе.

V.

Итакъ, скачка въ неизвѣстное социалисты сдѣлать не хотятъ. Средства избавленія отъ жестокихъ кризисовъ капитализма и безработицы — не знаютъ. Точныхъ очертаній будущаго строя не имѣютъ. Быть можетъ, вовсе нѣтъ и той специфической области работы, которая могла бы воспринять это названіе — работы социалистиче-

*) «Правда», № 207, 29 июля 1931 г.

ской? Быть можетъ, устарѣли не только старыя программы, старые методы, но и ближайшія цѣли социалистическихъ партій? Что-же связываетъ тогда кадры социалистовъ? Что притягиваетъ къ нимъ массы? Какія народныя силы желаютъ видѣть ихъ въ нѣдрахъ правительствъ?

Во время одной изъ демонстрацій въ Америкѣ группа дѣвушекъ несла знамя, на которомъ было написано: «Мы требуемъ хлѣба, но также и розъ».

Эта надпись вдохновила американскаго поэта Дж. Оппенгейма, и онъ написалъ стихотвореніе, съ исключительной яркостью рисующее положеніе вещей и психологию новаго человѣка, этого живого винта капиталистическаго строя:

Мы идемъ въ блескѣ дня съ нашимъ знаменемъ алдымъ,
Точно солнце скользнуло въ мрачнымъ подваламъ;
Это вѣтеръ въ трущобы свободную пѣсню донесъ:
Мы идемъ и поемъ — дайте хлѣба и розъ...
Хлѣба и розъ!

Мы идемъ добывать то, что наше по праву!
Такъ нельзя: трудъ однимъ, а другимъ — лишь забаву.
Каждой поровну трудъ, каждой долю и солнца, и
грѣзъ.
Всѣмъ дары свѣтлой жизни: всѣмъ хлѣба и розъ!
Хлѣба и розъ...

(Переводъ Щепкиной-Куперникъ).

Цѣлая программа социалистической работы... Не утопической и не относимой на завтра. Эта работа началась въ давнемъ социалистическомъ вчера. Она продолжается сегодня. И какое колоссальное количество достижений сдѣлано на этомъ пути! На этомъ пути побить желѣзный законъ заработной платы Лассалля, не допускавшаго улучшенія положенія рабочихъ на почвѣ капитализма. На этомъ пути завоеванъ 8 часовая рабочій день, позволившій рабочему получить хотя-бы небольшую долю общей культуры, «долю солнца и грѣзъ». На этомъ пути рабочій изъ парія сталъ гражданиномъ и участникомъ строительства въ своей странѣ. На этомъ пути онъ научился не быть рабомъ и бездушной машиной предпріятія, — онъ научил-

ся организованно ограничивать власть над нимъ капитала. Этотъ путь — не «борьба за пятачекъ», какъ любятъ говорить противники социализма. Хлѣба и розъ! Матеріи и духа! Такъ, дѣйствительно, нельзя: трудъ — однимъ, а другимъ лишь забава. Этическія требованія ставить такой социализмъ и по праву требуетъ «даровъ свѣтлой жизни» не для однихъ только обладателей капитала.

Приводитъ-ли такая работа на почвѣ матеріальныхъ и духовныхъ нуждъ трудящихся, борьба за повышение уровня ихъ матеріальной и культурной жизни, къ изменію самого строя капиталистическаго общества? Несомнѣнно. Путемъ организованной борьбы рабочаго класса происходитъ перераспределеніе народнаго дохода и доля участія рабочихъ въ потребленіи созданныхъ богатствъ непрерывно увеличивается. Увеличивается и ихъ участіе въ учрежденіяхъ, управляющихъ жизнью страны: въ парламентахъ, муниципальных и иныхъ общественныхъ учрежденіяхъ. Профессиональные союзы, кооперативы, культурныя общества рабочаго класса — его крѣпости, изъ которыхъ онъ бомбардируетъ, по выраженію бельгійскаго социалиста Ансела, капиталистической строй. Это — также штурмъ на «сытныя стѣны Манхэтана», — но штурмъ не Геростратовъ, сжигающихъ храмъ Діаны Эфесской ради равенства въ нищетѣ, а послѣдовательный рядъ стратегическихъ ходовъ для увеличенія силы, вліянія, культуры и въ концѣ концовъ равенства съ другими классами права воздѣйствія на всю структуру современныхъ государствъ. И какъ изменилась эта структура и самое положеніе рабочаго класса съ тѣхъ поръ, какъ была написана книга Энгельса о положеніи рабочаго класса въ Англии (40-ые годы)! И экономически, и политически... Изъ трущобъ и подваловъ — въ министерскіе кабинеты. Отъ обсуждения тяжкихъ дѣлъ на одной фабрикѣ — до участія въ рѣшеніи мировыхъ проблемъ. Отъ возрѣній на государство, какъ на заклятаго врага, какъ «на цитадель капиталистовъ», до патріотической преданности своему государству и безавѣтной защиты его... Измѣнилось въ корнѣ все міросозерцаніе. Нѣтъ больше стремленія искать «универсальную» программу, могущую завтра-же избавить человѣчество отъ

золь міра. Но есть насущная необходимость имѣть собственные программы по каждому вопросу дня.

Въ апрѣлѣ 1931 г. на конгрессѣ народныхъ социалистовъ Чехословакии сенаторъ Клофачъ такъ сформулировалъ это измѣнившееся положеніе международнаго социализма: «Народные социалисты не дадутъ клятвъ соблюдать довоенныя марксистскія доктрины. Они являются социалистами, которые считаются съ обстоятельствами и потребностями своихъ государствъ, — своей націи. Новая тактическая программа, это программа дѣйствія, это прежде всего — борьба съ тѣмъ утопическимъ социализмомъ, проповѣдь котораго идетъ сейчасъ изъ Россіи. Народный социализмъ отлично видитъ различіе классовъ и ихъ интересовъ, и не уклоняется отъ диктуемой ему этимъ различіемъ борьбы. Но онъ вовсе не склоненъ механически подчиняться окостенѣлой догмѣ, въ которую превратили большевики самое представленіе о классовой борьбѣ*). Новое время — послѣ войны — ищетъ новаго социализма. Люди уже не удовлетворяются только критикой и только агитаціей. Они выросли политически и духовно и хотятъ дѣйствовать, хотятъ развернуть также и свои конструктивныя способности. Социалисты входятъ теперь въ составъ правительствъ и несутъ отвѣтственность за государство и его здоровое развитіе. Марксизмъ становится реликвіей; растетъ новый социализмъ, освобожденный отъ утопій, заблужденій и предрасудковъ. Социализмъ становится основой мира и демократіи въ тѣмъ большей мѣрѣ, что либерализмъ сыгралъ свою роль и теряетъ своихъ адептовъ. Новый социализмъ дѣлаетъ активныя попытки создать новыя взаимоотношенія въ обществѣ, болѣе человѣчныя, болѣе справедливыя и болѣе разумныя, чѣмъ это было до войны. Онъ стремится къ обезпеченію болѣе высокой, гуманной, общественно-организованной жизни, ибо только на этомъ пути можно обезпечить націи, всему народу счастливое будущее, культур-

*) Къ сожалѣнію, не только большевики. II Интернаціоналъ отказывается принять въ свое лоно чешскую партію народныхъ социалистовъ именно за это ея отрицаніе святости устарѣлыхъ представленій о «борьбѣ классовъ». Догмы, которымъ не подчиняются уже въ практикѣ своей сами члены II Интернаціонала, все еще связываютъ ихъ въ пріемѣ новыхъ собратьевъ, имѣющихъ смѣлость выкинуть изъ своихъ головъ то, что давно уже выкинуто жизнью.

ный расцвет и развитие всех заложенных в народ способности. Говоря так, мы не говорим больше об утопиях. Мы говорим о постройке такого фундамента, укрѣпившись на котором рабочий класс и весь народ могли бы оказывать стойкое сопротивление всякому натиску темных сил прошлого, всякой попытке ослабить физическія и моральныя силы націи».

Бурными аплодисментами встрѣтилъ конгрессъ эту рѣчь о «новомъ социализмѣ». Есть уже твердая почва для социализма безъ химеръ и утопій. Есть и организованныя силы для него въ миллионныхъ колоннахъ, крѣпко спаянныхъ въ экономическихъ, политическихъ и культурныхъ организацияхъ рабочего класса.

Быть можетъ, еще не разъ въ той или иной странѣ эти колонны будутъ окружены, раздавлены, смяты... Ходъ исторіи — не гладкое шоссе. Но сила ихъ въ наше время столь велика, что черезъ краткій историческій мигъ онѣ снова выпрямятся, чтобы подъ алымъ знаменемъ социализма поставить свое старое требованіе:

Хлѣба, розъ и свободы!

Эта программа не снимается съ очереди никакими потрясеніями. И сознание, что рабочий XX-го вѣка это совсемъ другой социальный типъ, чѣмъ въ прежнія времена, это сознание проникаетъ въ головы весьма далекія отъ социалистическихъ доктринъ. На празднованіи годовщины Веймарской конституціи (11-го августа 1931 г.) германскій министръ финансовъ Дитрихъ въ рѣчи своей говорилъ: «Слѣдуетъ открыто признать, что въ наши дни капитализмъ мобилизуетъ свои силы противъ большевизма. Эту задачу онъ можетъ успѣшно выполнить лишь въ томъ случаѣ, если онъ сможетъ обезпечить необходимое средства для достойнаго поддержания жизни рабочего человѣка».

Да, лишь въ этомъ случаѣ. Но эту задачу онъ, капитализмъ, можетъ выполнить лишь при поддержкѣ организованнаго социализма и при полной готовности своей къ тѣмъ широкимъ и радикальнымъ реформамъ, которыя будутъ диктоваться всей совокупностью условий борьбы за новый строй съ достойнымъ мѣстомъ въ немъ трудящагося человѣка. Соответственно этой живой, а

не догматической задаче, несомнѣнно, будетъ пересмотрены не только идеологія социализма, но и воззрѣнія идеологовъ капитализма. Большевизмъ принудилъ обѣ эти столь антагонистичныя концепціи скреститься на путяхъ творческаго и необходимаго преобразования общества. Къ тому-же кромѣ сознательныхъ «скачковъ» на ту или иную ступень существуютъ еще скачки стихійныя, наиболее страшныя и разрушительныя. Они и послѣдуютъ, если мѣры предупрежденія не будутъ приняты организованными силами современнаго общества.

VI.

Русскій опытъ не законченъ. Кромѣ того онъ производится не въ чистомъ видѣ, — онъ осложненъ политической революціей, гражданской войной и разрушеніемъ хозяйства Россіи не только социализаціей, но и великой войной. Трудно сказать, какой исходъ имѣлъ-бы такой опытъ въ другихъ странахъ, гдѣ социалисты были неизмѣримо болѣе организованы, болѣе культурны и болѣе воспитаны въ общественномъ смыслѣ. Несомнѣнно, результатъ былъ-бы иной. Можетъ ли тѣмъ не менѣе русскій опытъ оказать рѣшающее влияние на построение новой идеологіи социализма?

Безусловно можетъ. Онъ съ наглядностью показалъ, во что упрутся попытки насильственнаго «планированія», еще не вытекающаго изъ самихъ условий производства. Онъ показалъ ограниченность насилія и силу законовъ хозяйственной дѣятельности. Онъ показалъ также великое значеніе въ производствѣ и въ жизни человѣческаго фактора, требующаго для успѣшности борьбы за жизнь не только разумной дисциплины, но и свободы индивидуальнаго развитія. Однако, для социалистовъ всѣхъ толковъ онъ съ исчерпывающей ясностью показалъ еще жалкое содержаніе творческихъ моментовъ въ тактикѣ «революціоннаго насилія». На словахъ, въ пылу спора со своими лѣвыми сосѣдями, эту тактику насилія социалисты осуждали давно. Покойный Либкнехтъ еще въ 1887 г. на конгрессѣ въ С. Галленѣ прекрасными словами осудилъ этотъ методъ воздѣйствія на ходъ вещей: «Насиліе не создаетъ революціи и вообще не ре-

волюціонно. Напротивъ, враги революціи всегда опирались на насиліе... Люди, вѣрующіе въ то, что одинъ человекъ способенъ помощью «крови и желѣза» или «динамитной бомбы» по произволу измѣнить форму государства и общества — вѣруютъ въ чудеса. Сила — не есть насиліе. Противъ силы экономическаго развитія насиліе является безсильнымъ». Но эти слова отнюдь не побудили социалистовъ-марксистовъ убрать изъ своего лексикона, изъ своихъ программъ рекомендацію величайшаго насилія одного класса надъ другими классами — диктатуры пролетариата. Русскій опытъ далъ въ этомъ смыслѣ исчерпывающее доказательство преступности — съ точки зрѣнія здороваго развитія общества — классоваго господства, хотя бы классъ этотъ принадлежалъ къ почетному сословію трудящихся.

Будемъ надѣяться, что социалисты, не желающіе дѣлать «скачковъ въ неизвѣстное», учтутъ въ своихъ теоретическихъ построеніяхъ и въ своей практической работѣ всѣ эти новыя явленія, ставшія и звѣстными и послѣ страшныхъ переживаній въ годы великой войны и многочисленныхъ революцій.

Послѣ русскаго опыта пересмотръ теоретическихъ положеній устарѣлаго марксизма становится для социализма морально-обязательнымъ.

Е. К. Кускова.

Соціальный вопросъ и свобода

Соціальный вопросъ сохраняетъ для насъ все ту же остроту, какую онъ имѣлъ для XIX вѣка. Для современнаго общества это загадка сфинкса, не разрѣшить которой значитъ погибнуть. Однако, со времени войны постановка его совершенно измѣнилась. Это измѣненіе такъ значительно, что человекъ, соціальное сознание котораго воспитано въ обстановкѣ начала XX вѣка, рискуетъ ничего не понять въ соціальной современности. Во всякомъ случаѣ ему надо переучиваться съ азовъ.

Прежде всего, социализмъ (беремъ это слово въ его самомъ широкомъ значеніи) утратилъ весь привкусъ утопичности и максимализма, который превращалъ его въ «музыку будущаго». Социализмъ есть самый практический, очередной и неотложный вопросъ современности. Въ эру социализма мы уже вступили, не замѣтивъ этого, какъ не сразу замѣчаетъ путникъ въ горахъ надвинувшагося на него облака. Въ самомъ дѣлѣ, моментъ «соціальной революціи», грань, отдѣляющая буржуазное общество отъ пролетарскаго, въ сознаніи социалистовъ совпалъ съ «завоеваніемъ» ими политической власти. Этотъ моментъ давно уже позади насъ — съ тѣхъ поръ, какъ социалисты управляютъ или управляли государствами половины Европы. Правда, ихъ появленіе у власти почти ни въ чемъ не отразилось на экономическомъ строѣ. Но это уже связано съ огромными трудностями соціального преобразования общества — трудностями, впервые открывшимися для самихъ социалистовъ. По крайней мѣрѣ, въ одномъ величайшемъ государствѣ Европы, гдѣ правятъ люди, свободные отъ этическихъ и разумныхъ предпосылокъ, социализмъ осуществляется всерьезъ вотъ уже 14-ый годъ, и не одинъ десятокъ милліоновъ людей пали жертвой этого соціального эксперимента.

Вторая особенность современнаго соціального вопроса — въ томъ, что онъ по содержанию своему уже не совпадаетъ съ вопросомъ рабочимъ. Все общество въ цѣ-

ломъ страдаетъ отъ потрясеній разладившагося хозяйственного механизма. Есть общественныя группы, которыя оказались беззащитнѣе передъ кризисомъ, чѣмъ пролетаріатъ. Благодаря мощи своихъ политическихъ и экономическихъ организаций, рабочій классъ во многихъ странахъ застраховалъ себя отъ безработицы государственной помощью. Пролетаріатъ уже пересталъ быть послѣднимъ изъ обездоленныхъ. Но широкіе слои интеллигенціи, ремесленниковъ и крестьянства совершенно безпомощны передъ бѣдой. И, наконецъ, «молнии разятъ самыя высокія вершины». Каждый биржевой крахъ влечетъ за собою рядъ самоубійствъ среди вчерашнихъ властителей міра. Въ Америкѣ уже открываются убѣжища для раззорившихся милліонеровъ. Въ современныхъ экономическихъ буряхъ никто не можетъ почитать себя въ безопасности.

Если для рабочаго класса социализмъ по прежнему можетъ представляться дѣломъ справедливости, и пафосъ равенства (ненависть къ неравенству) опредѣляетъ его классовую борьбу, то для интеллигенціи и другихъ слоевъ, вовлеченныхъ въ социальное движеніе, дѣло идетъ не о равенствѣ и даже не о справедливости, — а о существованіи. Поскольку движеніе получаетъ объективную идеологическую санкцію, оно находитъ ее не въ классовомъ интересѣ, но и не въ этическомъ требованіи, а въ государственной необходимости. И въ этомъ третья существенная черта новаго «социализма». Такъ условимся называть въ дальнѣйшемъ анти-буржуазныя движенія нашего времени, враждебныя пролетарскому социализму: фашизмъ, національный социализмъ и проч.

Старый социализмъ могъ глубоко скрывать свое этическое жало — отчасти изъ цѣломудрія, отчасти по недомыслию или желчности темперамента. Его гуманитарная основа сохранялась даже въ марксизмѣ. Въ извращенно-отрицательныхъ реакціяхъ — ненависти и злобы — догаралъ зажженный гуманистами 30-хъ годовъ костеръ состраданія и ненавидящей любви. Революционный социализмъ вырастаетъ изъ тѣхъ же слоевъ сердца, что «Бѣдные Люди» Достоевскаго или «Отверженные» Гюго. Его упадочная линія развитія ведетъ черезъ состраданіе — справедливость — интересъ. Но до нашихъ дней притокъ интеллигенціи въ социалистическія партіи былъ бы невымыслимъ, если бы въ социализмѣ не сохранялся — пусть самый

слабый — запахъ выдыхающейся эссенціи романтическихъ 30-хъ годовъ.

Новый социализмъ начисто свободенъ не только отъ романтизма, но и отъ морализма вообще. Отправляясь не отъ защиты угнетенныхъ, а отъ сохраненія общества въ цѣломъ, онъ проникнуть пафосомъ не справедливости, а организации. Современное общество кажется ему не то что корыстнымъ, тираническимъ, жестокимъ, но прежде всего плохо организованнымъ. Отъ анархіи буржуазнаго общества онъ обращается не къ идеальной анархіи будущаго, а къ порядку и мощи реального, національнаго государства. Это государство давно уже крѣпнеть, вмѣстѣ съ упадкомъ либерализма. Война сдѣлала его на время почти всемогущимъ. Свобода, жизнь всѣхъ гражданъ, хозяйственный строй, представлявшійся мистически неприкосновеннымъ, оказались на годы въ неограниченной власти государства. Воспоминаніе о дняхъ этого героическаго деспотизма вдохновляетъ нынѣ, въ эпоху буржуазнаго безсилія, передъ лицомъ все новыхъ грозныхъ кризисовъ. Война дала почувствовать мощь организации и обаяніе мощи. Пафосъ борьбы и побѣды, державшій въ напряженіи сотни милліоновъ людей, дѣйствительно оказывается выраженіемъ воли къ мощи: *Wille zur Macht*. Само по себѣ начало организации, какъ порядка, можетъ быть упоительно для прусскаго чиновника или для голландскаго лавочника. Но не ему, не этому началу консервативнаго порядка вдохновить выкормленное кровью поколѣніе. Лишь въ соединеніи съ соблазномъ мощи организация увлекаетъ новыхъ революціонеровъ. Новый социальный идеалъ оказывается родственнымъ идеалу техническому, какъ бы социальной транскрипціей техники: социальнымъ конструктивизмомъ. Новый человекъ хочетъ строить новый городъ изъ огромныхъ глыбъ человѣческихъ массъ, и государство представляется для его сожженной совѣсти, для его оскудѣвшаго разума единственнымъ и при томъ безграничнымъ источникомъ энергіи. Оно должно поставить на службу себѣ всѣ силы и способности человека, сковать всѣ классы цѣлью социальнаго долга и разрѣшить, наконецъ, проблему разумнаго хозяйства и всеобщей обезпеченности.

Въ послѣдней войнѣ государство прикрывало свое абстрактно-идеальное начало живой національной плотью. Люди умирали не за государство, а за родину. Небывалый

въ исторіи разливъ національныхъ страстей былъ порождениемъ войны. Нація оказалась сильнѣе класса, сильнѣе религіи. Нація все еще полна обаяніемъ безсознательно-творческихъ энергій, въ ней живущихъ, дорогихъ красотой и правдой все еще не до конца омертвѣвшихъ стихій народной души. И новые социальныя строители эксплуатируютъ романтическія чувства, безъ которыхъ все еще не можетъ обойтись человѣчество: только социальный романтизмъ уступилъ мѣсто національному. Для многихъ дѣятелей движенія национализмъ является не приправой необходимой демагогіи, а подлинной его природой. Во всякомъ случаѣ, онъ единственный идеальный его стержень, соотвѣтствующій моральнымъ двигателямъ стараго социализма.

Государство и нація доселѣ (въ концѣ XIX — началѣ XX в.) принадлежали къ консервативнымъ цѣностямъ политики. Новый «социализмъ», вдохновляясь ими, показываетъ свое анти-революционное происхождение. Дѣйствительно, встрѣча его со старымъ социализмомъ на полѣ социальной программы вторична и онтологически случайна. Въ одномъ актѣ стремятся выразить себя противоположныя энергіи духа. Новый «социализмъ» есть послѣднее слово социальной реакціи. Нельзя говорить о консерватизмѣ движенія, стремящагося ниспровергнуть существующій, капиталистическій строй. И, хотя слово «реакція» многозначно, его можно употреблять для характеристики всѣхъ силъ, которыя въ новое время, принципиально и радикально, возстали на міръ идей, породившихъ Великую Революцію или порожденныхъ ею. Для этого идейнаго комплекса, для всего существеннаго и пребывающаго въ немъ есть одно объемлющее слово: свобода, а отрицаніемъ свободы опредѣляется природа реакціи.

Въ наше время умышленно не желаютъ понимать значенія слова «свобода» и требуютъ его строгаго опредѣленія. Строгое опредѣленіе свободы встрѣчаетъ большія философскія трудности, а отсюда заключаютъ съ поспѣшнымъ торжествомъ о пустотѣ и безсодержательности самой идеи. Какъ будто бы легко опредѣлить «любовь» или «родину», или даже «націю». И будто бы нужно сперва найти опредѣленіе націи или отечества, чтобы умереть за нихъ. Еще не совсѣмъ сошло въ могилу то поколѣніе — поколѣнія — которое умѣло умирать за свободу, какъ за величайшую святыню, не спрашивая ея философскихъ

опредѣленій. Вѣра не тождественна съ богословіемъ. Существенно не содержаніе свободы, а вѣра въ свободу или пафосъ свободы. Къ тому же въ политической жизни рѣчь идетъ не о метафизической, а о социальной свободѣ: объ уменьшеніи зависимости, о возрастаніи самоопредѣленія личности по отношенію къ обществу и прежде всего къ государству; такимъ образомъ свобода получаетъ достаточно опредѣленное содержаніе. Правда, это содержаніе должно быть еще болѣе уточнено, чтобы получить дѣловую пригодность въ политической работѣ нашего времени.

Когда-то, особенно въ серединѣ XIX вѣка, консерваторы любили противопоставлять свободѣ порядокъ: не власть, не мощь, какъ біологически-эстетическую цѣнность, а именно порядокъ. Любопытно, что съ того времени (1848 г.) буржуазія чувствуетъ себя на сторонѣ порядка, хотя социализмъ, и старый и новый, не перестаетъ упрекать ее въ анархизмѣ. Старый «порядокъ» и новая «организация», казалось бы, чрезвычайно близки по своему значенію. Однако порядокъ выражаетъ болѣе статическую, данную сторону социальной организациі; организациія въ современномъ смыслѣ — творчество новаго порядка. Но и порядокъ и организациія суть силы, ограничивающія свободу, частично или цѣликомъ отрицающія ее.

Дѣйствительно, всякое социальное строительство совершается за счетъ свободы личностей, урѣзывая, умаляя ее. Всякій законъ, всякій уставъ, образованіе каждой, хотя бы совершенно свободной корпораціи означаетъ отказъ (или принужденіе къ отказу) личности отъ нѣкоторой доли ея правъ. Личная свобода есть матерія, изъ которой шьется всякая социальная одежда. Запасъ этой матеріи не можетъ быть неисчислимымъ; онъ расходуется и не пополняется ничѣмъ. Это значитъ, предѣлъ всякой общественной организациі есть всеобщее рабство. Противоположный, низшій предѣлъ организациі есть полная социальная нагота, анархія, свободная и жестокая борьба всѣхъ противъ всѣхъ. Между этими двумя границами совершается колебаніе социальныхъ приливовъ и отливовъ. Средневѣковыя знали широкую свободу личностей (феодалныхъ) и группъ (корпорацій) — правда, на фонѣ массовой несвободы сервовъ. Абсолютная монархія новаго времени подчинила буйную феодальную свободу всеобщему порядку. Окостенѣлая стѣснительность этого поряд-

ка вызвала взрывъ буржуазнаго освобожденія, пытавшася построить жизнь на свободной игрѣ силъ. Нынѣ государство, питаемое социальной идеей, собирается положить конецъ этой свободѣ и возстановить свой, столь недавно поколебленный абсолютизмъ. Въ Италиі и Россіи оно утверждаетъ себя съ такой беспощадностью, какъ ни одна тиранія временъ Возрожденія, оставляя позади себя даже крѣпостную имперію Діоклетіана и Константина. Фашистское государство Италиі представляется болѣе зрѣлымъ и зловѣщимъ въ своемъ холодномъ демонизмѣ, чѣмъ остервенѣлое безуміе коммунизма. Коммунизмъ въ Россіи живетъ еще безсознательнымъ отголоскомъ Великой Революціи. Утверждая себя, какъ диктатуру класса, обреченнаго на уничтоженіе въ процессѣ революціи, онъ самъ признаетъ свою переходность и временность. Фашизмъ сознаетъ себя Имперіей, которая хочетъ быть вѣчной, какъ Римъ. И коммунизмъ, и фашизмъ выходятъ далеко за грани только экономической или социальной реконструкціи общества. Для фашизма эта задача даже явственно оказывается на второмъ планѣ. Но они оба стремятся къ полному овладѣнію человѣческой личностью, къ совершенному использованию ея въ интересахъ государства. Работникъ, солдатъ, производитель — вотъ все, что остается отъ человѣка. Государство не оставляетъ ни одного угла въ его жилищѣ, ни одного угла въ его душѣ внѣ своего контроля и своей «организациі». Религія, искусство, научная работа, семья и воспитаніе — все становится функцией государства. Личность теряетъ до конца свое достоинство, свое отличіе отъ животнаго. Для государства-звѣря политика становится человѣческой отраслью животноводства. Ясно, что такое самосознаніе государства несовмѣстимо съ христіанствомъ. Въ явной или скрытой формѣ война христіанству объявлена въ коммунистической Россіи, въ фашистской Италиі, въ гитлеровской Германіи. Лишь русскіе эмигрантскіе варианты національнаго социализма любятъ рядиться въ православные цвѣта. Впрочемъ, православіе ихъ при этомъ неизбѣжно теряетъ христіанское содержаніе, превращаясь въ національно-бытовой, полужыческій ритуализмъ.

Какія силы въ мірѣ противостоятъ этому натиску универсальнаго деспотизма, на стражѣ свободы? Въ теченіе полутора вѣковъ свобода во всѣхъ ея аспектахъ — какъ свобода политическая, экономическая и духовная — была

связана съ судьбой одного класса — буржуазіи. Ея гегемонія въ современномъ обществѣ сообщаетъ ему характеръ самаго свободнаго изъ когда-либо существовавшихъ на землѣ. Повидимому, это не было случайностью. Не разъ въ исторіи торжество буржуазіи было отмѣчено расцвѣтомъ свободы: въ демократіяхъ Греціи, въ средневѣковыхъ коммунахъ, въ вѣчевыхъ народоправствахъ Руси. Въ виду различія духовныхъ основъ этихъ культуръ, объединяющее ихъ свободолюбіе буржуазіи слѣдуетъ объяснить ея своеобразной ролью въ общественно-хозяйственной жизни. Буржуазія несетъ съ собой начало личной инициативы, сознательнаго расчета, свободной и личной организациі производства. Пусть иногда она не отказывается отъ помощи и привилегій государства. Въ основномъ она держится на вѣрѣ въ собственные усилія экономически-творческой личности. Буржуазія проникнута извѣстнымъ недоверіемъ къ государству, къ его вмѣшательству во всѣ жизненныя сферы. Она придерживается государственнаго минимализма. Защищая прежде всего свою свободу хозяина, свободу хозяйственнаго творчества, она психологически приходитъ къ признанію свободы вообще: свободы гражданина, свободы разума и совѣсти. Есть одна сфера духовной свободы, которая совершенно непосредственно связана съ буржуазнымъ сознаніемъ: это свобода мысли. Мысль для буржуа есть непремѣнное и постоянное условіе его собственнаго хозяйствованія: строгая, аналитическая и синтетическая, вполне наукообразная мысль, которая отличаетъ рационализмъ буржуазной экономики отъ другихъ, традиціонныхъ и социально-связанныхъ хозяйственныхъ формъ. Творческая психологія капитализма сродни психологіи науки. Буржуа всегда поддерживаетъ критическую пылкость ученаго, и XIX вѣкъ, губительный для многихъ отраслей духовной культуры, оказался исключительно счастливымъ для научнаго творчества. Но духъ науки — это духъ свободы.

Буржуазія европейскихъ обществъ пережила очень сложную и бурную исторію. Въ процессѣ ея буржуазное обоснованіе свободы мѣняло свою идеологію. Въ началѣ новыхъ столѣтій это обоснованіе имѣетъ строго христіанскій характеръ. Первый капиталистъ проявляется передъ нами въ обликѣ суроваго протестанта. Пуританинъ, онъ протестуетъ противъ роскоши и легкомыслія католически-дворянскаго «свѣта», онъ замыкается въ своей семьѣ,

противополагая ее, какъ свой «замокъ», государству. Его нравственный идеалъ построенъ на вѣрности и честности, строгости къ себѣ и другимъ. Это мораль долга, ветхозавѣтная по своей религіозной природѣ и охотно облекающаяся въ библейскія одежды. За свою вѣру, за свое «истинное» христіанство, въ его личномъ духовномъ пониманіи, буржуа готовъ идти въ изгнаніе и на смерть. Свобода, за которую онъ борется, есть прежде всего свобода христіанина — *Freiheit eines Christenmenschen* — противопологаемая имъ государству и его религіозному принужденію.

За этой ранней, англо-саксонской формацией буржуазіи слѣдуетъ вторая, континентальная, преимущественно французская, торжество которой связано съ цикломъ европейскихъ революцій. Ея религія уже потеряла христіанскій характеръ. Это религія гуманизма, въ оптимистической транскрипціи XVIII вѣка. Ученики Руссо и Бентама вѣрятъ въ мудрость природы и благодѣтельность человѣка. Свобода является простымъ выводомъ изъ предпосылки натуральной гармоніи. Изъ свободной игры личныхъ силъ создается общее счастье. Поменьше организаціи; законы — цѣпи. Долгъ совпадаетъ съ торжествомъ личной воли. Здѣсь революціонные романтики и сухіе утилитаристы (Гюго и Бентамъ) стоятъ на общей почвѣ: даютъ разное окрашеніе, но по существу тождественныя обоснованія буржуазной свободы.

Въ наши дни отъ этого гуманитарнаго оптимизма почти не осталось и слѣдовъ. Въ странахъ его былого господства его смѣнилъ скептицизмъ, отрицающій возможность познанія абсолютной истины. Скептицизмъ сдѣлался основой буржуазнаго сознанія во Франціи, гдѣ онъ продолжаетъ старую классическую и аристократическую традицію. Строящаяся на немъ культура носитъ явно упадочный характеръ. Въ этой фазѣ буржуазія наслѣдуетъ имморализмъ дворянскаго возрожденія. Свобода, которой по прежнему дорожитъ буржуазія, имѣетъ для нея двойной смыслъ: возможно болѣе удобнаго наслажденія жизнью и нестѣсненнаго упражненія интеллекта. Свобода мотивируется въ наши дни чаще всего невозможностью познанія истины и вмѣстѣ съ тѣмъ интересомъ (и полезностью) ея исканій. Свобода ученаго защищается буржуазнымъ невѣріемъ, какъ свобода художника — буржуазной похотливостью. Это не мѣшаетъ наукѣ и искусству

нашего времени — отнюдь не буржуазнымъ — быть творческими, въ высшей мѣрѣ, нежели творчество предыдущаго поколѣнія: содержать въ себѣ болѣе духовныхъ, даже религіозныхъ цѣнностей. Не рѣдко социальная функция духовной дѣятельности совершенно не соответствуетъ ея внутренней цѣнности. Въ эпоху абсолютной монархіи искусство было формой придворной роскоши. Наука и въ наше время обслуживаетъ прежде всего профессиональныя потребности.

Остается фактомъ, что никогда въ мирѣ свобода, даже свобода высшей духовной дѣятельности не была болѣе уважаема, лучше защищена, нежели въ вѣкъ буржуазнаго скептицизма. Но эта защита не прочна. Болѣе того, буржуазія компрометируетъ свободу своимъ покровительствомъ. Есть всѣ основанія опасаться, что социальное паденіе буржуазіи увлечетъ за собой и паденіе свободы. Уже сейчасъ самая сильная ненависть къ свободѣ питается справедливымъ отвращеніемъ къ природѣ современнаго буржуа. Свобода должна найти для себя болѣе прочное обоснованіе, нежели буржуазный скептицизмъ. Иначе она будетъ сметена тѣмъ или инымъ фанатизмомъ, который идетъ ему на смѣну. Скептицизмъ есть жизненная установка умирающихъ классовъ.

Однако, не слѣдуетъ забывать, что духовная упадочность характеризуетъ буржуазію главнымъ образомъ романской Европы: ту, которая пришла къ власти вмѣстѣ съ Революціей. Англо-саксонскій, отчасти германскій миръ еще хранитъ вѣру реформаціи, и его христіанство обладаетъ большою жизненной активностью. Кальвинистическая буржуазія въ не малыхъ слояхъ своихъ имѣетъ чувство социальной отвѣтственности и, предъ лицомъ наступающаго кризиса, ищетъ выхода, хочетъ участвовать въ поискахъ общественнаго строя.

И еще: когда мы произносимъ свой окончательный судъ надъ буржуазіей, нужно помнить все ея великое и героическое прошлое: вѣка борьбы за свободу и достоинство человѣческой личности, самоотверженный подвигъ изслѣдованія міра, трагическія исканія цѣлостнаго міровоззрѣнія, — все, надъ чѣмъ занесенъ сейчасъ топоръ варвара. Буржуазія не была создательницей гуманизма, но судьбой своей она поставлена на стражѣ его. Она связана съ нимъ общимъ грѣхомъ, и вмѣстѣ съ нимъ живетъ подъ угрозой кошмарной расплаты.

Свобода имѣть въ современномъ мірѣ, кромѣ буржуазіи, еще одного защитника: партіи стараго «демократическаго» социализма. Его прошлое, самое рожденіе его, казалось, не предназначало его къ этой роли. Противникъ буржуазіи, привыкшій превращать отрицанія въ утвержденія, социализмъ, исторически и логически, долженъ былъ защищать начало организациі противъ свободы. Вмѣстѣ съ Лассалемъ онъ издѣвался надъ либеральнымъ пониманіемъ государства, какъ «ночного сторожа». Онъ совершилъ немало грѣховъ противъ политической свободы въ срединѣ XIX вѣка. Это онъ содѣйствовалъ — только косвенно, но и прямо, рабочимъ голосованіемъ, — установленію II имперіи во Франціи. Онъ вмѣстѣ съ Марксомъ и русскими народниками перваго призыва отрицалъ всеобщее избирательное право и политическую демократію. Но времена измѣнились, и социализмъ давно уже сталъ синонимомъ европейской демократіи. Въ самомъ рожденіи своемъ социализмъ несетъ печать двойственности. Какъ отрицаніе буржуазіи и революціи, приведшей ее къ власти, онъ съ самаго начала имѣлъ въ себѣ черты авторитарнаго міровоззрѣнія. Таковъ социализмъ Сентъ-Симона. Таковъ социализмъ всѣхъ утопій, многія изъ которыхъ (Моръ, Кампанелла) восходятъ къ традиціямъ аболотизма. Таковъ социализмъ многихъ реакціонеровъ XIX вѣка, Родбертуса и Рѣскина — правда, лишенный актуальнаго значенія. Но исторически социализмъ сформировался, какъ лѣвый флангъ революціоннаго движенія. Еще въ 40-хъ годахъ социалисты сражались плечомъ къ плечу съ буржуазными демократами. Вѣяніе Великой Революціи колыхало красное знамя. Ставя удареніе на равенствѣ, социалисты не отвергали и свободы. Далекіе отъ отрицанія революціи, они лишь хотѣли слѣзть изъ нея послѣдніе выводы: равенство — экономическое; свобода — для всѣхъ. Это сглаживало анти-либеральные шипы социализма, помогало его буржуазному перевоспитанію.

Что касается Маркса, то онъ стоитъ посредникъ между революціоннымъ и реакціоннымъ теченіями социализма. Онъ, несомнѣнно, глубоко неавидѣлъ идейное содержаніе буржуазной революціи: свободу, равенство и братство. Но столь же несомнѣнно, онъ принималъ ея разрушительное дѣло. При всемъ теоретическомъ конструктивизмѣ своего ума, Марксъ не интересовался строительствомъ жизни. Онъ не удосужился хотя бы намекнуть на то, какъ будетъ

выглядѣть осуществленный социализмъ. Разрушеніе — точнѣе, построеніе мощныхъ машинъ для разрушенія — было единственнымъ смысломъ его жизни. Поскольку ненависть къ личности и свободѣ въ немъ доминируетъ, его психическій типъ приближается къ типу реакціонера. Да и въ своихъ непринужденныхъ личныхъ оцѣнкахъ онъ всегда предпочиталъ дѣятелей реакціи либераламъ. Его ученикамъ пришлось много потрудиться, чтобы отмыть черную краску съ портрета учителя.

Лассалеанцы духовно побѣдили въ лагерѣ нѣмецкаго социализма и превратили партію социальнаго переворота въ партію социальной демократіи. Германская партія, въ свою очередь, на своихъ дрожжахъ подняла весь европейскій социализмъ. Въ настоящее время онъ оказывается почти тождественнымъ съ европейской демократіей. Исчезновеніе либеральныхъ партій въ Англии и Германіи показываетъ, что социализмъ впиталъ въ себя все содержаніе буржуазной демократіи — безъ экономическаго либерализма, конечно, отвергнутаго жизнью. Замѣчательно, что новѣйшія опредѣленія демократіи — ея природы и ея идеи — страннымъ образомъ отправляются не отъ власти народа, но отъ цѣнности личности. Но личность и ея свобода составляютъ метафизическое основаніе либерализма. Это значитъ, что подъ демократіей въ настоящее время понимаютъ либерализмъ, имя котораго скомпрометировано устарѣлой экономической доктриной. Какъ ни странно сказать, но либерализмъ, социальна окрашенный, составляетъ главное содержаніе и современнаго социализма. Вотъ почему либеральная буржуазія Европы охотно поддерживаетъ социалистическія правительства: ей при этомъ почти не приходится приносить жертвъ. Подобно тому, какъ буржуазія получила въ наслѣдство отъ дворянства сознаніе личнаго достоинства и общую культуру, такъ пролетаріатъ дѣлается наслѣдникомъ буржуазной культуры и свободы.

Однако, это наслѣдіе буржуазіи далеко не безвредно для социализма. Чего стоитъ одна прививка буржуазнаго міросозерцанія! Это настоящая отравка, которая вошла въ тѣло социализма — съ самаго его рожденія. Если дворянство привило буржуазіи духъ Вольтера, то буржуазія пролетаріату — догматическій материализмъ. Отсюда вырастаетъ мелкая и даже пошлая система жизненныхъ и нравственныхъ цѣнностей, которая воспитываетъ въ рабочемъ,

едва остывшемъ отъ революціоннаго пыла, гедонизмъ мелкаго буржуа. Матеріальный подъемъ рабочаго класса составляетъ громадную заслугу социальнаго движенія XIX вѣка. Однако, оборотной стороной ея является вывѣтриваніе социальнаго идеала. По мѣрѣ того, какъ рабочій входитъ въ міръ интересовъ буржуазнаго общества, участвуетъ въ его управленіи и защитѣ, онъ все менѣе думаетъ о его переустройствѣ. Всѣ силы социализма въ Германіи направлены на защиту республики, въ Англіи — на управленіе міровой Имперіей въ духѣ національнаго либерализма. Это великія и достойныя задачи. Но во Франціи уже социализмъ представляетъ просто отрядъ радикализма, занятаго травлей кюре и борьбой за парламентскія кресла. Гипертрофія политики замѣчается всюду: и это въ то время, когда значеніе политическихъ проблемъ во всемъ мірѣ отходитъ назадъ передъ проблемами экономическими. Демократическій социализмъ сейчасъ нигдѣ не имѣетъ продуманной и глубокой социальной программы. Ему нечего противопоставить соблазнительнымъ демагогическимъ лозунгамъ гитлеровцевъ и коммунистовъ.

Эта социальная немощь лишь отчасти объясняется «остепененіемъ» стараго социализма, пониманіемъ всей трудности социальной проблемы. Отсутствие настойчивыхъ исканій, постоянного упора въ этой области свидѣлствуютъ объ общемъ буржуазномъ перерожденіи.

Социальный консерватизмъ стараго социализма объясняетъ успѣхъ коммунизма въ рабочей средѣ Европы. Коммунизмъ одинъ ставитъ социализмъ въ порядокъ дня и общаетъ быстрое и легкое его завоеваніе. Какъ идеологическое явленіе, коммунизмъ не предоставляетъ ничего новаго. Это уцѣлѣвшій обломокъ лѣваго социализма, второящаго долготопный марксизмъ 40-хъ годовъ. Однако, торжество его въ Россіи сообщаетъ ему новую и опасную опредѣленность. Оставимъ въ сторонѣ чисто русскую природу большевизма и взглянемъ въ его европейское лицо. Ленинъ стоитъ ближе всѣхъ къ Марксу «Коммунистическаго Манифеста». Но оставленную Марксомъ безсодержательную формулу диктатуры пролетаріата онъ заполняетъ опредѣленнымъ содержаніемъ: полицейскимъ абсолютизмомъ рабочаго государства. Тѣмъ самымъ черная краска снова густо ложится на красный портретъ Маркса. Отъ революціоннаго фашизма коммунизмъ отдѣляется лишь классовая рабочая структура государства и —

до времени, или по видимости — внѣнаціональный характеръ государства. Вліяніе Москвы въ революціонной Европѣ, подражательность западныхъ учениковъ не сулитъ ничего добраго въ случаѣ переворота. Послѣ Ленина пролетарская революція въ Европѣ означаетъ политическую и духовную реакцію.

Такъ два социальныхъ стана стоятъ другъ противъ друга: черно-красное знамя социальной революціи и блѣдно-розовое — социальнаго порядка и свободы. Побѣда означаетъ построеніе рабочей или внѣклассовой деспотіи съ подавленіемъ духовной культуры и медленнымъ угасаніемъ культуры вообще. Побѣда второго не общаетъ выхода изъ тупика. Не разрѣшившая экономической проблемы Европа идетъ отъ кризиса къ кризису, къ обнищанію и упадку. Но лишь въ этомъ станѣ, хотя слабыми руками и устарѣвшимъ сознаніемъ, готовы защищать свободу.

Гдѣ же выходъ? Гдѣ та сила, третья между двумя противниками, которая способна начать творческое возрожденіе? Которая означала бы не свободу противъ строительства, и не революцію противъ свободы, а свободное строительство?

Изъ анализа разрушительныхъ идей нашего времени уже вытекаетъ структура творческой идеи-силы: она должна соединить въ себѣ утвержденіе свободы и утвержденіе организации. Какъ возможно это, если организація покупается за счетъ свободы? Очевидно, путемъ самоограниченія свободы. Но для того, чтобы это самоограниченіе свободы было дѣйствительно свободнымъ актомъ, а не стыдливой формой насилія, въ свободѣ должны быть опредѣлены разные уровни глубины или разные степени онтологической реальности. Утверждая себя на послѣдней глубинѣ, въ подлинной реальности своего бытія, свобода можетъ и должна ограничить нѣкоторыя свои обнаруженія: во внѣ, въ быту, въ жизненно-хозяйственномъ порядкѣ. Во имя чего? Во имя уваженія къ свободѣ другихъ людей, ихъ жизни, ихъ достоинству, ихъ спасенію. Экономическій строй капиталистическаго общества уничтожаетъ реальную свободу массъ, свободу ихъ духовной жизни, даже свободу ихъ труда ради проблематической хозяйственной свободы немногихъ. Экономическая свобода приводитъ, въ масштабѣ цѣлаго общества, къ своему собственному отрицанію. Она и должна быть ограничена, подобно тому, какъ неизбежно ограничивается, въ процессѣ

осложненія цивилизации, свобода внѣшняго быта: постройки жилищъ, движенія по улицамъ и дорогамъ, даже шумовъ и звуковъ. Теоретически это давно и всѣми признано. Но жизнь требует не маленькихъ жертвъ, не фискальныхъ и полицейскихъ ограниченій, а широкаго и смѣлаго плана социальной реформы. Подобно тому, какъ въ наши дни строятся по плану новые города, города-сады, такъ же долженъ быть созданъ и осуществленъ планъ новаго общественнаго града. Но, чтобы съ самаго начала новый градъ не сдѣлался гигантской тюрьмой, въ основу его учредительной хартии должна быть положена неприкосновенность духовной свободы личности. И не только выражена въ буквѣ хартии, но и воплощена во всемъ стилѣ творимой культуры. Опасность дѣйствительно велика. Для огромнаго большинства человѣчества хозяйственная дѣятельность есть единственная форма культурной активности. Утрата хозяйственной свободы можетъ повлечь за собою закрѣпощеніе и другихъ, болѣе глубокихъ сферъ жизни. Нѣтъ государства болѣе могущественнаго, нежели то, которое держитъ въ своихъ рукахъ источники матеріальнаго существованія. Большія духовныя силы должны быть противопоставлены ему, чтобы защитить духовный міръ человѣка. Подъ духовнымъ міромъ мы понимаемъ не только глубину личной совѣсти или мысли, по отношенію къ которымъ не властно никакое внѣшнее принужденіе, но и социальную сферу духа — культуру, которая возможна лишь какъ свободная гармонія личныхъ творческихъ актовъ. Передъ культурой, т. е. передъ выраженіемъ мысли и художественно-этической воли должно остановиться общество со своимъ организационнымъ планомъ. Преступна самая идея организациі культуры.

Между міромъ духовной культуры — сферой личной свободы — и міромъ хозяйственнаго и технического быта — сферой общественной организациі — лежитъ промежуточная сфера политики. Политическая свобода не имѣетъ той непосредственной цѣнности, какъ свобода культурная. Ея объемъ, т. е. зависимость гражданина отъ государства, колеблется въ зависимости отъ разныхъ историческихъ необходимостей или случайностей. Права гражданина не подлежатъ столь точному и принципиальному опредѣленію, какъ права человѣка. Глубокая экономическая перестройка общества не можетъ не повлечь

за собой измененія всего политическаго строя. Трудовое общество, весьма вѣроятно, найдетъ для себя новыя формы демократіи, отличныя отъ общества буржуазнаго. Это особая, сложная тема, которой не стоитъ затрагивать подробно. Однако, вотъ что необходимо подчеркнуть со всею рѣшительностью: не можетъ быть свободы культуры тамъ, гдѣ ничѣмъ не ограждены права гражданина. Самодержавное государство — все равно, монархія или демократія — не способно остановиться передъ кругомъ духовной свободы. Прежде всего потому, что отсутствуютъ точныя грани между политикой и культурой. Правительство, пользуясь монополіей прессы или хотя бы цензурой политической печати, не замедлитъ распространить эту монополию или цензуру на научную, философскую, религиозную мысль. Опытъ современныхъ диктатуръ достаточно показателенъ. Съ другой стороны, нельзя безнаказанно унижать и самую природу политической активности. Но политика неотъемлема отъ социальной природы человѣка: она тѣсно сращена съ социальной этикой. Политика — не только борьба за интересы, права или привилегіи, но и за общественные идеалы. Отмираніе политики для огромной массы человѣчества означаетъ отмираніе социального сознанія вообще. Культуры, построенныя на отрицаніи общегражданской политики — царства Востока или Россія — обнаруживаютъ огромные провалы въ своей іерархій цѣнностей. Обидно, когда политическія страсти отнимаютъ слишкомъ много духовной энергіи. Но опытъ учитъ, что умираніе политическихъ страстей постепенно ведетъ къ угасанію и высшихъ культурныхъ энергій: къ духовному застою и «органической» окаменѣлости.

Возвратимся на минуту къ самой низшей — экономической — культурной сферѣ. Даже здѣсь полное, 100%-ое убійство свободы означаетъ убійство самой хозяйственной жизни. Безъ творчества, т. е. безъ нѣкоторой свободы работника и организатора не можетъ быть ни технического прогресса, ни даже сохраненія достигнутаго уровня. Если опытъ коммунизма имѣетъ какое-нибудь значеніе для міра, не только для Россіи, то именно, какъ опытное доказательство невозможности абсолютнаго огосударствленія хозяйства. Государство вампиръ, эксплуатирующее нищихъ рабовъ, — такова, думается, не только русская, но и мировая схема «интегральнаго» социализма. Свобода должна быть существеннымъ ингредиентомъ въ

соціализаціи производства. Государство не можетъ быть единственнымъ субъектомъ хозяйства. Да и вопросъ еще: государство ли возьметъ на себя задачу хозяйственной организаціи или другіе органы общественности: синдикаты, кооперативы, муниципальные союзы? Этотъ вопросъ, или комплексъ вопросовъ, и составляетъ главное содержаніе соціальной проблемы нашего времени. Не индивидуализмъ и не этатизмъ въ хозяйствѣ, а неизвѣстное, искомое сочетаніе личныхъ и общественныхъ силъ — такова тема истиннаго «соціализма».

Градуація свободы въ хозяйственной жизни, градуація ея во всей культурѣ, въ соотвѣтствіи съ подлинной іерархіей цѣнностей — таково заданіе новаго града, не новой утопіи, а насущнѣйшаго, практическаго дѣла современности.

Но осуществимо ли оно? Не является ли утопіей сама вѣра въ возможность разрѣшенія современнаго соціального конфликта? Мы этого не знаемъ. Даже, если бы мы и знали (т. е. предполагали) это, долгъ требуетъ напряженія всѣхъ силъ для преотвращенія гибели. Но кто можетъ сказать, что онъ знаетъ неотвратимость рокового конца? Нынѣшнее положеніе Европы очень мрачно, и, повидимому, ухудшается съ каждымъ годомъ. Но два соціальныхъ стана, на которые она распалась, станъ свободы и станъ организаціи, сохраняютъ приблизительно равновѣсіе силъ. Каждый изъ нихъ защищаетъ соціальную идею большого силового напряженія. Въ мірѣ не до конца изсякли идеалистическія энергіи. Горе въ ихъ раздѣленности, въ ложномъ (ибо слишкомъ однородномъ) соетаніи силъ. Необходимо новое переключеніе силъ, новая перегруппировка элементовъ. Такое переключеніе мировыхъ силъ возможно. Оно не разъ происходило въ исторіи, всякій разъ сопровождая рожденіе новой великой идеи. Идея — огромная сила въ исторіи — конечно, не всякая, не случайная, не соотвѣтствующая исторической необходимости или долженствованію. Рожденіе фашизма на нашихъ глазахъ было послѣднимъ историческимъ чудомъ идеологическаго порядка. Фашизмъ не связанъ ни съ однимъ опредѣленнымъ классомъ, ни съ одной изъ старыхъ соціальныхъ силъ. Но давъ возможность кристаллизаціи большой исторической идеи, выразившей почти всеобщую потребность — идеи національной организаціи, — онъ сталъ силой, высшей всѣхъ классовъ и самаго

государства. Старый соціализмъ самъ былъ примѣромъ власти идеи. Онъ не столько выросталъ изъ классовой борьбы пролетаріата, сколько самъ создавалъ ее; болѣе того, создалъ самый пролетаріатъ, какъ классъ. Ослабленіе соціализма въ наше время, время его большого численнаго роста, связано именно съ упадкомъ его идейной напряженности. Силы, которыя онъ велъ за собой, за знаменемъ соціальной организаціи, отливаются отъ него въ черно-красный станъ фашизма.

Новая идея — свободнаго строительства, — которой жаждетъ погибающій міръ, можетъ оказаться безсильной и безжизненной, если ее принять разсудочно, какъ компромиссъ или синтезъ двухъ силъ. Ненавидящія другъ друга силы не примутъ компромисса. Міромъ управляютъ страсти, а не разсудочныя соображенія. И невозможенъ искусственный синтезъ противоборствующихъ органическихъ силъ, какъ невозможенъ, напримѣръ, духовный синтезъ Франціи и Германіи. Но идея свободнаго строительства или вольнаго строя можетъ явиться не отвлеченной, а органической, поскольку она рождается изъ цѣлостной религіозной глубины. Не въ созданіи новой религіи — бессмысленное начинаніе! — и не въ ожиданіи ея откровенія — надежда на реализацію идеи. Эта религія существуетъ. Она вѣчна. Въ христіанствѣ — и только въ немъ — утверждается одновременно абсолютная цѣнность личности и абсолютная цѣнность соборнаго соединенія личностей. Это достаточно выяснено русской богословской школой. Именно въ ней показаны и возможности соціального приложенія конкретной идеи Церкви. Правда, мы знаемъ также, что эти драгоценные соціальные выводы до сихъ поръ не были сдѣланы. Изъ послѣдней духовной свободы не вытекала ни свобода культуры, ни свобода гражданственности. Да и положительная соціальная активность Церкви сильно упала за послѣдніе вѣка. Однако именно теперь Церковь начинаетъ выходить изъ вѣковаго соціального «паралича». Это фактъ безспорный для всякаго, даже анти-церковнаго наблюдателя мировой жизни. И — фактъ еще болѣе значительный: новая общественная активность христіанскихъ церквей не имѣетъ никакого привкуса реакціи, какъ въ XIX или XVIII вѣкахъ. Въ нѣдрахъ христіанства рождается новое соціальное сознаніе. Всего ярче оно въ англиканствѣ и нѣкоторыхъ теченіяхъ кальвинистическаго протестантизма. Особенно сильныя новыя

теченія въ христіанской молодежи всѣхъ исповѣданій. Молодежь — это завтрашній день исторіи. Если судить по ея настроеніямъ о завтрашнемъ днѣ, то три силы борются за господство въ мірѣ: фашизмъ, коммунизмъ и социальное христіанство. Соціальное безпокойство живетъ и въ католичествѣ, живетъ и въ православіи. Пусть православная молодежь русской эмиграціи соблазняется фашизмомъ. Въ самомъ православіи заложено всего болѣе основъ для свободной общественности, хотя историческія условія чрезвычайно затрудняютъ ея актуализацію. — Малое облачко на горизонтѣ. Но такое облачко несло когда-то для Иліи обѣтованіе благодатныхъ грозъ, пролившихся дождями надъ измученной отъ засухи землей.

Когда христіанство явить себя міру, какъ сила общественная, его малое, но крѣпкое въррой ядро сдѣлается центромъ притяженія и кристаллизаціи всѣхъ живыхъ въ мірѣ и творческихъ силъ. Произойдетъ великая перегруппировка. Въ первую очередь призваны къ положительному творчеству социалистическія силы, нынѣ лавирующія бездѣйственно между либерализмомъ и коммунизмомъ, Зарожденіе религиозныхъ группъ въ социализмѣ — явленіе очень значительное и новое. Еще болѣе значительно то, что религиозныя группы въ социализмѣ проявляютъ всего болѣе социальной (въ отличіе отъ политической) активности. Это указываетъ направленіе исторической магистральной. Среди буржуазіи, особенно христіанской, найдутся группы, способныя поставить общественное или національное спасеніе выше классовыхъ интересовъ. Интеллигенція по природѣ и социальной чуткости своей должна идти за мощной и творческой идеей. Новая, третья социальная сила, подобно фашизму, не можетъ быть классовой, но всенародной. И, подобно социализму, она не можетъ быть только національной. Для христіанской совѣсти, какъ и для современнаго хозяйства, земной шаръ уже сталъ единымъ живымъ тѣломъ.

Будетъ ли такъ, мы не знаемъ. И это хорошо, что мы не знаемъ, что будущее скрыто отъ насъ. Человѣчество всегда можетъ погибнуть. И погибнуть оно можетъ на разныхъ путяхъ: въ коммунизмѣ, въ фашизмѣ или въ буржуазномъ разложеніи. Но спастись оно можетъ только въ христіанствѣ.

Г. Федотовъ.

Вопросы коллективизаціи

Массовая коллективизація крестьянскаго хозяйства, проводимая большевиками за послѣдніе годы въ Россіи, съ самаго начала встрѣтила со стороны всей независимой русской зарубежной печати единодушное рѣзко отрицательное отношеніе.

Ближайшія перспективы и конечный результатъ ея въ то время ни въ комъ не вызывали сомнѣній. Въ самомъ дѣлѣ, уничтоженіе 25.000.000 самостоятельныхъ хозяйствъ, обезземеленіе всего крестьянства съ закабаленіемъ его на гигантскихъ казенныхъ «хлѣбныхъ фабрикахъ», — подобный замыселъ могъ, казалось, возникнуть у большевиковъ лишь въ припадкѣ совершеннаго безумія.

Даже менѣе радикальное вторженіе большевиковъ въ традиціонную для русскаго крестьянства систему автономнаго мелкаго хозяйства въ эпоху 1919 - 1921 г. г. и то привело страну къ ужасному голоду, отъ котораго погибло свыше 5 милл. душъ, вызвало Кронштадтское возстаніе. Не болѣе ли роковыя послѣдствія и для страны и для самой власти должна повлечь за собою насильственная «сплошная коллективизація»? Вѣдь она отнимаетъ у крестьянства уже всякую тѣнь хозяйственной самостоятельности, разрываетъ кровную его связь съ землей, восстанавливаетъ для него крѣпостную зависимость. Власть, державшая на это, неминуемо будетъ или сметена взрывомъ стихійнаго возстанія всего крестьянства, или раздавлена подъ тяжестью небывалой въ исторіи хозяйственной катастрофы.

Таково было еще недавно всеобщее, за рѣдкими исключеніями, убѣжденіе. И однако, сейчасъ, когда большевики перевалили уже на вторую половину своей «пятилѣтки», приходится признать, что убѣжденіе въ неминуемомъ и скоромъ наступленіи катастрофы, по крайней мѣрѣ въ той ея исключительно острой формѣ, какъ она рисовалась два года тому назадъ, оказалось ошибочнымъ.

Правда, непосредственнымъ послѣдствіемъ большевицкой коллективизаціи явился новый разгромъ сельскаго хозяйства, въ результатъ котораго если и не наступили апокалиптическія времена голода 1922 г. съ голододѣствомъ и проч., то уже вся страна цѣликомъ приведена къ хроническому весьма тяжелому недоѣданію; правда и то, что на пути къ своей цѣли большевикамъ пришлось пролить рѣки крестьянской крови. Все это такъ, но остается все же поразительный фактъ, что большевики въ этой крови не захлебнулись, и фантастическое зданіе совѣтской экономіи надъ ихъ головами пока не обрушилось. Большевики остаются господами положенія. Насильственная коллективизація крестьянскаго хозяйства, пусть съ временными отступленіями, какъ это было, напр., въ мартѣ 1930 г., но послѣдовательно большевиками проводится вотъ уже три года. Она уже осуществлена въ размѣрахъ, далеко превзошедшихъ первоначальныя намѣренія и ожиданія самой совѣтской власти.

Эти факты не могутъ не останавливать на себѣ самаго пристальнаго вниманія тѣхъ, кто по прежнему продолжаетъ считать принудительную коллективизацію крестьянскаго хозяйства мѣрой утопической по существу, губельной для народнаго хозяйства, преступной по методамъ. Необходимо съ возможной непредубѣжденностью провѣрить въ свѣтѣ трехлѣтняго опыта коллективизаціи тѣ предпосылки, на которыхъ въ свое время основывались пессимистическія предсказанія, будучи одинаково готовыми найти въ фактическомъ матеріалѣ какъ подтвержденіе своихъ прежнихъ взглядовъ, такъ и достаточное основаніе къ существенному ихъ пересмотру.

Въ предѣлахъ журнальной статьи мы не претендуемъ, конечно, дать исчерпывающее освѣщеніе всѣхъ сложныхъ вопросовъ, связанныхъ съ большевицкой коллективизаціей. Мы намѣрены въ дальнѣйшемъ затронуть лишь нѣкоторыя изъ важныхъ, но остающихся еще недостаточно выясненными сторонъ проблемы.

I.

Коллективизація крестьянскаго хозяйства съ недавнихъ поръ прочно ассоціирована въ нашемъ представленіи съ самыми страшными злодѣяніями совѣтской власти. Это обстоятельство немало, конечно, затрудняетъ возможность объективной оцѣнки самого явленія.

Законное чувство отвращенія къ режиму, къ насильническимъ и низкимъ его методамъ невольно переносится нами и на самое существо всѣхъ мѣропріятій совѣтской власти. Но предвзятость не способствуетъ ясности сужденія. Особенно досадно и вредно такое смѣшеніе двухъ плановъ при оцѣнкѣ мѣропріятій отнюдь не специфическихъ для большевизма. Идетъ ли дѣло о пресловутомъ пятилѣтнемъ планѣ индустриализаціи, о реформахъ нашего безспорно отсталаго правописанія или о примѣненіи въ сельскомъ хозяйствѣ тракторовъ и комбайновъ, — къ сожалѣнію, часто склонны забывать, что это вещи не новыя, въ иныхъ условіяхъ быть можетъ вполне разумныя и цѣлесообразныя, и лишь въ большевицкомъ примѣненіи уродливыя.

Идея коллективизаціи мелкихъ индивидуальныхъ хозяйствъ также не является изобрѣтеніемъ большевиковъ. Она не со вчерашняго дня занимаетъ и буржуазную науку, а практически вотъ уже нѣсколько десятилѣтій она находитъ себѣ выраженіе въ различныхъ формахъ крестьянской сельско-хозяйственной кооперации, столь мощно развившейся во всемъ мірѣ. Коллективизація въ широкомъ смыслѣ слова, какъ общественная организація мелкихъ крестьянскихъ хозяйствъ, вовсе не является сама по себѣ утопией, наоборотъ, она — совершенно необходимая предпосылка для ихъ дальнѣйшаго прогресса. Въ западно-европейскихъ и въ русскихъ до-революціонныхъ условіяхъ коллективизація (= с. х. кооперация) представляетъ такую общественную экономическую организацію мелкихъ производителей, которая сочетаетъ для крестьянства положительныя стороны трудового земледѣлія съ техническими и организаціонными преимуществами крупнаго капиталистическаго предприятия.

Конечно, въ своеобразной народно-хозяйственной и правовой обстановкѣ Сов. Россіи крестьянская коллективизація по необходимости принимаетъ самыя причудли-

выявляющія формы, а часто приобретает и крайне утопическое содержаніе. Но насиліе можетъ уродовать формы экономической организациі, извращать ея жизненныя проявленія, оно не въ состояніи однако отмѣнить самые законы, управляющіе хозяйственной дѣятельностью челоука.

Колхозное движеніе въ Сов. Россіи — явленіе сложное, многообразное. Начнемъ съ того, что условимся не брать за одну скобку тѣ по существу своему весьма различныя социальные феномены, которые обыденная рѣчь привыкла объединять подъ общимъ именемъ колхозовъ. Необходимо детализировать это понятіе, чтобы избѣжать весьма частой, почти обычной погрѣшности огульнаго осужденія «большевицкихъ» колхозовъ.

Какъ извѣстно, со времени революціи въ русской деревнѣ имѣются три основныхъ вида коллективныхъ хозяйствъ въ земледѣліи. Это, перечисляя въ порядкѣ возрастающей степени обобществленія производства въ нихъ и оставляя въ сторонѣ промежуточныя варіаціи, во-первыхъ, товарищества по общественной обработкѣ земли, по сокращенной терминологіи «тозы», во-вторыхъ, артели, и, наконецъ, въ-третьихъ, коммуны. Природа и происхожденіе каждаго изъ этихъ трехъ видовъ колхозовъ различны.

Товарищества по общественной обработкѣ земли, какъ слѣдуетъ изъ самаго ихъ наименованія, объединяютъ участниковъ лишь на время совмѣстнаго выполненія хозяйственныхъ операций по обработкѣ почвы и по уборкѣ урожая. Артели предполагаютъ уже болѣе длительное объединеніе въ общемъ хозяйствѣ земли, живого и мертваго инвентаря отдѣльныхъ пайщиковъ (усадебное и огородное хозяйство обычно остается въ индивидуальномъ распоряженіи). Продукты общаго производства дѣлятся между пайщиками пропорціонально величинѣ паевого взноса каждаго въ видѣ средствъ производства и рабочей силы. Выходъ пайщика изъ артели, при соблюденіи опредѣленныхъ условій, свободенъ. Принципіально отличается однако природа третьяго вида колхозовъ, — коммуны. Она знаменуетъ окончательное и безоговорочное поглощеніе вступившихъ въ нее индивидуальныхъ хозяйствъ. Коммуна является единственнымъ собственникомъ и неограниченнымъ распорядителемъ всего принадлежавшаго ранѣе отдѣльнымъ хозяевамъ имущества, — земли, ско-

та, инвентаря, построекъ, домашняго оборудования, рабочей силы; все производство, не только полевое, но и усадебное обобществлено, самое потребленіе продуктовъ производства коллективизировано («каждый трудится по своимъ силамъ и получаетъ по своимъ нуждамъ»); выходъ изъ коммуны съ обратнымъ выдѣломъ имущества невозможенъ. Примѣняя къ основнымъ типамъ колхозовъ обычную кооперативную классификацію, мы только въ коммуналъ имѣемъ чистый и законченный видъ с. х. производительнаго кооператива, артели же и «тозы» должны быть отнесены къ типу такъ назыв. подсобно-производительныхъ товариществъ.

Не менѣе рѣзкая граница отдѣляетъ коммуны отъ остальныхъ видовъ колхозовъ и съ точки зрѣнія ихъ происхожденія. Только коммуна, этотъ сомнительный плодъ большевицкой революціи, является въ жизни русской деревни дѣйствительнымъ новшествомъ. Въ прошломъ Россіи мы не найдемъ примѣровъ с. х. коллективовъ съ цѣлостнымъ обобществленіемъ производства и потребленія*). Современная совѣтская с. х. коммуна не имѣетъ никакихъ историческихъ корней ни въ хозяйствѣ, ни въ быту русскаго крестьянства.

Иное дѣло артели и «тозы»: подъ разными наименованіями они существовали въ крестьянской Россіи съ незапамятныхъ временъ. Такъ назыв. супруга, сложеніе силъ нѣсколькихъ крестьянскихъ дворовъ съ цѣлью выполненія непосильныхъ для каждой семьи въ отдѣльности с. х. операций, была въ русской деревнѣ широко распространеннымъ бытовымъ явленіемъ испоконъ вѣка, еще задолго до возникновенія юридически оформленнаго кооперативнаго движенія. Столь же обычны въ крестьянской практикѣ и неуставныя артели для коллективной обработки сообща заарендованныхъ земель. Появленіе въ Россіи крупныхъ с. х. орудій (многолемешныхъ плуговъ,

* С. Масловъ въ своей статьѣ «Коллект.-землед. движеніе» (Совр. Зап. кн. X) слишкомъ глухо упоминаетъ о какихъ-то 33 артеляхъ съ общимъ хозяйствомъ, которыя онъ насчиталъ на всемъ протяженіи послѣреформенной эпохи, и справедливо отказывается учитывать искусственныя артели Н. Г. Федорова и Н. В. Левицкаго.

Извѣстная интеллигентская колонія «Криница» на Кавказѣ имѣла характеръ скорѣе религіозно-этической общины, чѣмъ трудового коллектива.

жнеекъ-сноповязалокъ, паровыхъ молотилокъ и пр.), недоступныхъ по цѣнѣ отдѣльнымъ хозяевамъ, послужило толчкомъ къ возникновенію машинныхъ товариществъ; по аналогичнымъ мотивамъ получили распространѣніе кооперативные пункты производителей племенного скота, и т. п. Русское крестьянство, прошедшее многовѣковую школу самостоятельности въ сельской общинѣ, всегда умѣло цѣнить выгоды общественнаго сложенія силъ, при условіи, чтобы оно только не нарушало хозяйственной автономіи отдѣльнаго двора. Объ этомъ свидѣтельствуетъ изумительный ростъ русской коопераціи, за короткое время своего существованія успѣвшей выдвинуться въ первые ряды международнаго кооперативнаго движенія. Современные совѣтскія артели, «тозы», «мто» (машинныя товарищества) преемственно связаны съ бытовыми и уставными крестьянскими коллективами до-революціонной эпохи. Они были и остаются положительнымъ факторомъ въ хозяйственной жизни деревни и, при условіи независимости ихъ отъ власти, они, наряду съ другими формами с. х. коопераціи, могутъ принести еще не малую пользу крестьянскому хозяйству въ будущемъ.

Къ такимъ же выводамъ, различнымъ въ отношеніи къ коммунамъ и къ остальнымъ двумъ видамъ колхозовъ, приводитъ насъ и опытъ с. х. коопераціи въ Зап. Европѣ и Америкѣ. Кооперація подсобно-производительнаго типа, сохраняющая самостоятельнымъ индивидуальное хозяйство, распространена весьма широко (меліоративныя и машинныя товарищества, кооперативы по технической переработкѣ с. х. продуктовъ и пр.), играетъ большую роль въ жизни крестьянства, усиливая устойчивость трудового хозяйства въ конкуренціи съ хозяйствомъ крупно-капиталистическимъ. Наоборотъ, чисто производительные кооперативы, обобществляющіе весь процессъ с. х. производства, являются рѣдчайшими исключеніями, и практически не имѣютъ никакого значенія въ экономіи страны*).

* В Зап. Европѣ и Америкѣ известны лишь единичные примѣры успѣшно дѣйствовавшихъ с. х. производительныхъ ассоціацій. Но и эти немногіе случаи нехарактерны: коллективизмъ такихъ ассоціацій обычно основанъ не на одномъ хозяйственномъ интересѣ только. Классическимъ примѣромъ этого служатъ земледѣльческія ассоціаціи, возникшія въ первой половинѣ XIX в. въ С. А. Штатахъ подъ

Нежизненными дѣлаютъ ихъ тѣ-же внутреннія противорѣчія, которыя присущи всѣмъ вообще производительнымъ коллективамъ, не только въ сельскомъ хозяйствѣ, но и въ промышленности.

Въ стрѣхъ, основанномъ на свободѣ хозяйственной инициативы, единственнымъ критеріемъ экономическаго превосходства той или иной системы хозяйства служитъ обеспечиваемая ею степень производительности труда, которая, при господствѣ товарно-мѣновыхъ отношеній, выражается въ относительной высотѣ получаемой хозяйствомъ прибыли. Побудить крестьянина по доброй волѣ отказаться отъ хозяйственной самостоятельности въ пользу коллективнаго хозяйства могла бы только совершенно очевидная выгодность послѣдняго. Между тѣмъ весь опытъ производительныхъ земледѣльческихъ ассоціацій показалъ экономическую несостоятельность коммуны по сравненію какъ съ индивидуальнымъ хозяйствомъ крестья-

вліяніемъ социальнореформаторскихъ идей или религіозныхъ побужденій.

Всѣ общины социальноренессансного типа въ общемъ оказались неустойчивыми, они или разсыпались изъ-за недостатка внутренней спайки, или переродились въ обычныя акціонерныя предприятия. Основанная Р. Оуэномъ «Новая Гармонія» просуществовала всего около года, большинство фурьеристскихъ «фалангъ» не продержались и двухъ лѣтъ. Только «Икарія», община послѣдователей Каба, неоднократно распадаясь и вновь восстанавливаясь, въ общемъ просуществовала около 50 лѣтъ.

Большую жизнеспособность проявляютъ религіозныя земледѣльческія общины, для которыхъ нравственная обязательность коммунистическаго строя хозяйства вытекаетъ изъ требованій христіанскаго вѣроученія. Таковы, напр., процвѣтающая коммунистическая община аманитовъ въ штатѣ Iowa (ок. 2.000 душъ) или крѣпкія, такъ назыв. Гутеровскія общины (ок. 1.500 душъ) въ Южной Дакотѣ. Примѣръ послѣднихъ показываетъ, какой исключительной силы можетъ достигать у сектантовъ духъ моральной сплоченности: потомки, такъ наз. «сморавскихъ братьевъ» начала XVI в., гутеровцы пронесли преданность своему вѣроученію и коммунистическому строю жизни черезъ три вѣка скитаній по всему міру, — изъ Австріи въ Турцію, затѣмъ въ Россію, наконецъ, въ Америку.

Столь же мало показателны и существующія нынѣ въ Италіи и Румыніи артели для коллективной аренды земли. Въ обоихъ странахъ коллективная аренда въ большинствѣ случаевъ не сочетается съ общественнымъ веденіемъ хозяйства на арендованной землѣ. Ср. Туганъ-Барановскій. Соціальныя основы коопераціи.

нина, такъ и съ капиталистическимъ с. х. предприятиемъ. Въ коллективномъ хозяйствѣ значительно ослабленъ тотъ элементъ личнoй заинтересованности въ успѣхъ производства, который какъ разъ является основнымъ жизненнымъ нервомъ всякаго частно-хозяйственнаго предприятия. Членъ коммуны, уравниваемый со всѣми остальными въ правѣ на одинаковую долю продуктовъ общаго хозяйства, не заинтересованъ непосредственно въ максимальномъ напряженіи своего труда, въ бережливомъ отношеніи къ орудіямъ производства и пр. Ослабленіе стимула прямой личной заинтересованности понижаетъ чувство индивидуальной отвѣтственности каждаго и ведетъ къ общему паденію производительности труда. Съ этимъ связаны обычные внутренние недуги, разлагающіе коммуну: постоянные раздоры среди участниковъ, невозможность создать равно авторитетное для всѣхъ руководство, и т. п. По отношенію къ внѣшнему міру, на товарномъ рынкѣ, частно-капиталистическое предприятие, свободное въ количественномъ и качественномъ подборѣ своего рабочаго и технического персонала, также оказывается болѣе приспособленнымъ къ измѣняющимся условіямъ производства и сбыта, чѣмъ коммуна, связанная съ постояннымъ, развѣ навсѣгда ей даннымъ составомъ.

Мы хорошо знаемъ, какъ отвѣчаютъ большевики на доводы подобнаго рода. Все это вѣрно для буржуазно-капиталистическаго міра съ господствующей въ немъ стихіей эгоизма, съ его анархіей производства и обмѣна, — утверждаютъ они, — но отнюдь не для социалистическаго государства съ регулируемымъ народнымъ хозяйствомъ. Въ этихъ условіяхъ с. х. коммуны крупныхъ, даже грандіозныхъ размѣровъ (и именно онѣ, а не болѣе примитивныя товарищества и артели) призваны развить заложенныя въ ихъ природѣ огромныя социальныя возможности: экономическія и организаціонныя преимущества крупнаго производства, и творческую мощь коллективнаго труда. Русское крестьянство въ цѣломъ, за исключеніемъ ничтожной кучки кулаковъ, осознало уже, что немедленная коллективизація земледѣлія есть «единственный путь избавленія миллионныхъ массъ крестьянства отъ нищеты и раззоренія» (рез. XVI съѣзда), оно поэтому совершенно добровольно сплошнымъ потокомъ устремляется въ колхозы, охваченное пафосомъ «строительства социализма».

Оставимъ въ сторонѣ обязательную для большевиковъ

риторику о колхозномъ энтузіазмѣ и социалистическомъ пафосѣ крестьянства, — ей, конечно, менѣе всего вѣрять сами прожженные дѣльцы совѣтскаго режима. Къ условіямъ, при которыхъ въ обстановкѣ совѣтскаго народнаго хозяйства и большевицкаго режима крестьянству дѣйствительно ничего не оставалось болѣе, какъ массами устремиться въ колхозы, мы будемъ еще много разъ возвращаться въ будущемъ. Тѣмъ не менѣе, мы должны съ возможной объективностью разрѣшить для себя естественно напрашивающійся вопросъ: возможно ли объяснить однимъ только насиліемъ власти достигнутые въ сплошной коллективизаціи результаты, или же въ какой-то мѣрѣ созданіе колхозовъ происходило и самопроизвольно, отвѣчая назрѣвшей потребности самого крестьянства.

Что въ процессѣ массовой коллективизаціи наряду съ оснoвными опредѣляющимъ факторомъ, правительственнымъ терроромъ, могла играть какую то роль также и свободная инициатива самого крестьянства, въ этомъ трудно сомнѣваться. Выдѣлить въ чистомъ видѣ элементъ добровольнаго почина и содѣйствія самого крестьянства уже въ эпоху наступившей съ 1928 г. массовой коллективизаціи, конечно, немыслимо. Единственную возможность болѣе или менѣе объективно оцѣнить дѣйствительное значеніе такого почина представляетъ внимательное изученіе колхознаго движенія за предшествовавшее десятилѣтіе, 1918-1927 г. г., когда мысль объ использованіи его въ своихъ цѣляхъ еще не приходила большевикамъ въ голову и оно развивалось сравнительно свободно, безъ особыхъ помѣхъ со стороны власти, въ силу собственныхъ внутреннихъ мотивовъ.

Присмотримся поэтому нѣсколько ближе къ размѣрамъ и характеру колхознаго движенія за періодъ 1918-1927 г. г.

Коллективныя хозяйства различныхъ видовъ представляютъ все это время въ русской деревнѣ явленіе постоянное, но совершенно незначительное и по численности колхозовъ и по ихъ экономическому удѣльному вѣсу. Коллективныя хозяйства буквально тонуть въ сплошномъ морѣ хозяйствъ единоличныхъ. Даже въ годы наибольшаго

ихъ развитія въ эту пору, къ концу десятилѣтїя, общее количество колхозовъ не достигло двухъ десятковъ тысячъ, они охватывали не болѣе 1,5% крестьянскаго населенїя, а коллективизированная площадь составляла не болѣе 1% всей крестьянской земли. Отсюда слѣдуетъ заключить, что колхозное движеніе отвѣчало потребности не широкихъ массъ крестьянства въ цѣломъ, а лишь какого-то опредѣленнаго и притомъ весьма ограниченнаго слоя его. Какого именно — это мы увидимъ въ дальнѣйшемъ.

Территориально — колхозное движеніе 1918-1927 г. г. также не было распространено по всей Россіи равномерно, а сосредоточивалось гнѣздами въ опредѣленныхъ областяхъ. Это — по преимуществу окраины, производительные районы съ экстенсивнымъ зерновымъ типомъ хозяйства, — Сѣв. Кавказъ, Нижнее Поволжье, Степная Украина, Крымъ. Относительная простота организаціи чисто зернового хозяйства съ одной стороны, большая примѣнимость въ немъ сложныхъ с. х. машинъ съ другой, дѣлаютъ очевидно соединеніе отдѣльныхъ хозяйствъ въ коллективы въ этихъ областяхъ и болѣе осуществимымъ и болѣе цѣлесообразнымъ экономически. Наоборотъ, наименѣе распространены колхозы въ областяхъ по преимуществу потребляющихъ, — въ Центр.-Промышленной, Сѣверо-Западной и Западной областяхъ, въ Бѣлорусіи, — и особенно въ районахъ съ животноводческимъ или огороднымъ типомъ хозяйства.

Въ высшей степени характерна эволюція формъ, которую продѣлали колхозы за первыя десять лѣтъ. Эта эволюція наглядно представлена въ нижеслѣдующей таблицѣ, показывающей процентное соотношеніе отдѣльныхъ видовъ колхозовъ въ началѣ и въ концѣ десятилѣтїя.

	Комм.	Арт.	Тов.	Всего
1918 г.	81,6	18,2	—	100
1928 г.	11,2	36,6	52,2	100

Мы видимъ, что съ теченіемъ времени искусственная, навязываемая сверху форма колхозовъ, коммуна, постепенно сходитъ на нѣтъ *), зато растутъ и укрупняются болѣе

*) Коммуны съ самаго начала играютъ роль двусмысленную. Онѣ возникаютъ не на крестьянскихъ надѣльныхъ земляхъ, а въ боль-

элементарные виды коллективныхъ хозяйствъ, близкіе по типу существовавшимъ въ русской деревнѣ еще до революціи. Къ концу эпохи добровольной коллективизаціи преобладающая роль среди колхозовъ остается за товариществами, которыя по характеру своему наиболѣе приближаются къ традиціонной крестьянской «супрягѣ» *).

Съ супрягой, временнымъ объединеніемъ нѣсколькихъ сосѣднихъ дворовъ для совмѣстнаго выполненія полевыхъ работъ, сближаютъ простѣйшіе виды колхозовъ и другія ихъ черты. Прежде всего весьма малый размѣръ хозяйствъ у артелей и тозовъ. Колхозная перепись 1928 г. даетъ слѣдующія свѣдѣнія о величинѣ различныхъ колхозовъ, образовавшихся до 1 янв. 1928 г. *). Наибольшій размѣръ хозяйства, конечно, у коммуны, образовавшихся, какъ мы знаемъ, по преимуществу на б. помѣщичьихъ и казенныхъ земляхъ; по РСФСР онъ для 1928 г. выражается средней цифрой 119,1 гект. Уже средней размѣръ артельныхъ хозяйствъ гораздо ниже, всего 44,1 г., а у товариществъ онъ всего лишь 39,1 г. Обычные для эпохи добровольной коллективизаціи размѣры артельныхъ и товарищескихъ хо-

зяйствъ случаетъ создаются ad hoc, для захвата въ частное пользование, въ обходъ крестьянской общины, помѣщичьихъ земель и имущества. Ихъ инициаторами нерѣдко являются предпримчивые крестьяне, умѣло использующіе лозунги новой власти, или даже лица, вовсе чуждыя сельскому хозяйству, напр., бѣгущіе изъ городовъ отъ развала промышленности рабочіе. Коммуны того времени, по отзыву самихъ большевиковъ, это — «самоснабженческія» организаціи, существующія за счетъ проѣданія помѣщичьяго имущества и щедрыхъ подачекъ власти.

*) Въ послѣднее трехлѣтіе 1925-1927 г. г. ростъ колхозовъ происходитъ исключительно за счетъ однихъ лишь товариществъ. Вмѣстѣ съ коммунами на этотъ разъ уменьшаются въ числѣ и артели, быть можетъ потому, что за предшествовавшіе годы большевики навязали артелямъ такія измѣненія въ уставѣ, которыя значительно ихъ приближаютъ по типу къ коммунамъ. Если численность отдѣльныхъ видовъ колхозовъ въ 1925 г. принять за 100, то послѣдующія измѣненія выразятся слѣдующими цифрами:

	1925	1926	1927
Коммуны	100	97	95,2
Артели	100	83	87,2
Тозы	100	175,1	293,1

*) А. Гайстеръ. Достиженія и трудности колхознаго строительства. Москва. 1929.

зайствъ, по справедливому замѣчанію А. Гайстера, «не выходятъ даже за предѣлы крупнаго крестьянскаго хозяйства». О томъ же свидѣлствуютъ и данныя о количествѣ объединяемыхъ дворовъ, приходящихся на 1 колхозъ въ этотъ періодъ (въ % %):

	до 10 дворовъ	10-20 дв.	20-30 дв.
Коммуны	29,1	38,6	17,7
Артели	51,8	30,4	7,3
Товарищества	59,9	31,6	6,8

Очевидно, при такихъ условіяхъ говорить о выгодахъ крупнаго производства у колхозовъ не приходится. Временному характеру бытовой супруги соответствуетъ нестойкость и текучесть состава колхозовъ, обращающія ихъ, по выраженію большевиковъ, въ «проходные дворы» для индивидуальныхъ хозяевъ. Далѣе, подобно участникамъ супругъ, члены колхозовъ также лишь частично обществляются свои хозяйства, оставляя обычно значительную часть хозяйства, въ томъ числѣ и полевого, въ индивидуальномъ распоряженіи. Не отличаются, наконецъ, добровольные колхозы и болѣе строгостью примѣненія коллективистическихъ принциповъ: значительная часть колхозовъ — 47,9% коммунъ, 37,7% артелей и всего лишь 11,7% товариществъ — прибѣгаетъ къ наемному труду. Обращаетъ на себя вниманіе, что впереди всѣхъ въ нарушеніи трудового принципа идетъ какъ разъ наиболѣе передовой, съ точки зрѣнія большевиковъ, типъ колхоза, — коммуна. Нерѣдки случаи, когда обязанности личнаго труда болѣе богатыхъ членовъ колхозовъ выполняются за плату бѣдняками, когда болѣе обеспеченные члены колхоза сдаютъ въ наемъ принадлежащій имъ инвентарь и скотъ неимущимъ, и т. п.

Но быть можетъ наиболѣе знаменательнымъ и наводящимъ на размышленія является то обстоятельство, что и географически, въ смыслѣ интенсивности колхознаго движенія по отдѣльнымъ областямъ Россіи, имѣется разительное совпаденіе со степенью распространенности въ тѣхъ же районахъ бытовой супруги. Мы уже упоминали выше, что добровольные колхозы получили наибольшее распространеніе на окраинахъ, въ районахъ производящихъ, съ экстенсивнымъ зерновымъ хозяйствомъ, и наименьшее — въ областяхъ потребляющихъ и въ районахъ

животноводческихъ. Приводимая ниже таблица, показывающая процентъ хозяйствъ, обработывавшихъ пашню весной 1926 г. при помощи супруги, устанавливаетъ совершенно тождественную картину географическаго пространства послѣдней*).

Производящіе районы:	Потребляющіе районы:	
Нижне-Волжскій	Сѣверо-Восточный	0,6
Сѣв.-Кавказскій	Сѣв.-западный	1,8
Крымъ	Западный	0,9
Сибирь	Центр.-Промышленный	1,1
Украина	Центр.-Черноземный	3,6

Въ этой таблицѣ обращаетъ на себя вниманіе не только отмѣченный выше параллелизмъ въ степени распространенности колхозовъ и супруги по отдѣльнымъ областямъ Россіи**): поражаютъ — и требуютъ объясненія — чрезвычайно высокія сами по себѣ абсолютныя цифры лѣвой половины таблицы, свидѣлствующія о небываломъ, по сравненію съ до-революционными временами, ростѣ примѣненія супруги въ извѣстныхъ районахъ Россіи. Если только эти цифры вѣрны, онѣ показываютъ, что еще за два года до наступленія эры принудительной массовой коллективизаціи около половины всѣхъ крестьянскихъ хозяйствъ на Сѣв. Кавказѣ и въ Крыму, и около трети всѣхъ хозяйствъ на Украинѣ по тѣмъ или инымъ причинамъ прибѣгали къ частичному обобществленію хозяйственныхъ операций...

Не трудно понять значеніе столь опредѣленнаго параллелизма въ географическомъ распространеніи супруги и колхозовъ: онъ бросаетъ свѣтъ на процессъ возникновенія добровольныхъ колхозовъ. Несомнѣнно, супруга есть явленіе первичное, а колхозъ — вторичное. Колхозы возни-

*) *Либиндъ*. О районныхъ особенностяхъ колхознаго движенія. «На аграрномъ фронтѣ», кн. 7-8. 1930.

***) Ту же закономерность, только въ менѣе рѣзко выраженной степени, обнаруживаетъ и распространенность совмѣстнаго владѣнія машинами, — явленія, подобно супругѣ извѣстнаго задолго до революціи. Наибольшій процентъ хозяйствъ, прибѣгающихъ къ совмѣстному пользованію усовершенствованнымъ инвентаремъ, также падаетъ на производящіе районы: Нижне-Волжскій — 9,6, Уралъ — 12,1, Сибирь — 13,4; наименьшій — на потребительскіе районы: Сѣв.-Западный — 6,9, Центр.-Пром. — 4,6, Центр.-Черноз. — 8,6.

каютъ по собственному почину крестьянства въ тѣхъ районахъ, гдѣ почва для того уже подготовлена широко практикуемой супрягой. Супряги представляютъ собою тотъ насыщенный растворъ, изъ котораго при извѣстныхъ условіяхъ выдѣляются кристаллы артелей и товариществъ. Простѣйшій видъ колхоза, товарищества по общественной обработкѣ земли, настолько близко примыкаетъ по своему характеру къ супрягѣ, что различіе между ними остается почти что только формальнымъ. Въ то время, какъ супряга есть лишь временное объединеніе нѣсколькихъ сосѣднихъ дворовъ, создаваемое только на срокъ сезонныхъ работъ, товарищество при всей своей нестойкости, носитъ все же болѣе постоянный характеръ; супряга есть коллективъ бытовой, неуставный, а товарищество является уже объединеніемъ договорнымъ, зарегистрированнымъ официально.

Это сближеніе первичнаго колхоза съ супрягой, устанавливая органическое происхожденіе совѣтскихъ артелей и тозовъ изъ бытовыхъ крестьянскихъ объединеній, особенно распространенныхъ въ отдѣльныхъ районахъ Россіи, приводятъ насъ вплотную къ послѣднему и самому важному вопросу: каковы же тѣ х о з я й с т в е н н ы е м о т и в ы, которые побуждаютъ крестьянъ по собственному почину и добровольно объединяться въ товарищества и артели? Является ли колхозное движеніе экономически - прогрессивнымъ въ томъ смыслѣ, что оно, путемъ кооперирования производства крѣпкихъ и здоровыхъ самихъ по себѣ хозяйствъ, призвано обезпечить имъ еще большее преуспѣяніе и подъемъ? Или же на соединеніе въ колхозы вынуждены идти по преимуществу хозяйства слабѣющія, приходящія въ упадокъ, видящія во временномъ соединеніи силъ единственное средство отсрочить окончательную гибель? Служитъ ли для характеристики крестьянскаго хозяйства эпохи 1918-1927 г. г. ростъ колхознаго движенія симптомомъ наступающаго экономическаго полнокровія, или же наоборотъ, угрожающаго худосочія?

Отъ того или иного отвѣта на этотъ вопросъ зависитъ оцѣнка перспективъ колхознаго движенія въ будущемъ: суждено ли ему при измѣненіи режима въ Россіи, сблѣвшисъ дѣйствительно массовымъ и свободнымъ, сыграть совершенно исключительную роль въ реконструкціи всего крестьянскаго хозяйства, или же оно, какъ явленіе вре-

менное, послѣдствіе разрухи, обречено на исчезновеніе съ улучшеніемъ народно-хозяйственныхъ и правовыхъ условий въ странѣ.

Данныя, относящіяся къ эпохѣ добровольныхъ колхозовъ, не оставляютъ, повидимому, сомнѣній въ отвѣтѣ: артели и товарищества, возникавшія по собственному почину крестьянъ въ 1918-1927 г. г., могли быть весьма полезны, даже быть единственнымъ спасеніемъ для извѣстныхъ слоевъ крестьянства, но само ихъ возникновеніе и численный ростъ свидѣтельствовали не о подъемѣ производительныхъ силъ мелкаго индивидуальнаго хозяйства на высшую ступень развитія въ эту эпоху, а о грозящемъ ихъ паденіи.

Объ этомъ свидѣтельствуетъ прежде всего социальный составъ участниковъ колхозовъ. Въ колхозы, образуемые въ порядкѣ добровольномъ, шли по преимуществу наименѣе обезпеченные слои деревни. Нельзя вовсе отрицать фактъ участія въ колхозахъ этого времени и крѣпкихъ хозяйствъ, — иногда вступленіе въ колхозъ для нихъ являлось своего рода защитной окраской. Но, конечно, основной и опредѣляющей контингентъ колхозовъ 1918-1927 г. г. это — крестьянство маломощное, нищающее, «бѣднота». Извѣстно, что «средняковъ» въ колхозы пришлось загонять, уже послѣ 1928 г., силою. По даннымъ выборочной колхозной переписи 1928 г., въ старыхъ колхозахъ, образовавшихся до 1 янв. 1928 г., безлошадные составляли 45,2%, а вмѣстѣ съ однолошадными они являлись 84,1% всего состава колхозовъ *).

Въ колхозы того времени гонить бѣдняковъ если еще не палка свирѣпаго начальства, то горькая нужда, невозможность справиться собственными силами съ обезкровленнымъ при большевицкомъ режимѣ хозяйствомъ. Основной мотивъ вхожденія въ колхозы — абсолютная недостаточность собственного инвентаря и рабочаго скота у нищающаго крестьянства. Большевицкій режимъ, питающійся почти исключительно за счетъ истощенія деревни, приводитъ съ теченіемъ времени все большія массы разоряемыхъ имъ крестьянъ къ совершенной невозможности самостоятельного вести индивидуальное хозяйство. О томъ, какъ трагически обстояло дѣло для крестьянства съ возможностью са-

*) Колхозы СССР, подъ ред. Е. П. Терлецкаго. Москва. 1929.

мостоятельнаго хозяйствованія, свидѣтельствуетъ ниже слѣдующая краснорѣчивая таблица, относящаяся къ веснѣ 1925 г. Она показываетъ процентное соотношеніе между хозяйствами, обрабатывавшими свою пашню самостоятельно, и хозяйствами, вынужденными прибѣгать къ найму скота и инвентаря или къ взаимопомощи *).

САМОСТОЯТЕЛЬНО	НАЙМОМЪ ИЛИ ВЗАИМОПОМОЩЬЮ					
	Наемъ скота, свой инвент.	Наемъ инвент., свой скотъ	Наемъ скота и инвент.	Сувряга	Смѣшанн. способы	
Р. С. Ф. С. Р.	56,8	3,3	1,3	21,3	10,3	7,0
У. С. С. Р.	27,1	1,2	1,4	34,9	31,3	4,1
Б. С. С. Р.	81,4	1,5	1,4	8,4	0,8	6,5

Еще къ веснѣ 1925 г., т. е. за три года до начала сплошной коллективизаціи, почти половина великорусскаго крестьянства и около трехъ четвертей крестьянства украинскаго не обладали уже достаточнымъ для самостоятельнаго веденія хозяйства живымъ и мертвымъ инвентаремъ! По мѣрѣ утраты скота и инвентаря раззоряющимся хозяйствамъ остается только или прибѣгать къ найму его у болѣе пока обезпеченныхъ хозяевъ, или обращаться къ сувягѣ. Отъ послѣдней — уже одинъ шагъ къ образованію товариществъ и артелей.

О тѣсной зависимости, существующей между прогрессирующимъ обнищаніемъ деревни и ростомъ колхознаго движенія, проговариваются иногда сами большевики. А. Гайстеръ въ своемъ докладѣ коммунистической академіи, анализируя результаты колхозной переписи 1928 г., пришелъ къ слѣдующимъ знаменательнымъ выводамъ: «Если сопоставить степень коллективизаціи въ отдѣльныхъ районахъ со степенью распространенности хозяйствъ безъ средствъ производства, то увидимъ, что районы наибольшаго распространенія безинвентарныхъ хозяйствъ являются вмѣстѣ съ тѣмъ и районами наибольшаго развитія колхозовъ. Создается возможность наложенія (!) карты, показывающей степень коллективизаціи по сѣвѣ»

*) А. Биценко. Къ вопросамъ теоріи и исторіи коллективизаціи сельскаго хозяйства въ СССР. Москва. 1929.

по районамъ, на карту, иллюстрирующую процентъ хозяйствъ безъ пахотнаго инвентаря»...

Функциональную связь между процессомъ раззоренія мелкаго крестьянскаго хозяйства и ростомъ своеобразной его «коллективизаціи» можно прямо прослѣдить на динамикѣ колхознаго движенія за періодъ 1918-1927 г. г.: ростъ и паденіе движенія обнаруживаютъ парадоксальную зависимость отъ переменъ въ общемъ состояніи совѣтскаго народнаго хозяйства. Будь колхозы здоровымъ симптомомъ прогрессирующаго крестьянскаго хозяйства, ростъ ихъ численности находился бы въ прямомъ соотношеніи съ измѣненіями общаго благосостоянія страны и, слѣдовательно, деревни. На самомъ же дѣлѣ эта зависимость какъ разъ обратная: число колхозовъ растетъ не во время относительнаго подъема народнаго хозяйства, а въ эпохи особаго его упадка.

Въ самомъ дѣлѣ, первая волна непрерывнаго нарастанія колхозовъ приходится на четырехлѣтіе 1918-1921 г. г., — эпоху гражданской войны и военнаго коммунизма, отразившихся жестокимъ раззореніемъ на деревнѣ. Съ 1.384 въ концѣ 1918 г. численность колхозовъ послѣдовательно возрастаетъ до 2.812 въ 1919 г., 6.831 въ 1920 г. и 14.607 въ 1921 г. Съ наступленіемъ Нэпа, сопровождавшагося несомнѣннымъ подъемомъ благосостоянія деревни, количество колхозовъ не растетъ, а падаетъ. Коммуны, какъ нѣжное тепличное растеніе, вообще не выносятъ суровой атмосферы «хозяйственнаго разчета». Однако одновременно уменьшаются въ числѣ и другіе виды колхозовъ. Общій экономическій подъемъ въ странѣ дѣлаетъ ненужной, излишней часть артелей и товариществъ, къ которымъ, какъ къ средству спасенія, приходилось прибѣгать въ годы бѣдствій. Къ 1926 г. общее число колхозовъ падаетъ до 11.851. Но вотъ завершается въ городѣ ликвидація Нэпа, наступаетъ эра искусственнаго развитія казенной индустріи, для чего огромныя средства экспроприруются у того же крестьянства, — и вновь связанный съ этимъ упадокъ деревни сопровождается ростомъ числа колхозовъ. Но 1 января 1928 г. ихъ насчитывается уже 17.248.

Коллективизація части наиболѣе слабыхъ крестьянскихъ хозяйствъ — естественный спутникъ періодовъ особаго обнищанія русской деревни. Такъ еще задолго до роковаго 1928 г. «свобода» и «добровольность» крестьянской коллективизаціи приобрѣтаютъ трагически-ирони-

ческой характеръ: хозяйству, до тла раззоряемому совѣтской властью, по необходимости приходится прибѣгать къ соединенію инвентаря, скота и рабочей силы тамъ, гдѣ при нормальныхъ условіяхъ отдѣльныя хозяйства раньше справлялись собственными силами.

Колхозное движеніе 1918-1927 г. г. цѣликомъ отодвинуто въ прошлое грандіозными событіями послѣдовавшей эпохи. Если тѣмъ не менѣе мы удѣлили ему столько вниманія, то лишь потому, что только въ этотъ періодъ могло проявиться сравнительно свободно подлинное отношеніе крестьянства къ коллективной формѣ хозяйства. Начавшаяся въ 1928 г. массовая коллективизація полностью уже опредѣлялась другой стихіей — волей власти, подкрѣпленной всей тяжестью государственнаго принужденія, вооруженной всѣми средствами ничѣмъ не сдерживаемаго насилія.

Къ проблемѣ массовой принудительной коллективизаціи мы предполагаемъ вернуться въ слѣдующей статьѣ.

В. Рудневъ.

КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ

-Монпарнасскія мечтанія

«On regarde, on tourne la tête, et l'on ne se rappelle rien de ce qu'on a vu. Nul fanidôme qui vous obsède et qui vous suive». Такъ пишетъ Дидро въ одномъ изъ своихъ «Салоновъ» болѣе полтораста лѣтъ тому назадъ. Казалось бы, эти слова, съ тѣмъ же правомъ, но съ удесятеренной силой можно было бы повторить теперь, выходя съ какой нибудь изъ огромныхъ художественныхъ ярмарокъ, до сихъ поръ устраиваемыхъ въ Парижѣ, хотя уже никто не вѣритъ въ цѣлесообразность ихъ устройства и ежегоднаго ихъ возобновленія. Вѣдь ничто не удержало насъ среди всѣхъ этихъ пестрыхъ полотень, — и ничто не удержалось въ насъ. Однако мы все-таки не скажемъ, уходя, что насъ не преслѣдуетъ никакой призракъ. Мы не просто отвернулись и ушли, мы не все забыли; что то осталось: какое то отвращеніе, какая то вражда — точно нарушенъ нашъ душевный строй, точно потревожена сама совѣсть. Нѣтъ, разница между плохими картинами прошлыхъ вѣковъ и нашего вѣка — не только количественная. Тѣ скучны, эти невыносимы; тѣ оставляютъ равнодушнымъ, эти оскорбляютъ и гнетутъ. Въ

эпоху органическаго стиля и цѣлостной традиціи отдѣльная картина не обязана быть чѣмъ-то до конца творческимъ и личнымъ, не обязана быть Искусствомъ съ большой буквы: ей позволено быть просто художественнымъ бытомъ, ремесломъ, только подчиняться, служить искусству, ни гдѣ отъ ремесла не отрѣзанному и повсюду освящающему его. Но въ наше время у искусства и ремесла общаго языка нѣтъ. Ремесло эстетически невозможно. Отъ всего, что хочетъ стать искусствомъ, мы требуемъ — и не можемъ не требовать — индивидуальнаго творческаго лица, единственнаго синтеза, завово созданнаго міра. За отсутствіемъ стиля, т. е. нѣкоей общей души, мы хотимъ, чтобы все въ искусствѣ обладало собственной душой; и художникъ хочетъ того же отъ каждой своей картины. Вотъ откуда это тысячу разъ на тысячу ладовъ загримированное бездушіе и, вмѣсто рѣдчайшей правды, неизбежная, навязчивая ложь...

Однажды, тому лѣтъ десять, случилось мнѣ посѣтить Пермское Художественное Училище. Тамъ обучались живописи здоровенные молодцы со скуластыми лицами и четырехугольными руками. Они

поклонялись единому божеству и называли его Сезанномъ. Никто изъ нихъ не видѣлъ его картинъ иначе, чѣмъ въ случайныхъ воспронзведеніяхъ, тѣмъ не менѣ мастерскія были переполнены огромными, усердными холстами и всюду красовались неукоснительно - зеленыя натурщицы, каменные яблоки и ортодоксально-синія салфетки. Письмо неизмѣнно отличалось необычайной широтой: казалось, что формы вырублены топоромъ и краски нанесены шпательной. Посѣтитель съ волненіемъ думалъ, что каждая изъ этихъ картинъ обязана своимъ возникновеніемъ не только мужеству юнаго живописца, но и отдаленному примѣру одного изъ величайшихъ художниковъ XIX столѣтія.

Теперь божества перемѣнились; подражатели не перевелись. Въ Парижѣ поддѣлываютъ Анри Руссо, Пикассо, Громера, Утрильо, всѣхъ, кто самъ что-нибудь создалъ, всѣхъ, кто не обиралъ другихъ. Дѣлается это ловчѣй и уже безъ всякой наивности; никто и не силится усвоить, когда можно подглядѣть и перенять. Конечно, то, что такимъ образомъ предлагаютъ намъ, — уже не французская живопись; объ этомъ свидѣтельствуетъ и отсутствіе навыковъ, и анархія приемовъ, и неразборчивая погоня за новизной; но все же это живопись въ высшей степени парижская. Парижская живопись очень часто дѣлается иностранцами такъ же, какъ и существуетъ для иностранцевъ. Рядомъ съ ней подлинно французскіе мастера кажутся чересчуръ скромными, даже провинціальными немножко, особенно тѣ изъ нихъ, кто дѣйствительно создавалъ и создаетъ

французскую живопись. Международные плагиаторы Пикассо еще новѣй, еще занимательнѣй, чѣмъ онъ самъ. Скандинавскіе Матиссы гораздо «смѣлѣй» французскаго. Парижская живопись и доступнѣе, и скандальнѣе французской. Не будь экзотическихъ именъ и кое-какихъ сюжетныхъ намековъ, мы такъ бы и не знали кто это, португальцы, румыны или русскіе — авторы всѣхъ этихъ картинъ. Ясно только, что это жители Монпарнасса и еще, что это не французскіе художники.

Нельзя терять изъ виду глубокаго различія, которое въ области живописи, какъ и во многихъ другихъ областяхъ, существуетъ между Франціей и Парижемъ. Сезаннъ и Ренуаръ, Бракъ или Дюфи — это французская, это европейская живопись, но это не Парижъ, не Монпарнассъ. Первенство (или монополія) Франціи въ европейскомъ искусствѣ и господство Парижа надъ всемірными мадами — двѣ вещи разныя и ставшія разными давно. Парижъ привлекаетъ всѣхъ, но только избранные могутъ дѣйствительно приобщиться французскому искусству, подлинно въ него войти. Къ сожалѣнію, объ этомъ такъ-же мало помнятъ въ Бухарестѣ или Буэнос-Айресѣ, какъ въ Берлинѣ или какъ помнили въ Москвѣ. Нѣтъ ничего болѣе жалкаго, чѣмъ всѣ эти подслуханные «измы». Учитывая ихъ въ любой изъ европейскихъ странъ, мы еще не имѣемъ права говорить о пользѣ или вредѣ французскаго вліянія. Французская живопись — школа, которую всѣмъ надлежитъ пройти. Но вмѣсто того, чтобы вникнуть въ ея настоящую жизнь, тысячи и тысячи художниковъ всѣхъ

странъ стараются перехватить налету всѣ послѣднія выдумки Монпарнасса, все; о чемъ такъ безтолково болтаютъ въ его самыхъ модныхъ мастерскихъ. Они подражаютъ Парижу, вмѣсто того, чтобы учиться у Франціи.



Правда, однако, и то, что учиться у Франціи становится все труднѣе. Монпарнассъ былъ бы невозможенъ, если бы не было французскаго искусства, но и не французское искусство пагубно вліяетъ Монпарнассъ. Въ самомъ этомъ искусствѣ происходятъ процессы, затушевывающіе его единство, разлагающіе его плѣтосность. Двадцать лѣтъ тому назадъ существовало направленіе, объединявшее такъ или иначе всѣ обновляющія силы французской живописи, дѣйствительно вытекавшее изъ ея прошлаго и, значитъ, нелишнее оправданія и смысла; этимъ направленіемъ былъ кубизмъ. Но кубизмъ имѣлъ смыслъ — историческій, то-есть преходящій смыслъ — для одной лишь французской живописи. Последнее десятилѣтіе показало, что и во Франціи онъ свою роль сыгралъ; внѣ Франціи ни къ какой подлинной роли онъ съ самаго начала не былъ призванъ. Теперь кубистическія картины никого больше не удивляютъ, но и никому больше не нужны. Приучить насъ къ тому, чтобы мы находили въ картинѣ, вмѣсто челоуѣка и природы, самую условную изъ геометрій и самую отвлеченную изъ схемъ, оказалось вовсе не такъ трудно. Пусть мы не испытываемъ теперь ничего похожаго на то, что въ насъ прежде вызы-

вала живопись. Теоретики намъ скажутъ, что испытывать этого мы больше и не хотимъ. «Мы хотимъ» только голога зрительнаго возбужденія, хлещущаго по глазамъ, какъ свѣтовая вывѣска или размалеванный плакатъ. Отъ плаката эта живопись только тѣмъ и отличается, что превозноситъ свою собственную цѣлебность. Новая эстетика даже не гедонстична, она гигиенична. Намъ передернуло, и мы довольны. Картина принимается, какъ горькій алкоголь передъ обѣдомъ. Послѣ нея, какъ отъ англійской соли, намъ хочется чихнуть и протереть глаза.

Послѣдніе кубисты, систематизировавшіе кубизмъ, на нашихъ глазахъ, какъ картонные домики, строятъ и разрушаютъ формы и дѣлаютъ это не безъ виртуозности. Мы, пожалуй, и не скучаемъ, но мы никогда не поймемъ, почему эти формы запечатлѣны въ рамѣ и на холстѣ, почему они должны остаться. Они есть, но ихъ могло бы и не быть. Продѣлавъ весь предначертанный ему путь, кубизмъ пришелъ къ отрицанію того самаго, ради чего онъ въ свое время создавался. Родился онъ въ эпоху безграничнаго преклоненія передъ эстетикой станковой картины, но какъ разъ произведенный имъ анализъ ея свойствъ привелъ къ ея разсудочному разложенію. Картины современныхъ кубистовъ могутъ развиваться насъ сочетаніемъ цвѣтовъ, неожиданнымъ вырѣзомъ плоскостей, остроумной геометричностью рисунка, но онѣ уже ничего не строятъ и никакого новаго пространства не создаютъ. Всѣ глубоко-мысленныя теоріи картины привели къ ея распаду; остался лишь

произволь отвлеченнаго воображенія и декоративная игра. Неудивительно, что кубизм проникъ въ житейскій обиходъ — отъ архитектуры верфей и вокзаловъ до орнамента пепельницъ и формы мундштуковъ. Мѣсто, освобожденное имъ въ области «чистаго», или «высокаго» искусства, заняло новое направление — «сюрреализмъ».

Нельзя сказать, чтобы художники этого новѣйшаго толка умѣли чуждаться декоративности. Какъ-нибудь Миро, въ соответствии съ теоріями, внушенными ему, стремится дать ирраціональную пищу фантазіи зрителя, но это удается ему плохо. Замыселъ исчезаетъ въ общемъ впечатлѣніи. Картина оказывается не иероглифомъ духовности, а лишь сочетаніемъ красочныхъ плоскостей, не безъ искусства ограниченныхъ одна отъ другой и дающихъ пищу только глазу. Если же замыселъ проведенъ настойчивѣй, картина становится наборомъ литературныхъ и живописныхъ реминисценцій, безъ новаго единства, которое оправдывало бы ихъ. Для насъ собираютъ на одномъ холстѣ разнородныя, уже видѣнныя, уже принадлежащія искусству формы: поразить насъ долженъ только тотъ скромный фактъ, что мы ихъ впервые находимъ въ данномъ сочетаніи, или, что въѣсто цѣлой формы намъ предлагаютъ едва узнаваемый ея фрагментъ. Максъ Эрнстъ, этотъ Беклинъ для негровъ, охотно пользуется банальной формулой «Острова Мертвыхъ», обновляя ее лишь крайнимъ схематизмомъ выполненія. Андрѣ Массонъ исходитъ изъ впечатлѣнія олеографии, или картинки съ пакета папирозъ, или

картины официального Салона и только стремится «красивостю» оригинала сдѣлать сосредоточеннѣй и назойливѣй. Живописцы эти прибѣгаютъ къ примѣру раннихъ кубистовъ, къ наклеиванію на полотно различныхъ «настоящихъ» предметовъ. Чѣмъ дальше будетъ картина отъ цѣлостности, органичности, тѣмъ вѣрнѣе будетъ достигнута намѣченная авторомъ цѣль. Фотографіи Мэнъ Рея, гдѣ только сюжетъ, или выдумка въ сочетаніи сюжетовъ, могутъ играть какую-нибудь художественную роль, а также картины изъ спичекъ, зубочистокъ и газетныхъ вырѣзокъ, которыя мастеритъ Пикабиа, быть можетъ самыя послѣдовательныя произведенія сюрреалистскаго искусства.

Нѣкоторые изъ этихъ художниковъ (Кирико, напримѣръ) находчивы и остроумны; замыслы ихъ нерѣдко занимательны. Но эти замыслы нельзя воплотить въ краскахъ и на холстѣ: они не живописны по существу, они литературны. Кирико, какъ и всѣ другіе члены группы, къ которой онъ примкнулъ, хочетъ удивить насъ чисто отвлеченной выдумкой. Мы должны воспринять не столько самую картину, сколько отношеніе ея къ названію. Картина не существуетъ, какъ самоовлѣющее единство: намъ предлагаютъ разсматривать отдѣльно темъ—«эту» тему художника, и исполненіе — «эту», что онъ изъ нея сдѣлалъ». Картины сюрреалистовъ написаны по заказу, пришедшему извне, по заказу разсудочныхъ теорій и большого душевнаго утомленія. Онѣ не предполагаютъ и не требуютъ живописнаго таланта. Умѣніе подражать олеографіямъ или придумывать занятные эффекты:

освѣщенія и композицій, еще не доказываютъ обратнаго. Эти способности пригодились бы кинематографическому режиссеру для устройства его фокусовъ больше, чѣмъ живописцу для созданія картинъ. Претензія сверхреализма на «чистое творчество» приводитъ, такимъ образомъ, къ принципиальному и почти полному вытѣсненію изъ живописи, (такъ же, какъ изъ литературы) всякихъ слѣдовъ творчества. Литература пытается это скрыть, но живопись кокетничаетъ этимъ. И потому, какъ разъ она, независимо отъ бездарности или таланта отдѣльныхъ ея представителей, учитъ насъ повиноваться истинный смыслъ той противоположной идеи, которой она обязана одновременно и своимъ минутнымъ существованіемъ и своимъ глубокимъ небытіемъ.



Таковы послѣднія направленія французской живописи. Неудивительно, что они мѣшаютъ у насъ учиться и что жизненная пестрота, свойственная всякому искусству, превращается благодаря имъ въ пестроту анархіи. Неудивительно и то, что во всѣхъ этихъ послѣднихъ достиженіяхъ «парижской школы» иностранцы принимаютъ все болѣе и болѣе вліятельное участіе. Скандинавы и мексиканцы особенно аккуратно разграфляютъ цвѣтные кафели кубистическихъ картинъ. Изъ виднѣйшихъ сюрреалистовъ Миро — португалецъ, Максъ Эрнстъ — нѣмецъ, Кирико — итальянецъ. Конечно, уже давно въ созданіи французской живописи участвуютъ иностранцы; все дѣло въ томъ, что еще недавно они безъ остат-

ка втягивались французской живописной традиціей, тогда какъ теперь они только содѣйствуютъ разложенію ея. Молодые художники подражаютъ парижскимъ образцамъ, но въ парижскихъ образцахъ подлинно французскихъ чертъ становится все меньше. Съ подражанія начинали всѣ всегда. Плохо вовсе не учиться (даже подражая) у того или иного мастера; плохо переимать у него одну лишь внѣшнюю его манеру; еще хуже подражать художнику, который и самъ ни съ какой сколько-нибудь глубокой традиціей уже не связанъ; хуже всего заразиться приемами или ужимками не одного какого-нибудь живописца, а обезличенной и всѣми захватанной модной живописи, — заговорить въ искусствѣ на одномъ изъ жаргоновъ Монпарнаска.

Это не значитъ, что, покинувъ монпарнасское кафе, можно безпрепятственно вернуться на родное пепелище. Все было бы очень просто, если бы стоило только помечтать о возрожденіи національнаго искусства, чтобы возродить его. На самомъ дѣлѣ, никогда еще не удавалось произвольное воскрешеніе прошлаго, своеобразіе не рождалось никогда любовью къ своеобразію, стиль — исканіемъ стиля. Въ Европѣ все еще есть сейчасъ только одна живопись — для индусскихъ и японскихъ художниковъ, такъ же, какъ для нѣмецкихъ или русскихъ. Въ какой-то мѣрѣ, каждый европейскій живописецъ долженъ участвовать въ ея судьбѣ и съ нею связывать будущее своего искусства. Самое раствореніе еще имѣющихся въ оборотѣ полунаціональныхъ и полустилистическихъ

черть въ цѣлостной французско-европейской традиціи, явленіе не-обходимое, понятное и, вѣроят-но, плодотворное. Монпарнасское идолопоклонство смѣшно и вред-но, но подлинное участіе во фран-цузской, а не монпарнасской, жи-вописи не можетъ быть ни вред-нымъ, ни смѣшнымъ. Доказа-тельность тому есть много. Суще-ствуетъ достаточно художниковъ сумѣвшихъ сохранить и свою лич-ность, а иногда и свой національ-ный обликъ, учась у французской живописи. Русскіе живописцы, вос-питавшіеся въ Парижѣ (напри-мѣръ, Терешковичъ) утвердили свое бытіе въ живописи француз-ской и быть можетъ не потеряли для русской живописи. Другіе ху-дожники, сложившіеся еще въ Рос-си, сумѣли понять французскій урокъ и отъ этого ихъ искусство только выиграло, а національ-ныя черты отнюдь не стерлись. Таковъ Бушень, вышедшій изъ «Міра Искусства» и глубоко пере-воспитавшійся во Франціи, тако-вы и другіе мастера, не ослѣплен-ные сегодняшнимъ днемъ, но и не усыпленные вчерашнимъ. Нельзя сказать, чтобы русская живопись въ цѣломъ переродилась и на-шла себя подъ вліяніемъ фран-цузской, но нѣкоторые пути къ тому уже намѣтились.

Еще показательнѣй примѣръ итальянскаго искусства. До вой-ны въ немъ былъ хаосъ, полный безпомощныхъ заимствованій и беспочвенныхъ «исканій». Те-перь въ немъ есть уже нѣкото-рое единство цѣли, осознанность средствъ, чистота потребностей. Всѣмъ этимъ итальянская живо-пись обязана даже не французско-му искусству вообще, а одному великому французскому живопис-

цу. Уже Модильяни, художникъ вполне офранцуженный, лишь нѣ-которыми своими инстинктами оставшійся связаннымъ съ ита-льянскимъ искусствомъ, сумѣлъ най-ти свой путь единственно исхо-дя изъ уроковъ, извлеченныхъ имъ изъ живописи Сезанна. Какъ разъ южныя, провансальскія чер-ты Сезанна становятся творчески-ми въ итальянской живописи: юж-но-французское искусство въ те-ченіе долгихъ вѣковъ всегда осо-бенно приближалось къ итальян-скому. Не столько отдѣльные тех-ническіе приемы Сезанна, сколько его живописное зрѣніе въ цѣломъ призвано, повидимому, воспитать новое итальянское искусство, вос-питать его въ нужномъ, въ ита-льянскомъ направленіи. Объ этомъ свидѣлствуютъ еще схемати-ческіе немного пейзажи Карло Карра, послѣднія картины Севери-ни, особенно же опредѣлившееся за послѣдніе годы искусство та-кихъ художниковъ, какъ Масси-мо Кампили и Маріо Тоцци. Все въ итальянской живописи, что не успѣло воспринять этого благо-творнаго вліянія (нѣсколько наду-манннй «караваджизмъ» — попытка его антикварно замаскировать) остается связаннымъ съ девятна-дцатымъ вѣкомъ, — не съ ве-ликимъ французскимъ, а съ без-славнымъ итальянскимъ. Если же осуществится въ самомъ дѣлѣ возрожденная живопись ита-льянскаго новеченто, то этимъ Италия будетъ обязана Сезанну и черезъ него не монпарнасской, не париж-ской, а подлинно французской жи-вописи.

Однако, въ современной евро-пейской живописи итальянскіе ху-дожники, кромѣ Модильяни, все еще замѣтной роли не играютъ.

И есть другой примѣръ — на этотъ разъ не возрожденія даже, а рожденія національной живопа-си, воспитанной французскимъ ис-кусствомъ, примѣръ еще болѣе убѣдительный и ужъ окончатель-но неожиданный.



Еврейской живописи до послѣд-няго времени просто не было, хо-тя еврейскіе художники сущест-вовали (тоже не съ очень дач-ныхъ поръ). Писсарро, несмотря на свою еврейскую кровь, былъ чисто французскимъ живопис-цемъ. Въ искусствѣ итальянскаго еврея Модильяни есть много фран-цузскаго, есть кое-что италян-ское, но ничего еврейскаго въ немъ нѣтъ. Максъ Либерманъ — свѣрвый импрессионистъ, зависи-щій отъ французскаго импресси-онизма; больше о немъ не скажешь ничего. Отдѣльные живописцы ев-рейской крови участвовали въ ев-ропейской художественной жизни, и только. Участіе это стало замѣт-нымъ въ предвоенные годы и при-няло направленіе довольно вред-ное, усиливъ тѣ элементы броже-нія и распада, которые начали по-являться къ тому времени въ жи-вописи французской и европей-ской. Иные еврейскіе художники и до сихъ поръ продолжаютъ иг-рать эту разлагающую роль, ес-тественную уже и потому, что ни-какихъ собственныхъ живопис-ныхъ традицій у нихъ не было и не могло быть. Можно прибавить, что нѣкоторая непостроенность, неархитектурность всегда была свойственна многимъ проявлені-ямъ еврейскаго духа, тогда какъ во французской живописи послѣ Сезанна и Сера господствовали

какъ разъ черты глубокой согла-сованности, строгаго взаимодейст-вія всѣхъ частей картины. Черты эти, будучи чрезмѣрно осознаны въ кубизмѣ, потускнѣли, но тутъ то и оказалось, что они сыграли большую воспитывающую роль. Отдѣльные еврейскіе живописцы начали тяготѣть къ болѣе цѣлост-ной, глубже оправданной живо-писной формѣ; французская дис-циплина сказала у нихъ съ осо-бой ясностью. Но этого мало. Именно отдавшись чужому, они нашли свое. Чѣмъ болѣе погру-жались они въ благотѣльную стихію французской живописи, тѣмъ отчетливѣе стали прояв-ляться у нихъ черты, роднящія ихъ между собой и уже отнюдь не позаимствованныя у францу-зовъ. Этотъ двойной путь — при-общеніе къ французской тради-ціи и первоначальное собраніе еще разрозненныхъ, еще неяс-ныхъ національныхъ чертъ — осо-бенно точно опредѣлился, со-всѣмъ предшествовавшимъ ему хаосомъ, въ творчествѣ четырехъ живописцевъ, очень разныхъ и своимъ различіемъ значитель-ныхъ: Паскина, Кислинга, Шаг-ла и Сутина.

Искусство Паскина интернаціо-нально или ненаціонально въ самомъ своемъ существѣ. Па-скинъ унаследовалъ отъ сво-ихъ предковъ и вывезъ изъ своихъ странствій такое беспо-койное космополитическое пред-расположеніе, что и вся француз-ская традиція съ нимъ ничего не могла подѣлать. Онъ перенялъ у французовъ ихъ локальнѣишия вос-питанное умѣнье, ихъ расчетъ и вкусъ: знаніе о томъ, чего слѣ-дуетъ избѣгать, чтобы спастись отъ трафарета и отъ варварства.

Этот отрицательный урок он усвоил в совершенстве и все-таки живописная манера его не укоренилась во Франции (как у Модильяни или Вань Гога) и поэтому могла лишь разлагать национальную преемственность, продолжая ею тем временем питаться. Все, что Паскинь увидѣл у французов, подверглось у него искаженію, как бы ироническому. Формы у него как будто нарочно «не в фокусѣ». Рисунокъ приобретаетъ разсчитанную неточность, очень виртуозную и остроумную приближенность, такъ что кажется пародіей иногда на безошибочность Матисса, на лаконизмъ Брака или Дерена. Въ его пейзажахъ разсыпаются пространственные отношенія, въ его гѣлахъ отсутствуетъ скелетъ. Женская нагота, которую онъ больше всего любилъ писать, превращается у него въ какую-то перламутромъ переливающуюся, неплотную, полубезформенную проплазму, да и весь міръ расплывается, расплывается въ его картинахъ, возвращается къ докосмической туманности.

Все это не можетъ не разрушать единства живописной формы. Паскинь приправляетъ ее чужими, не живописными приностями. Онъ деформируетъ и деформируетъ литературно. Есть случаи, когда картина или рисунокъ, какъ у сюрреалистовъ, получаютъ свой полный смыслъ, лишь послѣ того, какъ мы узнаемъ названіе данное имъ авторомъ. При этомъ Паскинь совсѣмъ не иллюстраторъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ иллюстраторы Домье или Лотрекъ. Но какъ разъ наличие въ его искусствѣ этихъ литературныхъ, стороннихъ чистой живописи эле-

ментовъ, если и роднитъ его съ нѣкоторыми другими современными живописцами, то какъ разъ не съ теми, кто съ французскимъ художественнымъ прошлымъ связанъ наиболее кровно и глубоко. Паскинь измѣняетъ той самой традиціи, которой онъ обязанъ своимъ художественнымъ бытіемъ. Въ его рукахъ огромныя, неоцѣнимыя средства, накопленныя вѣками великой живописи, но у него нѣтъ цѣли, для которой эти средства были созданы и безъ которой они лишены смысла. Несмотря на весь свой талантъ, Паскинь еще принадлежитъ всецѣло къ разрушителямъ. Онъ не былъ ни нѣмецкимъ, ни французскимъ, ни еврейскимъ художникомъ, онъ былъ художникомъ нѣкоторой живописной цивилизованности, противоположной поллиной живописной культурѣ.

Совсѣмъ инымъ рисуется мѣсто и значеніе такого живописца, какъ Кислингъ. Характерно уже и то, что онъ сдѣлался ученикомъ не кого иного, какъ Дерена, т. е. художника въ извѣстномъ смыслѣ наиболее середнянаго въ современной французской живописи, наиболее консервативнаго по отношенію къ темъ ея традиціямъ, которыя были возрождены Сезанномъ и до сихъ поръ поддерживаются его влияніемъ. Большое дарованіе Кислинга опредѣлилось очень скоро; однако и его искусство долгое время было двойственно. Однѣ его картины всецѣло исходили изъ Дерена, были очень привлекательны, очень красивы, но недостаточно индивидуальны; въ другихъ — проявлялись соблазны какой то не совсѣмъ побѣжденной еще сюжетности. Лишь постепенно двой-

ственность эта была побѣждена. Картины послѣднихъ лѣтъ тѣсно примыкаютъ къ французскому искусству и вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно ясно отличаются отъ него. Эти картины принадлежатъ художнику вполне зрѣлому, ни въ чемъ не измѣнившему ни Дерену, ни той преемственности, къ которой онъ оказался причастенъ черезъ него, но и художнику, сумѣвшему стать самимъ собой и въ мастерствѣ своемъ выразить нѣкоторыя черты, которыя нельзя не назвать національными чертами.

Положеніе Шагала было гораздо болѣе труднымъ. Онъ учился не у Дерена, а у художниковъ «Мира Искусства», съ которыми у него было мало общаго и которыми подчиниться онъ не могъ. У Шагала было съ самаго начала неисчерпаемое и неотразимое воображеніе, у него было также чувство линейнаго и красочнаго эффекта, но не сразу онъ достигъ того, что должно было связывать эти качества, посредствовать между ними. Воображеніе его не всегда находило неизбѣжную внѣшнюю форму; часто оставалось впечатлѣніе, что онъ только пользуется кистью или карандашомъ, какъ могъ бы пользоваться другими, напримѣръ, словесными средствами выраженія. И только подъ влияніемъ французскаго искусства въ послѣдніе годы Шагаль переступилъ порогъ, отдѣляющій человека, склоннаго къ мечтаніямъ и «владѣющаго кистью», отъ настоящаго, все насущнаго въ своей живописи, художника.

Долгое время онъ колебался: за его чувствомъ не поспѣвалъ

глазъ, рука его не знала чему повиноваться; долгое время этотъ разладъ воображенія и кисти, эту угрозу таланту принималъ за самый талантъ, въ разладѣ видѣли оригинальность, борьбу предпочитали тому, ради чего она велась. Но постепенно колебанія смѣнились гораздо большей увѣренностью и твердостью. Къ тому, что Шагаль дѣлалъ раньше, о чемъ онъ мечталъ всегда, присоединился новый зрительный опытъ, новое отношеніе къ вещественности міра, къ конкретности кисти и холста. Шагаль пришелъ отъ воображаемаго чудеснаго къ чудесному, зримому наяву. То, что ему раньше только чудилось, теперь онъ начинаетъ видѣть. Онъ пишетъ узкую улицу или деревенскій дворикъ, живущіе въ его воспоминаніяхъ и быть можетъ хочетъ, какъ прежде, только запечатлѣть въ видимыхъ формахъ нѣчто, представившее его сознанию; но глаза его открылись, инстинкты живописца прорвались наружу, онъ уже не пользуется живописными формами для неживописной цѣли, онъ создаетъ ихъ, онѣ сами — цѣль и работаетъ онъ именно ради ихъ созданія. Фантастическое не исчезаетъ изъ его картинъ: оно становится лишь осязаемымъ, конкретнымъ. Когда теперь у него тѣлѣжка летитъ по воздуху на уровнѣ оконъ дома, мы вѣримъ ей больше, мы ее больше видимъ, потому что и художникъ ее увидѣлъ, а не только помыслилъ о ней. Въ этомъ и состоитъ живопись: въ томъ, чтобы все, даже только мыслимое, увидать, даже незримое сдѣлать зримымъ, и Шагаль — перевоспитанный французской традиціей — теперь на

пути къ тому, чтобы сдѣлаться истиннымъ живописцемъ.

Какъ ни непохоже его искусство на живопись Кислинга, можно найти у нихъ общія черты, трудно опредѣлимые еще, но несомнѣнно отмѣченныя духомъ національнымъ. Такія же черты встрѣчаются у наиболѣе своеобразнаго, быть можетъ, изъ всѣхъ еврейскихъ живописцевъ Парижа, у Сутина. Дарованіе его мучительно и неровно. Лучшія его картины, этотъ мальчикъ въ красномъ, этотъ зеленый человекъ со сложными молитвенно руками, эта полуощипанная страшная птица и эта бычья туша на синемъ фонѣ съ ударами свѣта въ немъ, все это такъ же индивидуально, такъ же полно жестокаго волненія, какъ его перекошенные желто-зеленые пейзажи, какъ и всѣ наиболѣе законченныя созданія этого обурѣваемаго живописца и растерзаннаго въ своей глубинѣ таланта. Обурѣваемаго, растерзаннаго, я не напрасно употребилъ эти слова; рядомъ съ тѣмъ, что намъ предлагаетъ онъ, Ванъ-Гогъ — предѣлъ равновѣсія, воплощеніе здоровья. Есть въ этомъ и опасность для Сутина, для его искусства. То, что онъ пишетъ, порой остается грубымъ, сырымъ. Та истерія, изъ которой выросли всѣ его картины, не всегда воплощается въ форму, иногда она только бродитъ между формъ. Тогда бѣшенство мазка, вывихнутость пропорцій, изступленіе красокъ и юродство мимики мы приписываемъ уже не сосредоточенности выраженія, а раслабленности, болѣзни, — не внушенію искусства, а чужеродному насилію надъ нимъ. вмѣсто звука — шумъ; вмѣсто гармониче-

скаго вопля, согласованнаго голоса, мы слышимъ только голый крикъ, на который у насъ не можетъ быть отвѣта.

И все-таки Сутинъ рѣшительно оставляетъ за собой тѣхъ художниковъ, съ которыми послѣ Ванъ-Гога всего естественнѣй было бы его сравнивать: нѣмецкихъ экспрессионистовъ. Среди нихъ нѣтъ никого, кто бы такъ умѣлъ соединять предшествующую живописи потребность выраженія съ возможностью строго живописнаго воплощенія ея. Сутина можно приравливать къ нимъ только въ его паденіяхъ. Повсюду въ его удавшихся вѣщахъ есть живописное рѣшеніе, а не только живописная задача, вездѣ онъ художникъ, а не только ищущій искусства человекъ. Преимуществомъ этимъ передъ своими нѣмецкими собратьями, къ которымъ по замысламъ онъ, конечно, ближе, чѣмъ къ французамъ, онъ исключительно обязанъ французской художественной традиціи. Какъ въ свое время Ванъ-Гогъ и столь же по существу ей чуждый, онъ все-таки былъ бы невозможенъ безъ нея. Отъ умѣнья ее воспринять, зависѣла вся его судьба, какъ живописца. Только подчинившись ей, онъ получилъ отъ нея въ даръ и чувство живописнаго вещества и мѣткость въ нужномъ ему искаженіи формъ и ту неизмѣнную пробужденность глаза, которой экспрессионистамъ не хватало и безъ которой живопись, какія бы ей не ставили задачи, все равно не сумѣетъ обойтись. Пусть Франція никогда бы не произвела на свѣтъ такого живописца какъ Сутинъ; мы скажемъ все-таки, что живописецъ Сутинъ всѣмъ обязанъ Франціи...

Опредѣлится ли до конца въ своемъ единствѣ еврейская живопись, будетъ ли она чѣм-то похожимъ на то, чѣмъ стала современная еврейская поэзія на древне-еврейскомъ или на ново-еврейскомъ языкѣ, — сказать трудно. Но во всякомъ случаѣ, это единственная живопись въ современной Европѣ, гдѣ вмѣсто процессовъ разложія національнаго искусства происходятъ процессы образованія его. Въ этомъ ея очень большій теоретическій интересъ; въ этомъ можетъ оказаться и практическое ея значеніе. Творчество четырехъ художниковъ, о которыхъ я только что говорилъ, (вмѣстѣ съ творчествомъ нѣкоторыхъ ихъ младшихъ современниковъ) показываетъ, какъ измѣнилась постепенно роль еврейскихъ живописцевъ, воспитавшихся въ Парижѣ и зависящихъ отъ французской живописи. Если въ такомъ же направленіи могла бы измѣниться работа другихъ иностранныхъ художниковъ, испытавшихъ притяженіе Парижа, французская живопись подверглась бы меньшей опасности и европейская была бы спасена.

Французская живописная тради-

ція — накануне перемѣнъ, на переломѣ, но она еще не хочетъ умирать. Кто бы мы ни были, аргентинцы или скандинавы, евреи, нѣмцы или русскіе, живи мы въ Парижѣ, на экваторѣ или въ Москвѣ, если мы художники, мы съ ней не можемъ не считаться. Сначала мы должны распознать эту подлинную традицію въ пестротѣ и сутолокѣ Монпарнасса; потомъ свое собственное искусство измѣнить ею, свои личные свести съ ней счесть. Национальная живопись любой изъ европейскихъ странъ опредѣлится только, если ей удастся установить нѣкоторое постоянное отношеніе къ французской. Таковъ урокъ послѣднихъ десятилѣтій, простирающийся изъ всего того, очень неутѣшительнаго, что въ эти десятилѣтія творилось на Монпарнассѣ, какъ и изъ того, великаго, что создала за сто лѣтъ великая французская живопись. Таковъ урокъ, еще разъ преподанный намъ тѣмъ национальнымъ будущимъ, которое открывается теперь для нѣкоторыхъ парижскихъ живописцевъ, не побоявшихся учиться у французовъ и сумѣвшихъ въ чужомъ найти себя.

В. Вейдле.

Прага передъ революціей 1848 г.

1.

Устремленіе каждаго народа къ своей столицѣ вполне понятно, — она является для него источникомъ моральной силы и справедливости, а также одной изъ главныхъ основъ благосостоянія.

Народъ отдастъ столицѣ значительный процентъ своихъ дѣтей, ищущихъ счастья или просто заработка, что связываетъ центръ съ остальной страной дѣловыми и сердечными узами. Наконецъ, само понятіе власти, пребывающей въ столицѣ, придаетъ ей оре-

оль возвышенности, который притягивает сюда людей, не ищущих ни выгоды, ни развлечений; жители даже отдаленных окраин страны считают если не обязательным, то желательным побывать хоть раз в жизни в столице.

Все это особенно справедливо, когда понятия нации и государства совпадают почти полностью, как, например, во Франции или в Италии. Но в течение последних столетий, особенно же в 19-ом вѣкѣ все болѣе часто случается, что столица государства совсѣм не соответствует столицамъ большинства народовъ, входящихъ въ этотъ государственный добровольный, а чаще и недобровольный союзъ. Тогда понятно, что сердечное влечение народа идетъ по другой линии и концентрируется на томъ городѣ, который былъ или могъ быть дѣйствительной столицей въ случаѣ возникновенія государства съ доминирующимъ националь-большинствомъ. Примеромъ сказаннаго можетъ служить Варшава; нѣкоторую аналогію представляеть собою и Москва, которая была развѣчана на время во имя государственно - административныхъ цѣлей, но которая все же оставалась въ значительной мѣрѣ духовнымъ центромъ народа.

Наиболѣе, однако, яркимъ примеромъ такого положенія является Прага прошлаго столѣтія. Народъ поработанъ, но не разорванъ, какъ польскій, такъ что имѣетъ фактическую возможность посѣщать городъ, который былъ нѣкогда резиденцией его королей и который поднесъ наполеннѣ воспоминанія о былой славѣ, укрѣпляющей надежды на воз-

рожденіе. Ростъ національнаго самосознанія и вліяніе романтическихъ теченій дѣлаютъ ее символомъ и путеводной звѣздой на пути къ освобожденію. Тиль*), который вмѣстѣ съ Рубешомъ пожалуй болѣе ярко выразилъ чувства своихъ современниковъ, такъ писалъ въ 1837 году о Прагѣ: «Чудно быть въ Чехіи — въ отчизнѣ прекрасныхъ надеждъ! Но одно мѣсто есть въ Чехіи — самое чудесное мѣсто! Отъ сѣгома замесенныхъ Крконошъ и до дремучей Шумавы, въ панскомъ замкѣ и въ хижинѣ бѣдняка отовсюду обращаются къ нему взоры, — взоры полные жизни и угасающіе. Тайныя чары притягиваютъ чешскую душу къ этому мѣсту; уже при зачатіи возникаетъ въ каждомъ чехѣ это влеченіе, которое языкъ не можетъ выразить и не знаетъ, какъ назвать; эта врожденная и неразлучная съ чехомъ мечта — во крайній мѣрѣ разъ въ жизни преклонить колѣна на гробницѣ его королей! Разъ въ жизни долженъ увидѣть Прагу каждый чехъ, — разъ въ жизни онъ долженъ подойти къ

*) І. К. Тиль — чешскій новеллистъ и драматургъ романтическо-патріотическаго направленія. Род. въ 1898 г., умеръ въ 1856 г. Въ своихъ пьесахъ и романахъ даетъ яркую картину чешской жизни и борьбы за независимость.

Ф. Я. Рубешъ, современникъ Тилья (род. въ 1814 г., умеръ въ 1853 г.) приобрѣлъ извѣстность главнымъ образомъ стихами для декламаций, которые отзвучивались на событія современности. Писалъ также повѣсти изъ провинціальной жизни и историческіе рассказы.

ея воротамъ, какъ вѣрующей магнетанинъ къ останкамъ своего пророка. Несчастенъ тотъ, кто не видѣлъ Прагу, а уже покидаетъ этотъ свѣтъ! Всю жизнь онъ боролся съ однимъ стремленіемъ и, потерпѣвъ пораженіе, покидаетъ поле битвы; онъ не увидѣлъ, гдѣ его заступники творили при жизни; онъ не увидѣлъ памятника погибшей славы, ни колыбели новаго, воскресающаго счастья; то, что рассказывали ему съ раннего дѣтства болѣе опытные о великой Прагѣ, осталось въ его памяти, какъ легкой сонъ, но радостнаго воплощенія его онъ не дождался.

Для чеха предмартовской эпохи Прага была кровяницей, хранящей былую славу, и колыбелью тѣхъ надеждъ, которыя онъ долженъ былъ воплотить своимъ трудомъ, талантомъ. Историческіе факты и легенды, которые служили основой для новой ткани народной жизни, всегда связывались съ Прагой. Вліяніе романтизма, все болѣе и болѣе проникающее черезъ Германію и Польшу, также немало способствовало этому преклоненію передъ родной столицей, такъ какъ для этого теченія были особенно дороги мѣста, овѣянные преданіемъ, полныя легендъ и въ то же время печальныя. Едва ли какой либо иной городъ въ Европѣ могъ дать столько фактическаго, а не вымышленнаго матеріала подобнаго рода. О каждой улицѣ, церкви, дворѣ и даже домѣ можно было поразсказать такія исторіи, которыя заставили бы позеленѣть отъ зависти любого романтическаго борзописца. Тутъ фамиліное или по крайней мѣрѣ домовое привидѣніе вовсе не было

привилегіей дворянскихъ домовъ и не одинъ швейцаръ могъ бы разсказать о замуравленныхъ монашкахъ или о другой таинственной исторіи, связанной съ каменнымъ знакомъ надъ входомъ.

Но, конечно, не въ этомъ были сущность и корень привязанности всѣхъ чеховъ и особенно пражанъ къ своей столицѣ; подобныя переживания и ощущенія были лишь приправой къ основному и глубокому чувству, которое провело народъ черезъ всѣ напасти. Прага въ своей несокрушимости была символомъ славнаго прошлаго и залогомъ не менѣе славнаго будущаго, ее поддержаніе и украшеніе помогло переносить печальное настоящее; она была знаменемъ и мечемъ, на которомъ присягали, идя въ бой. Вспомнимъ хотя бы сцену «гланнибаловой» клятвы, описанную Фричемъ*) и относящуюся къ самому началу 19-го столѣтія.

«Здѣсь, надъ старой замковой лѣстницей, гдѣ ихъ такъ захватила роскошная панорама (Праги), расплакались они отъ избытка чувствъ, снова обнажили головы и пали другъ другу въ объятія. Они поклялись, что будутъ прилежны, дабы добиться своей цѣли, докторскихъ шляпъ — юридической и медицинской. Поклялись въ дружбѣ до гроба и въ томъ, что посвящать всѣ свои силы и стремленія дорогой отчизнѣ».

*) І. Фричъ — чешскій революціонеръ и эмигрантъ, родился въ 1829 г., умеръ въ 1890 г. Принималъ вмѣстѣ съ Бакунинымъ участіе въ революціи 1848 г., оставилъ послѣ себя весьма интересные воспоминанія.

Тутъ впрочемъ, какъ у всякаго сознательнаго чеха того времени, понятие отечества и Прага сливались воедино. «Прага была и останется навѣки центромъ и первоисточникомъ исторіи чешскаго народа», — пишетъ Тылъ въ томъ же этюдѣ. И далѣе: «Съ ея ростомъ и расцвѣтомъ поднималась и крѣпла вся Чехія; а съ ея паденіемъ начали потомъ гибнуть; никогда иные города не имѣли въ нашемъ отечествѣ перевѣса надъ Прагой. Отъ легендарныхъ временъ Либуши, въ войнахъ съ германскими сосѣдями, во времена славнаго похода въ Пруссію, въ счастливыя времена золотой буллы, при религиозныхъ распряхъ и войнахъ, въ эпоху прославленныхъ школъ — всегда и всюду была Прага впереди; всегда и отовсюду взирали на нее остальные города: она же была всегда готова подать совѣтъ и помощь, она стерегла славу и благо народа».

Въ предмартовскую эпоху Прага приобрѣтаетъ еще и иное значеніе. Дѣло въ томъ, что хотя чешскій народъ въ своей національной и лингвистической чистотѣ остался по преимуществу въ деревнѣ, хотя Прага была внѣшне отмѣчена сильнѣе, чѣмъ мелкіе провинціальныя города, но организованный планъ народнаго возрожденія вышелъ все-же изъ ея нѣдръ; такіе оплоты національнаго самосознанія и воспитанія, какими были музеи, основанная при немъ Матица, «Патріотическое общество друзей искусства» съ его галлереей, были со своими руководителями и вдохновителями въ Прагѣ. Нельзя забывать, что личное общеніе и живое слово играли тогда гораздо

большее значеніе, такъ какъ ни книгъ, ни журналовъ, говорящихъ о жгучихъ темахъ, не было въ достаточномъ количествѣ, а тѣ, которые выходили, появлялись олять — таки въ Прагѣ. Молодежь, желавшая поговорить или хотя бы увидѣть въ началѣ Добровскаго, а вполнѣ Ганку или Палацкаго, должна была ѣхать въ Прагу; въ Прагу и изъ Праги возились малыми толстыми письмами въ домашнихъ конвертахъ, на которыхъ были написаны имена патріотовъ, заброшенныхъ по различнымъ «землямъ короны чешской». Но и для тѣхъ, что не вникали глубоко въ наиболѣе патріотическія изъ наукъ, т. е. въ исторію и филологію, имѣлся въ Прагѣ свой особый магнитъ: каждый сознательный чехъ хотѣлъ читать на родномъ языкѣ хотя бы занимательную романтическую книжку, каждый хотѣлъ видѣть на сценѣ исторію родной земли и услышать съ подмостковъ свой языкъ, а эти удовольствія были доступны опять-таки въ столицѣ, ибо рѣдко и съ большими промежутками доходятъ книги и доѣзжаютъ кочующія трупы въ провинцію. Въ письмахъ современниковъ мы то и дѣло находимъ просьбы о присылкѣ новыхъ вещей, о выходѣ которыхъ они узнали со словъ проѣзжающихъ или изъ объявленій: когда первая часть книги имѣла успѣхъ, или когда ея выходу предшествовала молва, какъ это было, напримѣръ, съ «Декламванками» Рубеша, то изъ провинціи несутся въ Прагу настоящія мольбы о скорѣйшемъ выполненіи заказа, причемъ просятъ посылать сразу 10-20 экземпляровъ, такъ какъ они навѣрняка

разойдутся среди учащейся молодежи, которая пока такимъ образомъ поддерживаетъ свою связь съ золотой матушкой Прагой».

Наконецъ, послѣдняя категория это люди, которые ведутъ себя такъ или иначе въ зависимости отъ того, что модно и современно; они притягивались къ Прагѣ новымъ изобрѣтеніемъ: «чешскими балами» и «бесѣдами». Подумать только: всѣ, всѣ, даже барышни говорятъ тамъ по-чешски, программы танцевъ напечатаны по-чешски, декламируются чешскіе стихи, поются чешскіе романсы, а оркестръ играетъ галопы и польки на мотивы чешскихъ народныхъ пѣсенъ. Это ново, оригинально и забавно. Тылъ, сыгравшій такую большую роль въ формированіи чешскаго предмартовскаго общества, ясно сознавалъ какое могущественное орудіе подобныя невинныя забавы; на нихъ сначала ходятъ танцевать и слушать, потомъ начинаютъ принимать активное участіе, интересоваться литературой, театромъ, потомъ исторіей и наконецъ всецѣло переходятъ въ лагерь «der Vlastencep», какъ называли мѣстные нѣмцы чешскихъ патріотовъ*). По примѣру Праги подобныя балы и вечеринки начали устраиваться и въ иныхъ городахъ.

Прага для предмартовской эпохи въ Чехіи была разсадникомъ всѣхъ идей, которыя впервые обнаружилась въ 1848 г., а потомъ медленно, но вѣрно развивались въ теченіе послѣдующихъ десятилѣтій. Пражское общество бы-

*) Слѣбъ слова vlast — отчизна, для отличія чешскихъ патріотовъ отъ нѣмецкихъ.

ло микрокосмомъ, въ которомъ отражались идейное броженіе и ростъ страны.

Лучшіе представители всего народа были здѣсь собраны для работы и борьбы, какъ же было послѣ этого не стремиться въ Прагу чеху первой половины 19-го столѣтія, какъ же ему было не любить свою Прагу, которая всегда стояла у него передъ глазами, какъ примѣръ и какъ призывъ.

«Кто можетъ не любить Прагу? Кто, особенно въ наше время, не стремится страстно ее увидѣть? Приходятъ теперь новыя времена и Прага облекается въ новый уборъ».

Такими словами заканчиваетъ Тылъ предисловіе своей «Праги». Каковы были эти новые дни и въ чемъ состоялъ новый уборъ, постараемся изобразить въ слѣдующихъ главахъ.

2.

Прага первой половины 19-го столѣтія представляла роскошную декорацию для романтическихъ и вообще повышенныхъ чувствованій, которая диктовалась въ эту эпоху модой въ широкомъ смыслѣ слова. По красотѣ открывающихся видовъ, по историческимъ воспоминаніямъ, по обилію романтическихъ уголковъ она, конечно, стояла несравненно выше такихъ романтическихъ центровъ, какими были Берлинъ и Вѣна. И. М. Шогки въ книгѣ «Prag wie es war» говоритъ, что многіе путешественники сравнивали Прагу по красотѣ съ Константинополемъ, Римомъ, Флоренціей и иными городами, славящимися своими видами. Не будь известныхъ

политическихъ условий, Прага могла стать мѣстомъ паломничества тѣхъ многочисленныхъ душъ, которыя искали подходящей обстановки для своихъ возвышенныхъ переживаній, для погруженія въ прошлое и даже для слиянія съ природой, которая не только окружала узкимъ кольцомъ городъ, но повсюду врывалась въ его стѣны.

Прага и Чехія могли конкурировать съ Италией и имъ не хватило только современной рекламы въ видѣ романа или драмы, получившей мировое распространеніе. Если бы Прага имѣла свою Ратклифа, которая такъ заманчиво описала итальянскій пейзажъ, никогда его не видя, что по ея слѣдамъ пошла масса романтическихъ писателей, художниковъ и путешественниковъ, то, конечно, и ея трактиры, гостиницы и салоны были бы переполнены знатными иностранцами, авантюристами и мечтателями всякаго рода. Но этого не случилось. Правда, нѣмецкіе, даже очень крупные писатели обращались за темами къ чешской исторіи, правда, позднѣе даже Жоржъ-Сандъ перенесла дѣйствіе одного своего романа въ Чехію, но во всѣхъ этихъ произведеніяхъ центр тяжести, захватывающій вниманіе читателя, былъ въ герояхъ, а не въ обстановкѣ и не въ средѣ. Что можетъ сдѣлать произведеніе, упавшее на благодатную почву, видно хотя бы по такому маленькому анекдоту. Въ Россіи существовала во второй половинѣ прошлаго столѣтія секта «неговцевъ», корни которой восходили къ гуситамъ и чешскимъ братьямъ. Когда въ ихъ руки попалъ переводъ Консуэлы, Жоржъ-

Сандъ была провозглашена ими святой, лишь за то, что она описала интересующій ихъ предметъ.

Что касается удобства путешествванія и жизни, Прага, конечно, тоже не отставала отъ Италіи, какъ мы можемъ судить по запискамъ нѣкоторыхъ путешественниковъ. Но иностранцы, особенно нѣмцы, по словамъ А. фонъ-Шадэнъ, написавшаго свою занятную книжку «Bocksprung von Dresden nach Prag», ничего не хотятъ знать о томъ, что дѣлается за предѣлами ихъ границъ, а потому и презираютъ все имъ неизвѣстное. «Для значительной части даже наиболѣе образованныхъ европейцевъ Богемія все еще terra incognita и сѣверные нѣмцы говорятъ объ этой красивой, интересной и столь замѣчательной своей исторіи странъ, какъ древніе о своей Божіи».

Скажемъ, что и остальные народы были не лучше, что у тѣхъ, кто былъ обуянъ страстью путешествовать, она скоро проходила подлѣ влияніемъ дорогъ и экипажей. Если не считать войнъ, то передвиженіе значительныхъ массъ началось лишь во второй половинѣ 19-го столѣтія, когда пароходы и желѣзныя дороги перестали быть праздничнымъ развлеченіемъ и превратились въ дѣйствительное средство передвиженія.

Однимъ высокопоставленнымъ особамъ да очень богатымъ людямъ путешествовать было доступно, а потому ихъ можно было встрѣтить довольно часто и въ Прагѣ. Это — то жена Наполеона Марія-Луиза, то русскій императоръ, то французскій король въ изгнаніи, то дипломатическій курьеръ, из-

вѣстный всему интеллигентному міру своими литературными произведениями. Приѣзжали въ Прагу и лица, лѣчившіяся въ Карловыхъ Варахъ, слава которыхъ гремѣла далеко за предѣлами Центральной Европы. Особенно русскіе любили ѣздить «на воды», для лѣченія или просто такъ, для удовольствія; привыкшіе къ большимъ разстояніямъ, они не робѣли передъ подобнымъ путешествіемъ и всѣми незгодами, связанными съ нимъ. Что русскихъ въ Прагѣ бывало достаточно, свидѣтельствуетъ хотя бы русская вывѣска на магазинѣ Нэффа, ибо навѣрно не одно только возрастающее руссофильство побудило предприимчиваго торговца ее закатать.

Прага 100-130 лѣтъ назадъ не имѣла и даже не мечтала о тѣхъ предмѣстьяхъ, которыя позднѣе выросли вокругъ нея и наконецъ вошли въ ея материнское лоно. Жизнь, мелденная и идиллическая, сосредотачивалась почти всецѣло на Малой Странѣ, въ Старомъ и Новомъ городѣ; надъ ними дремали Градчаны, гдѣ изрѣдка появлялись знатные иностранцы, бродили безъ дѣла слуги. Было тихо, такъ какъ на экипажахъ ѣздили мало, да и улицы были не всюду мощеныя. Со сѣди знали другъ друга и интересовались мельчайшими событіями. Пожаръ, наводненіе, чей либо приѣздъ, иллюминація, были камнемъ, брошеннымъ въ стоячую воду. Внѣшній чисто архитектурный обликъ города, созданный въ 17 и 18 столѣтіи, мѣнялся мало, такъ какъ обдѣланнымъ горожанамъ было не на что строить, дворянство удовлетворялось старыми дворцами или тянулось

къ Вѣнѣ. Всюду господствовали барокъ со множествомъ украшеній; улицы были узки и горбаты — съ горки на горку; на углахъ висѣли причудливыя и декоративныя вывѣски и цеховые знаки, надъ воротами красовались домовые знаки, которымъ вѣрили болѣе, чѣмъ обязательнымъ номерамъ. Еще въ тридцатыхъ годахъ г. Райнольдъ въ книгѣ «Prag und seine Umgebung» даетъ слѣдующія свѣдѣнія. Для того, чтобы обойти Прагу, нужно 4 часа, а пройти въ длину или въ ширину 1 часъ. Вокругъ всего этого пространства тянется валъ, который не служитъ уже оборонѣ, а скорѣе опредѣляетъ мѣщанскія права; въ немъ восемь воротъ, запирающихся зимой въ 10, а весной и лѣтомъ между 10 и 11 часами вечера; для дилижансовъ и всякаго рода экипажей ворота открываются между 5 и 6 часами утра, въ зависимости отъ времени года; для пѣшеходовъ оставлены маленькія калиточки, сдѣланныя въ самихъ воротахъ или рядомъ съ ними, открывающіяся на полчаса раньше и закрывающіяся на полчаса позднѣе, чѣмъ главный входъ. Понятно, что это было значительнымъ регуляторомъ всей жизни, замирающей или по крайней мѣрѣ ограничивающейся къ 11 часамъ вечера. Жизнь была скорѣе идиллической, чѣмъ романтической, хотя охотно присваивала себѣ это названіе. Вышеградъ въ эту эпоху еще не былъ включенъ въ городское управленіе, хотя уже былъ частью города, въ то время какъ Карлинъ, Нусле, Смиховъ считались предмѣстьями, куда ѣздили на пикники и прогулки, такъ же, какъ въ близлежащія деревни Коширже, Троку,

Шарку и Звѣзду. Мѣста, которыя позже вульгаризировались и были поглощены городомъ, въ то время еще были сѣвными, дикими и подходящими для прогулокъ, — напимѣръ, Барвиржскій островъ, Малая Венеція, Стржелецкій островъ и т. д.

Уже въ самый моментъ приѣзда городъ долженъ былъ производить сильное впечатлѣніе, въ особенности на иностранца или даже чеха, попадавшаго сюда въ первый разъ. Дэ ла Моттъ-Фуке, въ своихъ воспоминаніяхъ, изданныхъ въ 1823 г., такъ описываетъ свой приѣздъ въ Прагу, въ лунный вечеръ:

«Невыразимо, граничить съ чудомъ то впечатлѣніе, которое производитъ Прага, Градчаны въ своемъ полномъ блескѣ! Градчаны! Какъ серебряная скала сияютъ гигантскіе дворцы, которые охватываютъ здѣсь вершину четырехугольникомъ. Королевскій замокъ, архіепископскій дворецъ, дома Шварценбергскій и Тоскапскій со своими блестящими и переливающимися окнами, отражаютъ на безконечные лады преломленный лунный лучъ совершенно волшебнымъ образомъ. И ко всему этому гигантскія очертанія, которыя ночное небо заставляетъ выступать въ неопредѣленныхъ и потому въ высшей степени фантастическихъ соотношеніяхъ. Всѣ эти чудеса уходящихъ и ярко очерченныхъ тѣней! Трудно описать, что дѣлаетъ магія смѣны свѣта и тѣней.

Для еще большаго увеличенія неожиданности и необычайности, мы почувствовали, что наши почтальоны тормозятъ коляску, и увидѣли, что мы спускаемся съ высокой горы прямо въ городъ.

Теперь мы ѣхали по улицамъ, которыя не были широки, но благодаря вышинѣ домовъ и непрерывному движенію казались узкими. Предостерегающе звучитъ крикъ кучеровъ и возчиковъ, бранящихся и ругающихся на чисто чешскомъ языкѣ, или же пронзительно кричащихъ, требуя поострониться».

Новоприбывшаго путника должны были особенно поражать Градчаны, съ ихъ доминирующимъ положеніемъ, ихъ историческимъ значеніемъ, ихъ силуэтомъ то на ночномъ синемъ небѣ, то на розоватомъ закатномъ фонѣ. Для любовныхъ вздоховъ, для возвышенныхъ страстей пустынный Градчаны съ темными башнями собора, съ каменными ступенями, ведущими къ городу, безконечными стѣнами дворцовъ и садовъ, съ былымъ и какъ будто навсегда погибшимъ блескомъ должны были imponировать патриоту такъ же, какъ влюбленному, или зараженному міровой скорбью мечтателю.

Путешественникъ Туссенъ фонъ Шарпантье очарованъ съ перваго взгляда величіемъ города, который уже своимъ внѣшнимъ видомъ какъ бы говоритъ о быломъ могуществѣ. «У Праги весьма значительная внѣшность; мы съ перваго взгляда узнаемъ въ ней большой, истинно королевскій городъ и подлинную столицу настоящаго, законченнаго государства, притомъ столь своеобразнаго! Какъ во истину по королевски и величаво возвышаются надъ остальнымъ городомъ дворцы Градчанъ! Кто можетъ не увидѣть сразу, что здѣсь былъ престолъ королей и какъ можетъ не перенести архитектура множе-

ства башенъ и церковей фантазію зрителя въ столѣтія, забытыя даже временемъ!»

Болѣе спокойный и лирически настроенный зритель обращалъ вниманіе на нныя подробности, которыя намъ дополняютъ общую картину. А фонъ Шаденъ можетъ быть единственный путешественникъ, который на ряду съ дамскими модами замѣтилъ и занесъ въ книгу впечатлѣніе отъ плоскихъ острововъ на полноводной Влтавѣ, отъ синеватаго тумана, такъ часто окутывающаго Прагу и придающаго ей тотъ прозрачный видъ, о которомъ любить говорить поэты и который стремятся передать на картинахъ и гравюрахъ художники.

Отъ первыхъ чисто внѣшнихъ впечатлѣній перейдемъ къ болѣе подробному разсмотрѣнію характера города. Для того, чтобы уяснить себѣ истинный смыслъ нѣкоторыхъ описаній современниковъ, нужно мысленно отсчитывать слишкомъ сто лѣтъ и помнить то, какъ это время измѣнило понятія и требованія. Лишь такимъ образомъ слова опытныхъ путешественниковъ Ф. и Ц. де ла Моттъ-Фуке получать свой настоящій смыслъ. «Желая осмотрѣть немного городъ, мы пошли на слѣдующій день бродить по улицамъ, но сейчасъ же остановились передъ витринами блестящихъ магазиновъ, которые содержали богатѣйшій выборъ различныхъ фабрикатовъ и художественныхъ произведеній. Нѣсколькихъ минутъ для насъ было достаточно, чтобы налюбоваться всѣмъ этимъ. Затѣмъ мы прошли въ открытыя двери. Но здѣсь собственно говоря не находишь ничего изъ того, что ожидаешь

найти. Магазины малы, но и это скромное пространство не заполнено. Все наилучшее красуется въ окнахъ и витринахъ, въ то время какъ внутри ничего нѣтъ. Празднѣ выучились у французовъ показывать товаръ лицомъ и выставить его наиболее выгоднымъ образомъ».

Магазиновъ со всяческими товарами, какъ первой необходимости, такъ и болѣе роскошными, было достаточно разбросано по всему городу. Нѣкоторыя улицы были заняты торговцами и ремесленниками одного и того же рода, отчего часто и получали свое названіе. То, что было проще, размѣщалось въ палаткахъ и у лотковъ по базарамъ. Изъ путеводителя отъ 1834 г. мы узнаемъ, что, напимѣръ, въ Прагѣ было десять книжныхъ магазиновъ, причемъ у К. Барта къ магазину было присоединено нѣчто вродѣ публичной библіотеки, гдѣ выдавались книги для чтенія на домъ. Въ тѣхъ же годахъ существовало и 4 литографировочныхъ мастерскихъ, среди нихъ одна принадлежала извѣстному портретисту Махку. Этотъ дешевый и эффектный способъ репродукціи нашель очевидно особое признаніе у пражскихъ жителей, состоявшихъ преимущественно изъ мѣщанъ, туго развязывавшихъ кошелекы. Заговоривъ о магазинахъ, служащихъ удовлетворенію эстетическихъ потребностей, нельзя не упомянуть о лавкахъ со столь модными тогда шляпками изъ настоящей итальянской соломы и кашемировыми турецкими шальями. Ихъ существованіе показываетъ, что пражанкамъ, желающимъ слѣдовать всѣмъ фантазіямъ моды, не нужно было ѣздить въ Вѣну,

такъ какъ всё ленточки, перья, бантики, кружева, шарфики, словомъ все то, что составляло глазное очарованіе женскаго костюма начиная съ 20 годовъ, было у нихъ подъ рукой. Въ области украшенія дома пражскія лавки тоже могли многое дать. Чешскіе столяры издавна славилась своей солидностью и умѣньемъ обрабатывать дерево; приданое, которое они дѣлали, хватало не только на всю жизнь супругамъ, но часто и ихъ дѣтямъ и внукамъ. Въ большинствѣ случаевъ мебель дѣлалась на заказъ, такъ что тотъ, кто въ ней нуждался, шель къ мастеру, а не въ магазинъ. Какъ нѣкую удобную особенность иностранцы отмѣчаютъ то, что въ Прагѣ можно достать весьма приличную мебель на прокатъ, за которую платится по-недѣльно. Такъ, прѣбавшій или холостякъ, не желающій жить въ трактирѣ, можетъ даже при скромныхъ средствахъ устроить себѣ приличную и удобную квартиру. Хотя на этихъ складахъ давалось все, вплоть до занавѣсокъ и картинъ, но мелочи, которыя въ эпоху бидермайера*) наполняли квартиры, каждый покупалъ уже самъ. Ихъ можно было найти въ стеклянныхъ и фарфоровыхъ лавкахъ. Тонкое и граненое стекло высшаго качества было со стеклянныхъ заводовъ графовъ Гарраховъ, проще же отъ маленькихъ куст-

*) Бидермайеръ — стиль вышедшій изъ классическаго ампира и имѣвшій распространеніе въ Австріи, Чехіи и Германіи. Во Франціи ему частично соответствуетъ стиль «Луи-Филиппъ», въ Россіи — такъ назыв. «русскій ампиръ».

рей, которые съ конца 18 столѣтія изготовляютъ стильныя вещи изъ прозрачнаго и молочнаго стекла съ цвѣтной росписью. Такіе крупные и прославленные своими издѣльями фарфоровыя заводы, какъ Славковъ или Пиркенхамерь, имѣли свои собственные магазины, первый на Краловской улицѣ, второй на Пржикипахъ. Фарфоровыя фабрики, то конкурирующія между собой, то подражающія одна другой, почему-то сосредоточили свои склады и магазины въ Ритиржской улицѣ; тамъ были Дальви, Стара Роллз, Тѣини и др.

Для тѣхъ, кто зналъ и помнилъ Прагу эпохи 1800 г., каждый шагъ по благоустройству города казался неимовернымъ достиженіемъ, заслуживающимъ записи въ дневникъ, а иногда и хвалебной оды. До 19-го столѣтія европейскій континентъ имѣлъ весьма слабое представленіе о томъ, что такое комфортъ. Въ Англіи съ этимъ обстояло немного лучше, такъ что съ проникновеніемъ англійскаго вліянія и множества англійскихъ путешественниковъ, гораздо болѣе требовательныхъ, чѣмъ нѣмецкіе, французскіе или русскіе, началъ повышаться на континентѣ общій уровень комфорта. Кромѣ того техника въ то же время сдѣлала довольно значительные успѣхи. Ухудшая внутреннее качество художественнаго производства, техника сдѣлала однако художественныя вещи болѣе доступными широкимъ кругамъ.

Болѣе комфортабельное и цѣлесообразное устройство дома не могло остаться безъ вліянія на жизнь за его стѣнами. То и другое необходимо шло рука объ ру-

ку. Можно сказать, что развитіе индустріи и промышленности, принесъ комфортъ въ стѣны мѣщанскаго дома, улучшило не только дороги, но и мостовыя въ городѣ.

До конца 18-го столѣтія эlegantное общество ѣздило въ коляскахъ и каретахъ, или заставляло носить себя въ изящныхъ расписныхъ носилкахъ съ занавѣсочками въ окнахъ и съ подушками на сидѣньяхъ. Народъ ходилъ пѣшкомъ, по шиколотку, а иногда и выше въ грязи. Множество картинъ, а главное бытовыхъ и галантныхъ гравюръ, свидѣлствуютъ о трудности перехода, особенно въ дождь, когда во всю ширину улицы текли потоки грязной воды. Въ сухую погоду все это превращалось въ пыль и не только пробѣжавшая коляска, но и пробѣжавшій мальчишка подымали цѣлыя облака пыли. Поливки улицъ, конечно, никакой не было. Иногда хозяева дома кропили пространство передъ воротами изъ лейки, или изъ стараго жбана. Все это способствовало тому, что люди охотнѣе всего сидѣли дома и не только путешествіе, но и всякое хожденіе въ другой конецъ города было событіемъ. Лишь съ романтическимъ періодомъ и связаннымъ съ нимъ увлеченіемъ природой, начинаютъ процвѣтать сначала прогулки въ возникающіе публичные сады, а потомъ и пикники въ ближайшія окрестности Праги. Зато всё со сѣди знали другъ друга и составляли какъ бы маленькую общину, помогавшую и обслуживавшую своихъ членовъ.

Такъ какъ ходить по дѣламъ или для удовольствія все же было нужно, то по личной иници-

тивѣ отъ дома къ дому клали камни, по которымъ и прыгали; иногда камни замѣнялись досками, которыя при болѣе тяжелой нагрузкѣ подламывались и вызывали комическія катастрофы. Болѣе или менѣе настоящіе тротуары были заведены въ Прагѣ лишь въ 1803 году. Рейнольдъ въ 1831 году пишетъ, что большинство улицъ вымощено, а на главныхъ имѣются даже тротуары. Однако Добытчи Тргъ, теперешнюю Кралову площадь только собираются мостить. Въ 1834 г. Шисслеръ въ совершенномъ восторгѣ отъ состоянія пражскихъ улицъ и пишетъ, что тѣ, кто зналъ Прагу 20 лѣтъ тому назадъ, должны быть полны удивленія при видѣ всего того цѣлесообразнаго, полезнаго и красиваго, что въ ней появилось. Главныя улицы и площади вымощены и вдоль домовъ устроены тротуары. Частично даже отдаленныя части города, гдѣ раньше нельзя было ни пройти, ни пробѣжать, приведены въ приличное состояніе. Мостились улицы частью большими плитами, частью булыжникомъ и между тѣми и между другими при дождѣ образовывались лужи, довольно долго не высыхавшія. Болѣе конкретно, чѣмъ у остальныхъ, объ измѣненіяхъ въ области городского благоустройства говорится въ «Durchflüge durch die österreichischen Staaten» отъ 1826 г. «Я едва узналъ прежнюю грязную Прагу, которую я не видѣлъ вотъ ужъ 12 лѣтъ, настолько она измѣнилась къ лучшему и настолько она приукрасилась. Много домовъ въ лучшихъ частяхъ города или частично перестроены со вкусомъ или же вообще наново выстроены — назову

хотя бы здание Пиаристовъ, это украшение всѣхъ Пржиковъ, ставшихъ теперь прелестнымъ и излюбленнымъ мѣстомъ предобѣденной прогулки высшаго общества. Прежде здѣсь по срединѣ была аллея старыхъ каштановъ, которые были предназначены охранять вѣчную грязь, которая между ними рѣдко высыхала — теперь это прекрасная, вымощенная, широкая улица, по лѣвой сторонѣ которой тянутся прекрасныя здания и среди нихъ излюбленная гостиница «У Чернаго Коня», все это должно производить на ино-странца самое благоприятное впечатлѣніе. На мосту сдѣланы новые широкіе тротуары, вдоль всѣхъ главныхъ улицъ проведены каналы для стока воды, а тамъ, гдѣ они еще не имѣются, ихъ какъ разъ прокладываютъ».

Такъ создается представленіе о томъ, чѣмъ могла быть Прага около 1800 г., а также на сколько она могла улучшиться въ области общаго комфорта до 50-хъ годовъ прошлаго столѣтія.

Мостовыя и ихъ состояніе связаны непосредственно съ вопросами канализаціи и водопроводовъ. Домъ безъ воды, и безъ современныхъ удобствъ, былъ наполненъ тяжелой атмосферой, къ которой жители, конечно, привыкли, но которую все же старались облегчить всѣми средствами. Какъ всегда, начали не съ радикальныхъ средствъ, а съ полумѣръ. Желая улучшить воздухъ какъ въ городѣ, такъ и въ квартирѣ, прибѣгли къ помощи природы, къ которой толкали съ другой стороны идеологическія теченія, все шире проникавшія въ Чехію. Такъ возникъ цѣлый рядъ общественныхъ садовъ, прогулокъ и аллей. Духъ

демократизаціи кромѣ того способствовалъ тому, что многіе частныя и королевскіе сады, бывшіе раньше недоступными для широкой публики, открылись теперь почти всѣмъ посѣтителямъ безъ исключенія. Не только дворцы вельможъ и богачей, но и болѣе скромные дома, которые впрочемъ въ то время почти всѣ за малымъ исключеніемъ не были доходными домами и составляли жилище одной семьи, получаютъ сады и палисадники. Тамъ, гдѣ это совершенно невозможно, хотя бы внутренней дворикъ обсаживается кустами и вьющимися растеніями. Далѣе, окна домовъ тоже начинаютъ украшаться цвѣтами, часто размѣщенными въ нѣскольکو рядовъ на всякихъ полочкахъ. Кромѣ того передъ окнами ставятся спеціальные столики для цвѣтовъ, которые также разставляются и на маленькихъ столикахъ, столь излюбленныхъ въ бидермайеръ, по всей комнатѣ. Это изобиліе зеленыхъ растеній и цвѣтовъ способствуетъ тому, что въ моду входятъ вазоны, которые должны прикрывать грубую глину горшка. Ампиры вазоны въ большинствѣ случаевъ бѣлые глазированные съ различными эмблемами вродѣ головъ фавновъ, козловъ, касокъ, скрещенныхъ трофеевъ и т. п.; бидермайеръ, не измѣняя гладкой формы, вноситъ краску и разровку; часто въ это время встрѣчаются синіе и золотые рисунки.

Скоро забыли первоначальную цѣль введенія цвѣтовъ въ жилище и мѣсто душистыхъ заняли первенствующее мѣсто цвѣты чисто декоративные. Такъ, любимымъ цвѣткомъ ампира была гертензія, которая своимъ строгимъ

и какъ бы фарфоровымъ видомъ, соответствовала всему накрахмаленному духу эпохи. Романтика и связанная съ ней экзотика ввели въ 40-хъ и 50-хъ г. г. разныя японскіе и китайскіе цвѣты, какъ то: хризантемы, пионы и георгинны. Стремленіе къ символикѣ во внѣшнихъ проявленіяхъ жизни было причиной того, что въ комнатахъ появился плющъ, эмблема одной изъ главныхъ добродѣтелей — дружбы. Горшки съ плющемъ ставились между оконъ, въ углахъ за диванами, по обѣимъ сторонамъ дверей, гдѣ онъ могъ виться по стѣнѣ, образуя зеленую раму. Иногда ящиками съ плющемъ, за которыми ставилась деревянная легкая рѣшетка «стрельяжъ», комната разгоразживалась пополамъ, какъ ширмой, или же имъ отдѣлялся интимный уголокъ у окна для шитья и чтенія. Наконецъ этотъ же вьющійся плющъ мы встрѣчаемъ и на стѣнной росписи комнатъ.

Кромѣ этихъ мѣръ, которыя, какъ мы видѣли, очень скоро начали служить инымъ цѣлямъ, для увеличенія комфорта примѣнялись и иныя болѣе рациональныя средства. Такъ, въ 1816 г. начали проводить въ Прагѣ канализацію, т. е. прокладывать сточныя трубы. Работы начались на Золотой улицѣ и на Вифлеемской площади, захватывая понемногу сосѣднія и прилегающія улицы и переулки. Съ каждымъ годомъ количество канализированныхъ улицъ увеличивалось. Для этихъ работъ было необходимо разрыхлять почву и подымать мостовую тамъ, гдѣ она существовала; такимъ образомъ, всѣ тѣ улицы, которыя получали канализацію, получали и новую лучшую мостовую. Такъ,

въ 1820-21 г. г. было закончено мощеніе верхней части города. Въ 1823 г. проводилась канализація и мощеніе уже на Уездѣ, Кржижовницкой улицѣ и на Градчанахъ. По мѣрѣ того какъ городъ растетъ и прибываетъ предметей, расширяется и площадь канализаціи и мостовыхъ. Однако изъ воспоминаній 1847-48 г. мы узнаемъ, что когда молодежь ходила такцовать въ болѣе отдаленную часть города и не имѣла средствъ на зипажажъ, то ей приходилось всячески предохранять ноги, чтобы не придти въ грязныхъ башмакахъ. Тогда сверхъ туфель въ башмаковъ носились своего рода ботики изъ матеріи и войлока.

Канализація безъ водопровода, конечно, дѣйствительна лишь за половину. То, что по городу не ѣздили бочки, при видѣ которыхъ прохожіе затыкали носъ, что пылюю не выливали прямо на улицу, было все-же улучшеніемъ внѣшней жизни. Идея водопровода стара и, кажется, связана со всей европейской культурой; въ новое время пытались осуществить водопроводъ много разъ, но это были отдѣльные опыты, не имѣвшіе слишкомъ большого успѣха и широкаго распространенія. Въ Прагѣ для этой цѣли пытались приспособить многочисленныя мельницы, расположенныя по берегу рѣки. Такъ, въ Старомѣстскихъ мельницахъ была также водокачка, а въ 1835 г. даже замѣнили старыя машины новыми. Въ 1848 г. мельницы были зажжены артиллерійскимъ огнемъ войскъ Виндшигрета и сильно попорчены, такъ что довольно продолжительное время воду снова разносили въ бочкахъ, или брали изъ ближайшихъ колодезевъ. Въ

«Neues Gemälde der Hauptstadt Prag», изданных в 1843 г., Шисслеръ съ большим восторгомъ рассказывает о нововведеніи, весьма способствующемъ благоустройству города, а именно о весьма искусно сдѣланныхъ четырехъ башняхъ на берегу Влтавы, доставляющихъ воду городу. Хозяевамъ разрѣшается проводить ее прямо въ дома при помощи трубокъ. Но вода эта рѣчная и неочищенная, такъ что для питья она не годится, питьевая же вода берется, вѣрнѣе, носится ведрами и жбанами изъ деревянныхъ или металлическихъ фонтановъ, весьма изящно украшенныхъ, по мнѣнію современниковъ, и размѣщенныхъ на углахъ и перекресткахъ. Еще очень долго эти фонтаны или, вѣрнѣе, насосы были мѣстомъ свиданія прислуги и кумушекъ со всего околотка. Здѣсь создавались и распространялись сплетни, здѣсь же, когда наступалъ сумракъ, происходили и свиданія подъ благовиднымъ предлогомъ, что на ночь нужно набрать свѣжей воды.

Н. Мельникова-Папоушкова.

(Продолженіе слѣдуетъ)

Л. I. Петражицкій, какъ философъ права

Одинъ за другимъ сходятъ въ могилу самые замѣчательные представители русской университетской науки послѣднихъ десятилѣтій. Особенно тяжкія потери несутъ гуманитарныя дисциплины. Вслѣдъ за П. И. Новгородцева, П. Виноградовымъ, А. И. Введенскимъ, Н. И. Карѣвымъ, Е. Н. Прѣсняковымъ не стало Л. I. Петражицкаго, безспорно самаго значительнаго и оригинальнаго русскаго теоретика права. Я говорю русскаго, такъ какъ Петражицкій хотя и началъ свою научную дѣятельность въ Германіи, а закончилъ въ Польшѣ, откуда былъ родомъ, однако всецѣло былъ связанъ съ Петроградскимъ университетомъ, двадцатилѣтняя преподавательская дѣятельность въ которомъ совпала съ наиболѣе блестящимъ и продуктивнымъ періодомъ его жизни.

Л. I. Петражицкій принадлежалъ къ тому типу первоклас-

ныхъ мыслителей и новаторовъ, которые смотрятъ такъ далеко впередъ, что истинное значеніе ихъ ученій (если даже они имѣли крупный успѣхъ при жизни ихъ авторовъ) выступаетъ лишь въ послѣдующія эпохи. Такъ и теорія права Петражицкаго во всей своей глубинѣ и оригинальности можетъ быть вполне оцѣнена лишь на фонѣ послѣдвоенныхъ и по-революціонныхъ сдвиговъ философской и юридической мысли.

I.

Философія права Л. I. Петражицкаго была несравненно своеобразнѣе и значительнѣе, чѣмъ это полагали въ Россіи и его ученики и его критики. И тѣ и другіе видѣли въ немъ послѣдовательнаго позитивиста, примѣнившаго къ изученію права принципы логики Милля и нашедшаго основныя

юридическихъ явленій въ эмпирической психологіи. Между тѣмъ, методъ чистаго описанія правовыхъ переживаній, приведшій Петражицкаго къ идеѣ эмоциональной интуиціи, въ которой открываются нравственные и правовыя данности, ставилъ его въ непосредственное содѣйствіе съ Бергсоновскими «Données immédiates de la conscience» и съ современной нѣмецкой феноменологіей (Гуссерль, Шелеръ и др.), съ ея призывомъ къ расширенію понятія опыта и къ распространенію его съ міра эмпирическихъ явленій, также на область идей.

Петражицкій, подобно ряду новѣйшихъ философовъ интуитивистовъ, стремился къ преодолѣнію противоположности между эмпиризмомъ и идеализмомъ въ идеѣ экспериментальной, опытной метафизики, основанной на непосредственномъ созерцаніи и описаніи. Отсюда его вражда къ нео-кантианству, въ частности къ «постулатному методу» въ логикѣ и къ нормативизму въ наукѣ права, вражда, которая была въ Россіи ошибочно принята за позитивизмъ.

Насколько Петражицкій былъ далекъ отъ позитивистическаго круга мыслей, легко проверить уже по первымъ его замѣчательнымъ работамъ, написаннымъ на нѣмецкомъ языкѣ: «Die Fruchtverteilung beim Wechsel des Nutzungsberechtigten» (1892) и «Die Lehre vom Einkommen» (I т. 1893, II т. 1895). Въ этихъ работахъ онъ подвергаетъ ожесточенной критикѣ проектъ новаго Германскаго Гражданскаго Уложения, «составители котораго забыли, что послѣ римскаго права былъ Исусъ Христосъ и

Евангеліе любви» (Л. в. Е. I т. стр. 340), и которые въ своемъ увлеченіи индивидуалистическимъ эгоизмомъ «разсматриваютъ человѣческую душу какъ счетоводную машину» (II т. стр. 544), сводя всю мотивацію чело-вѣческихъ поступковъ къ утилитарнымъ и гедонистическимъ соображеніямъ (стр. 545). Между тѣмъ, въ основѣ права, поскольку оно не превращается въ свою противоположность: насилие, не можетъ не лежать любовью, уже по одному тому, что «тамъ, гдѣ нѣтъ больше любви, нѣтъ больше и разума» (стр. 477) и что «человѣческая культура во всеѣхъ своихъ положительныхъ достиженіяхъ есть кристаллизація любви» (стр. 477). Любовь же, тутъ же замѣчаетъ Петражицкій, не есть эмпирическое чувство, она сама есть своеобразный разумъ: «Любовь въ извѣстномъ аспектѣ есть разумъ, и разумъ въ извѣстномъ аспектѣ есть любовь» (стр. 468-469). Эти слова Петражицкаго, намѣчающія пути эмоциональнаго интуитивизма и напоминающія знаменитое изреченіе Паскаля: «Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas», могли бы быть взяты эпиграфомъ ко всей его системѣ...

Наставая на невозможности воплотить раздѣлительную любовь и справедливость, Петражицкій не могъ не порвать со старыми рационалистическими-индивидуалистическими ученіями, противопоставляющими право нравственности, какъ правило внѣшняго поведения, независимое отъ внутренняго мотива, и эта тема станетъ одной изъ центральныхъ въ построеніи имъ новой теоріи права. Съ другой стороны, связь любви и справед-

ливости побуждает вносить постоянные коррективы в правовую жизнь, с ее склонностью к формализму и застою, активно работая над усовершенствованием права с точки зрения идеала любви. Отсюда, выдвинутая Петражицким уже в первых его работах, идея особой науки «политики права», «задача которой состоит в постоянном приближении права к идеалу любви, в облагораживании мотивации человеческого поведения в социальной жизни» (стр. 541). Эта наука «политики права», опирающаяся, с одной стороны, на идеал любви, с другой стороны, на изучение психических факторов человеческого поведения в данной социальной среде (откуда вытекают средства, к которым следует прибегать для достижения идеала), должна замѣнить, по мысли Петражицкого, старую идеологию «естественного права». Теоретики естественного права были правы в постановке проблемы: они только не умѣли ее вѣрно рѣшать. Юридический позитивизм, отбросивший самую проблему методического усовершенствования правовой жизни, должен быть рѣшительно осужден. Эти соображения Петражицкого, высказанные имъ за нѣсколько лѣтъ до соответствующих выступлений Штамлера в Германіи, Жези во Франціи, Новгородцева в Россіи, съ призывомъ къ «возрожденію естественного права», послужили, какъ это любилъ подчеркивать самъ Петражицкій, сигналомъ ко всему движенію (хотя оно и приняло направленіе, не вполне соответствующее замыслу Петражицкого, къ которому оно впро-

чемъ снова очень приблизилось, вылившись въ форму «школы свободного права»).

..

Предыдущія замѣчания въ достаточной мѣрѣ готовятъ почву для выясненія истиннаго философскаго смысла*) эмоционально-психологической «Теоріи права и государства» Петражицкого (I т., 1907, II т., 1908), представляющей главное дѣло его жизни**).

«Эмоциональная психологія», которую Петражицкій противопоставляетъ односторонней психологіи познания, чувствъ и воли, призвана, какъ онъ это самъ усиленно подчеркивалъ, прежде всего для опроверженія гедонистическихъ теорій человеческого поведения. «Одно изъ особенно вредныхъ для многихъ... наукъ недоразумѣній—теорія гедонизма и эгоистической природы человѣка, т. е. теорія по которой воля опредѣляется наслажденіями и страданіями» есть непосредственный результатъ «основныхъ предпосылокъ современной психологіи: ученія о тройственномъ составѣ психологической жизни: познаніе, чувство (односторонне пассивныя) и воля (односторонне активныя составы)» (Введ., стр. 173). На самомъ же дѣлѣ въ душевной жизни обнаруживается дѣйствіе еще четверта-

*) Этотъ смыслъ правильно ухватилъ Н. Н. Алексѣевымъ въ его «Основахъ философіи права», Прага, 1924, стр. 60-67.

** Ср. также Л. I Петражицкій «Введеніе въ изученіе права и нравственности. Основы эмоциональной психологіи» (I изд. 1906).

го типа переживаній, «активно-пассивныхъ», «страдательно-моторныхъ», «импульсивно-возбуждающихъ». Ихъ слѣдуетъ называть эмоціями; это они управляютъ главнымъ образомъ поведеніемъ человѣческихъ существъ, и чувства удовольствія и страданія являются лишь сопровождающимъ элементомъ удовлетворенія или неудовлетворенія эмоціей. Въ эмоциональной стихіи, охватывающей наиболѣе обширную область душевныхъ переживаній, находятъ мѣсто какъ низшія элементарныя эмоціи, связанныя съ физиологическими процессами, напр., голодъ, жажда, половое влеченіе (Петражицкій называетъ ихъ «спеціальными», такъ какъ они вызываютъ заранѣе предопредѣленное поведеніе), такъ и эмоціи болѣе высокаго типа, связанныя съ духовной жизнью, напр., радость, страданіе, гнѣвъ, нравственныя и правовыя эмоціи, вплоть до ихъ высшаго выраженія въ любви и ненависти (всѣ подобныя эмоціи Петражицкій характеризовалъ какъ «бланкетныя», такъ какъ вызываемое ими поведеніе не предопредѣлено заранѣе).

Эмоциональная теорія мотивации исключаетъ не только гедонизмъ, но, какъ подчеркиваетъ Петражицкій, и интеллектуализмъ (идеологическія концепціи мотивизации), согласно которому воля человѣка непосредственно руководится интеллектуальными представленіями, въ частности, заранѣе опредѣленными интеллектомъ цѣлями. Петражицкій настаиваетъ на томъ, что поскольку, такъ называемая телеологическая мотивация имѣетъ мѣсто, она опирается на эмоциональную подпочву, и что, съ другой стороны, область ея

примѣненія чрезвычайно ограничена, «такъ какъ преобладающая масса дѣйствій людей... имѣетъ безцѣльный характеръ, совершается не для достиженія какихъ-либо цѣлей», (Т. Пр. I т., стр. 17), а благодаря непосредственному эмоциональному притягиванію или отталкиванію (репульсии или апульсии) къ какимъ-либо предметамъ, происшествіямъ или поступкамъ. Въ частности, какъ увидимъ, мотивация нравственнаго и правового поведенія, имѣетъ по Петражицкому такой непосредственно эмоциональный, а не телеологически-идеологическій характеръ.

Врядъ ли необходимо послѣ сказаннаго особенно настаивать на томъ, что вся эмоциональная теорія Петражицкого имѣетъ характеръ психологіи смысловой и описательной (какъ говорятъ теперь нѣмцы — «verstehende Psychologie»), а отнюдь не психологіи эмпирической и экспликативной, т. е. детерминистической. Въ центрѣ ея идея прямо противоположная обычной ассоціативной психологіи: а именно, что въ душевной жизни нельзя высшее объяснять изъ низшаго, сложное изъ простого, цѣлое изъ его составныхъ частей. Сложныя, цѣлостныя эмоціи несводимы къ своимъ элементамъ, эмоціи высшаго порядка несводимы къ эмоціямъ низшимъ, эмоціи главенствуютъ надъ другими видами переживаній въ силу своей цѣлостной, активно-пассивной природы. Съ другой стороны, путеводной звѣздой для открытія эмоцій явилось метафизическое начало любви, и основной вопросъ, на который отвѣчаетъ эмоциональная психологія Петражицкого есть вопросъ, какимъ образомъ любовь, вопреки

гедонистическимъ и интеллектуалистическимъ теоріямъ, можетъ непосредственно руководить человѣческимъ поведеніемъ. Далѣе, противопоставленіе низшихъ — «спеціальныхъ» и высшихъ — «бланкетныхъ» эмоций предполагать вѣру въ реальность духовной жизни, которая имъ соответвуетъ.

Эмоциональная психологія Петражицкаго построена, такимъ образомъ, цѣлкомъ на методѣ прямо противоположномъ методамъ позитивистически - детерминистической психологіи. Принять ее можно, только совершенно по-равнать съ экспликативной психологіей и ставъ на точку зрѣнія описанія непосредственныхъ данностей сознанія, характерную для современной метафизической, смысловой психологіи.

Однако этого мало. Если вѣрно, что психологія Петражицкаго имѣетъ опредѣленно выраженный анти-позитивистическій и анти-детерминистическій характеръ, то это вдвойнѣ правильно по отношенію къ тому примѣненію, которое онъ далъ своей теоріи эмоций при изученіи правовыхъ и нравственныхъ явленій. Эти послѣднія согласно Петражицкому связаны съ особымъ видомъ эмоций, представляющихъ непосредственныя реакціи (репульсивныя или апульсивныя) на дѣйствія, на человѣческое поведеніе, которое отвергается или одобряется не какъ средство къ цѣли, а само по себѣ.

«Такую мотивацию, въ которой дѣйствуютъ акціонныя представленія, возбуждающія апульсивныя или репульсивныя эмоции въ пользу или противъ соответственнаго поведенія, мы называемъ акціон-

ною или самодовлѣющей мотивацией» (Теор. пр. I т., стр. 20). «Сужденія, въ основѣ которыхъ лежатъ такія сочетанія акціонныхъ представленій и репульсій и апульсій, мы назовемъ нормативными сужденіями..., а ихъ содержаніе — принципами поведенія или нормами» (стр. 21). Область права и нравственности есть, такимъ образомъ, специфическая, не сводимая ни къ чему другому область «самодовлѣющей мотивации» и «нормативныхъ переживаній», представляющихъ непосредственныя эмоциональныя реакціи на созерцаніе дѣйствій. «Если честному человѣку предлагаютъ совершить, напр., за деньги или иную выгоду лжесвидѣтельство, клевету, отравленіе кого - либо и т. д., то само представленіе такихъ «гадкихъ», злыхъ поступковъ вызываетъ репульсивныя эмоции... Другія акціонныя представленія, напр., представленія поступковъ, называемыхъ хорошиими, симпатичными, вызываетъ, напротивъ, аттрактивные эмоции по адресу этихъ поступковъ (потому то они и называются «хорошими», «симпатичными», равно какъ эпитеты «злой», «гадкій» по адресу другихъ поступковъ означаютъ личность и дѣйствіе репульсій по ихъ адресу) (I т., стр. 20).

Мы нарочно старались все время говорить здѣсь словами самого Петражицкаго, такъ какъ эти его опредѣленія, вплоть до приводимаго имъ примѣра, имѣютъ рѣшающее значеніе для пониманія философскаго смысла его теоріи. На самомъ дѣлѣ, что иносъ представляетъ собой непосредственная апульсивная или репульсивная эмоція на представленіе дѣйствія, какъ не эмоциональную

интуицію его положительной или отрицательной цѣнности?»

Вѣдь прежде всего «дѣйствія», представленія которыхъ въ порядкѣ «самопроизвольной мотивации» вызываютъ непосредственныя нравственныя и правовыя эмоции, тѣмъ отличаются отъ обыкновенныхъ предметовъ и происшествій (обуславливающихъ лишь предметную или телеологическую мотивацию), что они имѣютъ извѣстный, специфическій духовный смыслъ. «Дѣйствіе», поступокъ, представленіе котораго единственно можетъ вызвать, по Петражицкому, самопроизвольное - нормативное переживаніе, явно не можетъ быть отождествлено съ простымъ тѣлодвиженіемъ члвчка, а тѣмъ болѣе животнаго, которое можетъ вызвать эмоции страха, отвращенія, симпатіи, но не этическія эмоции.

Примѣры «дѣйствій» или поступковъ, приводимые Петражицкимъ (напр., лжесвидѣтельство, клевета, помощь кому-нибудь) съ полной очевидностью говорятъ за то, что рѣчь идетъ о совершенно особыхъ актахъ, качественность которыхъ опредѣляется релевантносью съ точки зрѣнія специфическихъ духовныхъ смысловъ. Далѣе, именно эти духовно осмысленные акты или поступки черезъ непосредственную эмоциональную реакцію на созерцаніе ихъ оцѣниваются положительно или отрицательно, постигаются, какъ «гадкіе» или «хорошіе», т. е., иными словами, непосредственно, интуитивно - эмоционально ухватывается воплощенная въ нихъ положительная или отрицательная цѣнность.

Такимъ образомъ, теорія самопроизвольной, нормативно - эмо-

циональной мотивации Петражицкаго непосредственно приводитъ къ ученію объ эмоциональной интуиціи цѣнностей, развитой недавно съ такимъ блескомъ и успѣхомъ Максомъ Шелеромъ на почвѣ феноменологической философіи*). Эмоционализмъ Петражицкаго въ своемъ примѣненіи къ изученію права и нравственности по существу выводитъ за предѣлы всихологіи, не только эмпирической, но и смысловой психологіи, такъ какъ изъ сферы субъективныхъ переживаній переноситъ въ область чистаго правового и нравственнаго сознанія и объективныхъ данностей, интуитивно ухватываемыхъ въ (выражаясь языкомъ современной феноменологіи) «интенциональныхъ актахъ», непосредственно направленныхъ на независимыя отъ нихъ сущности.

Однако, здѣсь именно обнаруживаются предѣлы достиженій Петражицкаго, который, поднявшись до теоріи эмоциональной интуиціи, не отдавалъ себѣ отчета, что она выводитъ за предѣлы психологіи, и вмѣсто построенія на этой почвѣ объективной теоріи цѣнностей, какъ это слѣдуетъ М. Шелеру, вернулся обратно къ субъективизму. Л. Петражицкій сконцентрировалъ главное свое вниманіе на субъективистиче-

*) Отмѣтимъ, что Л. I. Петражицкій и Максъ Шелеръ исходили изъ общаго источника австрійской психологической школы Франца Brentano. Срвн. въ особ. Fr. Brentano, Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis, I изд. 1889, гдѣ впервые развито ученіе объ «интенциональномъ» характерѣ любви.

ских «фантазмахъ» и «проекцияхъ» нормативныхъ эмоций и по существу оставилъ открытымъ вопросъ, являются ли сами квалификации добра и зла, права и неправа, только субъективными фантазмами или чѣмъ то объективнымъ, хотя отождествленіе любви съ разумомъ, признаніе метафизическаго начала любви конечнымъ идеаломъ и пафосъ, съ которымъ Петражицкій боролся противъ всѣхъ видовъ гедонизма и «противъ моднаго базирования права на понятіи интереса, придающаго циническое и низменное направленіе правовѣдѣнію» (Теор. пр. II т., стр. 335), не можетъ оставлять сомнѣній въ его вѣрѣ въ объективность началъ добра и справедливости.

2.

Методъ чистаго описанія первоначальныхъ интуитивныхъ данностей этического сознания пригелъ Петражицкаго къ чрезвычайно удачному разграниченію права и нравственности, какъ двустороннихъ, императивно - атрибутивныхъ, и одностороннихъ, императивныхъ составовъ. Въ области права, согласно Петражицкому, обязанности однихъ субъектовъ строго соответствуютъ и закрѣплены за притязаніями другихъ субъектовъ, въ то время, какъ въ нравственности такого соответствія нѣтъ. Напр., правовой обязанности соблюдать заключенный договоръ соответствуетъ притязаніе другого субъекта, чтобы эта обязанность была выполнена. Напротивъ, нравственной обязанности «любить врага, какъ ближняго своего» или «подставить вра-

гу лѣвую щеку, если онъ ударитъ въ правую» не можетъ соответствовать притязаніе врага на подобное поведеніе.

Это разграниченіе права и нравственности имѣетъ то громадное преимущество, что достигаетъ ясной дифференціи между областями, не разрывая между ними связь подобно кантіанскому опредѣленію, а, напротивъ, подчеркивая соотносительность любви и справедливости. На самомъ дѣлѣ легко замѣтить, что одна и та же заповѣдь, напр., «не убей», «не украдь» и т. д. при этомъ возрѣніи получаетъ то чисто нравственный, то болѣе узкій, правовой характеръ, въ зависимости отъ того, толкуется ли она, какъ безграничное и неподдающееся точному опредѣленію требованіе, или какъ требованіе конечное и заключенное въ строго очерченныя рамки. Напримѣръ, съ точки зрѣнія правовой, норма «не убей» не исключаетъ дозволенности умерщвленія въ силу самообороны, крайней необходимости, по приказанію государства — на войнѣ, при подавленіи беспорядковъ, въ порядкѣ исполненія смертнаго приговора; напротивъ, съ точки зрѣнія нравственной, та же заповѣдь обнимаетъ не только всѣ эти случаи, но и рядъ другихъ дѣяній, могущихъ косвенно содѣйствовать смерти, вплоть до огорченій, причиняемыхъ ближнимъ. Изъ приведеннаго примѣра видно, что опредѣленія Петражицкаго предполагаютъ нравственный элементъ неизмѣнно наличнымъ въ правовой структурѣ, однако въ формѣ, такъ сказать, ущербленной и ограниченной опредѣленными условиями...

Этотъ результатъ, полученный

чисто интуитивно-описательнымъ путемъ можетъ быть провѣренъ на фонѣ болѣе широкой этико-философской системы, разсматривающей право какъ необходимую, априори данную ступень для реализаціи нравственности, какъ рационализованное добро, рационализацию иррациональной нравственной качественности. Съ этой точки зрѣнія, двусторонній императивно - атрибутивный характеръ права непосредственно вытекаетъ изъ замѣны неповторимо-незамѣнимыхъ абсолютно сингулярныхъ нравственныхъ цѣнностей и предписаній общими нормами, чистой творческой качественности — известнымъ количественнымъ схематизмомъ. Именно только въ догматизированной и генерализированной, такъ сказать охладженной, сферѣ права возможно установленіе соответствія между притязаніями однихъ и обязанностями другихъ исключенно въ нравственности. Опредѣленіе Петражицкаго такимъ образомъ непосредственно допускаетъ включеніе въ болѣе широкое систематическое цѣлое*), что не только лишній разъ подчеркиваетъ всю ихъ правильность и глубину, но и служитъ блестящимъ подтвержденіемъ принципа, согласно которому интуиція и конструкція, чистое описаніе и система, вмѣсто того чтобы исключать другъ дру-

*) Попытка такого включенія ученій Петражицкаго въ болѣе широкую этическую систему дана авторомъ этихъ строкъ въ выходящей этой осенью въ свѣтъ книгѣ «L'idée du droit social» (éd. Sirey, Paris, 1931), стр. 95-153.

га, другъ друга предполагаютъ и взаимно поддерживаютъ.

Изъ двусторонняго, императивно - атрибутивнаго характера права Петражицкій сдѣлалъ цѣлый рядъ очень существенныхъ выводовъ, удачно характеризующихъ правовую сферу: закрѣпленность обязанностей однихъ субъектовъ за притязаніями другихъ создаетъ возможность признанія (но не обязательности его) въ правѣ, исключенную въ нравственности; далѣе, то же свойство создаетъ тенденцію права къ «позитиваціи» и известной «унификаціи», т. е. къ выведенію обязательности правовыхъ нормъ изъ известныхъ единообразныхъ шаблоновъ — «нормативныхъ фактовъ». Однако Петражицкій не сдѣлалъ изъ своей характеристики права тѣхъ некоторыхъ другихъ выводовъ, которые казались бы напрашивались сами собой.

Такъ двусторонность или, вѣрнѣе, многосторонность правовыхъ структуръ непосредственно наводитъ на мысль, что право есть прежде всего порядокъ, цѣлостный объективный порядокъ мира (что отнюдь не исключаетъ мысли, что такихъ порядковъ можетъ быть великое множество), по отношенію къ которому отдѣльныя правила суть только излученія; только поскольку правовые субъекты мыслятся включенными въ одномъ изъ такихъ порядковъ, такихъ правовыхъ цѣлыхъ, возможно приводить въ соответствіе обязанности однихъ съ притязаніями другихъ. Съ другой стороны императивно - атрибутивный характеръ права приводитъ съ абсолютной необходимостью къ проблемѣ реальности чужихъ я, такъ

как переживание своей обязанности, как закрѣпленной за притязаниями другихъ субъектовъ, самоочевидно связано съ переживаніемъ реальности системы другихъ я. — Мы здѣсь снова наталкиваемся на предѣлы достижений Л. I. Петражицкаго: субъективистическія и индивидуалистическія пережитки въ его мышлении не позволили ему сдѣлать рядъ выводовъ непосредственно вытекающихъ изъ его собственныхъ анализовъ и интуицій.

3.

Въ области конкретныхъ правовыхъ построений Петражицкаго, значеніе которыхъ опять — такъ вплоть можно оцѣнить только на фонѣ современныхъ сдвиговъ юридической мысли и социально-политической дѣйствительности, наиболее значительными результатами его изслѣдованій были: освобожденіе положительнаго права отъ всякой необходимой связи съ государствомъ, расширеніе источниковъ положительнаго права вплоть до признанія принципиальной ихъ неограниченности, указаніе на громадное значеніе «права интуитивнаго», наконецъ, замѣна традиціоннаго дѣленія права на публичное и частное противопоставленіемъ «права социальнаго служенія» и «лично-свободнаго права».

Его критика теорій, опредѣляющихъ право, и въ частности положительное право, черезъ связь съ государствомъ или черезъ критерій принужденія, по своей диалектической силѣ и глубинѣ принадлежитъ къ классическимъ, наиболее совершеннымъ образцамъ

мировой юридической литературы. Послѣ вскрытаго Петражицкимъ порочнаго круга, заключающагося во всѣхъ видахъ и разнovidностяхъ государственной теории и теории принужденія, въ частности послѣ разительнаго доказательства, что всякое опредѣленіе права черезъ критерій принужденія предполагаетъ уходящій въ безконечность рядъ, такъ какъ норма, организующая принужденіе, при этомъ взглядѣ, только въ такомъ случаѣ можетъ быть признана правовой, если сама опирается на принудительную санкцію и т. д. до безконечности, послѣ этого доказательства, говорю я, придерживаться подобныхъ воззрѣній можно только по недоразумѣнію.

Освобожденіе права, въ частности положительнаго права, отъ необходимой связи съ государствомъ, привело Петражицкаго къ чрезвычайно цѣнному противопоставленію «официальнаго», признаннаго государствомъ, и «неофициальнаго», болѣе или менѣе игнорируемаго имъ, и, во всякомъ случаѣ, внѣгосударственнаго права. «Количество тѣхъ житейскихъ случаевъ и вопросовъ поведенія, читаемъ мы у Петражицкаго, которые предусматриваются и разрѣшаются официальною нормировкою, представляетъ, по сравненію съ тѣмъ необъятнымъ множествомъ житейскихъ случаевъ и вопросовъ, которые предусматриваются правомъ неофициальнымъ, совершенно микроскопическую величину» (Теор. пр. I т., стр. 99 и сл.).

Развитіе множества послѣвоенныхъ правовыхъ институтовъ въ области національной и международной, съ особой остротой поставившее передъ современнымъ

сознаніемъ вопросъ о внѣгосударственномъ положительномъ правѣ, блестяще подтвердило правильность ученія Петражицкаго о значеніи неофициальнаго права. Развитие неограниченности въ формахъ коллективныхъ тарифныхъ соглашеній, синдикальнаго обычаяго права, началъ хозяйственной демократіи, признающихъ каждое предприятие самостоятельной правотворческой ячейкой, расцвѣтъ международно-правовыхъ институтовъ, въ родѣ Лиги Націй и Международнаго Бюро Труда, творящихъ положительное право не только независимое отъ отдѣльныхъ государствъ, но и возвышающееся надъ ними, вынудили всю современную юридическую мысль пойти по руслу, которое давно предвидѣлъ Петражицкій *).

Освободивъ положительное право отъ необходимой связи съ государствомъ, Петражицкій былъ приведенъ къ вопросу о природѣ «позитивности» въ правѣ. Онъ опредѣлилъ положительное право, какъ право, выводящее свою обязательную силу изъ «нормативныхъ фактовъ», несводимыхъ къ правовой нормѣ, и противопоставилъ ему «право интуитивное», выводящее свою обязательность изъ себя самого, независимо отъ ссылки на нормоустанавливающій авторитетъ.

Согласно Петражицкому существуетъ принципиально неограниченное количество «нормативныхъ фактовъ» или «источниковъ», изъ

* См. объ этомъ нашу выходящую этой осенью въ свѣтъ книгу «Le temps présent et l'idée du droit social» (éd. Vrin, Paris, 1931), passim и въ особен. стр. 279-294.

которыхъ положительное право можетъ выводить свою обязательность. Въ видѣ примѣра Петражицкій насчитываетъ 18 видовъ нормативныхъ фактовъ, среди которыхъ отмѣнимъ въ частности прецедентъ не судебного характера, признаніе, соглашеніе, программы и декларации (напр., синдикатовъ, полит. партій, лидеровъ и т. д.) — источники, играющіе особую роль въ области «права социальнаго служенія». Въ противоположность обычному преклоненію передъ закономъ, какъ источникомъ монополюльно первенствующемъ надъ всеми прочими, Петражицкій настаивалъ на принципиальной равноцѣнности всѣхъ «нормативныхъ фактовъ», что создавало благоприятную почву для развитія ученія о плюрализмѣ юридическихъ порядковъ, къ которому овернется современная юридическая мысль *).

Съ другой стороны, многообразное положительное право дополняется, согласно Петражицкому, какъ въ области внѣгосударственнаго, неофициальнаго, такъ и въ области официальнаго права, широкимъ примѣненіемъ «права интуитивнаго». Это интуитивное право играетъ то прогрессивную, то реакціонную роль, въ зависимости отъ исторической обстановки. Въ эпохи предшествующія революціямъ, интуитивное право обычно прогрессивнѣе позитивнаго права, но въ эпохи реформъ оно очень часто отстаетъ отъ послѣдняго (напр., послѣ отмены рабства въ Соединенныхъ Шта-

* См. подробно объ «юридическомъ плюрализмѣ» въ двухъ нашихъ вышецитированныхъ книгахъ о «Соціальномъ правѣ».

тахъ интуитивное право долго оставалось рабовладельческимъ. Исправляя одностороннія увлечения «школы свободнаго права», завершителемъ которой въ этихъ своихъ ученияхъ былъ Петражицкий, онъ справедливо возставалъ противъ чрезмернаго возвеличенія какъ «интуитивнаго», такъ и «положительнаго права», и настаивалъ на необходимости установления между ними известнаго подвижнаго равновѣсія.

Нетрудно замѣтить, какіе громадные горизонты раскрывало передъ современной юридической мыслью учение Петражицкаго о принципиально неограниченномъ количествѣ источниковъ положительнаго права и о роли интуитивнаго права: оно чрезвычайно расширяло сферу правового опыта, безжалостно разрушая догматы застоявшейся юридической техники. Однако и здѣсь, какъ повсюду у Петражицкаго, сказалось пагубное дѣйствіе непреодолимыхъ имъ субъективистическихъ и индивидуалистическихъ предразсудковъ. Это они помѣшали ему провести разграниченіе между интуитивнымъ правомъ отдельнаго чловѣка и интуитивнымъ правомъ группы (которое одно только и имѣетъ существенное значеніе). Отсюда же истолкованіе «нормативныхъ фактовъ» какъ субъективныхъ представленій индивидуума, въ то время какъ дѣло идетъ о признакахъ въ данной социальной средѣ и производящихъ въ ней мотивирующее дѣйствіе объективныхъ авторитетахъ. Въ результатѣ невозможность для Петражицкаго придти къ чрезвычайно существенному разграниченію между первичными и вторичными

источниками права, или точнѣе «нормативными фактами» въ собственномъ смыслѣ и технически-формальными способами ихъ констатированія. На почвѣ этого разграниченія, между прочимъ подробно разработаннаго въ современной французской юридической доктринѣ (у Жени, Ориу и Дюги послѣдняго періода), становится совершенно очевидна неточность противопоставленія интуитивнаго и положительнаго права. Интуитивное право, на значеніи котораго справедливо такъ настаивалъ Петражицкий, само есть разновидность положительнаго права, такъ какъ оно по существу есть лишь другой, независимый отъ формально-техническихъ процедуръ, способъ констатированія первичныхъ источниковъ права. Положительное право распадается на два подвида: формальное позитивное право, констатированное путемъ техническихъ процедуръ, и интуитивное позитивное право, констатированное непосредственно.

Изъ собственнаго ученія Петражицкаго о многостороннемъ, императивно-атрибутивномъ характерѣ права вытекала невозможность для послѣдняго не быть положительнымъ правомъ и утверждать свою обязательность независимо отъ «нормативныхъ фактовъ». Только непреодоленный субъективизмъ привелъ Петражицкаго къ истолкованію интуитивнаго права какъ права чисто автономнаго и преградилъ ему доступъ къ уясненію глубокаго смысла имъ же самимъ гениально найденнаго термина «нормативный фактъ», который получаетъ все свое значеніе лишь на фонѣ спиритуалистической социологіи, зани-

мающейся изученіемъ воплощенія цѣнностей въ объективной социальной реальности.

Освобожденіе понятія положительнаго права отъ необходимой связи съ государствомъ и признаніе преобладающаго значенія внѣгосударственнаго, неофициальнаго, права приводили Петражицкаго съ логической неизбежностью къ пересмотру традиціонной классификаціи права на публичное и частное, какъ зависящей отъ исторически измѣнчивой воли государства и примѣнимой слѣдовательно лишь къ узкой области официальнаго права.

Дѣйствительно исчерпывающей классификаціей права является, согласно Петражицкому, его раздѣленіе на «право социального служенія» и «лично-свободное право». Право социального служенія объединяетъ, организуетъ и централизуетъ, лично-свободное право напротивъ разъединяетъ, разграничиваетъ и распределяетъ. Лично свободное право дѣйствуетъ не только между индивидами, но и между группами въ ихъ внѣшнихъ отношеніяхъ. Право социального служенія въ свою очередь неизмѣримо шире публичнаго права, ибо объединяетъ и автономно юридически регламентируетъ внутреннюю жизнь всевозможныхъ общественныхъ группъ (синдикатовъ, предпріятій, церквей, частныхъ ассоціацій и т. д.).

Слѣдуетъ различать между социальнымъ - служебнымъ правомъ общаго характера и такимъ же правомъ спеціальнаго или партикулярнаго характера, въ зависимости отъ того, направлено ли слу-

женіе на общій интересъ (напр., на общій интересъ экономической, общій интересъ политической, общій интересъ религіозный) или на интересъ партикулярный (даннаго профессиональнаго союза производителей, даннаго индустріи и т. д.).

Съ другой стороны изъ «права социального служенія» вытекаетъ, по Петражицкому, особаго типа власть, вѣдомо отличная отъ «власти господской»: «власть социальная», осуществляемая исключительно въ интересахъ и подъ контролемъ подвластныхъ. Напротивъ, «власть господская» (напр., власть господина надъ рабомъ или власть хозяина надъ рабочими въ капиталистическомъ предпріятіи) *) основывается на противестественномъ расширеніи дѣйствія лично-свободнаго права (въ данномъ случаѣ права собственности) на область къ нему не относящуюся.

Такимъ образомъ изъ ученія Петражицкаго о «правѣ социального служенія» вытекаетъ не только обоснованіе полноты юридической автономіи всевозможныхъ внѣгосударственныхъ организацій (въ особенности если они представляютъ общій, а не партикулярный интересъ), но и доказательство, что эта автономія должна послѣдовательно приводить къ союзню - товарищеской, демократически - эгалитарной формѣ организаціи. Любопытно отмѣтить, какъ близко Петражицкий подходитъ здѣсь къ теоріямъ обычно имъ сильно критикуемаго

*) Сюда же относится структура власти при авторитарныхъ и диктаторскихъ, а отнюдь не только патримоніальныхъ, государственныхъ режимахъ.

Гирке, съ его учениемъ о «социальномъ и индивидуальномъ правѣ» и противоборствѣ «союзно-товарищескихъ (Genossenschaften)» и «господскихъ (Herrschaften)» организаций. Серьезнымъ преимуществомъ Петражицкаго, однако, было то обстоятельство, что онъ разсматривалъ юридическую структуру господскихъ союзовъ не такъ разновидность социальнаго права, а какъ его извращеніе путемъ противоестественнаго подчиненія праву индивидуальному. Такимъ образомъ Петражицкій предвосхищала современнаго учения о социальномъ правѣ, какъ правѣ чисто интеграціонномъ, одинаково отличномъ и отъ координаціоннаго и отъ субординаціоннаго типа. Всѣ поиски автономнаго хозяйственнаго права, характерныя для современныхъ анти-этатистскихъ социалистическихъ конструкций и для новейшей теоріи рабочаго права, суть ничто иное, какъ, выражаясь терминами Петражицкаго, поиски внѣгосударственнаго (неофициальнаго) права социальнаго служенія общаго характера*), точно такъ же, какъ всѣ институты такъ назыв. «хозяйственной демократіи» сводятся къ попыткѣ освободить партикулярное социально-служебное право отдѣльныхъ хо-

*) Такой же характеръ имѣетъ и современное международное право, которое Петражицкій, къ сожалѣнію, совершенно ошибочно исключилъ изъ сферы «социально-служебнаго права».

зяйственныхъ ячеекъ отъ его противоестественнаго порабоженія индивидуальному праву собственниковъ, порабоженія, превращающаго капиталистическое предприятие въ господскій союзъ...

Вся современная юридическая мысль пошла здѣсь по пути, предуказанномъ Петражицкимъ, и можно лишь преклониться передъ гениальной прозорливостью его юридическихъ конструкций, тѣмъ болѣе что онъ припелъ къ своему учению о «правѣ социальнаго служенія» вопреки своимъ субъективистическимъ и индивидуалистическимъ предразсудкамъ. Нетрудно замѣтить, что подобное ученіе еще въ большей степени, чѣмъ другія достиженія Петражицкаго, предполагаетъ реальность социальнаго блага и необходимо выводитъ за предѣлы субъективнаго сознанія.



Громады богатства, заключенныя въ идейномъ наслѣдіи Петражицкаго! Исключительная широта раскрытыхъ имъ юридическихъ горизонтовъ дѣлаетъ его теорію еще гораздо болѣе животрепещущими теперь, чѣмъ въ моментъ ихъ выработки. И нѣтъ сомнѣній, что переводъ его замѣчательной «Теоріи права и государства» на европейскіе языки, могъ бы оказать чрезвычайно крупнымъ событіемъ въ мировой юридической литературѣ.

Г. Д. Гурвичъ.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ

Ив. Бунинъ. Тѣнь Птицы. Изд. «Современныя Записки», Парижъ. 1931.

Начинаешь читать «Тѣнь Птицы», приходишь до описанія отплытія парохода изъ одесскаго порта — и сразу-же магія бунинскаго слова оказываетъ свое неотразимое дѣйствіе: съ читателемъ происходитъ приблизительно то же самое, что при приступѣ къ «Войнѣ и Миру» или къ «Ангѣ Карениной». Толстой вводитъ насъ въ семью, и вотъ она уже — наша семья, мы уже въ ней живемъ, и намъ кажется, что жили въ ней съ дѣтства, какъ ея неотрывная часть. Въстѣ съ Бунинымъ мы продѣлываемъ его паломничество, видимъ посѣщенный имъ Востокъ такъ, какъ если бы онъ въ «самомъ дѣлѣ» былъ намъ показанъ. И все время, покуда длится чтеніе, переживается и еще одно: особенное чувство путешествія, отрыва отъ привычной жизни, отъ радное и жуткое сознаніе одиночества и въстѣ приобщенія къ другимъ мірамъ, загадочное ощущеніе своего, доселѣ невѣдомаго, «чистаго» Я — все то, что иногда заставляетъ насъ безсознательно, инстинктивно стремиться къ странствованіямъ, скитаніямъ, гонитъ насъ вонъ изъ дому. Этотъ инстинктъ романтической по преимуществу — и не случайно тема «дороги» была преобладающей въ литературѣ романтики. Невольно напрашивается сопоставленіе Бунина съ величайшимъ, можетъ быть, представителемъ романтики, Шатобрианомъ. Сопоставленіе именно авторовъ, а не книгъ, ибо какъ разъ та книга Шатобриана, которая по содержанию ближе всѣхъ стоитъ къ «Тѣни Птицы» — его *Itinéraire de Paris à Jérusalem*, — меньше всѣхъ другихъ напоминаетъ бунинскія. Вѣдь и Шатобрианъ былъ представителемъ «дворянскаго оскудѣнія»; и ему, казалось, самой судьбой было предназначено стать эмигрантомъ и скитальцемъ; и у него тотъ-же скорбный пафосъ бездомности и, вѣроятно связанная съ нимъ, та-же острота воспріятія міра, всегда болѣе свойственная тому, кто ощущаетъ себя въ немъ гостемъ, нежели тому, кто въ немъ расположился хозяиномъ.

Повторяя Шатобриана, Бунинъ совершилъ «романтическое» путешествіе по слѣдамъ Христа — и Христа не нашелъ. Это вполне естественно. Ибо истинная родина евангельскаго Христа не тамъ, гдѣ разыгрывается евангельское дѣйствіе. Эта сухость и четкость линий, этотъ предѣльный лаконизмъ, эти несравненные трезвость, ясность, простота, слержанность, составляющія специфическія особенности синоптиковъ, находящіяся въ столь рѣзкой противоположности съ варварскою громоздкостью, съ потрясающей и изнуряющей грандіозностью Вет-

хаго Завета, — наследие иного, не восточного, а эллинского гения. Замечательно, как слабо повлияло Евангелие на всю последующую культуру христианского человечества — доказательство, как безспорно умерла Эллада: ведь вся история христианского искусства, и западного и восточного, связана гораздо больше с апокрифами, нежели с каноническими книгами Нового Завета. И то немногое, что говорит о Христе Бунин, навязно, как кажется, скорее всего выросшим на почве апокрифической литературы искусством христианского средневековья, а не Евангелием и не мѣстами, которые он постигал, и на которых он, подобно Ренану, глядел сквозь призму христианской, очень отдалившейся от своего первоисточника, традиции о Христе. Огромное чутье правды, присущее Бунину, выразилось и здесь в том, что он не впал в ошибку Ренана, и упомянул о Христе лишь вкратце и мимоходом. Зато Ветхий Завет может быть понятъ не только всесторонне, кто видел мѣста его возникновения, кто знает по личному опыту, что такое пески пустыни и испепеляющие все живое беспощадные и всюду настаивающие лучи Ваала-Солнца. В этом отношении, для понимания Библии, никакой реально-исторической комментарий к ней не дает столько, сколько маленькая книга Бунина: ибо, повторяю, не может быть никаких сомнений в том, что прочитать ее это все равно, что увидеть воочию все то, что увидел самъ ее авторъ.

П. Бицилли.

Нина Берберова. «Последние и Первые». Париж. 1931.

Трудно ожидать, чтобы первый роман молодого писателя был романом сколько-нибудь совершенным. Во многих других областях литературы (и искусства вообще) такой ранний успех гораздо возможнее. Романъ требует не только таланта, не только внутреннего, духовного опыта, но еще и опыта житейского, умения распознавать людей, того особого чутья в понимании, такта в изображении человеческих отношений и характеров, которое дается лишь постепенно, которого в начале жизни ни у кого, даже у самого одаренного человека, нет и не может быть. Все эти качества, вместе взятые, мы называем знанием жизни, именем крайне неопредѣленным, но обозначающим вместе с тем нечто очень реальное. Никто не мог бы в точности объяснить, что значит «знать жизнь». Но это знание непосредственно ощущается в людях, которые им обладают и также непосредственно воспринимаем мы всякий признак его отсутствия. При этом, романисту оно необходимо вовсе не в том лишь случае, когда он собирается писать «реалистический роман». Нужно оно и для романа самого фантастического. И никакой фантазии, никакому проникновению в гораздо более тайные глубины существования этого простого знания, столь многим доступного, с такой естественной постепенностью приходящего с годами, все же никогда не замѣнить.

Автору «Последних и Первые» это знание предстоит приобрести. В том, что оно будет приобретено, уже сейчас не может быть сомнений. Романъ полонъ его предчувствий, будучи его самого в значительной степени лишенъ. Герои романа еще несколько схематичны, их поступки, их рѣчи слишком непосредственно продиктованы тем душевным содержанием, которое автор захотѣлъ имъ дать. Они не живут своей самостоятельной жизнью, а лишь тем, отпущенным имъ в кредит, существованием, каким автор желалъ и умѣлъ их надѣлить. Люди в романѣ должны оторваться от своего творца, в них долженъ появиться некоторый излишек свободы сравнительно с их первоначальным замыслом. Но это и есть самое трудное в искусствѣ романиста. Это и есть то, что кроме таланта, требует особой интуиции и опыта. Конечно, опыт этот долженъ быть не только жизненным, но и литературным. Иначе нельзя научиться написать романъ, как писанием романовъ. В этомъ смыслѣ «Последние и Первые» — превосходное начало, нужно надѣяться, долгаго и счастливаго литературнаго пути.

Полная самостоятельность литературных приемов с первых же шагов не дана. Романъ, о котором идетъ рѣчь, находится под совершенно очевидным обаянием романовъ Достоевского. Все действующиe лица его с начала до конца движутся и говорят в состоянии крайней нервной напряженности. Даже мужественное спокойствие главного героя так подчеркивается каждый раз, что и оно кажется каким-то пароксизмомъ спокойствия, то-есть уже чѣм-то беспокойнымъ. Печать Достоевского лежит не только на стилѣ, но и на самомъ языкѣ, который поэтому кажется слегка архаическимъ. Надо сказать, однако, что именно в области стиля и языка сказался всего явнѣе талант Нины Берберовой. Язык этотъ всегда находчивый, всегда живой, уже самъ по себѣ плыветъ. А ведь языкъ — первое, в чемъ чувствуешь писателя. И онъ данъ ему в значительной мѣрѣ с самого начала, до всякаго опыта, до всего, чему можетъ научить жизнь. Несмотря на влияние Достоевского языкъ «Последних и Первые» — не какой-нибудь взятый на прокатъ, а свой, не всеобщий, а очень особенный, всегда осязаемый, играющий, непредвидѣнный и беспокойный. Повсюду в романѣ, и в более совершенных, и в менее удавшихся его главах, не изсякаетъ оживление, разлитое в нем самым его ритмомъ, словеснымъ строемъ, и до конца именно этотъ ритмъ не оставляетъ в немъ ничего безразличнаго и мертваго.

Повторяю, «Последние и Первые» — прекрасное начало. Но есть в этой книгѣ уже и сейчас страницы вполне зрѣлые, къ которымъ нечего прибавить и в которыхъ нечего исправлять. Такова, напр., глава, гдѣ говорится о парижскомъ домѣ, населенномъ нищими русскими, гдѣ изображенъ Монмартрскій ночной кабачекъ и еще очень многія отдѣльныя описанія, чуждыя всякаго мертвеннаго описательства, всегда подвижныя, острые, одновременно убѣдительныя и нежданна. Часто одна какая-нибудь счастливо найденная черта, одинъ эпитетъ, одно сравнение обличает своеобразную манеру видеть миръ и ло-

дей, приоткрывает богатую, хоть и не законченную еще писательскую личность и как раз эти прозвѣты заставляют нас окончательно повѣрить въ литературное будущее Нины Берберовой.

В. Вейдле.

Nina Goursinkel. Théâtre russe contemporain. Bibliothèque de l'amateur de théâtre, publiée sous la direction de Léon Chancel. — La Renaissance du livre. Paris, 1931.

Книга Н. Гурфинкель о современном русском театре является первой попыткой систематического обзора театральной жизни въ советской Россіи. Авторъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи богатый и разнообразный матеріалъ, книжный, журнальный, газетный и иконографическій. Разобраться въ этомъ морѣ монографій, полемическихъ статей, манифестовъ, декретовъ и статистикъ было нелегко, определить свою точку зрѣнія на явленія советской театральной жизни, въ большинствѣ случаевъ противорѣчивыя и запутанныя — еще труднѣе. И все-же автору удалось внести извѣстный порядокъ въ хаосъ, выдѣлить главныя теченія, описать ихъ, намѣтить основныя тенденціи и даже подвести итоги. Онъ старался быть безпристрастнымъ и осторожнымъ; всѣ его утвержденія добросовѣстно проверены и обоснованы. Читатель нѣсколько разочарованъ скромностью выводовъ и отсутствіемъ эффектныхъ синтезовъ. Но предпочтетъ эти точныя зарисовки пышнымъ картинамъ, въ которыхъ больше фантазій, чѣмъ правды. Н. Гурфинкель сознательно упрощаетъ свою сложную тему: она выбираетъ факты показательные и строитъ свое изслѣдованіе на принципѣ художественной цѣнности. Она рѣзко возстаетъ противъ смѣшенія театра съ политикой, доказываетъ, что новый театръ не есть «дѣтя революціи» и что развитіе драматическаго искусства никакъ не связано съ социальнымъ строительствомъ. Всѣ основныя формы советскаго театра были подготовлены до Октября; большевики воспользовались ими, какъ мощнымъ орудіемъ народнаго воспитанія и политической пропаганды. Они пробудили театральныя инстинкты народныхъ массъ, «театрализовали» Россію. Милліоны новыхъ зрителей охвачены театроманіей; сотни тысячъ новыхъ актеровъ работаютъ на подмосткахъ. Увлеченіе зрѣлищами принимаетъ стихійный характеръ. Искусство, еще такъ недавно бывшее достояніемъ немногихъ, проникаетъ въ народныя массы. Движеніе необычайное по силѣ и размаху, но еще не опредѣлившееся, не оформившееся. Достигненія столичныхъ театровъ, студій, лабораторій, разносясь по русскимъ просторамъ, вульгаризируются и превращаются въ скомоорошья потѣхи и балаганныя дѣйства. Можно себя представить, чѣмъ становится конструктивизмъ Таирова или биомеханика Мейерхольда на клубныхъ сценахъ Вологодской губерніи! Но огрубѣніе сценическихъ пріемовъ имѣетъ и положительную сторону. Активный зритель, не искусенный въ изыскахъ, отвергаетъ острую приправу и пряности; ему, голодному, нужна здоровая пища. Сколькимъ режиссерскимъ выдумкамъ суждено разлетѣться вдребезги при первомъ

столкновеніи съ зрителемъ изъ деревни или съ завода. Массы загонимы, онѣ хотятъ участвовать въ представленіи, онѣ заявляютъ о своихъ вкусахъ и въ свою очередь вліяютъ на профессиональныя театры.

Въ книгѣ Н. Гурфинкель излагается вкратцѣ исторія двухъ театровъ — профессиональнаго и народнаго. Первый, несомнѣнно, идетъ на убыль: послѣ октябрьскаго переворота театральныя предпріятія Москвы и Петербурга, национализированныя и поддерживаемыя совѣтами, впадаютъ въ существованіе; острый репертуарный кризисъ, засиліе политики, гнетъ цензуры, оскудѣніе театральныхъ средствъ, омертвленіе техники. Станиславскій пытается откликнуться на пролетарскую революцію постановкой байроновскаго «Каина» (1919). Неудача этого спектакля заставляетъ его признать себя «лишнимъ» и покинуть Россію. Остается Немировичъ-Данченко и подъ его руководствомъ Музыкальная Студія ставитъ оперетки. Послѣ возвращенія Станиславскаго изъ-за границы (1925) — неудачныя «актуальныя» постановки «Пугачева» Тренева, «Николая I и декабристовъ» по Мережковскому; нашумѣвшіе «Дни Турбиныхъ» Булгакова знаменуютъ возвращеніе театра къ старой психологической манерѣ. Наконецъ, молодежь изъ Второй Студіи М. Х. Театра ставитъ «Блиндированный поѣздъ» В. Иванова. Этимъ исчерпываются всѣ завоеванія театра за четырнадцать лѣтъ.

Не въ лучшемъ состояніи находится «Театръ Мейерхольда». Конструктивизмъ, изображавшій душевныя движенія актеровъ съ помощью вращающихся колесъ и крутящихся крыльевъ мельницъ, отжилъ свой вѣкъ. Послѣ конструктивизма наступилъ періодъ социальнаго строительства («Земля дыбомъ» 1923), во время котораго Мейерхольдъ проповѣдовалъ со сцены электрификацію, индустриализацію и улучшеніе транспорта. Далѣе пошли передѣлки классиковъ: «Лѣсъ» Островскаго, «Ревизоръ», «Горе отъ ума». «Единая воля» режиссера выродилась въ сумасбродство и произволь; передѣлки превратились въ шутовскія пародіи. Коммунистическія сферы поставили Мейерхольду на видъ отсутствіе идеологій. Онъ отрекся отъ своего прошлаго, обратился лицомъ «къ советской дѣйствительности», но его постановка пьесы Маяковскаго окончилась проваломъ.

Театръ Вахтангова, послѣ смерти этого талантливаго режиссера, благоговѣнно хранилъ его наслѣдіе, но не былъ въ силахъ его умножить. «Турандотъ» — осталась единственной въ своемъ родѣ, неповторимой постановкой. Болѣе жизнеспособнымъ оказалось другое созданіе Вахтангова — еврейскій театръ «Габима».

Камерный театръ, театръ для интеллигентовъ и эстетовъ, преподноситъ пролетарской публикѣ изысканную «Саломею» и мелодраматическую «Адріенну Лекуверрь». Таировъ пытается попасть въ «ритмъ эпохи», заимствуя у Мейерхольда принципы конструктивизма. Затравленный коммунистической прессой, режиссеръ переходитъ на антирелигіозный фронтъ, превращая «Святую Юанну» Б. Шоу въ социальную сатиру. Репертуарный кризисъ толкаетъ его въ объятія аме-

риканца О'Нейля. «Любовь подъ виами» и «У всѣхъ дѣтей божіихъ есть крылья» ловко сдѣланы, но внутренне пусты.

Вокругъ этихъ руководящихъ сценъ группируется множество мелкихъ студій, кружковъ, клубовъ и лабораторій. Всѣ они перерабатываютъ теоріи учителей, комбинируютъ, измѣняютъ, часто упрощаютъ. Кое-гдѣ мелькаетъ оригинальная мысль, слышится новое слово. Но въ общемъ, младшіе заражены болѣзью старшихъ: кризисъ репертуара, отсутствие стилия, преобладаніе формы надъ духомъ, марксистскіе подходы, и социальныя заказы.

Вторая часть книги Н. Гурфинкель посвящена театру народному. Крайне любопытны приводимые ею, мало извѣстные матеріалы. Совѣтское правительство, учитывая массовое увлеченіе театромъ, постепенно вырабатываетъ свою театральную политику. Основывается Центротеатръ. Всѣ театральныя предпріятія націонализуются. Правительство приступаетъ къ «организациіи зрителя». Устраиваются драматическіе конкурсы, обучаются инструктора для деревенскихъ клубовъ. Къ десятой годовщинѣ Октября Россія насчитываетъ 35.000 рабочихъ клубовъ съ двумя милліонами членовъ; къ нимъ нужно прибавить 30 тысячъ «красныхъ угловъ»; въ драматическихъ кружкахъ работаетъ болѣе 200 тысячъ актеровъ, музыкантовъ, режиссеровъ и декораторовъ; все это — любители.

Репертуаръ клубовъ — прежде всего литомонтажъ (жанръ ревю, состоящій изъ литературныхъ отрывковъ, выдержекъ изъ декретовъ, номеровъ музыкальных и пѣсенныхъ). Затѣмъ идутъ драматическіе суды (судятъ алкоголизмъ, безграмотность, убійца Розы Люксембургъ, Врангеля). Драматическій элементъ усиливается; разыгрываются миниатюры, элементарныя по сюжету, лаконичныя по стилю, своего рода живой кинематографъ. Огромное распространеніе получаетъ «Говорящая газета». Ея возникновеніе связано съ работой странствующихъ труппъ «Синія блузы». Первая изъ нихъ была основана въ Москвѣ въ 1923 году М. Южанинымъ. Спектакли этихъ рабочихъ-любителей отличаются грубоватымъ веселіемъ, динамизмомъ, простотой. Декорации и костюмы — самые примитивныя: актеры импровизируютъ въ стилѣ Масокъ; возникаютъ типичныя персонажи: банкиръ, капиталистъ, генералъ, попъ, рабочій, коммунистъ.

Съ живыми актерами состязаются маріонетки: спектакли Петрушки пользуются необычайнымъ успѣхомъ (особенно «Театръ юныхъ зрителей» въ Петербургѣ). Петрушка сталъ убѣжденнымъ марксистомъ, но его дубинка по прежнему творить чудеса. Онъ проникаетъ повсюду — въ школу, на фабрику, въ деревню. Къ 1925 году «театральная политика» правительства рѣзко мѣняется. Наступаетъ своего рода театральная НЭП. Пропаганда и социальное обученіе черезъ театръ ослабѣваютъ. Народу надоѣли поученія — онъ требуетъ зрѣлищъ.

Совѣтскій театръ обращается къ изученію буржуазнаго искусства, усваиваетъ старыя формы, разрабатываетъ традиціонную технику.

Послѣдняя глава книги Н. Гурфинкель касается воспитательной

роли театра въ Совѣтской Россіи. Школьное обученіе, дѣтскія игры, спортъ, ритмическая гимнастика — насквозь проникнуты театромъ. Значеніе этого метода, конечно, огромно. Все молодое поколѣніе воспитано на театрѣ. Создается новая «театральная культура»; въ дѣланье ея вовлечены массы. Къ нимъ постепенно переходитъ инициатива. Онѣ уже начинаютъ протестовать противъ суррогатовъ: имъ нуженъ театръ, а не драматизованная пропаганда. Ихъ энергія, ихъ увлеченіе, ихъ любовь къ театру готовятъ пути грядущему драматургу.

К. Мочульскій.

П. Миллюковъ. Очерки по исторіи русской культуры. Томъ второй. Вѣра. Творчество. Образованіе. Часть первая. Церковь и религія. Литература. Юбилейное изданіе. Парижъ. Изд-во «Современныя Записки». 1931.

Юбилейное изданіе «Очерковъ по исторіи русской культуры» П. Н. Миллюкова началось въ прошломъ году выходомъ въ свѣтъ третьяго тома. Теперь вслѣдъ за нимъ появилась въ печати первая часть второго тома. Въ прежнихъ изданіяхъ этотъ второй томъ, посвященный исторіи русской церкви, литературы, искусства и школы, не дѣлился на части. Въ новомъ, юбилейномъ изданіи онъ раздѣленъ на двѣ части и вышедшая уже первая изъ нихъ, заключающая въ себѣ исторію церкви и литературы, по своему объему превышаетъ весь второй томъ предыдущаго изданія. Одно это обстоятельство уже говоритъ о томъ, какой значительной переработкѣ подвергъ авторъ свой трудъ, — въ новомъ его изданіи передъ нами, если не новая, то во всякомъ случаѣ иная, во многомъ обновленная книга.

Произведенная авторомъ переработка не коснулась, правда, ни общихъ положеній, въ свое время взятыхъ имъ въ основу второго тома «Очерковъ», и общихъ выводовъ, развитыхъ въ немъ, ни главныхъ линій того плана, по которому онъ былъ построенъ. То и другое осталось въ данной книгѣ неизмѣненнымъ. Новымъ въ ней является лишь вновь внесенный въ нее матеріалъ, но матеріалъ этотъ очень великъ и значителенъ. Мѣстами онъ только дополняетъ прежнее изложеніе, мѣстами же настолько расширяетъ рамки послѣдняго, что въ книгѣ созданы совершенно новыя, раньше отсутствовавшія въ ней главы.

Измѣненія перваго рода, сводящіяся къ частичному дополненію прежняго текста «Очерковъ», произведены авторомъ главнымъ образомъ въ начальныхъ главахъ обихъ отдѣловъ его книги, посвященныхъ исторіи церкви и исторіи литературы. Появившіяся за послѣдніи десятилѣтія новыя матеріалы и новыя изслѣдованія въ этихъ областяхъ существенно дополнили имѣвшіяся раньше въ научномъ оборотѣ свѣдѣнія объ нихъ. Въ свѣтѣ вновь добытыхъ данныхъ, говоря словами П. Н. Миллюкова, «многое изъ того, что казалось рабочимъ заимствованиемъ при прежнемъ состояніи нашихъ знаній, оказалось нечуждымъ самостоятельныхъ чертъ, могущихъ характеризо-

вать национальное творчество». Учитывая эти приобретения русской исторической науки, автор и ввел в свое изложение некоторые дополнения, а местами и исправления прежнего текста. Однако все такие дополнения и исправления, всецело сохраняя свой частный характер, ни в какой мере не ведут за собою изменения его общих выводов и, удерживая его книгу на уровне последних достижений русской исторической науки, по существу мало в чем изменяют ее облик.

Гораздо больше значительны другие изменения — в последних главах обеих отделов книги. Автор поставил себе задачу довести свое изложение до настоящего времени. Выполняя ее, он, с одной стороны, пополнил и расширил содержание глав, излагающих историю последних десятилетий XIX века, с другой — заново написал главы, посвященные истекшим годам настоящего столетия, до революции 1917 года и после нее, вплоть до 1930 года. И эти вновь написанные части его книги и сообщают ей в значительной мере характер нового труда, впервые появляющегося в печати и, добавлю, не имющего себе в таком объеме предшественников в русской литературе.

И история церкви, и история литературы излагаются таким образом в книге П. Н. Милюкова с древнейших времен почти до нынешнего дня.

В последней, целиком вновь написанной, главе автор говорит о судьбах церкви за время революции. Охарактеризовав в начале этой главы положение господствовавшей церкви и настроения ее клира перед революцией и в первые ее моменты, он рассказывает затем о церковном соборе 1917 г., избрании патриарха Тихона и первых столкновениях собора и патриарха с захватившими власть большевиками. В дальнейшем, продолжая свой рассказ, автор излагает все главные перипетии той борьбы, которая завязалась у «патриаршей», «тихоновской» церкви, с одной стороны, с ее противниками в среде самого православного духовенства и мирян, организовавшимися в так называемую «живую» и «синодальную» церковь, с другой — с большевиками. Подводя итоги своего чрезвычайно обстоятельного, яркого и вместе с тем вполне объективного рассказа, доведенного до наших дней, автор отмечает, что православная церковь устояла в этой борьбе, не была сломлена ею, но, с другой стороны, не осуществилась и высказывавшаяся в начале революции надежда на церковную реформу. «Всего вкратце, — заключает он, — что православная церковь переживает революцию, ни в чем не изменившись, а следы того, что сделано было за время революции для пробуждения и усиления религиозного сознания верующих, «сохранятся и падают сменем в кругах, стоящих вне православной церкви», и «опяту, как в конце XVII века, народная вера отделяется от церковной».

История церкви удлено почти две трети книги П. Н. Милюкова и лишь немногим больше трети ее, всего 170 страниц, занимает

отдель истории литературы. Но и здесь, в этих сравнительно несных рамках, автор дает читателю чрезвычайно обильный фактический материал, сжатый в ясные, отчетливые и убедительные схемы. В начале первой главы этого отдела автор, повторяя, с которыми лишь небольшими изменениями, прежний текст «Очерков», прослеживает развитие, с одной стороны, содержания, с другой, языка и стилей русской литературы от древних времен включительно до классического ее периода. Переходя в дальнейшем к последним десятилетиям прошлого века и к началу нынешнего, он, значительно уже расширяя здесь прежние рамки своего изложения, довольно подробно обрисовывает происходившую в данную пору смену литературных направлений, попутно давая сжатые и в своей сжатости часто блестящие характеристики главных представителей этих направлений.

Вторая — и последняя — глава данного отдела вся уже написана автором вновь и содержит в себе изложение судеб русской литературы за время господства над Россией большевиков. Автор устанавливает три периода существования литературы под эгидой большевистской власти. Первым из них явился период военного коммунизма, когда почти все старые деятели литературы пришлось совершенно замолчать и открыто выступали лишь возглавлявшиеся Маяковским футуристы, выдавшие себя за пророков и выразителей революции, да создатели и участники «Пролеткульта», стремившиеся на место обреченной ими на гибель «буржуазной» литературы вызвать к жизни литературу пролетарскую. С началом Нэпа открылся второй период, когда старые писатели получили некоторую возможность выступлений и благодаря несколько большей свободой, предоставленной литературой, из старых и молодых писателей образовалась группа «попутчиков», при деятельном участии которых литература от стихотворного энтузиазма и планетарных мечтаний обратилась к изображению психологии и быта. Однако после довавшая вскорь отмена Нэпа и дальнейшее обострение политики большевиков в эпоху власти Сталина повели к тому, что писателям вновь были предъявлены усиленные требования «революционного энтузиазма» вплоть до участия в «борьбе» за пятилетку. Так начался для литературы третий период, в котором все литературные течения, пытавшиеся проявить хотя бы малейшую самостоятельность, тем самым уже оказывались неблагонадежными и навлекали на себя репрессию, и этот период продолжается и до настоящего времени. При этом в течение всего существования большевистской власти наряду с прямыми ее органами действовали и коммунистическая писательская организация, стремившаяся установить свой контроль над всей литературой. Все это, конечно, до крайности калечило и калечит художественное творчество. И тем не менее, как констатирует автор в результате даваемого им обзора вышедших в России за последние годы художественных произведений, все это не убило окончательно русской литературы и даже не остановило впол-

нѣ ея развитія въ направленіи возврата къ художественному реализму классическаго періода.

Таково въ основныхъ своихъ чертахъ содержаніе и таковы главнѣйшіе выводы вновь вышедшей части «Очерковъ по исторіи русской культуры». Въ ея изложеніи можно, пожалуй, отмѣтить нѣкоторую неравномѣрность, проявляющуюся въ томъ, что дальше отстоящіе отъ нашего времени періоды изложены гораздо менѣе подробно, чѣмъ болѣе близкіе, но эта неравномѣрность вполне законна. Авторъ совершенно справедливо указываетъ въ своемъ предисловіи, что новѣйшія явленія, «какъ это ни странно, оказываются и наименѣе извѣстными, и наименѣе поддающимися обзорѣнью въ своей совокупности» и потому требуютъ болѣе подробнаго изложенія. Мѣстами, правда, когда рѣчь идетъ о болѣе отдаленномъ времени, усвоенная авторомъ сжатость изложенія ведетъ къ тому, что изъ него выпадаютъ нѣкоторые существенные моменты изображаемыхъ процессовъ. Такъ, говоря о русскомъ богословствованіи, авторъ вовсе не упоминаетъ объ Оптиной пустыни, съ которой однако была связана рядъ выдающихся свѣтскихъ религіозныхъ мыслителей въ Россіи. Или въ другомъ мѣстѣ, говоря о дѣятеляхъ классическаго періода русской литературы, онъ обходитъ полнымъ молчаніемъ имя Лермонтова. Но такихъ, во всякомъ случаѣ частныхъ, пробѣловъ въ изложеніи П. Н. Милюкова очень немного. Взятая же въ цѣломъ, новая часть его «Очерковъ», содержа въ себѣ богатый фактическій матеріалъ, сгруппированный и изложенный съ обычнымъ мастерствомъ автора, даетъ читателю стройную и цѣльную картину развитія русской культуры въ сферѣ религіи и литературнаго творчества. «Практическій выводъ» изъ этой картины по отношенію къ настоящему моменту русской жизни авторъ формулируетъ въ такихъ словахъ: «Историческая ткань культуры не порвана. Видимое откатываніе культуры далеко назадъ, въ пройденные уже, казалось, фазисы прошлаго, свидѣтельствуетъ лишь о томъ, что иные достигнутые успѣхи оказались поверхностными и вѣшными. Навстрѣчу разрушенію идутъ, во всякомъ случаѣ, начатки новыхъ творческихъ процессовъ, стремящихся притомъ свѣзаться съ достижениями прошлаго». Значеніе этого вывода, опирающагося на все содержаніе книги П. Н. Милюкова, едва ли надо подчеркивать.

В. Мякотинъ.

A. R. Cederberg. Heinrich Fick. Ein Beitrag zur russischen Geschichte des XVIII Jahrhunderts. Tartu-Dorpat.

Среди иностранцевъ, при Петрѣ Великомъ вступившихъ на русскую службу и привлеченныхъ Петромъ къ участию въ разработкѣ преобразовательныхъ плановъ, Генрихъ Фикъ занимаетъ немаловажное мѣсто. Уроженецъ Гамбурга, онъ молодымъ человѣкомъ вступаетъ въ шведскую службу, съ однимъ изъ шведскихъ полковъ участвуетъ въ военныхъ дѣйствіяхъ противъ Россіи въ первый періодъ Сѣверной войны, потомъ переходитъ на голштинскую службу, а въ

1715 г. — по рекомендаціи голштинскаго министра Бассевича — Петръ Великій беретъ его на русскую службу, какъ человѣка, знакомаго съ шведскими учрежденіями. Войдя съ Швеціей, Петръ замыслилъ въ то же время послать Фика въ Стокгольмъ для собранія матеріаловъ о разныхъ сторонахъ шведскаго государственнаго устройства, которыя могли бы послужить образцомъ для преобразованія русскихъ административныхъ учреждений. Фикъ эту миссію выполнилъ удачно, сумѣлъ сохранить втайнѣ свое нахожденіе на русской службѣ и вывезъ изъ Швеціи большое количество матеріаловъ, нужныхъ для Петра Великаго.

Затѣмъ онъ много поработалъ, составляя для Петра проекты административныхъ преобразованій, а также подавая Петру безчисленные докладныя записки по самымъ разнообразнымъ вопросамъ государственной жизни. Объ участіи Фика въ реформахъ Петра писано уже немало. Г. Цедербергъ получилъ возможность пользоваться бумагами Фика, которыя вплоть до революціи 1917 г. хранились въ принадлежавшемъ нѣкогда Фикѣ замкѣ въ Лифляндіи, а во время революціи были перевезены въ Дерптъ (Тарту). Эта находка дала г. Цедербергу поводъ написать книгу о Фикѣ, въ которой онъ излагаетъ біографію Фика, пользуясь всѣмъ, что было ранѣе написано о Фикѣ и добавляя эти свѣдѣнія тѣмъ, что нашлось въ его новооткрытыхъ бумагахъ. Среди этихъ добавленій особенную важность представляетъ реестръ всѣхъ тѣхъ матеріаловъ, которые были вывезены Фикомъ изъ Швеціи для Петра Великаго. Этотъ реестръ, напечатанный въ книгѣ Цедерберга, наглядно показываетъ, какую массу матеріала по самымъ различнымъ вопросамъ собралъ Фикъ. Участіе Фика въ административной реформѣ Петра авторъ излагаетъ по изслѣдованіямъ Петровскаго и Милюкова, но въ обзорѣ многочисленныхъ проектовъ и докладныхъ записокъ, поданныхъ Фикомъ Петру, авторъ при помощи своихъ матеріаловъ имѣетъ возможность добавить кое-что новое и при этомъ онъ справедливо замѣчаетъ, что дальнѣйшіе поиски въ русскихъ архивахъ навѣрное еще увеличили бы количество этихъ произведеній Фика, такъ какъ плодovitость Фика по составленію разныхъ проектовъ была по истинѣ неисчерпаема. Вторично Фикъ выдвигается въ 1730 г., когда онъ вошелъ въ тѣсную связь съ кн. Димитріемъ Голицынымъ и помогалъ послѣднему разбираться въ шведскихъ государственныхъ актахъ при составленіи своихъ плановъ замѣны въ Россіи самодержавія олигархической конституціей. О роли Фика въ событіяхъ 1730 г. писано немало. Корсаковъ, Милюковъ, шведскій историкъ Юрне удѣлили Фикѣ достаточное вниманіе при разсмотрѣніи этихъ событій. Пересматривая вновь этотъ вопросъ, г. Цедербергъ склоненъ, думается намъ, приписать Фикѣ еще болѣе широкую роль, нежели на то уполномочиваетъ современное состояніе доступныхъ намъ источниковъ.

За участіе въ событіяхъ 1730 г. Фикъ поплатился ссылкой въ Сибирь. О жизни Фика въ Сибирь и о его жизни по возвращеніи изъ

ссылки по смерти императрицы Анны г. Цеденбергъ сообщает краткія свѣдѣнія по книгѣ Эккарта.

Пересмотръ биографіи Фика и въ особенности напечатанные въ приложеніяхъ къ книгѣ матеріалы представляютъ несомнѣнный интересъ для исторіи XVIII столѣтія.

А. Кизеветтеръ.

J. Delevsky. Les antinomies socialistes et l'évolution du socialisme Français. Paris, 1930.

Новая французская книга Я. Л. Делевскаго является продолженіемъ раньше (1924) по французски же изданныхъ «Соціальныхъ и пролетарскихъ антагонизмовъ». Проблема взята на этотъ разъ въ болѣе узкихъ рамкахъ (Франція), и по отношенію только къ социалистическому идеалу: «при глубокомъ идейномъ кризисѣ нашихъ дней, поясняетъ авторъ, судьба социализма зависитъ отъ напряженности и рѣшительности его собственной критической мысли».

Не оттого ли, что авторъ — естествоиспытатель, а не историкъ, зависитъ основной недостатокъ его социологическаго изслѣдованія — та механизация общественнаго процесса и подмѣна живыхъ его проявленій искусственными «закономѣрностями» и схемами, изъ которой, какъ мнѣ кажется, вытекаетъ большая часть и допущенныхъ въ его книгѣ фактическихъ промаховъ?

Исторія социализма почти не связана у Делевскаго съ исторіей. Опущены, въ частности, и основной мотивъ раннихъ социалистическихъ теорій — критика Французской Революціи. Ищутся только формулы и законы движенія формулъ — «циклы». Нѣтъ, полагаетъ авторъ, надобности разсматривать идею социализма и какъ производную отъ капитализма — вообще, какъ идею нашихъ временъ: нашъ социализмъ только арифметическій случай алгебраической формулы; вся логика его въ «законахъ» подобныхъ тѣмъ, которымъ подчинена вся природа.

Спеціальный социалистическій циклъ, въ плоскости хозяйственной реорганизации, выражается формулой — коммунизмъ, коллективизмъ, ассоціационизмъ. Демократическая идея въ социализмѣ проходитъ циклъ — народоправіе, диктатура, анархія (аполитизмъ). Французскій социализмъ 19-го вѣка продѣлалъ свой циклъ уже дважды.

По мѣрѣ развитія темы трудность втиснуть исторію социализма въ данную схему становится ясной и автору. При второмъ прохожденіи цикла три типа социализма уже менѣе «вѣтши» другъ другу. Нѣсколько социальнхъ мыслителей остались даже внѣ схемы, а затѣмъ открывается и вовсе вѣтцикловая «эпоха политики» — періодъ безраздѣльнаго почти господства марксизма.

Схемы въ исторіи неизбѣжны. Идея цикловъ тоже не лишена въ ней значенія. Но отсюда до трактованія исторіи по образу химіи все-таки цѣлая пропасть.

Въ качествѣ примѣра конкретныхъ промаховъ возьмемъ револю-

ціонный коммунизмъ Бабефа въ роли «демократической» стадіи социалистическаго развитія. Чѣмъ, какъ не требованіями цикла объяснить это странное недоразумѣніе? «Доктрина равныхъ» — фундаментъ всего современнаго социализма? Развѣ у Бабефа была вообще социалистическая доктрина? Развѣ историческій бабунизмъ не былъ (и только) попыткой гальванизировать революцію возобновленіемъ приостановленной Термидоромъ истребительной войны санкюлотства съ «аристократами»? Еще при Робеспьерѣ (учитель и кумиръ Бабефа) борьба эта символизировалась въ страшномъ для однихъ, увлекательномъ для другихъ, но для всѣхъ, пожалуй, загадочномъ, лозунгѣ — «аграрный законъ». Новый «Грагхъ» облекъ его въ «возвышенную форму» моральныхъ сентенцій дореволюціонныхъ писателей типа Морелли и Мабли; въ качествѣ боевой платформы, прибавилъ народоправіе и «конституцію 93-го года» — вотъ и «доктрина Бабефа». Вполнѣ параллельный примѣръ даетъ современность: стихія русской революціи выдвинула лозунгъ «долой буржуевъ»; Ленинъ декорируетъ его идеями Маркса, до поры до времени бросаетъ, въ качествѣ боевого, кличъ — «настоящая демократія», «безотлагательный созывъ Учредительнаго Собранія» — получается «ленинизмъ». Въ обоихъ случаяхъ требуютъ демократіи. Иначе и быть не могло: оба, вѣдь, продолжаютъ «углублять» данную революцію; оба берутъ для революціонной агитации то, что находится подъ руками. И объ обоихъ этихъ революціонныхъ вожакахъ (этимъ исчерпывается политическая личность обоихъ) надо судить не по декларациямъ до событій, а по дѣламъ во время событій и послѣ. Ленинъ «дѣло» свое сдѣлалъ; Бабефъ — не успѣлъ. Въ этомъ вся разница — огромная по историческимъ послѣдствіямъ, второстепенная — для оцѣнки программъ. Мѣсто «дѣла» у Бабефа занимаютъ проекты ихъ. Въ нихъ то (документально сохранныхъ Буонаротти) и отразилось его подлинное историческое лицо. Тутъ забыты, фактически, и народоправіе, и свободы, и «Конституція 93-го г.» Тутъ фигурируютъ — дѣленіе на лишенцевъ («иностранцевъ») и гражданъ, кровавая расправа съ «врагами народа», забота о подмѣнѣ народнаго представительства кандидатами «революціонныхъ комитетовъ», подготовка «Соловковъ» для «иностранцевъ» (Острова — «Олеронъ» и др.), отнятіе у «богачей» ихъ мебели и квартиръ и, главное, партійная диктатура въ лицѣ «Национальной Коммуны».

Русскій большевизмъ будто бы «чудовищно исказилъ» идеи Бабефа. Да въ чемъ же собственно? Почему неправы большевики, сами называющіе себя вѣрными учениками Бабефа? И въ чемъ, напр., погрѣшилъ противъ истины французскій коммунистъ Доммажъ, утверждающій въ своей недавно вышедшей книжкѣ о Бабефѣ, «споразительное сходство» и «не подлежащее спору родство» «доктрины, структуры и методовъ борьбы» заговора равныхъ и русскаго коммунизма?

«Родъ недуга» къ Бабефу (Бабефъ оказывается предшественникомъ и учителемъ самого Жореса) является у Делевскаго свѣдомъ

не изжитого еще, недуга русской интеллигенции — ее романа с якобинствомъ.

Главы посвященные «современной эпохѣ» — лучшія у Делевскаго главы. Она характеризуется имъ, какъ «зоологическая». Созвученъ ей и социализмъ. Уже война унесла большую часть его «міросозерцательныхъ» цѣнностей — антимилитаризмъ, классовую обособленность, революціонные якобы «интересы пролетаріата». Последующія событія докончили «чистку». Онъ стоитъ теперь, въ міросозерцательномъ смыслѣ, голъ, какъ соколъ.

Въ жалкомъ и гнусномъ видѣ явила себя міру прославленная Марксомъ «диктатура рабочаго класса». Ужасенъ разгромъ, произведенный ею въ демократическихъ странахъ: въ гордомъ сознаниі «курса налѣво» европейская социалистическая интеллигенція, хоромъ апологетовъ и обожателей, толпится вокругъ убійцы демократіи, подобно римлянамъ эпохи упадка, простирившимъ руки къ губителямъ цивилизаціи, варварамъ...

Если бы анализъ современнаго социализма не былъ ограниченъ въ книгѣ Делевскаго предѣлами Франціи, выводы его не были бы, конечно, такими пессимистическими. Впрочемъ и для Франціи онъ могъ бы отмѣтить симптомы выздоровленія, болѣе значительные, чѣмъ поверхностная книжка Делинъера «*Développements du marxisme*».

Съ большимъ интересомъ, и значительной пользой прочтутся французскому читателю страницы книги, посвященные русскому коммунизму — содержательная, остроумная и, справедливо, беспощадная критика.

Ив. Херасковъ.

Archives de Philosophie du droit et de sociologie juridique. № 1-2. Paris 1931.

Широкий интересъ къ вопросамъ философіи права во Франціи возникъ лишь въ послѣ-военный періодъ. До сихъ поръ однако не существовало органа, специально посвященнаго разработкѣ этихъ вопросовъ. Идя навстрѣчу назрѣвшей потребности, издательство Сирэй предприняло новое повременное изданіе подъ заглавіемъ «Архивъ Философіи Права и Юридической Соціологіи», руководимое профессоромъ Л. Лефюромъ и Г. Д. Гурвичемъ.

Основнымъ условіемъ успѣха такого органа является широта философскаго кругозора и терпимость въ допущеніи къ публичному обсужденію различныхъ взглядовъ и теченій современной мысли. Судя по составу редакціоннаго комитета и по списку сотрудниковъ — думается, что руководители новаго органа удачно справились съ этой по существу весьма сложной задачей. Объединить синдикалиста М. Леруа, социалиста Эммануэля Леви, социологовъ-дюргеймянцевъ Ж. Дави и Р. Юбера съ католиками о. Делосомъ и Ж. Ренаромъ въ общемъ служеніи наукъ — есть само по себѣ большое достиженіе.

Для насъ, русскихъ, этотъ журналъ можетъ къ тому же послужить предметомъ нѣкоторой гордости. Философія права никогда не была въ загонѣ въ Россіи и нынѣ новый журналъ отдастъ дань справедливости этому живому интересу. Не говоря о прямомъ руководствѣ новаго органа, порученномъ Г. Д. Гурвичу, мы встрѣчаемъ среди сотрудниковъ имена ряда извѣстныхъ русскихъ ученыхъ, какъ то Ф. Тарановскаго, Е. Спекторскаго, Б. Вышеславцева, Н. Алексѣева. Это несомнѣнно является для Франціи первымъ признаніемъ извѣстности русскихъ научныхъ трудовъ по философіи права.

Послѣ интересной статьи проф. Жени, подводящей итоги современному состоянію вопросовъ теоріи права и намѣчающей дальнѣйшія подлежащія разработкѣ проблемы, слѣдуетъ отмѣтить двѣ обширныя статьи, написанныя какъ бы въ противовѣсъ другъ другу: одна принадлежитъ о. Делосу, другая — Г. Д. Гурвичу. Обѣ посвящены разбору теоріи Оріу, который до послѣдняго времени почти въ одиночествѣ выносилъ на своихъ плечахъ французскую философскую традицію въ юридической наукѣ.

Возрожденіе интереса къ философскому обоснованію науки права, по мнѣнію о. Делоса, совпадаетъ съ общимъ движеніемъ по пути къ восстановленію религіознаго или точнѣе христіанскаго міросозерцанія. О. Делосъ пытается въ своемъ талантливомъ изложеніи связать ученіе Оріу о «справовыхъ цѣдяхъ» («институціяхъ») со схоластическимъ антииндивидуализмомъ Фомы Аквинскаго, согласно которому общество господствуетъ надъ личностью. Эта интерпретація теоріи Оріу удачно использована о. Делосомъ для конструкціи новой теоріи международнаго права, но она приводитъ его къ нѣкоторымъ не совсѣмъ удачнымъ результатамъ при анализѣ внутригосударственнаго общенія. Понятно, о. Делосъ далекъ отъ коллективизма и настаиваетъ на относительномъ характерѣ государственнаго суверенитета, но все же общество и государство рисуются ему въ качествѣ вершителей судебъ личности, которая приносится въ жертву.

Въ этомъ отношеніи выдающийся интересъ представляетъ статья Г. Д. Гурвича, исходящая при разборѣ основныхъ мыслей Оріу изъ иной традиціи, ведущей свое начало отъ бл. Августина и въ болѣе позднее время нашедшей отраженіе въ ученіи Паскаля. Эта болѣе либеральная традиція связывалась у Оріу воспріятіемъ основныхъ положеній философіи Бергсона, а изъ области социальныхъ доктринъ — съ теоріей Прудона. Это возрожденіе либерализма однако не простое включеніе въ старую индивидуалистическую либеральную доктрину элементовъ этатизма. Цѣлью новой доктрины является преодолѣніе этатизма, основаннаго на старомъ механическомъ индивидуализмѣ путемъ признанія и за иными группами въ обществѣ, кромѣ государства, права автономнаго и органическаго развитія. Только такимъ образомъ, по мысли этого теченія, создавая равновѣсіе путемъ противопоставленія государству другихъ равноправныхъ и равноцѣнныхъ правовыхъ порядковъ, можно избѣгнуть порабошенія личности государствомъ.

Насколько такое рѣшеніе осуществимо и живуче, не основано ли оно на нѣкоторой пессимистической оцѣнкѣ современности, съ ея сильной атрофіей индивидуальной инициативы, — вопросъ, на который не мѣсто здѣсь отвѣтить. Несомнѣнно однако, что внесеніе большой роли историзма въ философію права не можетъ не оживить источниковъ ея вдохновенія.

Съ этой точки зрѣнія интересно отмѣтить статью Р. Юбера, посвященную разграниченію теоріи права, философіи права и социологіи, краткую, почти библиографическую статью проф. Лейбгольца, посвященную теоріи Кельзена о чистой наукѣ.

По этому краткому перечню лишь самыхъ значительныхъ статей перваго выпуска — читатель сможетъ судить объ интересѣ, котораго заслуживаетъ появленіе новаго журнала.

П. Леонъ.

G. Gourvitch. Les Tendances actuelles de la Philosophie allemande. Paris, Libr. philos. I. Vrin, 1930.

Г. Д. Гурвичъ излагаетъ и критикуетъ въ своей книгѣ наиболѣе вліятельное теченіе современной нѣмецкой философіи, именно феноменологію въ ея крайне различныхъ видоизмѣненіяхъ. Изложивъ ученіе Гуссерля, основателя феноменологіи, онъ переходитъ затѣмъ къ Шелеру, Ласку, Н. Гартману, Гейдеггеру.

Въ современной нѣмецкой философіи есть много направлений, заслуживающихъ вниманія, но феноменологію слѣдуетъ признать наиболѣе значительнымъ изъ нихъ, если согласиться съ тѣмъ, что передъ нами стоитъ задача вновь заняться разработкою центральной философской науки, метафизики, и осуществлять эту работу необходимо систематически, не на основаніи случайныхъ озареній, а съ помощью гносеологически оправданнаго метода. Существенныя основы такого метода намѣчены Гуссерлемъ въ его ученіи объ интуиціи, направленной на идеальныя сущности (Wesensschau), на эйдосы вещей съ ихъ законосообразными структурами. Къ сожалѣнію, однако, въ ученіи Гуссерля есть существенные недочеты, явственно обнаружившіяся въ послѣднемъ произведеніи его «Формальная и трансцендентальная логика». Въ этой книгѣ Гуссерль развиваетъ ученіе о чистомъ сознаніи и заявляетъ, что единственное бытіе, абсолютно несомнѣнное, есть чистое сознаніе. Эта фаза развитія философіи Гуссерля есть не прогрессъ, какъ указываетъ Гурвичъ, а скорѣе регрессъ: въ ней вскрылся недостатокъ, таившійся уже въ предыдущихъ трудахъ Гуссерля, именно нерѣшенность проблемы достовѣрнаго знанія о реальномъ бытіи. Интуитивизмъ Гуссерля содержитъ въ себѣ преодолѣніе психологизма, но онъ не преодолеваетъ идеализма. Его недостатокъ прямо противоположенъ недостатку Бергсона: у Бергсона есть видѣніе абсолютной реальности творческаго процесса во времени, но нѣтъ видѣнія идей; у Гуссерля есть видѣніе идеальнаго бытія, но нѣтъ ученія о знаніи реальнаго бытія. Не удивительно, что самъ

Гуссерль не сказалъ новаго слова въ метафизикѣ. Крупныя завоеванія въ области этой науки сдѣлалъ самый талантливый изъ его послѣдователей М. Шелеръ, превратившій идеалистическій интуитивизмъ въ идеаль-реалистическій, весьма близкій къ русскому интуитивизму. Шелеру принадлежитъ также заслуга разработкіи ученія не только о теоретической, но и о практической интуиціи («Эмоціональный интуитивизмъ»), которую онъ блестяще использовалъ для изслѣдованія цѣнностей и развитія системы этики.

Свою книгу Гурвичъ заканчиваетъ изложеніемъ главнаго труда Гейдеггера «*Sein und Zeit*». Въ его философіи онъ находитъ сочетаніе «позитивизма сущностей» Гуссерля, эмоціонализма Шелера, иррационализма Ласка и попытокъ Н. Гартманна преодолѣть противоположность идеализма и реализма. Гейдеггеръ задался цѣлью дать общую теорію бытія, исходя изъ анализа существованія человѣка или, ясліе говоря, изъ наличнаго эмпирическаго бытія (*Dasein*) человѣка. Трудъ Гейдеггера не законченъ, появился лишь первый томъ его. Однако и въ этомъ томѣ обнаружались уже неисцѣлимые недостатки его теорій. Проблему бытія Гейдеггеръ хочетъ рѣшить, такъ сказать, снизу, исходя изъ проявленій повседневной жизни. Неудивительно, что онъ находитъ здѣсь только ограниченное, конечное, униженное существованіе человѣка; сущность человѣческаго существованія, по его ученію, есть забота (*Sorge*). Страхъ, подавленность социальную обыденностью (безликимъ *das Man*), деградация индивидуальности, затерянность въ мірѣ, покинутость и, наконецъ, тоскливый ужасъ, особенно передъ лицомъ смерти — вотъ основное содержаніе жизни человѣка, по Гейдеггеру. Онъ почти не выходитъ за предѣлы кругозора нѣмецкой хозяйки (*Frau Sorge*), снѣдаемой заботами о повседневныхъ мелочахъ жизни. Высшую онтологическую основу и смыслъ заботы, а, слѣдовательно, и человѣческаго *Dasein* онъ находитъ въ такомъ элементѣ бытія, какъ время. Отсюда понятно, что выйти изъ обезличенной потерянности, найти себя человѣкъ можетъ, по Гейдеггеру, только путемъ осознанія своего бытія, какъ «бытія для смерти» и путемъ рѣшимости примириться со смертью. И въ самомъ дѣлѣ, то жалкое человѣческое бытіе, которое описываетъ Гейдеггеръ, по самому существу своему, слава Богу, обречено смерти. Но кромѣ этой смертной стороны въ глубинѣ человѣческаго духа не трудно найти способности и цѣли, абсолютно цѣнныя, дающія основаніе философу взойти путемъ умозрѣнія къ началамъ сверх-человѣческимъ и въ конечномъ итогѣ къ Абсолютному, какъ творческой основѣ міра. Только отсюда, сверху, можно понять смыслъ бытія и строеніе его; только исходя изъ Абсолютнаго, можно дать отвѣтъ на вопросъ о необходимой множественности мірового бытія (*in-der-Welt-Sein* человѣка), о положительныхъ сторонахъ времени, о многообразіи путей жизни, о драматизмѣ ея, о тѣлесной смерти человѣка и, несмотря на нее, сохраненіи абсолютныхъ цѣнностей и т. п. Гейдеггеръ, философъ, одаренный большою спекулятивною силою, стремится отвѣтить на всѣ эти вопросы, но, исходя изъ не-

достаточной базы, онъ не можетъ развить подлинной философской спекуляціи; замѣтить этотъ недостатокъ однако не легко, такъ какъ блестящій литературный талантъ Гейдеггера скрываетъ недочеты его мысли. Многія ученія Гейдеггера о жалкомъ эмпирическомъ бытїи человѣка прекрасно использованы въ замѣчательной, только что появившейся книгѣ Бердяева «О назначенїи человѣка», но это удалось ему потому, что онъ въ своей системѣ этики разсматриваетъ мїръ и жизнь человѣка сверху и вслѣдствіе этого, зная все богатство бытїя, находитъ правильное соотношеніе между положительными и отрицательными сторонами его.

Гурвичъ, сочувственно изложивъ основныя идеи Гейдеггера, дѣлаетъ рядъ важныхъ критическихъ замѣчаній и указываетъ, что безъ восхожденія къ Абсолютному нельзя рѣшить проблемы, ставимыя имъ; я бы прибавилъ къ этому, что для пониманія основныхъ свойствъ бытїя нужно взойти не просто къ Абсолютному, а къ Абсолютному, усмотрѣнному также и въ томъ его аспектѣ, въ которомъ оно является намъ въ религиозномъ опытѣ, какъ Богъ.

Трудная и сложная ученія Гуссерля, Шелера и др. Гурвичъ даетъ читателю въ простой и ясной формѣ; свое изложеніе онъ снабдилъ цѣнными критическими замѣчаніями, которыя очень повышаютъ значеніе его книги.

Н. Лосскій.

Г. В. Флоровскій. Восточные Отцы IV-го вѣка. Парижъ, 1931. Изданіе YMCA-PRESS, 240 стр.

Всякій, кто вслѣдъ за Гегелемъ признаетъ единство человѣческаго духа и разсматриваетъ исторію философіи, какъ исторію развитія единой мысли, заранѣе предвидитъ, что такіе отдѣлы, какъ христіанская философія, развитая Отцами Церкви или средневѣковыми схоластиками, представляютъ собою цѣнное звено историческаго процесса; невниманіе къ этимъ отдѣламъ становленія мысли, забвеніе ихъ обѣднало философію второй половины XIX в. Къ счастью, такая односторонность начинаетъ исчезать. Есть и внѣшніе признаки расширенія кругозора современной философіи. Приведу одинъ лишь примѣръ. Въ прежнихъ изданіяхъ «Исторїи философіи» Ибервега, въ томъ же посвященномъ XIX вѣку, не было обзоровъ христіанской, именно католической философіи: ее игнорировали подъ тѣмъ предлогомъ, будто зависимость ея отъ религіи лишаетъ ее научной цѣнности. Въ послѣднемъ изданіи, появившемся года четыре тому назадъ, уже введенъ обзоръ католической философіи XIX-го вѣка. Еще большую цѣнность имѣетъ изученіе классическаго періода христіанской философіи. Нельзя поэтому не привѣтствовать широко задуманный трудъ Г. В. Флоровскаго «Богословіе Отцовъ Церкви», опубликовавшаго важнѣйшій выпускъ этого труда «Восточные Отцы IV-го вѣка», составляющій «почти самостоятельное цѣлое». Именно въ IV вѣкѣ нашей эры величайшіе Отцы Церкви, св. Афанасій Великій, Василій Великій, Григорій

Богословъ, Григорій Нисскій, разработали основной для христіанства догматъ Троичности, различили понятія сущности, ипостаси, лица, понятіе единосущія и т. п.

Многимъ кажется, что темы, волновавшія Отцовъ Церкви, имѣютъ только богословское значеніе и вовсе не интересны философу. Нетрудно однако показать, что это не вѣрно. Достаточно привести нѣсколько примѣровъ, чтобы установить, что многія проблемы богословскаго изслѣдованія имѣютъ первостепенное значеніе для философіи. Такъ, всѣ почти Отцы Церкви развиваютъ не только положительное, но еще и отрицательное (апофатическое) богословіе, т. е. ученіе о томъ, что сущность Бога не выразима въ понятїяхъ и при сравненїи съ тварнымъ бытїемъ можетъ быть обозначена только отрицаніями. Идея «Божественнаго Ничто» наличествуетъ не только въ христіанскомъ богословіи: въ буддизмѣ она обозначена словомъ Нирвана, въ философіи Плотина она есть начало и конецъ всей его системы метафизики, Фихте въ своихъ «Наукословїяхъ», начиная съ 1800 г., ломаетъ голову надъ этою идеею въ связи съ проблемою міровой множественности и необходимости для нея имѣть въ своей основѣ Единство, Франкъ въ своей книгѣ «Предметъ знанія» съ абсолютною очевидностью показываетъ, что проблемы логики не разрѣшима безъ этой идеи. Но этого мало, нѣкоторое подобіе этого начала Василій Великій, Григорій Нисскій находятъ и въ предѣлахъ тварнаго бытїя, говоря о сверхкачественной сущности даже и муравья; въ наше время эта мысль въ наиболѣе общедоступной формѣ пущена въ оборотъ Бергсономъ.

Спускаясь съ высотъ апофатическаго богословія къ богословію катафатическому (положительному), Отцы Церкви IV вѣка развиваютъ трудное ученіе о триничности Божественныхъ Лицъ и въ то-же время ихъ единосущїи. От. П. Флоренскій показалъ въ своей книгѣ «Столпъ и утвержденіе истины», что принципъ единосущія имѣетъ основоположное значеніе не только для метафизики Божественнаго бытїя, но и для ученія о мїрѣ: философы, утверждающіе лишь подобосущїе, напр., личностей, т. е. утверждающіе, что каждая личность большаго или меньшаго сходства личности могутъ быть логически подводимы подъ общіе виды и роды, даютъ кореннымъ образомъ иное представленіе о мїрѣ, чѣмъ защитники единосущія, т. е. реальной слитности личностей въ одномъ отношенїи и неслитности ихъ въ другихъ отношенїяхъ. Зачатокъ такого ученія о единосущїи человѣчества можно найти у Григорія Нисскаго.

Кто усмотрѣлъ, что міровая системность, и вообще всякая множественность возможна не иначе, какъ на основѣ Сверхъединого начала, выразимаго лишь посредствомъ отрицаній, тотъ легко пойметъ вмѣстѣ съ тѣмъ основоположное значеніе центральной христіанской идеи Богочеловѣчества: міровое бытїе не только въ своемъ обоснованїи, но и во временныхъ своихъ обнаруженїяхъ возможно не иначе, какъ въ тѣсной связи съ Божественнымъ бытїемъ; четкая фор-

мула этой связи «неслициность», но и «нераздельность» была найдена в V вѣкѣ. Руководясь ею, можно выработать мировоззрѣніе, включающее въ себя всѣ цѣнныя стороны пантеизма, но въ то-же время рѣзко отличающееся отъ пантеизма и его недостатковъ.

Не буду останавливаться на выработанной христіанствомъ идее личнаго бытія, какъ абсолютно цѣннаго начала: культурное и философское значеніе ея общеизвѣстно. Ограничусь также лишь упоминаніемъ такихъ, хотя и важныхъ, но все-же не всеобъемлющихъ идей, какъ различіе вѣвременнаго обоснованія и причиненія во времени, качественная множественность (терминъ Бергсона, понятіе выработано Отцами Церкви), непространственность души съ вытекающими отсюда слѣдствіями.

Для практической философіи, именно для ученія о цѣнностяхъ вообще и для этики, отдѣлъ исторіи мысли, изучаемый Флоровскимъ, имѣетъ не меньшее значеніе. Ученіе о Богѣ, какъ «всеблаженной полнотѣ бытія» (св. Афанасій Великій), тождество безусловнаго бытія и блага (св. Григорій Нисскій), обоженіе, какъ цѣль человѣческой жизни — всѣ эти идеи даютъ основаніе системѣ аксіологии и этики (см. мою книгу «Цѣнность и бытіе. Богъ и Царство Божіе какъ основа цѣнностей»). Не только теоретическая разработка этики, но и весь строй современной культуры и особенно общественной жизни былъ бы глубоко преобразенъ, если бы въ широкихъ кругахъ общества распространилось совершенное пониманіе той истины, что высочайшій идеаль христіанства, осуществленіе Царства Божія на основѣ любви къ Богу и всѣмъ тварямъ Его, слѣдовательно, на основѣ безкорыстнаго служенія абсолютнымъ цѣностямъ, предполагаетъ свободу. Величайшіе Отцы Церкви, показывая христіанскій идеаль, отчетливо осознавали, что христіанскій идеаль, по самому существу своему, есть «жизнь въ свободѣ»: «тайна спасенія для желающихъ, а не для насильюемыхъ», говорилъ св. Григорій Богословъ.

Замѣчанія, сдѣланныя мною, далеко не исчерпываютъ содержанія цѣнной книги Г. В. Флоровскаго, но ихъ достаточно, чтобы показать, что предметъ его историческаго изслѣдованія изобилуетъ значительными темами, и что книга его представляетъ интересъ не только для богослова, но и для всякаго культурнаго человѣка.

Н. Лосский.

Н. А. Бердяевъ. О назначеніи человѣка. Опытъ парадоксальной этики. Изд. «Современныя Записки», 1931.

Новая книга Н. А. Бердяева представляетъ собой выдающееся событіе въ русской философской литературѣ. Она въ чрезвычайно яркой и глубоко продуманной формѣ подводитъ итогъ многолѣтнимъ философскимъ исканіямъ автора и синтезируетъ ихъ плоды. Несмотря на громадную систематическую и историческую насыщенность книги, vibratingой вмѣстѣ съ тѣмъ въ униссонъ со всѣми новѣйшими тенденціями современной мысли, она изложена общедоступно и читается легко и съ напряженнымъ интересомъ.

«Существуетъ три этики: этика закона, этика искупленія и этика творчества. Нормативная этика всегда тиранична. Законъ не знаетъ живой, конкретной, индивидуально-неповторимой личности. Этика закона есть этика сознанія, подавляющая подсознаніе и не знающая сверхсознанія; она есть порожденіе древняго аффекта страха въ человѣкѣ».

Этика искупленія, которой человѣчество обязано христіанству, неосознанно выше нормативной этики. «Въ основѣ христіанства лежитъ не отвлеченная и всегда безсильная идея добра, а живое существо, личность, личное отношеніе человѣка къ Богу и ближнему. Конкретное бытіе, живое единство выше всякой отвлеченной идеи. Общеобязательность заключается лишь въ томъ, чтобы каждый дѣйствовалъ неповторимо-индивидуально».

Однако, этика искупленія, при всей своей высотѣ, таитъ въ себѣ возможность устрашающихъ извращеній. Главное изъ нихъ это перетолкованіе этики искупленія и благодати въ «этику трансцендентнаго эгоизма» — «самую отврагительную мораль, какую только знаетъ моральная исторія міра. Идея трансцендентнаго эгоизма, исключительной заботы о спасеніи своей души, которую выводятъ изъ аскетической литературы, есть сатанинская идея, сатанинская карикатура на христіанство».

Чтобы избѣгать подобныхъ невѣроятныхъ извращеній христіанской этики, слѣдуетъ помнить, что Богъ есть прежде всего творецъ, что обращеніе къ Богу есть прежде всего «соучастіе въ его творчествѣ», что человѣкъ, созданный по образу и подобию Божіему, самъ «есть прежде всего существо творческое». «И откуда почерпнулъ, восклицаетъ Бердяевъ, то рабское ученіе, что освобожденную личность покидаетъ благодать Божья... Благодать дѣйствуетъ на свободу, только на нее она и можетъ дѣйствовать». «И потому нужно утверждать не этику уничтоженія воли, а этику просвѣтленія воли, не этику уничтоженія человѣка и вѣшняго его подчиненія Богу, а этику творческаго осуществленія человекомъ божественнаго въ жизни, правды, истины, красоты, цѣнности. Есть динамика творческихъ даровъ и творческихъ цѣнностей и въ этой динамикѣ продолжается міротвореніе».

Такимъ образомъ, христіанская этика искупленія, чтобы была возможность раскрыть все ея потенциальное содержаніе, должна быть дополнена и углублена «этикой творчества», которая «есть высшая и наиболѣе зрѣлая форма нравственнаго сознанія».

«Этика творчества есть этика энергетическая. Повышеніе энергій жизни, качественное и количественное, творческой подъемъ энергій есть одинъ изъ критеріевъ нравственной оцѣнки. Для этики творчества свобода означаетъ творческую энергію. Этика творчества есть этика безконечнаго; для нея міръ раскрытъ и пластиченъ, раскрыты безконечные горизонты и возможенъ выходъ къ Божественному. Этика творчества утверждаетъ цѣнность индивидуальнаго и единичнаго. Этика творчества есть прежде всего этика цѣнности, а не спасенія».

Она преодолевает не только земной, но и небесный, трансцендентный эгоизмъ, которымъ заражена была этика искупленія.

Духъ свободы и творчества разлитъ, согласно Бердяеву, въ Евангелии и этика творчества не только не противорѣчитъ этикѣ христіанства, но предполагается ей и съ ней неразрывно связана. Стремленіе обосновать этику творчества на христіанствѣ приводитъ Бердяева къ необходимости разрѣшить двѣ очень сложныя проблемы: 1) Объяснить, почему ученіе о грѣхопадѣніи не устраняетъ возможности самоинициативной творческой активности человѣка, 2) Разъяснить, сотворена ли сама творческая свобода Богомъ, детерминирована ли она имъ и несетъ ли онъ отвѣтственность за зло, порождаемое свободой. Бердяевъ полагаетъ, «что ученіе о первородномъ грѣхѣ имѣетъ совсѣмъ иной смыслъ, чѣмъ ему обыкновенно приписываютъ. Мифъ о грѣхопадѣніи страшно возвышаетъ, а не принижаетъ человѣка. Человѣкъ падъ съ высоты и можетъ на высоту подняться. Мифъ о грѣхопадѣніи есть мифъ о величіи человѣка». Этическая сфера есть порожденіе грѣхопадѣніи и человѣческое творчество есть именно отвѣтъ на него и новый путь вверхъ.

Разбирая вторую изъ отмѣченныхъ проблемъ, Бердяевъ примыкаетъ къ ученіямъ нѣмецкой мистики (Экхардта и Беме), согласно которымъ, «свобода, имѣющая бездонный, добытійственный характеръ, не сотворена Богомъ-творцомъ, но вкоренена въ Ничто, въ Ungrund. Свобода такимъ образомъ первична и изначальна. Человѣкъ есть дитя Божье и дитя свободы — ничто, небытія, меона». Наличие не-сотворенной, независимой отъ Бога свободы, снимающей съ него отвѣтственность за зло въ мірѣ и объясняющей трагизмъ не только человѣческой, но и божественной жизни, вмѣстѣ съ тѣмъ обосновываетъ возможность самоинициативной творческой активности человѣка, въ которой осуществляется сочетаніе свободы и благодати.

Трагизмъ возникновенія зла черезъ свободу есть только преддверіе еще болѣе остраго трагизма нравственной жизни, состоящаго въ конфликтѣ «добра съ добромъ, въ свободной борьбѣ за цѣнность между собой соравня».

Раздѣляя основныя положенія «творческой этики», съ такимъ блескомъ развиваемой Н. А. Бердяевымъ, мы будемъ очень краткими въ нашихъ критическихъ замѣчаніяхъ. Допуская, что на основахъ творческой этики возможно новое истолкованіе христіанства, мы не можемъ однако согласиться съ авторомъ, что принципы творческой этики неразрывно съ христіанствомъ связаны и изъ него исторически истекаютъ. Самъ Бердяевъ съ характерной для него подкупающей искренностью признаетъ: «Основная проблема о творчествѣ не только не была раскрыта и рѣшена христіанствомъ, но не была даже поставлена въ религиозной глубинѣ». Но къмъ же впервые была поставлена и рѣшена эта проблема? Отвѣтъ на этотъ вопросъ исторически не можетъ вызывать сомнѣній. Идеей творчества человечество обязано философіи Ренессанса, углубленной затѣмъ Декартомъ, частично Кантомъ и въ особенности Фихте. Современные поиски, хо-

тятъ ли они того или не хотятъ, продолжаютъ ихъ линію. Философія Ренессанса, съ ея оправданіемъ свѣтской, земной дѣятельности, съ ея обоснованіемъ многопланности бытія, плюрализма путей восхожденія къ Богу, безспорно проложила путь къ творческой этикѣ. И именно связанный этики творчества съ традиціей, приведшей къ секуляризаціи человѣческой культуры, секуляризаціи, совершенной не во имя человѣко-божества (что было лишь вырожденіемъ философіи Ренессанса, а не ея основной линіей), а во имя утвержденія множества путей восхожденія человечества къ Абсолютному, во имя нахожденія новыхъ, неисчерпанныхъ религіей связей человечества съ Богомъ, лучше всего показываетъ, что этика творчества не нуждается въ религіозномъ обоснованіи; но это не мѣшаетъ ей непосредственно готовить, именно въ своей самоинициативности и независимости, путь для религіи.

Самъ Бердяевъ заявляетъ: «Христіанскаго государства, христіанскаго хозяйства, христіанской семьи, христіанской науки, христіанскаго быта никогда не было и быть не можетъ. Ибо въ Царствѣ Божіемъ и въ совершенной Божественной жизни нѣтъ ни государства, ни хозяйства, ни семьи, ни науки». Не исчезаетъ ли также въ Царствѣ Божіемъ та трагическая раздвоенность, которая характерна для этической сферы и не слѣдовало ли бы по тѣмъ же соображеніямъ, по которымъ Бердяевъ отвергаетъ возможность христіанскаго хозяйства, государства и науки, отвергнуть и возможность христіанской этики? Самъ Бердяевъ прекрасно показываетъ, что Божественное глубоко иррационально и мистично, что оно есть «безконечная тайна, сокрытая за бытіемъ, тайна, которая ставитъ границу рациональному познанію»; но вѣдь этика еще относится къ этой сферѣ познанія. Съ этой точки зрѣнія мы въ частности не можемъ не признать излишнимъ и противорѣчающимъ принципамъ «отрицательнаго, апофатическаго Богословія», которое столь дорого самому Бердяеву, его обращеніе для обоснованія творческой этики къ космологически-метафизическому ученію о свободѣ какъ Ungrund'у, противостоящему Богу. Мистичизмъ Беме есть скрытый рационализмъ и гностицизмъ, который хочеть въ доступныхъ человѣческому разуму категоріяхъ объяснить непостижимую божественную тайну. Изъ рационалистической мистики Беме вышель панлогистическій гностицизмъ Гегеля, убившій свободу и подорвавшій возможность обоснованія творческой этики. Последняя не нуждается ни въ космологически-метафизическомъ, ни въ богословскомъ обоснованіи. Отъ нея можно восходить и къ космологическому и религіи, но отъ нихъ невозможно нисходить къ творческой этикѣ, не подрывая самого ея существа. Вдобавокъ, благодаря обращенію къ ученію Беме, построеніе Бердяева наталкивается на ту существенную трудность, что свобода и творчество, между которыми авторъ (и по нашему мнѣнію вполне справедливо) ставилъ знакъ равенства, вдругъ оказываются другъ отъ друга отличными, какъ родъ и его видъ. Но если творчество есть только видъ свободы, немедленно возникаетъ абсолютно неразрѣшимый вопросъ о критеріи

различія между положительной и отрицательной, творческой и не-творческой свободой, самая постановка котораго грозитъ разрушить возможность построения творческой этики.

Отмѣтимъ въ заключеніе еще одно сомнѣніе, возникшее у насъ при изученіи этики Бердяева. Авторъ справедливо настаиваетъ на томъ, что истинно социальное, въ противоположность «соціальной общности» («das Man» Гейдегера) есть духовное. Однако, онъ съ меньшей рѣшительностью склоненъ поддерживать обратное положеніе, а именно, что все духовное — социальное. Между тѣмъ, подобное возрѣніе непосредственно вытекаетъ изъ его собственного ученія о «сверхсознательномъ» и его значеніи въ творческомъ процессѣ, точно такъ же, какъ изъ признанія, что «цѣнность личности предполагаетъ существованіе сверличныхъ цѣнностей». Съ этой точки зрѣнія, предполагающей совершенный синтезъ между универсализмомъ и персонализмомъ, не совсѣмъ логично утвержденіе автора, что «столько отдѣльная личность есть подлинно творческое и пророческое начало въ нравственной жизни, только она выковываетъ новыя цѣности». Здѣсь сказываются у автора пережитки персоналистическаго индивидуализма, которые онъ несомнѣнно преодолѣлъ бы полнѣе, если бы развилъ болѣе подробно свое чрезвычайно интересное и цѣнное ученіе о «сверхсознаніи».

Этихъ бѣглыхъ замѣчаній, не претендующихъ даже и въ малой степени исчерпать громадныя богатства, заключенныя въ новомъ трудѣ Н. А. Бердяева, будетъ, думается намъ, достаточно, чтобы возбудить представленіе о первостепенномъ значеніи этого замѣчательнаго вклада въ русскую философскую литературу, успѣхъ котораго заранее обезпеченъ у читающей публики.

Г. Д. Гурвичъ.

La Situation des Enfants des Réfugiés Russes et Arméniens en 1930. — Изданіе Union Internationale de Secours aux Enfants. Genève, 1931.

Вопросъ о воспитаніи дѣтей и юношества — одинъ изъ самыхъ проклятыхъ въ эмиграціи. Какъ справиться съ нимъ, когда нужда давить, когда не всегда обезпечены кровь, одежда, даже хлѣбъ насущный. Все же и въ такой угрожающей обстановкѣ родители полны стремленія (рѣшится ли кто-либо поставить имъ это въ укоръ!) предоставить дѣтямъ то, что облегчило, осмыслило ихъ собственный жизненный путь; каждый мечтаетъ обезпечить имъ хотя бы не мѣсяце того, что самъ получилъ въ весеннюю пору своего бытія. Терзали не только сознаніе полнаго безсилія дать образованіе дѣтямъ, но также, въ особенности въ первые годы нашего разсѣянія, необходимость выбора между русской національной школой и школою страны, пріютившей семью: хотѣлось сохранить въ душѣ ребенка священный обликъ, принесенный изъ родины; страшнымъ казалось превратить его

въ иностранца, который, когда ему удастся вернуться «туда», окажется чужимъ среди своихъ. Съ теченіемъ времени колебанія разрѣшились тѣмъ, что русская эмиграція стремится дать дѣтямъ и юношамъ возможно широкое образованіе въ иностранной школѣ, по одновременно укрѣпить въ нихъ знаніе своего языка, своей исторіи, своей литературы. Несомнѣнно, это — болѣе правильное рѣшеніе, — о немъ недавно писалъ И. П. Демидовъ въ «Посл. Новостяхъ», — ибо имъ обезпечивается молодежи возможность, не разрывая съ унаслѣдованнымъ прошлымъ, не только не быть обузой въ средѣ, въ которой она, во волѣ судьбы, очутилась, но и приобщиться къ ней въ качествѣ полезнаго ея члена.

Многіе изъ подавленныхъ утратой родины были бы не въ силахъ поборотъ препятствія, нагроможденныя рокомъ; къ счастью, нашлись люди крѣпкіе духомъ, объединившіеся и взявшіе на себя задачу помочь и родителямъ, и молодежи. Такъ возникли культурно-просвѣтительныя организаціи, изъ коихъ на первомъ мѣстѣ слѣдуетъ упомянуть Земско-Городской Комитетъ, членъ котораго В. В. Рудневъ является однимъ изъ усердныхъ работниковъ въ области помощи дѣтямъ, а также Центральный Комитетъ попеченія о русскихъ студентахъ заграничей съ его неутомимымъ предсѣдателемъ М. М. Федоровымъ. Оба учрежденія горячо взялись за дѣло; отыскивали, собирали, гдѣ только можно, средства; выхлопотывали пособия у правительствъ, у иностранныхъ благотворительныхъ обществъ, у частныхъ лицъ... Они могутъ съ законной гордостью оглянуться на то, что было до сихъ поръ достигнуто: казалось, положеніе было уже завоевано и немалой части подрастающаго бѣженскаго поколѣнія было обезпечено удовлетвореніе духовныхъ ея нуждъ. Но пришли годы хозяйственнаго и биржевого развала во всемъ мірѣ, и вновь возникаютъ тревога, сомнѣніе въ возможности довести до завѣтной цѣли хотя бы даже дѣтей, уже поставленныхъ на рельсы.

Чрезвычайно интересную картину и исчерпывающія данныя по этому столь важному для насъ вопросу мы находимъ въ недавно выпущенномъ «Международнымъ Союзомъ Помощи Дѣтямъ» отчетѣ о положеніи бѣженскихъ дѣтей въ 1930 г. Это изданіе — второй официальный вкладъ въ литературу о бѣженскомъ бытѣ: ему предшествовала книжка Лиги Націй о правовомъ нашемъ статутѣ (Publications de la S. d. N. n° 13 Réf. I).

Мысль о необходимости собрать данныя по вопросу о положеніи дѣтей эмиграціи была подсказана въ засѣданіи Совѣщательнаго Комитета Частныхъ Организацій при Верховномъ Комиссарѣ по бѣженскимъ дѣламъ 4 сентября 1929 г. г. Гольденомъ, представителемъ британскихъ благотворительныхъ обществъ, родившимся въ Россіи, прекрасно владѣющимъ русскимъ языкомъ. Комитетъ отнесся чрезвычайно сочувственно къ предложенію г. Гольдена. Немедленно была образована подкомиссія по изученію вопроса; въ нее вошли представители 10 организацій: британскихъ, русскихъ (большинство) и армянскихъ. Г. Гольденъ, въ качествѣ починщика въ этомъ дѣлѣ, оставался не-

наибольшим председателем всех заседаний подкомиссии. На первом же заседании был образован секретариат. Избранный в качестве генерального секретаря В. В. Рудневъ взялся за выполнение напечатанной подкомиссией широкой анкеты по дѣтскому вопросу. Представленный им отчет только подтвердилъ правильность этого выбора.

Разработанный подкомиссией вопросникъ былъ разосланъ, при содѣйствіи Верховнаго Комиссаріата, правительственнымъ учреждениямъ и различнымъ эмигрантскимъ организациямъ на мѣстахъ. Полученныя отъ послѣднихъ цифровыя данныя нерѣдко расходятся съ официальными: думается, и не безъ основанія, что это официальныя цифры грѣшатъ нѣкоторой неточностью. Весьма поучительны свѣдѣнія по странамъ: объ учреждениях, оказывающихъ помощь дѣтямъ, о распредѣленіи послѣднихъ; грустны и тяжелы подробности быта родителей и дѣтей... Загѣмъ слѣдуютъ исчерпывающія данныя о положеніи студентовъ; заканчивается отчетъ общими выводами и заключениями.

Прекрасно составленная книга читается съ напряженнымъ, растущимъ вниманіемъ; это — увѣ, не вымышленная повѣсть, цѣль коей разжалобить тѣхъ, кому она попадаетъ въ руки; это — сама жизнь живущая, со всеми ея терніями, страданіями дѣйствительныхъ людей и, въ то же время, — памятникъ человѣческаго благожелательства и сплоченности. Хотѣлось бы, чтобы ее прочли возможно болѣе какъ русскихъ, такъ и иностранцевъ: сколькимъ дѣтямъ и юношамъ тогда полегчало бы!

К. Гулькевичъ.

С. Дмитриевскій. Сталинъ. Издат. «Стрѣла», Берлинъ, 1931.

Послѣ «Судебъ Россіи» — «Сталинъ». И эту вторую книгу невозвращенца С. Дмитриевскаго закрываешь съ чувствомъ глубочайшаго недоумѣнія. Загѣмъ это онъ не возвратился?! Такой полноты умленія передъ силой, а порой и гениальностью Ленина и «народнаго вождя» Сталина, и столь же глубокой и полной ненависти ко всякимъ тамъ, на гниломъ Западѣ, демократіямъ, трудно встрѣтить еще у какого либо современнаго писателя. «Сталинская система идей — сложна, но въ этомъ ея сила: она доступна самому примитивному пониманію». Можно-ли сдѣлать отсюда выводъ, что и сама эта система — примитивъ? Ни въ коемъ случаѣ. Напротивъ! Это — мессіаниззмъ. Это — русско-азиатскій империализмъ. Это — вызовъ Западу: «Во главѣ недовольныхъ и борющихся на смерть съ империализмомъ становится наша страна, совѣтскій союзъ!» съ восторгомъ формулируетъ авторъ идеи Сталина. Сочувствуетъ имъ? Ну, конечно. Это — настоящіе солдаты революціи, быть-можетъ, спасители Россіи, ибо въ 1917 г. вопросъ стоялъ опредѣленно: не демократія, а Корниловъ или Ленинъ. Побѣдилъ Ленинъ. У Ленина — «гениальная интуиція»,

громадныя теоретическія знанія, ясныя положенія» (стр. 184). И партія его — «партія народная и національная, по сути ея устремленій». А что такое диктатура Сталина? Это — «была и во многихъ отношеніяхъ остается еще и сейчасъ народная диктатура» (стр. 297). Сталинъ — молчаливъ. Но умница, — безъ его совѣта, всегда практическаго, не любилъ дѣйствовать даже самъ Ленинъ. Рѣшительный, самоотверженный, почти аскетъ. И какъ находчивъ! Однажды онъ спасъ отъ развала партійные центры. «Ему сообщили, что партія безъ денегъ и достать не откуда... Революція разбита. Что дѣлать?... Сталинъ отвѣтилъ кратко: «Деньги будутъ!» Взялъ револьверъ, взялъ нѣсколько друзей — и ограбилъ среди бѣла дня на людной улицѣ транспортъ съ правительственными деньгами. Партія получила соки для новой жизни» (стр. 106). Человѣкъ, однимъ словомъ, вполне подходящий для «народной диктатуры» въ Россіи... Сравнительно съ силой этихъ людей, что представляли изъ себя другія дѣвья партій? Да просто «пассивную, лишенную борческаго инстинкта соглашательскую часть человечества, — человѣческаго болота»... «И когда революція пришла, всѣ эти люди сначала тормозили ее своей линіей вѣчнаго компромисса, своимъ вѣчнымъ сидѣніемъ межъ двухъ стульевъ — а потомъ были выброшены за бортъ ея жизни. Революціонной Россіи они не были нужны!»

Однимъ словомъ — міросозерцаніе ясное. Поклоненіе силѣ. Презрѣніе ко всѣмъ павшимъ въ борьбѣ. Даже къ «безсильному» Троцкому, когда-то оказавшему столько услугъ этой «безкомпромиссной революціи». И опять тотъ же вопросъ: зачѣмъ этотъ господинъ «выбросился за бортъ» столь «національной революціи», зачѣмъ вдругъ «сталъ ей не нуженъ»? И главное — самъ выбросился! И куда? Прямо въ «человѣческое болото» всѣхъ этихъ выброшенныхъ людей... Разгадка этого дѣянія, быть можетъ, въ томъ, что на предпослѣдней страницѣ г. Дмитриевскій вдругъ заявляетъ, что «жизнь не стоитъ на мѣстѣ. Жизнь идетъ впередъ — и время разрушаетъ все. Качается уже и тронъ власти Сталина. Онъ это знает. Онъ чувствуетъ, что все большей становится пустота вокругъ него. Каждый день приходится отбрасывать все новые и новые слои колеблющихся и протестующихъ. Измѣна проникла въ ближайшее окруженіе» (стр. 335). Заколебался и г. Дмитриевскій, 12 лѣтъ вѣрой и правдой служившій режиму. И выпрыгнуть въ лоно человѣческаго болота. Да въ какое болото! Туда, въ Европу, гдѣ «мѣшанская чернь превозноситъ Ремарка», гдѣ копошатся «соглашательскія, компромиссныя партіи» и гдѣ вообще нечѣмъ дышать порядочному человѣку, облеченному миссіей спасенія міра. Съ большевистскимъ нахальствомъ невѣжества онъ указываетъ и путь этого спасенія: «Публичные дома (парламенты) политики сегодняшняго дня будутъ, вѣроятно, разогнаны и закрыты». Слова не собственныя; взяты у маршала Пилсудскаго: все хорошее г. Дмитриевскій вообще склоненъ подбирать...

Убѣжавъ отъ «зашатавшагося трона» и вообразивъ себя учителемъ жизни, г. Дмитриевскій не чувствуетъ всей смѣхотворности сво-

ихъ патетическихъ поучений: «Бойтесь непровѣренныхъ людей!» «Бросьте въ мусорную яму всѣ мысли и коалиціи!» «Продумайте, оформите эти идеи, носящіяся въ воздухѣ, свяжите ихъ въ стройную систему! Знайте твердо: третьяго намъ, Россіи, не дано. Либо Сталинскій національ-коммунизмъ, либо — національная имперія, цезаризмъ!»

Цезаризмъ! Цезаризмъ! Вторая книжка наполнена этимъ молениемъ о Цезарѣ. Какъ не вспомнить дѣдушку Крылова:

Вотъ пуще прежняго и квакапье, и стоны,
Чтобъ имъ Юпитеръ снова
Пожаловалъ царя иного.
Вамъ данъ былъ царь, — такъ тотъ былъ слишкомъ тихъ,
Вы взбунтовались въ вашей дужбѣ;
Другой вамъ данъ, — такъ этотъ очень дикъ:
Живите-жъ съ нимъ, чтобъ не было вамъ хуже!

Правильный совѣтъ...

Ек. Кускова.

«Утвержденія». — Кн. I февраль 1931, кн. II августъ 1931.

«Органъ объединенія пореволюціонныхъ теченій» — таковъ подзаголовокъ выходящаго съ начала этого года въ Парижѣ новаго журнала, посвященнаго проблемамъ міросозерцанія и политики.

Среди сотрудниковъ «Утвержденій» преобладаютъ авторы еще до сихъ поръ мало или вовсе не печатавшіеся, знакомые скорѣе узкому кругу посѣтителей парижскихъ собесѣдованій, чѣмъ широкой публикѣ, — Ширинскій-Шихматовъ, Меньшиковъ, Баранецкій и др. Есть однако нѣсколько всѣмъ извѣстныхъ именъ, — правда, въ довольно неожиданномъ сочетаніи: Н. А. Бердяевъ, — Е. Д. Кускова, — Н. С. Тимашевъ, — Ф. А. Степунъ. Сотрудничаетъ въ журналѣ, наконецъ, и безызвѣстный г. Дмитриевскій, вчерашній большевицкій сановникъ.

Кто же объединяетъ это пестрое общество? Составъ редакціи, къ сожалѣнію, не обозначенъ. Быть можетъ, «духовнымъ отцемъ» новаго журнала надо считать Н. А. Бердяева, такъ какъ обѣ книжки начинаются его «Открытыми письмами къ пореволюціонной молодежи», и замѣтное вліяніе идей Бердяева, главнымъ образомъ, его «Новаго Средневѣковья», сказывается на большинствѣ остальныхъ статей? Но анонимной «редколлегіи» принадлежатъ лишь два краткихъ редакціонныхъ заявленія да примѣчанія къ отдѣльнымъ статьямъ.

Цѣль журнала — объединеніе пореволюціонной молодежи и той части эмиграціи, которая въ тяжкомъ опытѣ обрѣла новое сознаніе, — объединеніе сначала литературное, съ перспективой въ дальнѣйшемъ стать и организационнымъ. Страницы журнала предоставлены поэтому «нашимъ передовымъ мыслителямъ» съ одной стороны и «пореволюціонно-мыслящей молодежи» съ другой. Изъ рядовъ этой

последней и вышши зачинатели «Утвержденій». Больше того, оказывается, что и въ финансовомъ отношеніи журналъ существуетъ исключительно на трудовые ежемѣсячные взносы его сотрудниковъ и друзей, изъ коихъ многіе зарабатываютъ свой хлѣбъ тяжелымъ физическимъ трудомъ: заявленіе, свидѣтельствующее, если его понимать à la lettre, о высокомъ душевномъ подъемѣ и жертвенности участниковъ «содружества».

Эти редакціонныя разъясненія обызываютъ отнестись съ особымъ доброжелательствомъ и сочувствіемъ къ литературному начинанію трудовой эмигрантской молодежи. Для насъ, уходящаго съ жизненной сцены поколѣнія, нѣтъ перспективы болѣе трагической и страшнѣе, какъ исчезнуть, не оставивъ свѣжей культурной смѣны себѣ. И насъ не пугаетъ, что молодежь такъ подчеркнуто обращена душой впередъ, въ «пореволюціонное» будущее Россіи, что она ищетъ непременно «новаго» сознанія, — тѣмъ лучше! Значитъ, она дѣйствительно молода; а кто же, съ другой стороны, станетъ отрицать, что старыя основы интеллигентскаго сознанія неотложно требуютъ весьма серьезнаго пересмотра?

Правда, ожиданіе свѣжихъ идей, новаго слова сразу же расколлаживается послѣ разъясненія редакціи, какія именно эмигрантскія теченія она считаетъ «пореволюціонными»: увы, это все тѣ же старые знакомцы, — жестоко себя скомпрометировавшее евразійство и его разновидность національ-максимализмъ, затѣмъ «устряловцы», давшіе, какъ извѣстно, идеологическое обоснованіе смѣновѣховству; новыми являются только никому до сего времени невѣдомые «нео-народники» и уже вовсе таинственные «бѣлокрестовцы». Но не будемъ поминать лихомъ прошлаго и придирааться къ именамъ, обратимся къ существу предлагаемаго намъ новаго синтеза «пореволюціонныхъ теченій».

Все хорошо, пока дѣло идетъ о самыхъ общихъ основахъ «пореволюціоннаго» міросозерцанія. Въ качествѣ таковыхъ редакція выставляетъ: примать духовнаго начала надъ матеріальнымъ, устройство жизни на основахъ христіанской правды, всечеловѣческую миссію Россіи, наконецъ, построеніе будущаго на основѣ синтеза Россіи пореволюціонной и революціонной. — Мысли не новыя, пріемлемыя для многихъ людей и «до-революціоннаго» сознанія, но очень уже общія. Соблазнительная эволюція евразійства показала, что весьма широкія идеологическія линіи сами по себѣ ни отъ какого срыва не предохраняютъ: рѣшаетъ судьбу общественнаго теченія конкретная, недвусмысленная программа политическая.

На первый взглядъ, съ этой стороны въ «Утвержденіяхъ» дѣло какъ будто обстоитъ благополучно: будучи весьма лѣвымъ въ социальномъ отношеніи, отрицая въ корнѣ буржуазно-капиталистическій строй, новый журналъ вмѣстѣ съ тѣмъ заявляетъ себя стоящимъ на «непримиримо революціонной позиціи по отношенію къ коммунистическому правительству». Не лѣвизна «Утвержденій» — особаго рода. Отрицая капитализмъ и коммунизмъ, они ищутъ «новыя формы, но-

вые пути». Ни демократія, ни социализмъ ихъ не удовлетворяютъ. Соціалисты — старорежимны, ибо они «защищаютъ либеральную начала и даже капитализмъ передъ лицомъ коммунизма»; формальная демократія ведетъ къ нестерпимой тираніи общественнаго мифіа, — будущее принадлежитъ корпоративно-кооперативной организациі общества (Бердяевъ). Нѣкто Н. Лядовъ, очевидно, въ память евразійцевъ, выдвигаетъ варварски звучащій лозунгъ «идеоправства» (!), М. Артемьевъ, отъ имени какихъ-то фантастическихъ кружковъ въ Россіи — власть «богопризванныхъ», синтекратію (отъ слова синтезъ!) или пневмократію. Словомъ, выборъ фасоновъ богатый, на всѣ «пореволюціонные» вкусы, съ уклономъ или въ сторону Бердяевского анархизма, или подъ евразійскую «власть идеи».

Своеобразнымъ защитникомъ демократіи выступаетъ Ф. А. Степунъ. Передъ трибуналомъ «пореволюціоннаго духотворческаго свободолюбія» онъ тоже готовъ осудить формальную демократію: основанная не на долгѣ истины, а на правѣ мифіа, она «такъ же враждебна свободѣ, какъ и свободоненавистнической фашизмъ». Степунъ ходатайствуетъ лишь о снисхожденіи къ виновной: все же практически демократія — меньшее зло и меньшая ложь по сравненію съ фашизмомъ и коммунизмомъ, — лучше демократической «мѣшанины», чѣмъ коммунистической «черты». На что «редколлегія» въ особомъ примѣчаніи беретъ подъ свою защиту фашизмъ, какъ направленіе «въ известной мѣрѣ пореволюціонное», и рекомендуетъ въ построенияхъ будущаго «исходить изъ совѣтской дѣйствительности».

Не не эти сами по себѣ столь обычныя обличія демократіи смущаютъ насъ въ «Утвержденіяхъ». Почему бы въ концѣ концовъ русскимъ эмигрантамъ, спасшимся бѣгствомъ отъ восторжествовавшей у нихъ на родинѣ «идеократіи», и не заняться, пользуясь благами презрѣнной «буржуазной» свободы, разоблаченіями формальной демократіи и поисками иной, болѣе удачной, чѣмъ 3-й Интернаціональ, идеи-властительницы? Не хотимъ пророчествовать, но опасаемся, что подводнымъ камнемъ, который можетъ привести новый журналъ къ крушенію, явится то-же самое, что уже въ свое время послужило причиной разложенія евразійства, а именно, неясное, полное двусмысленности и соблазна отношеніе къ совѣтской дѣйствительности.

Что именно пріемлютъ, «утверждаютъ» участники новаго журнала въ большевицкой революціи и въ создавшемся въ результатъ ея теперешнемъ порядкѣ вещей въ Россіи? Какой положительный смыслъ вкладываютъ они въ понятіе своей «пореволюціонности»? Очевиденъ главный соблазнъ, угрожающій на этомъ пути: опасность издалика принять за органической процессъ то, что быть можетъ есть лишь навязанная русскому народу личина, соблазнъ отъ простого признанія факта незамѣтно перейти къ его историческому и политическому оправданію.

Редакціонное предисловіе отдѣляется на этотъ счетъ мало содержательными фразами: мы пріемлемъ «проблематику» революціи, отвергая коммунистическія ея рѣшенія, мы относимся положительно

къ зарождающейся въ революціи «творческой стихіи», мы привѣствуемъ волю новыхъ жизненныхъ слоевъ къ устроенію «болѣе совершеннаго социальнаго уклада», ихъ «вселенскій размахъ». Н. А. Бердяевъ, для котораго «настоящей, вполне созрѣвшей и осуществившей себя революціей» является лишь революція октябрьская, усматриваетъ, что ею разбужена «творческая стихія народа», и что русскій народъ показалъ, что онъ обладаетъ «большимъ дерзновеніемъ въ созданіи новаго строя жизни, чѣмъ народы Запада».

Здѣсь — у насъ коренное расхожденіе съ Н. А. Бердяевымъ и со всѣми *soi-disant* «пореволюціонными» теченіями въ эмиграціи. Никто, разумѣется не отрицаетъ, что революція произвела глубочайшую социальную трансформацию въ Россіи, открыла народнымъ низамъ доступъ — въ будущемъ — къ участию въ государственномъ строительствѣ; и кто можетъ усумниться въ томъ, что, несмотря на удручающій совѣтскій режимъ, Россія жива, и жизнеспособность русскаго народа лишь временно ослаблена. Но намъ трудно понять благодушный оптимизмъ тѣхъ, кто передъ лицомъ страшной дѣйствительности усматриваетъ уже въ настоящемъ времени въ закрѣпощенной Россіи проявленіе какой-то особой «разбуженной творческой стихіи народа». И уже вовсе издѣвательствомъ надъ лютыми страданіями порабошеннаго народа представляется двусмысленная риторика объ исключительномъ его, народа, «дерзновеніи» и «вселенскомъ размахѣ» его воли къ «устроенію болѣе совершеннаго социальнаго строя»: это говорится сейчасъ, когда насильственная коллективизація всего крестьянскаго хозяйства достойно завершаетъ четырнадцатилѣтнее бессмысленное экспериментированіе надъ Россіей самой жестокой въ мірѣ деспотіи. Источникомъ такой «пореволюціонной» психологіи должно, очевидно, быть недоговариваемое или еще неосознанное убѣжденіе въ томъ, что коммунисты, проводя свои «грандіозныя» мѣропріятія по социализаціи промышленности, коллективизаціи сельскаго хозяйства или введенію всеобщаго крѣпостного права дѣйствуютъ съ согласія народа, по его неформальному уполномоченію, на благо Россіи. Тогда это и надо договорить совершенно отчетливо, безъ мистическаго тумана, и безъ деклараций о своей «революціонной непримиримости» по отношенію къ совѣтской власти.

Непріятное, почти болѣзненное впечатлѣніе, производитъ мистическій экстазъ, въ который впадаютъ иные изъ «молодыхъ» сотрудниковъ «Утвержденій» по случаю трагическаго положенія Россіи: народы Россіи, пророчески вѣщаютъ они, становятся во главѣ эпохи великихъ свершеній, Россія — новый всемірно-историческій центръ, единственная надежда возможнаго возрожденія и преображенія человечества, она спасетъ міръ, укажетъ ему новые пути, раскроетъ новые возможности (Баранецкій, Даниленко). Чего тутъ больше — «воспаленной психики, опьяненія величіемъ напыщенныхъ, но пустыхъ фразъ», какъ справедливо отмѣчаетъ въ своей статьѣ Е. Д. Кускова, или же внутренней капитуляціи передъ «успѣхами» большевиковъ, — не всегда легко опредѣлить. Образчикомъ уже совершенной плѣ-

ненности большевистскими достижениями служить статья нѣкоего П. Степанова. Непонятно вообще, какъ такая шипическая, нестерпимая морально, статья могла появиться въ эмигрантскомъ журналѣ. Степановъ кажется уже все пріемлетъ, все «утверждаетъ», что дѣлаютъ съ Россіей большевики. Принудительный трудъ, о которомъ почему то «поднимаетъ крикъ» буржуазная печать въ Европѣ? Еще спорно, дѣйствительно ли въ СССР принуждаютъ людей работать, за исключеніемъ осужденныхъ за преступленія. Лишеницы? — но вѣдь всѣ они такъ или иначе кормятся на задворкахъ пятилѣтки. Совхозы есть дѣйствительно «передовой выдвигенческой интеллигенціи», съ коллективизаціей крестьяне не борются, потому что сознаютъ ея «справду». Не смущаютъ г. Степанова и жестокости большевистскаго террора. Сталинъ въ своей исторической роли подобенъ Петру, онъ укрѣпляетъ хозяйственную мощь Россіи, и — «мы не задумываемся надъ потоками крови, пролитой во имя величія Россіи».

Послѣ знакомства съ такимъ Степановымъ перестаешь уже удивляться участию въ эмигрантскомъ органѣ г. Дмитріевского. Да и не съ молодежи «Утвержденій» повелась у насъ странная поспѣшность, съ которой эмиграція предоставляетъ почетное мѣсто въ своихъ рядахъ большевистскимъ перелетамъ съ того берега, не задумываясь надъ истинными мотивами ихъ внезапнаго прозрѣнія. «Утвержденія» же явно польщены предпочтеніемъ, оказаннымъ имъ столь виднымъ представителемъ тоже «пореволуціоннаго теченія» передъ «отживающими своей вѣкѣ демократами и бѣлыми болтай-активистами». Для характеристики совершенно безпримѣрной широты взглядовъ редколлегіи, отмѣтимъ только, что лирическая ода г. Дмитріевского въ честь Сталина въ журналѣ мирно уживается рядомъ со «страшными» революціонными лозунгами Ширинскаго-Шихматова: сверженіе сталинской диктатуры... центральнымъ переворотомъ... короткою кровью.

При столь обширной амплитудѣ всевозможныхъ направленій и настроеній, цѣль, поставленная себѣ новымъ журналомъ, ихъ идеологическое объединеніе, явно неосуществима. Но значеніе и цѣнность «Утвержденій» въ другомъ: они даютъ выходъ процессу какого-то еще смутнаго духовнаго броженія, происходящаго въ извѣстной части эмигрантской молодежи. Пусть же этотъ процессъ идейнаго самоопредѣленія происходитъ гласно, на открытой общественной аренѣ, подъ обстрѣломъ доброжелательной или придирчивой критики, — въ этомъ залогъ скорѣйшаго отдѣленія здороваго зерна изъ груды пустой или недоброкачественной шелухи.

В. Рудневъ.

СПИСОКЪ НОВЫХЪ КНИГЪ, ПОСТУПИВШИХЪ ДЛЯ ОТЗЫВА ВЪ РЕД. «СОВРЕМ. ЗАПИСОКЪ».

- Н. В. Устряловъ. — Проблема прогресса. Харбинь. 1931.
Н. В. Устряловъ. — Понятіе о государствѣ. Харбинь. 1931.
Л. М. Сухотинъ. — Исторія новаго времени. Ч. I. Бѣлградъ. 1931.
Ллойдъ-Журналъ. Книга Первая. Парижъ-Берлинъ. 1931.
Нордъ Остъ. № 5. Рига.
«Соціалист. Вѣстникъ» № 10, 11, 12-13, 14, 15-16.
Екатерина Бакунина. — Стихи. Парижъ. 1931. Складъ изд. «Родникъ».
Ив. Шмелевъ. — Родное. Бѣлградъ. 1931.
Философски Преглед. Кн. 3. Софія. 1931.
Яковъ Кормчій. — Валаамъ. — Поэмы. Шанхай. 1931.
Левъ Гроссе. — Я, Вы и Онъ. Романъ изъ жизни шанхайскихъ эмигрантовъ. 1930.
Л. Троцкий. — Исторія русской революціи. Т. I. Изд. «Гранатъ». Берлинъ.
Русская Школа за рубежомъ. № 34. Прага.
О. Савичъ и И. Эренбургъ. — Мы и Они. Изд. Петрополисъ.
Прозвѣстіе Рамакришны. Рига. 1931.
С. П. Мельгуновъ. — Трагедія Адмирала Колчака. — Катастрофа. Бѣлградъ. 1931.
Бюллетень Эконом. Кабинета С. Н. Прокоповича. № 88 и 89. Прага.
А. Таль. — Николай Колобовъ. Изд. Я. Поволоцкій и Ко. Парижъ.
П. А. Кропоткинъ и его ученіе. Сборникъ. Чикаго. 1931.
П. Н. Савицкій. — Въ борьбѣ за евразійство. 1931.
Р. О. Якобсонъ. — Къ характеристикѣ евразійскаго языковаго союза.
Проф. М. Н. Ершовъ. — Современный Китай и Европейская Культура. Харбинь. 1931.
Сестра Ю. П. Вревская. — Зарубежный союзъ русскихъ сестеръ милосердія. Парижъ. 1931.
Александръ Буровъ. — Подъ небомъ Германіи. Берлинъ.
А. И. Вознова. — Самоцѣты. Романъ. Берлинъ.
Д. А. Магула. — Свѣтъ Вечерній. Парижъ. 1931.
Н. Лосскій. — Типы міровоззрѣній. — Введеніе въ метафизику. Изд. «Соврем. Записки». Парижъ. 1931.
В. В. Энгельфельдъ. — Очередныя проблемы современнаго Китая. — Харбинь. 1931.
Числа. Сборники подъ редакціей Н. Оцуа. № 5. 1931.
А. В. Махлецовъ. — Личность преступника въ современномъ уголовномъ правѣ. Прага.
Записки Русскаго Научнаго Института въ Бѣлградѣ. Выпускъ 4. — Бѣлградъ. 1931.
Н. Быловъ. — Волчья Тропа. Романъ. Складъ въ «Родникъ». 1931.
День русской культуры. Изд. Харбинск. Комитета помощи русскимъ бѣженцамъ. 1931.

- Воля Россіи. V-VI. Прага 1931.
- А. В. Маклецовъ. — Проблема преступленія и психоанализъ. 1931.
- Григорій Нѣмой. — Барышня Прыжкова. Романъ. Изд. «Книга для всѣхъ». 1931.
- Алексѣй Ремизовъ. — Образъ Николая Чудотворца. Парижъ. 1931.
- П. М. Бицилли. — Хрестоматія по исторіи русской литературы. Ч. I. Народная словесность и литература до-петровскаго времени. Изд. Росс. Зем. Гор. Комитета. Софія. 1931.
- А. Дехтеревъ. — Съ дѣтьми эмиграціи. Шумень. 1931.
- Проф. Г. К. Гинс. — На путяхъ к государству будущаго. Харбинъ. 1930.
- Проф. Г. К. Гинс. — Новые идеи в правѣ и основныя проблемы современности. Вып. I. Харбинъ. 1930.
- Le Monde Slave*. N° 1, 2, 3. Paris.
- Russia Today* by N. Roodkowsky, I. Chernikoff. New-York. 1931.
- Archives de Philosophie du droit et de la Sociologie juridique*. N° 1-2. Paris.
- I. Rillig. — Der Zusammenbruch des deutschen Idealismus bei den russischen Romantikern (Bjelinski, Bakunine. Berlin. 1930.
- M. Hofmann. — Pouchkine. Payot. Paris.
- B. Eliachevitch, B. Noldé et P. Tager. — Traité de droit civil et commercial des Soviets. Paris. 1930.
- Seminarium Kondakovianum*. VI. Reckel d'Etudes. Prague. 1931.
- Bor. Zaitzev. — Anna. — Roman. Paris. Edit. Saint-Michel.
- A. Maklezow. — Ehre und Familie der Sowjetrussland. Hochland's Sonderdruck.
- Ost-Europa* N° 10. 1931.
- R. G. Batalin. — Petersburg am Wittenbergplatz. 1931.
- B. Mirkin-Guetzévitch. — Les Nouvelles Tendances du droit constitutionnel. Paris. 1931.
- B. Mirkin-Gezewitsch. — Das Sowjetrussische Pressrecht. Berlin.
- Joseph-Barthélemy. — La Crise de la Démocratie Contemporaine. Paris. 1931.
- Orient und Occident*. N° 6. Leipzig.
- Hrvatska Revija*, N° 5, 6, 7, 8, 9. 1931.
- Svestlavenski Zbornik*. Izdala Zajednica Slavenskih Drustava u Zagrebu. 1931.
- Alexei Remisoff. — La Russie sous la rafale. I. A la mémoire d'Alexandre Blok. Les éd. Tchisla, Paris. 1931.
- La situation des enfants des réfugiés russes et arméniens en 1930*. Préface de W. Roudneff. Ed. Union International de Secours aux Enfants. Genève. 1931.
- D. Novik et V. Llona. — Pierre le grand. Ed. Jules Tallandier. Deux volumes in 8° de 550 pages. Paris. 1931.

Из-во „Современныя Записки“

ВЫШЛИ ВЪ СВѢТЪ:

- И. А. Бунинъ: Жизнь Арсеньева (Романъ).
- И. А. Бунинъ: Избранныя стихотворенія.
- И. А. Бунинъ: Божье древо.
- И. А. Бунинъ: Тѣнь птицы.
- Б. К. Зайцевъ: Анна (Романъ).
- М. А. Алдановъ: Ключъ (Романъ).
- М. А. Алдановъ: Десятая симфонія (Романъ).
- М. А. Осоргинъ: Повѣсть о сестрѣ.
- М. А. Осоргинъ: Чудо на озерѣ.
- Ф. А. Степунъ: Николай Переслѣгинъ.
- Георгій Песковъ: Памяти твоей (Разказы).
- Гал. Кузнецова: Утро (Разказы).
- А. Ладинскій: Черное и голубое (Стихи).
- Т. И. Полнеръ: Толстой и его жена.
- В. Ф. Ходасевичъ: Державинъ (Худож. биографія).
- В. А. Маклаковъ: Левъ Толстой.
- Левъ Шестовъ: На вѣсахъ Іова.
- В. М. Зензиновъ: Безпризорныя дѣти.
- П. Н. Милюковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. II ч. 1.
- П. Н. Милюковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. II ч. 2.
- П. Н. Милюковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. III.
- М. И. Ростовцевъ: О Ближнемъ Востокѣ.
- Б. Э. Нольде: Далекое и близкое.
- М. В. Вишнякъ: Два пути (Февраль и Октябрь).
- Ст. Ивановичъ: Красная армія.
- Сборникъ, посвящ. 175-лѣтію Московск. Университета.
- Н. Лосскій: Типы мировоззрѣній.
- Н. А. Бердяевъ: О назначеніи человѣка.

Заказы принимаются въ конторѣ издательства: „Annales Contemporaines“, 106, Rue de la Tour, PARIS (XVI^e) и на складъ: Fremden-Buchhandlung H. Sachs. A. G. BERLIN S. W. 48, Hedemannstr. 6. — „Москва“, 9, Rue Dupuytren, PARIS (VI^e).

Общественно-политический и литературный журналъ

11-й годъ **СОВРЕМЕННЫЯ ЗАПИСКИ** 11-й годъ
изданія изданія

основанный Н. Д. Авксентьевымъ, И. И. Бунаковымъ, М. В. Вишнякомъ,
А. И. Гуковскимъ (†), В. В. Рудневымъ.

Въ вышедшихъ по настоящее время книжкахъ «Современныхъ Записокъ» напечатаны беллетристическія произведенія: Леонида Андреева, М. А. Алданова, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, Андрея Бѣлаго, Б. П. Вышеславцева, Ал. Гефтера, Г. Д. Гребенщикова, Д. С. Мережковского, Б. К. Зайцева, Е. И. Замятина, П. К. Иванова, I. А. Матусевича, С. Р. Минцова, Мих. Осоргина, Георгія Пескова, А. М. Ремизова, Н. Я. Рощина, Ив. Соколова-Микитова, С. Соколы-Слободского, Ф. А. Степуна, Ильи Сургучева, гр. А. Н. Толстого, Софьи Федорченко, Е. Н. Чирикова, Ив. С. Шмелева, С. С. Юшкевича. — Стихотворенія: Г. Адамовича, Амари, К. Д. Бальмонта, Н. Н. Берберовой, И. А. Бунина, Максимилиана Волошина, А. Герцыкъ, З. Гиппиусъ, Вячеслава Иванова, Г. Иванова, Н. Крадѣевской, Д. Кнута, Галины Кузнецовой, А. Ладинскаго, Сергѣя Маковского, А. Несмѣлова, Н. Опуна, В. Познера, Б. Поплавскаго, В. Сирина, П. С. Соловьевой (Аллего), Ф. Сологуба, Тэффи, В. Ходасевича, Марины Цвѣтаевой. — Дневники и воспоминанія: Е. К. Брешковской, О. О. Грузенберга, Ел. Джанумовой, К. Ельцевой, В. М. Зензинова, А. Ф. Керенскаго, В. Г. Короленко, В. А. Маклакова, кн. В. Оболенскаго, Т. И. Поднера, И. Е. Рѣпина, Льва Толстого, В. Ф. Ходасевича, М. И. Цвѣтаевой, М. В. Щербакова. — Статьи по вопросамъ литературы, искусства, философск., политич., экономич. и социальнымъ: С. Абрамова, Н. Д. Авксентьева, М. А. Алданова, П. Н. Апостола, А. А. Аргунова, А. Байкалова, К. Д. Бальмонта, А. А. Бема, Н. А. Бердяева, П. М. Бицилли, Е. Богданова, М. В. Брайкевича, В. Брейтвейга, Б. Бруцкуса, И. И. Бунакова, В. Вейдле, проф. П. Г. Виноградова, М. В. Вишняка, В. Водовозова, кн. С. М. Волконскаго, Н. Ганца, М. О. Гершензона, С. I. Гессена, Б. Гефдингга, М. Л. Гофмана, М. Л. Гошиллера, К. К. Грюнвальда, А. И. Гуковского (А. Сѣверова), К. Гулькевича, Г. Д. Гурвича, Ю. Н. Данилова, Юрія Данилова, Ю. Делевскаго, И. Демидова, Дюнео, С. П. Жаба, С. О. Загорскаго, П. Зернова, В. В. Зѣньковскаго, Ст. Ивановича (В. И. Талина), С. А. Иванова, Л. П. Карсавина, С. И. Карцевскаго, К. Р. Качоровскаго, А. Ф. Керенскаго, А. А. Кизеветтера, С. А. Кобякова, А. А. Койранскаго, В. Г. Короленко, С. А. Корфа, Ант. Крайниго, М. А. Кроля, Е. Д. Кусковой, В. Ладыженскаго, М. Лазерсона, З. Ленскаго, А. А. Леонтьева, Г. Ловickaго, Н. О. Лосскаго, С. В. Лурье, Г. М. Лунца, В. А. Маклакова, А. Н. Мандельштама, С. П. Мельгунова, С. И. Мельникова, П. Н. Милюкова, Н. М. Минскаго, Б. С. Миркина-Гецевича, А. М. Михельсона, П. П. Муратова, В. А. Мякотина, В. М., Л. Неманова, барона Б. Э. Нольде, А. С. Орлова, М. А. Осоргина, Н. Ф. Мельниковой-Папоушекъ, А. Б. Петрищева, С. Л. Полякова-Литовцева, П. Прокофьева, Л. М. Пумпянскаго, А. В. Пѣшехонова, Ф. И. Родичева, М. И. Ростовцева, В. В. Руднева, С. Д. Сазонова, Ю. Сазоновой, Д. Святополкъ-Мирскаго, М. Л. Слонима, Б. Ф. Соколова, Д. М. Сокольева, С. М. Соловейчика, П. А. Сорокина, Ф. А. Степуна, Н. С. Тимашева, С. П. Тюринна, А. Н. Ульянова, Г. В. Федотова, Г. В. Флоровскаго, Д. И. Чижевскаго, А. А. Чупрова, И. М. Хераскова, М. О. Цетлина, Б. Е. Шапкаго, Л. И. Шестова, Б. Ф. Шенцера, Ив. Якушева и др.

Revue paraissant tous les 3 mois.

Цѣна отдѣльнаго номера 25 франковъ.

Адресъ Редакціи и Конторы:

106, Rue de la Tour, PARIS (XVI^e). — Téléphone: Tour 106.